

РОМАНОВЫ

ДИНАСТИЯ В РОМАНАХ



МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ

Annotation

Вошедшие в том произведения повествуют о годах правления Михаила Федоровича Романова.

Это роман П.Н.Полевого «Избранник Божий», А.Е.Зарина «Двоевластие», В.С.Соловьева «Жених царевны».

- [А. Н. Сахаров \(редактор\)](#)
 - [К ЧИТАТЕЛЮ](#)
 - [ИЗБРАННИК БОЖИЙ](#)
 - [I НЕЖДАННАЯ ВЕСТЬ](#)
 - [II В СЕВЕРНЫХ ДЕБРЯХ](#)
 - [III ЛУЧ СВЕТА ВО ТЬМЕ](#)
 - [IV И РАДОСТЬ — НЕ В РАДОСТЬ](#)
 - [V БУРЯ НАДВИГАЕТСЯ](#)
 - [VI РОСТОВСКИЙ ПЕРЕПОЛОХ](#)
 - [VII НАКАНУНЕ РАЗГРОМА](#)
 - [VIII РАЗГРОМ](#)
 - [IX ОТ МРАКА К СВЕТУ](#)
 - [X В УКРЫТЕ](#)
 - [XI НА ВОЛОСОК ОТ БЕДЫ](#)
 - [XII ПОД РОДНЫМ КРОВОМ](#)
 - [XIII ПОСЛЕ ДОЛГОЙ РАЗЛУКИ](#)
 - [XIV НОВЫЕ ТРЕВОГИ, НОВЫЕ ОЖИДАНИЯ](#)
 - [XV ПЕРЕД НОВОЙ БЕДОЙ](#)
 - [XVI ЕЩЕ РАЗЛУКА](#)
 - [XVII ЗАГОВОРИЛО РЕТИВОЕ](#)
 - [XVIII СЛУХИ И СТРАХИ](#)
 - [XIX КРОВАВАЯ БАНЯ](#)
 - [XX ДО ПОСЛЕДНЕГО ИЗДЫХАНИЯ](#)
 - [XXI НАША ВЗЯЛА](#)
 - [XXII НЕ НА ТОГО НАПАЛИ](#)
 - [XXIII ИЗБРАННИК БОЖИЙ](#)
 - [ДВОЕВЛАСТИЕ](#)
 - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)

- I СКОМОРОХИ
- II ТЕМНОЕ ДЕЛО
- III КНЯЖЬЯ РАСПРАВА
- IV ВСТРЕЧА ОТЦА С СЫНОМ
- V ТВЕРДАЯ РУКА
- VI СПАСИТЕЛЬ
- VII СЫСК
- VIII РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ
- IX СЛУЧАЙ С НЕМЦЕМ И КНЯЖЬЕ СЛОВО
- X ТАЙНА ЦАРСКОГО СЕРДЦА
- XI ПРИЗНАНИЕ С ДЫБЫ
- XII НЕЖДАННЫЙ ГРОМ
- ЧАСТЬ ВТОРАЯ
 - I В ДОРОГЕ
 - II НАПАДЕНИЕ
 - III РОЗЫ И ТЕРНИИ ЛЮБВИ
 - IV ГОРЕМЫЧНЫЕ
 - V ПЕРЕД ВОЙНОЙ
 - VI СВАДЬБА
 - VII ПОХОД
 - VIII В ПОХОДЕ
 - IX ДВОРЕЦ И МОНАСТЫРЬ
 - X НОВАЯ ГРОЗА
 - XI НАЧАЛО БЕДСТВИЙ
 - XII КРУТАЯ РАСПРАВА
 - XIII РУССКОЕ ГОРЕ
 - XIV ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
 - XV НА МОСКВУ
 - XVI ТЯЖКАЯ РАСПЛАТА
 - XVII ДУША МИРА ИЩЕТ
- ЖЕНИХ ЦАРЕВНЫ
 - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V

- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)
- [XI](#)
- [XII](#)
- [XIII](#)
- [XIV](#)
- [XV](#)
- [XVI](#)
- [XVII](#)
- [XVIII](#)
- [XIX](#)
- [XX](#)
- [XXI](#)
- [XXII](#)
- [XXIII](#)
- [XXIV](#)
- [XXV](#)
- [XXVI](#)
- [XXVII](#)
- [XXVIII](#)
- [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)

- [XIV](#)
- [XV](#)
- [XVI](#)
- [XVII](#)
- [XVIII](#)
- [XIX](#)
- [XX](#)
- [XXI](#)
- [XXII](#)
- [XXIII](#)
- [XXIV](#)
- [XXV](#)
- [XXVI](#)
- [XXVII](#)
- [ЭПИЛОГ](#)
- [ОБ АВТОРАХ](#)
- [КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УПОМИНАЕМЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЦАХ](#)
- [ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)

- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)

- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)

- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)

- [129](#)
 - [130](#)
 - [131](#)
 - [132](#)
 - [133](#)
 - [134](#)
-

А. Н. Сахаров (редактор)

Михаил Федорович

(Романовы. Династия в романах — 3)

К ЧИТАТЕЛЮ

Книга, которую Вы держите в руках,— первый из подготовленных к изданию двадцати томов, посвященных истории России, истории Дома Романовых. Три столетия находились представители этого старинного рода на российском престоле. Три столетия, вместившие в себя большие и малые войны, государственные свершения и разочарования народа, никонианский раскол и роскошь екатерининской эпохи, гений Пушкина и аракчеевщину, реформы Александра II трагедию последнего императора. Три столетия, заключенные в рамки двух смут — великой Смуты начала семнадцатого века и великой же революции начала века двадцатого.

Восемнадцать государей из Дома Романовых правили нашим отечеством. Дела и жизнь одних многократно привлекали внимание романистов (таков Петр I; из книг о нем можно составить целую библиотеку), других же (как Федор Алексеевич) писатели не жаловали. В предлагаемой Вам серии каждому властителю посвящен один том. Но есть и исключения: правления Петра Великого, Екатерины Великой и Николая II будут представлены в двухтомниках. Произведений, посвященных брату Петра Ивану, не написано, поэтому нет и тома под названием «Иван Алексеевич». Да и как можно разделить жизни двух братьев, правивших совместно четырнадцать лет.

Теперь немного об авторах. Не будем их перечислять. Заметим лишь, что в нашей серии представлена проза и известных писателей, конца XIX — начала XX веков, и писателей ныне забытых; авторов, писавших в эмиграции, и авторов, книги которых отражали идеологию советского периода; произведения наших современников, в том числе и первопубликации.

Первый том издан. За ним последуют и другие: «Алексей Михайлович», «Анна Иоанновна», «Иоанн Антонович», «Павел I»... Впереди Вас ждет путешествие по векам, характерам, судьбам. Скажем же друг другу «В добрый путь!»

МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ — первый царь из дома Романовых. Отцом Михаила Федоровича был Федор Никитич, впоследствии патриарх Филарет, женатый на Ксении Ивановне Шестовой, из незнатного рода. В июне 1596 г. у них родился сын Михаил. В 1601 г. Борис Годунов постриг и сослал Федора Никитича в Сийский Антониев монастырь, а мать Михаила Федоровича постриг под именем Марфы и сослал в Заонежье, в Егорьевский погост Толвуйской волости. Михаил Федорович жил на Белоозере с теткою своею, Марфой Никитичной Черкасской; с 1603 г. жил в Клину, родовой вотчине Романовых, с 1605 г. вместе с матерью. Первый самозванец возвел Филарета в сан ростовского митрополита; семья соединилась и почти до конца 1608 г. жила вместе, а во времена Тушинского вора, когда Филарет был у него в почетном плену — в Москве. В 1610 г. Филарет был вместе с князем Голицыным послан к полякам, которые его не отпустили, и 9 лет Михаил не видел отца. Будущий царь с матерью были задержаны в московском Кремле и выпущены из плена только в ноябре 1612 г., когда и удалились в Кострому, проживая то в собственном доме, то в Ипатьевском монастыре.

Собор 1613 г. избрал Михаила Федоровича на московский престол 21 февраля, 13 марта послы от собора прибыли в Кострому, а 14 — были приняты в Ипатьевском монастыре. Инокня Марфа и Михаил решительно отказывались принять предложение собора, главным образом потому, что, как говорила мать, «у сына ея и в мыслях нет на таких великих преславных государствах быть государем; он — не в совершенных летах, а московского государства всяких чинов люди по грехам измалодушествовались, дав свои души прежним государям, не прямо служили». После шестичасовых переговоров Михаил и мать, когда им пригрозили, что Бог взыщет на них конечное разорение государства, согласились принять избрание Михаила на престол. 19 марта медленно двинулся Михаил в Москву; 11 июня 1613 г. состоялось царское его венчание.

Вступив на московский престол, Михаил принужден был заняться упорядочением внутренних дел и борьбою со внешними врагами — Швецией и Польшей; к тому же шайки Лисовского, Заруцкого и др. спокойно переносились из одного края русской земли в другой, грабили и бесчинствовали, вконец разоряя московское государство. Первою заботою нового правительства был сбор казны. Царь и собор

повсюду рассылали грамоты с приказаниями собирать подати и казенные доходы, с просьбами займа для казны денег и всего, что только можно дать вещами. Особенное внимание было обращено на шайки казаков и всякого сброда. Продолжительна была борьба с Заруцким на юго-востоке, с шайкой которого разделались только в июне 1614 г.; осенью 1614 г. сладили с атаманом Баловнем и его шайкой на верхнем течении Волги; наконец удалось ослабить и рассеять наиболее опасную шайку — Лисовского (к 1616 г.).

Собор 1616 г. решает обложить всех торговых людей пятой деньгой и богачам указывает, какие суммы они должны дать казне, для ведения войны с внешними врагами. Шведы владели Новгородом и водской пятиной и желали присоединения этой области к Швеции; кроме того, шведы требовали, чтобы Русь признала царем московским королевича Филиппа, которому уже присягали новгородцы. Военные дела русских, под предводительством князя Дмитрия Трубецкого, шли неудачно, но шведы более интересовались тем, чтобы не допускать русских к Балтийскому морю, чем захватом Новгородской земли; поэтому они охотно согласились на посредничество Англии и Голландии в переговорах о мире. Переговоры часто прерывались, наконец закончились вечным миром в Столбове (1617 г.).

Шведы уступали русским Новгород, Порхов, Старую Руссу, Ладогу и Гдов, а русские шведам — приморский край: Иван-город, Ям, Копорье, Орешек и Корелу, обязываясь при том выплатить Швеции 20000 руб. Тогда же англичане, голландцы и шведы выхлопотали себе важные торговые привилегии. Летом 1617 г. королевич Владислав двинулся к Москве и в 1618 г., опираясь на помощь казацкого гетмана Сагайдачного, вошел в Московскую область. После неудачного приступа к Москве, Владислав и Сагайдачный отступили к Троице; туда же, под предводительством Федора Шереметева, двинулось и русское войско. Но битвы не последовало, так как обе стороны чувствовали себя обессиленными; 1 декабря 1618 г. заключено было Деулинское перемирие на 14 лет и 6 месяцев. Вернувшемуся митрополиту Филарету был предложен патриарший престол. После обычных отрицаний Филарет принял его, получив титул «великого государя».

Наступило время двоевластия. Грамоты писались от имени царя и патриарха, Михаил Федорович во всех вопросах подчинялся влиянию

отца. Все внимание царя и патриарха сосредоточивается на внутренних делах. В 1619 г. в Москве еще заседал собор, переживший окончание войны со шведами и поляками. Собор обратил внимание на тяжелое экономическое положение России. Главной мерой для увеличения доходности казны была рассылка так называемых писцовых книг. На соборе указывалось, что посланные переписчики брали с богатых взятки, а убогих притесняли, с одних брали подати по писцовым книгам, с других — по дозорным. Неправда царила всюду. Добывать деньги старались всякими мерами, даже занимали деньги у англичан, давая им за то право беспошлинной торговли; служилых людей, живущих в посадах, обложили общим посадским тяглом; таможенные и кабацкие сборы стали давать на откуп и старались, чтобы пили побольше, увеличивая тем казне доход. Кроме таможенных сборов, облагалась разнообразными поборами (полавочное, мыто и т. п.) всякая торговля, даже повседневные занятия (брали за водопой скотины, мытье белья и т. п.). Из внутренних дел времени двоевластия важнейшие: возобновление губных старост в 1627 году, преследование разбоев, распространение крепостного права, развитие системы приказов. Особенное внимание было обращено на Сибирь и Поволжский край. Сибирь давала меха, и правительство старалось монополизировать этот торговый промысел, так как повсюду, особенно за границей, при отсутствии денег, расплачивалось мехами. В то же время занимаемые русскими земли все расширялись в восточном и южном направлениях; ядром населения были здесь казаки и так называемые пашенные крестьяне; в 1621 г. в Сибирь был посвящен первый архиерей — архиепископ Киприан. На Волге, особенно в южном ее течении, от Жигулевских гор, старались ослабить разбой и доставить возможность развиваться торговле с Прикаспийским краем и Персией.

Между тем истекал срок перемирия с Польшей. Царь старался собрать возможно большие и благоустроенные силы для предстоящей борьбы, так как постоянные недоразумения с Польшей не прекращались. Правительство приказывало еще в 1631 г. всем дворянам и детям боярским быть готовыми. С монастырских имений, со всех вотчин и поместий положены были деньги за «даточных людей», решено было нанять иноземных ратников, купить за границей 10000 мушкетов с фитилями и т. д. Несогласия с Польшею

обострялись все больше и больше, особенно вследствие оскорблений, наносимых поляками Михаилу как царю московскому. Русские послы постоянно жаловались, что поляки не называют Михаила царем, неправильно и с пропусками пишут титул московского царя и т. д.

В апреле 1632 г. умер Сигизмунд III. В Польше начались междоусобия при выборе нового короля. Михаил и Филарет решили воспользоваться удобным временем и начать войну. Созван был собор, на котором определено было отомстить полякам за прежние неправды и отнять захваченные области: перемирие было прервано, и с осени 1632 г. началась война. Главными начальниками над войском были назначены Михаил Борисович Шеин и окольный Артемий Измайлов. Они двинулись к Смоленску, Шеин начал осаду города; на помощь Смоленску явился король Владислав, осадил Шеина, держал его в осаде до февраля 1634 г.; помощи из Москвы Шеин не получил и принужден был сдаться, положив все знамена и пушки перед королем и отступив к Москве с 8000 челов. Незадолго перед тем умер патриарх Филарет (1 октября 1633 г.); бояре стали оказывать большое влияние на добродушного царя. Они не любили гордого и заносчивого Шеина; его и Измайлова обвинили в измене и обоим отрубили головы. Созванный в начале 1634 г. собор склонялся к заключению мира, так как не было средств к продолжению войны. Угрозы Швеции и Турции заставили и поляков желать мира. На реке Поляновке заключен был вечный мир (4 июня 1634 г.).

Поляки хотели получить 100000 р. за отказ Владислава от титула московского царя, но удовольствовались 20000 руб.; из земель были уступлены на вечные времена Смоленская и Черниговская. Русскими послами были отвергнуты предложения о более тесном союзе Польши и Москвы, а также требования поляков, чтобы титул московского царя писался не «царь всея Руси», а «своя Руси», так как Михаил не владеет всею русской землей.

С этих пор начинается большее сближение московских людей с иностранцами. Из Западной Европы прибыло голштинское посольство, описанное известным Олеарием; в Германию послан был переводчик Захария Николаев за мастерами медноплавильного дела; многие иноземцы получили привилегии на торговлю и на устройство заводов, несмотря на протесты и недовольство русских промышленников; немцам было отведено место для кирки; иноземные

солдаты стали составлять необходимую принадлежность русского войска и т. д. Правительство продолжало монополизировать в свою пользу разные виды торговли (например, торговлю льном, производство селитры и т. п.) и отдавать разные ремесленные и иные занятия на откуп (например, занятия извозным, дегтярным, квасным промыслом, сборы на мостах и перевозах и т. д.). Крепостное право все развивалось. Преследование разбойников (суздальско-костромская шайка Толстого и др.) и фальшивомонетчиков, которым стали заливать горло оловом, приносило немало хлопот московскому правительству. Защита южных границ от набегов татар вызвала постройку укрепленных гг. Тамбова, Козлова, Пензы, Симбирска, Верхнего и Нижнего Ломова и др.

В конце царствования Михаила поднят был вопрос об Азове. В 1636-37 гг. донские казаки взяли Азов; крымский хан, побуждаемый султаном, грозил Москве войною; созвали собор, стали готовиться к войне. В начале 1641 г. под стенами Азова явились турки, осадили его и почти разрушили азовские стены пушечными выстрелами, но казаков из Азова выбить не могли. Казаки, видя, однако, что им одним не владеть Азовом, били челом Михаилу, прося его принять город под свою власть. Для решения этого важного вопроса вновь был созван собор в самом начале 1642 г. Мнения на соборе разделились: дворяне стояли за принятие Азова и за вчинание войны с турками. Гости и торговые люди не были за войну; люди низшего чина отдавались на волю царя, но все жаловались на свое печальное экономическое положение и разорение. Несмотря на то, что решительно за войну высказалось из 195 членов собора 152, правительство решило Азова под свою власть не брать и войны не начинать. Посла турецкого Чилибея приняли с честью и тогда же послали казакам приказ возвратить Азов туркам. В Турцию были отправлены послы с дарами и уверениями в дружественном расположении московского правительства. Раздраженные казаки удалились из Азова, но грозили, что уйдут с Дона и будут беспокоить персиян.

В самом конце царствования Михаила в Москве шли переговоры о браке царской дочери Ирины с принцем датским Вольдемаром. Принц Вольдемар прибыл в Москву в 1644 г., но не пожелал принять православия, хотя его всеми силами побуждали к перемене веры и отпустили на родину только в царствование Алексея Михайловича.

В то же время шли переговоры с польскими послами, Стемповским и др., о выдаче самозванца Лубы, прибывшего с посольством в Москву. Польские послы ни за что не хотели выдавать невольного самозванца, ссылаясь на его невиновность. Во время этих переговоров в ночь на 13 июля 1645 г. Михаил Федорович скончался, должно быть, от водяной болезни. Когда в 1616 г. Михаила задумали женить, он выбрал дочь бедного дворянина, Марию Ивановну Хлопову, но брак расстроился. В 1624 г. Михаил женился на дочери князя Владимира Тимофеевича Долгорукова, Марии. Через 4 месяца она умерла, быть может, от отравы. Во второй раз Михаил женился в 1626 г. на дочери незнатного дворянина — Евдокии Лукьяновне Стрешневой. От нее он имел сына Алексея, дочерей — Ирину, Анну и Татьяну. В юных годах у Михаила Федоровича умерли: сыновья — Иоанн и Василий, дочери — Пелагея, Марфа, Софья и Евдокия.

Михаил Федорович был задумчив, кроток, послушлив, тих и религиозен. В делах государственных и личных им руководили близкие люди. Эти люди, как и соборы земских московских людей, поддержали Михаила Федоровича, с 1625 г. принявшего титул самодержца, дали ему возможность выйти из затруднительного положения и несколько облегчить тяжелые раны, нанесенные московскому царству «лихолетьем», «розрухою» Смутного времени.

Кроме общих сочинений по истории, в которые вошла история царствования Михаила Федоровича (Арцыбашев, «Повествование о России», доведено до 1698 г.; Соловьев, «История России», т. IX; русская история Карамзина, Полевого и Иловайского не доведена до времени царя Михаила Федоровича), существует монография Верха «Царствование Михаила Федоровича» (СПб., 1832); пользоваться ею нужно с большою осторожностью. Важны отдельные работы: П. Островского «Историко-Статистическое описание первоклассного кафедрального Ипатьевского монастыря» (1870) и статья Хрущова в «Древней и Новой России» (1876 г, № 12 «Ксения Ивановна Романова», с портретом царицы).

(Энциклопедический словарь.

Изд. Брокгауза и Ефрона,
т. XIXА, СПб., 1896.)

П. Н. Полевой

**ИЗБРАННИК БОЖИЙ
(ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ
НАЧАЛА XVII ВЕКА)**

I НЕЖДАННАЯ ВЕСТЬ

Зима 1601 года была суровая и стала очень рано. Еще с конца октября закурили в поле метели, задул суровый северяк, озера и реки подернулись ледком таким, что лошадь с дровнишками держать на себе стали; а немного спустя нагрянули такие морозы, что к Михайлову дню^[1] и снег умяли, и мосты по болотам да по топям намостили, и такой-то стал первопуток гладкий да славный, что хоть куда по нему поезжай. Везде ровень-гладень, везде путь-дорога: кони по ней без кнута бегут, сани сами катятся. И словно поманил первопуток мужиков с теплой печи на дорогу; всюду по узким проселкам и по широким прямоезжим дорогам потянулись к белокаменной Москве обозы за обозами, а о бок с ними поплелись православные, пожимаясь в своих худеньких зипунишках, попрыгивая с ноги на ногу в коротеньких валенцах, похлопывая новыми рукавицами, нахлобучивая на уши косматые шапки ушастые... Высоко задрали голову кабатчики и харчевники — почуяли поживу обильную. «Хошь сто верст пройдешь, а нас не минеши. К нам вашу братию мороз красный нос волей-неволей загонит, заставит раскошелиться!» — думали они про себя, поглядывали с крылечка на нескончаемые обозы, припасая корм для коней и всякую немудрящую снедь для добрых людей, которых выгнала на мороз нуждушка горькая либо поманила корысть востроглазая...

Как раз дня за два до Михайлова дня большой обоз, саней в двадцать, поскрипывая полозьями, подъезжал по Троицкой дороге к подмосковному селу Рахманову.

Около возов, запряженных сытыми крестьянскими конями, шли и мужики-молодцы, один другого здоровее, ражие да красивые... Все молодежь как на подбор! А всех-то краше был тот, что шагал около обозного старика хозяина: малый лет двадцати, кровь с молоком, кудри кольцами из-под шапки лезут, а подбородок да щеки румяные чуть-чуть еще темнорусою бородкой опушаются. Пригож и красив был этот молодец, да не плох был и тот высокий, бородатый старик, что шел с ним рядом: на полголовы молодца того повыше и в плечах пошире, с живыми быстрыми глазами, он смотрел бодрее всех в обозе и, видимо,

менее всех своих спутников тяготился трудностями далекого пути, несмотря на то что нес на богатырских плечах своих седьмой десяток. Широко шагая около своего сивого и дюжего мерина, старик хозяин, не переставая вести беседу со своим молодым спутником, то и дело оглядывался назад, на остальных возчиков и покрикивал то одному, то другому:

— Эй, Сеня, чего там ворон считаешь! Аль не видишь, что у карехи седелка на боку!...^[2] А ты чего зазевался, Мишук? Потяни супонь-то покрепче!... Да помахивай, ребята, помахивай — до тепла недалечко... Вон дымки-то Рахмановские за косогором по небу стелются!...

И он указал кнутовищем вдаль на показавшиеся из-за косогора верхи крыш села Рахманова.

— И то, до тепла-то поскорей бы добраться не мешало, — проговорил, пожимаясь и покряхтывая, молодой спутник старика, — а то уж меня мороз-то и сквозь полушубок пробирать стал...

Старик посмотрел на него искоса с насмешливой улыбкой.

— Ишь, тоже! Туда же, мерзнет, ровно боярчонок!... Очень тебя твоя женушка, моя доченька, забаловала, занежила!... Да вот постой: тут на самом краю, как въедешь в село, мой давний приятель, Кокша Семен, харчевню держит, к нему и подкатим всею гурьбой... Небось найдется у старого плута чем нас и обогреть, и накормить...

Немного спустя весь обоз полегоньку сполз с косогора и, побрякивая колокольцами, подошел к крайней огромной избе, с высокою кровлей и обширным крытым двором, у ворот которого стоял и хозяин постоянного двора, приземистый, обрюзглый, краснорожий мужик, лет за пятьдесят.

— К нам, к нам, гости дорогие! К нам заворачивай! У нас щи горячи, каша масляная! — начал было он обычное причитание, низко кланяясь и снимая шапку с косматой головы.

И вдруг, взглянув в лицо старика-хозяина, смолк, словно воды в рот набрал, и попятился к крыльцу.

— Здравствуй, здравствуй, Семен Иванович! — приветливо крикнул старик харчевнику. — Аль не узнал старого приятеля! И всего, кажись, год не видались...

Но Семен Иванович ничего не отвечал на приветствие и, допятившись наконец до крыльца, стал подниматься на ступени,

видимо собираясь уйти в дом.

— Ну, ну, отворяй, что ль, ворота! Отворяй — не держи. И так прозябли!...

— А ну вас к шуту! — пробурчал вдруг хозяин, хватаясь за кольцо калитки. — У нас на дворе нет для вас места!

Старик и глаза вытаращил, и руки расставил от удивления.

— Да что ты! Никак угорел! Иль не видишь, что это все романовские холопы?... Или и меня не признал, Ивана Сусанина!

— Чаво не признал! Вестимо, признал, да нету вам места — вот и сказ весь! — огрызнулся харчевник, хлопнул калиткою и задвинул ее засовом.

Иван Сусанин с добродушной улыбкой оглянулся на товарищей, порядочно-таки озадаченных выходкою харчевника, и проговорил как будто в оправдание ему:

— Видимо, к Михайлову дню пиво варил, да лишнюю ендову^[3] хлебнул... Угар еще в голове бродит... Ну, да что ж нам ждать — поедем дальше! Тут что ни изба, то харчевня!

И весь обоз двинулся далее и остановился у следующей избы. Хозяин ее, стоявший с соседом у ворот, видел издали, как принял заезжих гостей Семен Кокша, и потому не спешил распахнуть ворота, а предпочел сначала вступить с Сусаниным в переговоры.

— Вы, братцы, откедова? — спросил он осторожно.

— Сам видишь откедова! С поля да с мороза... Впускай скорей в избу, там расспросишь, — уже с некоторою досадой ответил ему Сусанин, начиная отвязывать повод от дуги.

— Да нет, старина, ты погоди выпрягать... Вишь, как вас много: мне, пожалуй, вас в избе и не поместить будет. Люди незнамые, боязно...

— Да какие ж незнамые! Бог с тобой, братец! Об эту пору, а не то к Рождеству, я тут ежегодно обозы моим боярам гоняю. А Романовых бояр кто же на Руси не знает!

— Так вы романовские! — как-то особенно многозначительно протянул харчевник.

— Ну да! Романовские холопы, из-под костромских вотчин запас им везем! — подтвердил Сусанин, не вникнув в смысл заданного ему вопроса.

Но харчевник и руками замахал:

— Нет, нет, голубчики! Ступайте, ступайте дальше! У меня для вас места нет: княжего обоза ждем!

И тоже юркнул в калитку.

— Да что они тут, белены, что ли, объелись, живоглоты проклятые! — воскликнул Иван Сусанин, пожимая плечами, и тронул своего мерина с места.

Но, к величайшей своей досаде и крайнему изумлению, он встретил такой же недружелюбный прием и еще от двух-трех следующих харчевников, наотрез отказавшихся впустить их и во двор, и в избу, и только один из них указал на другую сторону улицы и сказал Сусанину:

— Вон, попытайте разве к Арефьичу постучаться. Авось тот вас пустит: которую уж неделю без постояльцев сидит... Чай, у него животы подвело.

Сусанин с обозом двинулся к Арефьичу, постучал в его ворота кнутовищем — и на пороге калитки тотчас явился сухощавый, корявый мужичонка, с жидкою бородкой, в рваном зипунишке, без всяких расспросов распахнул ворота и, низко кланяясь Сусанину, проговорил скороговоркой:

— Милости прошу с холоду в наше тепло, Божьи люди!

— Насилу-то на крещеного напали! — проворчал Сусанин, поворачивая своего мерина в ворота и въезжая под дырявую крышу двора.

Полчаса спустя кони у обозников были выпряжены и, прикрытые рогожами, привязаны к столбам двора, все романовские холопы сидели в низкой и темной избе Арефьича, теснясь на узких и грязных лавках около плохого стола, на который хозяйка Арефьича поставила корчагу пустых щей да жбан жиденького квасу, а рядом с корчагою положила две больших ковриги ржаного хлеба, пододвинула деревянную солонку и подала два ножа да с дюжину крепко потертых и почерневших ложек.

— Не взыщите, голубчики! — говорил при этом скороговоркою хозяин, также суетившийся около стола. — Хлеб-то у нас с мякиной. Да и щи-то тоже, чай, не по вкусу вам... Мы к дорогим гостям необычны, всех у нас богатеи наши отбивают, вон Кокша Семен, да Нилка Журавль, да...

— Ну, что пустое мелешь! — перебил его Сусанин. — В дороге какой уж взыск! И с мякиной хлебушка поедим. У нас ведь и свой домашний в возах-то есть, да так замерз, что его и не угрызть... Хлебом нас не удивишь — мы, слава Богу, у наших бояр всем сыты и довольны!

— А кто же ваши бояре будут? — спросил хозяин, помаргивая своими маленькими глазками.

— Мы романовские... Из костромских ихних вотчин с запасом на Москву едем. Чай, Романовых бояр знаешь?

— Романовых? — протянул Арефьич. — Да это какие же Романовы? Опальные, что ли? Аль другие?

У Ивана Сусанина густые брови сурово сдвинулись. Он поднял голову и, смерив Арефьича глазами, проговорил строго:

— Кабы я не в твоём тепле да не за твоим столом такое бы слово от тебя услышал, так я бы только глазком своим ребятам мигнул, — от тебя и от твоей избенки праху бы не осталось!

— Да что ты? Что ты? Братан крестовенький! — затараторил хозяин, напуганный и взглядом, и словами Сусанина. — Вы, значит, дальние, до вас и не дошло! Не знаете вы, значит, о боярах своих?

У Сусанина и ложка из рук выпала; все спутники его тоже переполошились.

— Да что же? Что с боярами нашими приключилось? Какая беда на них стряслась? Говори скорее! — крикнул Сусанин, поднимаясь с лавки.

— А как тебе сказать, уж, право, и выговорить-то страшно! Наше, вестимо, дело сторона, а слух такой с Москвы идет, что на них опала царская. За приставы^[4] все взяты... Именье все и животы^[5] на государя отписаны, а их холопов приказали ни укрывать, ни на службу принимать... Вот почему и богатеи наши тебе ворот не отперли!

Слыша это, спутники Сусанина поднялись из-за стола и окружили хозяина плотною гурьбой.

— С нами крестная сила! — шептал Сусанин, крестясь и слушая невероятные речи харчевника. — Что такое, откуда на наших бояр туча грозная нагрянула?

И он в недоумении оглядывался на своих спутников, молча стоявших кругом его.

— Да вот постой, постой, стар человек! Вот кто тебе лучше моего рассказать сумеет! — проговорил вдруг юркий харчевник и метнулся в сторону, к полатам, с которых свешивался край грязной овчины и торчали две босые ноги.

— Эй, дядя! А дядя! — стал кого-то кликать Арефьич, привстав на приступок у печки и хватаясь за одну из этих босых ног. — Дядя, вставай скорее!

— А? Что? Чаво тебе? — послышался чей-то хриплый спросонья голос.

— Вставай, вставай скорее!... Добрые люди тебя спрашивают, землячки твои.

— Земляки? — И спавший на полатах заворочался и стал с них медленно и осторожно спускаться, пожимаясь и почесываясь и по пути натягивая на себя зипунишко.

— Костромской тоже, — шепнул Арефьич Сусанину, мотнув головою в сторону человека, который наконец спустился с полатей и стал около лавки, протирая глаза и оглаживая густую бороду с проседью.

— Батюшки! Да никак Степанушка! Степан Скобарь? — воскликнул Сусанин, протягивая руки земляку.

— Сусанин? Староста домнинский? — отозвался Степан. — Вот встреча-то! Привел Господь где столкнуться!

И старики поздоровались по-приятельски и присели на лавку, между тем как молодежь все еще стояла и не смела присесть за стол без Сусанина.

— Изволишь видеть, бос и наг на родину бреду! — проговорил Скобарь, показывая свой зипунишко. — Да и тому-то рад, что цел ушел. Не знаю сам, как вынес Бог.

— Да что случилось-то, скажи, сделай милость? — нетерпеливо перебил Сусанин.

— Беда, друг, неминуемая! Словно гроза Божия на наших бояр обрушилась! Молнией выжгло, громом побило бы — легче было бы, кажись...

— Да где бояре-то?

— За приставами, по тюрьмам все... А Федор-то Никитич да князь Иван Черкасский и в застенке побывать успели... Боярыня в монастыре, тоже за решеткою посажена, и детки с нею...

— И Мишенька, любимчик наш? — дрогнувшим голосом спросил Иван Сусанин.

— И Мишенька с сестрицей, и все их родичи, приятели, знакомцы...

— А мы с тобой, Богдаша, — обратился Сусанин к красавцу-зятю, — мы-то Мишеньке салазки нарядные везли в гостинец!

— Не до гостинцев им, брат, теперь, горемычным! — грустно сказал Степан. — Не богаче они нас с тобою! Добро их разграблено: кое в казну, кое и мимо, по рукам пошло... Именье и животы боярские на государя отписаны... А что уж нам, холопам, претерпеть пришлось и от приставов, и от стрельцов, и от подьячих — и вспомнить страшно! Кажется, все батожье, что было на Москве, об наши спины обломали, допрашивая нас да добиваясь меж нами предателей... Да ничего поделать не могли: изветчиков-то не нашли, хоть били, и пытали, и голодом морили нас... Вот покажи, мол, против бояр своих!... Ну, невтерпеж пришло — кто мог, ушел. Пустились в беги, и я тоже к вам на родину иду.

— Да за что же? За что такая напасть? — воскликнул Сусанин, хватая крепко Скобаря за руку. — Скажи, за что?

— Никто не знает... А так, между речей допросных, можно было понять, что обвиняют бояр наших в злых умышлениях на царя Бориса, на его государское здоровье. Коренья, будто, какие-то в их кладовых объявились: Бартенев-ключник и донес.

— Злые люди, значит, обнесли их, да и коренье лютое им в улику подкинули? — догадался Сусанин.

— Уж не иначе как так, — печально проговорил Скобарь, разводя руками. — Мы ли своих бояр не знаем.

Оба старика в унынии опустили головы.

— Но как же теперь быть? Как мне-то быть? — заговорил немного спустя Сусанин. — Куда же мне-то с их боярским добром деваться?

— Да коли хочешь доброго совета моего послушать, — сказал Степан Скобарь, — так придется тебе теперь же поворотить оглобли... Если вздумаешь добратся до Москвы, как раз ярыжкам^[6] в лапы угодишь. Добро боярское попусту загубишь, да и сам-то тоже уйдешь ли цел от лиходеев? Пожалуй, ничем не побрезгуют, чтобы только напитать свою утробу ненасытную.

Сусанин опустил голову на руки, посидел с минуту в раздумье, потом поднялся с лавки и, крестясь на иконы, произнес дрожащим голосом сквозь слезы:

— Помилуй, Господи, бояр наших!... Избави их от всякой муки и напасти... Спаси и сохрани в бедах...

И, опустившись на колени, положил земной поклон; его примеру последовали все его спутники. Затем Сусанин поднялся, отер полою слезы, навернувшиеся ему на глаза, и сказал:

— Ну, братцы, видно, последние времена пришли... Видно, придется стонать русской земле и терпеть великие беды, когда у лиходеев на наших бояр Романовых руки поднялись... Быть бедам, быть бедам!...

И могучий старик, потрясенный глубоким горем, опустился на лавку в тяжком унынии.

II В СЕВЕРНЫХ ДЕБРЯХ

Серенький и очень прохладный денек, прохладный для июня месяца, чуть не в самые Петровки, близился к полудню. Солнце, скудное лучами, то скрывалось за облаками, серыми и холодными, то выглядывало из-за них ненадолго и обдавало ярким светом Мурьинский погост^[7] на Беле-озере, широкий водный простор и темную, мрачную полосу старого хвойного леса, который местами сплошной массой надвигался на самый берег, так что сердитые волны обмывали, плеща и шумя, корни прибрежных вековых сосен и елей...

Мурьинский погост был из бедных бедным поселком в том крае. Пять-шесть рыбацких хижин лепились по отлогому скату берега, выдвинув к самому берегу черные бани. Крошечная церковочка, в виде пятистенка, с высокою двускатною кровлей, украшенной небольшою главкою, крытою чешуйками, с деревянным же покосившемся крестом наверху. Рядом с церковью попов дом, крытый соломой, и еще две избы, обнесенные одним общим частоколом. Вот и весь поселок. А если добавить к этому еще два гумна на задворках, да три-четыре амбарушки, да с полдюжины рыбацких челнов на берегу, около которых на перевесищах постоянно сушились всякие рыболовные снасти, то мы получим полную, законченную картину этого жалкого уголка, заброшенного в дикой лесной глуши за Белым озером, — уголка, забытого всеми и как бы созданного для забвенья.

Как раз около полудня мурьинский поп, старик лет шестидесяти, стал снаряжаться на озеро за рыбой и кликнул внука, шустрого мальчонка лет двенадцати, своего постоянного спутника в поездках по озеру.

— Вася, а Вася! Тащи-ка весла на берег, да захвати кошелку для рыбы, и прикормку не забудь... Я за тобою следом...

А сам, по давнему своему обычаю, заглянул в старые, рукописные святцы, в которых вел на полях запись важнейшим событиям своей немудреной жизни, и прочел: «Мученицы Феклы, Марфы и Марии^[8]; преподобного Кирилла Александрийского; преподобного Кирилла Белозерского...»

Сбоку было приписано: «В сей день присланы к нам на житье, по указу великого государя, опальные: князь Борис Черкасский с супругою, боярыня Ульяна Романова, боярышня Анастасия Романовых же, да боярчонок Михаил Федоров, младенец, с сестрою Татьяною, отроковицею».

Рядом было приписано: «Великий улов рыбы в канун сего дня».

«Вот оно что! — подумал старый поп. — Значит, год завтра минет, как в ссылку к нам бояр прислали... Время-то как летит!... Вот и попытаемся мы сегодня закинуть около сухмени, где прошлым годом улов-то был богатый!»

И, весь поглощенный мыслью о предстоящей ловле, старик натянул на плечи суконный кафтан, перекрестился на иконы и вышел на крылечко. Здесь он бережно стащил с крыши свои заветные удочки, прихватил сачок и направился мимо церкви к берегу.

«Э— э! Да вот и сам князь Борис никак тут и есть»,-сказал про себя поп, поравнявшись с церковью.

— Что, князь Борис, на солнышко погреться пришел? — окликнул он издали высокого и худощавого мужчину, в суконном колпаке и поношенной суконной однорядке^[9], сидевшего на песчаном бугре, под откосом берега.

Князь оглянулся на старика попа и, обменявшись с ним поклоном, сказал:

— Где уж нам на вашем солнце греться... Мы к другому солнцу привычны.

— Не обжился еще, князь! — добродушно заметил поп. — А вот как с наше проживешь здесь, так и полюбится.

— Спасибо на добром слове, — с горькой усмешкою отозвался князь и, чтобы переменить разговор, спросил:— Знать, на озеро собрался?

— На озеро... Вишь, в святцах у меня записано, что в прошлом году об эту пору был улов богатый у меня... Вот и хочу я попытать сегодня закинуть на боярчонок счастье, на Мишенькино.

— Что же, попытай! Вон они на берегу с Танюшей около челнов в песочке роятся, камешки собирают.

И он проводил попа глазами до челнока, уже сдвинутого в воду внуком, посмотрел, как он в него уселся, уложил у себя под рукою

снасти и, ловко подгребая внуку веселком, направил челн к длинной гриве камышей, черневшейся в полуверсте от берега.

— Танюша! Миша! — крикнул потом князь, поднимаясь с бугра. — Пойдемте-ка домой!... Чай, тетка-то уж обедать собирает.

— Бежим, бежим, дяденька! — зазвенели снизу серебристые голоски детей, и князь не успел еще пройти и двадцати шагов, как его нагнала девочка, лет восьми, русоволосая, быстроглазая и худенькая, и с нею румяный и курчавый мальчик, лет пяти, которого она тащила за руку.

— Пойдем, пойдем скорее, Миша! — торопила его девочка. — Покажи-ка дяде, что мы с тобой набрали!

— Дядя, дядя, посмотри-ка! — радостно крикнул мальчик, теребя князя за полу его однорядки и показывая ему камешки и раковинки, которых он успел набрать полную шапку.

— Смотри какие, дядя! — пояснила девочка. — Все разноцветные: и черные, и серые, и красные... А в раковинках все улитки сидят.

— Улита, улита! Высунь рога, дам пирога! — пресерьезно проговорил мальчик, присматриваясь к одной из раковин.

Князь улыбнулся.

— Не сули ей, Миша, чего у тебя самого нет. Мы с тобой и сами больше года пирогов в глаза не видим, — сказал князь, трепля мальчика по щечке.

Между тем они подошли к избам, огороженным частоколом, вошли калиточкой во двор и уже подходили к крылечку, когда дверь в избу распахнулась и из нее вышла на крылечко миловидная девушка, лет восемнадцати, в старой полинялой ферязи^[10] брусничного цвета и в поношенной телогрейке, накинутой на плечи.

— Вот и тетя Настя идет за нами! — весело закричали дети и побежали навстречу своей любимой тетке, родной сестре их отца Федора Никитича Романова и его братьев, разосланных в дальние ссылки.

— А и точно за вами послала княгинюшка! — проговорила мягко Настасья Никитична, лаская деток. — Боялась, что похлебка у ней простынет, грибная, славная такая уварилась! Да и блинцы ржаные перестоят.

— Идем, идем! — сказал князь, ускоряя шаг.

В избе, переделенной деревянной перегородкой, было и тесно, и бедно, хотя чистота царила повсюду поразительная. Притом и тепленько было, и воздух был наполнен запахом печеного хлеба, который стряпуха под наблюдением самой княгини вынимала из печи, и ароматом грибной похлебки, от которой клубом валил пар.

— Ну, слава Богу! Все в сборе! — проговорила, добродушно улыбаясь, княгиня Черкасская, полная и все еще красивая женщина, лет под сорок. — Одной Уляше неможется — лежит бедняжка... Извелась совсем, тоскуя по мужу, по братцу Александру Федоровичу... Ну, Танюша, читай молитву.

Танюша прочла молитву, и все сели за стол, покрытый чистою, но грубой браниной, и стали кушать из одной общей деревянной чашки, похваливая похлебку в честь и утеху хозяйке. Особенно охотно ели дети, набегавшиеся с утра, и княгиня, любуясь на них, не раз их гладила по головке.

— Кушайте, кушайте, детушки, на здоровье, — приговаривала она, пододвигая им ломти хлеба. — Там ведь у нас еще только блинцы ржаные с гороховым кисельком.

Когда стряпуха подала на стол эту вторую перемену, князь только посмотрел на деревянное блюдо, на котором блинцы лежали стопками, и на глиняную латку с киселем — и отвернулся, поморщившись.

— Аль нелюбы, голубчик? — спросила его княгиня, ласково прикасаясь к его руке.

— Припомнилось мне, матушка, — сказал ей князь, понижая голос, — что этого кушанья, бывало, и холопы не едали на нашем московском подворье.

— Э-э, милый! То на Москве, а то на Беле-озере... Мы и за этакую еству Бога благодарить должны..." А помнишь ли, как нам вначале пристав-то наш, злодей, и Мишеньке с Танюшей молочка не давал, в яичках им отказывал, пока его по царскому указу не образумили?... Да и почем ты знаешь, есть ли у братца Федора Никитича да у сестрицы Ксении Ивановны и такая-то еда?... Им, горемычным, каково?...

Танюша вдруг обратилась к тетке-княгине с вопросом:

— А где же теперь батюшка с матушкой? Когда мы к ним поедем?

— Далек они от нас, нескоро до них доедешь! — с грустью проговорила Настасья Никитична, закрывая лицо руками.

Дети взглянули на нее и разом расплакались неутешно.

— Полно, полно, детушки! — ласково заговорила княгиня, привлекая к себе и Мишу, и Танюшу, и целуя их нежно. — Вот погодите: скоро от царя указ придет, чтобы всем нам немедля отсюда к маме ехать... Озером на лодьях и поедем. А от мамы уж и до отца недалеко — рукой подать...

И так ласкала их и уговаривала, пока не отвлекла внимания их от мысли о тягостной разлуке с отцом и матерью и не сманила их на двор порезвиться и побегать.

Когда дверь в сенички захлопнулась за детьми, княгиня обратилась с укором к сестре Настасье Никитичне.

— Ну как тебе не грех, разумница? Детей сбиваешь с толку: напоминаешь им о наших бедах и горе! Что же ты, как и Ульяна, выше Бога, что ли, хочешь стать? Его ли святой воле не хочешь покориться? Он, чай, лучше нас с тобой знает, чем наградить нас, чем покарать...

— Сестрица, голубушка! — проговорила, всхлипывая, Настасья Никитична. — Ох, уж тошненько приходится! Во всем нужда, во всем недостача! Обувь с ног валится, платьишко с плеч просится, заплаты на нем положить, и то нечем! Намедни у пристава Христом Богом конец холста деткам на рубахи просила — и того не дал!... Ох, горе, горюшко лютое!...

И она пуще прежнего залилась слезами.

— Всякое горе переходчиво, так думать надо, сестрица! — спокойно продолжала княгиня. — Бог даст, и над нами воссияет солнце красное... Ну что же? Пожили мы в холе, в богатстве, в радости светлой, должны пожить и в горести лютой, не гневя Бога. Так ли, соколик? — обратилась она к мужу, заглядывая ему своими умными и добрыми глазами в самые очи.

Князь не выдержал ее взгляда, обнял и поцеловал ее.

— Утеха ты наша! — проговорил он, растроганный. — Кабы не ты, что бы и было с нами!

— Ладно, ладно! Слыхала уж это я... Ну, теперь, Настасьюшка, давай-ка со стола собирать! — заговорила княгиня, поднимаясь с места и поспешно принимаясь за уборку. — А там, Настасьюшка, не мешкая, засядем детские обноски штопать для Мишеньки с Танюшей.

И обе сестрицы деятельно погрузились в заботы и хлопоты своего бедного домашнего быта, забывая среди них о своем общем горе. Они и не заметили, как промелькнул за делом часок-другой, и уже

сбирались звать деток в избу, как их веселый крик и говор раздался на крылечке и в сенях. Дверь распахнулась настежь, и Миша с Танюшей, покрасневшиеся, с радостью вбежали в избу с криком:

— Смотрите, дядя с тетей, что нам несут! Смотрите, какую рыбу!

Действительно, следом за ними переступил порог избы Вася, попов внук, и с поклоном подал князю корзину, из которой торчала голова и свешивался хвост огромного леща.

— Вот это дедушка тебе шлет... Приказал сказать, что на Мишенькино счастье закидывал, так вот этого леща вытащил. А тут еще с десятков окуней под ним. Страсть сколько ноне рыбы нам попало...

— Ай да отец Петр, — какой мастер! Поди ж ты! — сказала княгиня, принимая от мальчика рыбу. — Кланяйся ему от нас, скажи, что мы благодарим его за дорогой гостинец.

— Ладно, скажу, — ответил мальчик и скрылся за дверью.

— Ай да Миша! Какой счастливчик! Смотрите-ка, какая ему на долю рыбина досталась! — продолжала княгиня, поглаживая курчавую головку Миши, который все не мог оторваться от принесенной рыбы. — Вот у нас на завтра какой обед богатый: и уха из окуней, и лещ на жареное. Ну, муженек, пожалуй, завтра за обедом и ты от деток не от станешь — не уступишь своей доли?

Князь улыбнулся на намек жены, а дети настояли на том, чтобы им было дозволено самим снести попов гостинец на показ больной тете Ульяне.

Княгиня Марфа Никитична посмотрела им вслед и проговорила, как будто про себя:

— Вот так-то и все в жизни: за горем радость, за слезами смех. Не нам дано жизнь строить, нам дано ее сносить.

* * *

Дальше, гораздо дальше Мурьинского погоста, на сотни верст севернее его, в дремучих заонежских лесах заброшен другой, еще более бедный и ничтожный погост Толвуйский, в который сослана

была несчастная мать Миши и Танюши, супруга именитого боярина Федора Никитича Романова, Ксения Ивановна. Вдали от Онежского озера, окруженный непроходимым диким бором, погост этот лежал, что называется, на краю белого света. Едва проходимый, узкий проселок упирался в этот погост, но не шел дальше: идти было некуда. Дальше шли только лесные тропки, по которым в нескончаемую лесную глушь решался проникать лишь смелый зверолов, знакомый с лесными знаменьями и руководимый своею чуткою лайкой.

Общий вид погоста был еще более жалкий и убогий, чем в Мурьине: и церковочка крошечная еще беднее, и население еще меньше, а жизнь его временами даже совсем замирала (в ту пору, когда мужики-звероловы уходили в леса, оставляя дома только баб да детей) и несколько пробуждалась только дважды в году, когда наезжали в Толвуй пять-шесть кулаков-скупщиков — забирать у толвуйцев пушной товар, выменивая его на всякую всячину.

И в этой— то заглохшей, дикой трущобе злые люди заключили молодую женщину, знатнейшую из боярынь московских, избалованную удобствами и роскошью жизни, разлучив ее с горячо любимым супругом, с детьми, со всеми дорогими и милыми ей людьми, со всеми радостями жизни. Разлучили, даже лишив всякой надежды на то, что она когда-нибудь к этим радостям вернется, даже отняв у ней право этими радостями пользоваться, потому что накануне ссылки ее насильно постригли в монахини, а ее супруга силою принудили произнести иноческий обет: царский родич и из бояр боярин, Федор Никитич Романов обратился в смиренного инока Филарета, а его супруга, боярыня Ксения Ивановна Романова, в смиренную инокиню Марфу.

И вот уже более года протекло с тех пор, как она была поселена в своем далеком заточении, погребена заживо в эту могилу... Уже более года она жила в четырех стенах своей тесной кельи, темной избы, заменившей ее светлый, разукрашенный, боярский терем, и никого не видела, кроме бабы-старухи, приставленной к ней в виде прислуги, и того пристава, который привез ее в Толвуй.

Этот верный и сановитый господин дважды в день считал своею обязанностью заглянуть в избу невольной затворницы. Сначала приотворит дверь из сеней и, не снимая шапки, просунет голову и всю избу окинет беглым взглядом; потом отворит дверь настежь и войдет

важно-преважно, шапку с головы снимет, но голову задерет высоко-превысоко и раза два козырем обойдет избу, заглядывая во все углы. Потом обернется к бабе-стряпухе и непременно скажет ей наставительным тоном:

— Смотри, печь соблюдай, чтобы инокиня не угорела, грешным делом. — И выйдет, притворив за собой дверь.

Эти посещения единственного живого лица были так однообразны, так неизбежно повторялись в одни и те же часы дня, что инокиня Марфа давно уже перестала их замечать, как и вообще не замечала той однообразной смены ежедневно повторявшихся явлений, которая и составляла ее печальную действительность. «Бысть утро, бысть вечер — день первый»^[11], и день второй, и день сотый, и эти дни тянулись перед ее очами, как нечто серое, мутное, неопределенное и нескончаемое... «Вчера» ничем не отличалось от «сегодня», «сегодня» от «завтра» и так далее, и так без конца и края, словно ее в закрытом наглухо возке везли и везли по какой-то нескончаемой дороге, на которой даже и скрипа полозьев не было слышно, даже и толчки, и ухабы не давали себя чувствовать... Одним словом, она переживала то ужасное нравственное состояние, которое часто следует за каким-нибудь ужасным несчастьем или целым рядом оглушительных ударов судьбы, не заслуженных человеком, — состояние, когда все силы духа замирают и вся нервная деятельность человека притупляется до того, что внешние впечатления как бы перестают существовать для страдальца и скользят мимо него неслышными и незаметными тенями.

Несчастливая инокиня, которая каким-то чудом перенесла все пережитое, упустила даже возможность жить воспоминаниями о минувшем. Она как будто все, все забыла, и ей не только наяву не вспоминалось прошлое, но даже и в сонном мечтании не представлялось ничего, что могло бы вывести ее из тяжелого оцепенения, освободить ее хоть на время от невыносимого гнета, лежавшего у ней на душе. И тогда, когда благодетельный сон ненадолго смежал ее усталые веки, она не видела снов, а видела только отражение той же, в течение дня пережитой действительности: баба-стряпуха возилась у печки, сверчок трещал где-то в углу, пристав ходил козырем по избе, пар валил с мороза в избу сквозь приотворенную им дверь в сени... И только.

Все, что составляло для нее когда-то радость, свет, счастье, утеху жизни, умерло для нее, отошло куда-то в неизвестную даль, потонуло в непроглядном тумане и хаосе того, что представлялось человеку смертью... Ей казалось, что умер у нее муж, умерли дети, умерли родные и близкие и она одна осталась на земле, осужденная тянуть какую-то нестерпимую муку... И вот все будущее ее, все цели и стремления ее души сводились теперь только к одному вопросу: «Да долго ли еще? Да будет ли конец?»

Величайшем счастьем для нее (можно даже сказать — спасением) было бы такое потрясение, которое заставило бы ее плакать и сокрушаться о том, что она утратила, но такого потрясения быть не могло... Если бы ее пришли известить о смерти мужа, детей, близких и дорогих людей, она бы даже удивилась этой странной вести: они для нее давно уже умерли... Все умерло! И она сознавала, что ее слезы уже давно иссякли и что никакое горе не заставит ее более плакать. Но этого мало: и самая молитва — та горячая, чудная молитва, в которой она когда-то так любила изливать свою душу, — здесь, в заточении, в далекой ссылке, как бы изменилась, иною стала... И утром, и вечером, на сон грядущий, становясь на колени перед иконою, инокиня Марфа по привычке, по безотчетному сознанию какого-то долга читала молитву, кланялась и крестилась, но слова молитвы представлялись ей какими-то не вполне понятными звуками... Ее уста эти слова произносили, а ей казалось, словно они доносятся к ней откуда-то издалека, как доносится иногда до нас песня, — и звучны, и слуху льстят, но не внятны, незнакомы эти звуки и не шевелят нашего сердца, не хватают за живые его струны.

Так жила она, томясь жизнью, одинаково равнодушная ко всему, и дожила до лета 1602 года — до лета, которое заглянуло в Толвуй не раньше Петровок...

III ЛУЧ СВЕТА ВО ТЬМЕ

Случилось как-то, что старуха-баба, прислуживавшая инокине Марфе, невыносимо наредила в избе, и притом как раз в такое время, когда обычно заглядывал в избу пристав. Тот заглянул и тотчас раскричался на старуху, а к инокине Марфе обратился со словами:

— Изволь-ка выйти на крылечко... Да побудь там, пока я здесь чад выпущу в сени... А то еще угоришь, и мне из-за тебя в ответе не быть бы...

Она повиновалась беспрекословно и вышла на крыльцо — и странное вдруг испытала ощущение... Это был первый ее выход с начала весны; солнце светило ярко, от леса тянул легкий ветерок, насквозь пропитанный смолистым ароматом сосен и елей; птички, какие-то малюсенькие краснозобые птички, превесело перепархивали с куста на куст, с дерева на дерево, старательно и неутомимо выводя и высвистывая свои незатейливые, но гармоничные песенки.

Инокиня Марфа присела на крылечке и даже сама себе удивилась: она и птичек заметила, и даже песенку их как будто запомнила... И у ней на мгновение мелькнула в сознании мысль: «Птички сюда издавека летели, и на Белом озере были...»

— Ступай-ка в избу, там теперь чаду нет, — раздался над нею голос пристава, и его слова прервали нить ее мыслей на полуслове.

Она машинально поднялась и, не оглядываясь кругом, вернулась вновь в свою могилу. И ей даже на память не пришли те мысли, которые были навеяны на нее щебетанием птичек.

После этого прошло еще около месяца. И вдруг произошло нечто совсем необычайное: пристав не явился как-то ни разу в день. Не явился и на другой день... Даже инокиня Марфа это заметила и уже собиралась о нем спросить, как вдруг дверь отворилась настежь, и в избу, без шапки, вошел пристав и не стал ходить козырем вокруг да около, а стал около притолоки навтыжку и пропустил в избу какого-то другого мужчину средних лет и благообразной наружности. В руках у того был какой-то свиток.

— Это, что ли, инока Марфа? — спросил новоприбывший вполголоса у пристава.

— Она самая и есть, — отвечал пристав. — Изволь-ка встать, — продолжал он, обращаясь к затворнице, — государева указа слушать...

Она поднялась с лавки так же машинально, как тогда по приказу пристава поднялась с крылечка, и приготовилась слушать, совершенно равнодушная к тому, что ей собирался читать неизвестный посланец государя.

«Куда же меня сошлют? В Соловки, в Пелым?» — смутно мелькнуло в ее сознании.

И она стала слушать, не вникая, почти не отдавая себе отчета в словах, долетавших до ее слуха.

— А посему изволил великий государь, — громогласно читал посланец, — по неизреченному своему милосердию и благодати, изменника своего жену, Ксению Иванову, а в иночестве Марфу, помиловать... приказать ее из Толвуйского заонежского погоста отправить на Бело-озеро, где сосланы живут ее, Марфы, дети, да его же, изменника государева, сестра и зять... а оттоле всех их вкуче сослать, не разлучая, в Юрьев-Польский уезд, в вотчину Клин, что прежде было Романовых, а ныне на него, великого государя, отписана.

«Что это он читает? Зачем он издевается надо мной? Зачем мучает?» — зашевелилось на душе у инокини Марфы.

— Слышала, чай? — нетерпеливо спросил пристав, удивленный молчанием несчастной и недоумением, которое выразилось на ее лице.

Но тот, что читал указ государев, по-видимому, понял тягостное внутреннее состояние инокини Марфы; он стал неторопливо и спокойно истолковывать ей прочтенное. Когда он ей объяснил, что ее приказано везти на Бело-озеро и разрешено ей жить с детьми, она вдруг страшно вскрикнула и как сноп повалилась на землю.

— Ну-у! Наделал дела — растолковал! — воскликнул пристав и бросился приводить несчастную в чувство.

Когда же она наконец очнулась и вполне пришла в себя, тогда стала Христом Богом молить, чтобы еще раз был прочитан указ государев, и посланец его прочел и добавил даже, что везти ее приказано из Толвуя немедленно и чтобы она была готова в путь завтра спозаранок.

И вот в тот день вечером, после того как окончены были ее немудреные сборы в дорогу и весь ее бедный скарб был связан в два небольших узла, — она в первый раз после поселения своего в Толвуге

молилась сознательно, горячо, молилась, влагая всю душу свою в слова молитвы, и когда дошла до молитвы «Утешителю, Душе Истинный», то почувствовала какую-то необычайную сладость на душе и потом на щеках своих что-то жгучее, горячее... И эти первые слезы после нескончаемо долгого нравственного оцепенения сняли камень с души ее: она проплакала всю ночь, и эта ночь была одною из счастливейших в ее жизни.

* * *

Лето шло к концу. «Илья» был на дворе. С Бела-озера начинали подувать резкие и холодные ветры, а утром и вечером все видимое из Мурьинского погоста пространство озера заволакивалось густыми туманами. Княгиня Марфа Никитична уже не выпускала Мишеньку и Танюшу на берег иначе, как после полудня, пока еще хоть немного пригревало солнышко, да и то нарядив детей в теплые кафтанчики, которые она выхитрила и выкроила им из своей старой камчатой ^[12] телогреи, а сестрица Настасья Никитична с Ульяной Семеновной сшили деткам.

Всех мурьинских опальных немало удивляло одно, недавно проявившееся условие их одинокой и горемычной жизни в далекой ссылке: их пристав, человек придирчивый и мелочный в исполнении своих обязанностей, как-то вдруг изменился к лучшему в своих отношениях к Романовым и Черкасским. Бывало, прежде он пребывал безотлучно в Мурье, следил за каждым шагом князя и княгини, ворчал даже на выходы в церковь, урезывал отпускаемые на содержание им запасы и вступал в препирательство с князем и княгиней из-за каждого пустяка. Но после одной недавней поездки в Белозерскую обитель вдруг почему-то смирился и смягчился в своих отношениях к ссыльным, стал реже являться к ним на глаза и избегать с ними неприятных столкновений. Сверх того, и отлучаться из Мурьи стал чаще прежнего и в отлучках оставался дней по пяти и даже по неделе.

— Что за притча такая? — говаривала не раз мужу княгиня Марфа Никитична. — Пристав наш совсем к нам иной стал! Уж не пришел ли

ему какой указ через обитель? А то игумен его тамошний не пристыдил ли?

— Да, да! — соглашался с женой князь. — Совсем иной... И точно будто даже нас сторониться стал. А прежде ведь как, бывало, наскакивал, за частокол носу высунуть не давал...

— Ну пока что... а и за это благодарение Богу, — говаривала обыкновенно княгиня.

И князь пользовался своей свободой и каждый день перед обедом выходил на бережок, садился на свой излюбленный бугор и, вперив взоры вдаль, глядя туда, где над линией водного пространства чуть-чуть чернела узкая полоска берега, уносился мыслями к родной Москве, раскинутой по своим живописным холмам, к ее златоглавым храмам и островерхим башням, к ее движению и шуму, над которым господствуя, разносится вширь и вдоль чудный звон ее бесчисленных колоколов. И куда как горько становилось у него на душе, когда от этих своих мечтаний, от воспоминаний о былом житье-бытье он вынужден был переходить к окружавшей его жалкой и бедной действительности. Внизу о плоский и песчаный берег уныло и гулко плескалось серое и холодное озеро; солнце, тускло светившее из-за серых облаков, не оживляло его волн ни блеском, ни красками; невдалеке угрюмые рыбаки тянули сети, мерно ударяя по воде шестами, чтобы загнать рыбу в мотню невода... Все пусто, все серо, все грустно!

Так же точно сидел князь Борис на своем излюбленном бугре и в канун Ильина дня и думал по-прежнему свои невеселые думы на тему о суете и тщете всего мирского, когда к нему подошел отец Степан и, после разных предварительных подходов и толков о погоде и об улове рыбы на озере, вдруг перешел к предмету разговора, который, очевидно, очень его и занимал, и тревожил.

— Вот тут позавчерась странничек один мимо проходил, в Глухоозерскую пустынь пробирался... От нашего погоста до нее еще верст с полсотни, по болотам да по островинам тропочка пролегает...

Старик поп приостановился, откашлялся, оглянулся по сторонам и, присаживаясь к князю на бугор, проговорил:

— Так вот он, этот самый странничек-то, предиковинное рассказывал...

— Что же бы такое? — спросил князь. — Эти странники из конца в конец земли ходят, должны многое и видеть, и слышать...

— Да уж и такое предиковинное, что даже и в ум не вмещается... Мы, конечно, люди темные, а вот ты человек бывалый и книжный, тебе виднее...

— Да что виднее-то? Что он тебе сказывал?

Старик наклонился к князю и почти шепотом проговорил:

— Сказывал... будто антихрист в Литве за рубежом родился...

Князь Борис посмотрел в недоумении на отца Степана.

— Да ведь ты же, по писанию, должен знать, что это перед кончиной мира будет!

— Ну, вот он, странничек-то, говорит, будто уж и об этом знаменья разные объявились...

— Кабы знаменья, так повсюду на земле были бы видимы, — попытался возразить князь Борис.

— Оно точно, что могли бы быть видимы, — таинственно продолжал поп-старик, опять понижая голос, — да, вишь ты, царь и бояре о знаменьях никому не приказали сказывать...

— Ну, это что-то на лжу похоже, отец Степан.

— Нет, погоди так говорить: послушай, что он дальше сказывал...

Попу, видимо, не терпелось: хотелось поскорее всю душу выложить перед князем Борисом.

— Сказывал, будто антихрист этот самый в образе Дмитрия-царевича родился...

— Какого Дмитрия-царевича?

— А Углицкого... Что в Угличе убит злодеями... [\[13\]](#)

— Да как же так? Тут убит, а там опять родился? — сказал князь.

— А вот поди же ты! Враг-то силен... И родился, и грамоту царю Борису прислал. Пусти, говорит, меня доброю волей на прародительский престол... А не пустишь доброю волею...

— Дядя, а дядя! — раздались с берега звонкие детские голоса. — Глянь-ко, глянь, какое суденко на озере!

Князь глянул по указанию деток и, точно, увидел вдаль, верстах в двух от берега, какое-то суденко, которое резво бежало под парусом, подгоняемое по волнам свежим ветерком.

— Стружок бежит нездешний, — сказал отец Степан, приглядываясь попристальнее. — Такие вот по Щексне ходят.

Между тем детки подбежали к князю с расспросами.

— Это что же белое, дядя, — спрашивала Танюша, — точно крыло у птицы?

— Отчего оно идет так скоро? -любопытствовал и Миша.

Князь Борис постарался удовлетворить любопытство племянников, а между тем суденко уже обратило на себя внимание рыбаков и еще кое-кого в поселке.

Из двух изб посмотреть на диковинное суденко вышли и бабы, и дети.

— Нездешнее судно, шехонское, — толковали между собою рыбаки. — А нос сюда держит.

Появление такого судна в Мурьинском плесе озера, по которому сновали только челны местных рыбаков, было, конечно, явлением чрезвычайной важности. Немудрено, что и князь поднялся с места и направился к дому, чтобы оповестить о судне жену-княгиню и своячниц. И пристав, до которого уже весть о судне успела дойти, вышел из своей избы и степенно стал спускаться на берег.

«Нет ли тут чего такого... касающего? Вестей каких не везут ли?!»— думал он, собираясь уже принять кое-какие меры на случай.

Тем временем струг подошел уже и саженьях в пятидесяти от берега стал спускать парус. На нем нетрудно было различить даже лица тех пяти человек, которые на струге находились. Вскоре со струга закричали рыбакам:

— Давайте челны! Нам за мелководьем к берегу не причалить!

— Подайте сначала один челн, — распорядился пристав, — а там видно будет.

«И что за люди? И чего им здесь надо?»— думал он не без тревоги, выжидая, когда незваные гости высадятся на берег.

Но все опасения его развеялись, когда к берегу причалил челн, а из него вышел его старый знакомец, вологодский подьячий Софрон Шабров, и, облобызавшись с ним, на вопрос «Откуда Бог несет?» ответил:

— Из Толвуя, с боярыней Романовой плыву и тебе о твоих боярах указ везу.

— Что? Что такое, братец? Говори скорее!

— А то, дружище, что и тебе с насиженного гнезда сниматься надо: приказано их в Юрьев-Польскую вотчину отправить.

— Всех вместе? — воскликнул пристав.

— Всех, как есть!

— Ну, наконец-то избавил Бог от здешней медвежьей стороны... Так что же? Прикажи свою боярыню свезти сюда же поскорее.

Приказ был тотчас отдан рыбакам, чтобы ехали за инокиней и привезли бы ее вместе с приставом на берег. Но между тем как происходил этот разговор и отдавали приказ рыбакам, ни пристав, ни его приятель Софрон Шабров не заметили, как мальчик и девочка, стоявшие невдалеке от них среди группы крестьянских детей, вдруг отделились от нее и бегом пустились по песчаному откосу берега к дому.

Шустрая и сметливая Танюша успела из беседы приятелей уловить несколько слов, которые показались ей настолько важными и многозначительными, что, по ее соображениям, необходимо было тотчас же сообщить тете и дяде и непременно тете Насте.

— Пойдем, побежим скорее! — шепнула она Мише, который ничего не успел расслышать и ничего не сообразил, но побежал следом за Танюшей и, судя по ее озабоченному, деловому виду, готовился услышать от нее что-то важное.

— Что он говорил? — спрашивал он неоднократно у сестрицы на бегу; но та только рукой от вопросов отмахивалась и прибавляла бега.

Раскрасневшаяся, запыхавшаяся вбежала она в избу и, прежде чем кто-нибудь успел на нее обратить внимание, одним духом выкрикнула:

— Дядя! Тетя! От царя за нами на суденке люди приехали!... Указ привезли... Нас в другое место и нашего пристава в другое место... А маму сюда!

Миша, не желая отстать от сестрицы, тоже тревожно доложил:

— От царя приехали... на лодке приехали... — и решительно не знал, что следует ему сказать дальше.

— Ох, таранта! — с добродушным укором сказала княгиня. — Ну что ты путаешь? Ну где ты это слышала?

— Там слышала, — настаивала Танюша. — Чужой пристав с нашим приставом говорил!... Пойдите сами посмотрите! Спросите их!

Произошло невольное и общее волнение, все всполошились, все заговорили разом, все собрались выйти из дома и посмотреть, что там на берегу творится.

— Ступай-ка опять, да разузнай все хорошенько! — озабоченно заговорила княгиня Марфа Никитична.

— И я! И я! И мы с тобой тоже! — закричали Миша и Танюша, и вслед за князем все население боярской избы высыпало за частокол, а князь, держа детей за руки, чтобы они не очень спешили и горячились, направился к тому месту берега, где пристав стоял около челнов с Софроном Шабровым.

В то время когда князь Борис, спустившись с откоса и понемногу все ускоряя и ускоряя шаг (потому что и его охватило какое-то невольное волнение), подходил к озеру, челн, подталкиваемый рыбаками на шестах, подплывал к берегу. В нем, кроме двоих рыбаков, князь различил еще какого-то плотного мужчину с темною, окладистою бородою и женскую фигуру в темной одежде. Вот рыбаки в двух сажнях от берега вылезли из челна в воду и, облегая его, поволокли на себе по прибрежному песку. Потом, почтительно и бережно поддерживая под руки своих седоков, высадили их на берег...

Тут только князь разглядел, что черты лица этой женщины знакомы ему... сердце екнуло у него, но он не смел еще верить глазам...

Однако приезжая уже заметила его и детей и опрометью бросилась к ним навстречу с распростертыми объятьями:

— Детушки! Детушки мои дорогие! — воскликнула она, едва сдерживая душившие ее рыдания.

— Мама! Мама! — звонко крикнули детки и, вырвавшись у князя, понеслись ей навстречу.

IV И РАДОСТЬ — НЕ В РАДОСТЬ

Прошло еще три года, и на Руси совершилось много важных событий. Царь Борис вступил в борьбу со смутой, которая ополчилась против него в лице загадочного Лжедмитрия, прикрывавшегося тенью невинно загубленного Углицкого страдальца. В самый разгар борьбы Борис умер, передав бразды правления в слабые руки юного Федора^[14], который попытался продолжать борьбу далее; но измена поднялась отовсюду, грозный враг одолел — и Федор Борисович пал в борьбе^[15]... Все это совершилось так быстро, что на окраинах Московского государства еще не успели получить вести о кончине царя Бориса, как уже дьяки и подьячие опять сидели за работой и наспех писали во все концы Русской земли о кончине царя Федора Борисовича и о вступлении «на прародительский престол законного, прирожденного великого государя Дмитрия Ивановича^[16]».

Нескоро доходили эти важные вести и до отдаленных городов, лежавших на востоке и севере Руси; еще дольше, еще медленнее проникали они в отдаленные поселки и обители, лежавшие в глухих местах. Потому и немудрено, что даже и тот дьяк, который был новым государем отправлен в Антониев Сийский монастырь «с тайным делом», приехал в эту дальнюю обитель уже по первопутку и, надо сказать правду, насмерть перепугал старого игумена Иону.

— Ты, старче, кого в церкви Божией за службой поминаешь? — спросил игумена дьяк, едва переступив порог обители и предъявляя ему свои полномочия.

— Как кого? Вестимо, господин дьяк, поминаю, кого нам указано: по преставлении царя Бориса, поминаю законного его наследника, великого государя Федора Борисовича, и мать его Мар...

Дьяк резко перебил его на полуслове.

— Изволь это тотчас отменить и поминать ныне благополучно царствующего, законного государя Дмитрия Ивановича. Вот тебе о том и указ от патриарха Игнатия.

Игумен вдруг изменился в лице: крайнее смущение выразилось в его широко открытых глазах, губы шевелились без слов и язык «прильпе к гортани»^[17]... Он долго не мог оправиться от своего

волнения, не мог произнести ни звука, не решался даже принять патриаршей грамоты, которую ему протягивал дьяк.

— Что же ты? Читай грамоту...

— Не... не см...е...ю читать, го-го-спо-дин дьяк! — пробормотал игумен Иона, заикаясь от страха. — Не ведаю, о каком патриархе ты говорить изволишь... У нас господин патриарх Иов поминается.

— Ну был Иов, а теперь Игнатий!^[18] Был царь Федор, да волею Божьею помре, ну и теперь стал царем Дмитрий на Москве! Русским тебе языком говорят...

— Дозволь узнать, господин дьяк, — как-то особенно смиренно и принижено заговорил игумен Иона, запуганный строгим дьяком, — и патриарх Иов тоже волею Божьею...

— Нет, не Божьею, а царскою волею сведен с патриаршего престола и заточен в Отарицкий монастырь. Да читай же грамоту: там все написано!

Совершенно оторопевший и растерявшийся старик игумен взял наконец грамоту, стал ее читать — и дьяк видел, как тряслись его желтые сморщенные руки. Дочитав грамоту до конца, игумен положил ее на стол, перекрестился на иконы и, обращаясь к дьяку, сказал более спокойным голосом:

— Что еще приказать изволишь, господин честной?

Дьяк полез за пазуху и вытащил другой столбец.

— Здесь у тебя в обители находится сосланный Годуновым опальный боярин Федор Романов, в иночестве Филарет...

— Находится, господин дьяк, и коли дозволишь правду тебе сказать, солоно всем нам от него приходится... Ох, как солоно!

Дьяк прищурил глаза, всматриваясь в лицо игумена, и процедил сквозь зубы:

— А почему бы так?

— Уж привередлив очень... Ничем-то на него не угодишь. Приказано нам было, чтобы у него в келье малый жил, как бы для услуги, нам чтобы его речи знать, и тот малый ему полюбился и стал от нас речи утаивать. Мы этого малого из его кельи взяли, а на место его старца Иринарха к нему послали; а он, изменник государев, на того старца и прогневайся.

— Не изволь государеву родню таким словом обзывать, коли в ответе быть не хочешь! — строго заметил дьяк.

— Да какая он родня государю Федору Борисовичу! — возразил было растерявшийся игумен.

— Не Федору Годунову, которого в живых нет, а нонешнему, природному государю Дмитрию Ивановичу. И вот указ государя о том, чтобы инока Филарета из заключения здешней обители освободить, у пристава Воейкова из-под начала взять и представить на его государевы очи.

Тут уж игумен Иона до такой степени растерялся, что только поклонился дьяку и развел рукой, как бы желая этим сказать: «Твоя, мол, воля! Что хочешь, то и делай!»

— Веди же ты меня к нему немедля — указ государя ему объявить. А там уж от дальнего пути не грех отдохнуть.

— Пожалуй со мною, господин дьяк, — заторопился игумен Иона, очень довольный тем, что он хоть как-нибудь мог наконец избавиться от этой тяжелой беседы и скрыть овладевшее им смущение.

Он повел дьяка через монастырский двор, обстроенный пятью-шестью избами и не везде огороженный городьбою, местами развалившеюся, местами, очевидно, растасканною на топливо. На пути, у одной из изб, государева дьяка встретил пристав Воейков, суровый, высокий и худощавый человек. Низко кланяясь, он уступил дорогу в сени игумену и дьяку и поспешил отворить дверь из сеней в избу, служившую кельей Филарету.

Переступив порог избы и перекрестившись на иконы, дьяк увидел перед собою ссыльного инока, стоявшего у окна с толстою писанною книгой в руках. Дьяк отвесил ему низкий поклон и невольно вперил в него изумленный взор...

Перед ним стоял высокий мужчина, лет под шестьдесят, сильно поседевший и исхудавший за последние годы тяжелой ссылки, но все еще прекрасный собою, осанистый и величавый. Большой ум светился в его темных живых глазах, которые по временам загорались ярким пламенем и приобретали дивную, чарующую, подавляющую силу.

Густые, серебрившиеся сединою волосы волнистыми прядями спадали ему на плечи из-под простой черной скуфейки, а окладистая борода спускалась почти до половины груди на потертую и поношенную черную рясу...

Но могучая, прекрасная фигура Филарета производила в общем такое сильное впечатление, что нельзя было под этою убогой одеждой,

среди этой убогой кельи не угадать большого боярина, человека властного и гордого, привыкшего повелевать и внушать к себе уважение. Ответя спокойным кивком головы на поклоны дьяка, Филарет, вероятно угадавший в нем посланца издалека, отложил книгу на аналой и устремил на дьяка пытливый, вопрошающий взор.

— К твоей милости с указом государевым, -заговорил дьяк, совсем не тем тоном, каким он говорил с игуменом Ионой.

— Читай, готов слушать.

Дьяк развернул столбец и стал читать указ великого государя Дмитрия Ивановича о том, что он, радея о благе всех своих родичей, повелеть соизволил всех бояр Романовых, а в том числе прежде всех Федора Никитича, в иночестве Филарета, из ссылки вызвать в Москву, возвратить им сан боярский и все отнятые у них поместья и вотчины. Филарет слушал чтение дьяка с сосредоточенным вниманием, ничем не выказывая волновавшие его чувства. При имени «великого государя Дмитрия Ивановича» густые брови его сдвинулись на мгновение и в глазах мелькнуло что-то странное — не то удивление, не то презрение, — но он не перебил дьяка ни одним вопросом, не справился об участии Годуновых, как игумен Иона... Даже не выказал радости ввиду освобождения от ссылки и заточения.

Дьяк кончил чтение и с поклоном подал указ Филарету, а тот указ принял и сказал только:

— Благодарю Бога и великого государя за милость ко мне.

Дьяк помялся на месте и решился задать вопрос:

— Когда тебе угодно будет ехать? Мне приказано просить тебя пожаловать в Москву без всякого мотчанья^[19] и не мешкая нигде в пути.

— Отдохни с дороги, — благосклонно ответил Филарет, — а я к пути всегда готов.

И опять ни в голосе его, ни в выражении лица не было ни тени волнения, радости или тревоги... Но зато и на игумена Иону, и на пристава Воейкова смотреть было жалко — так они вдруг опешили, принизились и растерялись. Когда дьяк, отвесив Филарету поклон, направился к дверям вместе с игуменом, пристав не вытерпел, вернулся из сеней в келью и стал отбивать перед Филаретом поклон за поклоном, приговаривая:

— Милостивец, не погуби!... Если в чем согрубил — не погуби, не взыщи на мне, окаянном!

— Взыскивать с тебя мне нечего... Ты исполнял волю пославших тебя, — спокойно и твердо сказал Филарет. — Иди с миром.

Пристав не заставил себе повторять это ясно выраженное указание на то, что инок Филарет желал остаться наедине с самим собою; кланяясь, он попятился к двери и скользнул за нее ужом.

Но когда дверь за ним закрылась и Филарет остался один в своей убогой келье, он поддался вполне тому волнению, которое овладело им с первых слов выслушанного им указа и подавление которого стоило ему невероятных усилий воли. Он быстро подошел к окну, опустил на лавку, развернул царский указ и стал жадно пробегать его глазами.

«Великий государь Дмитрий Иванович! — шептал он про себя с улыбкой презрения. — Обманщик наглый... Ставленник польский и казацкий... И на престол попущением Божьим... И где слава, где мощь всесильного лукавством царя Бориса?... Темны и неизведаны пути Господни...»

И не льстили ему, не привлекали его те милостивые речи, с которыми обращался к нему новый «великий государь», дерзко и самовольно называвший его своим родичем, суливший все блага жизни... Ему легче было вспомнить обо всех ужасах перенесенной им опалы, разорения и ссылки, нежели о тех почестях, милостях и богатствах, которые ему предстояло получить из рук самозванного царя Московского, каким-то невероятным чудом вознесенного на высоту престола.

— Но как же быть? Что делать? Как решиться идти в обман и об руку с обманщиком? А если не идти, если презреть его...

Мысль о жене, о детях, о свидании с ними вдруг властно вторглась в эти рассуждения и помыслы и вызвала слезы на глазах подневольного отшельника.

— Детушки, детушки милые! — воскликнул он почти громко и не мог сдержать рыданий... Рыдая, опустил он на колени перед иконою Спаса, висевшей в углу, и стал молиться и плакать и изливать горячую исповедь души перед Богом, души, давно наболевшей от всех бедствий и зол, какие на него так обильно пролились за последние годы — на него, ни в чем не повинного и так страшно, так беспощадно испытываемого судьбою! И вот теперь, вслед за этими горестями и

бедствиями, надвинулась на него новая волна, против которой еще труднее будет устоять; будущее манит его счастьем, свиданием с родными и близкими, манит мирскими благами, от которых он успел отвыкнуть, которые научился презирать... Но для того чтобы достигнуть этого счастья и этих благ, надо было нарушить мир души своей, порвать со своею совестью, поклониться кумиру, который должно бы повергнуть во прах.

— Что делать, что думать мне? Куда стопы мои направить?! — скорбно взывал он в молитве своей, и луч света, озаривший душу его после долгого и восторженного умиления перед Всеблагим, указал ему, наконец, выход из этой тьмы противоречий, лжи и обмана...

— Кто знает пути Господни? Кто дерзнет похвалиться, что они ему ясны и видимы? Мирские блага меня теперь не соблазнят, и власть не привлечет меня, и суета не ослепит своим коварным блеском!... Нет больше во мне боярина Романова: он обратился в инока смиренного, и это смирение должно теперь спасти меня от соблазна... Эта ряса, которую надел я против воли, которую я ненавидел долго, как тяжкие оковы, с которою потом я свыкся и примирился, эта ряса, которую нельзя стряхнуть с себя и сбросить, как сбрасываем мы одежды мирские, — она теперь послужит мне броней против зол и соблазна, она мне не позволит занять места на пиршестве иезавелином... И если даже я только детей своих спасу от уз обмана и лжи, укрою от зла, — разве этого мало? Разве не стоит для этого идти туда, где зло водворилось, и зло и обман сносить до той поры, пока Господь не укажет ему предела, не потребит его гневом Своим?...

И он опять стал плакать и молиться, и просить у Бога сил и помощи в предстоящей ему борьбе, и молился долго... День уж вечерел, когда он поднялся с молитвы, успокоенный, примиренный со своею совестью и готовый вполне сознательно сказать себе:

— Да будет во всем Его святая воля!

V БУРЯ НАДВИГАЕТСЯ

Осень 1608 года стояла удивительно теплая, тихая, сухая. Сентябрь уж шел к концу, а лес еще стоял в полном уборе и блистал густою, ярко-золотистою, то огненно-красною, то багряною листвою. И дни стояли ясные, нежаркие, при той удивительной прозрачности воздуха и той поражающей ясности неба, которые свойственны только северной осени. И как бы в противоположность этой тихой осени богоспасаемый город Ростов — «старый и великий», как он некогда писался в грамотах, величався перед новыми городами Владимиро-Суздальского края, всегда спокойный, сонный и неподвижный, словно замерший среди своих старинных церквей и башен, — в эту осень сам на себя не походил... На улицах заметно было необычайное оживление и движение; на перекрестках, на торгу, на папертях церквей — везде граждане ростовские собирались кучками, толковали о чем-то, советовались, спорили, что-то весьма тревожно и озабоченно обсуждали. И в приказной избе тоже кипела необычная работа: писцы, под началом дьяка, усердно скрипели перьями с утра до ночи, а дьяк по многу раз в день хаживал с бумагами к воеводе Третьяку Сеитову и сидел с ним, запершись, по часу и более. И сам Третьяк Сеитов был тоже целый день в суете: то совещался с митрополитом ростовским Филаретом Никитичем, то с кузнецами пересматривал городскую оружейную казну, отдавая спешные приказания относительно починки и обновления доспехов и оружейного запаса, то обучал городских стрельцов ратному строю и ратному делу. Одним словом, на всем Ростове и на всех жителях его лежал отпечаток какой-то тревоги, беспокойства, ожидания каких-то наступающих бед и напастей. Это тягостное ожидание наполняло умы всех граждан, от старших и до меньших людей, и потому неудивительно, что главным предметом всех частных бесед, где бы они в это время ни происходили, были те же ожидания, те же страхи и опасения, грозившие бедою нежданною и неминуемою.

И вот в саду того дома, где в Ростове помещалась инокиня Марфа Романова со своими детьми, Мишей и Танюшей, и с деверем своим, боярином Иваном Никитичем Романовым, в один из этих прекрасных

и солнечных дней конца сентября 1608 года шла между Марфой Ивановной и Иваном Никитичем точно такая же беседа, как и всюду в Ростове, на площадях да перекрестках, на базарах и в домах.

— Час от часу не легче, — говорила, вздыхая, Марфа Ивановна, — одной беды избудешь, к другой себя готовь!

— Словно тучи, идут отовсюду беды на Русь, — сказал угрюмо сидевший около инокини боярин Иван Никитич, — и просвету между туч не видно никакого! Одна за другой спешит, одна одну нагоняет... Сама посуди: от одного самозванца Бог Москву освободил, — и году не прошло, другой явился, а с ним и ляхи, и казаки, и русские изменники... И вон куда уж смуту перекинуло: под Тушиным Москве грозят, обитель Троицкую осаждают да сюда уж пробираются, в Поволжье... Спаси, Господи, и помилуй!

— Да неужели они и сюда прийти могут? — тревожно спросила Марфа Ивановна, невольно бросая взор в ту сторону сада, откуда неслись веселые и звонкие детские голоса.

— Вчерась получены были вести, будто под Суздалем явились передовые отряды лисовчиков^[20]. А от Суздаля сюда далеко ли?... О, да эти змеи лютые всюду проползут!

— Да ведь и в Суздале есть воевода и при нем отряд изрядный, а во Владимире и зять наш Годунов, Иван Иванович, и рать при нем царская. Неужели не дадут отпора? Неужели допустят врага сюда?

— Как говоришь ты, сестрица, — не дадут отпора? И дали бы, да тут же рядом измена, за спиною у тебя. Везде-то шаткость, ни на кого надежды возложить нельзя, ни друга, ни брата, ни кровного. А ты об отпоре говоришь!

— Так как же быть, по-твоему?

— А по-моему так: заранее меры принять. Я так и брату Филарету говорил, — вот, к примеру, тебя с детьми я отослал бы, пока есть путь в Москву. Там все же вернее будет.

— Меня с детьми? А муж здесь чтобы остался? Нет, нет! Ни за что!

— Ну, так сама останься, а детей отпусти со мною. Я все равно сегодня в ночь поеду.

— Нет, и с детьми расстаться мне не под силу. Сколько муки натерпелась я в разлуке с ними.

— Мама! Мама! — зазвенели со стороны, из-под густых берез, серебрястые голоса детей. — Гриб нашли! Гриб нашли! Белый, хороший!

И Миша с Танюшей стремглав подбежали к матери, с торжеством подавая ей свою находку.

— Это я первая увидела! — утверждала Танюша.

— А я... А я его сломал! — оспаривал Миша.

— Ох, вы милые, дорогие мои! — обратилась, мать к деткам, обнимая их и привлекая к себе. — И ты, моя большуха глупенькая! Чуть не невеста уж, ведь тринадцатый годкопошел, а из-за гриба поспорить готова. И ты, моя надежда! Грибовник мой! Нет, не расстанусь я больше с вами!

И она обняла детей, стала их горячо целовать и в лоб, и в щеки.

— По нынешнему смутному времени, сестрица, так говорить— Бога гневить! Разве мы в себе вольны? Или ты забыла, как всех нас разметала гроза гнева Божия и вихрь разнес нас по лицу земли русской! Как цвет и гордость нашей семьи погибла? Брат Михаил — красавец, богатырь по силе — сошел в могилу, а я, больной и хилый, все перенес. Чем ты поручишься, что и теперь живем не накануне такой же беды? Вот я и думаю, что было бы неразумно испытывать судьбу, а следует позаботиться теперь же и упредить опасность.

— Мама, что такое дядя говорит? — пугливо прижимаясь к матери, проговорила Танюша. — Разве тут нам жить опасно?

— Нет, голубушка! Дядя не об нас и говорил... Ступайте с Мишей, поищите еще грибов: из одного не сварить похлебки... А где же пестун Мишенькин, где Сенька?

— Здесь я, матушка-боярыня! — раздался голос из-за крыльца, и к инокине Марфе подошел высокий и сухой мужчина, лет сорока пяти, с очень приятными чертами лица; глаза его светились добротой, и улыбка почти не сходила с уст его.

— Смотрел я, государыня, любовался, как господин воевода городских стражников мушкетной пальбе обучает... Видно, что он не на шутку воевать затеял, и тогда, пожалуй, точно врагам несдобровать будет... Жаль только, что наши мужики ростовские не заодно с воеводою думают.

— А ты почем их думы знаешь? — спросил Иван Никитич, недоверчиво озираясь на Сеньку.

— Как почему знаю? Я же на торгу ежеден толкаюсь и в храмы Божии хожу, а мужики теперь все горланами стали — не шепотом говорят.

— Что говорят-то? Ну? — нетерпеливо допрашивал Иван Никитич.

— А вот, одни-то, кто посмирнее, те жалобную песню поют: уж нам ли, мол, воевать, весь век на печи просидевши! Нам-де, людям мирным, торговым да пашенным, доспех пристал ли? Иной говорит — за весь свой век тетивы ни разу не натянул, меча из ножен не вынул... А кто посмелее, те уж прямо кричат: в нашем городе ни острога нет, ни наряда настенного; коли к нам ворог придет, надо супротив его не с рогатиной, а с хлебом-солью выйти!...

— Вот тут и говори об отпоре, сестрица! — с горькой усмешкой сказал Иван Никитич, поднимаясь с места и опираясь на трость. — И если ты не хочешь слушать моего совета — твоя воля! Только, чур, не спойся потом.

— Нет, братец, не могу, не в силах так поступить... Лучше всем вместе умереть, чем порознь жить и тосковать друг по дружке!

Иван Никитич пожал плечами и, не сказав более ни слова, заковылял к дому, а дети, которые все это слышали из-за ближайших кустов, где они спрятались, вдруг выскочили оттуда и бросились к матери на шею.

— Да, мамочка! Да! Лучше всем вместе, чем порознь жить! — шептала матери Танюша.

Но даже и ласка деток не могла согнать с чела инокини Марфы того темного облака, которое на нем нависло. Черные думы не давали ей покоя, и она не находила себе ни в чем ни утехи, ни просвета. Наконец, утомленная своими неразрешимыми заботами, она почувствовала потребность остаться наедине с собою и сказала Сеньке:

— Сведи-ка ты детей в Кремль, в митрополичий дом, сегодня, за недосугом, они еще у благословения родительского не бывали. А я тут стану братца в путь собирать.

Когда они ушли, а она осталась одна на той же лавке, в углу густого сада, который уже золотили и румянили лучи рано закатывающегося солнца, она погрузилась в думы о муже, о детях, о тех опасностях, которые могли их здесь ожидать, и старалась найти

хотя какой-нибудь утешительный выход из своего тягостного положения... Но в тот день ей не суждено было ни на чем успокоиться.

— Государыня, — раздался с крыльца голос сенной девушки, — холоп твой Степанка Скобарь просит, чтобы ты дозволила ему твоих очей видеть... Говорит, с вестями приехал.

— С вестями?-тревожно переспросила Марфа Ивановна. — Зови его скорей!

Степан Скобарь вошел в сад из горницы, спустился с крыльца и, подойдя к госпоже своей, отвесил ей низкий поклон, касаясь земли перстами.

— Съездил, матушка! Все разузнал, а только хороших вестей с меня не спрашивай. Беда кругом, куда ни глянешь.

— Был ли во Владимире? Говори скорей! Видел ли зятя, сестру?

— Где их видеть? Владимир передался на сторону Тушинского царя, и зять-то твой, Иван-то Годунов, сам с хлебом-солью к тушинцам вышел.

— Боже! Боже мой! Что это за время ужасное! — воскликнула Марфа Ивановна, всплеснув руками.

— И Суздаль в их руках! Там стали было противляться, да кожевник Меньшак Шилов всех сбил с толку: заревел вдруг в истощный голос, чтобы все, кто хочет жив остаться, царю Дмитрию пусть крест целуют. И все перепутались и стали целовать крест Тушинскому... И в Переяславле тоже! А ведь переяславцы нам, ростовским, первые враги. Ну, того и жди, что скоро сюда нагрянут: наш черед теперь на зубы тушинцам попасть.

— Ты и поклясться можешь, что все эти вести верны? — твердо сказала Марфа Ивановна.

— Слова лжи не вымолвил, — с уверенностью сказал Степан Скобарь. — Вот и крест целую.

Он полез за пазуху, вытащил свой тельник и поцеловал его.

Тогда Марфа Ивановна поднялась с места и направилась к дому. На крылечке хором ей встретился Иван Никитич, уже одетый в дорожное платье.

— Что, сестрица? Хороши ли вести тебе принес Степанка? — сказал он. — А Годунов каков? Хорош отпор он дал тушинцам? И неужели же ты и после того всего упорствуешь здесь остаться?

— Да, братец, теперь больше, чем когда-нибудь, я в этом убеждена, что мое место здесь, при муже и при детях!

— Пускай бы уж при муже! Ну, а детей-то на что же под обух вести?...

Марфа Ивановна молчала и спокойно глядела ему в глаза: он понял, что она приняла твердое решение.

— Ну, как знаешь. А мне пора, пока еще не все дороги отсюда перехвачены. Прощай, сестрица! Буду ждать всех вас на Москве, коли Бог даст свидеться.

Они молча обнялись и поцеловались, не сказав ни слова более на прощанье.

* * *

На другое утро, спозаранок, тревожно зазвонили колокола во всех ростовских церквях кроме кремлевских соборов. Не то набат, не то сполох... И все граждане, поспешно высыпающие из домов на улицу, полуодетые, простоволосые, встревоженные, прежде всего спрашивали у соседей при встрече:

— Пожара нет ли где?... А не то ворог не подступает ли?

— Ни пожара, ни ворога, а все же беда над головой висит неминуемая. Вести такие получены! — слышалось в ответ на вопросы, хотя никто и не брался объяснить, в чем беда и какие именно вести.

Между тем звон продолжался, толпы на улицах возрастали, а из домов выбегали все новые и новые лица: мужчины, женщины и дети. Кто на ходу совал руку в рукав кафтана, кто затягивал пояс или ремень поверх однорядки, кто просто выскакивал без оглядки, в одной рубахе и босиком или еще хуже того — об одном сапоге. Женщины начинали кое-где голосить, дети, перепуганные общим настроением и толками, кричали и плакали. Тревога изображалась на всех лицах и становилась общою.

— Да кто звонит-то? Из-за чего звонят? — спрашивали более спокойные люди, ничего не понимая в общей панике.

— А кто же их знает! Вот у Миколы зазвонили, и наш пономарь на колокольню полез.

— Да кто велел звонить?

— Ну чего вы к нам пристали! Не мы, чай, приказывали!

— Говорят, гонец приехал, вести привез — по церквам читать будут; ну вот мы у церкви и собрались. Ан, смотрим, и церковь на замке стоит, — слышится в толпе, собравшейся у церкви.

— Да вот постойте, постойте! Отец протопоп и сам идет!

Все бросаются к отцу протопопу с расспросами о вестях и о причине звона.

— Знать не знаю. И вестей никаких не получали, — отвечает отец протопоп в полном недоумении. — Расходитесь вы, благословясь, а я сейчас пономаря с колокольни спугну.

— Как нам расходиться после этой тревоги и страха смертного! Нам надо вести знать, — кричат в ответ протопопу с разных сторон.

— Где же я вестей возьму, коли у меня их нет? Ступайте к властям в Кремль, у них спрашивайте, — отзывается отец протопоп.

— А и точно, братцы. Пойдем к самому митрополиту да к воеводе: они должны знать — они на то поставлены.

— Вестимо, к ним! К ним! Туда! В Кремль! К митрополиту, к воеводе! Как им не знать! — раздались в толпе голоса и крики и, повторяемые другими толпами, привели к общему движению в одном направлении.

VI РОСТОВСКИЙ ПЕРЕПОЛОХ

Толпа, все возрастая, повалила к Кремлю, запрудила всю улицу перед входными воротами, произвела усиленную давку в широком воротном пролете и наконец хлынула в Кремль и залила всю площадь между соборами и митрополичьим домом, шумя и галдя. В толпе от времени до времени слышались возгласы и даже крики:

— Воеводу нам! Третьяка Сеитова! Пусть нам объявит, какие вести!

— Кто сказал, что вести есть? Кто? — раздалось где-то в стороне.

— Романовский холоп еще вчера с вестями приехал... А нам не сказывают! — крикнул вдруг кто-то во весь голос.

— Какой холоп? Какие вести?... Отца митрополита сюда, пусть он и с воеводою оповестит нам!

Крики становились все громче и громче и уже начинали сливаться в один общий гул, когда наконец на рундуке^[21] митрополичьего дома явились сначала дьяки, потом воевода Сеитов, высокий, плотный, здоровый мужчина, лет пятидесяти, с очень энергичными и выразительными чертами лица. Вслед за Сеитовым вышел и сам митрополит Филарет Никитич, в темной рясе и белом клобуке с воскрылиями, которые опускались ему на плечи и грудь. Мерно и твердо опираясь на свой пастырский посох, он остановился на середине рундука и величавым, спокойным движением руки стал благословлять толпу во все стороны.

Толпа разом смолкла. Шапки, одна за другою, поползли прочь с голов, а руки полезли в затылок, и те, что еще за минуту кричали и галдели, теперь присмирели и, переминаясь с ноги на ногу, не знали, что сказать, как приступить к делу.

Филарет обвел всех спокойным и строгим взглядом и произнес:

— Зачем собрались вы, дети мои? Какая у вас забота?

Этот вопрос словно прорвал плотину — отовсюду так и полились и посыпались вопросы и жалобы:

— Вести! Вести какие?... Воевода зачем их скрывает?... Хотим знать... Сказывайте, какие вести?...

Филарет обратился к воеводе и сказал ему:

— Сказывай им все, без утайки.

Воевода приосанился и громко, так громко, что слышно было во все концы площади, сообщил:

— Вчера, поздно вечером, романовский холоп привез нам вот какие вести: Суздаль враспloch захвачен Литвой и русскими изменниками. Нашлись предатели и в городе и не дали добрым гражданам простору биться с ворогами... Владимир предан тушинцам воеводою Годуновым, который, забыв страх Божий и верность присяг, не стал оборонять города, хотя и мог — и войска, и наряда, и зелья^[22] было у него полно... Переяславцы же и того хуже поступили: злым ворогам и нехристям, грабителям и кровопийцам навстречу вышли с хлебом-солью и приняли их, как дорогих гостей... Вот вам наши вести.

Воевода замолк — и толпа молчала, довольно-таки сумрачно настроенная. Потом слышались тут и там отдельные голоса:

— И Суздаль сдали, и Владимир на их сторону потянул, и Переяславль сдался... Надо и нам за ними... Одним где ж нам с такою силою справиться?

— Да чего и воевать-то? Где же нам в царях разбираться, — который правый, который неправый! — слышалось даже в передних рядах.

— Разбирать вам и не приходится: вам только присягу помнить надо! — строго заметил Филарет.

— Да ведь сила-то, отец честной, солонушку ломит! — заговорили в передних же рядах купцы.

— Так, по-вашему, сейчас и с хлебом-солью хоть к самому сатане, — крикнул воевода. — Возьми, мол, наши животы — оставь нас с головами.

— Да уж тут как ни храбрись — побьют. Одно слово — побьют, а потом пограбят — по миру пустят! — загалдели посадские. — Переяславцы-то давно на нас зубы точат — это нам довольно известно.

— А вы их в зубы да в загривок, — крикнул воевода, энергично размахивая здоровенными кулачищами, — вот и присмирят!...

— Да ведь хорошо бы, кабы с ними одними, а то их тут придет сила! — уныло покачивая головами, отвечали ему посадские разом.

— Ну что ж! И у нас есть сила! Тысячи две стрельцов и добрых ратных людей у нас наберется, — сказал воевода. — Подбирайте и вы

молодцов; коли наберете столько же, то я вам ручаюсь, что мы переяславцев с тушинцами и на порог не пустим! Вот в Гладком логу и встретим; да так-то угостим, что до новых веников не забудут.

Энергичная речь нашла себе сочувствие в толпе; раздались смешки и одобрительные возгласы; но уныние опять одолело.

— Где уж нам в поле выходить! Там и ляхи, и казаки, народ привычный к бою, народ-головорез! Тем и живут — с конца ножа... Нет, уж коли на то пошло, так уж лучше собрать животишки^[23], да бежать всем розно...

— Пока путь чист, в Ярославль переберемся! — поддакнули другие.

— Да, да! Чем тут голову под обух нести, лучше бежать загодя — спасти, что можно!

— Бежать от врага! Бежать всем городом! — раздались крики. — Стойте! Стойте!... Молчите! Отец митрополит хочет говорить!...

— Православные! — начал Филарет. — С душевной скорбью вижу я, что помыслы все ваши только о мирском. Заботитесь о животах, о жизни, о покое своем, бежать собираетесь... Почему не позаботитесь о Божьем! О храмах ваших, о святых иконах, о мощах угодников, о благолепном строении церковном, вами же и вашими руками созданном, из вашей лепты! Почему не вспомните могилы отцов и дедов и почивших братьев ваших! Или и это все возьмете вы с собою? Или и это все вы понесете в дар лютым врагам и скажете им: возьмите, разорайте, грабьте, оскверняйте, — только нас, робких, пощадите за смиренность нашу. Так что ли? Говорите, так ли?

Филарет обвел передние ряды вопрошающим взглядом; никто ни слова не проронил ему в ответ. Тогда он продолжал:

— Бегите же, маловеры! Спасайтесь, позабыв святой долг присяги, по которому вы за своего царя должны стоять до конца, до последней капли крови! Я не пойду за вами: я останусь здесь на страже соборной церкви, святых мощей, икон и всей казны церковной... И помните, что нет вам моего благословения.

Спокойствие и твердость этой речи произвели на толпу очень сильное впечатление. Раздались с разных сторон возгласы:

— О-ох, грехи! стыдно покидать святыню, это что говорить!... Насмеются над нами наши враги... Ох, кабы рать царская, кабы помочь откуда подошла!

Сеитов воспользовался этой минутой колебания и вдруг заговорил.

— Кабы чужими руками да жар загрести! Других бы подставить, а самим за чужую спину спрятаться! Этак-то, братцы, и всякий сумеет... Да и хитрость тут невеликая! Нет, вы сами покажите себя, сами рогатину в руки, да топор, да лом... Да станьте-ка стеною твердою: подступай, мол, кто смелее!... Так у ворога и руки опустятся!

— Это верно — что и говорить!... Смелый и ворогу страшен... Это точно! — раздалось в разных местах.

— А коли верно, так за чем же дело стало! В городской казне на всех оружия хватит: копьев, бердышей, сулиц, обухов, чеканов. И доспехов насбираем сотен пять: и сабель, и мечей найдется. Захотите драться — будет чем с лиходеем переведаться. Не захотите — путь вам не загорожу, ступайте. А я тоже от отца митрополита ни на шаг... Здесь жил, здесь служил, здесь и голову сложил...

В толпе поднялся невероятный шум, несмолкаемые крики, брань, переборы... Но смелые начинали преобладать, судя по возгласам и общему настроению толпы.

— Останемся... Стыдно бежать!... От беды трусостью не спасешься... И разор велик, и позор пуще того... Биться надо! Надо им отпор дать — чтоб неповадно было.

Несколько десятков более смелых пробились наконец вперед, к самому рундуку, и завопили:

— Давай нам оружие! Давай, готовы биться! Давай!

— Нет, братцы, так негоже, — сказал воевода. — Пожалуй, выйдет так, что оружие взяли, а сами и побежали... И останусь я и без бойцов, и без оружия... Нет, кто хочет с нами быть заодно, тот выходи да записывайся, да крест целуй, что ни государева, ни своего земского дела не выдашь! Тогда и приходи ко мне в оружейную казну.

— Бери с нас запись! Целуем крест! — закричали уже сотни голосов, и сотни рук поднялись в толпе.

— Вот это дело, это так! А ну-ка, добрые молодцы — направо, а сарафанники — налево! Разбивайся, что ли! И кто направо, те к записи ступай! Эй, дьяки! Готовьте всем запись учинить, кто только пожелает.

Толпа зашевелилась. В ней, среди гула и шума голосов, произошло усиленное движение, толкотня и даже некоторая давка, и затем она разделилась надвое: огромное большинство отхлынуло на

правую сторону, к «добрым молодцам», а меньшинство отошло налево, и притом меньшинство, действительно неспособное носить оружие: старые, убогие, недужные люди.

И теперь все уже спешили записываться наперерыв; записавшись, подходили под благословение митрополита и целовали крест из рук его, а затем становились особо в ряды. Дьяки едва успевали заносить имена в столбцы и дважды посылали подьячих в приказную избу за бумагой. Не прошло и двух часов, как на столбцах, покрытых записями, можно было уже насчитать более трех тысяч имен.

— Ну вот теперь, братцы, — обратился к новобранцам воевода, — теперь пожалуйте всем скопом к приказной избе за оружием; да из домов тащите что у кого есть — доспехи, шлемы, рубахи кольчужные... Теперь я знаю наверно, что мы у переяславцев отобьем охоту к нам в Ростов жаловать. За мной, ребяташки!

И он двинулся к приказной избе во главе толпы приободренных им ростовцев. Минула еще неделя, наступил и октябрь, а погода стояла все та же: теплая, тихая, сухая... На ржаных полях озимь выросла в колено, колос в трубку заворачиваться стал, а ни о снеге, ни о зиме и помину еще не было. Старики только головами покачивали, не пророча ничего хорошего на будущий год... Но зато детям было раздолье: они не сходили с улицы и, конечно, поддаваясь общему воинственному настроению горожан, всюду играли в войну, собирались ватагами, выбирали из себя двух воевод и разбивались на два отряда — на ростовцев и переяславцев, — выходили на площадь, сбивались, ходили друг на друга стена на стену и наполняли тихие улицы города веселым шумом и криком.

Такая же точно игра происходила каждый день в саду дома Романовых, где девятилетний Миша собирал около себя всех дворовых ребят и воеводствовал над ними, посылая их во все концы сада на розыск подступающего врага. К тому же Сенька ухитрился смастерить Мише рог, в который он трубил, сзывая своих ратников, и игра под руководством Сеньки шла настолько оживленно и весело, что Танюша, которую Марфа Ивановна сажала с утра за работу, не без зависти поглядывала на затеи братца Мишеньки из-за своих пялец. Любовалась не раз играми Мишеньки и сама Марфа Ивановна, отвлекаясь от тех скорбных дум и тяжелых предчувствий, которые ни днем, ни ночью не давали ей покоя, с самого отъезда Никиты

Ивановича из Ростова. Сядет она, бывало, на скамеечку под березами и любитесь на резвость и подвижность своего милого сынка, на его оживление и веселье...

— Хорошо бы, матушка, кабы и на войне вот так точно было, — заметил как-то раз Сенька, указывая своей госпоже на игры мальчиков. — Тогда, пожалуй, и ростовцы тоже храбрее были бы...

Сенька пользовался особенным доверием и милостями Марфы Ивановны и Филарета Никитича, потому что он вынес все тяготы ссылки в качестве слуги при Иване и Василии Никитичах, сосланных в Пелым. За обоими братьями он ухаживал как самая верная и преданная нянька, не отходил от них ни на час во время их болезни. Один из них — Василий Никитич — даже и скончался на его руках, а Иван Никитич, вернувшись из ссылки, указал Филарету Никитичу на Сеньку как на самого надежного пестуна для Миши, и надо сказать правду, что Сенька действительно вполне оправдывал лестный отзыв о нем довольно сурового Ивана Никитича. Он не только безотлучно находился при Мишеньке днем и ночью, не только следил за каждым его шагом зорко и неусыпно, но и по отношению ко всем в семье и доме Романовых оказывался чрезвычайно услужливым, внимательным и предупредительным. Вот почему и сама Марфа Ивановна охотно вступала с ним в разговоры, входила в обсуждение некоторых домашних вопросов и даже принимала его советы.

— А как тебе сдается, Сеня, — спросила его однажды Марфа Ивановна, любуясь на военные игры Мишеньки, — удастся ли воеводе отстоять Ростов от тушинцев?

Этот вопрос тревожил ее уже несколько дней сряду, — от него изныло и наболело ее сердце.

— А как тебе сказать, государыня, — сказал, подумавши, старый и верный слуга, — оно, конечно, победа дело Божье... На все Его воля... Ну, а все же мне сдается, что в открытом поле ему против тушинцев не выстоять. Хорошо, коли они его воинства испугаются да не полезут в битву... А коли полезут, тогда уж пиши пропало...

— Что ты это, Сеня! Да ты пугаешь меня!

— Правду-матку режу, не прогневайся! Да ты и сама изволь раскинуть умом-разумом: ну какие это воины у воеводы набраны, кроме городских стрельцов да служилых людей! Сегодня он пекарь — баранки в печку сажает, а завтра в поле вышел. А этот бондарь —

обручи на клепки нагоняет, а тут вдруг на коня сел. Смеху подобно. Таким ли воинам против Литвы да казаков выстоять? Опять и то скажу: коли бы у Ростова ограда была с башнями, да наряд на башнях, тут бы ростовцы за себя постояли, потому у них за спиной свой дом, своя семья. А в поле побегут как раз!

Такое мнение Сеньки о ростовских военных приготовлениях не могло успокоить тревоги Марфы Ивановны, и она все более и более поддавалась своему мрачному настроению. И вдруг поутру 10 октября зазвонили все колокола ростовских церквей, и в Кремле, и во всех концах, созывая ростовцев на защиту их родного города. В это время затрубили трубы, затрещали барабаны у приказной воеводской избы. По городу разнесся слух, что, по полученным сведениям, тушинцы и переяславцы уже двинулись в поход к Ростову. Все население высыпало на улицу: вооруженные переписные ратники вперемежку с плачущими и причитающими женщинами, детьми и подростками, с дряхлыми и убогими старцами. Ратники спешили к местам, но, надо сказать правду, очень неохотно: один жаловался на тяжесть доспеха, другому шелох был не по голове, третий путался в сабле, привешенной не по его росту. И все это шумело, гудело, вопило и стремилось по улицам в каком-то оторопелом, встревоженном и далеко не воинственном настроении.

Марфа Ивановна с грустью и тревогой присматривалась и прислушивалась к этому шуму и движению на улице, к этой толпе, которая куда-то валила волною, безотчетно стремясь навстречу своему неизведанному року, и в душе ее не было никакой надежды на то, что эта слабая сила защитит ее и ее семью от надвигающейся грозы.

«Боже мой, Боже мой! Что с нами будет!» — думала она с нескрываемым волнением, сидя на рундуке, выходявшем в сад, и прислушиваясь к призывным звукам труб и к грохоту барабанов, который мешался с колокольным звоном.

— Мама, мама! — крикнул ей вдруг Мишенька из сада. — Посмотри-ка, посмотри, какой к тебе Степанка нарядный идет!

Марфа Ивановна оглянулась и увидела перед собой Степана Скобаря во всем ратном убранстве: на нем была частая кольчужная рубаха, подпоясанная толстым ремнем с бляхами, к которому привешен был широкий и прямой тесак; а голова у него была

прикрыта островерхим желобчатым шеломом с бармицей^[24], свешивавшейся на плечи.

Степанка подошел к своей госпоже, снял с себя шелом и поклонился ей в ноги.

— Прощай, матушка, государыня ты наша! Прости, коли в чем провинился, не поминай лихом. Детишек моих с женишкой не оставь без призору, коли сложу голову!

— Дай тебе Бог удачу, Степан, — сказала приветливо Марфа Ивановна. — Но только вот какой тебе от меня дан заказ, и ты его помни: если сохранит тебя Бог в начале битвы, так ты наблюдай и смотри, какой конец будет. И если чуть только заметишь, что наши дрогнули, что уж им не устоять, сейчас скачи сюда, не жалеючи коня, с известием ко мне и к господину своему Филарету Никитичу. Понял?

— Понял, матушка! Как не понять! По твоему заказу и исполню.

Он поднялся с колен, отвесил еще поясной поклон Мишеньке, поцеловал его в руку и удалился.

VII НАКАНУНЕ РАЗГРОМА

Полчаса спустя колокола смолкли и слышно было, как при звуках труб и барабанов ростовская сборная рать двинулась через город на переяславскую дорогу. Звуки музыки и самого движения рати, мало-помалу удаляясь, затихли, и до слуха Марфы Ивановны стал вскоре долетать только шум расходившейся по домам толпы да жалобные вопли и причитания женщин, разлучившихся с сыновьями, мужьями и братьями.

— Вернутся ли? Увидишься ли с ними вновь? — вот вопросы, от которых не могла отделаться грустно настроенная Марфа Ивановна.

— Мама! — обратился к ней с вопросом Миша. — На войне, когда кого-нибудь убивают, он тоже падает?

Не понимая этого вопроса, мать стала вглядываться в лицо ребенка с недоумением.

— Ведь вот у нас в игре, — когда мы в войну играем, — кто убит, тот падает, — пояснил ей ребенок, — а потом встает... И там, на настоящей войне, так же бывает?

— Нет, голубчик, там не так! Там насмерть убивают, на весь век калечат людей.

Ребенок не продолжал расспрашивать; но его, очевидно, ответ матери поразил тяжело: с его детской душой не мог примириться образ смерти и мучительных страданий, к которым взрослые люди привыкают как к чему-то неизбежному и необходимому.

Сенька, слышавший вопрос ребенка, воспользовался тем временем, как Миша отошел от матери, и, со своей стороны, решился ей напомнить о нуждах действительности.

— Государыня Марфа Ивановна, — приступил он к госпоже своей, — не во гнев тебе будь сказано... а не время ли теперь подумать, как быть, в случае, ежели бы...

— Ты что хочешь сказать? — перебила его Марфа Ивановна.

— А то и хочу сказать, госпожа всемилостивая, что в победе и в счастье Бог волен, а осторожность, на всякий случай, не мешает... Береженого и Бог бережет...

— Да что же я могу?... Филарет Никитич и слышать не хочет ни о каких предосторожностях... Говорит, все под Богом ходим.

— Бог-то Богом, матушка, а отчего бы не припрятать то, что подороже да понужнее? Собери да поручи мне — все ухороню, и все цело будет... Кое в землю зарюю, а кое в тайник соборный снесу, в тот, что под северным-то подпольем. Времена такие...

— Ох, больно и подумать, что наша и жизнь и счастье все на волоске висит!... Что же? Спасибо тебе, Сеня, за твою заботу. Я соберу что поценнее и, как стемнеется, все передам тебе...

— Да вот еще, матушка, тут, в слободке подгородной, что по Костромской дороге, кума есть у меня... Такая шустрая бабенка — вдова, а всем домом не хуже каждого мужика правит... Так ты дозвожь мне к ней сходить и упредить ее, чтоб, если будет нужно, в подполье она очистила местечко нам... Подполье, вишь, у нее богатое такое!... Для рухляди, дескать, какой, а то ведь — кто их знает? — може и для самих нас пригодиться... Лихие времена! Лихие, ненадежные, все лучше камешек за пазухою припасти!

Марфа Ивановна не подала виду, что она поняла намек Сеньки; но внутренне вполне с ним согласилась и сказала:

— Ладно. Сходи к куме в слободку, а к темноте сюда не опоздай.

Семен тотчас же воспользовался данным ему разрешением и поспешно ушел с боярского подворья, никому не сказав о цели своей отлучки. Но он пошел сначала не к куме, а дальним, кружным обходом, по окраинам города вышел на ростовское озеро, около рыбацкого поселка, и долго, по-видимому без всякой цели, бродил по берегу, а потом ухоронился в густых прибрежных кустах и терпеливо просидел в них до наступления сумерок. Когда в поселке показались тут и там огоньки, Сенька вышел из кустов, почти ползком добрался к тому месту берегового откоса, где стояли рядом выволоченные на берег рыбацьи челны, подобрался к одному из них, поменьше и полегче других, очевидно намеченному заранее, и, быстро столкнув его в воду, вскочил в него на ходу, с ловкостью привычного человека. В два удара веслом он был уже далеко от берега и сначала все направлял челнок на середину озера, стараясь поскорее скрыться в темноте, уже сгустившейся над озером; потом свернул налево, перерезал один из плесов озера и причалил к берегу около старой ивы... Здесь он выволок челнок на берег, укрыл его в густых прибрежных порослях, а

сам, оглянувшись во все стороны, приподнял голый и полуобгорелый пень дерева, прикрывавший какую-то темную впадину берега, перекрестился и юркнул в лазейку не хуже доброй лисицы...

* * *

Всю ночь с 10-го на 11-е октября Марфа Ивановна провела без сна. С вечера она почти до полуночи провозилась над уборкою всего, что было поценнее из домашней рухляди, из серебряной казны и из тех предметов церковной утвари, которые находились в ее моленной. Иконы в серебряных, басменных^[25] и кованых окладах и другие, шитые жемчугом по ткани; кресты, складни, кадельницы и лампы чеканного серебра, жемчуг, запястья, оплечья, низанные жемчугом и усаженные камнями, — все это было уложено в два кованых ларца, а серебряная посуда — кубки, чаши, солонки, крошни^[26], блюда и тарелки — в большой сундук. Затем Сенька, вырванный где-то в глухом месте сада две ямы, не без труда стащил туда тяжелый сундук и оба ларца, зарыл их там, затоптал и заровнял оба места над зарытым кладом, а сверху забросал мелким валежником и листвою. Было далеко за полночь, когда Сенька вернулся с этой трудной работы и доложил государыне своей, что и ларцы, и сундук на всякий случай ухоронены так, что «вражьи дети их нескоро отыщут».

— Спасибо тебе, Сеня, — сказала ему в ответ на это Марфа Ивановна. — Авось Бог нас от их рук избавит.

Сенька, однако же, стоял на месте переминаясь и не уходил.

— Что тебе еще нужно, Сеня? Ты как будто мне еще что-то сказать хочешь.

— Да не то чтобы сказать, я так, в упреждение больше... Ведь не ровен час, матушка, времена-то лихие такие! Так я вот насчет чего: в случае, если завируха какая здесь завтра ли, когда ли заварится, так надо тебе, государыня, одно помнить, от меня с детками не отставай...

— То есть как это? Я в толк не возьму?

— А так, государыня, ты только о себе да о детях заботься... и от меня ни на шаг...

— А Филарет Никитич? — испуганно спросила Марфа Ивановна.

— Государь митрополит сам за себя постоять изволит: да он же из воли Господней не выйдет, хоть что кругом ни творись... Сама изволишь видеть: что сказал, то и свято. А деткам малым — мы покров и защита. И для тебя с детками твоими у меня кое-что припасено...

— Да что припасено-то?-тревожно перебила Марфа Ивановна.

— А и сказать тебе не смею! Одно слово — шапка-невидимка и ковер-самолет. Коли сами не сплосаем, никто нас не найдет.

— Ну ладно, Сеня! Ступай теперь спать... Вторые петухи давно пропели... Утро вечера мудренее, — сказала со вздохом Марфа Ивановна.

Сеня поклонился и ушел, поскрипывая на ходу сапогами. А Марфа Ивановна, прежде чем удалиться в свою опочивальню, заглянула в детскую, тускло освещенную лампадою, теплившеюся у икон.

Тишина и сон, безмятежный сон беззаботного детства царили в этой уютной небольшой комнате. Эту тишину нарушало только ровное, спокойное дыхание Танюши и Мишеньки да легкое похрапыванье Танюшиной мамы^[27], которая, подложив руку под голову, прикорнула на сундук. Марфа Ивановна подошла к кровати, в которой спал Миша, наклонив немного голову набок и спокойно сложив руки на груди. Мать любовалась на румяные щечки мальчика, на полуоткрытые губки его, наклонилась, поцеловала его в лоб и осенила крестом.

Точно так же благословила она и Танюшу и неслышными стопами направилась к двери.

— О Боже! Сохрани их и помилуй, не дай злу погубить их — нарушить чистый покой их душ!...

Затем она удалилась к себе в опочивальню, смежную с детской, и не раздеваясь прилегла на кровать, закрыла глаза и попыталась уснуть...

Но сон не сходил к ней и не вносил успокоения в ее душу. Мысли черные, мрачные не покидали ее; образы странные, кровавые, угрожающие тревожили ее напуганное воображение и пугали близкими, надвигающимися бедами... К тому же среди ночи вдруг где-то вдали поднялся собачий вой; подхваченный десятками собачьих голосов, он перенесся на другую сторону города, то приближаясь, то

удаляясь, и наконец стал близиться к самому саду, к самому дому бояр Романовых... Одна собака завывала подлаивая, другие подхватывали, третьи тянули, все повышая и повышая ноты своей нескончаемой, плачевной песни, — и общий вой сливался во что-то раздирающее, гнетущее, удручающее душу... Казалось, что десятки матерей и жен, убиваясь над бездыханными телами своих погибших мужей и сыновей, изливают свою лютую скорбь в нескончаемых воплях, стенаниях и причитаниях.

Марфа Ивановна долго прислушивалась к этому стону и вою, долго старалась совладать с собою и преодолеть ту робость и суеверный страх, который вселял ей в душу этот невыносимый вой, — дурная примета, по народным понятиям! — но наконец не могла совладать с собою... Она вскочила с постели, стала ходить взад и вперед по опочивальне, потом опустилась на колени перед образом и думала молиться, — но разрыдалась и не могла припомнить ни слова из своих обычных молитв. И долго, долго плакала эта бедная мать, удрученная заботами о жизни, спасении и безопасности своих детей, и долго неудержимо текли ее слезы, хотя она сама не могла себе отдать отчета, отчего она плачет и кого оплакивает. Однако же слезы облегчили тяжкий гнет, лежавший на ее душе, — она вдруг почувствовала, что может молиться, что слова молитвы сами просятся к ней на уста; и долго молилась, так же долго, как перед тем проливала слезы... На дворе уже начинало рассветать, когда Марфа Ивановна поднялась с молитвы и почувствовала, что ее клонит сон — неудержимый, благодатный сон, — и она почти в изнеможении опустилась на изголовье.

Но и двух часов не удалось ей проспать, как она уже сквозь утреннюю дрему почувствовала, что кто-то теребит ее за рукав и говорит ей что-то на ухо... Открыв глаза, она изумилась, увидев перед собой Сеньку, который наклонился к самому ее изголовью и повторил:

— Вставай, вставай, государыня!

— Что такое? Как ты сюда попал? — спросила Марфа Ивановна. И тут только увидела Мишу и Танюшу, совсем уже одетых; прижавшись друг к дружке, они сидели на лавке в углу под образами и тихо плакали. Марфа Ивановна вскочила разом на ноги и бросилась к детям.

— Государыня! Не теряй времени! Государь митрополит прислал приказ, чтобы ты шла сейчас с детьми в собор...

Бедной матери, еще не успевшей вполне очнуться от сна, все это казалось каким-то странным продолжением ее сна.

— В собор? — спросила она. — А где же люди? Где мама?

— Тсс! Ради Бога, не буди никого... Пойдем сейчас... да так, чтобы никто не видел. Мы должны прийти, пока в колокол не ударили... Вести получены... побиты наши... Те сюда идут...

— А! Вот что! — И только тут постигнув весь ужас своего положения, она в то же время почувствовала в себе и твердость и силу чрезвычайную и, обращаясь к плачущим детям, сказала просто:

— Пойдемте, детки!

Сенька вывел их через сад во двор, совершенно пустой, потом со двора в переулок и по улицам, еще пустынным и тихим, еще слабо освещенным, так как утро было туманное и сумрачное, повел их в Кремль к собору.

Первое, что бросилось в глаза Марфе Ивановне при входе в Кремль, была гнедая нерасседланная лошадь, лежавшая на площади, у самых ворот. Ноги и шея ее уже вытянулись, язык висел сбоку на губах, покрытых густою кровавою пеной; глаза, широко открытые, застоялись на выкате; ввалившиеся потные бока уже не поднимались от дыхания.

— Мама, это наш Гнедко! — шепнула матери Танюша, глазами указывая ей на лошадь. — На нем Степанка на войну поехал.

— Сослужил конь службу! — с грустной улыбкой сказал Сенька. — На нем Степанка и прискакал с вестями.

С этим и подошли они к собору. Двери его уже были открыты, и служба митрополичий стоял у дверей с толстою связкой ключей.

— Только тебя и ожидали, государыня! — сказал он, кланяясь инокине Марфе. — Теперь и звонить будем.

И он внутри соборной паперти дернул за веревку, подавая знак на колокольню. Колокол загудел, за ним другой, третий, и все колокола слились в один общий рев и гул, возвещая народу сполох.

Марфа Ивановна с детьми и Сенькой едва успела подойти к амвону, собираясь занять свое обычное место, как из северных дверей алтаря вышел сам митрополит Филарет. Дети бросились к нему

навстречу, подошли под благословение и стали целовать его руки; за ними пошла также и Марфа Ивановна.

— Марфа! — сказал Филарет глухим, прерывающимся голосом. — Ты не должна думать обо мне в тот страшный час, который наступает ныне. Думай о себе и детях. Верный раб наш и за тебя, и за меня о вас подумал, озаботился спасением вашим. Ему, — указал он на Сеньку, — вручаю тебя и детей! Все, что он скажет тебе, исполняй беспрекословно. Иди, куда укажет. Если Богу будет угодно сохранить меня, свидимся в Москве. Вот вам мое благословение.

Жена и дети пали перед ним на колени, а позади них опустился и Сенька. Филарет всех благословил и перецеловал и, видя, что народ начинает собираться в собор, поспешил удалиться в алтарь.

Сенька наклонился к тихо всхлипывавшей Марфе Ивановне и шепнул ей:

— Государыня, не сходи с амвона, да стань здесь на клирос, за иконой, и, что бы ни было, отсюда не сходи.

А сам направился через северные двери вслед за митрополитом.

Между тем, под гул и завыванье сполоха, толпы народа, встревоженные и трепетные, спешили и бежали отовсюду к Кремлю, на соборную площадь. Здесь из уст в уста уже переходила весть о поражении ростовцев тушинцами и переяславцами, о том, что ростовцы отступают, почти бегут к родному городу, преследуемые по пятам казаками и литвой. Робкий вой и плач поднялся над толпой: женщины вопили и ломали руки, мужчины кричали и волновались...

— Воевать тож надумали!-кричал с досадою один. — Лучше бы с печи не слезали, олухи ростовские!

— А кто надумил? Кто? Воевода да митрополит!

— Вот теперь пусть и платятся своими боками. Шутка ли, коль уж до шкуры дошло!

— Ну да, да! Митрополита к ответу!

— Давай его сюда! — заревело несколько десятков голосов.

— Давай его сюда, пусть выйдет к нам из собора! Куда он прячется?-подхватили яростно сотни других голосов.

— Стойте, стойте, молчите!... Вот он, митрополит-то, вышел!

Митрополит действительно, в полном облачении, окруженный клиром, стоял на паперти перед разбушевавшейся толпой; молча,

спокойно и твердо он благословил ее крестом на все стороны, как бы желая умиротворить ее символом любви и мира.

Когда толпа в передних рядах стихла настолько, что стало возможно говорить, Филарет сказал:

— Чего волнуетесь, дети мои? Час воли Божией наступает для нас — час грозный и тяжкий... Но не бранью и проклятиями, не взаимными укорами должны мы его встретить, а смирением и молитвою. Ваш воевода Третьяк Сеитов исполнил долг свой: он мужественно сразился со врагом и уступил только числу и ярости нападающих. Он отступает к городу, защищая нас грудью, и прислал сказать мне, что будет и здесь биться до последней капли крови... Ваши сограждане не положили на себя хулы: дрались и дерутся храбро, верные присяге. Не уступлю и я моего места у святыни ростовской: не укроюсь от вас как хищник, а останусь здесь как пастырь, верный своему стаду. У кого есть руки и мужество в сердце, тот поспеши на помощь братьям-ростовцам и с ними бейся против врага! У кого нет ни сил, ни мужества, тот становись под мое знамя, знамя креста Господня, и под кров Пречистой Богородицы — и от нее жди надежды и спасения! Двери храма открыты: входите и вместе будем ждать врага здесь!...

Толпа слушала молча, пораженная твердостью и спокойствием митрополита. Женщины и дети разом двинулись мимо митрополита в храм, наполняя его воплями и плачем. Мужчины сбились в кучи и стояли в недоумении, лишь изредка перебрасываясь отдельными словами и фразами.

В это время издали стали долетать звуки выстрелов и доносились все ближе и ближе... Толпа заколыхалась, слышались робкие голоса в разных концах ее:

— Батюшки! Отцы родные! Слышите? Палят? Пропали наши головы!

— Идут! Идут! Черным-черно по дороге, туча тучею! — крикнул кто-то с колокольни. Тут толпа уж не выдержала: в ней произошло невероятное смятение. Одни кричали:

— Ребята! По домам, по дворам: там отсиживаться будем!

— Хватай что попало, выходи к воротам биться, своим на подмогу, — кричали другие.

И теснились без толку: одни к собору, другие к воротам в Кремле. А выстрелы все близились, гремели все громче и явственнее, и в промежутках между ними издали уже начинали долетать какие-то неясные крики и гул. Враг, очевидно, был уже близок к воротам города Ростова.

VIII РАЗГРОМ

Пономарь, заметивший с колокольни собора движение неприятеля к городу, имел полное право сказать, что вражья сила подходит к городу туча тучею. Он должен был видеть в туманной дали, как поспешно отступала к городу ростовская рать, то отбиваясь, то отстреливаясь от наседавшего на нее неприятеля, который в пять раз превосходил ростовцев численностью и пытался охватить их со всех сторон. Действительно, неприятель шел туча тучею, и это сравнение тем более представлялось правильным, что из этой темной, живой тучи то и дело, перебегая из конца в конец ее, сверкали молнии отдельных выстрелов.

Когда наконец наполовину уменьшившийся отряд ростовцев, страшно расстроенный неудачною битвой и изнуренный тягостным отступлением, достиг окраины города, ему пришлось волей-неволей приостановиться, потому что отступлению мешали плетни, заборы и та давка, которая произошла в передних рядах при вступлении отряда в узкие улицы города.

— Стойте! Стойте! Строй держи! Не мечитесь как бараны! Чинно входи! Так долго ль до греха! — кричал Сеитов, бегая взад и вперед по задним рядам ростовцев.

Но он не сообразил того, что ему легче было поддержать строгий порядок, отбиваясь от врагов в открытом поле, нежели здесь, где во всей массе ростовцев каждым овладело неудержимо-сильное чувство самосохранения, побуждавшее его ускользнуть от опасности либо укрывшись в дом, либо свернув незаметно за угол, откуда можно было дать тягу. Главным образом вследствие этих побуждений, в то время когда ростовская рать входила в улицы Ростова, в среде ее произошла давка и сумятица невероятная. Передние без толку совались из стороны в сторону, а задние их теснили и путали; ратники бросали доспехи и оружие, лезли через плетни и заборы, вбегали как угорелые в дома, в бани, в гумна или же рассыпались беспорядочными и беспомощными группами по улицам города.

Наступающие, заметив издалека остановку ростовской рати на окраине города, сначала тоже приостановились, очевидно ожидая, что

ростовцы здесь хотят им дать последний отпор, может быть даже при помощи горожан, еще не принимавших участия в битве.

Воевода Сеитов в своих хлопотах о сохранении порядка среди ростовской рати ясно видел, как перед строем наступавших тушинцев съехались на совет их начальные люди, как они потом разъехались и стали что-то громко кричать своим ратникам. И вдруг все вражье войско, в котором было тысяч до восьми, разделилось надвое: меньшая часть двинулась направо, пошла огородами, в обход города, а большая пошла прямо напролом.

— Батюшки! Обходят! Беги, ребята, спасайся! Беги! — Раздались голоса в рядах ростовцев.

— Стыдитесь, трусы!-бешено заревел Сеитов. — Куда бежать? Переяславцам на потеху, что ли? Умрем здесь: двум смертям не бывать, одной не миновать!

Его слова еще раз внесли бодрость в сердце оробевших воинов, тем более что он, действуя не словом только, но и делом, сам выдвинулся в передний ряд, с бердышом в руке, готовый грозно встретить наступающего врага.

— Стрельцы! — крикнул он громко. — Ставь фузеи^[28] на рогатки! Цель вернее, не теряй попусту зарядов! Дай подойти поближе и валяй наверняка!

И все смолкли, все замерли в ожидании медленно и осторожно наступавшего неприятеля. Вот темные ряды его подошли на выстрел, вот двинулись дальше и приблизились шагов на шестьдесят. Можно было уже различить подробности одежд и вооружения, даже разобрать лица наступающих. Явственно слышался их говор и топот коней конницы на правом фланге.

А ростовцы все стояли неподвижно, сосредоточенно и сумрачно устремив взоры на врага; все так же неподвижно, словно окаменелые, стояли в рядах стрельцы, оперев тяжелые оружия на рогули и готовые поджечь фитилем порох на затравке.

Сеитов глянул перед собою и, высоко подняв бердыш, крикнул во все горло:

— Пали!

Грянул залп из двухсот пищалей, и в рядах вражьей рати произошло некоторое замешательство, даже приостановка. Один из неприятельских вождей, высокий рыжий литвин на статном белом

коне, ткнулся в луку седла, и испуганный конь, шарахнувшись в сторону, помчал его прямо на ростовцев...

Но тотчас же вслед за залпом в рядах тушинцев и переяславцев раздался громкий, всеми разом подхваченный крик, и вся их масса бегом бросилась на ростовцев... Еще мгновение — и эта масса обрушилась на небольшой отряд Сеитова, охватила его со всех сторон и с дикими, неистовыми воплями схватилась с ростовцами в последнем отчаянном натиске.

Крики, вопли, ругань и стоны слились в один ужасающий рев и гул...

— Коли, руби, бей их, анафем! Попались, гужеды!

— За мной, ребята, вперед!...

— Вали в обход! Бей их, так, так! Любо, любо! — вот что в каком-то диком хаосе носилось над остервенелой толпой бойцов.

Как храбро ни бились ростовцы, как ни метался разъяренным вепрем по рядам их Третьяк Сеитов, они были буквально раздавлены огромной численностью врага. На одного ростовца приходилось чуть ли не по пяти тушинцев и переяславцев. Мужественный воевода пал одним из первых, изрубленный саблями и поднятый на рогатины. Вскоре после того бой превратился в простое избиение... Обойденные отовсюду, лишенные возможности защищаться, несчастные ростовцы наконец бросились врассыпную, преследуемые по пятам разъяренными и торжествующими врагами.

Стук оружия, вопли и крики, топот коней и стоны раненых и умирающих огласили тихие улицы старого, мирного городка, всюду кругом разнося ужас и оцепенение.

Вскоре защищаться уже было некому, и вражья сила широкою, бурливою волной залила весь город до Кремля, всюду врываясь в дома, все разоряя, разрушая и грабя на пути... Хвост тушинского отряда еще тянулся по дороге к городу, когда его передние ряды уже врывались шумною, дикою и беспорядочною толпой в ростовский Кремль, никем не защищаемый, и охватывали собор и соборную площадь, ломаясь в храмы, вышибая двери у погребов и складов товарных, всюду разыскивая добычи для своей ненасытной корысти.

Эта толпа, неистовая в буйстве и дерзости, обрызганная кровью храбрых защитников Ростова, кинулась было на паперть соборную с криками:

— Вышибай двери! Бревно сюда тащи! Ломай! Там есть чем поживиться! Теперь все наше!

И вдруг неистовая толпа остановилась, осела, даже потерялась, встретив неожиданное...

Тяжелые железные двери собора отворились как бы сами собою, и на пороге их явился митрополит Филарет, в полном облачении своего сана, в блистающей митре, с животворящим крестом в руках, окруженный клиром. В его прекрасном, выразительном лице не заметно было ни тени страха или тревоги, а вся его высокая, осанистая и величавая фигура, ярко выступавшая на темном фоне внутренности храма, с его огнями лампад и свечей, с его облаками фимиама, должна была поразить каждого и не только внушить к святителю уважение, но даже пролить робость и некоторый суеверный страх в сердца дерзновеннейших... Вот почему осели и попятились перед ним передние ряды тушинцев и казаков, которым он предстал как видение, окруженное блестящим, неотразимым ореолом святости.

— Чего пришли вы искать сюда, обрызганные кровью наших братьев! — сказал Филарет, спокойно озирая стоявшее перед ним темное сонмище. — Или не довольно вам того, что вы их побили, осиротя их семьи, повергнув в бездну скорби и стенаний их матерей, жен и сестер!... Или не довольно того, что вы теперь властною рукой хозяйствуете здесь, в городе, расхищая животы и имение, накопленное многолетним трудом, заботами и усердием граждан! Неужели вы, обагрив руки кровью ни в чем не повинных людей, хотите еще усугубить грех свой, дерзко вторгаясь во храм, налагая святотатственную руку на его древние святыни, оскверняя его насилием и позорными деяниями! Заклинаю вас именем Божиим, заклинаю всеми ростовскими чудотворцами и подвижниками...

— Да что вы этой лисы заслушались! — крикнул кто-то сзади. — Вали прямо в собор!

— Не смейте! Не дерзайте! — громогласно воскликнул Филарет, заступая дорогу и высоко поднимая над головою крест. — И пусть этот крест будет вам преградой!

— Берите крест из рук его, — в нем пять фунтов золота! — закричал, пробиваясь сквозь толпу, переяславец.

И несколько рук разом ухватились за крест, вырывая его из рук святителя.

— В собор, в собор! — заревела толпа. — Там и серебра, и золота на всех нас хватит!

И, притиснув Филарета к стенке, толпа хлынула мимо него внутрь собора, а около Филарета, как из земли, вырос высокий и дюжий казак со свирепым лицом, в богатом кафтане с золотыми петлицами.

— Бери его! Срывай с него долой всю эту парчовую шелуху! — крикнул он окружающим, которые мигом ободрали с митрополита богатые ризы, сорвали с его головы митру и оставили его только в одном темном подряснике.

— Вот так! Теперь одень-ка его в казацкий кобеняк, да крутите ему руки за спину. Эй, есаулы! Я его вам поручаю, головою за него ответите, коли уйдет. Мы его царю в подарок свезем, в Тушино. Ну тащите его в обоз, чтобы он тут не путался!

Кто— то со стороны нахлобучил на голову Филарета рваную татарскую шапку. Несколько дюжих рук ухватили его за плечи и за локти и повлекли через толпу к воротам Кремля.

Покончив с Филаретом, свирепый казацкий атаман, окруженный своими есаулами, вступил в собор, в котором уже распоряжались тушинцы, судя по крикам и плачу, которые слышались в разных углах храма. Не спеша, так же вошел он под древние своды и гаркнул во весь голос:

— Ребята! Баб, девок и детей забирайте с собою и всех гоните в обоз!... Старух всех в озеро, а остальных приканчивайте здесь, чтобы никто не вышел живой!

Грозный оклик его прозвучал как крик зловещей птицы и пронесся под сводами... В ответ ему раздался взрыв шумных, неистовых восторгов со стороны тушинцев, казаков и переяславцев, которые свирепствовали хуже всех. Пошла ужасная расправа...

Стоны, мольбы, проклятия, вопли наполнили весь храм и обратили его в какую-то страшную геенну, с нескончаемым плачем и скрежетом зубовным... Новые и новые ватаги разбойников и грабителей врывались в храм одна за другой и, мешаясь с тесною толпой укрывшихся в храме женщин, стариков и детей, убивали беспощадно мужчин, а женщин насильно тащили вон из храма, срывая с них по пути одежды и украшения, а многим не оставляя даже и необходимого покроя для их стыдливости. Детей вязали десятками и

гнали перед собою бичами, как стадо баранов, на глазах иступленных полупомешавшихся матерей.

— На выкуп пригодятся! — смеялись злодеи, презрительно отворачиваясь от плачущих матерей.

И в то самое время как одни вязали и гнали перед собою молодых девиц и женщин, запасаясь полоном, другие рассыпались всюду, проникая в алтарь, в ризницу, в приделы. Одни тащили оттуда грудями богатые облачения, шитые золотом и низанные жемчугом; другие охапками несли кадила, дарохранильницы, ковчеги с мощами, ободранные оклады священных книг; третьи сдирали ризы с икон или топорами рубили на куски окованные серебром раки угодников... Тут драка за добычу, там наглое насилие над несчастною женщиной, здесь — дикая, бессмысленная бойня над беззащитными и хилыми жертвами разнузданной, разнородной и разноплеменной шайки отважных разбойников, всюду опрокинутые аналои, разбитые лампы, сорванные с цепей паникадила, лохмотья одежды, разбросанные среди скользких луж крови, трепетные тела несчастных, подергиваемые последними содроганиями, и страх, и ужас, и позор невообразимой оргии безумия, насилия и святотатства!...

IX ОТ МРАКА К СВЕТУ

В то время, когда неистовые крики ворвавшихся в Кремль тушинцев уже долетали до беззащитной толпы несчастных, укрывшихся под кровлей храма как в последнем убежище, в то время, когда митрополит Филарет, стараясь всем преподать утешение и вкоренить твердость духа, смело пошел, окруженный клиром, навстречу смерти и позору, — Марфа Ивановна почувствовала, как кто-то крепко сжал ей руку и шепнул поспешно:

— Пойдем, государыня!

Сама не отдавая себе отчета в том, что она делает, Марфа Ивановна двинулась вслед за Сенькой, который вел за руку Танюшу и Мишу, помертвевших от страха. Он ввел их в северные двери алтаря, тотчас же свернул через маленькую дверку в алтарь смежного придела, подвел их к древней, потемневшей иконе Леонтия Ростовского, на которой святой угодник был писан во весь рост, с благословляющею рукой. Подойдя к иконе, Сенька опасливо оглянулся во все стороны, как бы желая убедиться в том, что никто за ним не следил и не наблюдал; потом сдвинул чуть-чуть в сторону резной аналой, стоявший около иконы, ухватился за нижний край ее, приподнял всю икону с некоторым усилием и повернул ее на невидимых внутренних петлях... Открылась узенькая и темная лазейка в темной каменной стене собора; с трудом можно было отличить вверху ее округлый свод, круто опускавшийся книзу, а внизу — каменные ступени. Холодом и могильною сыростью повеяло из этой темной щели...

— Государыня, входи туда скорее! Детей бери с собою! Спускайтесь ощупью, а я за вами.

Ужас изобразился на лице Марфы Ивановны; крепко ухватив детей за руки, она остановилась у входа в лазейку, трепеща и колеблясь... Ее колебания, конечно, тотчас отозвались и на детях.

— Мама, я боюсь! — шепнул ей Миша, прижимаясь к ней и преклоняя голову на ее руку.

— И мне страшно... там такая темнота! — проговорила Танюша.

В это мгновение до их слуха еще раз резко и явственно долетели неистовые крики от входных дверей собора... За криками последовали

такие удары в дверь, от которых гул пошел по всему собору...

— Не медли, государыня! Не то возьму детей, по воле и приказу господина, и ждать тебя не стану! — решительно проговорил Сенька, хватая Мишу за руку. — Мне этот путь знаком...

Марфа Ивановна не решалась ему противоречить. Она первая вступила в лазею и протянула руки детям. Минуту спустя и она, и дети исчезли во мраке глубокой щели, а Сенька, ступив на первую ступень потайного хода, стал осторожно придвигать аналой к стене, насколько это было возможно, затем притворил плотно икону, писанную на толстой дубовой двери, прикрывавшей лазею, заложил дверь крюком изнутри и последовал за Марфой Ивановной и ее детьми, уже спускавшимися ощупью по узкой и скользкой каменной лестнице.

— Постой-ка, государыня! Дай мне вздуть свечку, — все не так жутко деткам будет! — сказал Сенька, протискиваясь вперед Марфы Ивановны.

Звякнуло кресало о кремень, посыпались искры в темноте, затлеялся красною искоркою трут, который Сенька стал раздувать, причем среди тьмы на мгновение обрисовалось его лицо и борода, охваченные пятном красноватого света. Вот вспыхнула желтым пламенем одна свечка, потом другая и третья, которые Сенька раздал своим спутникам, а сам зажег лучину, вероятно припасенную заранее, и у всех разом как будто отлегло от сердца.

Осветились низкие, сырые своды лазей, поросшие зеленью и белою плесенью, блиставшие каплями влаги, холодными струями стекавшей по обеим стенам, невдалеке обозначился и конец лестницы, с которой инокиня Марфа с детьми спускалась с таким трудом, предосторожностями и опасением.

Лестница оканчивалась там, где фундамент стенной кладки, сложенный из громадных тесаных камней, упирался в материк — сухой и песчаный.

Тут ход значительно расширился, и два человека могли по нему идти рядом, не особенно стесняя друг друга; и двигалось здесь легче, и воздух был теплее и суше... На известных расстояниях от стены хода — то по правую, то по левую руку — шли узкие «слухи» до самой поверхности земли, и сквозь них проникал местами чуть заметный, еле брезживший луч света... Но самому ходу, который изворачивался то вправо, то влево, казалось, и конца не было!

Марфа Ивановна, дети ее и Сенька шли по нему уже около трех четвертей часа, пробираясь в полутьме, скупо озаряемой светом трех свечей и лучины, а впереди была все та же непроглядная тьма изворотов этого хода, те же стены теснили и справа и слева, тот же свод тяжким гнетом давил сверху.

— Сеня, голубчик, куда же это ты ведешь-то нас! — простонала, наконец, Марфа Ивановна, изнемогавшая от усталости и волнения.

— Небось, государыня! Знаю я, куда веду! Вот еще тридцать два колена перейдем, да вправо на полсотни шагов зададимся — тут уж и к выходу близехонько будет.

Такая уверенность верного слуги оживила душу Марфы Ивановны надеждою, и она смелее и тверже двинулась далее, крепко сжимая руки детей в своих холодных и трепетных руках.

— А где же батюшка-то наш? Он идет ли за нами? — шепотом спросила Танюша у матери.

— Не знаю, голубушка, но верю в то, что Господь сохранит его от лютых врагов и укроет под кровом Своим! — отвечала мать со вздохом,

В это мгновение Сенька поднял лучину кверху и проговорил радостно:

— А вот и последняя поворотка, государыня! Вон в конце ее и свет Божий видится, как облачко, аль паморочек...

Действительно, вдали забелелось какое-то светло-серое пятно, на которое наши скитальцы направились с облегченным сердцем... Их не смущало уже и то, что лучина в руках Сеньки с треском погасла и их собственные свечи уже догорали. Издали потянула легкая струйка свежего воздуха, здесь уже заметно проникавшего в затхлое и темное подземье.

— А там-то что же? Там-то, Сеня! — допрашивала тревожно Марфа Ивановна.

— Там?... Дай только Бог туда добраться... Там спасенье наше... Там простор и воля. Лишь бы враги на нашу лазею не наткнулись вскоре...

И он ускорил шаг, почти таща за собою Мишу и Танюшу, и ободрял Марфу Ивановну, кивая головою в сторону все еще далекого серого пятна...

Х В УКРЫТЕ

Вот наконец уже и выход из подземелья близок, и среди его неопределенных очертаний блестит и синее что-то... Вот уж несколько шагов остается до выхода, но Сенька останавливает своих спутников:

— Пстой, матушка государыня! Стойте, детки! Надо мне вперед вас выглянуть да посмотреть, нет ли вблизи какой опасности!

И он осторожно, почти ползком, выбрался из подземелья на берег озера, оглянулся во все стороны и, не видя кругом ни души, направился к тем густым зарослям, в которых был укрыт его челнок.

Немного погодя он уже спустил его на воду, усадил в него Марфу Ивановну с детьми, а сам, став на корме, взял весло в руки, перекрестился и промолвил:

— А ну-ка, благословясь! — И затем ловким и смелым движением оттолкнулся от берега.

Легкие, набегающие волны озера зашлепотали под носом челнока, который несся, как птица, к противоположному берегу, и все внимание детей сосредоточилось на этом быстром и новом для них движении по водной поверхности. Одна только Марфа Ивановна не могла оторвать ни мысли, ни глаз от блиставших вдали куполов и крестов Ростова, от которого доносился чуть слышный и вполне неопределенный гул и шум. В двух местах курился над городом дымок, как бы от разгоравшегося костра.

«Боже, Боже! — думала несчастная женщина, с трудом удерживая слезы. — Что с ним случилось? Вынес ли его Господь из пасти львиной... Свидимся ли?»

— А вот, матушка! Глянь-ка, глянь! — сказал Сенька. — Изволишь видеть там деревушку на берегу, — еще две ели над ней высоко-высоко вынесло, — это и есть наш приют!... Там нас и ухоронят, и поберегут, и ворогу не выдадут...

Марфа Ивановна должна была невольно отвлечься от своих грустных дум и обратить внимание на поселье, в котором им предстояло укрыться, — надолго ли? — она и сама того не знала.

— Сорочьим Бердом эта деревня зовется... Мужики в ней все такие справные живут. А уж кума-то моя, так это такая баба, что никакому мужику не уступит; с шестью сынами да с шестью невестками во вдовстве справляется, и все у ней в струне ходят. Сама посуды, какова?

Между тем как Сенька все это объяснял Марфе Ивановне, на берегу, пониже Сорочьего Берда, их уже поджидали два человека, укрываясь между прибрежными порослями: высокая благообразная старуха, лет под шестьдесят, в синей поневе^[29] и в кике^[30], с золоченым налобником, и парень лет двадцати пяти, высокий, здоровенный и красивый.

— Васюк, а Васюк! Глянь-ка на озеро, небось это не наши ли бояре едут? — говорила старуха, расталкивая парня, который уже начинал дремать на стороже.

— Кажись, что дядя Семен на челне стоит, а остальных-то не доглядеть!

— Не доглядеть! Вахлак! Ей-Богу, вахлак! Твоими-то глазами, да не доглядеть! Да я в твои годы сквозь землю на сажень видела!

Но скоро уже не было возможности сомневаться. Сенька аукнул с челна, а парень отозвался на его ауканье утиным кряканьем, и Сенька, тотчас воззрившись на берег, свернул челн как раз к тому месту, где кума с Васюком его ожидали.

— Милости прошу к нашему бережку, — проговорила приветливо старуха, вместе с сыном подтягивая челн к песчаному откосу берега. И она подала свою большую, сильную руку Марфе Ивановне и помогла ей сойти с челна, в то время как Васюк и Сенька высаживали боярчат.

— Ну не прогневайся, боярыня! — продолжала старуха. — Хоть и негоже гостей на берегу принимать, а придется... Надо тебе тут с детьми на берегу пробыть, в укрытии, до сумерек; а как за вечерееет, тогда провожу тебя и в избу к себе, и дальше, коли Бог даст.

Потом, обращаясь к сыну, она сказала:

— Васюк, сгони челн к рыбакам, чтобы на нас следа не было.

— Да пушай бы он, матушка, тут до сумерек постоял, — неохотно отозвался сын.

— Чаво! Иль приказа моего не слышал! Как смеешь из моей державы выходить! Сказано — гнать, так гони! — грозно крикнула старуха.

И Васюк тотчас вскочил в челн и был таков.

— Вот детки-то ноне каковы, Сенюшка! — наставительно обратилась к Сеньке его кума. — Ему приказ, а он тебе сказ! Им только поддайся!

— Ну, кума! У тебя они не много наскожут — смеясь, отвечал ей Сенька. — У тебя с детками расправа короткая.

— Еще бы! Дай им над собою озорничать! Пусть сначала меня схоронят да камнем привалят, тогда уж их воля.

И она умно, последовательно, толково изложила Марфе Ивановне всю систему своего отношения к детям и их семьям, жившим под одною крышею и не выходившим из-под ее начала. И все, что она говорила, рассказывала и обсуждала, было в такой степени любопытно и поучительно, что Марфа Ивановна и детки ее заслушались умной старухи и не заметили, как наступили сумерки и первые звездочки замигали между вечерних облаков на потемневшем небе.

— Ну теперь и нам пора по домам! — сказала старуха, поднимаясь с обрубка, на котором она сидела со всеми своими собеседниками.

Все поднялись вслед за нею и двинулись по прибрежной тропинке к задам деревни. Когда они подошли к осеку^[31], было уже настолько темно, что непривычному человеку было нелегко пробираться по кочкам и рытвинам пашни, спускавшейся к озеру, и Сеньке пришлось поддерживать Марфу Ивановну под руки, между тем как тетка Анисья (так звали Сенькину куму) вела за руку Танюшу и Мишу. Наконец она остановилась перед небольшою и темною избушкой, которая единственным волоковым окном смотрела на озеро. Кругом расставлены были на шестах и подвесках под крышей верши и вятеря^[32], а разные крупные и мелкие рыболовные сети развешаны были по стенам избушки.

— Вот, матушка, не взыщи на хоромах, — сказала тетка Анисья. — Там хошь и темно, да чисто и тепло, лен тут сушим и мнем... Печь истоплена, лавки вымыты... Да вы, чай, и голодны! Так на столе и ужин про вас припасен. Пожалуйте!

Марфа Ивановна не без труда переступила высокий порог сеничек избушки и, наклоня голову, прошла в первую дверку, а затем вместе с детьми вступила через другую дверку в избушку.

Старуха тотчас вздула огонек на загнетке печи, зажгла лучину, которую и защемила в светец.

— Вот, господа бояре, и сенники для вас на лавках, изголовьица. А вот и вечеря ваша!

Она указала на каравай хлеба, на горшок молока да на лукошко меду, поставленные на стол.

— Спице спокойно — сторожить вас сыновей поставлю, — как зеницу ока сберегу, коли запоручилась... Только огня не жгите долго, чтобы со стороны не заметили... Ну, Господь с нами и Его святая сила. А завтра погадаем, как вас дальше путем-дорогой пустить повернее.

И, отвеся низкий поклон, тетка Анисья удалилась.

Оставшись наедине с детьми и Сенькой, Марфа Ивановна прежде всего озаботилась о том, чтобы накормить детей и уложить их поскорее спать, потому что после всего пережитого ими в тот день и после продолжительного пребывания на воздухе и Танюша, и Миша едва держались на ногах и почти падали от усталости.

Когда дети были уложены и заснули, Марфа Ивановна обратилась к Сеньке, стоявшему у порога, с вопросом:

— Сеня! Куда же теперь мы голову приклоним? Куда пойдём?

— Туда и пойдём, государыня, куда господин идти приказал.

— Господин? — с недоумением спросила Марфа Ивановна.

— Господин и твой, и мой — Филарет Никитич... У меня от него на все про все и для тебя, и для меня самый точный приказ дан...

— Так это ты и вел нас по его приказу?

— Вестимо, по его воле, государыня! Он провидел еще накануне, что беды не миновать... Под клятвою мне эту лазею в приделе указал и челн припасти велел...

— Так, значит, он озаботился о том, что и дальше нам делать! — воскликнула Марфа Ивановна, всплеснув руками.

— Обо всем озаботился, государыня, да так и сказал мне: «На случай, если меня Бог приберет, — действуй так, и госпоже своей мою волю передай. Волю и благословение, навеки нерушимые».

— Боже мой! Боже мой! — зарыдала Марфа Ивановна, закрывая лицо руками. — О нас, о нашем спасении озаботился, а сам на верную смерть пошел... На гибель...

— Авось милостив Бог! — вздыхая проговорил Сенька. — Может быть, и вынесет господина из беды. Но только я о нем вестей ждать не смею. Я должен завтра же и дальше в путь...

Марфа Ивановна не осмелилась и спросить, куда и когда он двинется, чуя над собой невидимую, высшую волю. Сенька это постиг чутким сердцем своим и потому, не спрошенный госпожою, продолжал:

— Мне приказано завтра же Мишеньку взять и скрытным делом, как бы своего ребенка, свезти на Кострому, как Бог даст, а оттуда к Москве пробираться окольным путем и сдать твое детище на руки боярину Ивану Никитичу... А тебе, государыня, поведено здесь до той поры оставаться, пока путь на Ипатьевский монастырь чист окажется, и тогда тебе с дочкой в тот монастырь под охраной верных людей ехать и там пребывать, пока я из Москвы за тобою приеду.

— А где же я верных людей возьму? — спросила опечаленная Марфа Ивановна.

— На то я тебя к куме и привел, чтобы тебе их не искать, — сказал Сенька. — Им можешь довериться... Они тебя от всяких бед оберечь сумеют... Ну, государыня, прости — на отдых всем нам пора. Я завтра чем свет вести получу и в путь двинусь.

Он поклонился низенько и ушел спать в сенички. А Марфа Ивановна еще долго сидела за столом, погасив лучину, пока наконец легкий и спокойный храп ее детей, давно уже забывших о действительности и ее бедствиях, не напомнил ей, что силы будут ей необходимы завтра и что их следует поберечь, если не для себя, то для блага детей. Она неслышно поднялась со своего места, перешла избушку и прилегла на лавке рядом с широко раскидавшимся Мишей.

— Храните его вы, светлые ангелы! — шептала она засыпая и крепко сжимая сына в своих объятиях.

Чуть только заря занялась на востоке, тетка Анисья уже постучалась в двери сеничек, где спал Сенька.

— Чего? Чего? Кто там? Сейчас! — забормотал Сенька, стараясь очнуться от сна, который совсем одолел его под утро.

— С добрыми вестями, куманек, — пробасила ему тетка Анисья из-за двери. — Отпирай скорее — в путь пора.

Сенька вскочил на ноги, протирая глаза и натягивая кафтанишко на ходу, и отпер дверь.

— Тебе клячонка готова — в воз с сеном впряжена! И путь, сын старший сказывал, на полсотни верст чист от всяких воровских людей. Ехать тебе отсель на Чемерю, да на Сидорову Горку, да на Ахлестышево, да на Боярщину Боровую.

— Знаю, знаю, кумушка! До самой Костромы почитай наизусть все деревни помню.

— Ну, коли помнишь, так буди своего боярчонка, надевай на него одежонку крестьянскую и лаптишки с оборами^[33]... Вот тебе тут все в узле припасено. Кстати сказать, у меня и для боярыни твоей есть вести... Тоже из худых лучшенькие...

Сенька не заставил себе повторять эти речи, тотчас постучался в избу, и, когда Марфа Ивановна отворила ему дверь, он попросил у нее дозволения перерядить Мишеньку в крестьянскую одежду. Марфа Ивановна ничего ему не ответила и только глубоко вздохнула, когда Сенька стал быстро и ловко разоблачать разоспавшегося ребенка и заменять его боярское платье и белье грубой крестьянской домотканиной и дерюгой.

Особенно было ей больно видеть, когда Сенька снял с ног Мишеньки красные сапожки и, окутав их чистыми онучами, обул ему лапти и стал обматывать темными оборами.

— Боже праведный! — воскликнула она. — До чего мы дожили! Кто бы мог этого ждать!

— Э-э, матушка! И лучше, что не ждала этого. Ждавши-то, небось, хуже б измучилась!... — сказала тетка Анисья, помогавшая Сеньке обувать Мишеньку — А я, кстати сказать, тебе весть принесла на утеху.

— Весть?! Какую? О Филарете Никитиче? — быстро спохватилась Марфа Ивановна, обращаясь к старухе.

— Догадлива же ты! Сердце сердцу весть дает. Вестимо о господине митрополите. Ныне молодцы из города пришли, так говорили жив мол он и невредим... Ворами взят в полон и под крепкой охраной отправлен в Тушино, к ихнему царьку.

— В Тушино? — воскликнула Марфа Ивановна.

— Так сказывали. А других посекли, поувечили многое число: таскали, вишь, из собора потом, да так на площади грудями и покинули...

Трепет ужаса охватил Марфу Ивановну при мысли о том кровопролитии, от которого она была избавлена каким-то чудом.

— Ну вот! И обряжен молодец, а и проснуться-то ему еще не вмоготу,-добродушно заметила тетка Анисья. — Прощайся с ним, матушка! Мы его сонного так на воз. и снесем...

И она подхватила сонного Мишу, как перышко, на руки и поднесла к Марфе Ивановне, которая его благословила и поцеловала в лоб, не сказав ни слова.

Но когда тетка Анисья со спящим ребенком на руках, а за нею и Сенька, простившись с Марфой Ивановной, скрылись за дверью, несчастная мать бросилась к той лавке, на которой покинута была одежда ее сына, опустила на нее лицом и разрыдалась горько и неутешно...

XI НА ВОЛОСОК ОТ БЕДЫ

Несколько времени спустя старая, разбитая на передние ноги кляча, впряженная в небольшой воз сена, наваленный на дрянную, скрипучую и неокованную тележку, вывозила воз задами с противоположного конца деревни, направляясь по большой, проезжей Костромской дороге. На возу, прикрытый драным зипунишкой, лежал и дремал курчавый и румяный мальчик в простой и поношенной крестьянской одежке. За возом шагал высокий и сухощавый мужик в рваном сером кафтанишке, в лаптях, в обтрепанной суконной шапчонке. Помахивая кнутиком и покрякивая на бурю кобылку весьма лениво передвигающую ноги, он мурлыкал под нос песенку а сам думал свои думы.

«Вот кабы теперь только к полудню до Горки добраться, да боярчонка туда благополучно довести, так, отдохнувши, можно бы до вечера еще десятка полтора верст сделать... А тетки Анисьи сын сказывал, что на полсотни верст путь чист от воровских шаек».

— Мама, мама! Где ты? — испуганно вскрикнул Миша, приподнимаясь на возу и оглядываясь кругом с изумлением.

— Мишенька! А, Мишенька! — крикнул ему в ответ Сенька. — Матушка за нами следом тою же дорогою едет, а нам приказала вперед поспешать... Я с тобою послан, и ты ничего не бойся!

— А где же мое платье? Зачем на меня это надели?... И сапожки с меня сняли красненькие...

— Так матушка с батюшкой приказали, потому тут на дороге разные дурные и злые люди ездят, могли бы у тебя твою одежку отнять, а этой не возьмут... Никому не нужна!

— А та-то где же? — с грустью спрашивал мальчик. — Я сапожки те очень любил...

— Твоя боярская одежда и с сапожками у матушки осталась... Да в тех сапожках по пыльной дороге и ходить негоже... Пожалуй-ка сюда с возу, пойдем со мною рядом...

Он помог мальчику слезть с воза, повел его за руку и стал ему рассказывать, какой ему путь предстоит пройти, и сколько дней они в

пути будут, и какие у них могут быть лихие встречи на пути, и как ему надо остерегаться, не сказываясь своим настоящим именем.

— Сказывайся всем Касьяном, моим племянником. А станут спрашивать откуда ты родом, говори: из-под Костромы...

И мальчик все внимательно выслушивал и мало-помалу входил в свое положение — тягостное положение скитальца, укрывающегося от каких-то страшных, неведомых ему врагов...

— А что если нам вороги на дороге встретятся, да укрыться от них негде будет? — спросил Миша своего пестуна. — Разве уж тогда мне в сене зарыться!

— Нет, батюшка! От лютого ворога в сене не укроешься, лучше уж ему прямо в глаза смотреть... Потому Бог-то над всеми нами...

И не успел он этого договорить, как закурилась вдали пыль на дороге, заблестали в клубах ее копыта да шеломы, слышался дробный топот коней подступающего конного отряда, который высыпал на повороте дороги из-за темного бора.

Сенька глянул вперед, прикрывая глаза рукою, и нахмурился.

— Вот они, бесовы дети!... Легки на помин! — пробормотал он не без некоторого волнения.

— Ой, Сенюшка, боюсь я их! — прошептал Миша, боязливо прижимаясь к своему пестуну.

— Не бойся, дружок, да помни, что ты мой племянник... Крестьянскому мальчонке что они поделают!

И, говоря это, бросился вперед, к своей бурой кобыле, и стал поспешно отводить ее вместе с возом на обочину дороги.

— Стой! Стой! — закричало ему разом несколько голосов, и целая гурьба каких-то всадников, в разных одеждах, на разношерстных конях, окружила наших путников. Судя по наружности и одежде, тут были и казаки, и литва, и всякий местный сброд.

— Что везешь? Куда едешь! — гаркнул над самым ухом Сеньки долговязый и чернявый запорожец и, нагнувшись с коня, ухватил его за ворот.

— Чай, сам изволишь видеть, что везу! — ухмыляясь принужденно, отвечал ему Сенька, снимая шапку. — Одно сено на возу.

— Вижу, что сено, чертова кукла! А под сеном-то что? — грозно рявкнул казак.

— А и под сеном сено же, — равнодушно отвечал Сенька.

Запорожец выпустил Сенькин ворот из рук, подвернул коня к возу и что есть мочи ткнул копьем в воз... Его примеру последовали и его товарищи, а потом один из них не поленился слезть с коня и долго шарил в возу руками и тыкал в него во всех направлениях саблею.

— Да хоть весь воз опрокиньте, то же будет, — сказал Сенька. — Везу сенцо для своей клячонки, чтобы не покупать дорогой.

— В возу и точно ничего нет, — сказал тот, кто в возу рылся.

— А мальчишка чей у тебя? — спросил Сеньку запорожец, оглядывая Мишу.

— А свой же. Племянник, сестрин сын. К сестре и веду его: надоел мне, без матери, насмерть, — мама да мама. Ну и веду.

Обыскать его! — крикнул запорожец, который, по-видимому, был начальником этого небольшого отряда.

Несколько дюжих молодцов принялись живо обыскивать Сеньку: размотали его онучи, вывернули карманы, порылись за пазухой и сыскали на нем всего только два алтына, которые запорожец не побрезгал опустить в свой карман.

Потом, пока Сенька оправлял на себе одежду, тот спросил его о дороге к Ростову, о том, что в Ростове делается, и давно ли там Лисовский с Заруцким хозяйничают. На эти последние вопросы Сенька прикинулся совершенно ничего не знающим, сказав только, по обычаю многих русских людей, что «он-де человек темный, под Ростовом живет, а в Ростове — уж второй год — не бывал».

Запорожец в ответ на эти речи только выругался сквозь зубы и двинул коня вперед; за ним двинулись и все его спутники, справа и слева объехав Сенькину клячонку с тележкой, гремя и звеня оружием, которым они были обвешаны, и звонко выбивая дробь коваными копытами своих рослых и сытых коней.

Когда вся полусотня прорысила мимо наших путников, обладавая их шумом и клубами пыли, Сенька перекрестился и прошептал про себя:

— Пронес Господь!

Потом, обратившись к Мише, который ни жив ни мертв стоял около воза, он проговорил ему в утеху:

— Вот видел! Каково бы было, кабы ты от них в возу укрываться стал! Весь воз искололи, кто копьем, кто саблей... А тебя и неукрытого сберег Господь... На все Его святая воля!

Он спокойно вывел свою бурую кобылку на дорогу и, взяв Мишеньку за руку, с облегченным сердцем зашагал опять за возом по дороге, покрикивая на буреху и мурлыча йод нос песенку.

XII ПОД РОДНЫМ КРОВНОМ

Весна 1610 года наступила в Москве и на всем севере Московского государства сухая и теплая; снега сошли рано и незаметно; вешних вод почти не было, и в конце апреля лист на деревьях был уже такой, какого в иные годы и в конце мая не бывает... На солнце было жарко и в тесных московских домах становилось душно, везде выставляли зимние рамы, везде распахивались настезь наглухо забитые на зимнее время двери из хором на садовые крыльца, а сады начинали подчищать и убирать по-летнему, раскутывая в них плодовые деревья, вскапывая гряды и рассадники.

И на обширном боярском Романовском подворье, в саду и в огороде, кипела работа. Десятка два дворовых холопов, под надзором Сеньки и Скобаря, усердно вскапывали только что опревшую землю лопатами, таскали землю, песок, позем и старую листву, подрезали и подвязывали деревья и рассаживали молодые кусты.

— Вот, братцы, глянул я на эту яблоньку, — говорил Сенька, обращаясь к рабочим, — и диву дался! Как все у Господа Бога мудрено устроено!... Ведь эту яблоньку я из Костромы за пазухой привез в ту пору, как мы с Мишенькой из Ростова от тушинцев бежали, а уж она теперь и во какая стала, году не пройдет — на ней уж и яблоки будут!

— Это ли диво, Семен Иванович! — смеясь отозвался Скобарь. — Не мало ведь с той поры и времени прошло, в ту пору ты с Мишенькой боярчонком из Ростова бежал, и тому боярчонку шел одиннадцатый годок, а ноне уж он и не Мишенька и не боярчонок, а Михайло Федорович Романов, с той поры как его великий государь Василий Иванович в стольники пожаловать изволил. И сестрица его, Татьяна Федоровна, тоже уже замужем, и княгиней стала. С той поры ведь третий год идет, а в такое время мало ли воды утекает?...

— И то правда твоя, Степанушка! Время бежит, нас не ждет. Да время-то такое, что хуже безвременья! — со вздохом проговорил Сенька, поглаживая свою сильно поседевшую бородку. — Который уж год на наших бояр беда за бедою так и идет, и надвигается, что туча за тучей... Вот теперь опять третий год боярин наш... то бишь, господин митрополит Филарет Никитич во вражьем полону, в узах у тушинцев

обретается, а за последние недели и весть о нем запала... Знаем, что Тушино выжжено, что все их скопище врозь разбрелось, а где его милость — неведомо...

— Да где тут и сведать было!-вступился один из холопов, приостановив работу и опираясь на заступ. — То обсылки с Тушиным каждый день бывали, а то как блаженной памяти князь Михайло Скопин-Шуйский на злодеев напустился^[34], так и Тушино-то все врозь разлетелось — не от кого и вести добыть стало!

— Ох, не в пору ты вспомнил, брат, о князе Михаиле! Царство ему небесное! — проговорил Сенька крестясь. — До сих пор по нем вся Москва слезы ронит... В три недели никто его не забыл, а о другом бы на пять дней людской памяти не хватило! Истинно посетил нас Бог! Последнюю у нас надежду отнял... И что теперь будет? И кто теперь за нас заступником будет, — неведомо.

Старый, верный слуга Романовых смолк и задумался, и беседа, вызванная его замечанием о яблоньке, порвалась на полуслове. Все опять деятельно и усердно принялись за работу.

В это время на дорожке, которая между густых кустов вела из огорода к крыльцу боярских хором, показался мальчик лет двенадцати, стройный и миловидный. Русые кудри выбивались у него из-под бархатной шапочки, отороченной соболем, яркого цвета терлик^[35], с плетеными шелковыми застежками и кистями, обхватывал его еще тонкий отроческий стан. Жмурясь от солнца и прикрыв глаза рукою, он оглянул холопов, работавших в огороде, завидел Сеньку и, окликнув его, махнул ему рукою.

— Вот он, стольник-то наш именитый! — проговорил Сенька, весь просияв. — Не долго без меня насидел... О своем пестуне вспомнил... Сейчас, сейчас, иду, иду!

И он бегом пустился по огороду, насколько позволяли ему его старческие ноги.

— Сеня, куда это ты запропастился? — спросил его Мишенька. — Сказал, посмотреть в огород пойдешь, а сам и засел там — словно корни пустил.

— Нельзя же, батюшка Михаил Федорович! Без надзорного глаза хозяйскому добру везде ущерб да убыток. А мне твоего добра жалко.

— Моего добра тебе жалко, а меня покинуть не жалко? — ласково укорил Мишенька. — А мне, Сенюшка, так-то скучно, так скучно

сегодня, что я тебе и пересказать не могу.

— Да что же это с тобою попричилось ^[36], дружок? Кажется, и спал спокойно, и встал хорошо!

— Об отце я раздумался, и думы все такие нехорошие в голову лезут... И жив ли он! И не замучен ли злодеями? Вестей-то о нем ведь уж вторую неделю нет, и даже куда послать за вестями не знаем.

— Кабы знали, откуда вести добыть, так небось давно бы уж добыли... Мало ли у государыни верных слуг.

— Ну вот, без вестей о батюшке все мы голову потеряли. Матушка по целым дням все молится да плачет; дядя Иван Никитич тоже такой хмурый, нахохленный сидит, что к нему и подступу нет. На свою скорбь в руке да в ноге жалуется. Вот я один-то и сам себе места не найду, и невольно дурное в голову лезет.

— Э-эх, сердечный ты мой! Как же ты хочешь, чтобы все по нашей воле на белом свете творилось нам в угоду! Ты еще роптать на Господа не вздумай... А скука-то твоя — тот же ропот! А изволь-ка ты припомнить, от каких бед и зол всех вас Господь избавил! Припомни-ка Ростов-то! Ведь словно из самой пасти львиной все вы спаслись, и у батюшки твоего волос с головы не упал...

— Да, я это помню... А и того боюсь, что злых-то людей нынче уж очень много развелось...

— И над злыми, и над добрыми тот же Бог, голубчик мой! Чему не бывать, то и не станется без его воли. А смерть свою мы все за плечами носим, значит ее и бояться нечего. Вот Скопин, князь Михайло, младостью цвел, славою возвеличен был, превыше царя Василия почтен и превознесен... Смерть ни на что не посмотрела... А батюшке твоему страданья на долю выпали: за то Бог долгим веком его наградит.

— Вот как ты, Сенюшка, всегда меня разговорить умеешь! -ласкаясь к пестуну, сказал Мишенька. — Вот я с тобой поговорил, и на душе легче стало... И безвестье не так меня пугает...

— Да и чего пугаться-то, милый! Иногда безвестие многих вестей лучше бывает.

Так разговаривая, старый пестун подходил со своим юным питомцем к крыльцу хором, и Мишенька стал уже подниматься на ступеньки крыльца, когда, оглянувшись, увидел странника в темной скуфье и рясе, с посохом в руках, вступавшего в сад через калитку

палисадничка. Густые седые волосы ниспадали волною на его плечи, а серебристая борода покрывала своими спутанными прядями всю его грудь.

Сенюшка, смотри-ка, странник к нам идет! Пойди-ка к нему навстречу, зови его сюда на отдых. Авось, он нам Расскажет о странствиях своих, о дальних обителях!

И Мишенька приостановился на крыльце, следя за Сенюшкой, который и точно направился страннику навстречу, и подошел уж близехонько, да вдруг как вскрикнет, и колпак с головы долой, и сам бухнул страннику в ноги.

— Господин наш! Господин честной! — кричал он во весь голос, прижимая к устам своим загорелую руку странника.

ХІІІ ПОСЛЕ ДОЛГОЙ РАЗЛУКИ

Мишенька, не давая себе отчета в том, что он делает, мигом сбежал с крыльца и бросился навстречу величавому старцу с криком и слезами:

— Батюшка! Батюшка мой дорогой! — и повис на шее Филарета, который крепко сжал его в своих объятиях, сам трепеща от волнения. Он и не чувствовал, как крупные горячие слезы катились из глаз его по бороде и падали на лицо и на грудь Мишеньки.

Отец и сын еще не успели выпустить друг друга из объятий, как Сенька уже разнес радостную весть о возвращении Филарета Никитича по всему дому и всюду произвел необычайный переполох. Марфа Ивановна и брат Иван Никитич бросились из хором в сад, а все домашние и вся челядь со всех концов двора и дома устремились к крыльцу хором. Все спешили, бежали, толкались, с радостными лицами и радостными кликами, с веселым шумом и топотом... И все остановились в умилении при виде тех слез радости, которые лились из глаз Филарета Никитича, заключившего в свои объятия все, что было для него дорогого и милого на земле, все, с чем он был разлучен почти три года...

Когда наконец слезы иссякли, и восторги стихли, когда он вдоволь насладился ласкою жены, сына и брата, он обратил свой радостный и приветливый взор на всех домашних и челядинцев и всех их поблагодарил за верную службу, всех допустил к руке своей и каждому нашел возможность сказать словечко, западавшее в душу, памятное на всю жизнь, и каждого благословил.

Затем, когда Марфа Ивановна и Иван Никитич стали его просить войти поскорее в хоромы, а Мишенька все еще не мог выпустить его руки из своих рук, Филарет Никитич поднялся на несколько ступеней крылечка и, остановившись, сказал:

— Пойдите, еще успею войти под родимый кров... Но от «избытка сердца уста хотят глаголать», и я должен всем вам и этим добрым людям, которые в отсутствии моем служили вам верою и правдою и оберегли вас от бед и напастей, всем им я должен сказать о том, что вынес за эти годы, и всех их подготовить к тому, что нам

придется вынести и выстрадать за Русь, если Господь не смилуется над нами.

В его словах, в его голосе, в том глубоко опечаленном взоре, который он устремлял на всех окружающих, было что-то чрезвычайно привлекательное, приковывавшее к нему все сердца и все взоры, и все как бы замерли в ожидании того, что он будет говорить.

— Почти три года тому назад, — так начал Филарет, — я был оторван по воле Божией от семьи, от всех родных и близких мне людей... Я готовился к смерти и не боялся принять ее от руки лютых злодеев, обильно проливавших кровь вокруг меня. Но и среди потоков крови их рука не коснулась меня... Я был взят в полон и, опозоренный, лишенный облачений и внешних знаков сана моего, был уведен к тушинскому обманщику, был ему представлен в числе других полоняников из бояр и знати... Он отличил меня от всех, он постарался привлечь меня и лаской, и почетом, и саном патриарха... В душе моей к нему кипела злоба и презренье; хотелось обличить его и уничтожить, но разум воздержал мои порывы... Я увидел, что никто и не считает его ничем иным, как наглым обманщиком, никто не видит в нем царя Дмитрия или сына Иоаннова; а все служат, все угождают, все унижаются перед ним из одной корысти, все поклоняются ему как тельцу златому, из выгод мирских... Не только злые вороги, Литва или поляки, но и бояре московские, и родовитые дворяне, и сановники все променяли на злато, забыв и Бога, и отчизну, и честь, и совесть... Тогда решился я все претерпеть и все снести, лишь бы душу свою сохранить чисту, лишь бы остатком сил своих хоть сколько-нибудь послужить на пользу Руси православной... И все, что были кругом меня, поняли тотчас же, что я им не друг, что не слуга я их лжецарю и их неправде. Все стали избегать меня и опасаться, все стали зорко следить за мною и держать меня в такой неволе, какой и пленники у них не знали. Я никуда не смел один идти; не смел и в келье своей оставаться с собою наедине; не смел писать ни близким, ни родным. Но и эти угнетения, и эта неволя не поколебали меня, как не соблазнили предложенные мне почести и слава: я пребыл верен в душе и царю, которому присягал, и Богу, которому открыта моя совесть, и дорогой земле родной, которой я молю у Бога пощады и спасения...

Он смолк на мгновение, подавленный волнением, охватившим его душу, и немного спустя продолжал:

— Тушинский царь бежал. Тушино сгорело на глазах моих... Сильное числом и злобою скопище воров и изменников рассеялось... Погибли и многие сильные вожди их, и вот, по воле Божией, я свободен, я вновь в Москве и среди вас, я вновь могу служить моей отчизне на пользу... Но я не радуюсь, и дух мой не оживлен надеждой! Куда ни оглянусь, повсюду вижу измену, вражду, корысть и шатость... Тушинский вор в Калуге, и около него изменники и воры; польский король под стенами Смоленска^[37], и у него в стане русские изменники и воры, которые зовут его идти сюда, на пагубу русской земли; избранный нами царь Василий здесь, в Москве, и около него — измена, смута, тайные враги, предатели, готовые его продать... О, много, много еще, верьте мне, должно страдать нам, многое еще перенести и к краю гибели прийти, чтобы спастись от лютого врага, который в нас вселился, нам сердце гложет, нас побуждает на зло и на измену! Вот я и молю вас, братья и друзья, готовьтесь к бедам, готовьтесь страдать, готовьтесь биться с врагами, не успокаивайте духа своего, не усыпляйте его надеждами на лучшее... Грозные тучи идут на нас, полные громов и бурь! Мужайтесь и твердо стойте и молитесь Бога, чтобы Он вас научил любить отчизну и веру отцов превыше всех благ, всего достатка и счастья земного! Только этим и спасетесь, только этим и утешитесь!

Он не мог более говорить: слезы душили его, голос слабел и прерывался, руки дрожали. Марфа Ивановна и Иван Никитич взяли его бережно под руки и повели с крыльца в хоромы... А все домашние и челядинцы, слушавшие его с напряженным и почтительным вниманием, долго еще стояли кругом крыльца, пораженные его речью, оставившей в душе их глубокое, сильное впечатление...

XIV НОВЫЕ ТРЕВОГИ, НОВЫЕ ОЖИДАНИЯ

Это свидание с отцом после долгой разлуки произвело на Мишеньку чрезвычайно сильное впечатление. В течение тех немногих дней, которые Филарет Никитич позволил себе провести под домашним кровом, Мишенька не отходил от него ни на шаг, не сводил глаз, не проронил ни одного его слова. Он теперь сильнее и глубже, чем когда-либо, проникся уважением к отцу-страдальцу, готовому и способному все вынести ради блага отчизны, готовому умереть за Русскую землю и за веру отцов... И когда Филарет несколько дней спустя переселился в одну из келий Чудова монастыря, поближе к патриарху Гермогену^[38], Мишенька каждый день отпрашивался у Марфы Ивановны и ездил навещать отца своего и с величайшим наслаждением проводил у него два-три часа, если ничто не отвлекало Филарета от беседы с сыном. Еще полный этою беседой, Михаил Федорович уезжал от отца и по пути делился содержанием беседы с своим пестуном.

— Ах, Сенюша, как хорошо, как сладко было сегодня батюшкины речи слушать, кабы ты знал и ведал!... Он ведь теперь со мною как с большим говорит... И все мне объясняет, все рассказывает: откуда пошла Русская земля, и с коих пор в ней цари завелись, и какие цари были... А вот сегодня рассказал мне, как смута на Руси зачалась и как измена на Руси разделила всех, как брат на брата пошел, и вот за это-то самое на Московское государство пришли воры и иноплеменники...

— Ну а как батюшка твой говорит, скоро ли той смуте конец будет? — допрашивал Сенька, гарцуя около своего питомца на чалом мерине с романовской конюшни.

— Батюшка говорил, нескоро смута та окончится, и даже сказывал сегодня, что царю Василию с ней не справиться... что был у него добрый вождь, покойный князь Михайло Скопин, да Бог его прибрал, по грехам нашим, и что теперь всего худого надо ждать.

— Уж чего же ждать хорошего, как лютые вороги отовсюду на нас идут!... И поляки с Жолкевским наступают, и тушинцы с казаками

лезут, и в Москве все друг на друга волками смотрят... Чего тут ждать, кроме слез да горя!

И по возвращении домой те же беседы с отцом служили для Мишеньки любимую темою разговоров и рассуждений и с матерью, и с дядей Иваном Никитичем; в голове юного отрока мало-помалу начинало складываться представление о тяжелом современном положении Московского государства, об опасностях, которые ему угрожают, об обязанности всех честных русских людей соединиться неразрывно и до конца стоять в борьбе с изменниками и иноплеменниками, дерзко вторгшимися в русскую жизнь.

— Если бы все русские люди так же твердо стали отстаивать веру и правду, как иноки Троицкой обители^[39], давно уже ни одного врага не было бы в наших пределах! — не раз говаривал Филарет своему сыну, и слово это глубоко запало в душу отрока.

Так прошел почти месяц со времени избавления Филарета Никитича из тушинского плена, и свидания отца с сыном были каждодневными. Тем более был однажды опечален Мишенька, приехав к отцу в обитель и не застав его в келье.

— Владыка митрополит вместе с господином патриархом с утра в думе боярской заседают, и когда изволят быть обратно — неведомо! — отвечал служка Филарета Никитича на вопрос сына об отце.

Мишенька удалился домой опечаленный и на другой день точно так же не мог добиться свидания с отцом, который находился на совещании у патриарха. На третий он наконец дождался отца, хотя и на самый краткий миг. Но Филарет Никитич принял сына озабоченный и сумрачный; обняв и поцеловав его, он даже не посадил его около себя, как бывало обычно, и сказал ему:

— Дружок! Не ездь ко мне до тех пор, пока я сам тебе не разрешу. Великие грозят нам бедствия, великих должны мы ждать в самой Москве смут и волнений... я опасюсь за тебя и потому прошу: не ездь... даже из подворья не выезжай. Как удосужусь, сам к вам приеду. — На том он благословил сына и расстался с ним. И Михаил Федорович на обратном пути домой, быть может под впечатлением слов отца своего, обратил впервые внимание на то, что происходило на площадях, на улицах и на крестцах^[40], которыми он проезжал. Ему показалось, что никогда еще он не видал в городе такого оживления, таких густых толп народа, таких говорливых и шумных сборищ около

Лобного места и на спуске к Москве-реке, около Покровского собора... Он обратил на это внимание своего постоянного спутника, Сеньки, и тот, наклонившись к нему, пояснил:

— Слышал я в обители, от служки твоего батюшки, что вести дурные из войска получены... Разбиты будто полки ляхами, и войско наше все врозь разбежалось...

— А под чьим началом было? — спросил Мишенька с большим оживлением.

— Под воеводством князя Дмитрия Шуйского^[41], родного брата государева. Он первый и бежал, и весть привез о поражении...

— Как ему не грех и как ему не стыдно! Ему бы надо умереть на поле битвы, вот как тогда ростовский воевода.

— Не таков Дмитрий Шуйский... Он до всякой сласти житейской падок, смерти он пуще огня боится.

Приехав домой, Мишенька узнал от дяди Ивана Никитича о поражении русской рати под Клушином, об измене немцев, перешедших на сторону поляков, и о полном торжестве гетмана Жолкевского над неспособным и немужественным Дмитрием Шуйским. Оказывается, вся Москва уже была полна толпами беглецов с поля несчастной битвы и они повсюду расславили о корысти и неправосудии русских воевод и о чрезвычайном мужестве и воинском искусстве ляхов, которым будто бы и противиться в открытом поле нельзя...

— И уж Жолкевский на пути к столице, — добавил Иван Никитич, — а у нас и войска нет, чтобы выступить против него, и скоро ли еще сберем его — не знаем сами; а от Калуги вор тушинский подступает, — и с тем нет сил бороться. Столица в страхе и тревоге. Все мнутя, все ропщут на царя Василья, и, чем все это кончится, один Бог ведает.

Такие тревожные вести, доносившиеся отовсюду на Романовское подворье, конечно, всех волновали в доме, начиная от Марфы Ивановны и Ивана Никитича и до последнего челядинца. Все ожидали ежечасно наступления каких-то чрезвычайных событий, какого-то переворота, сопряженного со всякими бедами и напастями. Тревога старших передавалась и младшему члену семьи, Михаилу Федоровичу, который, просыпаясь, обращался к пестуну своему с вопросом:

— Что, Сенюшка, ничего еще на Москве не приключилось?

И слышал на этот вопрос все тот же ответ невозмутимого Сеньки:

— Милостью Божиею, стоит все на Москве по-старому, по-бывалому.

И ложился Мишенька и засыпал ввечеру все с тем же тревожным вопросом:

— А как ты думаешь, Сенюша, никакой до завтра напасти над Москвой не стряется?

— То единому Богу ведомо, голубчик; мы все под Его волею ходим, — неизменно отвечал и на этот вопрос пестун Мишеньки.

Блуждая таким образом в потемках всяких неопределенных ожиданий, страхов и опасений, Мишенька был чрезвычайно обрадован, когда наконец дней пять спустя после свидания с отцом, услышал, что вечером в этот день Филарет Никитич собирается посетить свою семью на подворье. Мишенька со страстным нетерпением ожидал отца и жаждал услышать от него то живое слово, которое бы облегчило его душу, осветило бы охвативший ее сумрак... И он не ошибся в ожиданиях, и Филарет Никитич явился на Романовское подворье уже тогда, когда стемнело и все сбирались ужинать. Он прошел прямо в моленную Марфы Ивановны и призвал туда супругу свою и сына.

— Хочу перед вами, дорогими и милыми моему сердцу, открыть то, что совершается теперь на Москве, чтобы вы знали, как вам жить в нынешнее трудное время, как поступать и чьей стороны держаться в грядущих превратностях и смутах.

Он вздохнул, печально оглянул всех и сказал:

— Идем к недоброму и сами налагаем путы на себя... Дни царя Василия изочтены; не сегодня завтра его понудят сойти с престола; песня его спета. Он погневается, погрозит, быть может поупорствует, но удержаться на престоле он не сможет.

— Кто же будет царствовать тогда? — оживленно и быстро спросил Михаил Федорович, не спускавший глаз с отца, боявшийся проронить хотя бы одно его слово.

Филарет обратил глубокий и пронизательный взгляд на сына и сказал ему:

— Есть между бояр московских роды и подревнее Шуйских, и к царскому корени поближе Годуновых; но из них теперь не изберут царя. Все завистью и злобою заражены, все точат друг на друга нож и,

чтобы не избрать единого от среды своей, решаются на страшное дело... На страшную измену земле своей!

Он смолк на мгновенье, и никто не смел обратиться к нему за разъяснением его загадочной речи.

— Вместо того чтобы всем сплотиться, всем заедино стать около своего, избранного всею землею, православного царя, бояре говорят себе: «Не нам, так пусть же никому престол не достается!» — и собираются тянуть в руку тех изменников, бояр тушинских, которые решились искать московского царя в Польщизне!

— Как! Не православного и не русского государя хотят посадить на престол московский? — невольно сорвалось с уст Марфы Ивановны.

— Да, не православного и не русского, — королевича Владислава! — сказал с горькою улыбкою Филарет. — Так порешили бояре на тайном совещании вчерашнем, и как ни возражал, как ни громил их патриарх укорами и всякою грозой, как ни пытался я доказывать, что ляхи лютейшие наши враги, что доверяться королю ни в чем нельзя, бояре, нас не слушая, решились вступить с Жолкевским в переговоры о королевиче, как только царь Василий покинет престол.

— Слыханное ли дело, чтобы на московском престоле, да не православный, не русский царь был! — прошептала Марфа Ивановна.

— О! Мы к тому идем, чего никогда не видано, не слыхано при наших предках было! — воскликнул с неудержимым волнением Филарет. — Видно, что еще мало страдали мы, мало терзали Русь раздорами и смутами! Чтоб образумиться, мы должны дойти до края гибели и претерпеть неслыханное, тогда лишь в разум войдем.

— Батюшка! — смело вступился вдруг Михаил Федорович. — Да зачем же нам иноземному и неверному королевичу покоряться! Не надо присягать ему.

Филарет печально покачал головою и сказал, положа руку на плечо сына:

— Ты судишь как отрок, горячо и неразумно! Если Бог попустит быть такому греху, кто же дерзнет Ему противиться! Он знает, куда ведет нас... Нет! Все присягнут, — присягнуть обязаны будете и вы, и верно соблюдать присягу, если сами ляхи в ней пребудут верны. Но не предавайтесь сердцем иноземцу, не ищите от него ни милостей, ни благ земных и ни на миг из памяти не выпускайте, что за веру отцов

своих и за землю Русскую вы должны пролить последнюю каплю крови. Кто бы ни царствовал, кто бы ни правил на Москве, пребудьте верны ему, пока он нашей веры не коснется, пока не вздумает рвать на части землю Русскую. И помните, что верою создано великое государство Московское, верою держалось, пока мы Бога помнили, — верою и спасется!

При этих словах Филарет поднялся с места, стал прощаться со своими. Но, когда он положил руку на голову Михаила Федоровича, благословил его, тот вдруг разрыдался, упал на колени и, простирая руки к образу Спасителя, заговорил прерывающимся от волнения голосом:

— Батюшка! Пусть меня мучат, пусть лишают хлеба, пусть держат на цепи в темнице, — не изменю я вере православной, не поддамся иноверцам! А вырасту, так буду с ними биться до последней капли крови за веру нашу и за землю Русскую!

Филарет обнял сына крепко-крепко и поцеловал его в лоб.

— Успокойся, сын мой! Бог укажет тебе пути, которыми тебе придется идти, когда ты подрастешь и в разум войдешь! Укажет, если ты сохранишь Его в чистом сердце твоём.

И, опасаясь выдать собственное волнение, Филарет поспешил удалиться и плакал даже тогда, когда лег в постель и утонул лицом в свое изголовье. И эти слезы просветили его сознание и рассеяли неопределенный сумрак, тяготивший его душу

XV ПЕРЕД НОВОЙ БЕДОЙ

— Вот батюшка-то твой, Филарет-то Никитич, — говорил однажды своему питомцу Сенька, — ведь ровно пророк! Месяца не прошло, как уж все сбылось, что он предсказывал. И царя Василия на престоле как не бывало в монахи и с супругою своею пострижен. И с ляхами мы в дружбу вступили, и королевича их в цари к себе зовем! Господи Боже мой! Назавтра уж и присягу ему отбирать от всех станут. И тебе, Мишенька, тоже как стольнику присягать небось придется!

— Придется, — с видимым неудовольствием сказал Мишенька, опуская очи в землю.

— Да как же это! Я, право, и в толк не возьму. Иноверный королевич, по вере католик, да на московский престол воссядет? Как его — неблаговерного — и в церквах-то за службой Божией поминать станут?

— Батюшка сказывал, — заметил Михаил Федорович, — что патриарх и бояре запись взяли с гетмана, и с короля, будто бы, ее возьмут: тому королевичу в православную нашу веру перейти.

— Запись, запись! — проворчал про себя Сенька. — Что запись — бумага писаная! Бумагу подрал — и записи нет... Что стоит королю ту запись уничтожить? Да еще и даст ли на нее согласие! Вон он каков, лукавый: переговоры о королевиче с Москвой ведет и сына на московский престол сажать собирается, а наш коренной русский город Смоленск из пушек громит да под свою державу норовит привести... Кто польской затее поверит, тот наверно за это и поплатится.

— А как же бояре-то, да и сам патриарх, неужели допустят такой обман? — с неуверенностью спросил Михаил Федорович.

— Допустят ли, нет ли, кто ж это знает? А только что крови еще много прольется, прежде чем все уладится, — с каким-то мрачным отчаянием проговорил Сенька.

Мишенька взглянул на него с некоторою укоризною и, положив руку на плечо ему, проговорил ласково:

— А помнишь, как, бывало, ты утешал меня? Как ты говаривал: никто, как Бог, и что без воли Божией ничто не станется... А теперь и ты Бога позабыл!

— Эх, Мишенька! — еще мрачнее проговорил Сенька, покачивая головою. — Такие времена переживаем, что кажется, будто нас Бог забыл, отвернулся от нас, грешных, — отдал нас ворами да ляхам на посмеяние и на потеху!

Он безнадежно махнул рукою и замолк, как бы опасаясь высказать перед питомцем свои затаенные мысли и вскрыть перед ним все, что у него накопилось на душе.

Мишенька грустно посмотрел на него, и сердце его сжалось невыносимой тоской при мысли, что ему завтра придется присягать в подданической верности королевичу Владиславу, избранному боярами царю московскому.

Мишеньке и в голову не приходило, что под одним кровом с ним билось другое сердце, еще гораздо более терзавшееся тоскою и тяжелыми предчувствиями, хотя и тщательно скрываемою. То было сердце матери, Марфы Ивановны.

Строго сосредоточенная, посвятившая себя исключительно заботам о доме и воспитанию сына, Марфа Ивановна делила свое время между этими заботами и молитвою. В последнее время, когда события так быстро следовали одно за другим, когда каждый день приносил с собою какие-нибудь прискорбные новости и события, никогда прежде не виданные и не слыханные, Марфа Ивановна чувствовала себя совершенно подавленною тяжким гнетом ожиданий какой-то страшной, надвигающейся, неотразимой опасности, грозившей поглотить все, что у ней было дорогого в жизни, все, что она уже так много лет сряду старалась оградить от всяких бед. Такие же тягостные предчувствия тревожили ее только в то время, когда она жила в Ростове, накануне страшного ростовского погрома и долгой разлуки с Филаретом Никитичем. Сердце-«вещун» нашептывало ей, что и теперь ей придется испытать новые горести, вынести чрезвычайные опасения, пережить новые тревоги и ужасы; но она не дерзала никому высказать эти предчувствия, не дерзала сознаться в своей слабости. Филарет Никитич не стал бы ее слушать и, вероятно, остановил бы ее на первых словах строгим выговором.

— В Бога верить надо, а не в ваши бабьи сны, приметы да бредни! — говаривал он не раз, когда она жаловалась ему на тревожившие ее думы о будущем.

С деверем своим, Иваном Никитичем, она не любила говорить об этих тревогах потому, что тот ее тотчас поднимал на смех и начинал доказывать, что все должно вскоре уладиться и устроиться к общему благополучию. С тех пор, как вся Москва присягнула Владиславу, а гетман Жолкевский оттеснил тушинцев от Москвы, Иван Никитич сильно обнадежился, даже вовсе перестал поляков опасаться и держал сторону тех бояр, которые предлагали гетману Жолкевскому занять Москву сильным отрядом войска.

— Худшее, матушка Марфа Ивановна, теперь уж пережито нами! Уж миновало! — говаривал он ей в утеху. — Будем лучшего ждать, а не сокрушаться по-пустому.

Особенно опасалась Марфа Ивановна заговаривать о своих опасениях при сыне, который, как она могла заметить, был в последнее время очень тревожно настроен и чутко прислушивался к каждому звуку, к каждому слову.

И только со стороны одного человека она видела себе полное сочувствие: только с одним Сенькой могла она говорить свободно и без стеснений. Тот вполне разделял ее опасения, настаивал на том, что как только польские дружины вступят в Москву, Марфе Ивановне и с сыном вместе немедля следует ехать в костромские романовские вотчины, и повторял ей постоянно, в подтверждение своего взгляда:

— Москва, матушка-государыня, не Ростову чета! Коли тут каша заварится, из нее цел не уйдешь. Тут что в решете: дыр-то и много, а вылезть некуда!

Но когда Марфа Ивановна дерзнула однажды намекнуть Филарету Никитичу о том, что недурно было бы ей с Мишенькой из Москвы уехать, тот так сурово осадил ее, что заговаривать об этом она больше уж не решалась.

И вот, по целым часам запираясь в своей моленной, она только перед Богом решалась открыть свою душу, прося у него наставления и помощи.

А между тем Москва в ту пору действительно переживала такое время, что даже странно было тревожиться какими-нибудь опасениями. Все граждане московские во всех слоях общества охотно присягали Владиславу, видя в этом избрании конечный исход всяких бедствий и полную возможность избежать кровопролитной войны и нескончаемой службы, которая уже всем приелась до тошноты...

Вслед за присягою и подписанием договора бояр с Жолкевским последовали пиры и празднества то в польском стане, то в Москве, в боярских домах; толпы народа каждый день ходили в польский стан с харчами, с мелким торгом, с предложением всяких услуг; и поляки бродили по Москве, закупаая себе в рядах все необходимое, запасаясь хлебом и свежим мясом, сбывая всякое добро, доставшееся в добычу после Клушинской битвы. И все шло так дружно, так плавно, так согласно...

Тем более была удивлена Марфа Ивановна, когда после одного из заседаний боярской думы Иван Никитич, вернувшись домой, прошел прямо к ней на половину и, притворяя за собою дверь, сказал ей с несколько встревоженным и таинственным видом:

— Сестрица! Братец, Филарет Никитич, приказал тебе сказать, чтоб нынче ночью, после того как Мишенька и все подворье улягутся, ты приказала бы Сеньке посторожить у задней садовой калитки. Он сам приедет к нам на тайное совещание...

— О чем? Не сказывал ли хоть тебе? — взмолилась было Марфа Ивановна.

— Не сказывал! — отвечал деверь, мотая головою. — Но только одно скажу: давно уж я его не видел таким тревожным, как сегодня...

«Ну, видно, недаром так томили меня все эти дни злые, черные думы!» — подумала Марфа Ивановна, и сердце ее вновь защемило невыносимую тоскою.

С великим трудом дождалась она вечера, — день показался ей просто нескончаемым... Под первым попавшимся предлогом она уговорила Мишеньку пораньше лечь спать, разрешив ему давно желанную поездку в Чудов к заутрене; затем сама стала наблюдать, как мало-помалу засыпал весь дом, как гасли огни в разных углах обширного подворья и тишина постепенно водворялась всюду. Было около полуночи, когда погас последний огонь и Марфа Ивановна, накинув на плечи темную телогрею, вышла из хором на рундук садового крыльца.

Вечер был свежий, сентябрьский, но луна была в полном блеске, и темное безоблачное небо так и горело мириадами звезд... Марфа Ивановна присела на крылечке и стала прислушиваться.

Ждать ей пришлось недолго. Ровно в полночь топот копыт раздался по переулку под высоким садовым тыном, калитка скрипнула,

и Филарет Никитич вступил в сад в сопровождении Сеньки, который почтительно остановился у калитки.

— Ждала? Тревожилась? — заботливо и ласково спросил Филарет, благословляя Марфу Ивановну.

Она не отвечала ни слова, — только низко опустила голову.

— И есть о чем тревожиться! — многозначительно сказал Филарет, переступая порог хором.

Минуту спустя оба брата и Марфа Ивановна по-прежнему сидели в той же моленной.

— Все это время, — так начал Филарет, — я стоял у кормила, я близко и зорко наблюдал, куда государственный корабль направляется... И вижу, что кормчие все потеряли голову, что корабль несет в пучину и никто не в силах его спасти от гибели! Измена и коварство торжествуют и точат нож на нас, никто не смеет им перечить и становиться поперек дороги. Меня, — я знаю это наверно, — скоро здесь не будет.

— Тебя не будет? На кого же ты нас покинешь!-воскликнула Марфа Ивановна, всплеснув руками.

— Я пришел вам обоим дать мой последний завет на всякий случай.

— Последний? — промолвила Марфа Ивановна.

— Да, потому не знаю, что ждет нас на той службе, в которую нас посылают теперь: смерть ли, полон ли, страданье ли? А шлют нас почетными послами на рубеж, к Смоленску, для утверждения переговорной грамоты с королем Сигизмундом и королевичем Владиславом. «Почетными» — тут только слово одно, а избраны в послы те люди, которые здесь могли бы связать руки и полякам, и русским изменникам... Но у коварного Жолкевского есть и другой расчет: он выпросил в почетное посольство назначить тех, которые, по роду своему и близости к престолу, могли бы сами на него быть избраны или детей своих на нем увидеть... Он знает, что таких родов осталось только три: Милославских, Голицынский и наш Романовский!... Но Милославский стар уже и бездетен, а у меня и у Голицына есть сыновья... Понятно ли теперь, о чем я с вами говорить приехал, какой вам от меня останется завет?

И Марфа Ивановна, и Иван Никитич смотрели прямо в глаза Филарету Никитичу, не смея слова проронить, не смея угадать его

мысль и ожидая, что он сам ее выскажет.

— Мой завет вам: блюсти сына моего Михаила как зеницу ока! Не прятать его, не хоронить от всяких возможных бед и напастей, не увозить куда из Москвы, но здесь блюсти, блюсти его, — блюсти в нем, быть может, надежду всей земли Русской... Пути Божьи неисповедимы и в нынешние смутные времена кто знает — кто может знать свою судьбу! И кто смеет уклониться от перста Божия, если он укажет Своего избранника!

— Как? Ты решился бы, чтобы дорогое наше детище попало в этот водоворот... в этот омут? — простонала Марфа Ивановна.

— Неразумны твои слова, жена! — сурово заметил Филарет. — Сегодня водоворот и омут, а завтра, как минет Божья гроза, тот омут обратится в светлый, чистый и прозрачный источник, всех напоющий своею сладкою струей... Да! Мой завет такой: блюдите Михаила, но не уклоняйте его от перста Божия! Бог лучше нас знает, куда его ведет... Не нам становиться преградой на пути Его... Клянись же исполнить мой завет, чтобы я мог спокойно править службу земле моей, спокойно умереть, если так судил Бог!

— Клянемся! — проговорили разом и Марфа Ивановна, и Иван Никитич, поднимая руки.

— Ну теперь я смело могу идти хотя на край света белого!... Я готов на подвиг, и других сумею укрепить к такой же готовности, и знаю, что, как ни спешит коварный лях, не одолеют злоба и измена!

Глаза его горели ярким пламенем, когда, говоря это, он поднялся с места и стал молиться на иконы и благословлять своих близких.

— И надолго ты нас покинешь? — решила было спросить Марфа Ивановна.

— Не искушай этим вопросом ни меня, ни Бога! Кто знает, даже и выезжая на ловы, на потеху подгороднюю, вернется ли он домой и когда вернется?

Он еще раз благословил жену и брата одним общим крестом, отступая к порогу моленной, и знаком показал им, что он не желает от них проводов. Они остались в хоромах, а он быстро вышел на садовое крыльцо, быстро спустился с него и скрылся за поворот дорожки. Минуту спустя топот двух коней, раздавшийся в переулке, возвестил об отъезде Филарета.

XVI ЕЩЕ РАЗЛУКА

11 сентября 1610 года день просиял поутру ярким, почти летним солнцем.

Чуть солнышко встало, уж Сенька поднял Мишеньку с постели напоминанием, что на сегодня, после ранней обедни и напутственного молебна в Успенском соборе, назначен был отъезд великого московского посольства под Смоленск, к Сигизмунду.

— Коли хочешь батюшку проводить по дороге да проститься с ним у Крестов, вставай, Мишенька, скорее! — торопил Сенька своего питомца, раскладывая перед ним нарядное платье для этого торжественного выезда.

Мишенька не заставил себе повторять эти речи и поднялся так быстро, что даже и сам его пестун удивился.

— Ну, голубчик, видно, ты на дело прыток будешь! Ишь, как обернул, что и мне за тобой не поспеть стало!

И он спешил подать ему умыться, спешил нарядить его в камчатый красный кафтан с золотыми затканными цветами и разводами и подтянуть его кованым серебряным поясом с крупными гранатами, бирюзами и лалами^[42].

Когда Мишенька покрыл свои кудрявые волосы бархатною шапочкой с собольей оторочкой, Сенька отступил от него шага на два и залюбовался им, прикрывая глаза своею старческою рукой.

— Ведь ишь ты, какой молодец кучерявенький вырос да выровнялся! Кто тебя года два не видал, тот, пожалуй, и не узнал бы. Вот только плечами бы пошире, да грудка чтобы раздалась чуть-чуть, тогда совсем стольник у нас настоящий будешь! Ступай к матушке, покажись ей, да пусть благословит тебя на проводы!

Мишенька направился на половину матери и вернулся через несколько минут сильно растроганный, с мокрыми от слез глазами.

— Поедем скорее, голубчик Сенюшка! Боюсь я опоздать... Боюсь, что не увижусь с батюшкой-родителем.

— Поедем! Степан уж вон попривстал, коней-то державши.

Они оба сошли с крылечка в сад, из сада через калитку палисадника вышли в переулок, где Степан Скобарь действительно

ожидал их с двумя верховыми конями. Придерживая стремя Михаилу Федоровичу, между тем как Степан держал коня под уздцы, Сенька помог своему питомцу сесть в седло, оправил складки его кафтана, дал ему в руки, сверх поводьев, гремячие серебряные цепи, прикрепленные к удилам богатой наборной уздечки, а сам, быстро вскочив в седло, перекрестился и сказал:

— С Богом, в путь!

Кони тронулись с места крупной рысью, которую всадники не старались сдерживать, опасаясь, что не доедут вовремя. Как только они поднялись к Покровскому собору и завернули на площадь, так увидели, что, несмотря на раннюю пору утра, вся Красная площадь была залита толпами народа, терпеливо выжидавшего той поры, когда громадный и торжественный поезд великого посольства двинется из Кремлевских ворот и направится на Смоленскую дорогу.

С трудом пробрались наши всадники через эти толпы, переехали через подъемный мост на кремлевском рву и въехали воротами в Кремль. Здесь опять бросилось им в глаза пестрое и подвижное всенародное множество, собравшееся тесною, сплошною массой около здания приказов, против решетки соборов, около которой длинной вереницей, в три ряда, поставлены были шесть карет и колясок для главных послов и посольских икон, далее целый обоз повозок для дворян и выборных людей, другой обоз всякого их скарба и дорожных запасов, и более трехсот верховых коней, на которых посажена была посольская почетная стража из стрельцов и казаков.

— Матушки мои! — слышались в толпе голоса. — Да неужто это все для посольства приготовлено!... Ведь это и посмотреть-то страсть!

— А ты небось думаешь, тетка, что они к теще гостить едут! Собрались в путь не на один месяц, а то и на целый год... И собралось-то их ни много ни мало — тысяча двести сорок шесть человек. Так тут надобно запасу!

— Собралось-то много, да много ли вернется! — мрачно заметил кто-то со стороны, и это замечание словно ножом кольнуло Мишеньку в сердце.

Но тут они подъехали к воротам, сдали коней своему конюху, следовавшему за ними поодаль, и, обменявшись поклонами со жилецкою стражею, охранявшею ворота, вступили в толпу гостей, дворян и всяких выборных людей, наполнявшую дворцовый двор

между соборами. Не обращая внимания на эту жужжавшую толпу, которая явилась проводить своих родственников, друзей и знакомцев, изредка кое с кем обмениваясь поклонами, Михаил Федорович поспешил пробраться в собор, в котором за решетками стояли различные чины: бояре, окольниковые, думные дворяне и дьяки, все высшие сановники и власть имущие люди. Юный стольник занял подобающее ему место между стольниками, а Сенька остался выжидать его на паперти; Мишенька был очень счастлив тем, что поспел в собор еще до начала службы и мог еще раз, в последний раз, присутствовать при служении митрополита Филарета, своего дорогого, обожаемого отца, в сослужении с другими епископами, в присутствии самого патриарха Гермогена, который уже в самом начале литургии занял свое высокое патриаршее место, окруженный многочисленным клиром.

В первый раз в жизни юный Михаил Федорович присутствовал на таком торжественном служении и не молился — не мог молиться... Он не сводил глаз с своего отца, как бы желая неизгладимо запечатлеть его дорогие черты в своем сознании и памяти, как бы сознавая, что он расстанется теперь с отцом своим надолго, быть может, навсегда... И эта мысль до такой степени поглощала все его чувства, что он слышал звук голоса Филарета и слушал его с неизъяснимым наслаждением, но не мог выделить ни одного его слова, не мог расслышать ни одного возгласа... Изредка слезы, набегавшие на глаза Мишеньки, покрывали все кругом его неопределенным туманом, и тогда, не видя ничего перед собою и оставаясь на мгновение в мире звуков, ласкавших его слух и носившихся под древними сводами, Мишенька различал среди этих звуков только голос отца своего, проникавший ему прямо в душу, ободрявший его какой-то неведомой надеждой...

Когда служба окончилась и начался напутственный молебен, патриарх Гермоген сам принял участие в служении его, между тем как все главные послы — князь Василий Голицын, Филарет Никитич, дьяк Томила Луговский и дьяк Сыдавный-Васильев — стояли во главе всего сонма сановников, у самого амвона, на коленях.

Все ожидали, что патриарх в конце молебна скажет великим послам напутственное слово, но суровый инок, призывая их к крестоцелованию, сказал только:

— Пребудьте верны святой православной Церкви и ни на какие соблазны, ни на какие блага не променяйте общего блага всей земли Русской, да не будете прокляты в сем веке и в будущем!...

Затем торжественным шествием, с крестами и хоругвями вынесены были из собора иконы, назначенные сопровождать послов во время пути и пребывания на чужбине... Шествие церковное, сопровождаемое густою толпою бояр и сановников в золотых кафтанах и низшими дворцовыми чинами в красных суконных однорядках, подошло к решетке соборной площадки. Здесь в две передние кареты помещены были посольские иконы, в сопровождении двух протопопов протодиаконов; затем в третьей карете поместился Филарет, а в остальных трех — в каждой по одному послу. В последующих повозках в то же время разместились — по двое, по трое и по четверо — остальные, низшие члены и участники посольства. Конная стража оцепила обширный поезд с обеих сторон. Патриарх высоко поднял чудотворный крест над головою и молча осенил им отъезжающих... Поезд заколыхался и двинулся к Кремлевским воротам. Масса провожающих, верхами, загарцевала по обе стороны стражи, окружавшей поезд: всем хотелось еще раз проститься с отъезжающими у Крестов и пожелать им счастливого пути и успеха.

Когда поезд тронулся, приветствуемый толпами народа, который всюду обнажал головы, крестился на посольские иконы и кланялся в пояс послам, Мишенька очутился на коне около самых дверей кареты Филарета и ехал рядом с нею, не спуская глаз со своего обожаемого родителя. Но Филарет, согласно обычаю, не имел возможности обратить на него ни малейшего внимания; спокойный и сдержанный, он приветливо раскланивался направо и налево и непрестанно благословлял десницей толпу на обе стороны. Когда же посольский поезд проехал через всю Москву и остановился на выезде из города, тогда уже Филарет не мог вытерпеть: вышел из кареты и обнялся со своим сыном, с дорогим и единственным сыном, который, сойдя с коня и громко рыдая, упал перед ним на колени.

Разлука была тягостная и до такой степени трогательная, что никто из окружающих не мог удержаться от слез.

— Батюшка! Батюшка! — лепетал юный стольник, целуя край одежды родителя и обливая слезами его руки.

— Сын мой! — сказал Филарет, с трудом сдерживая слезы и возлагая руки на голову Михаила Федоровича. — Сын мой единственный и возлюбленный, благословляю тебя и вручаю тебя на попечение матери твоей и дяди, которым мой завет о тебе известен и введом. Повинуйся им, как мне бы повиновался, и не выходи из их воли. Когда же вступишь в юношеский возраст и призван будешь на службу царскую, исполни долг свой, не жалея живота, не помня ни о покое своем, ни о сне, ни о плоти. Помни только о душе и о долге, который тебе надлежит исполнить...

Он поцеловал сына и передал его на руки Сеньки, которого благословил, шепнув ему на ухо:

— Надеюсь на тебя, раб верный и преданный.

Толпа бояр и сановников, стоявшая поодаль во время прощанья отца с сыном, обступила Филарета; каждый спешил подойти под его благословение и облобызаться с ним...

Сенька воспользовался этой минутой для того, чтобы отвлечь Мишеньку в сторону и уговорить его поскорее вернуться домой, где, вероятно, «матушка Марфа Ивановна о нем уже во как тревожится»...

XVII ЗАГОВОРИЛО РЕТИВОЕ

Мишенька, разрыдавшийся и взволнованный, не перечил своему пестуну: он дал себя усадить на коня и покорно последовал за Сенькой, минуя громадный поезд, вытянувшийся почти на версту. Густая толпа народа окружила все повозки, и прощанье было всюду в полном ходу. Одни плакали и целовались, благословляя друг друга, иные угощались на прощанье, чокаясь ковшами и чарками, иные крестились и кланялись, обратясь лицом к Москве, к ее «сорока сорокам» церквей.

И Михаил Федорович, и его спутник ехали молча, не обмениваясь ни единым словом. Юный стольник был подавлен впечатлением только что вынесенной разлуки с отцом, а старый пестун был занят какими-то своими тревожными думами, которые, видимо, не давали ему покоя и то вызывали на лице его горькую усмешку, то выражались каким-нибудь произвольным движением рук. По временам он даже с досадой повторял про себя чуть слышно:

— Доигрались, дождались! Будем у праздника!...

Эти почти шепотом произнесенные слова наконец обратили на себя внимание Мишеньки. Он обернулся к Сеньке и спросил его:

— Что ты шепчешь? Что у тебя на уме, Сенюшка?

— Э-эх! Голубчик, лучше не спрашивай! Вот как болит сердце...

— По батюшке? — робко и ласково спросил Мишенька, заглядывая в очи Сеньки.

— Нет, не по батюшке твою. Он службу государскую правит: в нем Бог волен. А по тому болит сердце, что ждет всех нас, москвичей, позор невиданный и несказанный!

— Что такое? Какой позор?

— Стоя на паперти, я слышал, как двое бояр промеж себя говорили: «На днях бояре, что при власти стоят, порешили польскому войску ворота ночью открыть — впустить их в город, чтобы охранили нас от тушинцев и от русских воров». Да что же мы, бабы, что ли? Или не сумеем уж бердыша и копыя в руки взять?

— Нет! Это что-нибудь не так! Ты недослышал, Сенюшка.

— Какое там недослышал! Прямо говорили, что патриарх и слышать об этом не хотел, так первый же твой дядюшка, Иван Никитич, против него пошел и настоял на том, чтобы впустить в Москву поляков, и порешили, что как только посольство двинется в путь, так, дня три спустя, бояре впустят ляхов и в Кремль, и в Белый город.

— И дядя настаивал на этом? — горячо заговорил Михаил Федорович.

— Говорили, будто громче всех в Думе кричал.

— О, если так, то я с дядей поговорю... Я его спрошу!...— запальчиво заговорил Мишенька.

— Что ты, что ты, касатик, да разве ты не знаешь, каков твой дядянька?... Крутенок! Ты хоть меня-то не выдавай!

— Не выдам! Скажу, что в соборе слышал... Но как он может, как он решился?... Верно, не спросясь отца?

— Отец твой заодно с патриархом стоял... А теперь, как он уехал, им всем без него волюшка вольная!

Михаил Федорович не сказал ни слова более, а только охлестнул коня плетью и пустил его вскачь.

Сеньке не удалось узнать и выследить, говорил ли в тот день Михаил Федорович с дядею о допущении польской рати в Москву... Не решился Сенька и питомца своего об этом разговоре допрашивать, опасаясь возбудить его против дяди-боярина; но только он заметил, что именно со дня отъезда Филаретова между юным стольником и Иваном Никитичем отношения установились холодные и натянутые. Мишенька видимо избегал всяких бесед с дядею и проводил большую часть дня с матерью своей, а когда боярин Романов при нем и при Марфе Ивановне начинал выхвалять гетмана Жолкевского и выражать доверие к полякам, Михаил Федорович поднимался молча со своего места и уходил из комнаты. Только в то утро, когда Сенька доложил Мишеньке, что польская рать во время ночи была впущена боярами в Москву и разместилась постоем в Кремле, в Китай-городе и в Белом городе, Мишенька не вытерпел и заговорил с дядею очень громко и резко. Дядя вскипел и набросился на племянника с укорами... Сеньке из-за двери удалось расслышать, как боярин кричал:

— Не смыслишь ничего!... Молоко на губах не обсохло, а чужие речи повторяешь!... Я доберусь, кто тебя наущает!...

— _ Никто не наущает,-резко возразил Мишенька, — своим разумом рассуждаю, что полякам в Москве не место...

— Да знаешь ли ты, что если бы гетман не согласился прислать нам польскую рать для охраны, так нам бы в Москве двух дней не прожить было! Измена отворила бы ворота тушинцам!... Пришлось бы нам искать себе спасенья в польском стане...

— Нет! Патриарх Гермоген туда бы не пошел, и я бы с ним здесь остался.

Тут боярин так раскипятился и так стал кричать на племянника, что Марфа Ивановна должна была вступить за сына и осадить боярина.

— Коли вам не любы поляки, чего же вы в Москве сидите? — кричал разгневанный Иван Никитич. — Ехали бы в свои вотчины, сидели бы там!

— Давно бы отсюда уехали, — твердо отвечала Марфа Ивановна. — Да сам, чай, знаешь, каков завет нам дан Филаретом Никитичем. Не смеем переступить его и останемся здесь.

В ответ на этот довод Иван Никитич крикнул что-то (чего Сенька не мог расслышать) и, поднявшись из-за стола, ушел на свою половину.

Со времени этого столкновения прошло около двух месяцев, и дядя все это время не переставал дуться на племянника: иногда по целым дням не заходил в хоромы Марфы Ивановны, иногда заходил для свидания с ней только с утра, когда Мишенька занят был грамотой в своей комнате с подьячим посольского приказа, и потом уже не показывался целый день, даже и обедал на своей половине. Но Марфа Ивановна начинала замечать, что на лице Ивана Никитича чаще и чаще появляется какое-то недовольство, досада, иногда даже и просто озлобление, высказывавшееся в каждом слове болезненного, нервно расстроенного боярина.

— Да что ты это, братец! Здоров ли ты, как я погляжу на тебя? — участливо решила спросить его однажды Марфа Ивановна.

— Нет... я здоров... это я так! — отвечал Иван Никитич и обыкновенно спешил уйти, уклоняясь от дальнейших расспросов. Но Марфа Ивановна заподозрила недоброе и стала допытываться истины у своего деверя.

— Признаться сказать, — проговорился наконец однажды Иван Никитич, — берет меня не на шутку тревога, что до сей поры нет писем от брата из-под Смоленска... Все ли там благополучно?... А у нас...

— Что ж, может быть, теперь поляки тебе уж и не любы стали? — сказала на это Марфа Ивановна.

— Нет, не поляки, а наши-то сановники, что из тушинских вельмож в Думе очутились: от тех-то вот житья нет! Вот, кажется, иной бы раз их всех...

Марфа Ивановна вздохнула и не спрашивала больше.

Дней пять спустя Иван Никитич пришел к Марфе Ивановне совсем взволнованный, возмущенный до глубины души. Он держал в руке письмо, только что полученное от Филарета Никитича, и еще издали кричал:

— Вот они каковы! Вот жди от них добра, жди проку! На словах одно, а на деле совсем другое...

— О ком ты это, братец, так сердито говоришь? — спросила деверя Марфа Ивановна, как бы не догадываясь, о ком идет речь.

— Вестимо о ком — о господах поляках! Вот прослушать изволь письмо от брата...

— От Филарета Никитича? — почти вскрикнула Марфа Ивановна, поднимаясь быстро с места.

— Изволь, изволь прослушать! — торопил ее Иван Никитич, усаживаясь, и тотчас начал читать письмо Филарета, в котором тот горько сетовал и жаловался на чрезвычайное коварство и лживость польских вельмож, на уклончивые извороты короля в переговорах, на волокиту и промедление в подписании договора, на открытое и явное нарушение некоторых его условий...

«Коли так и дальше пойдет, то даже и два года здесь пробыв, ничего не добьемся, — писал Филарет. — А король тем временем громит Смоленск и губит неповинные души христианские... Для всех нас понятно и явно, что Московскому государству сына своего королевича Владислава в цари давать не желает, а сам замышляет воссесть на Московский престол...»

— Боже ты мой! Да что же это с нами будет? Чем все это кончится? — заговорила в испуге Марфа Ивановна.

— Признаться, мы и сами не ведаем, чем все это кончится! — смущенно высказал Иван. Никитич. — Читал я это письмо боярам нашим в Думе — все головы повесили... Поляки, и те вестями из-под Смоленска смущены! Опасаться начинают, как бы смуты какой в Москве самой не вышло... А патриарх, так тот уж во весь голос кричит, что договор нарушен, что пора призвать народ к оружию против иноплеменников.

— О Господи! Как же мы среди всех этих бед и ужасов спасем детище мое милое!... Если б не завет Филарета Никитича, если б он нас клятвою не связал, давно бы я Москву покинула, где мы окружены отовсюду врагами и смертными опасностями!...

— Да, теперь не знаешь, куда и голову-то приклонить! — растерянно проговорил Иван Никитич. — В Калуге вор тушинский засел, в Поволжье — казаки воровские грабят и бесчинствуют... в Орле, в Рязани, в Пронске, в Волхове, говорят, опять какая-то новая завируха начинается... Ляпунов опять там бунт затеял, хочет к Москве идти...

— Ох, только уж ради Бога не говори ты об этом Мишеньке! — испуганно заговорила Марфа Ивановна. — Он в последнее время все только спит и видит, как бы ему Москву от поляков спасти! А если тут бы еще ополчение какое к Москве подходить стало, не удержать бы его... Только и твердит: хочу, мол, пострадать за Русь и за церковь православную...

— Хорошо ему это твердить по неразумию! — с досадой проговорил Иван Никитич. — А мы и во главе правления стоим, да видим, что в тупик зашли и ворохнуться не можем... Тут уж как бы свою-то голову на плечах сносить...

И он беспомощно опустил голову на грудь и задумался.

XVIII СЛУХИ И СТРАХИ

Среди сомнений, опасений и страхов, среди самых разнообразных и зловещих слухов, доносившихся отовсюду, среди глухой борьбы и озлобления, нараставшего медленно между русскими людьми, обманутыми Сигизмундом, и поляками, заброшенными им в Москву и предоставленными а произвол судьбы, — жизнь текла тяжело, мрачно и вяло, на Романовском подворье, как и во всей Москве, никто уже не загадывал на недели, на месяцы, а все держали свое лучшее добро в скопе, в узлах, наготове, и, ложась с вечера спать, говорили с полным сознанием:

— Вот, коли Бог даст нам дожить до завтрашнего дня...

В воздухе пахло грозой; встречные люди начинали на улицах посматривать друг на друга волками. Даже самые мирные граждане покупали себе на последние гроши добрый нож-засапожник на базаре и клали на ночь топор под изголовье, приговаривая:

— А кто его знает! Не ровен час, може, и топор пригодится!

Так прошло еще три месяца; наступил и Великий пост, перевалил и за Средокрестную неделю, а сумрак над Москвою все более и более сгущался... Что ни день, то на подворье доносились вести, одна другой хуже, одна другой грознее, и каждая из них задевала за живое, заставляла трепетать от негодования сердца прямых русских людей...

— Скоро, матушка, нечем будет и дров нарубить для топки! — говорил однажды Сенька Марфе Ивановне. — Польские начальники нонче ходили по рядам, везде у купцов топоры из лавок и ножи отбирали...

— Сегодня у заставы поляки обоз с дровами остановили и не пустили в город, — докладывал Степан Скобарь. — Это, говорят, вы не дрова, а солопы для московских мужиков везете...

Затем пошли слухи о перехватывании писем, обнаруживших тайные сношения московских граждан с южными городами; кто-то принес весть о заключении князя Андрея Голицына под стражу. Наконец Иван Никитич, смущенный и растерянный, приехав однажды из заседания Думы, сообщил Марфе Ивановне, что с разрешения Думы поляки заключили государя-патриарха под стражу...

— С разрешения Думы!! — воскликнула Марфа Ивановна. — Да в уме ли вы? Да как дерзнули на него и руку-то поднять?

— Поляки жаловались нам, что он мутит против них все государство, прямо в соборе проповедует, чтобы все шли к Москве с оружием, на избавление столицы первопрестольной от иноплеменников... И патриарх не отрицался: прямо говорил, что он от тех проповедей не уймется...

— И вы не поддержали его? Вы его выдали врагам? — воскликнула возмущенная до глубины души Марфа Ивановна.

— Что же нам делать! Мы присягали королевичу... Да притом ведь мы в руках у них... Ведь мы...

— О, горе той земле, в которой на таких шатких столпах все здание государственное зиждется! Ответите вы за слабость свою перед Богом, и отмстится она вам жестоко — в род и род!

Иван Никитич зажал уши и поспешил удалиться из комнаты Марфы Ивановны, Не зная, что и ответить ей на ее укоры, не зная, чем оправдать непростительную слабость свою и своих товарищей-думцев.

Особенно тревожно провела Марфа Ивановна канун Вербного воскресенья. В этот день к ней с утра явился Сенька и слезно просил ее не отпускать Михаила Федоровича на «действие хождения господина патриарха на осляти».

— Он мне, матушка, сказывал, что у тебя проситься будет, а по городу такой слух пущен, будто поляки в этот день всех бояр побить смертным боем хотят! Так уж ты угомони сынка... Меня он послушать не хочет...

Предупрежденная верным холопом, Марфа Ивановна встретила просьбу сына о дозволении ехать на «действие» безусловным отказом.

— Матушка,пусти ты меня! — просил ее Михаил Федорович. — У меня душа горит еще раз увидеть господина патриарха. Говорят, что его только на этот день ляхи и вызволят из-под стражи.

— Патриарха Гермогена освободят на этот день из-под стражи, чтобы бояр да знатных людей приманить... А сами на них ножи точат!

— Кто это мог тебе сказать! Верно, Сенька! Он в последнее время везде страхи видит... Не то что на улицу, и в огород меня одного не пускает... А это все пустое!

— Не пустое, коли в людях слух пошел. Даром говорить не станут... Ну, а Сеньке спасибо, что он тебя остерегает: береженого и Бог бережет.

— Матушка! Да ты меня не одногопусти: пусти под охраной... Пожалуй, хоть два десятка холопов на конь посади.

— Сказала — не пущу! — твердо произнесла Марфа Ивановна. — Ну ты и не просись! Помни, что отец велел тебе ходить в моей воле.

Мишенька не решился более тревожить матушку, низко опустил голову и замолк.

В самое Вербное воскресенье ничего не произошло, хотя слух оказался недаром пущен: на «действие» не явился никто из бояр, а вся площадь, на которой «хождение на осляти» происходило, оказалась отовсюду окруженною польскими дружинами, которые стояли все время под ружьем, видимо готовые ко всяким случайностям.

В понедельник вечером, когда уж Мишенька, простившись с матерью, ушел к себе в опочивальню, Сенька опять пришел к Марфе Ивановне на тайную беседу:

— Государыня! — сказал он ей, осторожно притворив за собою дверь. — Ходил я сегодня по базару и слышал всякие слухи... Сказывал о них боярину Ивану Никитичу, да он меня старым дураком обозвал и с глаз прогнал, так я к тебе с теми же слухами... Изволь прислушать...

— Говори, сказывай все, что знаешь...

— На базаре говорили, что Ляпунов с ополчением со своим уж и всего-то на два перехода от Москвы остановился станом... И будто выслал сюда своих людей и воевод — разведывать, как дело на Москве обстоит, и будто завтра вся Москва поднимется и ляхам всем карачун будет!

— Ох! Страшно и слушать... И не верится, а страшно! — со вздохом произнесла Марфа Ивановна.

— «Коли люди ложь — и я тож!» С тем и прими, государыня! А не сказать тебе не смею...

С этими словами Сенька удалился в свою каморку, рядом с опочивальней Мишеньки, и долго-долго ворочался на своем жестком соломеннике, обдумывая план действий на случай какой-нибудь завирухи, которая действительно как будто висела в воздухе над Москвою.

«Надо будет встать пораньше, — думал верный романовский холоп, — да на конюшню пойти, да конюхам приказать, чтобы верховые кони у них оседланы и взнузданы стояли, — так-то оно надежнее будет!».

На этом соображении сон одолел наконец его заботы.

XIX КРОВАВАЯ БАНЯ

Вторник Вербной недели наступил тихо и мирно. Мороз был суровый. Солнышко встало багрово-красное, без лучей, огненным раскаленным шаром выкатилось оно из-за густого морозного тумана, который клубился над Кремлем и закрывал золотые главы его соборов. Чуть проглянуло солнышко, жизнь городская потекла своею обычною стезею. От застав на рынок нескончаемыми рядами потянулись возы с рыбой, с живностью, со всяким припасом, со щепяным товаром, с муравленой и глиняной посудой, с дровами и рогожами. Купцы в рядах открыли лавки с красным товаром, с шубами, иголками, кушаками, валенками и рукавицами. Около рядов закипел и мелкий разносный торг, крикливый и пестрый, подвижный и угодливый. Нигде не было заметно среди населения никакого особенно неприязненного настроения: каждый шел своей дорогой, спешил по своему делу и занят был своими заботами.

Вот мало— помалу к простолюдинам и толпе серого люда стали примешиваться и другие элементы населения. Думный дьяк проехал в расписных санях, обитых ковром и прикрытых медвежьей полостью; боярский сынок промелькнул на поджаром иноходце в нарядной сбруе; бояре один за другим потянулись в Думу со своих подворий в просторных каптанах^[43] и в пошевнях^[44], запряженных сытыми доморощенными конями, в наборной упряжи с колокольцами... Народ боярам низко кланялся, а они в ответ чуть-чуть помавали верхом своих высоких шапок. Одним словом, все шло самым обычным будничным чередом, и никому даже в голову не приходило, что весь город живет накануне страшной, никем не ожидаемой и непредвиденной грозы...

Около полудня небольшой отряд поляков, под начальством ротмистра Козаковского, двинулся из Кремля, везя с собою несколько тяжелых стальных орудий, предназначенных к постановке на стенах и башнях Белого города. Орудия везли на дровнях с подсанками, а в каждые дровни впряжено было по четыре и по шести лошадей. Возчики, сидевшие на лошадях верхом, усердно погоняли их и выкрикивали на все лады, стараясь поддержать ровную и одинаковую тягу коней, но, вероятно, груз был тяжел, не под силу: пар валил от них

клубами во все стороны, и весь поезд подвигался медленно... На самом повороте с площади в Ильинку, как раз на крестце, заставленном густою толпой всякого серого люда, передние дровни вместе с орудием нырнули в глубокий ухаб, хрустнули, затрещали и расползлись под тяжестью своего груза. Остальные дровни, не остановленные вовремя, наехали на первые, лошади сбились и спутались, произошла невообразимая суতোлка и сумятица... Поднялись крики, ругань, и польская, и русская; засвистали плети над несчастными измученными лошадьми... Больше всех волновался и кричал пан ротмистр, начальствовавший отрядом:

— Пся крэвь!^[45] Галганы!^[46] Мужики московские! Бить вас треба! Бий их, жолнеры!^[47] — ревел он, подскакивая к передовым дровням.

Жолнеры, исполняя панское приказание, сунулись было к возчикам и принялись их тузить; но один из них, здоровенный, кряжистый детина, дал такой отпор двоим жолнерам, что один отлетел от него кубарем в снег, а другой схватился за нос, из которого струей потекла кровь.

Толпа, стоявшая на крестце, разразилась хохотом.

— Ай да Федюха! Мастак отбиваться! Двоих пересилил!

А Федюха так и застыл на месте, ожидая нового нападения. Но нападения не последовало... Жолнеры попятились. Зато пан Козаковский набросился на толпу:

— Чего вы глотку дерете! Бисовы дзети! Ступайте вси!... Зараз ступайте!... Тащите бронь с мейсца!^[48]

И он с своего коня размахивал руками, чуть не хватая ближайших из толпы за шиворот.

— Ну, ну, ты, польская ворона! Не замай! — закричало несколько голосов из толпы. — Не пойдём — проваливай!

И толпа сумрачно попятилась от пушек и сопровождавшего их отряда. Но пан ротмистр не унимался. Он принял это движение толпы за трусость и громче прежнего заревел своим гайдукам по-польски:

— Хватайте московских мужиков! Бейте их, каналий! Они должны нам помочь! Не до ночи же нам здесь сидеть!

Десятка два жолнеров побойчее бросились к толпе, схватили несколько человек из нее и потащили к передним дровням.

— Ребята! Не выдавай своих! — раздались голоса. Толпа бросилась на жолнеров и отбила от них схваченных. Произошла свалка. Двое остались на месте, побитые или смятые. Один из возчиков, лежа на земле, стонал, пытаясь приподняться. Один из жолнеров лежал неподвижно, широко раскинув руки...

Обе стороны попятились, как бы опасаясь дальнейшего кровопролития; они смотрели друг на друга мрачно и злобно, готовые броситься в новую свалку... Вдруг один из жолнеров рванулся из строя, подбежал к возчику, который стонал и корчился на земле, и хватил его наотмашь саблей по голове... Тот опрокинулся навзничь, обливаясь кровью...

— Лежачего бьют, анафемы! Бей их, братцы! Бей! — заревела толпа, к которой отовсюду на крик сбегались новые толпы людей. Пошли в ход поленья, плахи, ставни, мостовины, оглобли от дровней; толпа смяла жолнеров так быстро, что они не успели даже и выстрела сделать.

Кровь полилась ручьем; крики, стоны, рев толпы, бряцанье оружия — все слилось в один страшный, дикий хаос.

Но уж со стен Кремля заметили неожиданную схватку: кремлевские ворота отворились, и немцы, занимавшие Кремль, бегом бежали рота за ротою, на помощь своим союзникам-полякам, блестя на солнце шишаками и пищалями... Загудел в Кремле набат, подхваченный и другими церквями. Раздались выстрелы, и все чаще, все громче, все грознее загудели раскаты залпов в разных концах площади, не заглушая страшного, раздирающего вопля массы ни в чем не повинных, безоружных и беспощадно избиваемых людей.

XX ДО ПОСЛЕДНЕГО ИЗДЫХАНИЯ

Чуть только отдаленные раскаты выстрелов и первые звуки набата долетели до Романовского подворья, Сенька стремглав бросился в боярские хоромы прямо к Марфе Ивановне.

Он нашел ее в моленной: она стояла на коленях рядом Михаилом Федоровичем, которого не выпускала из объятий; уста ее тихо, чуть слышно шептали:

— Господи! Да будет воля Твоя!

— Государыня! Кони готовы, и добро все, что подороже, скоплено у меня и перевязано, в узлы перевязано... Мешкать некогда!... — почти кричал Сенька.

— Я никуда не двинусь отсюда! — твердо отвечала Марфа Ивановна. — Я исполню клятву... Буду ждать здесь Ивана Никитича, и тогда обсудим...

— Матушка! Да разве не слышишь, какая там жареха идет?... Ведь бьют на площади и в Китай-городе... И вся Москва как в котле кипит... Теперь бы нам отсюда и уйти!

— Замолчи! Не смей соблазнять меня! Сказала тебе, что с места не сойду!... Ступай и жди моего приказа!...

И она снова стала на колени рядом с сыном.

— Боже ты мой! Господи праведный! Что мне делать? — чуть не со слезами прошептал старый слуга, хватаясь в отчаянии за голову. — Видно, уж так тому и быть! — И он, выйдя из моленной, перешел через хоромы и сенями на правился к надворному крыльцу, в такой степени погруженный в свои думы, что чуть не наткнулся на Ивана Никитича, который как раз в это время входил в сени с надворья; бледный и перепуганный насмерть.

— Где они? Где? Веди меня к ним скорее! — кричал он Сеньке, с трудом держась и переступая на своих больных ногах.

— Пожалуй, батюшка-боярин, сюда пожалуй! — радостно воскликнул Сенька, обрадованный приездом боярина, который должен был вывести его из тяжкого затруднения, и, подхватив Ивана Никитича под руки, он почти потащил его в моленную.

— У меня, батюшка, и кони готовы, и добро боярское все в узлы связано! — шептал он боярину, чувствуя, как у того дрожат руки.

— Ладно, ладно, сейчас и двинемся! — отвечал Иван Никитич, сам даже не отдавая себе отчета в своих словах. Так дошли они до моленной и, войдя в нее, застали Марфу Ивановну и сына ее на прежнем месте на коленях.

— Скорее! Скорее! Собирайтесь! — закричал Иван Никитич, теряя всякое самообладание. — Москва вся поднялась — в Китай-городе и в Белом городе режутся насмерть! Поляки город поджечь хотят, а нам, боярам, велят собираться в Кремль, не то сгорим, погибнем все! Скорее! — И он беспомощно опустился на лавку.

— Мы готовы за тобой следовать! Веди нас туда, куда тебе укажет Бог и совесть! — твердо сказала Марфа Ивановна, поднимаясь с колен и не выпуская сына из объятий.

Сенька опять подхватил Ивана Никитича под руки и повел его к надворному крыльцу, беспрестанно оглядываясь на Марфу Ивановну и Михаила Федоровича, которые следовали за боярином.

Колымага Ивана Никитича стояла у крыльца. В то время как они в нее усаживались, выстрелы слышались где-то очень близко, и крики, стоны, вопли сплошным гулом стояли в воздухе. Где-то уже горело, дым валил из-за домов клубами... Михаил Федорович зажал себе уши, чтобы не слышать криков, и склонился головою на грудь матери.

— Скорее, скорее, в Кремль, к дому Милославского! — крикнул Иван Никитич вершникам, сидевшим на выносной паре.

Колымага тяжело всколыхнулась, сдвинутая с места, и покатилась с подворья за ворота, у которых ожидал ее десяток польских вооруженных всадников, данный боярину для проводов и береженья. Всадники тотчас окружили боярскую повозку и вместе с нею быстро двинулись вперед, направляясь к Тайницким воротам Кремля.

Сенька засуетился, проводив своих бояр.

— Ребята, сбивайтесь в кучу! — кричал он боярским холопам. — Выюchte узлы с боярским добром на коней! Скорее в Кремль, к дому боярина Федора Милославского! Чай, слышали, куда боярин сказывал везти!

Но суматоха и тревога на подворье были такие, что управиться Сеньке с холопами было мудрено. Все металось из стороны в сторону, каждый тащил и спасал свое добро; кто выючил его на коня, кто

волочил по снегу... Какая-то баба кричала во весь голос, чтоб не забыли взять ведро и корыто, и всем совала их в руки... А между тем ружейные залпы гремели уж близехонько, где-то за углом.

— Степушка! Голубчик! Ну их совсем, хоть мы-то с тобой поедem, захватим вот этих четырех коней с самолучшим боярским добром! — крикнул наконец Сенька в отчаянии, обращаясь к Скобарю, который довьючивал коня.

— Ладно, ладно! Всего ведь не заберешь с собой! — отвечал ему Скобарь, хватая двух ближайших коней под уздцы. — Дай Бог и с этим пробраться в Кремль! Чай, слышишь, каково там бьются.

Сенька не отвечал и, двинувшись к воротам со своими конями, крикнул остальным холопам:

— За нами ступай! За нами!

В это время толпа каких-то безоружных и насмерть напуганных людей бежала по улице, мимо ворот подворья, крича и вопя во весь голос. Многие были окровавлены, иные еле волочили ноги. Двое, страшно израненные, бросились в ворота, ища спасения от всадников, бешено мчавшихся за ними и нещадно рубивших саблями.

Кони, испуганные их криками, шарахнулись в сторону и сбили Сеньку с ног; один из коней Скобаря вскинулся на дыбы, вырвался из рук его и бросился за ворота, топча на ходу встречного и поперечного.

Как раз в это время нагрянули к воротам рассвирепевшие польские и литовские всадники. Все они махали саблями и что-то кричали по-своему с коней, загораживая романовским холопам дорогу:

— Господа честные! Паны всемилостивые! — бросился было к ним Сенька, униженно снимая шапку. — Это добро бояр Романовых! Мы в Кремль его везем, под вашу охрану!...

— То вшистка наше!^[49] — крикнул ближайший из всадников, рыжий, свирепый литвин с длинными усами. — Вшистка есть наше!

И, наклонившись, ухватил Сенькина коня под уздцы.

— Что ты! Что ты! Как можно! Боярское добро! Ребята, не давайте! — крикнул старик в отчаянии, стараясь вырвать поводья из рук грабителя.

Но прежде чем кто-нибудь подоспел к нему на помощь, удар сабли со стороны разрубил ему череп: кровь и мозг брызнули во все стороны... Старик распустил руку и беззвучно ткнулся в землю, а

всадники мигом очутились на дворе и принялись крошить саблями направо и налево... Проклятия, крики, вопли и стоны наполнили все подворье и смешались с гулом выстрелов, с ревом набата и с тем страшным хаосом смерти, гибели и разрушения, который успел уже охватить всю древнюю первопрестольную столицу.

XXI НАША ВЗЯЛА

Минуло еще полтора года в усиленной кровавой, страшной борьбе с врагами внешними и внутренними, против которых как один человек восстала наконец вся Русь православная... Обгорелые и дымящиеся, облитые кровью развалины Москвы, сожженной поляками, обратились в один огромный, воинский стан, в который изо всех концов земли Русской приехали дружины за дружинами и бились насмерть против польских ратей, когда те подходили на выручку поляков и немцев, засевших в Кремле и Китай-городе. И все теснее и теснее стягивалось вокруг этих твердынь железное кольцо, грозившее гибелью врагам, уже терпевшим страшный голод и нужду; но они еще нагло и горделиво отвергали пощаду, предлагаемую им русскими воеводами, князьями Пожарским и Трубецким... Однако же для всех было ясно, что исход борьбы уже был близок и неизбежен...

Как раз около этого времени, то есть в половине октября 1612 года, по очень дурной и разбитой Троицкой дороге подвигался к Москве нескончаемо длинный обоз, подвод в пятьдесят, нагруженный запасами, которые спешно везли из Костромы в расположенный под Москвою лагерь Пожарского. Впереди обоза, покрикивая на всех остальных возчиков, шел уже знакомый нам высокий, осанистый старик с седою окладистой бородой, домнинский староста Иван Сусанин. Он и теперь, как десять лет назад, шел бодро, держался прямо и ступал твердо. Лицо его было по-прежнему свежим, а глаза светились умом и железною волей. Но рядом с ним шел не красавец зять, а внук-мальчик, лет двенадцати, плотный и краснощекий, изо всех сил старавшийся поспеть за дедом и приравнять свои мелкие шажки к его широкому и ровному шагу. А по другую сторону сусанинского коня шел, опираясь на посох, высокий и худощавый инок в островерхом черном клобуке и потертой, заплатанной черной рясе, тщательно подобранной и подоткнутой под кожаный пояс.

Покрикивая и на коней, и на возчиков, Иван Сусанин в то же время внимательно прислушивался к рассказу инок, который сообщал ему о последних событиях под Москвою как человек, отлично обо всем осведомленный.

— Так-то, друг милый, — говорил инок, — вот уж недели с две, как и боев никаких больше под Москвою нет... Наша Рать стоит без дела да на кремлевские стены и башни смотрит, а с кремлевских стен и башен ляхи да немцы проклятые на нас смотрят, а сами и шагу ступить за кремлевский ров не смеют... Голод и нужду терпят превыше меры; а все же, по своей сатанинской гордости и строптивости, сдаться нам не хотят. Все ждут, что король пришлет им рать на выручку. Да где уж?... Близок их конец!

— И давно пора! Попили нашей крови, пора за нее расплачиваться головами! — заметил Иван Сусанин.

— Их и жалеть нечего. Не миновать им Божьего суда! Да одно только и больно: с ними вместе, неповинно, и голод, и нужду терпят наши братья, бояре и боярыни, и дети малые: они их в неволе тесной держат. Тем каково? Те за что страдают?

— Ох, уж и не поминай, отец Паисий! Ведь и наши мученики там, Романовы бояре: и госпожа честная Марфа Ивановна, и сынок ее, Михаил Федорович, и дядя его, Иван Никитич Романов. Как заперлись в Кремле поляки, как разграбили и разорили их подворье, так с той поры и держат их в неволе. Не знаем, живы ли еще они?

— Как слышно, живы, — сказал инок с участием.

— А уж истинно страдальцы! Отец в плену и в узах у Жигимонта короля за то, что вере не изменил и коварству польскому не поддался, а супруга его и сын здесь изнывают, снедаемые голодом, томимые и страхом, и тоскою смертною! Вот их-то, страдальцев этих, да их же братью, верных и прямых русских людей жалеючи, князь Пожарский на прошлой неделе грамоту милостивую в Кремль к польским да к литовским нехристям отправил.

— Карачун бы им всем, проклятым, а не милость! — проворчал про себя Сусанин.

Инок, не расслышавший его слов, продолжал о том же:

— И в той грамоте прописал: «Слышим, мол, что вы, в осаде сидя, голод безмерный и нужду всякую терпите, так не лучше ли бы вам покориться и такой нужды и голоду за неправду не терпеть... Присылайте к нам, не мешкая, коли хотите сберечь головы ваши и животы в целости».

— Ну и что же они, окаянные?

— Посланного облаяли, а грамоту назад нечестно^[50] воротили.

Сусанин даже плюнул с досады.

— Ну да за то же и наказал Бог! — продолжал инок. — Перебежчики от них намеренно сказывали нам, будто уже падалью питаться стали и даже — выговорить страшно — человеческим мясом не брезгают!

— С нами крестная сила! — отозвался с содроганием Сусанин. — Ну, видно, что правда твоя: близок их конец!

И тотчас после этого восклицания оглянулся на возчиков и крикнул им во весь голос:

— Потягивай, ребята, потягивай! Последний перегон до Москвы гоним, всего верст с пяток до Белокаменной осталось!

И, когда весь обоз, как бы ободренный этим напоминанием, прибавил ходу, старый инок, взглянув в сторону Ивана Сусанина, проговорил печально:

— Пять верст осталось, и все эти пять верст придется идти сплошным пожарищем... Пепелища видишь там, где процветали и села, и веси, и обители многи...

И действительно, весь путь до Москвы, по мере приближения к ней обоза, пролегал через выжженные дотла поселки и деревни; нигде не видно было никакого следа человеческого жилья. Темными впадинами смотрели настежь распахнутые ворота некогда богатых дворов, и ветер свободно врывался в окна без рам и ставень. Всюду лежали нагроможденные груды черных, обуглившихся развалин — печальный признак бывшего довольства и процветания. Видно было, что люди давно уже покинули эту юдоль плача, скорби и стенаний!

Вот наконец обоз вступил и в обгорелые улицы Москвы и, руководимый иноком Паисием, направился к Арбатским воротам, где раскинут был стан ополчения, пришедшего под Москву с князем Пожарским и Кузьмою Мининым. У самого въезда в стан, где поставлен был сильный караул, строго осматривавший и допрашивавший всех, кто вступал в стан, особый пристав принял Ивана Сусанина с его обозом, отобрал от него бирки, по которым следовало принять хлебные запасы от возчиков, и указал, куда следует везти запасы и кому сдавать. Только уже справивши это дело, Иван Сусанин спросил у пристава, как бы ему разыскать костромское ополчение и в том ополчении своего зятя, и услышал от пристава вопрос:

— А кто же твой зять?

Богдан Сабинин, из деревни Деревищи, под Костромою.

— А, знаю! Добрый воин: недавно урядником назначен, Вон куда ступай, где красные рогатки стоят... Там всяк тебе костромичей покажет.

Сусанин с внуком двинулся по указанному направлению, и, переходя через стан, надивиться не мог тому строгому рядку и чину, который всюду был замечен. Ратники варили себе пищу около огней, сидели кружками близ шатров, чистили оружие, чинили сбрую и ратные доспехи; все были заняты, все держали себя чинно и с достоинством. Нигде не слышно было ни крика, ни брани, ни громкого смеха, ни разгульных песен

Подойдя к красным рогаткам, Сусанин тотчас разыскал костромское ополчение и только хотел было у первого встречного ратника спросить о зяте, как кто-то окликнул его со стороны.

— Батюшка! Не меня ли ищешь?

И высокий красивый мужчина в шишаке и кольчужной рубахе, опоясанный кожаным поясом с бляхами, бросился обнимать старика, бряцая мечом, висевшим сбоку.

— Здравствуй, голубчик, здравствуй, — крикнул Сусанин, обнимая зятя, которого не сразу и признал в его воинском доспехе. — Привел Бог свидеться! А вот тебе и сына на побывку сюда привез!

Богдан Сабинин поднял мальчика на руки и, целуя, прижал к груди своей.

— Дедушка! — говорил мальчик, дергая деда за рукав. — Глянька, у батьки-то и шапка, и грудь — все как есть железное.

— Ну, тестюшка, одно скажу: вовремя ты пожаловал! Сегодня, снесясь с князем Пожарским, поляки выслали к нам из Кремля всех жен, какие были при русских людях, боярынь и дворянок, а назавтра обещались выслать к нам бояр и остальных русских пленников... Уж молят нас теперь только о том, чтобы жизнь им пощадили: во как их голод одолел! Ждем, что завтра к вечеру и сами выйдут из Кремля.

— Слава Богу! Давно бы уж пора! — проговорил Сусанин, крестясь. — Да что же ты не скажешь: жива ли государыня-то наша? Вышла ли она с боярынями?

— Нет!... Прислала князю сказать, что без сына Михаила не тронется и с места... Со Скобарем тот сказ прислала... Видно, завтра

надо ждать.

— Ох, хоть бы Бог привел еще раз ее, страдалицу, увидеть — ей поклониться, и бояричу-то нашему, государю Михаилу Федоровичу! Кажись, тогда и умирать-то легче было бы!

— Ну, батя, что затеял! погоди умирать, завтра всех наших бояр воочию увидим.

* * *

Утро на другой день было туманное и серенькое; спозаранку накрапывал дождь, а потом вдруг большими хлопьями повалил было снег. Но к полудню разъяснило, и солнышко, выглянув из-за темных облаков, облило обширный воинский стан, и белые стены, и башни Кремля своими яркими лучами. По условному знаку — белому знамени, выставленному на одной из кремлевских башен, — Пожарский приказал сильному конному и пешему отряду двинуться к каменному мосту, перекинутому из Кремля через Неглинную, и поставил отряд полукружием у моста. Толпы ратников из других таборов и толпы казаков, вместе со всяким людом и сбродом, сбежались туда же — смотреть на выпуск пленных бояр, как на зрелище... Воеводы, князя Трубецкой и Пожарский стали внутри полукружья, образуемого строем войск, чтобы с честью встретить и принять невольных кремлевских сидельцев, изможденных лишениями и страданиями всякого рода.

Вот наконец кремлевские ворота приотворились и из них вышла небольшая кучка людей, принаряженных в поношенное боярское платье, изнуренных, бледных, еле передвигавших ноги; за ними следом двигалось еще с полсотни дворян, детей боярских и челядинцев с узлами и связками какого-то жалкого домашнего скарба, с мешками, сундучками и ларцами на плечах.

Вдруг слева из толпы казаков и сброда послышались крики:

— Вот они, изменники! Давайте их нам!... Мы им окажем честь да почет: ограбим их донага! Вали, ребята! Пробивайся!

Произошла сумятица и давка; казаки потеснили задние ряды ополчения... Но Пожарский крикнул грозно:

— Не пускать буянов! Стрелять в ослушников! Кто смеет сунуться вперед, ответит головою!

И толпа отхлынула с ропотом недовольства и подавленной злобы... А князь Пожарский уже шел с приветливою улыбкою навстречу боярам, сходящим с моста.

Впереди всех, с непокрытою головой, шел маститый старец, боярин Федор Милославский, держа в одной руке икону, а другою ведя рядом с собой инокиню Марфу и сына ее Михаила, бледного, исхудалого, но благообразного и стройного пятнадцатилетнего юношу. За ними, на носилках, Скобарь и другой холоп боярский несли Ивана Никитича Романова, более похожего на тень, чем на живого человека... Еще дальше следовали Иван Михайлович Воротынский и еще с десятков других бояр.

Пожарский облобызался с Милославским и низко поклонился всем боярам: и у них, и у него слезы были на глазах, когда они произносили первые приветствия:

— Привел Бог! Слава Богу! Избавил нас от смерти и позора!

— Слава Господу, слава! Честь и радость вам, бояре! Просим к нам жаловать на почет и совет! — отвечали воеводы.

И все вместе, воеводы и освобожденные бояре, направились к шатру Пожарского, где была для встречи приготовлена скромная трапеза.

— А тебе, государыня, — обратился Пожарский к инокине Марфе, — для твоего покоя и отдыха с сыном твоим приготовлена особая палатка, рядом с деверем твоим...

— Спасибо, князь, — проговорила Марфа Ивановна. — Но мне с сыном здесь не отдохнуть, не успокоиться... Дозволь нам завтра же отсюда отъехать в наши костромские вотчины... Окажи мне милость: дай мне обережатаев, которые бы нас до дому проводили.

Князь собрался ответить Марфе Ивановне полным согласием на ее просьбу, как вдруг со стороны послышались громкие возгласы:

— Здрава буди, государыня Марфа Ивановна, на многие лета! — И человек двадцать костромичей, с Иваном Сусаниным и Богданом Сабининым во главе, выступили вперед и ударили земной поклон своей госпоже.

— Вот и земляки мои здесь оказались! Спасибо вам, добрые люди!... А, и ты здесь, старина! — ласково обратилась она к Ивану Сусанину, который целовал руку Михаилу Федоровичу. — Как ты попал сюда?

— С запасом, матушка, с запасом! Да не один я здесь: с полсотни нас наберется...

— А не возьметесь ли вы меня в Домнино отвезти, и с сыном?

— Да сделай нам такую милость! Дозволь нам отвезти тебя... Отвезем покойно и бережно! Охраним от лихого человека!... У нас с собою и рогатины, и топоры захвачены — все лоском ляжем, а тебя с сыном не выдадим! — восторженно заговорили костромичи.

— Так вот, князь, — сказала Марфа Ивановна, приветливо обращаясь к князю Пожарскому, — не тревожься назначать мне обережатаев... У меня свои нашлись из земляков. Я доверяю им — они меня проводят!

Потом, обратившись к Ивану Сусанину, сказала:

— Сегодня мы с сыном здесь отдохнем, оправимся; а завтра на рассвете будьте готовы в путь...

— Слушаем, матушка, слушаем! Будем готовы! — гаркнули костромичи, кланяясь в пояс Марфе Ивановне.

— Государыня Марфа Ивановна! Неужели же ты с нами и двух-трех дней перебыть не хочешь? — как бы с укором сказал Пожарский. — Ужели не хочешь видеть, как лютые вороги наши покинут стены Кремля, как мы вступим вновь туда, где починут святые праведники наши и чудотворцы!

— Не сетуй, князь, на нас. Мы с сыном исстрадались, извелись в тоске и муках... Нам ничто теперь не мило... Нам покой и отдых нужны...

Князь молча поклонился и проводил инокиню Марфу с сыном до их шатра.

XXII НЕ НА ТОГО НАПАЛИ

Прошло еще пять месяцев. Зима уж шла к концу, морозы после Афанасьева дня стали слабеть, даже повеяло теплом в начале марта, так что и на дороге стало подтаивать... И вдруг опять неведомо откуда налетели вихри, закурила в поле метель, и дней пять подряд такая стояла погода, что света Божьего не видно стало, не было возможности отличить утро от вечера, и всюду в деревнях намело сугробы около изб вровень с крышами.

Как раз после одной из таких-то метелей, по одному из лесных проселков Костромского уезда пробиралась порядочная шайка литовско-польских воровских людей, числом с полсотни или поболее. Шайка шла, видимо, не издалека, шла налегке, без всякого обоза, если не считать двух вьючных кляч, на которых был нагружен небольшой дорожный запас.

Большая часть «воров» была весьма изрядно вооружена; у половины шайки за спину закинута были фузеи и мушкеты, у других в руках были рогатины и копья, а за кушаком пистолы, у большей части сбоку болтались кривые сабли и прямые немецкие тесаки.

Двое передовых, по всем признакам вожаки, ехали верхом на небольших, но бойких лошадках, закутанные в толстые суконные кобеняки, с надвинутыми на голову куколями^[51], из-под которых посвечивали небольшие шеломцы. Один из них, худощавый, носастый и суровый на вид, с огромными рыжими усищами, был угрюм и не говорлив, а другой, плотный и приземистый, румяный и круглолицый, с живыми и быстрыми карими глазами и маленькими черными усиками, был большой говорун и весельчак, почти не умолкавший ни на минуту.

— Вот сейчас, пан Кобержицкий, — говорил он по-польски своему спутнику, — вот еще только немного проедем, тут и будет деревня.

— Да это от тебя уже не в первый раз слышу, пан Клуня! — серьезно отозвался суровый молчальник.

— Так говорили мне, так мне указывали, — тараторил пан Клуня. — Сказали, что до этой деревни пять верст еще осталось...

— А мы уж целый десяток проехали, и все без толку, — проворчал пан Кобержицкий.

— Да ведь сам ты знаешь, — заметил пан Клуня, понизив голос, — что очень-то не приходится распускать язык в вопросах... Мы посланы с тобою за таким делом, которое... которое...

— Которое нисколько не мешает толковому расспросу о направлении пути! — отрезал пан Кобержицкий.

— Да я же тебе слово гонору^[52] даю, что мне так сказали: еще проедем пять верст и приедем в Домнино, где живет этот молодой боярин... с матерью...

— Молодой, которого на Москве старые дураки бояре в цари избрали, — злобно проговорил пан Кобержицкий, — и которого мы должны во что бы то ни стало сцапать и отвезти в Литву. А мы тут бродим, как слепые, по дорогам, благодаря твоей милости, пан Клуня!

— А это что? — с торжествующим видом воскликнул пан Клуня, указывая пальцем вперед по дороге на показавшиеся из-за деревьев крыши двух изб. — Это что, пан Хмурый? Это и есть Домнино, майонтек^[53] Романовых!

Пан Кобержицкий насупил брови приглядываясь, потом сдержал коня и махнул рукою своим, чтобы остановились. Шайка сбилась в кучу около своих вожаков, и началось спешное совещание.

Те избы, которые завидел между деревьями пан Клуня, принадлежали вовсе не к боярскому селу Домнину, как он предполагал по слухам и указаниям, а к небольшому поселку Деревищи, от которого действительно было не дальше пяти-шести верст до усадьбы Романовых. В этом поселке, состоявшем из десятка изб (между ними только одна была с трубою, а остальные все черные), — в ту пору, когда подходила шайка, были дома старухи да грудные дети, а все остальное мужское и женское население было на рубке дров в лесу, за много верст от Деревищ.

В единственной избе с трубою и крытым крылечком лежал на печи и трясся под полушубком от злой лихоманки домнинский староста Иван Сусанин. Накануне приехал он на побывку к дочке и к зятю, который только что вернулся из-под Москвы, и спозаранок в тот же день выслал всю деревню в лес на рубку дров для боярской усадьбы. И сам хотел с ними ехать, да под утро его стало так ломать,

что он предпочел остаться дома с внуком Васей и залег на печь, прикрывшись полушубком.

Трясет и ломает его лихоманка лютая, то жжет, то знобит на горячей печи, а он лежит под своим полушубком и думает все одну и ту же думу:

«Пришел из-под Москвы зять и диковинную весть принес, будто собрались в московском Кремле именитые бояре, и воеводы, и духовные лица, и всяких чинов люди на собор и стали царя выбирать. И прошел такой слух, будто не захотели избрать ни князей, ни бояр, а избрали молодого юношу, нашего боярича Михаила Федоровича. Будто искали его по всей Москве и выспрашивали, куда он укрылся, и посылать за ним хотели. Коли правда, так уж точно диво: точно дивны неисповедимые пути Господни!»

Яростный лай собаки под самыми окнами избы прервал нить его размышлений. Внук Вася, сидевший на лавке под окном, вдруг метнулся к печи:

— Дедушка, а дедушка! Слышь! Какие-то чужие, незнамые люди, и с копиями по деревне бродят.

На лице Васи написан был испуг и смущение.

— Незнамые люди? С копиями? — тревожно переспросил дед и одним махом, как молоденький, спустился с печи.

Глянул в окно и вдруг, схватив Васю за плечи, прошептал ему скороговоркой:

— Мигом беги в чулан, прихоронись за кадку с крошевом и сиди, не пикни, пока к тебе не выйду сам!

Мальчик стремглав бросился исполнять приказание деда и скрылся за дверью, а Иван Сусанин опять полез на печку и прикрывшись полушубком.

Немного спустя раздался стук в окошко.

— Гей! Есть кто тутэй? — послышался чей-то грубый голос. Старик лежит и с места не ворохнется.

Стук и оклик повторились еще громче и грознее — и то же молчание было им ответом.

Вскоре раздались тяжелые шаги в сенях; слышно было, что вошло разом несколько человек, а вот и дверь в избу распахнулась настежь, и двое каких-то «незнамых», вооруженных с головы до ног, переступили через порог в избу.

— Гей! Кто тутэй есть, до тысенца дьяблов!^[54] — крикнул громко один из них, высокий и усатый.

Сусанин подал голос, застонав на печке.

— А! Вон где быдло лежи! — проговорил тот, что был помоложе. — Пойдь сюды!

Сусанин приподнял голову из-под полушубка и застонал еще громче,

— А! Сам нейдзешь, так плетью тебя, каналью! — крикнул пан Клуня, взбираясь на печь. Тогда Сусанин спустил ноги с печи, откинул полушубок и глянул прямо и спокойно на незваных гостей.

— Чего вам надо? — спросил он их сурово.

— Слезай, тогда и мувимы^[55], цо нам треба! — крикнул пан Клуня, хватая старика за руку и пытаясь стащить его с печи, но даже и сдвинуть его не мог.

— Пстой! Сам слезу! — сказал Сусанин, прикидываясь равнодушным.

И точно, спустился он с печи и выпрямился во весь пост перед поляками, сложив руки на своей богатырской груди и глядя им прямо в очи.

— Чья то деревня? — спросил пан Клуня.

— Бояр Романовых вотчина.

— Домнино?

— Нет, не Домнино, а Деревищи.

Паны переглянулись в недоумении.

— Але же брешешь, пся крэвь! То Домнино! — топнув ногою, крикнул пан Клуня.

— Ну, коли ты лучше меня знаешь, так чего же и спрашиваешь? — спокойно возразил Сусанин.

Паны перекинулись несколькими польскими словами, между тем Сусанин не спускал с них своих умных и острых глаз.

— А где же Домнино? Чи еще далеко? — спросил усатый пан.

«Далось им Домнино, проклятым, — соображал тем временем Сусанин. — Видно, недоброе задумали!»

— Далеко ли до Домнина? Слышишь ли, каналья! — не ерпеливо крикнул пан Клуня, топая ногою.

— До Домнина отсюда еще верст двадцать будет, коли этою дорогою идти! — прехладнокровно отвечал Сусанин, почесывая в

затылке.

— А есть и другая дорога? — вступил опять пан Кобержицкий.

— Как же не быть, есть... Только той дороги вам не найти.

— А ты ту дорогу знаешь? — допрашивал пан Клуня.

— Как мне ее не знать! Вестимо, знаю! Мы и всегда в Домнино по той дороге ездим и ходим. Той дорогой и всего-то будет пять либо шесть верст.

— О! — многозначительно протянул пан Кобержицкий и переглянулся с товарищем. — Надо той дорогой идти, — шепнул он ему по-польски.

— Ну так ты зараз одевайся, веди нас тою дорогой, — зашепшил пан Клуня.

Сусанин посмотрел на него молча и смерил его глазами.

— Слышишь? Одевайся и показывай дорогу! — крикнул нетерпеливый поляк.

— Слышу, а показывать не стану, — спокойно отвечал Сусанин.

— Как ты смеешь так отвечать мне? — закричал Клуня. — Да знаешь ли ты, проклятый москаль, что я тебя... — И он рассыпался в угрозах и ругательствах.

Сусанин стоял как вкопанный и молчал, не спуская глаз с Клуни. Тут уж и Кобержицкий не выдержал: выхватил пистолю из-за пояса и приставил в упор к груди Сусанина.

— Ну что ж! — проговорил Сусанин. — Убей, коли любо! Кроме меня, никто здесь не знает этой дороги... Во всей деревне одни старухи да грудные дети...

Кобержицкий опустил пистолет и отошел на два шага от Сусанина вместе с Клуней.

— Ничего с этой скотиной не поделаешь! — сказал он по-польски товарищу. — Надо попробовать его со стороны денег... Нельзя ли подкупить...

Мысль понравилась Клуне, и тот подошел к Сусанину, который по-прежнему стоял неподвижно на месте, скрестив на груди руки.

— Слушай, ты, — сказал Сусанину Клуня полушутя, полусерьезно. — Ты в наших руках!... Нас тутэй полсотни... Ежели не покажешь дороги, мы тебя забьем, и всех забьем, а фольварек ваш запалим...

— Что ж! Ваша воля!

— А ежели покажешь, то вот, погляди, цо у меня в кишени! — И он вынул из кармана горсть серебряной мелкой монеты, среди которой сверкали два золотых червонца.

— Вот это другое дело! — заговорил Сусанин, притворно улыбаясь. — Вот ты и давно бы так-то, пан! Коли заплатишь хорошо, я покажу дорогу!

А у самого в голове уже созрел весь план действий, и одна только мысль тревожила его: удастся ли ему хоть на мгновение увернуться от проклятых панов, чтобы шепнуть заветное словечко Васе.

— Деньги любишь, а пистоль не любишь? — вставил словечко и суровый Кобержицкий, покручивая рыжий ус.

— Кто же денег-то не любит? — развязно заговорил Сусанин. — За деньги что угодно. Все за деньги можно... Давай задаток, пан, так не поверю.

Клуня сунул ему в руку червонец.

— Ого-го! Какие деньги славные! Давай, давай сюда! — заговорил Сусанин, перекидывая червонец из руки в руку и как бы любуясь его блеском. — Ну вот теперь сейчас и в путь... Надо только на дорожку поснедать чего-нибудь! Пожалуйста сюда к столу... В печи есть щи да каша...

Он метнулся к печи, осторожно вынул из нее ухватом два горшка и, поставив на столе, стал кланяться панам.

Запах горячих щей и каши магически подействовал на обоих вожаков шайки, порядочно прозябших и проголодавшихся с утра. Они не заставили себя долго просить и, присев к столу, тотчас принялись усердно за щи и за сукрой хлеба, которые им отсадил Сусанин от каравая.

— Ах, батюшки! — спохватился вдруг Сусанин. — Кашу-то вам подал, а маслицо-то конопляное в чулане! — И повернул от стола к дверям, в сени.

— Куда? Куда ты? — спохватился пан Кобержицкий, вскакивая из-за стола. Но пан Клуня удержал его за рукав, шепнув ему по-польски:

— Не бойся, не уйдет! Все входы и выходы заняты нашими молодцами. И дом весь мы осмотрели: он здесь один, куда ж ему уйти? А кашу есть без масла не годится.

Пан Кобержицкий успокоился, а Сусанин вышел в сени и чуть только притворил за собою дверь, как бросился в чулан, нагнулся к

кадке с крошечком и шепнул:

— Здесь ты?

— Здесь, дедушка! — отвечал Вася шепотом.

— Сейчас я уведу злодеев... И как уйдем, так становись на лыжи и в Домнино беги! Скажи боярыне, чтобы немедля укрылась с сыном в Кострому... Чтоб часу дома не оставалась!... Понял?

— Все понял, дедушка.

— А этих я в трущобу лесную заведу — не скоро оттуда вылезут!

И он по—прежнему с веселым видом вернулся в избу, бережно неся в руках горлач со свежим конопляным маслом.

— Вот с этим маслицем кашица-то сама в рот ползет! — проговорил он, посмеиваясь.

Паны насытились и встали из-за стола. И Сусанин вместе с ними похлебал щей, отведал каши и сунул себе горбушку хлеба про запас за пазуху полушубка, который подтянул широким кушаком.

— Ну, господа паны! Пора и в путь, коли до темноты хотите добраться в боярскую усадьбу... Пойдем! — сказал Сусанин, доставая с печки суковатую палку и снимая шапку со спицы. Паны поднялись, оправляя одежду и побрякивая оружием.

— Помни, пся крэвь! — сказал Сусанину в назидание пан Клуны. — Ежели нам не ту дорогу покажешь, пуля тебе в лоб! Убьем, как собаку! А ежели...

— Да полно, пан! Я денежки люблю, а коли их не пожалеешь, будь спокоен! Как раз доставлю к месту.

И в то время, когда паны направились к дверям, Сусанин обернулся к иконам и осенил себя широким крестом... Во взоре его, устремленном на божницу, горела непоколебимая решимость: он твердо знал, куда идет, что делает, — знал, что не вернется более под свой родимый кров.

XXIII ИЗБРАННИК БОЖИЙ

С тех пор как Михаил Федорович и Марфа Ивановна под охраною своих земляков-костромичей вернулись в Домнино и вступили в свой старый боярский дом, им казалось, что они в рай земной попали. Кругом тишина и покой, добрые, знакомые лица домашних и слуг, знакомые стены хором, знакомые издавна виды на ближайшие окрестности усадьбы и мирная, последовательная работа той хозяйственной среды, в которую невольно вступал каждый, поселявшийся в усадьбе и вынужденный утром и вечером выслушивать доклады старосты о корме, о скоте, о хлебных запасах, о скопах и приплоде, о лесном заделье и домашних работах. С утра будил крик петуха, свободно и звонко горланившего под самым окном боярской опочивальни; среди дня до хором долетали со скотного двора мычанье коров и бляенье овец, чуввших приближение весны, а потом конюхи выводили из конюшни коня за конем, чистили их у коновязи и проминали, впрягая в легкие санки... Все напоминало о простой, естественной жизни природы, о мирном и спокойном труде селянина, о жизни, далекой от всяких бед и напастей, от всякой суеты и соблазнов. И вся эта обстановка жизни, все эти простые условия ее, и необычайная тишина, и неоцененное спокойствие приобретали в глазах юного Михаила Федоровича и его матери особенное, выдающееся значение еще и потому, что у них в памяти были еще живы все ужасы испытанных ими терзаний, все недавно пережитые ими лишения, страхи и впечатления действительности. После страшного года, проведенного в тяжком плену в Кремле, и мать, и сын долгое время не могли привыкнуть к окружавшему их покою, довольству и безопасности, и нередко случалось, что воображение, болезненно настроенное и истрадавшееся, переносило их в ночных сновидениях к тому нескончаемо долгому кремлевскому сидению, о котором они не могли вспомнить без содрогания... Им слышались во сне крики, вопли, стоны умирающих от ран, проклятия несчастных, терзаемых муками голода, и гром и треск выстрелов, и призывный колокол тревоги, и рокот барабанов, и кровь, кровь всюду, всюду кругом... И как было приятно, как сладко им после всех этих ужасов

проснуться в своей постели в старинных родовых хоромах, при свете лампы около божницы, в которой каждая икона знакома с детства! Первые проблески утра проникают в опочивальню сквозь слюдяные оконницы с мелким свинцовым переплетом, петух кричит под окном, гуси важно и степенно гогочут где-то поблизости...

— Господи! Как здесь хорошо! Как мы счастливы, избавленные, по милости Божией, от всего, всего, что нас окружало там, в пасти львиной!...— вот с какою мыслью просыпались и мать, и сын в течение первых недель своего пребывания в Домнине, убаюкиваемые парившею кругом на сотню верст безопасностью.

— К нам, государыня-матушка, в наши костромские леса не сунутся никакие воры, никакие лихие люди, — так говорили Марфе Ивановне все домашние и вся ее служня. — Тут и дороги-то непроходимые, и дебри дикие, и тянутся-то на десятки верст, а версты те мерила бабка клюкой да махнула рукой... Кому сюда зайти, кому затесаться?

И вот, опираясь на эту уверенность всех окружающих, Марфа Ивановна решила даже посетить некоторые из соседних обитателей и ездила туда на богомолье с сыном, в сопровождении весьма небольшого количества челядинцев. вернувшись из Макарьевской на Унже обитатели, Марфа Ивановна решила никуда из Домнина не выезжать и ждать тех известий о московских событиях, которые Иван Никитич обещал ей сообщить при первом удобном случае. Несколько дней спустя, под вечер, пришел к ней староста домнинский Иван Сусанин и испросил у нее позволения отлучиться в Деревящи — дочку повидать да деревященских мужиков в лес на заделье отправить.

— Сам с ними, матушка, в лес пойду, так работа у нас поскорее пойдет: в пять дней на всю зимушку тебе дров запасем.

— Что ж, ступай, Иван, да ворочайся скорее. Мне при тебе спокойнее.

— Не замешкаюсь, матушка. А если что тебе понадобится, так тут ведь недалечко.

С тем он и ушел, и уже второй день подходил к концу со времени его отлучки, когда под вечер хватились ключей от амбара и нигде их не могли найти. Побились, поискали и решили, что, верно, Иван Сусанин их куда-нибудь намеренно припрятал, и порешили завтра спозаранок за ним послать нарочного.

Все эти толки и разговоры о ключах и об Иване Сусанине, которые Михаилу Федоровичу пришлось в тот вечер слышать, остались у него в памяти, и, когда пришлось ложиться спать после ужина, он, быстро заснув, тотчас увидел Сусанина во сне. Всегда приветливый и ласковый к нему, старик протягивал ему руку, помогая перейти по узкой лавинке через бурливый и шумный поток.

— Не бойся, государь, — говорил Сусанин, — ступай смелее, а там дальше, лесом, тебя проводит Сенька...

И действительно, Михаил Федорович увидел на противоположном берегу своего верного, дорогого пестуна, который тоже протягивал к нему руки.

— Сеньюшка! Голубчик! — воскликнул юноша, со слезами радости бросаясь на шею к старому и верному слуге.

С этим возгласом он и проснулся, и глаза его еще были мокры от слез, и он долго не мог отделаться от скорбных воспоминаний о несчастном Сеньке, с которым провел свое детство и отрочество и которому был столь многим обязан.

Вдруг до слуха его долетел какой-то странный звук... Как будто в сенях кто-то в дверь стучит и ломится, что есть мочи. Но никто не открывает: крепко спят холопы у его порога и в сенях на залавке. А стук сильнее и пуще. Наконец Михаил Федорович не вытерпел, вскочил с постели и разбудил старика Скобаря, который постоянно ложился у порога его опочивальни.

— Ступай, узнай, что там за стук? — сказал он. — Боюсь, как бы и матушку не разбудили.

Прислушиваясь, он расслышал, как отодвинули засов двери, как раздались потом чьи-то голоса, поспешные и тревожные шаги, потом даже суетливая беготня по всему дому. До слуха его долетели слова:

— Скорее! Скорее! Не медлите!

И на пороге его комнаты явился Скобарь, ведет за руку мальчика в коротком тулупчике, с ног до головы запорошенного инеем...

— Государь! — проговорил Скобарь тревожно. — К тебе внук Сусанина с недобрыми вестями...

— Что такое? Говори скорее! — обратился Михаил Федорович к мальчику.

— Дедушка послал меня... Злодеи к нам пришли — тебя ищут; он их в лес увел, — говорит, не скоро их из лесу выпустит... А тебе велел

немедля укрыться в Кострому... Немедля!

Мальчик все это выговорил одним духом, запыхавшийся и взволнованный.

— Я уж послал будить государыню и коней велел впрягать, — проговорил поспешно Скобарь. — Да всей дворне вели садиться на коней с запасом, для охраны поезда... Авось, еще успеем уйти...

Михаил Федорович, ничего ему не отвечая, подошел к Васе, обнял его и поцеловал.

— Спасибо за услугу, — проговорил он глубоко тронутый. — Я тебя не забуду.

А Марфа Ивановна уже стояла на пороге и торопила сына со сборами, и отдавала приказания, и распоряжалась ускорением отъезда. Полчаса спустя широкие розвальни, запряженные тройкою гусем, стояли у крыльца. За этими розвальнями стояло еще пятеро саней, в которых сидело по три и по четыре холопа, вооруженных чем попало. Впереди розвальней должны были скакать вооруженные вершники с фонарями... Марфа Ивановна с сыном поспешно села в розвальни; Скобарь поместился сбоку на облучке, и по знаку, данному Марфой Ивановной, весь поезд двинулся со двора боярской усадьбы по лесной дороге к Костроме, до которой предстояло проехать около семидесяти верст.

«Господи! Где успокоимся! Где без страха приклоним наши горемычные головы!»— думала Марфа Ивановна со вздохом.

Приехав на другой день около полудня в Кострому, Марфа Ивановна не решилась остановиться на житье в самом городе: она предпочла вместе с сыном укрыться в стенах Ипатьевской обители, которая отделяется от города рекою Костромою и лежит при самом впадении ее в Волгу. Здесь, радушно принятые и обласканные игуменом обители, наши скитальцы нашли себе спокойный и безопасный приют... Эти стены, эти башни могли выдержать продолжительную и упорную осаду.

Несколько дней спустя из Домнина получены были печальные вести: Иван Сусанин был варварски убит ворами, которых он завел в непроходимые лесные трущобы, в стороне от всяких путей, пролегавших от Деревщиц к Домнину. Деревищенские и домнинские крестьяне, по темным и смутным указаниям Васи, разыскали шайку злодеев в лесу и истребили их всех до единого, мстя им за Ивана

Сусанина. Получив это известие, Марфа Ивановна и Михаил Федорович отслужили в Троицком соборе Ипатьевской обители заупокойную обедню за рабов Божиих Иоанна и Симеона, верных слуг, положивших живот свой за спасение своих господ.

Одновременно с этою вестью Марфа Ивановна получила и присланное в Домнино письмо от Ивана Никитича, который извещал ее, что все участвующие в соборе, созванном в Москве для избрания царя, склоняются на сторону ее сына, Михаила Федоровича, как единственного отпрыска именитого боярского рода, имеющего и «царское происхождение», как пострадавшего более всех других от смуты и в то же время ни в каком смысле смуту не запятнанного. Это письмо в такой степени поразило Марфу Ивановну своим содержанием, что она даже не решалась показать его сыну и только вскользь сообщила ему о вестях, полученных из Москвы, и о соборе, занятом избранием нового московского царя, а сама она стала думать, напряженно и усиленно, как следовало ей отнестись к предстоящему избранию.

Ее нежное материнское сердце с ужасом отвращалось от тревог и опасностей, которым должно было подвергнуться ее милое детище, вступив на престол в такую страшную эпоху, когда все расшатано, разорено, казна царская расхищена, и отовсюду грозят и смуты, и войны, и бедствия народные! Но ей вспомнился и завет Филаретов, и рядом с ним вся дивная судьба этого юноши, прошедшего через тысячи превратностей, бед и опасностей, столько раз бывшего на краю гибели и все же сохраненного неисповедимым промыслом... Не он ли есть истинный избранник Божий, на котором почиет благодать Господня? Не ему ли суждено умиротворить и успокоить расходившиеся волны смут народных и залечить раны, нанесенные взаимною враждою и нескончаемыми войнами?

Эти думы не давали ей покоя ни днем, ни ночью, и вопросы, тревожившие ее, требовали настоящего и немедленного разрешения: в народе уже шел слух о том, что «великое посольство» отправлено из Москвы в Кострому и не сегодня завтра должно прибыть в Ипатьевский монастырь... И вот 13 марта под вечер Скобарь донес госпоже своей, что посольство прибыло в город и отдыхает от пути. Следующий день был чисто весенним днем. Солнце светило ярко, небо было голубое и безоблачное; ручьи, звонко журча,

бежали по двору обители, направляясь к реке, по откосу берега. Жаворонки, взвиваясь высоко-высоко над окрестными полями и лужайками, отчетливо и радостно выводили свою обычную песенку — свой гимн весне, теплу и пробуждающейся природе. Откуда-то далеко-далеко, из-за Волги, доносилось чуть-чуть слышное турлыкание пролетной стаи журавлей. И вот, среди этой торжествующей и радостной природы, из города к обители, при звоне всех колоколов, двинулось многолюдное шествие: предшествуемое хоругвями, крестами и образами, с чудотворною иконою Феодоровской Божией Матери во главе, шло великое московское посольство с соборным наказом и грамотами об избрании Михаила Федоровича Романова на царство «всею землею русскою». Позади посольства шли воеводы костромские, местное духовенство, служилые люди и толпы народа.

Марфа Ивановна и сын ее увидели приближающееся к обители шествие. Сын, ничего не знавший о прибытии посольства, с недоумением смотрел на чудное зрелище из окна своего монастырского терема и наконец спросил у матери:

— Матушка, что это за крестный ход? Я ничего о нем не знаю... И почему он идет к обители из города?

Марфа Ивановна, пристально вперив взоры вдаль и не обращая их на сына, проговорила чуть слышно:

— Эти люди идут сюда разлучить меня с тобою...

— Как? Что ты хочешь сказать?

— Они несут грамоту об избрании тебя на царство.

— Меня?! — воскликнул Михаил Федорович с изумлением и страхом.

— Да, тебя! — твердо отвечала ему мать. — И я должна буду внять их мольбам и исполнить их просьбу и дать свое согласие на твое избрание, хотя сердце мое обливается кровью при одном помышлении о том.

— Но, матушка, я не могу, не смею...

— Ты не можешь отказаться. Таков завет отца твоего... Иди и исполни долг свой перед избравшею тебя землей.

Сын, рыдая, упал перед матерью на колени, а она благословила его и прижала к своей груди...

21 февраля 1613 года «Избранник Божий», Михаил Федорович, стал царем всея России, положив начало благословенной династии

Романовых.

А. Е. Зарин

**ДВОЕВЛАСТИЕ
(ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН)**

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

БОЖИЙ СУД

I СКОМОРОХИ

Князь Теряев-Распояхин едва женился, сейчас же отстроил усадьбу в своей любимой вотчине под Коломной. Быстрая речка омывала ее с задней стороны, на которой раскинулся огромный сад. Передней стороной усадьба выходила на проезжую дорогу и казалась маленьким острогом, так высок и плотен был частокол, так массивны были ворота со сторожевой башенкой. В беспокойное время строился князь — в то время, когда поляков и хищные войска самозванца сменили придорожные разбойники, когда грабеж и убийство творились и на проезжей дороге, и на городских улицах, и в самих домах. Нередко по службе царской князь Теряев отлучался из дома на долгое время и, дорожа покоем жены и своего маленького сына, выстроил прочные хоромы. Тотчас за воротами был еще огород, а за ним уже шел широкий двор с мощеной дорогой к теремному крыльцу. По сторонам были разбросаны служилые избы для охранной челяди, во главе которой стоял любимец князя и княгини, Антон. Дальше за ними размещались строения бани, конюшни, кладовок, погребов, повалушек^[56], а терем в два этажа с башенной пристройкой, крепкими дубовыми стенами, толстой дверью, тяжелыми ставнями стоял посреди крепких избушек, как богатырь во главе своей рати, и князь, выстроив его, с довольством бахвалился:

— Сам пан Лисовский наедет, так и от него со своими людьми отобьюсь.

В лето 7128-го по счислению того времени, а по нашему — в 1619 году, в жаркий полдень 11-го июня молодая княгиня Анна Ивановна вышла на заднее крыльцо терема посидеть на крылечке, подышать чистым воздухом и полюбоваться своим сыном — семилетним богатырем, который резвился на заднем дворе с санными девками.

Крылечко было широко и просторно. Молодая княгиня сидела на верхней ступеньке на толстом ковре; подле нее стоял жбанчик

холодного кваса, и она наслаждалась тихим покоем счастливой женщины.

Молода она и красива, даже дородной стала, и не намилируется с ней князь, когда дома. Думала ли она, внучка бедного мельника, в такой почет попасть? Чего Господь не делает! И она с умилением обвела кругом взглядом. Разгорелся ее Миша, распарился, черные волосенки, подстриженные кружком, сбились на лоб и завесили его сверкающие радостью и весельем глазки. Молодые, здоровые девки с веселым смехом гоняются с ним, играя в горелки, и летает он, соколом гоняясь за ними. Огромная радость для матери любоваться своим первенцем.

Для полного счастья молодой княгине не хватало только ее любимого мужа. Великое дело совершалось для всей Руси в это время; радость наполняла сердца всех, любящих своего царя. Из тяжкого польского плена возвращался Филарет Никитич, великий подвижник за свою родину, отец царствующего Михаила. Вся Русь делила радость своего царя, первого из Дома Романовых, и князь Терентий Петрович был отозван ради того случая в Москву. Любил его царь Михаил за его воинскую удаль, за смелые речи и решительный нрав. Любя, пожаловал он его в окольнічьи и скучал без него, несмотря на то, что сильные братья Салтыковы всячески очернить его старались.

Мягкий царь Михаил, хотя и склонялся под волею своей матери и ее приспешников Салтыковых, а все же не мог не ценить того, кто, не щадя живота своего, от молодежи жены и сына-малютки ходил имать Маринку с Заруцким, и донского атамана с его шайкою^[57], и всяких других разбойников, никогда не отказываясь от ратного дела.

Чувствуя вражду против себя царских клеветов, князь Теряев много раз говорил жене:

— Перейдем жить в Москву, там я палаты выстрою!

Но княгиня каждый раз отказывалась.

— Не привыкла я к городской жизни, князь, — говорила она, — не неволь меня. Люблю я простой обычай, да и сам знаешь, мне ли, глупой, угнаться за боярынями. Слышь, они и брови чернят, и щеки сурмят, и лицо белят. Где мне тягаться с ними? Только посмех всем будет!

И князь покорялся ей, находя в ее словах немало правды, и таким образом делил время между Москвою и Коломною.

Плотно покушала княгиня за обедом, сластей наелась, и теперь ее брала измора; то и дело прикладывалась она к жбанчику, чтобы освежиться. Но глаза уже начали слипаться, и княгиня поднялась, тяжело вздыхая. Вдруг до ее слуха донеслись звуки волынки и резкое бряцанье накр^[58]. Анна Ивановна приостановилась и окликнула одну из девушек:

— Матреша, сбегай до ворот! Глянь, никак потешные шумят.

Девушка стрелою помчалась на передний двор и через минуту вернулась, весело крича:

— Скоморохи идут!

Княгиня улыбнулась. Сон на время оставил ее. Девушка подбежала к крыльцу и, едва переводя дыхание, быстро заговорила:

— И уж что за занятные. Почитай, полтора десятка будет. Медведя ведут с козою, а у других сопелки, домры, накры. Один с куклами, а другой с гудками. Старый-старый!... Повели позвать.

— Повели позвать, княгинюшка! — смело заголосили сбившиеся в кучу девушки, а Миша, вбежав на крыльцо, обнял колена матери и запросил тоже: — Повели, матушка! Золотце, прикажи!

И самой княгине хотелось развлечься. Она улыбнулась и кивнула головою.

— Ин быть по-твоему! — сказала она, глядя черную головку Миши, и приказала той же Матреше:

— Вели им к нам сюда идти!

Матреша вспрыгнула козою и скрылась за зданиями.

Княгиня снова опустилась на верхнюю ступеньку крылечка, маленький Миша сел и прижался к ее коленам, а девушки столпились у крыльца. Через несколько минут послышались шум шагов, осторожный говор, бряцание цепи, и из-за угла терема вышла толпа скоморохов. Они подошли ближе, остановились в почтительном отдалении — и земно поклонились княгине.

— Встаньте, встаньте, прохожие люди! — ласково сказала княгиня.

Скоморохи встали и выпрямились, держа в руках войлочные колпаки и гречишники^[59].

Их было человек двенадцать, и они казались шайкою разбойников — так дерзок и лукав был их внешний вид. Впереди всех стоял поводырь с медведем. Огромный, с рыжей бородою, с одним глазом и

черной дырою на месте другого, в сермяге и с босыми ногами, он производил отталкивающее впечатление. Рядом с ним, держа в поводу козу, стоял маленький паренек в пестрядинной рубахе, с лицом, изъеденным оспою, с жидкими волосенками на остроконечной голове; его раскосые глаза бегали во все стороны, а тонкие, бескровные губы растягивались до самых ушей. За ним стоял чудашиник — высокий, слепой старик с угрюмым лицом, и рядом с ним мальчик, державший гудок старика. А дальше стояла толпа рыжих, черных, белых оборванцев с беспечными лицами и наглыми взглядами.

— Куда путь держите? — ласково спросила княгиня.

Рыжий поводырь тряхнул кудрями и ответил:

— На Москву, государыня-матушка, слышь, там на три дня от царя веселие заказано...

— Так, так, — сказала княгиня, — к нашему царю-батюшке его батюшка ворочается.

— Дозволь потешить! — проговорил тот же поводырь.

— Что же, потешьте! Чем тешить будете?

— А что повелишь нам, смердам. Есть у нас и гудошник — песню споет, есть и куклы потешные, и медведь наученный, и коза-егоза, и плясуны, и сказочники. Что повелишь, государыня?

Девушки умоляюще взглянули на княгиню, и она, сразу поняв их желания, сказала:

— Ну, кажите все по ряду!

Рыжий великан поклонился и дернул медведя за цепь. Тот зарычал и поднялся на задние лапы, девушки с визгом жались, как испуганное стадо. Миша прижался к коленам матери, да и сама княгиня побледнела, услышав страшный рев.

— Ну, ну, Мишук, поворачивайся! — грубым голосом заговорил косой поводырь. — Покажи на потеху честным людям для смеху, как лях кобенится, на красну девку зарится!

— А ты, коза-дереза, пляши для веселия, как смерд с похмелья! — загнусил его товарищ, дергая козу за рога.

В это время загремел деревянный барабан, зазвенели накры (род теперешних тарелок), затрубил рожок, и началось представление. Коза с усилием поднялась на задние ноги и завертелась на месте, а медведь, рыча, поджал передние лапы, словно в бока, и, откинув голову, стал важно ходить взад и вперед.

Лицо княгини озарилось улыбкою, девушки, поджав руками животы и перегибаясь, звонко смеялись.

— А покажи теперь, как этот лях до лесу утекает, — продолжал поводирырь.

Медведь стал на четвереньки, жалобно замычал и поспешно побежал под ноги своему хозяину, а коза то опускалась на передние ноги, то вновь поднимала их и опять вертелась. Показал медведь, как девки горох воруют и как баба в кабаке идет похваляется и, из кабака выйдя, по земле валяется.

Потом его сменили плясуны. Четыре парня под музыку затеяли пляску.

Подробного описания тогдашней скоморошьей пляски до нас не дошло, но, по словам Олеария, срамота этих плясок была неопишима. И с ним можно согласиться, судя по тому рисунку, который он сделал, изобразив одну из «фигур» двух пляшущих скоморохов. Современный писатель не решается описать этот рисунок, но в тогдашнее время понятия о приличном и неприличном были иные, и теремные девушки без всякого зазора потешались скоморошьим плясом.

После плясунов выступил мужичонка с куклами. Он надел на себя нечто вроде кринолина, потом вздернул его выше головы и образовал таким образом некоторое подобие ширмы, из-за которой стал показывать кукол, говоря за них прибаутками (некоторое подобие современного Петрушки).

Девушки покатывались со смеха, Миша не отрываясь смотрел на кукол загоревшимся взором, и княгиня милостиво улыбалась скоморохам...

А потом выступил гудошник и, перебирая струны гудка, запел заунывную длинную песню о том, как Шуйские погубили славного Скопина^[60], как пришел он на пир и жена его дяди подносила ему чару зелена вина, как замутилась голова его с того зелья, что было подсыпано в вино, и как привезли его умирающего домой, где горьким плачем и воплями встретила его тело молодая жена.

Затуманились все, слушая заунывный, гнусливый речитатив под скорбное гудение струн, и по белому лицу княгини скатилась слеза. Но скоро грусть, навеянная песней, сменилась истомою, и княгиня поднялась с крылечка.

— Ну, люди добрые, потешьте девушек, — приветливо сказала она, — а я пойду.

Она хотела уйти, но вдруг приостановилась.

— Дуня, — сказала она, краснея, — принеси ломоть хлеба, да посоливши.

Девушка побежала, а поводырь, быстро сообразив в чем дело, дернул медведя и подвел его к самому крыльцу.

— Вещун он у меня, — вкрадчиво сказал он.

Дуня принесла ломоть. Княгиня боязливо подала медведю хлеб, и тот, взяв его, глухо замычал от удовольствия.

— Замычал, замычал! — закричали девушки.

— С князинькой! — нагло сказал поводырь, низко кланяясь.

Княгиня вспыхнула, как маков цвет, и сказала, обращаясь к пожилой девушке:

— Мишу наверх отведешь, немного погодя, а их Степанычу накормить вели, да пиво пусть выставит! — и она вперевалку пошла в покои, где было полутемно и прохладно.

— Ну что вам, девушки, любо? — совершенно меняя тон, спросил рыжий. — Сплясать, что ли?

— А хоть спляшите, а там опять кукол, — бойко отозвалась Матреша.

Пожилая девушка села подле Миши и ласково обняла его. В это время Миша вдруг вскрикнул. Ему показалось, что слепой старик стал зрячий и пристально смотрит на него.

— Что ты, родимый? — встревожилась девушка, но Миша уже оправился и смотрел на скомороший пляс, а в это время слепой гудошник под грохот нестройной музыки сказал рыжему:

— Как его ты возьмешь, Злоба? Ишь сколько девок вокруг. Какой вой подымут!

— Не бойся! — ответил Злоба. — Коли Пospelко взялся, так ногу из стремени скрадет, не то что! — И он толкнул в бок раскосого поводиладельца козы.

— Удумал, Пospelко?

Тот ухмыльнулся.

— Беспременно заночевать надо, — сказал он.

До самого заката солнца потешали скоморохи всю дворню и так уважили, что Степаныч, княжий дворецкий, не только отпустил им

пива, но даже выставил красоулю^[61] крепкого меду. Поздним вечером сошли сверху и сенные девушки, и много времени продолжалось бражничество в княжеской усадьбе среди дворни и скоморохов.

Рыжий стал расспрашивать Степаныча:

— Чья усадьба-то будет?

— Князя Теряева-Распояхина, — коснеющим языком ответил Степаныч. — Первеющий князь! Теперь у царя, у батюшки, в окольных.^[62] Во-о! — И он поднял вверх корявый указательный палец.

— Один сынок-то?

— Как перст. Теперь княгинюшка опять понесла. Пошли ей Бог здоровья!

— Хороша княгинюшка ваша! — ввернул свое слово косоглазый Пospelко.

Золото! — вмешалась Дунька.— Она из простых, вроде как мы с Матрешкой, ну, и душа с нами!

— Ишь ты!

Антон сказывал, что князюшка нашего ляхи посекли, он его на мельнице укрыл, а она, выходит, княгинюшка-то наша, там за ним и ходила, раны заговаривала.

— Ратный человек?

— Наш-то? Первый воин. Он и ляхов бил, и Маринку изловил, а впоследствии самого дьявола сымал. Вот он какой!

— А что же у вас ратных людей нету? — спросил слепой старик.

— Ратных-то? У нас полтора сорока^[63] ратных людей, а сейчас всего десять — потому что князь их на Москву увез. Для почета, слышь!

А пьянство шло своим чередом, и к полуночи половина пирующих лежала под лавками.

В то время Пospelко толкнул Злобу и вышел с ним на двор.

— Идем, что ли, — сказал он. Злоба даже опешил.

— Красть?

— Уготовиться, дурья голова, — ответил Пospelко. — Иди, что ли, мне твоя сила нужна. — Он обогнул терем, перешел задний двор и спустился в сад. Перейдя его поперек, он остановился у высокого тына и сказал, указывая на крепкий столб:

— Расшатать да вытащить его надобно. Вот что! Мы подкопаем его, а там палку подложим, ну и подыдем!

— А для чего?

Поспелко засмеялся.

— Тебя на место его поставить: дубина, право слово! Зачем ты ломают? Да для того, чтобы дорогу иметь, щучья кость.

— Ну, ну, комариный зуд, — проворчал рыжий, — и сам знаю. А зачем ход?

— Ход-то? Слушай! Поутру мы уйдем, я кругом обегу да через это место в сад и влезу. День прокараулю и скраду его, а скравши — к вам. Вы меня в перелеске ждать будете. Понял, что ли? — и он ткнул рыжего великана под бок.

Тот не ответил, но, судя по тому рвению, с каким он начал своим ножом копать землю, можно было сообразить, что он и понял, и одобрил план своего косоного товарища.

Темная, душная ночь покрывала их усердное дело, и только усиленное сопение свидетельствовало об их старании. В какой-нибудь час они подкопали столб, затем Поспелко сунул рыжему в руки толстую орясину, и скоро крепкий столб выдвинулся, оторвав обшивку, и грохнулся наземь.

— А теперь и назад, — сказал Поспелко, — надо думать, что ратные люди не доглядят до завтра, а там — ищи ветра в поле!

— И воистину ты — Поспелко, — с чувством удивления перед умом своего приятеля сказал рыжий.

— А ты — дубье стоеросовое! — ответил, ухмыляясь, Поспелко, но тотчас же переменял тон. — Федька десять рублей обещал?

— Десять! — подтвердил рыжий.

— Кому говорил-то!

— Май сказывал; опять Распута слышал.

— То-то! А то он живо и в нетях^[64].

— Ну, от нас не уйдет.

— Из Нижнего Новгорода ушел.

— А здесь встретился!

Они вышли на чистый двор и, отойдя от мощеной дороги, легли под дерево на траву. Подле них огромной черной тушей лежал медведь, привязанный к дереву, и тут же на длинной привязи бродила коза. Сон сковал двух приятелей, и вся усадьба погрузилась в сон.

Едва летнее солнце взошло на небо, как все проснулось и зашевелилось в усадьбе. Сенные девушки под досмотром более пожилой Натальи принялись за свое рукоделие, Степаныч, громахая связкою ключей, полез по амбарам и кладовушкам, отпуская то овес, то крупу, то масло. Поднялась княгиня и со своим первенцем, в домово́й церковке, под гнусавое пение и чтение дьячка, жившего у них при усадьбе, стала слушать обедню. Потом она отпустила Мишу с несколькими девушками поиграть до полдника, а сама пошла в свой терем и села за пядьцы.

— А где скоморохи? — спросила она свою постельницу.

— Ушли, матушка-княгинюшка, чем свет ушли, — ответила та.

В тереме наступила тишина; только слышно было, как костяная игла с легким скрипом проходит через материю да мухи с жужжанием носятся по душной горнице. Из раскрытого окна стал уже вливаться знойный воздух, когда княгиня со стороны сада услышала тревожные переклики девушек, приставленных к Мише, и вдруг вскочила, охваченная неясным предчувствием горя. Минуту спустя она стояла на крыльце, бледная, взволнованная, и ее волнение мигом передалось всей дворне.

— Где же, где? — повторяла в нетерпеливом томлении княгиня.

Дуня повалилась ей в ноги и завывала в голос.

— Матушка-княгиня, бей нас, слуг негодных!... Упустили мы нашего сокола, найти не можем! Может — шалит, может — беда приключилась.

— Миша! — не своим голосом закричала княгиня и вмиг очутилась в саду. — Очи мои светлые, сердце мое, Мишенька, откликнись! — стонала она, метаясь уже, как безумная.

— Ау! — перекликалась по саду рассыпавшаяся всюду челядь.

— Влас, тащи лодку! — кричал, стоя на берегу, кудлатый мужичонка в холщовой рубахе.

Княгиня с чистых дорожек бросилась в кусты маличника, обрывая тяжелую материю сарафана, царапая белые руки, и вдруг закричала не своим голосом. В ее крике было столько горя и ужаса, что он словно ударил каждого слышавшего его, и все стремглав бросились к месту, откуда разнесся крик.

Глазам всех представилась ужасная картина. С безумно горящими глазами, с растрепавшимися волосами, княгиня стояла на крошечной

лужайке у реки и, потрясая золотым позументом, служившим у Миши опояской, неистово кричала:

— Украли... скоморохи украли! Будьте вы прокляты, кто смотрел за моим ненаглядным! Миша мой! Сердце мое! Очи мои! Ослепили меня злодеи, очи мои вынули! Что я скажу князю своему? Куда побегу, где искать буду? Что вы стали? — кинулась она вдруг на толпу. — Седлайте коней, скачите за ними, вырвите сына моего!... Раскройте их, сюда приведите! Я им глаза выскребу! Изменники!

Все с ужасом попятились от княгини и только теперь увидели вырванную балку из тына.

— Миша! — еще раз закричала княгиня и рухнула на землю, хрипя и колотясь от внезапной боли.

Все растерялись. Первой спохватилась пожилая Наталья. Она протискалась вперед и властно заговорила:

— Чего стоите, рты разинувши, вместо того чтобы дело делать? Аким, иди сейчас, седлай коней да возьми хоть шесть человек и по всем следам погоню гоните! А ты, Влас, сейчас на коня и до князя-батюшки на Москву спешу. Не жалея коня, слышишь? А ты, Ерема, бери телегу и в Коломну гони. Слышь, там бабка Ермилиха. Ее вези! Не поедет — волоком. А вы, девушки, берите княгинюшку да в баньку ее, прямо в баньку. Ишь с ней от испуга грех приключился.

Девушки испуганно подошли к княгине, осторожно подняли ее и понесли из сада. Расторопная Наталья, захватив власть, уже не выпускала ее, и ее голос звучно раздавался то здесь, то там, отдавая приказания.

Словно борзые по зайцам на облаве, во все стороны рассыпались люди Теряева, ища следов ушедших скоморохов, рыская вдоль большой дороги по перелеску и по противоположной стороне быстрой реки. Не щадя конской силы, мчался Влас в Москву и, скача по дороге, казался движущимся пыльным столбом. Чувал он, что, может быть, едет на верную смерть от руки разгневанного князя, но, горя холопским усердием, не задумывался над этим и только боялся, загнав коня, не найти на подставу другого.

Ерема трясся в телеге, торопясь в Коломну, а в это время княгиня в беспамятстве металась на широкой скамье в предбаннике, и пожилая Наталья тщетно вспрыскивала ее святою водой с уголька и читала отпускные молитвы^[65].

Девушки, суетсяь, раздевали княгиню, а она стонала и плакала, причитая звонким, надтреснутым голосом:

— Соколик мой Мишенька, светик мой ясный! Сердце мое, свет очей моих! Я ли тебя не любила, я ли тебя не холила, мое золото! Взяли тебя лихие люди, тащат тебя, как горлицу, обижают тебя, моего бедного. Крикни мне, соколик, громче! Отзовись на мои слезы горькие! Уж как я полечу на них, моих врагов, и ударю, как сокол на воронов. Вы терзайте мое тело белое, пейте мою кровь горячую, лишь отдайте князю-батюшке его первенца!

Девушки горько плакали, а Матрешка с Дунею, как безумные, выли и колотились головами о дубовые стены. Чужало их сердце, что не простит князь в своем гневе их вины окаянной.

Даже княжий доверенный Степаныч, и тот ходил, свесив голову, сознавая свой проступок пред князьим домом.

Словно грозовая туча повисла над усадьбою, словно ждали все судного часа и трепетали в таинственном, суеверном ужасе. Страшен бывал князь, когда гневался.

А скоморохи тем временем быстро шли вперед, сторонясь большой дороги и пробираясь лесом и зарослями по тропинкам, известным только Злобе, Козлу да косолапому Русину, которые в смутное время были в шишах^[66] и в первые годы в этих же местах занимались разбоем.

Шли они быстрым шагом, не зная устали. Впереди их шагал Злоба, ведя в поводу медведя и таща за руку выбившегося из сил маленького Мишу. Мягкие сафьяновые сапоги мальчика уже разорвались, и из них торчал угол холщовой портянки; его шелковая рубашечка висела на плечах ключьями, и он то и дело падал от усталости.

— У, княжье отродье! — злобно проговорил наконец рыжий великан и, взбросив его себе на руку, зашагал еще быстрее. Ему мало было дела до того, что сердце Миши билось, словно пойманная птица, что его личико застыло с выражением неземного ужаса, а глазки смотрели почти безумно. Живой или мертвый, лишь бы был он действительно первенец князя Теряева. Только одно это и знал рыжий поводырь, да знал еще, что худо им будет, если они не уйдут от погони.

II ТЕМНОЕ ДЕЛО

Через два дня после описанных событий, накануне великого торжественного дня встречи царя с вырученным из неволи отцом, именно 13-го июня 1619 года, за каких-нибудь полчаса до захода солнца, по Москве через рыбный рынок шел средних лет мужчина, обликом иностранец, по костюму — военный. Высокого роста, широкий в плечах, с открытым, веселым лицом, с окладистой русою бородою, он был бы красавцем, если бы кровавый шрам не пересекал его лица огненной полосой, начинаясь над правой бровью, проходя через раздробленную переносицу и теряясь в левом усе.

На голове путника была медная шапка, или прильбица, с кольчужного сеткой, падавшей на плечи и шею; на нем был синий кафтан с желтыми рукавами, поверх которого были надеты кожаные латы с железными набойками, т. е. юшман; на ногах красовались огромные сапоги из желтой кожи, доходившие почти до бедер. Широкий кожаный кушак охватывал его живот, и на нем спереди висел поясной нож, а сбоку — короткий и широкий меч. Несмотря на жар, поверх всего на плечах этого человека висела короткая суконная епанча^[67].

Путник торопливо переходил рыбный рынок, на котором уже никого не было, и угрюмо бормотал что-то по-иностранному, очевидно, ругаясь. Рыбный рынок, прилегавший одной стороною к овощным рядам, представлял собою небольшую площадь, только частью застроенную ларями. Торговцы обыкновенно приезжали с возами, с которых и вели торг. Вряд ли по своей неопрятности в Москве было еще другое подобное место. Снулую рыбу торговцы без околичностей бросали прямо на землю, мелкая рыбешка падала на ту же землю просто случайно, тут же иной голодный поедал соленую рыбу, кидая остатки наземь; все это, покрывая площадь изрядной толщины слоем гнили, разлагалось и наполняло воздух ядовитым и удушающим смрадом. Русский нос сносил его, и в базарные дни здесь торговля шла развалом, но иностранцы с ужасом вспоминают в своих записках об этом рынке. В небазарные дни площадь обыкновенно пустовала, и только бродячие собаки стаями бродили по ней, жадно роясь острыми мордами в смрадной рыбной падали.

Путнику казалось, что он умрет посреди этой площади, и на его лице выразилось наслаждение, когда свежий ветерок дохнул на него с

реки Москвы, мост через которую примыкал к другой стороне площади.

Иностранец отнял руку от носа, вздохнул полной грудью и остановился у начала моста, пытливо оглядываясь по сторонам.

Узкий, недлинный мост, настланный на широкие суда, выходил на безлюдную мрачную местность, так называемое Козье болото. Посреди площади стояла виселица, еще не разобранный после казни, и мрачной громадою высился эшафот, лобное место — высокий помост на толстых сваях, к которому вело несколько ступеней; на помосте стоял тяжелый широкий обрубок, вроде тех, которые можно видеть теперь в мясных лавках.

Иностранец взглянул вдоль берега. Немощенная улица была покрыта пылью и грязью. На ней, то высовываясь вперед, то уходя назад, стояли дворы с убогими избами. Иностранец, не видя людей, постоял минуту в нерешительности и потом смело двинулся вдоль берега направо. Вдруг его лицо прояснилось, и он ускорил шаг. У одних ворот растворилась калитка, и чьи-то сильные руки вытолкнули человека на улицу. Он сделал два скачка, замахал руками и повалился лицом в пыль. Иностранец быстро подошел к нему и нагнувшись толкнул в плечо.

— Скажи мне, где Федор Беспальцев? А? — спросил он ломаным языком.

Упавший сделал попытку поднять голову, замычал что-то и опять ткнулся носом в пыль. Он был весь оборван, сермяжная рубаха едва прикрывала его наготу, синие дерюжные порты сползали и обнажили часть спины, босые ноги были грязны и изранены.

Иностранец постоял над ним, потом выпрямился, решительно подошел к калитке и застучал кольцом. Не получив ответа, он вынул нож и его медной рукоятью с такой силой стал ударять в доски калитки, что гул ударов огласил всю улицу.

Этот способ оказался действенной.

— Ты опять, песий сын, буянить! — раздался злобный голос, и, распахнув калитку, здоровенный детина в рубахе рванулся было вперед, но иностранец ударом в грудь отбросил его и вошел в калитку.

Мужик с изумлением взглянул на него.

— Тебе что нужно? — спросил он.

— Федор Беспальцев тут? Мне его видеть надо!

— Здесь, — грубо ответил мужик. — Тебе зачем его?

Лицо иностранца вспыхнуло.

— Ну, ну, грубый мужик. У меня дело есть! Веди! — крикнул он.

Мужик смирился.

— Иди, что ли! — сказал он и, замкнув калитку, повел гостя по двору к большой избе.

Иностранец, положив на нож руку, твердо ступал за ним.

Мужик ввел его в темные сени и провел через просторную горницу, в которой у стола, за штофом вина, двое каких-то мещан играли в зернь^[68]; затем, пройдя темную кладовку, он ввел его в другую небольшую горницу и, сказав в полутьме кому-то: «К тебе, хозяин!» — оставил гостя одного.

Полутемная горница почти до половины была загорожена огромной печью. В углу трепетно мерцала лампада.

В душном воздухе пахло прелью, мятой, сырой кожей, потом, образуя смрадную атмосферу; сквозь небольшое слюдяное оконце тускло светил догорающий день. Иностранец разглядел у окна маленький стол с лавкою подле него и, подойдя, опустился на лавку.

В тот же миг с печки раздался сухой кашель, с ее лежанки свесились грязные босые ноги, и маленький, корявый мужичонка, с поредевшими рыжими волосами, опустился на пол и, щурясь, подошел к пришедшему.

— Кха, кха, кха, — заговорил он, шепелявя и кашляя, — что-то не признаю тебя, добрый молодец. Откуда ты, кто? Какой человек тебя ко мне послал? Кха, кха... — И он, закашлявшись, опустился на длинный рундук, стоявший вдоль стен, и заболтал головою.

Красноватый отблеск заходящего солнца ударил в оконце и осветил его. Это был Федька Беспалый, бывший тягловый боярина Огренева-Сабурова.

Если другим тяжелые дни Смутного времени принесли горе и разорение, то Федьке они дали возможность нажиться, и он, не брезгуя ничем, жадно и торопливо набивал свою мошну. Находясь в вотчине под Калугой в дни Калужского вора, он умел поживиться и от поляков, и от своих, когда возил туда оброк натурою, и даже запасася кубышкою, как современные банкиры запасаются несгораемым сундуком. Когда спалили усадьбу боярина и верный его слуга зарыл часть казны в землю, Федька успел подглядеть заветное место и обокрасть его. Вора

убили в Калуге, суматоха настала кромешная, и Федька с казною пробрался в Нижний и занялся там куплею-продажей и корчемничеством. Даже в великий момент поднятия народного духа, когда Минин Сухорук тронул все сердца^[69] и на успех родного дела подле его трибуны вдруг стала расти куча денег и сокровищ, Федька сумел из этой груды уворовать себе немало. Как шакал, он шел за ополчением, торгуя вином и пивом, держа у себя скоморохов и женщин, и, наконец, когда относительный мир осенил Русь, он окончательно переселился в Москву, выстроил себе на берегу крепкий дом и стал содержать рапату. Так назывались в то тайные корчмы, притоны пьянства, разврата и всякого бесчинства. Пьяница, распутный ярыга^[70] и боярский сын, подлый скоморох и иноземный наемник находили здесь все и во всякое время: вино, игру, женщин, табак и даже деньги, если у нуждающегося была какая-нибудь рухлядь. Как паук, сидел Федька в своей норе и ткал паутину.

Теперь, кашляя, он зорко осмотрел пришедшего и уже знал, за каким делом тот пришел к нему. Иностранец дал ему прокашляться и ответил, коверкая язык:

— Я — капитан Иоганн Эхе, а послал меня к тебе мой камрад Эдвард Шварцкопфен.

Федька затряс головою.

— Помню, помню. Я ему коня достал и десять рублей дал. Хороший был воин! — он вздохнул, — сколько он мне добра приносил. Теперь уж нет того. Ляхи, будь они прокляты, все побрали. Чего не унесли, в землю закопали, а остальное опять в казну ушло. Теперь князья-то да бояре оправляться стали, теперь и кубок, и стопки, и братину без торга взяли бы, а нет!

— Таких нет, а вот это я тебе принес. Возьми, пожалуйста!

С этими словами Иоганн Эхе откинул свою епанчу и протянул Федьке кожаную торбу. Федька торопливо вскочил с рундука, и его глаза хищно сверкнули; но он сдержал свой порыв.

— Сем-ка я огонек засвечу, — сказал он.

Нагнувшись к подпечью, он достал каганец со светильней, воткнутой в остывшее сало, и горшочек с углями. Присев на корточки, он раздул уголья, запалил о них тонкую лучину и зажег светец. Светильня затрещала, и огонек, тускло играя и коптя, слабо осветил часть горницы.

Федор поставил светец на пол, подошел к двери, заложил ее на щеколду, заволочил оконце и тогда только, подойдя к столу, развязал дрожащими руками торбу. Эхе, опершись локтями на стол, с ожиданием смотрел на него.

Федька вынул напрестольный крест, смятую серебряную чашу, два ковша и целую горсть самоцветных камней. Его раскосые глаза засветились, жадность озарила лицо, но осторожная скупость торговца победила.

— Ох, хорошие штуки, хорошие, а где мне, убогому, взять их! — со вздохом сказал он и отодвинулся от стола, с удовольствием видя, как изменилось вдруг лицо Эхе.

— Возьми, пожалуйста, — заговорил тот откровенно, — я здесь совсем чужой. Никого не знаю. В Стокгольме хотел побывать, да здесь остался, потому что поехать не на что; здесь служить — коня надо, кушать надо, а денег-то нет — искать надо, до царя идти. Возьми, пожалуйста!

— Хорошего коня я тогда твоему латинцу достал! Ой, хорошего! Да тогда другие дела были: тогда деньги везде были, в грязи валялись, а теперь... — Федька развел руками, — Нет, пойдя к другому.

— Я никого тут не знаю! — жалобно ответил Эхе.

Он, сильный, молодой швед, с мольбою смотрел на плюгавого Федьку, которого в другое время, может, раздавил бы, как гадину. И тогда, и теперь, и во все времена нужда одинаково унижала достойного пред недостойным.

Федька опять вздохнул.

— И то, — сказал он сочувственно, — пойдешь на базар продавать, сейчас какой-нибудь дьяк или его приказный привяжутся: «Откуда? Краденое!». Тут тебя сейчас в разбойный приказ и руку отрубят.

Эхе побледнел и судорожно схватился за рукоять ножа.

— Откуда у тебя это все? — спросил Федька, — награбил? — Эхе вдруг вспыхнул и так хлопнул по столу широкой ладонью, что Федька мигом отскочил в сторону.

— Я — не вор, — гордо ответил швед, — я — воин! С генералом Понтусом Делагарди^[71] я ваших врагов бил, в Тушине бил, в Москве бил; с генералом Горном ходил тоже! Да! Я -не вор! Ведь это вы, русские, — воры. Когда нам субсидии не дали, мы на Псков ходили,

потом с генералами и Понтусом, и Горном Новгород брали. Много наших убили, ну и мы! Мы все брали, жгли, резали! Все наше! Мы кровью взяли, с оружием! Вот! — Он пришел в одушевление и махал ножом, и его шрам горел, словно раскаленный железный прут. — А ты говоришь: крал! Я — не вор! — Он тяжело перевел дух и вдруг кротко улыбнулся и смиренно повторил: — Купи, пожалуйста!

Федька, дрожавший и читавший уже отходную, снова почувствовал свою силу и вылез из-за печки, куда забился от страха.

— Ишь ты какой! — сказал он. — То «пожалуйста», то ругаешься. Ну, да быть по-твоему! Сколько тебе денег надо? Лицо Эхе сразу ожило.

— Дай два сорок рублей, и хорошо будет!

Федька уморительно припрыгнул и даже руками хлопнул по бедрам.

— Аль ты не в уме? — воскликнул он. — Два сорок! Да у кого есть теперь столько денег? У казны разве! Я — бедный смерд, Федька убогий, и два сорок! Полсорока хочешь, а то бери себе! — грубо окончил он и отодвинул от себя торбу.

Глаза Эхе вдруг потухли, лицо побледнело, он уныло опустил голову, но здравый смысл подсказал ему, что все равно выхода ему нет, и он покорно ответил:

— Хорошо! Ты меня ограбил, а не я. Только я возьму себе два-три яхонта.

Федька так обрадовался своей сделке, что не стал спорить. Эхе со смутным пониманием отобрал четыре лучших камня и тщательно спрятал их за пояс.

— Пстой за дверьми, пока я управлюсь! Я скоро, — сказал Федька.

Эхе послушно вышел и остановился в сенях, слушая, как Федька отпирает свой рундук и звенит деньгами. В эту минуту со двора к сеням подошли люди, заинтересовавшие Эхе. Рыжий, кривой поводырь, бросив на дворе медведя, тянул за руку хорошенького мальчика, так и заливавшегося слезами; маленький раскосый мужичонка шел рядом и держал мальчика за другую руку. Они вошли в сени и, наткнувшись на воина, спросили его:

— Федька у себя в каморе, не ведаешь?

— Зачем у вас этот мальчик? Вы его у боярина украли, верно? — вместо ответа спросил добродушный капитан.

— Ну, латинец, ты за своим добром присматривай, а другому в кошель не запускай лапу! — грубо ответил рыжий.

— А я вот хочу знать! — вспыхнул Эхе, но в эту минуту Федька раскрыл дверь, увидел, в чем дело, и поспешно позвал к себе воина.

— На тебе деньги, считай! — сказал он, махая рукой рыжему, который ввел ребенка.

Эхе успел заметить их, считая деньги и укладывая их за пояс, и вдруг у него мелькнула мысль.

— Я у тебя ночевать буду. Я хотел на Кукуй, но не знаю пути, — сказал он.

Федька ласково кивнул ему.

— Исполать!^[72] Иди, иди! Там все найдешь — и табак, и карты, и зернь, и вино, и... кралю по душе! — ответил он и вытолкал шведа из горницы. — Прямо через сенцы иди. Вона дверь!

Эхе пошел, но едва дверь за Федькой закрылась, вернулся к ней и стал слушать. Гудел рыжий, пищал раскосый, шепелявил Федька, жалобно плакал мальчик, и Эхе, с трудом прислушиваясь к быстрой речи, понял, что мальчик приведен по приказу Федьки за десять рублей, что он — боярский сын. Послышался звон денег, и Эхе едва успел войти в общую горницу, как сзади него послышались голоса рыжего и Федьки.

Войдя в большую горницу, капитан не узнал ее сразу — такое буйное веселье царило в ней вместо прежней тишины. В большой печи ярко горел огонь, несмотря на душный летний вечер, в трех углах, в высоких поставцах, горели пучки лучин, наполняя густым, едким дымом горницу и застилая им низкий потолок. За двумя длинными столами, что стояли по сторонам горницы, в различных позах сидели и мужчины, и женщины, с разгоряченными лицами. Одни играли в зернь, другие — в кости, третьи, собравшись кучкою, просто пили водку и пиво. Среди мужчин виднелись и дерюга, и поскона, и суконный кафтан. Почти полуодетый, сидел пьяный ярыга у конца стола и, стуча оловянной чаркою, кричал:

— Лей еще в мою голову! Остались еще алтыны от материнского благословения!

Подле него расположились несколько стрельцов, дальше — знакомые нам скоморохи, какой-то купчик из рядов — все с пьяными лицами, и между ними женщины, простоволосые, с набеленными и нарумяненными лицами, с накрашенными бровями и черными зубами.

По горнице, услуживая гостям, юрко сновали два подростка в синих дерюжных рубашках без опоясок, грязные и босоногие. В углу горницы, подле печи, стояли бочка с водкою и два бочонка с пивом, и подле них сидел тот самый парень, который отворил капитану калитку.

Никто не заметил появления Эхе, и веселье шло своим чередом, только одна из размалеванных женщин подошла к нему и, грубо захохотав, сказала:

— Садись, гостюшка дорогой, тряхни мошной, а я тебя потешу! — Она кивнула мальчишке, и тот мигом поднес ей в оловянной стопке водку. Женщина взяла стопку и кланяясь произнесла:

— По боярскому обычаю вкушай, гостюшка, да меня в губы алые поцелуй, не кобенься!

Немец взглянул в ее наглые глаза, почувствовал за своим поясом тяжелые рубли и, обняв размалеванную красавицу, крепко поцеловал ее, после чего залпом осушил стопку

— Вот по-нашему, хлоп, и нет! — закричала ярыжка.

— Иди к нам, ратный человек! — позвали капитана стрельцы.

Эхе, сев подле них, взял на колени красавицу.

— Тащи, малец, братину! — крикнул один из стрельцов, — немчины славно рубятся, поглядим, как пьют.

— Дело говоришь, Михеич! — весело отозвался другой стрелец, помоложе.

Мальчишка поставил на стол муравленный^[73] горшок, наполненный водкой, и небольшой ковшик. Михеич разлил им водку по стопкам.

— Откуда рубец у тебя, немчин? — спросил он.

— Этот? — спросил Эхе, — ваш русский побил, в Москве когда были.

— Эге-ге, — усмехнулся Михеич, — может, и мой бердыш. Я тогда с князем Пожарским у Никитских ворот с немцами бился.

— Жарко было! — сказал Эхе. — Кругом горит, все кричат... тут русский воин, там русский... и меч, и смола, и камни.

— А ты что ж думал, немчин, что мы матушку-Москву вам, псам, отдадим? — подходя пьяной походкой, спросил ярыжка.

— Я ничего не думал. Я служил у генерала Понтуса Делатарди, а он — у генерала Гонсевского служил!

— Ну вот и намяли бока! — захохотали кругом.

Эхе покраснел.

— Потому что поляк глуп, — сказал он.

В эту минуту у играющих поднялся спор, потом — драка. Кружки опрокинулись, вино разлилось, дерущиеся повалились на пол. Их окружили и поощряли веселым смехом:

— Бей его, жидовина!...

— Под микитки ему!... Так его!

— За усы тяни! Завоет! — кричали зрители.

Дерущиеся поднялись с окровавленными лицами.

— Схизматик^[74] поганый.

— Лях!

— Я те заткну глотку!

— Смиритесь, почтенные! — вмешался и тут ярыжка, — поцелуйтесь, православные! Будем снова играть!

Один из дерущихся словно охладел.

— А откуда у тебя деньги, ежели ты крест пропил! — спросил он.

— А вот он! — засмеялся ярыжка, показывая зажатые в кулак алтыны.

— Братцы, ограбил он нас!...-закричал тот, — пока дрались, он денежки уволок. Мои алтыны! Держи!

Но уже было поздно: ярыжка скользнул за дверь и мчался по двору так, что его подошвы хлопали, словно лошадиные копыта.

— Ну подожди, окаянный, я тебя сцапаю! — прохрипел ограбленный.

— А ты подерись еще малость!

Не ходи кума на мост,
Там провалишься,-

раздалась пьяная песнь скоморохов, и они пустились в пляс. Одна из женщин затопталась на месте, махая платком, сорванным с головы.

— Люблю! Отхватывай, Аленка! — закричал захмелевший молодой стрелец.

В это время Эхе заметил кривого рыжего и его товарища. Они пили и о чем-то спорили. Эхе перешел на другое место и сел подле них, все думая услышать имя хорошенького мальчика.

— Волчья сыть! Пять рублей кожею дал, — сказал рыжий.

— Себе и бери ее, а нам серебро отдай, — ответил раскосый.

— Нет, брать все пополам. Кожу пропьем, а эти разделим. Эй, Аленка! — закричал рыжий.

К нему подбежала толстая женщина.

— Пить будем! Тащи красоулю!

— Важно, ой, важно! — вскрикивал купчик, глядя на пляшущих скоморохов, и, вдруг взвизгнув, сам пустился притоптывать.

Я в кусточки пошла,
Добра молодца нашла!

Стены затряслись от топота ног.

— Вот как у нас, немчин! — кричал купчик отплясывая, — умеешь так?... Уф! — И он упал на лавку, вытирая грязной рукою вспотевший лоб. — Будет плясать! — сказал он, — пить станем. Всех пою! — Молчаливый до времени, он стал теперь амфитрионом^[75] и, разливая всем по кружкам водку, заговорил с каждым. — Пирование теперь у нас будет... Эх!

— Закурим! — отозвался угрюмый подьячий.

— Чай, и вы за тем сюда пришли? — спросил Михеич скоморохов.

— Вестимо, за тем же, — ответил раскосый — товарищ рыжего, — теперь, говорят, на площадь-то мед, пиво выкатят, на три дня гулянка!

— Слышь, из тюрем выпустят!

— Всем ярыжкам награда будет!

— Ну?

— Кому плетью, кому просто тычком!

Все засмеялись.

— Что же будет завтра? — спросил начинавший хмелеть Эхе.

— Ах, ты, немчин, немчин! — с укором сказал купчик, — завтра наш царь-батюшка своего батюшку встретит. Из полона вызволил его, от ляхов поганых^[76]!

— Нас-то завтра по всей дороге вытянут. Стой! — гордо заявил молодой стрелец.

— А вы, чай, к Федьке за ребятишками? — спросила тем временем толстая баба у рыжего.

— Вестимо, не без этого, — ответил он, — калечных надо да плясунишку.

— Есть у него, есть! — сказала та, — намедни он их штук шесть купил. Жмох!

— Уж это как быть должно!

Компания хмелела. У Эхе уже слипались глаза. Размалеванная женщина шептала ему:

— Возьми с собой в клеть!

— Идем! — ответил Эхе и встал, шатаясь от выпитой водки.

Купчик хотел с ним поцеловаться, поднялся, но тут же покачнулся, упал под стол и моментально захрапел.

Женщина провела капитана в клеть, что стояла особняком в глубине двора, но Эхе не мог заснуть, несмотря на выпитое им. Он снял тяжелые сапоги и латы, отвязал меч, но из осторожности не снимал кушака и камзола. Ему было невыносимо душно в тесной клетке, он вышел на двор, обошел избу и вошел в сад, тянувшийся позади нее. Бродя по саду, он наткнулся на большой деревянный сарай с маленькими оконцами.

Чем— то таинственным, мрачным веяло от этого здания, запрятанного в чаще, особенно теперь, среди ночной тишины и мрака. Эхе, положив руку на нож, осторожно обошел вокруг сарая и уже хотел уйти, как вдруг в стороне послышались шаги. Он спрятался за дерево и увидел Федьку Беспалого. Тот вел за руку мальчика и говорил ему:

— Ну, ну, не хнычь! Здесь много таких же мальчишек... и девчонки есть. Тебе весело будет!

— Мамка моя! Мамка моя!... Не хочу тут быть! — тихо воскликнул мальчик, задыхаясь от слез.

— И мамка сюда придет! Ну, иди, что ли! — и, отворив дверь сарая, Федька толкнул туда мальчика и снова запер дверь висячим

замком. Эхе вышел из засады, когда Федька удалился, и неохотно побрел в свою клеть. В своей походной жизни он видел всякие виды и приучился не вмешиваться в чужие дела, но этот мальчик и его участь как-то интересовали его помимо воли. Он вошел в клеть, но спать уже не мог и беспокойно ворочался с боку на бок. Наконец он встал, надел латы, взял шлем, опоясался мечом и вышел на двор, а потом на пустынную улицу.

III КНЯЖЬЯ РАСПРАВА

Князь Теряев-Распояхин во время своего пребывания в Москве всегда гостил у Федора Ивановича Шереметева, начальника вновь основанного аптекарского приказа, с которым сдружился после неудачного похода под Новгородом против Делагарди; тогда князь был ранен и лечился через него у Дия.

Федор Иванович души в нем не чаял, отчасти чуя в своем друге могучую силу и недюжинный ум, и отвел ему две горницы в своем доме в Китай-городе.

Сейчас, после разорения, построил ему эти хоромы немец из слободы. Затейливо они были выстроены: с теремами, с башенками, с клетями и холодушками, с расписными печами внутри и затейливыми балясинами снаружи. На обширном дворе раскинулись еще добрый десяток изб да бани, да сараи, потому что Федор Иванович держал до полутысячи человек челяди, как подобало в то время знатному человеку.

Князь Теряев не чувствовал у него ни малейшего стеснения и, случалось, даже не видел своего хозяина по нескольку дней, но теперь они все время были неразлучны.

Царь Михаил любил их, отличал пред прочими; они в совете помогали составлять порядок встречи возвращавшегося Филарета Никитича, и царь поручил князю Теряеву оповестить его о приближении высокого пленника к Москве.

С раннего утра уезжали князь и Шереметев из дома: один — в приказ и боярскую думу, как единственный государственный человек, другой — к царю для беседы; сходились они лишь за обедом и тут говорили о делах государских.

Оба они одинаково радовались возвращению твердого, решительного, смелого умом Филарета.

— Конец царевым приспешникам, — говорили они, — будет! Посидел царь-батюшка под бабьим началом, теперь в другие руки владычество перейдет!

И эту радость смутно делили с ними все русские.

Еще чуть брезжило утро, когда Влас скорее свалился, чем сошел, с коня пред домом Шереметева и стукнул кольцом.

— Кто стучит? — спросили его.

— Господи Иисусе Христе, помилуй нас! Власий, смерд князя Теряева!

— Аминь! — послышался голос, и калитка отворилась.

— Куда коня поставить? В доме ли князь-батюшка? — спросил Влас.

— Коня-то во двор, там коновязь есть, — ответил сторож, отворяя ворота, — а что до князя, то оба только обедню отслужили и тотчас наверх^[77] поехали.

Влас видимо ожил:

— А стремянной его, Антон?

— Тот здесь. Вот четвертая изба под ваших людишек отведена. Там и коновязь.

— Прости, Христа ради! — сказал Влас и, ведя коня, с непокрытою головою пошел по указанному направлению.

— С Богом! — ответил сторож, затворяя тяжелые ворота.

Влас дошел до большой, просторной избы и, привязав коня, стукнул в дверь.

— Господи Иисусе Христе, помилуй нас.

— Аминь! — ответили изнутри.

Влас отворил дверь и вошел в избу. Охрана Теряева — большей частью бывшие шиши в Смутное время — сидела за столом и хлебала любимое толокно из большой мисы. Увидев Власа, все радостно загалдели:

— Влас! Али в гонцах? Здорово! Садись с нами! Какие вести? С чем радостным? Али княгинюшка?

Влас истово помолился в правый угол и потом отвесил всем общий поклон.

— Хлеб да соль! — сказал он.

— Садись к мисе-то, — ответил ему за всех Антон, — речи после будут. Чай, умаялся.

Влас присел, взял ложку, перекрестился, и жадно принялся за еду.

Только когда очищена была вся миса и Влас положил ложку, Антон спросил:

— Ну, с какими вестями? До князя?

Влас, вздохнув, ответил:

— Да князя! А как сказать — и в ум не возьму. Гневлив он и лютей во гневе-то.

— А что за вести? — снова спросил Антон.

— Вести-то... такие вести... Одно слово: кнут вести.

— Да не томи нас-то, — крикнул Антон. — Говори!...

— Что говорить-то! Князюшку нашего скоморохи скрали, а матушка-княгиня вне себя в бане лежит, воеет.

Антон вскочил, но тотчас опустился на лавку и словно остолбенел.

— Что ж, погоню-то нарядили? Как выкрали-то? — слышались вопросы.

Антон залпом выпил целый ковш кваса и оправился.

— Ох ты, Господи, беда какая! — сокрушенно сказал он.

Влас сумрачно зачесал в затылке.

— Теперь и рассуди, каково мне князю эту весть принести. Убьет, как есть убьет!

— Ну, — вставая с лавки, сказал Антон, — ложись спать и не думай. Я сам князю про его горе расскажу, а ты после придешь, позову!

Влас вскочил и поклонился -Антону, коснувшись руками пола.

— По гроб тебе спасибо, Антон Дементьевич! — сказал он г чувством.

Все полегли отдохнуть, только Антон не мог заснуть после полученной вести и сумрачный ходил по двору, поджидая своего любимого господина.

Князь веселый въехал во двор и, сойдя с коня, легко взбежал на крыльцо. Шустрый домашний отрок подбежал к Антону.

— Иди, твой господин вернулся!

Антон вздрогнул, словно от удара, и нехотя пошел в горницу.

Князь, приветливо улыбаясь, кивнул ему головою и спросил:

— Что людишки наши?

— Живем твоей милостью, батюшка-князь, — ответил Антон и, переминаясь, прибавил: — Влас с вотчины твоей приехал.

— Влас? — встрепенулся князь, — зови его. С какими такими вестями? Али худо? — Он взглянул на Антона, и его тревога усилилась. — Знаешь? Говори! — сказал он, подходя к Актону.

Тот упал ему в ноги.

— Ох, батюшка-князь, дурные, черные вести! Не доглядели твои слуги верные.

Князь тяжело перевел дух.

— Что случилось? — тихо спросил он.

— Сына твоего скрали скоморохи! Княгинюшка...

— Сына! Скоморохи! — не своим голосом вскрикнул Теряев.

Антон взглянул на него и испугался — так от гнева перекошилось лицо князя.

— На конь! В погоню! Зови Власа! — вдруг закричал князь, быстро схватывая шлем и меч.

— Куда заспешил, Терентий Петрович! — слышался дружеский веселый вопрос, и Шереметев вошел в горницу.

— Домой, в вотчину! — отрывисто ответил князь.

— С чего? Или попритчилось что?

— Притчиться^[78] мне не может, а просто сына скрали... наследника моего, сердце!... — И он сжал руки так, что они хрустнули.

Лицо Шереметева сразу изменилось.

— Ах, горе какое! Ах, беда какая! Как же так?

— Скоморохи!

— А завтра тебе в ночь на встречу ехать!

— О, эта встреча! — воскликнул князь. — Ну как мне радоваться с ними, когда такая тоска в сердце? А? Что же ты, смерд? — крикнул он вдруг на молча стоявшего Антона.

Последний кубарем вылетел из горницы и, ворвавшись в избу, заорал благим матом:

— Вставайте, что ли, черти! На конь все, живо! Князь на вотчину едет!

Через несколько минут все было готово к отъезду.

Словно спасаясь от врагов, мчался князь на своем аргамаке, и за ним едва поспевала его малая дружина. Бурей пролетели они через

деревни, встречавшиеся на пути, вздымая облака пыли, и мужики, бросив свои работы, пугливо шептались:

— Видно, опять воры или ляхи на нас идут: ишь как князь Терентий Петрович промчал!

— Борони Боже! Может, на его вотчину наехали!...

На пятидесятой версте Антон, задыхаясь, сказал князю:

— Князь-батюшка, дадим коням передых. Неравно зарежем таким угоном!...

Князь словно очнулся и взглянул на своего коня. Кровавая пена летела с него ключьями, бока судорожно вздымались, и, когда князь сдержал его бег, видно было, как дрожали нога коня.

— Твоя правда, — ответил с досадою князь, — передохнем часа с два времени. Коней отводить, потом вытереть досуха и напоить. Ишь, замаялись! А ко мне посланца зови!

Князь сошел с коня у дороги и, войдя на опушку леса, стал взволнованно ходить взад и вперед. Антон принял его коня. Дружинники друг за другом подъезжали к месту стоянки на измученных конях и облегченно вздыхали, с трепетом косясь на сумрачного князя.

— Иди к князю! — сказал Антон Власу, когда тот подъехал.

Влас взглянул в сторону князя и обомлел, но все же сделал несколько шагов и, не доходя до князя, упал на колени и пополз к нему, воя и причитая:

— Будь милостив, князь-батюшка! Неповинен я, подлый смерд твой, в беде твоей. Послали меня, раба твоего недостойного, умишком скудного, до твоей милости, чтобы всю правду тебе сказать, как перед Богом!

Он медленно подползал, ежась от страха, и выл все жалобнее, надрывая душу. Князь остановился, взглянул на него, и у Власа на миг онемел язык — так грозен показался ему его владыка.

Высокий, широкий, с сухим, острым лицом, обрамленным черными, как смоль, волосами, с горящим взглядом, князь в своем золоченом шлеме со стрелкою, в сверкающих латах, с мечом у бока действительно олицетворял в эту минуту властную силу, не знающую преград в своем гневе.

— Говори, смерд, все, как было! Откуда скоморохи взялись?

— На Москву шли, царь-батюшка; по пути зашли, по пути!

— Кто позвал?

— Княгиня-матушка зазвала. Скуки ради, чтобы потешить ее, матушку, и князюшку.

— Днем?

— Днем, батюшка, сейчас, почитай, после обеда.

— А потом ушли и увели?

Антон осторожно подошел к князю и положил на землю высокое седло. Князь в изнеможении опустился на него. Влас задрожал при его вопросе.

— Не так, батюшка! Они у нас заночевали, а в утро...

— Ночью бражничали?

— Не смею грех утаить! Было!

— Ну, ну!... И как увели?

— Под утро. Ушли это они — и все. А потом князюшка с санными девками в сад убежал, в прятки, слышь, играли. Он и сгинул. Пошли искать, а из тына-то целая тычина вынута, а подле той тычины княгинюшка опоясок нашла и обмерла.

Князь вскочил.

— И княгиня больна?

— Ой, больна, батюшка! Меня девка Наталья к тебе погнала, а Ерему — за бабкой повитухою, а Акима — в погоню. Может, и нагнал злодеев-то!

Князь схватился руками за голову. И Анна больна, может — умирает: ведь она на сносях была. И, не будучи в силах сдержать нетерпение, он снова приказал седлать едва передохнувших коней.

Садясь на коня, он вдруг словно вспомнил.

— А ты бражничал тоже? — спросил он Власа.

Тот упал ему в ноги.

— Согрешил окаянный! Как и все!

— Двадцать батоков! — сказал князь Антону и вскочил в седло.

И снова началась бешеная скачка.

Мрачные мысли заполнили голову князя. Скрасть его наследника, его гордость! Не иначе тут, как чей-то злой умысел. Слов нет, крадут детей скоморохи, но еще слышно не было, чтобы из княжьей усадьбы увести осмелились. Может, и дома где-нибудь гнездится измена.

— Я покажу им! — почти вслух произнес князь, и в его глазах словно сверкнули молнии.

Наконец показалась усадьба. Князь вынесся вперед, оставив всех далеко за собою, и, подлетев к воротам, быстро соскочил с коня. С наворотной башенки его заметили еще издали, и, едва он подъехал, как настежь распахнулись ворота.

Мрачнее тучи вступил князь на свой широкий двор и почти не взглянул на челядь, что стояла на коленях позади Степаныча, растянувшегося плашмя.

— Где княгиня? — спросил он, ни на кого не глядя.

— В бане, князь-батюшка, — ответило несколько робких голосов.

Князь отпоясал тут же на дворе свой меч, снял шлем и латы, отдал их Антону и в одном шелковом кафтане пошел прямо в баню, стоявшую на заднем дворе, недалеко от сада.

— И будет вам ужо! — сказал Антон перепуганной дворне.

Князь вошел на крыльцо бани и несколько мгновений простоял, собираясь с силой; потом он разом толкнул дверь и вошел в первую горенку. Там сидели высокая, сухая, с желтым, сморщенным лицом старуха и несколько сенных девушек. Увидев князя, они взвизгнули и повалились ему в ноги. Одна старуха не стала на колени и смотрела на князя живыми черными глазами.

Князь пытливо посмотрел на нее и спросил:

— Ты и будешь бабка-повитуха, что из Коломны?

Старуха отрывисто поклонилась князю в пояс и ответила:

— Истину, батюшка, молвил. Я и есть!

— А звать тебя?

— Звать, батюшка-князь, Ермиловной с Сорочьих.

— Ты же и княгиню пользуешь? Что с ней?

— С испуга выбросила, батюшка. Согрешила! Ты уж не будь к ней немилостив, — бойко проговорила она, снова отрывисто кланяясь.

Князь сверкнул на нее взором, но она не потупилась.

— Ведь не с охотки, — продолжала она. — Я к тому, что теперь она в расслаблении. Напугаешь ее, руда^[79] бросится и не заговорить мне... Помрет!

Князь вздрогнул и отступил.

— Помилуй Боже! — сказал он смиряясь. — А заглянуть можно?

— В щелочку! Подь сюда!

Девки все время стояли на коленях и давались диву, как сумела смирить Ермиловна грозного князя. Воистину привороты всякие знает.

— Посмотри и иди! — сказала тем временем старуха, — а я подготовлю ее, болезную... После придешь.

— Ладно, старая, — ответил князь и осторожно заглянул в щелку.

В предбаннике, прямо на полу, на пышной перине лежала молодая княгиня в полубесчувственном состоянии. Бедная! Как побледнела она: лежит, что плат, белая. Лицо — осунулось, нос и подбородок заострились, а вокруг глаз легли темные круги. Сердце князя сжалось тяжелым предчувствием. Он обернулся к старухе:

— Умрет княгиня — не видать тебе Коломны!

— Зачем умирать! Жить будет, — ответила старуха. — Иди пока что, а то еще по голосу признает, всполохнется.

Князь осторожно вышел, прошел в дом, вошел в молельню, всю завешанную образами, и упал на колени пред иконою Николая Чудотворца. Некоторое время он лежал молча, прижавшись лбом к полу, потом поднял голову и, широко крестясь, заговорил:

— Святой угодник и чудотворец, вразуми и наставь! Да не знает мое сердце злой неправды, да не опустится рука моя на невинного. Владыко и чудотворец, не оставь милостью: помоги сына найти, а я за то воздвигну храм имени твоего. — Он обернулся к иконе Варвары-великомученицы. — Пошли, угодница, здоровья княгинюшке. Закажу паникадило чистого серебра в три пуда!

Он встал и приложился к образам; после того он, успокоенный, вышел на крыльцо и позвал Антона.

— Зови Степаныча! — сказал он, садясь на крыльцо.

Не подошел, а подполз, как раньше Влас, к нему старший ключник.

— Ну, мой верный слуга, расскажи-ка мне, — начал с суровой усмешкой князь, — как ты скоморохов господским добром угощал да всю ночь с ними, старый пес, бражничал?

— Смилуйся, князь! — стучаясь лбом, заголосил ключник, — с приказа княгинюшки брагой и пивом поил.

— Что же это она на всю ночь гульбу заказала вам всем? Не верится что-то!

— Смилуйся, князь! — повторил Степаныч.

Князь встал.

— А сведи меня к месту, где татьба соделана!

Степаныч поднялся и неуверенными шагами пошел впереди князя.

— Тут, батюшка, — указал он на место, где из тына был выворочен тяжелый столб.

Князь заглянул в яму.

— Ишь, локтя два земли выкопано, -сказал он, — одному и не управиться. А кто дозором ходил в ту ночь?

— Яшка Пузырь да Никашка, да Петька Гуляйко!

— Позвать!

Антон бросился к службам. Три здоровенных парня вышли и упали на колени.

— Чай тоже бражничали? -спросил князь с усмешкой.

— Бес попутал! -воскликнули все трое.

— А ну! Всыпь им столько батожьев, чтобы глаза на лоб вылезли, да здесь же, у колдобины! -распорядился князь и пошел назад к крыльцу.

Княжие дружинники по зову Антона распнули парней и начали расправу.

— А кто с Мишенькой был? -спросил князь Степаныча.

— Пашка да Матрешка, батюшка-князь!

— Позвать!

И опять, валяясь в ногах князя, завыли и заголосили две сенные девки. В знак печали они остригли свои длинные косы и разорвали сарафаны.

Князь злобно посмотрел на них.

— На том свете вы за раденье свое ответите, а теперь под Казань грех замаливать пойдете. Есть там у меня вотчинка, а по соседству монастырек. Туда и будете!

Пашка без чувств упала на землю.

Из толпы челяди выступил огромный детина и опустился на колени.

— Смилуйся, князь, невеста просватанная. Матушка-княгиня сама благословить изволила.

Князь нахмурился.

— Звать тебя?

— Аким, во псарях у твоей милости.

— Ты погоню правил?

— Истину говоришь. Только, что я мог? — он развел руками. — Лошаденки худые, кругом лес; опять, может, два часа, может, три спустя хватились. Они тропинками да чащей!

— С кем ездил?

— А тут пять людишек прихватывал.

— Всем по двадцати батогов! — решил князь и поднялся. — А его повесить! — сказал он Антону, указывая на Степаныча.

Стон и крики огласили усадьбу. Князь сидел в своей горнице и, сжимая голову руками, снова думал неотвязную думу.

«Кому надо? Не иначе, как по наговору сделано. И где спрятали? Может, и найти уже поздно. Убили, искалечили!» — вспомнил он, как недавно казнили скоморохов за то, что подьячего сына скрали и очи ему выжгли, вспомнил и вскочил, словно ужаленный.

О— о-о! И что за горемычная его доля! Что за муки-мученические!

«Искать! Погоня! А где искать? Куда гнаться? — Он снова сел. — Ну хорошо! Завтра и эти дни много скоморохов на Москву придут. Что же, всех в застенки не перетаскаешь!... Ах, не будь этих дней, — снова с горечью подумал он, — нарядил бы погоню во все концы, сидел бы сам подле Аннушки! А тут тоска на сердце, душа — что туча, а должен ехать и со светлым лицом делить царскую радость».

Он заломил руки. Лестно отличие царево, да подчас ой как тяжка его великая ласка.

— Батюшка князь! — окликнул его с порога Антон, — девка Наталья к княгинюшке тебя просит. Оповещена она.

Князь быстро встал, отер тылом кулака глаза и пошел к ней. Все ушли и оставили их одних. Уж и целовались они, и плакали! Горе словно крепче спаяло их, и князь, на миг позабыв о сыне, думал только, о ее здоровье.

— Как выздоровлю, по монастырям пойду. Отпусти меня, господин мой! — воскликнула княгиня.

— Да нешто я против? Молю Бога! Только сама-то ты, сама-то недолго недужься. Ты в монастыри, а я погоню наряжу да в разбойном приказе оповед^[80] сделаю, да боярину Петру Васильевичу отписку дам. Пусть он и в Рязани у себя поищет.

И долго они говорили, утешая и лаская друг друга. Лютая злоба стихла в сердце князя и сменилась тихой грустью.

К вечеру он простился с женою.

— Завтра на Москве дела, а в ночь встречать нашего батюшку выеду. В почете мы! — прибавил он с усмешкою. — А ты поправляйся. Бабка-то сама по себе, а дьячку вели у нас в часовне читать все время!

Княгиня с плачем бросилась в его объятия.

Князь вышел и приказал Антону готовиться в дорогу.

— Да спроси челядь, кто из них лучше в лицо скоморохов помнит. Двоих на Москву возьми. Лошадей дать под них! А Пашку с Матрешкой в монастырь не надо. Пусть просто живут; на тягло их туда, в вотчину. Ну готовься!

IV ВСТРЕЧА ОТЦА С СЫНОМ

Не радостен и не светел лицом был князь Теряев, собираясь на великую торжеством встречу митрополита ростовского Филарета Никитича.

— Ты уж не кручинься так-то! — уговаривал его Федор Иванович, — смотри, может, завтра твои людишки скоморохов выследят. Тогда живо мальчонку найдем.

Теряев в ответ вздохнул, обряжаясь в свои лучшие доспехи. Он надел дорогой шелковый тешляй, а поверх его — легкий бахтерец^[81] с нашитыми на плечах, спине, груди и локотниках серебряными с золотую насечкою пластинками, надел наручи и наколенники из такого же серебра, зеленые сафьяновые сапоги с серебряными подковками и подвязал меч.

Шереметев вышел проводить его на крыльцо. Княжеские дружинники стояли нестройной толпою. Антон держал в поводу серого в яблоках аргамака.

— Ну, пока что, прощай! — сказал Теряев, надевая на голову легкий шелом с острою вершушкою.

Шереметев усмехнулся.

— В полудень встретимся. Я при царе буду!

— Ин так!

Князь вскочил на коня и взял в руки длинное копьё. Дружинники вмиг очутились тоже на конях. Ворота раскрылись, и конный отряд с

князем Теряевым во главе медленно поехал по спящему городу за реку Пресню.

Царь Михаил Федорович, чтобы почтить своего отца, выслал ему три почетных встречи: первую — в Можайск с архиепископом рязанским Иосифом и князьями Дмитрием Михайловичем Пожарским и Волконским, вторую — на Вязьму с вологодским архиепископом Макарием, боярином Морозовым и думным дворянином Пушкиным, третью — с митрополитом Ионою, князем Трубецким и окольниковым Бутурлиным — на Звенигород и на полупуть — князя Теряева-Распояхина с тем, чтобы последний, увидев великого страдальца, поскакал к нему, царю, оповестить о приближении его батюшки.

Князь проехал верст двадцать и стал станом, далеко вперед себя услав четырех конных, чтобы, взлезши на деревья, сторожили с верхушек дорогу. Сам же он, сойдя с коня, но не снимая доспехов, встретил восходящее солнце с мрачными думами и тоскою на сердце. Всюду мерещились ему то его Миша, то любимая жена. Мечется она, быть может, умирая, и в тоске кличет его, а он должен со светлым лицом оповестить царю великую радость. Видится ему Миша: тащат его лютые разбойники, каленым железом вынимают светлые глазки, бьется он в руках палачей, зовет своим голоском тятю, а его тятя должен со светлым лицом оповестить царю великую радость.

— Горе мне, горе! — закричал не своим голосом князь и в отчаянии упал в траву ничком.

Антон, видя отчаяние своего господина, перекрестился и, вздохнув, сказал:

— Не коснусь волос своих, пока не объявится молодой князюшка!

Этот обет несколько утешил его волнение. Вдруг он увидел мчавшихся к ним трех всадников.

— Едут, едут! — кричали они, показываясь в облаках пыли.

Антон подошел к князю и тихо позвал его. Теряев поднял олову, и лицо его выражало полное недоумение, словно он только что проснулся.

— Едут! — сказал Антон господину.

Князь тотчас вскочил на ноги и быстро оправился.

— Коня!

И кони помчались, гремя доспехами, в Москву.

Толпы народа уже запрудили улицы. Князь со своим отрядом домчался до Кремля и сошел с коня.

На площади, от царского терема, от Красного крыльца Трубецкой двумя шпалерами ставил стрельцов в зеленых кафтанах с алебардами в руках. Увидев князя, он кивнул ему.

— Едут, — ответил Теряев и вошел в теремные ворота.

Во дворце шла суета. Окольниковые, бояре, думные, стольные, кравчие — все, кто знатнее и местом выше, толпились в царских покоях, готовясь к выходу. В длинных парчовых кафтанах с воротами, подпиравшими их стриженные в скобку затылки, с длинными бородами, в высоких шапках, они важно ходили и стояли, не будучи в силах сделать ни одного свободного движения. Увидев князя, они окружили его.

Князь поднял руку и сказал:

— До царя-батюшки. Где царь?

— В молельной! — ответили все хором, а боярин Стрешнев прибавил:

— Сейчас из Вознесенского прибыл, у матушки-царицы — дай ей Бог многая лета здравствовать! — благословение принял.

В это время к Теряеву подошел окольниковый Борис Михайлович Салтыков:

— Государь-батюшка в беспокойстве.

— Иду! — ответил князь.

Царь Михаил Федорович, окруженный слугами, перешел из молельни в свой покой и оканчивал свое одевание. Князь вошел и опустился на колени.

— Государь, твой батюшка — да продлит Бог его жизнь — на три часа времени пути от Москвы, — сказал он и, ударившись лбом об пол, поднялся на ноги.

Царь милостиво кивнул ему головою.

— Спасибо на доброй вести, князь! Жалуем тебя в свои окольниковые!

Салтыковы нервно дернулись на своих местах. Теряев снова стал на колени и стукнулся лбом в землю, сказав при этом:

— Жалуешь не по заслугам убогого раба своего!

— А теперь поди, — милостиво приказал государь, — прикажи звон поднять. Уж и велика радость моя! — прибавил Михаил.

Его молодое, несколько грустное лицо осветилось неподдельною радостью, и на карих глазах блеснули слезы.

— А мы, государь, твоей радостью рады, холопы твои! — поспешно ответили ему Салтыковы, рабски целуя его в плечо и почтительно беря под руки, чтобы вести. Теряев вышел на Красное крыльцо и махнул рукою. И тотчас загудели колокола Успенского собора, подхватили их звон колокола, доски и била других церквей, и воздух наполнился радостным гулом.

Тронулось шествие из Кремля с хоругвями, с крестами и иконами за реку Пресню. Народ двигался густыми волнами по улицам, напором своих боков ломая заборы, срывая ставни, давя и толкая друг друга. Все двигались к месту встречи царского отца с сыном, и скоро огромное поле было все засеяно людьми всякого звания, возраста и пола.

Капитан Эхе терся тут же в толпе, стараясь протискаться вперед. Пыхтя и сопя, он деятельно работал локтями, словно в разгар битвы, и со всех сторон на него сыпалась отборная брань. Но капитан смело двигался вперед и наконец остановился в переднем ряду, возле какого-то дьякона. Нос у последнего был сизый, обрюзглое лицо лоснилось от пота, синие губы отвисли, и он бормотал про себя:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий!

— Едут, едут! — гулом пронеслось по толпе.

И действительно в облаках пыли показалось торжественное шествие. Впереди шли вершники по два в ряд, за ними целый полк стрельцов, ездивших за высоким пленником, и наконец огромная карета, запряженная восемью лошадьми цугом, а сзади — царские встречные и опять стрельцы и дружины высланных навстречу князей и бояр.

Едва показалось это шествие, как в царском стане произошло замешательство. Заколебались в воздухе кресты, завеяли хоругви, и длинным рядом установилось духовенство по чину. Царь без шапки, с радостным, ликующим лицом пошел быстро, как юноша (ему было в то время двадцать три года), забыв о царском сане.

Шествие остановилось. Из колымаги вышел высокого роста человек в монашеской рясе и в клобуке и двинулся к твоему царственному сыну.

После тяжелой разлуки и тревожных волнений сын увидел своего отца, пред которым в робости привык всегда покорно смиряться. После гонений и плена отец увидел наконец своего сына, возмужавшего, окрепшего, волею народа вознесенного на необычайную высоту. И этот взволнованный отец, почитая высокий сан своего сына, упал на землю и распростерся пред ним. Сын с воплем изумления и радости упал тоже. «И оба лежали на земле, из очей, яко реки, радостные слезы проливая», — повествует летописец.

Все поле огласилось плачем, но это были радостные слезы. С просветленными лицами поднялись разом отец и сын и бросились в объятия друг друга. Народ обнажил головы и упал на колени.

Даже Эхе сдернул свою прилбицу и стал на колени.

— Да, да, — бормотал он, — они должны быть очень рады!

— Очень, очень, — передразнил его дьяк, — «и ангелы ликуют на небесах» вот; а ты, латинец, — «очень»! — И дьяк поднял вверх палец.

Шествия сомкнулись. Отец-инок с сыном-Царем, держась за руки, вошли в колымагу, и поезд тронулся к Кремлю. Народ побежал рядом, сдавливая участников торжества. Все уже знали, что на Красную площадь выкатили бочки вина, и все спешили на даровое пиршество.

Гул от звона и веселых кликов стоял в воздухе. Митрополит Филарет сидел, держа за руку своего сына, а другою благословляя народ, и слезы умиления катились по его суровому, изможденному лицу.

— Словно вновь рождаюсь! — говорил он, а его сын заливался слезами и целовал отцовскую руку.

У Кремля их снова встретило духовенство. Филарет вышел из колымаги и приложился к вынесенным иконам. В соборе его встретил находившийся в то время в Москве Феофан, патриарх иерусалимский. Отстояв благодарственный молебен, Филарет вошел наконец во дворец и час спустя остался с глазу на глаз со своим венчанным сыном. А в Москве шел пир. Выпущенные из тюрем колодники, пропойцы, ярыжки, скоморохи металась по улицам, наполняя их криками, песнями и бесчинствуя среди общего ликования.

Великий отец венчанного сына твердым шагом вошел в царские палаты и сказал сыну:

— В молельню!

Сын повел отца через приемные покои, через тронную палату, через свои горницы и ввел его в угловой покой, весь завешанный образами, пред которыми в драгоценных паникадилах тускло мигали неугасимые лампы. Дневной свет, врываясь через разноцветные стекла окон, побеждал таинственный сумрак углов, и свет лампадок тенями скользил по строгим лицам угодников.

В углу перед киотом стоял аналой, а пред ним был разостлан коврик.

Филарет вошел, осенил себя широким крестным знаменем и, став на колени, припал головою к полу. Сын опустился с ним рядом в своем великолепном царском уборе, и трогательную картину являли они собою в этот торжественный момент.

С почтением, близким к благоговению, смотрел сын на своего отца, а тот в темной рясе, с серебристыми волосами, со строгими чертами подвижнического лица подымал свой стан, благоговейно крестился и снова с умилением бился головою пред иконами. А сын не мог молиться, тронутый молитвами своего отца. Он смотрел и думал, как он мал и скуден пред своим великим отцом, так много послужившим родине, так пострадавшим за нее и от своих, и от недругов. Чувствовал он, что близок миг, когда отец призовет его к ответу, и собирался с думами, и трепетал, и боялся, забыв свой трон и венец, и видел себя только покорливым сыном.

А Филарет продолжал молиться; и слезы оросили его лицо, и благодарностью смягчились его суровые и энергичные черты.

О чем он молился?

Неисповедимыми путями ведет Господь жизнь человека, умаляя великого, возвеличивая малого. Может быть, пред умственным оком Филарета (Федора Никитича Романова) промелькнула вся его жизнь. С молодости судьба взыскала его, наградив умом, доблестью и красотою. В ранних годах, воя войска на окраины, он покрыл себя славою победителя и пленял всех обаянием своей личности. Было время царствования слабого Федора Ивановича и потом Бориса Годунова, когда он считался первым щеголем при дворе, и много женских сердец завидовали счастью Ксении Шестовой, ставшей его супругой. Но сильнее их завидовал своему боярину пугливый Борис Годунов, и наконец его зависть разразилась опалю. Силою постригли Федора Романова в монахи и заключили в Антониево-Сийскую пустынь, где

он промучился шесть лет, разлученный с женою (тоже постриженной) и дорогими детьми. Дмитрий Самозванец возвратил его, возвел в сан митрополита ростовского и ярославского и дал ему душевный покой. Но недолго наслаждался им Филарет Никитич. Наступило Смутное время. Тут он показал всю свою доблесть, величие духа своего. Он был послан для переговоров с поляками к польскому королю Сигизмунду, но его посольство превратилось в тяжкий плен, длившийся целых шесть лет.

И вот его сын Михаил венчан на царство, сам он снова на родине, и народ русский смотрит на него с упованием. Не его ли заслугами отличен и возвеличен Михаил — этот нежный, слабый умом юноша, подчиненный власти своей матери? Не на его ли плечи ляжет теперь крест, возложенный на слабую выю сына? И то смиренный он благодарил Господа за милость, посланную ему, и за величие сына, то полный честолюбивых мыслей просил у Господа благословения на трудный подвиг правления.

Наконец Филарет встал, освеженный молитвою, и нежно помог подняться сыну, царское одеяние которого по своей тяжести требовало немалой силы от носившего его.

— Благослови! — припал к его руке Михаил.

— Благословен будь! — ответил отец, налагая на него знамение, и помолчав сказал: — Господь Бог, правя волею народа, наложил на слабые плечи твои великое бремя. Поведай же мне, что делал, что думаешь делать, кого отличил и кого карал за это время!

Сын покорно опустил голову.

— Где государевы дела правишь? — спросил отец.

— Тут, батюшка!

Михаил ввел отца в соседний просторный покой, уставленный табуретами и креслами без спинок, посреди него стоял стол, покрытый сукном, на столе — чернильница с песочницей в виде ковчега, и подле них лежали грудой наваленные белоснежные лебединые перья. Подле чернильницы на цепочке был привешен серебряный свисток, заменявший в то время колокольчик, тут же лежали ухвертки и зубочистки, а посреди стола — длинными полосами нарезанная бумага. Исписанные полосы потом склеивались и свертывались в трубку, образуя свиток. Невдалеке, сбоку, лежала грифельная доска с грифелем в серебряной оправе. По стенам покоя стояло еще несколько

столов. На одних лежали грубо начерченные географические карты и астрономические таблицы с символическими изображениями созвездий, на других стояли часы, до которых Михаил Федорович был большой любитель.

Филарет строгим взглядом окинул покой, опустился в кресло и положил руки на его налокотники. Царь сел напротив, и некоторое мгновение длилось тяжкое молчание.

— Слышал я, — начал Филарет, — что в великом разорении царство твое.

— В великом! — прошептал царь Михаил.

— Что от врагов теснение великое, казны оскудение, людишкам глад и бедствия всякие.

Царь опустил голову, но потом поднял ее и заговорил:

— Как пришли послы от земли ко мне с матушкой на царство звать меня, мы тотчас отказались. Замирения нет, раздор везде, вражда и ковы^[82]. Со слезами просить стали. Что делать?

Филарет задумчиво покачал головой.

— Млад был, — сказал он, — скудоумен, кроме кельи матери, что видел?

Царь покраснел.

— Оттого и отнекивался, и трепетал венец приять. Но умолила и благословила матушка. — Он перевел дух и, отстегнув запонки у ворота своего кафтана, продолжал: — Как на Москву шли, поляки меня извести хотели. Крестьянин села Домнина Иван Сусанин, спасибо, злодеев с дороги сбил. На Москву пришли — разорение. Двора нет. Все огнем спалено, и народ в плаче и бедствии. Молился я Господу: «Вразуми!»; не было тебя, государь-батюшка, кому ввериться.

Филарет кивнул.

— И пошли бедствия на нас отовсюду. Поначалу Заруцкий с Маринкой смуту чинили. Князя Одоевского послал я. Избили их; Ивашку, нового самозванца, повесили, Маринка в Коломне померла^[83]. А тут шведы Псков разбивали. Князя Трубецкого послал я, да его войско рассеяли шведы, тогда же Новгород грабили. Ну, стал я замирения просить. А там Лисовский, лях, как волк, по матушке-Руси рыскал. Воеводу Пожарского его изымать послал я, да увертлив пес этот Лисовский. Разбойники на Волге собрались. Ляхи обижали, А тут и все разом: Сагайдачный с казаками приспел, ляхи с Владиславом;

под самую Москву о Покров подошли^[84]. Не помоги Пресвятая Богородица, взяли бы Москву и меня полонили бы. Помогла Заступница, и отбились мы; а теперь сделали договор, чтобы мир на четырнадцать лет и шесть месяцев.

— Знаю! — остановил его Филарет и, встав, начал тихо ходить по горнице, причем его лицо сурово нахмурилось.

— Казны не хватило, — продолжал царь, — спасибо, людишки помогли: весь скарб несли. Опять земские посошные брали, с каждого быка.

— Слышь, подле себя дрянных людишек держишь, — заговорил вдруг Филарет, — Михалка да Бориска Салтыковы что за люди? Скоморохи, приспешники! А Морозов в загоне, Пожарский в вотчине!...

Царь покраснел.

— Любы мне Салтыковы, — тихо ответил он, — скука берет подчас, а они такие веселые. Опять матушка им быть при мне приказала.

Лицо Филарета вдруг вспыхнуло, и он резко произнес:

— Не бабьего ума дело в государское дело вмешиваться. Ей грехи замаливать, а не царя учить!

Михаил затрепетал. Он уже чувствовал над собой могучую волю отца.

Филарет подошел к нему и заговорил:

— Господь избрал тебя священным сосудом милости своей и величия. Тяжкое бремя возложил на тебя народ твой, так будь царем. Дай мир уставшим воевать, хлеба голодным, будь покровом и защитой. Велик подвиг твой, так не скучать и от скуки скоморохов держать надо, а трудиться неустанно, пещись о благе народа своего. Окружить себя надо людьми ума государственного, а не бабьи наговоры слушать. Возвеличить имя свое надо и уготовить наследникам царство обильное, миром упокоенное!

Царь опустил на колени и проговорил потрясенный: -Батюшка, помоги!

Лицо Филарета просияло, он поднял сына и поцеловал его в лоб.

— Не оставлю тебя своим разумом! — сказал он. — Ну а теперь, пожалуй, и опять на народ надобно. Заждались, чай, тебя бояре, пиროвания ждут.

V ТВЕРДАЯ РУКА

Звонили в этот день и в женском Вознесенском монастыре, и каждый удар колокола острой болью отзывался в сердце царственной монахини Марфы.

Дочь дворянина Ивана Васильевича Шестова, Ксения Ивановна вышла замуж без особой любви, по теремному обычаю, за Федора Никитича Романова и мало видела с ним радости. Может быть, оба молодые, оба красивые, они и нашли бы счастье, если бы не их властные характеры, которые, сталкиваясь, были подобны кремню и огниву, высекая искры раздора. Мало было свободы у женщины того времени, семейный быт которого сложился по «Домострою», и гордая Ксения таила в своем сердце мятеж и бурю.

Грозная опала коварного Годунова разразилась и над нею, и стала она в пострижении Марфой. Но не смутила и не огорчила ее эта опала. Не жалко ей было светской жизни, которая мало чем отличалась для женщин от монастырской, не жалко было и разлуки с властным мужем, а окружавшие ее дети доставили ей великую радость, дав волю ее своевластию и удовлетворяя ее материнское честолюбие. В страхе перед ней и покорности взрастила она их.

И как возликовало честолюбивое сердце инокини Марфы, когда в Кострому пришли звать на царство ее кроткого сына Михаила. Знала она, что смиренный сын весь в ее воле, знала, что пока она будет жива, не выйдет он у нее из повиновения, и ее сердце наполнялось и ширилось от гордости, когда, долго отнекиваясь и видя печаль послов, она наконец благословила сына на царство и, как малого ребенка, повезла его на Москву

Там, в смирении, она оставила его у порога царских палат, а сама отъехала в Вознесенский монастырь, но и находясь в монашеской келье, она правила государством Российским.

Ни одной мысли не скрывал от нее юный царь, ни одного дела не начинал без ее благословения. Возила она его на богомолья и к Троице, и к Николаю на Угреше, окружила его обрядами, окурила его ладаном, зачитала молитвами — и сладок был Михаилу такой образ полумистической жизни, погружавшей его душу в смутный сон.

И в то же время Марфа окружила его своими клеветами из своей многочисленной родни, внушавшими ему мысли и поступки; во главе

их стояли грубые Салтыковы. Мирно в безграничной власти проживала Марфа, забыв о своем бывшем муже, как вдруг вспомнился он всем, взволновал своим именем государство и теперь вернулся в Москву, окруженный ореолом страдания, возвеличенный неподкупной верностью отечеству, любимый народом, чтимый даже иноземцами, умный, гордый, непреклонный, великий отец русского царя.

«Бим— бом! Бим-бом!» -весело гудели колокола, приветствуя царскую радость, а Марфе этот звон казался погребальным, потому что она ясно сознавала, что теперь уже не в силах удержать за собою власть над сыном. Только благословение и проклятие в ее власти, а государевы дела не вершить ей из кельи. И раньше она для видимости сторонилась их, действуя через клеветов, а теперь разве им, грубым и глупым, устоять пред великим умом Филарета и его помощниками?

Призрак власти исчез, как исчезает туман при солнце, и гордая Марфа никла своей головою, украшенной черным клобуком.

Мрачно и уныло было в ее покоях. Служащие при ней чувствовали ее обиду и тихо шептались, осторожно ходя по узким переходам и лесенкам. Монахини строго поджимали губы и молча и сокрушенно взглядывали друг на друга, словно говоря: «Конец нашей власти». А среди тишины звуки колоколов радостно и весело разливались по воздуху.

Не меньше Марфы сокрушалась и упала духом старица Евникия, мать Салтыковых, близкий друг царской матери. Знала она, что в своей заносчивости не видели предела ее сыновья, и чувствовала, что близится теперь час возмездия.

В полутемной горнице-келье, угол которой весь был завешан драгоценными образками, сосредоточенно думая свою думу, в кресле с высокою спинкою сидела Марфа, а вокруг нее суетливо сновала старица Евникия. Кипело ее сердце, и хотелось ей отвести свою душу, но мать-царица ранила строгое молчание, и Евникия боялась нарушить его. Наконец она не выдержала и заговорила:

— Великая теперь радость по Москве идет. Слышь, бочки вина выкатили, тюрьмы открыли, всех с правежа^[85] свели.

— Радость и есть, — сухо ответила Марфа, — сын мой своего отца встречает. Кто отцу не рад!

— Вестимо, вестимо! Про что же и я? Великая радость! — заторопилась согласиться старица, а сама подумала: «Не вижу я что ли,

чего отвод делать?». И досада пуще разгорелась в ее сердце. — Тому и все люди радуются, — продолжала она, — говорят, слышь, царь наш батюшка дал слово ему во всем своем послушании. Все бают, по-новому будет, Филарет Никитич все в руку властную возьмет.

— Кто говорит? — быстро спросила Марфа.

Старица Евникия только этого и ждала. Она приблизилась к креслу и заговорила:

— Бориска был у меня... прямо от палат царских прискакал. Слышь, Филарет Никитич всех в покоях оставил и царя вовнутрь увел. Часа с два сидел и все не уходил. Бориска прискакал, а Михалка ждать остался. Бают, Филарет Никитич словно допрос царю-батюшке чинил.

Марфа судорожно сжала налокотники кресла и сдвинула брови.

— Еще что говорят?

— А еще, что все по-иному будет, — уже слезливым голосом заголосила старица, — что всех верных слуг царских прочь отметут, а на место их у преосвященства уже ставленники заготовлены. Слышь, воевода князь Пожарский уже жалился, что его с головой моему Бориске выдали^[86]. Боярин Шеин, слышь, много силы заберет. Мало ли что бают!

— И пусть, — криво усмехаясь, произнесла Марфа, — только одно скажу: никому не отнять у матери ее детища! — и, встав, она твердой поступью прошла по горнице, снова отдаваясь своим мыслям.

В эту минуту в дверь горницы постучались.

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя! — произнес за дверью свежий молодой голос.

— Аминь! — ответила Марфа, остановившись на середине. В горницу вошла молодая черничка и, земно поклонившись, подошла к руке Марфы.

— С чем?

— Боярин Михаила Михайлович Салтыков просит явиться пред твои очи, мати! — с поклоном ответила черничка.

— Зови сюда!

Черничка скрылась, и скоро в горницу бережливой поступью вошел Михаил Салтыков. Он был молод, красив и строен, но близость к царю сделала его лицо наглым, движенья грубыми, голос властным. Одет он был в богатый кафтан, перехваченный поясом с драгоценными камнями, в его руке была высокая шапка, у пояса нож с дорогой

рукою. Однако в Вознесенском монастыре он оставлял свою наглость и старался казаться смиренным, отчего его лицо принимало холопское выражение.

Войдя, он истово помолился на образа, потом стал на колени и земно поклонился царственной матери.

— Господь с тобою! — сказала Марфа на его приветствие. — Встань!

Салтыков смиренно встал и поздоровался с матерью.

— Ну что, вести привез? — вкрадчиво спросила старица Евникия у сына.

— Вести, матушка, — ответил он, кладя руку на пояс, — слышь, к тебе, государыня, — он поклонился в пояс, — царь-батюшка с митрополитом пожалуют вскорости.

— Что же, от брашна^[87] встали? — с усмешкой спросила Марфа.

— Не встали еще, а порешили, как отдохнут, так и ехать. Скороходов и вершников от мест не пустили; коней не увели.

— А что же ты брашна не кончил?

— Поспею еще, а до тебя, государыня, прямо от стола утайкой ушел. Думал, скажу вести.

— Что же за вести принес ты?

Салтыков оправился.

— А то, государыня, что царь плакал много и всем нам приказал батюшку своего тоже государем величать. А потом стал он просить его принять над всей Русью патриарший сан, и все просить начали. Тут я и ушел.

Он замолчал.

— А кто рукоположит?

— А бают так, что как у нас на Москве гостит его святость Феофан, патриарх иерусалимский, то...

— Знаю, знаю! — перебила его Марфа. — Что же, так и надо: без патриарха не можно быть. Ну, иди на пир, не то еще встренутся. А на вестях спасибо!... Скоро, скоро забудут меня все тут, в одинокой келье!

— Только не мы, государыня! — ответил Салтыков, снова земно кланяясь, и, пятясь, скрылся за дверью.

На время все стихло.

— Утомилась я, — тихо сказала Марфа, — пойду-ка засну.

— Усни, государыня, — участливо ответила старица и взяв под руку Марфу, осторожно повела ее в соседнюю горницу.

Но Марфа не могла заснуть. Она собиралась с силами, чтобы встретить своего бывшего мужа, теперь почти ненавистного ей за то, что он посягал на ее сына, на ее власть.

Языки колокольные так не бились, как забилося ее сердце, когда она услышала колокольный звон, и старица Евникия, вбежав к ней не по-старчески, бодро, испуганно сказала:

— Едет, государыня, едет!

Марфа быстро встала. Ее лицо было бледно и решительно.

— Вели церковь открыть... с образами и крестом выйди. Да прикажи старицам собраться, всех собери, черниц на клир поставьте... Ну, скоро!

В бархатной колымаге, запряженной в восемь лошадей белой масти, с вершниками у каждой, со скороходами впереди, подъехали к монастырю отец с сыном и, остановившись не доезжая врат, вышли из нее и пошли в сопровождении подоспевших к ним бояр.

В этот же самый миг ворота распахнулись, и трое священников с крестом и иконами остановились посреди двора, осененные хоругвями.

Филарет опустил на колени и земно поклонился трижды; потом, подойдя к кресту, он снова опустил и земно поклонился, после чего приложился к кресту, в то же время благословляя склонившего голову священника. То же он сделал пред иконами, а следом за ним то же делал и царь Михаил, и все бояре.

Потом предшествуемый крестом Филарет вошел в собор, где его встретил настоятель с пением клира. Филарет горячо помолился пред алтарем, приложился к образам иконостаса и только тогда обернулся.

Бывшая в миру его жена, теперь инокиня Марфа, в сопровождении целой свиты стариц приблизилась к Филарету и смиренно поклонилась ему в ноги. Филарет тоже земно склонился пред матерью царя и, подойдя к ней, троекратно поцеловался с нею.

Инокиня Марфа пригласила его к себе в горницы, но, к ее изумлению, Филарет отклонил приглашение, сославшись на усталость.

— Будет еще время, мати, — сказал он, — а теперь прости!

Через полчаса Вознесенский монастырь погрузился в тишину и молчание.

Долго молилась инокиня Марфа в своей образнице. Еще больше старица Евникия ворочалась без сна на своей узкой постели.

Да и мало кому спалось в ту ночь на Москве. Каждый чувствовал, что великая сила ума и энергии стала у кормила плавления, и добрые радовались, а злые печалились и трепетали.

В одной из горниц Федора Ивановича Шереметева, ярко освещенной лампадами и свечами, за братиною меда у длинного стола сидели князь Теряев-Распояхин, сам Федор Иванович, Иван Никитич Романов (дядя царя, брат Филарета, истый вельможа того времени) и почетным гостем среди них — Михаил Борисович Шеин, прославленный воевода смоленский, вместе с Филаретом вернувшийся из польского плена. Это был человек лет сорока, с широким, добродушным, несколько грубым лицом, с серыми глазами, в которых виделись энергия и насмешливость.

— В Польше еще мы наслышались про бедования ваши, — сказал он. — Ну да велик Бог земли русской! Перемелется все, мука будет. А уж полячью этому! — И он мощно потряс кулаком в воздухе. — Отольются наши слезы, как окончится перемирие! Подождите, не долго им кичиться! Наступит время, когда они согнут пред нами свою выю.

— Истошала вконец матушка-Русь, — вздохнув, сказал Шереметев, — Бог уж с этой мезтью, отдохнуть впору!

— Все будет, все приложится, — уверенно сказал Иван Никитич. — А теперь допьем чаши, да и расходиться пора. Что не весел, Терентий Петрович?

Князь Теряев поднял голову.

— Тяжело мне, — сказал он, — слышь, скоморохи моего сына скрали.

— Ну? Отсюда?

— С вотчины. При матери в терему он был. Сама она теперь больна — того гляди, Богу душу отдаст.

— А ты здесь! Скачи к себе и там сына ищи!

Теряев кивнул.

— Вот только эти дни пробуду. На великом чине быть надо, а там Филарет Никитич хотел повидать меня. Слышь, отца моего он знал.

— Ну и горе твое, горе! — покачав головою, сказал Шеин. Князь закрыл глаза рукою и припал к столу. Гости разошлись.

Спустя два дня совершилось великое торжество рукоположения Филарета в патриархи российские. Следом за этим, как бы в вознаграждение за отнятого сына, патриарх Филарет возвел инокиню Марфу в сан игуменьи Вознесенского монастыря, а сам энергично взялся за управление царством. В такой деятельности была великая нужда. Много, много страданий вынесла тогда Россия. Земля была разорена и разграблена. Многие города были сожжены дотла, небоярские усадьбы сровнены с землею. Сама Москва, поруганная поляками, являла собою печальное пепелище. По разоренной земле, как обрывки грозowych туч, рыскали шайки разбойников, буйных казаков, жадные до наживы польские банды и дожигали недожженное, разоряли остатки, грабили нищету. В то же время атаман Заруцкий с Мариною, провозгласив нового самозванца (Ивашку, малолетнего сына Тушинского вора), грозил привести на Москву турок и татар; незамиренная Польша и враждующая Швеция громили Русь на окраинах.

В это— то страшное, тяжелое время взошел на престол шестнадцатилетний Михаил Феодорович и сразу был окружен мелкими, корыстными людьми, не могущими дать совет и из боязни за себя отстраняющими честных и доблестных людей.

Страшную картину представляла собою в то время Русь. Измена Заруцкого, разбойника Баловня, дерзких лисовчиков кровавыми пятнами испестрили страницы истории многострадальной Руси. Летописец, современный царствованию Михаила, бесхитростным языком описывает ужасы того времени:

«Во градах же московского государства паки начали быть от воровских людей грабежи и убийства всюду. Ибо во время междоусобия многие казаки воровские пакости деяли, и многие от них таковому делу научились и прекращать не хотели, но, собравшись, тако же творили. Некий предводитель, его же называли Баловнею, и с ним в собрании простые люди, казаки, боярские люди, воровству

научившиеся, ходили по московскому государству и запустению его предавали, воюя повсюду. Едины от них воевали на Романах, на Угличе, в Пошехонье, в Бежецком верху, на Беле-озере, в Кашине, в Каргополе, в Новгородском уезде, на Вологде, на Ваге и в прочих тамо прилегаемых местах. Другие же воевали украинные Северские города, всюду творя разбой и убийства и многое надругательство являя над прочими. Иных разрывали надвое, к древесам наклоненным привязывая, иных же огнем сожигали. Прочих же, порошу насыпав в уста, сожигали. Женского же полу людям груди прорезывали и верви вдевали, и вешали. Тако над мужским и женским полом различные муки творили. Иные коварства бумаге передать невозможно. И были повсюду стенания и плач»...

И не было никого, кто утешил бы это великое горе. Сам же царь Михаил, от природы добрый, совершенно безвольный, хотя и обладал умом, но не получил никакого воспитания и едва умел читать, вступивши на престол.

Будучи пленным в Варшаве, Филарет с сокрушением услышал весть об избрании своего сына на царский трон России. Но чуткий к правде Михаил разобрался бы в нуждах своего народа, если бы не окружавшие его.

Голландец Масса так писал о тогдашнем состоянии России:

«Царь их подобен солнцу, которого часть покрыта облаками, так что земля московская не может получить ни теплоты, ни света... Все приближенные царя — несведущие юноши; ловкие и деловые приказные — алчные волки; все без различия грабят и разоряют народ. Никто не доводит правды до царя; к царю нет доступа без больших издержек; прошение нельзя подать в приказ без огромных денег, и тогда еще неизвестно, чем кончится дело: будет ли оно задержано или пущено в ход».

И при всем этом земле русской надо было вновь отстраиваться, отбиваться от врагов внешних и внутренних, и на все это нужны были деньги, деньги и деньги.

Всех чинов люди шли к царю, говоря, что они проливали кровь за родину, а теперь терпят великую нужду, и просили сукон, хлеба, соли, оружия, денег, прибавляя без всякого зазора, что иначе им придется идти на дорогу с разбойным делом. Надо было снаряжать войска, нанимать иноземцев — и повсюду развозили призывные грамоты с

мольбою о деньгах, хлебе, сукне и всяком запасе. Давали, сколько возможно, но всего было мало. С неимущих посадских требовали по сто семидесяти пяти рублей посошных, а они умирали с голоду. Кроме того, местные воеводы немало думали и о своей пользе и, якобы в рвении своем к государству, не жалели крутых и жестоких мер к взысканию пошлин. Во всех городах торговые площади оглашались воплями людей, выведенных на правеж. Ежедневно в течение двух часов их на площади били палками по ногам и продолжали это дотоле, пока кто-либо, сжалившись, не выкупал их, платя недоимку. Впрочем, через четыре недели ежедневного истязания несостоятельного отпускали, но вряд ли бывали примеры такой исполинской выносливости.

В то же время монастыри один за другим выпрашивали себе льготы от повинностей, и благочестивая Марфа не только освобождала их, но нередко отписывала им даже вотчины.

Для усиления доходов задумали везде строить кабаки, и казна сама взялась курить вино. Но много ли мог пропить нищий, не имеющий и на хлеб?

Служилые люди и боярские дети, не получая жалованья, разбегались, оставляя свои полки. Землевладельцы и люди посадские бежали от воевод и прятались по лесам, как дикие звери.

Стрелецкие полки были полны своеволия, и надо удивляться, как смогла Русь отбиться от поляков во время вторичного их прихода с Сагайдачным. Все-таки общее горе соединило сердца всех, и люди в момент опасности, как муравьи, спланивались дружно и неразрывно.

Немало понадобилось времени великому патриарху московскому Филарету, чтобы разобраться в делах государевых, и его сердце не раз обливалось кровью и сжималось тоскою. Уходя в молельню, он плакал в отчаянии и просил у Бога помощи, а потом снова с писцами и думными дьяками принимался за тяжелый труд. Мысль, что обездоленная Русь видит в нем своего заступника, подкрепляла его. Задача сделать своего сына правителем мудрым удваивала его энергию, и после долгой работы он ехал в царские палаты и подолгу беседовал с сыном, подчинявшимся его гению.

Не было мелочи, до которой не доходил бы Филарет. Узнав, что его сын выдал голову Пожарского Борису Салтыкову, он распалился гневом и сказал сыну:

— На что посягнул! Кто твой Бориска, тобой за день возведенный в бояре, и кто князь Дмитрий Михайлович. Не его ли волею собраны дружины и изгнаны ляхи? Да и раньше он лил кровь свою под Москвою, а и того раньше был отличен от прочих. И он, муж дивный, шел с непокрытою головой по двору этого Бориски! Позор! Поношение!

Михаил потупил голову.

— Награди его! — сказал патриарх.

И Михаил вновь обласкал Пожарского, пожаловав ему в вечное и потомственное владение село Ильинское в Ростовском уезде и приселок Назорный с деревнями, село Вельяминово и пустошь Марфино в Московском уезде и в Суздальском — село Нижний Лацдек и посад Валуй. Но не вернул он этим сердца доблестного воеводы.

Всполошились в Вознесенском монастыре; мать Евникия заохала, чуя приближение опалы на своих детей, а братья Салтыковы потемнели, как тучи, и неделю не казали глаз ко двору. Запечалился и царь Михаил и ради рассеянья поехал молиться русским святыням.

А патриарх продолжал свое трудное дело, чиня суд и расправу. Он приблизил к себе Федора Ивановича Шереметева, князя Теряева-Распояхина, Шеина, своего брата Ивана, и они подолгу беседовали о делах государства.

— Казну, казну увеличить прежде всего, — твердил Шереметев.

— А с чего?

— Отдай в откупа сборы податей, кабаки отдай, соль обложи, все что можно. Слышь, проездное возьми, опять, за провоз.

— Тяжко! С кого брать? С неимущего?

— Это вконец разорит Русь-матушку, — с жаром заметил Теряев.

Филарет ласково взглянул на него.

— Ишь вспыхнул! Вот таким я отца твоего, Петра Дементьевича — царство ему небесное — знал!

Все встали и перекрестились.

— А я все свое, — повторил Шереметев, — соберем казну, отобьем, тогда всем полегчает и все с лихвой вернем. Филарет решительно встал.

— Ин быть по-твоему! — сказал он. — Начнем с налогов. Только допрежь всего хочу перепись учредить. Обмозгуй, Федор Иванович, до приезда царя.

И началось залечивание тяжелых ран России, нанесенных Смутным временем и анархией. Сильнодействующими были лекарства, приложенные к больному телу, и поначалу застонала Русь под властной рукою, но великие деяния великого деятеля принесли свои плоды и на время успокоили и осчастливили Русь.

Первая перепись в России всполошила все население. Едва приехал царь из своего паломничества, патриарх уговорил его на это дело, и писцы, дьяки и воеводы деятельно принялись за тяжелую работу, составляя платежные книги, закрепощая людей и, между прочим, кладя первое прочное основание крепостному праву. По этим записям крестьяне, приписанные к вотчине какого-либо боярина, уже оставались закрепленными за ним без права перехода к другому, в то же время боярин приобретал над своими крепостными неограниченную власть.

VI СПАСИТЕЛЬ

У храброго капитана рейтаров^[88] Эхе трещала голова в вечер торжественного дня въезда митрополита Филарета в Москву. Он и сам не понимал, как снова очутился в рапате Федьки Беспалова. Швед сидел на лавке, рядом с ним, положив голову на стол, дремал тощий дьяк с сизым носом, тут же стояла огромная ендова водки; с другой стороны Эхе пьяный ярыжка, видимо, пил за счет капитана, в рапате были те же размалеванные женщины, скомороший пляс, крик, песни и удушливый дым от трубок.

— И вовсе ты — не дьяк, сизый нос! — кричал ярыжка, видимо, чем-то задетый за живое. — У дьяка сума толстая, как брюхо, шапка бобровая, кафтан суконный, а ты как есть оборыш какой-то и шапку потерял!

— Яко пес брехающий! — подымая голову, ответил дьяк, на миг протрезвляясь. — Язык плете, сам не разбере. С полгода назад я тебя в яме сгноил бы, на правеже забил бы, ибо был при пушкарском приказе отписный дьяк. Вот тебе, волчья сыть!

— А звать тебя?

— А звать меня Онуфрием Дуковиновым!

— И врешь же ты, бесстыжие твои глаза! — с жаром вдруг вмешался в спор усатый стрелец. — Всех-то я наперечет сам знаю, и

дьяк-то там сыспекон веков — Федор Епанчин да Василий Голованов, ты же — просто отписчик аптекарского приказа, а за пьянство тебя Федор Иванович Шереметев палкою бил и со двора согнал.

— Ого-го!...— загоготал ярыжка. — Пей, немчин, на посрамление его. Ай да дьяк! Пьяница окаянный!

— Не пьяница я, брехун злоязычный, — заплетающимся языком ответил дьяк, — то есть не пьяница, иже упившись ляжет спать; то есть пьяница, иже упившись толчет, биет и сварится!^[89]

И с этими словами он опустил голову и захрапел.

— Водки! Табаку! Гуляй, душа! — раздались в это время буйные крики, и ватага полупьяных, оборванных людей вломилась в рапату.

Рыжий детина, что стоял у бочки за целовальника^[90], мигом скрылся.

Толпа бросилась на бочку, поставила ее «на попа», и огромный мужик, выскочив вперед, могучим ударом выбил у нее днище.

— Го-го-го! Ой, любо! Братики, и мне! — загоготал пьяный ярыжка, выскочив из-за стола.

В это время в горницу вбежал сам Федька Беспалый. Его лицо было бледно, волосенки растрепаны. Он поднял руки вверх и жалобно завопил:

— Смилуйтесь, люди добрые! Мало ли вам дарового от царя-батюшки выставлено! Почто меня, сиротинку безродного, животишек решаете!

— Угощай во здравие царей! -кричали пьяные голоса.

— Ой, бедная моя головушка!

— Ребята, вали в погреб! У него, собаки, и меды для бояр запасены!

Федька беспомощно замахал руками.

— Добрый воин, помоги! -обратился он к Эхе, — порешат они мое добро, ой, порешат!

— Я вам все покажу. За мной, ребятки! -закричал ярыжка.

— Ой, не слушайте его, оголтелого! — возопил Федька, — сам меда, сам бочки выкачу!

В горнице творилось нечто невообразимое. Размалеванные женщины, скоморохи, гулявшие гости, все присоединились к пьяной ватаге. Иные подле бочки торопились покончить с водкою, другие,

открыв рундучок, набивали табаком себе карманы, третьи, обнявшись с женщинами, стремились выбраться за буяном к хозяйскому погребу.

Эхе сразу протрезвился, и у него вдруг выросла и окрепла мысль, раньше едва мелькнувшая в его голове. Он выпрямился во весь свой богатырский рост, положил руку на нож, другую зажал пояс, оберегая деньги, и двинулся в толпу, скучившуюся у дверей. Два ловких поворота плечами — и капитан без труда очутился на дворе, по которому, направляясь к погребу, уже бежало несколько оборванцев.

Эхе быстро перешел двор, обогнул избу и вошел в сад, прямо направляясь к сараю, который подглядел прошлой ночью. При слабом свете летней ночи он скоро увидел его и нашел дверь, запертую висячим замком. Не долго думая, он вынул нож и быстро стал щепать им дерево вокруг пробоя. Скоро пробой уже еле держался. Эхе подложил нож и сильным тычком сорвал пробой, после чего распахнул дверь и вошел в сарай.

В сарае было темно. Смердный воздух после благоуханий сада закружил ему голову; под ногами зашуршала солома.

— Мальчик, мальчик! — позвал капитан в темноте, чувствуя, что какие-то живые существа возятся в этом смердном и темном помещении.

— Здесь, дяденька, — пискнул чей-то слабый голос, — ты кто будешь?

— Глупый! Иди сюда! Я тебя увести хочу, — ответил Эхе.

— Дяденька, и меня! Родименький, и меня! И меня, и меня! — слабо зазвенели детские голоса с разных концов, и Эхе в недоумении остановился, разведя руками.

— Постой, дяденька, я огня засвечу! — нашелся один из ребят и, к удивлению капитана, в углу сарая сперва слабо замерцал огонек, потом разожглась и загорелась лучина.

Эхе осторожно прошел в угол, взял лучину и вздрогнул. На клочках гнилой соломы сидел безногий мальчик. Его маленькое лицо было сморщено в кулачок, глазки слезились, и, протягивая лучину Эхе, он олицетворял собою тупую покорность.

— Ты кто же, мальчик? — спросил участливо Эхе.

— Я?... Я не знаю... — ответил ребенок. — Взяли меня давным-давно, украли и привели сюда. Тут мне ноги жгли, потом крутили их,

пока я не обезножил, и теперь меня Федька Беспалый нищим дает за четыре гривны. Сухоногим зовут меня. Меня он испортил.

— И меня! У меня глаз выжгли!

— А мне руку вывернули! — раздались опять детские голоса, и тени оборванных, полунагих детей окружили шведа и тянули к нему свои ручонки.

А из— за стен сарая со двора доносились крики, ругательства и пьяный смех.

У Эхе зашевелились волосы на голове.

— Бедные дети! — сказал он. — Мне нужен один мальчик, которого вчера сюда дали вам!

— Это Мишутку тебе! -хором воскликнули мальчишки. — Вон он в углу лежит. Огневица с ним. Мишутка, за тобой добрый дядя пришел!

Но из угла никто не отозвался на этот оклик.

Эхе подошел с лучиною к углу и увидел на соломе раскинувшегося в жару того мальчика, которого вчера вечером привел скоморох к Федьке Беспалому. Он быстро нагнулся и поднял его на свои сильные руки.

Он собирался уже уходить, но в этот момент новая мысль мелькнула у него.

— Слушай! — сказал он всем. — Я не могу взять вас всех с собой, но вы одни и дверь открыта. Не бегите через двор, там пьяные, а бегите через забор и вон! Ведь лучше, чем здесь!

Безногий мальчик застонал от скорби и ужаса, но Эхе тотчас услышал бойкий голос другого мальчика:

— Не бойся, Сухоног, я возьму тебя на плечи и выволоку. Будем жить вместе... Лазаря мы петь горазды.

Маленькие тени друг за другом стали выходить из дверей и крались через сад. Здоровый мальчуган лет тринадцати пронес на плечах Сухонога и скрылся. Эхе дождался, пока не ушли все до последнего, и, бережно взяв больного мальчика на руку, с ножом в другой двинулся из сада. Он не знал другой дороги, как через двор, и решил идти по ней.

В это время пьяные крики перешли в дикий рев. Эхе увидел огоньки, зайцем пробежавшие по мховым стенам избы, и вдруг зарево осветило сад, двор и ватагу пьяных людей, с диким ревом глядевших

на Федьку Беспалого, который метался, как безумный, то подбегая к горящему зданию, то отскакивая от него.

Эхе, не привлекая к себе внимания, благополучно перешел двор и быстрым шагом направился по знакомой уже дороге через Рыбный рынок и овощные ряды. Пожар далеко освещал все окрестности. С Москвы-реки неслись вопли погорельцев, толпы внезапно отрезвившихся людей бежали на пожар, а Эхе торопился уйти от него дальше, бережно неся на плече ребенка.

Выбирая более трезвых людей, Эхе спрашивал дорогу в Немецкую слободу и скоро вошел в нее. Там были те же мховые избушки, но они стояли ровными рядами, образуя прямую улицу, на которой во все стороны шли узенькие проулочки, и на Эхе сразу пахнуло чем-то родственным.

Он смело постучался в ставень первого оконца.

Через несколько минут калитка скрипнула, и из нее осторожно высунулась стриженная голова. Эхе быстро заговорил по-шведски, потом ломаным немецким языком, объясняя, кто он и зачем сюда пришел.

— Иди, иди ко мне! — радушно ответил ему немец, впуская его в калитку. — Я — здешний цирюльник Эдуард Штрассе, с сестрой живу! Милости просим; горенка найдется. Сюда, сюда!

Он запер калитку тяжелым засовом и ввел гостя в чистую горенку.

Эхе тотчас положил ребенка на лавку, подсунув ему под голову свою епанчу, и огляделся.

В горенке стояли незатейливый шкаф и поставец подле него с несколькими кубками и чарками, у стены был стол, покрытый чистой скатертью, и несколько табуреток; над ним на полке стояли банки с пиявками, ящик — вероятно, с ланцетами — и несколько склянок с разноцветными жидкостями; по другой стене тянулась лавка, и над нею висела одинокая скрипка, а в углу — в ногах больного мальчика — стоял собранный скелет. Эхе тяжело опустился на стул, в то время как цирюльник наклонился над мальчиком.

— Благодарю тебя! Я никого тут не знаю в целом городе и пропал бы, если бы не ты.

— Ну, ну! Каждый из нас дал бы тебе приют. Мы все знаем, что такое одиночество среди этих дикарей, и потому живем очень дружно! Сегодня мы заперлись так рано потому, что русских боялись. Они пьют

сегодня, а как напьются, то бывают очень буйны и часто к нам пристают!

— Что с ним? — тревожно спросил Эхе.

— Так, маленькая горячка, лихорадка, по-ихнему, — цирюльник усмехнулся, — огневица! Они, — он обратил к Эхе свое добродушное лицо с лукавыми глазами, — эту болезнь лечат, спрыскивая водой с уголька, ну а мы питье даем, а потом натираем, чтобы испарину вызвать. Вот Каролина это все сделает!

Он встал и вышел, а через минуту вернулся с высокой белокурой девушкой. Она, вспыхнув под пристальным взглядом Эхе, сделала ему книксен, а потом быстро повернулась к мальчику и нежно поправила его сбившиеся волосы:

— Откуда у вас такой птенчик? — спросила она.

Эхе рассказал все, что знал о мальчике.

На глазах Каролины выступили слезы.

— Бедный, бедный мальчик! Я буду ходить за ним, как за своим сыном.

— Смотри, не загадывай! — усмехнулся цирюльник.

— Глупый! — вспыхнула Каролина и, взяв мальчика на руки, унесла его из горницы.

— Сделай все, как я сказал, — крикнул ей вслед ее брат, а потом обернулся к Эхе и сказал ему: — Большое беспокойство вы на себя взяли с мальчиком. Несомненно, он краденый... может быть, и знатного рода, и беда, если вас поймают с ним. У русских, что вы им ни говорите, правду только в застенке узнают. Сколько там наших погибло, сами на себя наговаривая.

Эхе нахмурился.

— Что я мог сделать? — ответил он. — А от судьбы не уйдешь!

— Так, — сказал цирюльник и спохватился: — Ох, мой Бог, что же вы не разденетесь! Мы вас здесь положим. Постель сделаем. Пожалуйста! В доспехах тяжело.

Эхе не заставил себя просить и, отстегнув пояс, быстро снял латы и тяжелые сапоги и остался босиком в синих рейтузах и кафтане.

Штрассе встал, снял с поставца две чарки, вынул из шкафчика плетеную бутылку, кусок рыбы, хлеб, сыр и, поставив на стол, сказал:

— Милости просим... закусите, а потом выпьем вместе и вы мне расскажете про себя.

И тут Эхе не заставил себя просить и, работая челюстями, в то же время рассказывал свою несложную биографию. С пятнадцатилетнего возраста он все на войне. Был он во Франции, потом — в Италии, потом ушел оттуда, поступил к Понтусу Делагарди и с ним не расставался. Сперва со Скопиным они поляков били и воров; потом к полякам перешли и здесь, в Москве, под началом Гонсевского сидели, потом опять поляков били, а потом уже от себя взяли Новгород. Тут Делагарди ушел, Горн остался. Вышло с русскими замирение. Эхе ушел в Стокгольм, а потом соскучился без дела. Генерал Делагарди воевать уже не хочет, а здесь, слышь, всегда хороший солдат нужен, ну, он и пришел наняться.

— Есть ведь здесь иноземные генералы? — спросил он.

— Есть! Как же! — ответил Штрассе. — Вот хотя бы наш полковник Лесли! И воины нужны. У них чуть ни год — то война.

— Лесли! — воскликнул Эхе, и его глаза оживились. — Да я же знаю его и он меня! Вместе с ним под Клушином были!

— Ну вот и хорошо! Завтра нельзя — верно, у них все еще пирование будет, а через день я хоть сам тебя к Лесли провожу, — сказал Штрассе и, вставая, прибавил: — Ну а теперь и спать можно!

— Благодарю тебя! — ответил Эхе.

Штрассе ушел, вернулся и, устроив постель для Эхе, ушел окончательно. Эхе разделся, вытянулся на лавке и заснул богатырским сном.

Спустя два дня Эхе виделся с Лесли, и тот, приняв его на службу, послал в Рязань для обучения стрельцов строю.

Миша уже выздоровел, Эхе хотел взять его с собою, но Каролина, краснея, стала просить оставить мальчика у них на время. Эхе согласился и, купив коня, тронулся в путь.

Дорогою он думал о цирюльнике и его сестре.

«Гм... — решил он в конце своих дум, — она оставила у себя ребенка, чтобы меня видеть! — и при этой мысли лицо его осветилось счастливой улыбкой. Потом он стал думать о Мише. — Непременно надо найти его родителей!» — решил он, но в то же время вспомнил предостережение Штрассе, и страх проник в его душу — теперь не за себя уже, а за доброго цирюльника и его красивую сестру.

VII СЫСК

Если князь Теряев-Распояхин, отчасти движимый честолюбием, отчасти в силу своего темперамента, не вложил своего меча в ножны и даже приблизился к царскому трону, то — в совершенную противоположность ему — его друг, боярин Терехов-Багреев, совершенно отрешился от мирских дел и почестей и, осев в своем доме, превратился в истового семьянина, степенного боярина, типичного представителя того времени, богатого человека не у дел. Поселился он со своею любимою женой в хоромах покойного тестя, князя Огнева-Сабурова, еще более увеличив их и украсив. Он окружил себя многочисленной челядью, над которой экономом поставил старого Савелия, а над бабьим царством неизменную Маремьяниху, бывшую кормилицу Ольги Степановны, его жены. Много натерпелся Терехов с женою, тогда его невестою, во время смут и разорения, и теперь они словно отдыхали душою. На радость их, на счастье, росла у них четырехлетняя дочь Олюшка, оглашая своим лепетом терем и девичьи. Обручили они ее по сговору с сыном князя Теряева-Распояхина, и не было у них ни дум, ни забот, кроме тихого наслаждения жизнью.

Даже от почетной должности губного старосты отказался боярин:

— Кланяюсь низко за высокую честь, господа честные, а только не по мне сия тягота великая, — сказал он просившим его принять на себя эту судебную должность. — Живу я со всяким в мире и добром согласии, а тогда и ссора, и зависть, и корысть. Простите, Христа ради! — и, угостив выборных и наделив по обычаю подарками, он отпустил их с честью, проводил без шапки до самых ворот.

Тихо и мирно протекала жизнь Терехова. Рано поутру поднявшись с постели, собирал он всю свою челядь и со своею женою шел в церковь, стоявшую на его дворе, там все слушали заутреню, которую пели священник Микола и дьячок Пучеглазов. Потом каждому боярин наказывал работу на день и шел с Савелием по кладовым и амбарам, по клетям да подклетям, блюдя и пересчитывая добро. А тем временем жена его с Маремьянихой задавала сенным девушкам работу; после чего и сама Ольга Степановна садилась за пяльцы.

Два часа спустя снова шли все в домовую церковь и слушали обедню, после чего до обеденной поры боярин занимался своими делами. Говорил ему Савелий про домашние дела и делишки, и Терехов чинил над своими холопами и суд, и расправу; приезжали из

его вотчины: из-под Москвы, из-под Калуги люди со своими челобитьями, заказами, когда с данью или подарком, и боярин слушал их, кого награждал, кого за волосы трепал и наконец в полдень шел обедать со своею женою, если гостя не было. Обедал он плотно, сытно, запивая медом и винами жирные блюда, хотя в постные дни берегся от всякой снеди и чтил каждый пост неукоснительно. После обеда он ложился на пуховые перины в своей горенке и спал до вечерни.

В то время как его храп оглашал покои от низа доверху спала и его супруга в своем тереме, спала и вся челядь по своим клетям — все, кроме сторожа у ворот да мамушек, что доглядывали за боярскою дочкою.

Просыпался Терехов и шел к вечерне; отстояв ее, он уже весь отдавался семейной жизни, принимал гостей, играл в тавлеи^[91], в шахматы, слушал захожего странника, а иногда шел в терем к любимой жене и там прохлаждался.

Каждый год в декабре месяце в память дня, когда он нашел свою Ольгу, Терехов устраивал великое пирование. Выходила тогда Ольга Степановна с заздравным кубком для каждого гостя и что ни раз, то в новом сарафане, и диву давались гости, глядя на богатство Тереховых.

Наверху в терему шло женское пирование, внизу угощал всех боярин, и никто из его пира не вставал сам: всех потом люди по домам развозили, и, очнувшись, каждый находил у себя подарок; кому плат, кому соболя, кому ручник вышитый, кому шапка, а воеводе да губному старосте, да стрелецкому голове дорогие кубки или ковшики.

Близким другом у боярина был Семен Андреевич Андреев, деливший с ним труды в Смутное время, а его жена, Пелагея Федоровна, почти не уходила из терема боярыни.

С такой покойной жизни раздобрел боярин Петр Васильевич; как оденется он, бывало, в парчовый кафтан с воротником выше головы, а поверх его накинёт шубу соболью, наденет шапку бобровую в аршин вышины да пойдет переваливаясь, на высокую трость опираясь, по рязанским улицам, — всякий перед ним сторонится, шапку ломает, низкий поклон отдает. Раздобрела и Ольга Степановна, и смутным сном ей уже казались волнения и страхи, когда она спасалась с Пашкою от рук Ходкевича.

Не так, как Терехов, устроил свою жизнь Андреев. Счастлив и он был, но на иной лад. Любя ратное дело, он скоро был выбран

стрелецким головою и не покладая рук работал, то выходя на ловлю разбойников, то прикрепляя к земле тягловых людей, то помогая воеводе собирать подати да недоимки.

В вечер, с которого ведется этот рассказ, Андреев после вечерни, придя в гости к Терехову-Багрееву, застал у него еще двух гостей, что было делом довольно редкостным. Сидели у него сам воевода рязанский, боярин Семен Антонович Шолохов, да губный староста, дворянин Иван Андреевич Сипунов. Шолохов был статен ростом и красив лицом. Черная короткая борода округляла его полное лицо, и он казался добрейшим человеком; но в действительности купцы да посадские люди знали, как обманчив его вид, когда он без торга набирал себе товара или на правеже выбивал по третьему разу один и тот же посошный налог. Не было тогда зверя лютее воеводы. Губный староста был, напротив, человеком мягкого, покладистого характера, ума острого, но безвольного, и только неподкупная честность выделяла его из среды служилых людей. Они чинно сидели за столом и вели беседу, запивая домашним малиновым медом, когда вошел Андреев.

— А, друже! — обрадовался ему Терехов. — Садись, гостем будешь!

Андреев перекрестился на образ, чинно поздоровался с каждым, опрашивая его о здоровье, и, наконец, сев и отхлебнув меду, сказал Терехову:

— А я к тебе с радостною вестью.

— Ну, ну! -сказал Терехов.

— Давал я на Москву отписку, что хорошо бы нас немецкому строю обучить, как то на Москве делают, и почитай год прошел без всякого ответа...

— Надо было в пушкарский приказ посул послать,-вставил воевода.

— Ин не надо. Я через князя Теряева посылал-то. Прямо в царевы руки. Ну а теперь, глядь, сегодня ко мне приехал немчин. Таково смешно по-нашему лопочет. Слышь, по приказу цареву его Ласлей ко мне прислал. Теперь учить будет!

— Ереси еще наведет. Слышь, немчины эти постов не уважают, икон не чтят, — сказал губный староста.

— Тьфу! Еретики! — отплюнулся Терехов-Багреев, а потом сказал: — Так! И у меня тоже новость есть. Только Радостная. Собственно к тому я вас, гости честные, просил, — поклонился он воеводе и старосте. Те ответили ему поклоном тоже.

— Что же за новость, боярин? — спросил староста.

— А уж не знаю и сказать как, — начал Терехов

— Слышь, получил я сегодня грамотку от друга своего, князя Терентия Петровича Теряева-Распояхина. И пишет он в ней печалится, что его сына скоморохи скрали.

Воевода вдруг поперхнулся медом и закашлялся, отчего его лицо налилось кровью.

— А в том и мне горе, и супруге моей, — печально продолжал Теряев, — потому, как ведомо вам, за его сына этого самого моя Олюшка просватана.

Воевода, видимо, оправился и смело заговорил:

— А тебе что с того печалиться, коли жених пропал? Для твоей дочушки-то найдутся. Не в монастырь же ей.

Терехов тихо покачал головою.

— Неладно говоришь, боярин, прости на слове! Что она, порченная у меня, что ли? Последнее дело от слова отректись! А еще вот пишет князь, — заговорил он снова, — что сыск делает, так просит и меня пособить. Коли встренется скоморох, попытать его малость, не знает ли чего. Так я на этом вам низко кланяюсь! — Терехов встал из-за стола и, кланяясь так, что рукою коснулся пола, сказал: — Не оставь уж меня, сиротинушку, боярин Семен Антонович! Не оставь и ты меня, убогого, Иван Андреевич!

— Что ты, что ты, боярин? — в один голос вскрикнули воевода и староста, а староста прибавил: — Слышь, к нам тут из Москвы скоморохи пришли. Так я завтра же их в застенки возьму! Хочешь, приди сам допрос чинить!...

Воевода вернулся в свой дом и, прежде чем лечь спать, велел привести к себе своего дьяка, Егорку Балагурова.

Егорка, а по городу — особливо промеж мещан и посадских — Егор Егорович, являлся типичным дьяком того времени. Он был толстый и жирный, с отвислым животом, пьяница горький, до наживы жадный, со старшими раболепен, с младшими лют. В переводе на современное дьяк был вроде правителя дел канцелярии губернатора,

но с несравненно большими полномочиями, чем ныне сопряжено с этой должностью, так как соединял в себе власть и исполнительную и за безграмотностью воеводы был не ограничен.

Войдя в горницу и низко поклонившись, дьяк с трепетом увидел, что воевода хмурится и не в духе.

— Слышь, — заговорил воевода, — через кого ты отписку получил от Федьки Беспалого?

Дьяк откашлялся.

— Так от смерда, скоморошника!

— Вот то-то! А завтра этого скомороха Ивашка Сипунов на дыбу потянет. Слышь, князь Теряев-то нашему-то боярину Терехову об умыкании сына своего отписал, а он нам челом бил. Вот тут и смекни.

— И смекать, боярин, нечего. Пойду на кружало^[92] — чай, скоморохи еще там бражничают — и скажу им. Так они так сиганут отсюда!...

— Дело! Так поспешай, Егорка!

— Твой раб, боярин! — ответил дьяк, низко кланяясь, и, пятясь, исчез за дверью.

Воевода облегченно вздохнул и стал укладываться на покой.

Увы, опоздал дьяк Егор Егорович. Когда он запыхавшись вошел в кружало, там все гости были еще в великом смущении.

— Слышь, — пыхтя заговорил дьяк, — скоморохи, что из Москвы, не здесь ли?

Целовальник низко поклонился ему и ответил:

— Были здесь, господин честной, только сейчас их от нас забрали.

— Кто, куда? — дьяк выпучил глаза и упал на скамейку.

— Надо быть, по какому-либо татебному делу, — ответил целовальник. — Приходили стрельцы и отвели скоморохов по приказу губного старосты. В яму^[93], полагать надо!

— В яму, в яму! — передразнил его дьяк. — Что глаза-то тарацишь? Не видишь, что испить хочу! Борода тоже!

Целовальник со всех ног бросился исполнять приказ дьяка и поставил пред ним целую ендову меда; а гости тем временем, боясь нового соседства, друг за другом оставили кружало.

— В яму! — недовольно ворчал дьяк. — Нет, чтобы спрятать их, голова с мозгами! А теперь пред воеводою я в ответе. У-у, песьи дети!

Так и норовят дьяка своего подвести. Ну, да ты у меня погоди!... Изловлю я тебя с табашным зельем, отрежу твой длинный нос!

Целовальник в страхе даже ухватился за свой нос и стал торопливо кланяться дьяку.

— За что гнев твой? — заголосил он жалобно. — Сам знаешь, что я и жаворонки мои, все в твоей руке. Я ли скуп на посулы тебе, а ты ни за что грозишь мне!

— Погоди вот ужо! — бурлил и грозился дьяк, потягивая мед и в то же время думая, как бы ему пред воеводою обелиться.

Между тем задержать скоморохов поспешил Андреев, радуя о своих друзьях. Едва он услышал от губного старосты про скоморохов из Москвы, как тотчас послал в кружало стрельцов. Это были трое из тех скоморохов, что посетили двор князя Теряева, только ни один из них не знал про покражу княжеского сына. Их привели в разбойный приказ и всех троих заперли в клеть до утра.

Они сели на грязный вонючий пол и сперва стали догадываться; за что их взяли, потом ругаться, а там, чуя беду неминуемую, горько заплакали.

Не по— обычному повел свой день Терехов. После заутрени, наскоро отдав приказания Савелию, он оделся в темный будний кафтан, и, важно опираясь на палку, пошел в разбойный приказ. Там уже ждал его губный староста.

— Здраву быть! — кланяясь, сказал Терехов.

— И тебе, боярин! — ответил Сипунов, и потом они подали друг другу руки.

— Ну а где же твои скоморошники? — спросил Терехов.

— А пройдем ужо в застенок, боярин, — ответил Сипунов, — там их и допрашивать станем!

— Ин быть по-твоему! — согласился Терехов.

В это время в избу вошел воеводский дьяк Егорка Балагуров и, помолясь иконам, низко поклонился обоим.

— Прости, милостивец, — униженно заговорил он, — поелику боярин, воевода наш, со вчерашнего в опохмелке, так заказал мне, непотребному рабу Егорке, на сыске стоять.

— Что ж, — согласился Сипунов, — в своем праве. Пойдем, боярин!

Они вышли из избы на двор, обнесенный высоким частоколом с крепкими воротами. Против ворот, снова за изгородью, тянулись ключи (ямы), где сидели уголовные преступники вместе с несчастными неплательщиками по двое, по трое и десятками, смотря по помещению.

Впереди, против избы, стоял мрачный сарай с широкою, как ворота, дверью. Это и был застенок. На земле пред дверью стояла окровавленная плаха, валялись колодки и обрывки ржавых цепей.

Сипунов открыл дверь; та заскрипела на петлях, и они очутились в страшном помещении. Полутемный сарай с поперечными балками вместо настиланного потолка и с земляным полом как бы делился на две части. Налево стоял длинный стол с письменными принадлежностями. Позади него тянулась скамья, по бокам стояли табуретки; недалеко от стола стоял аналой с крестом на нем; направо же валялись доски, стоял небольшой помост, над которым на блоке спускалась веревка с толстым крюком на конце; в углу, треща горевшими углями, дымилась жаровня, а в полутьме виднелись страшные орудия пыток — палки, веревки, доски с набитыми гвоздями, плети, кнуты и острые клещи с длинными ручками.

Двое заплечных мастеров (палачей) встретили пришедших низкими поклонами.

— Приведите-ка, молодцы, скоморохов, которых вчера забрали. Сыск малый сделаем, — распорядился Сипунов и стал залезать на скамью позади стола. — Садись, боярин, пока что, — пригласил он Терехова.

Последний с трудом уселся на конец скамьи.

Дьяк, покашливая, сел на табурет у края стола, приготовил бумагу и очинил перо.

В это время до них донеслось бряцание цепей, заскрипела дверь, и в сарай друг за другом вошли со скованными руками три скомороха. Они вошли, упали на колени и в голос завыли:

— Смилуйтесь, бояре! Во имя Христа, ни в чем не повинны. Ни татьбою, ни убивством не занимались. Отпустите, Бога ради, животишки наши бедны и наги; с того, что дадут нам люди добрые, мы только и живы!

— Ну, вы! — закричал на них дьяк. — Волчья сыть, молчать! Правьте лучше ответы боярину! — и при этом хитро подмигнул

ближайшему к нему скомороху.

Тот, маленький, подслеповатый, словно сразу понял знак дьяка и смиренно замолчал.

— Сказывайте имена ваши, — сказал Сипунов, — пиши, Егорий Егорьевич, если взялся за дело!

— Ну, вы! — окрикнул дьяк и ткнул пальцем на первого -Тебя как?

— Иван, а прозвищем Наливайко!

— А тебя?

Красивый, лет девятнадцати, парень, тряхнув головой, бойко ответил:

— Антоша Звонкие Гусли. Гусляр.

— Тебя?

Третий парень, лет тридцати, стукнул в землю лбом и жалобно сказал:

— Емелька Беспутный!

— Чем занимаетесь и откуда пришли? — спросил Сипунов

— Чем занимаетесь и откуда пришли? — повторил дьяк вопрос и при этом снова подмигнул.

Иван Наливайко ответил за всех:

— Скоморошьям делом, милостивец, скоморошьям да песенным.

А пришли прямо из-под Тулы, на Москву идем, милостивец!

Дьяк довольно крикнул, и по его губам скользнула усмешка.

Сипунов взглянул на Терехова, а тот лишь печально вздохнул и потряс бородою:

— Чего ж их и спрашивать? Вестимо ничего и не ведают! — тихо сказал он.

— Оставить сыск? — спросил Сипунов. Терехов кивнул.

Добродушный Сипунов словно ожил, ему было тяжело пытаться людей, и он, приняв грозный вид, сказал:

— Ну на этот раз идите на все четыре стороны! Молодцы, сбейте клепы! А наперед чтобы в нашем городе не чинили буянств!... Слышь, вчера до полуночи бражничали!...

Скоморохи раз по десять ударили лбом в землю и вскочили на ноги. Молодцы стали сбивать наручни. Сипунов и Терехов вышли.

— Слышь, — обратился последний к дьяку, — не откажись сегодня ко мне зайти. Хочу другу цидулу отписать, а от этого дела

отвык за время. Попишка-то мой старый, еле видит.

— Рад, боярин, за тебя живот положить, — кланяясь ответил дьяк и веселый пошел к воеводе, торопясь успокоить его.

Угрюмый вернулся домой Терехов и тотчас позвал к себе жену. Та сошла к нему встревоженная.

— Или что стряслось, Петр Васильевич, батюшка? — спросила она, едва переводя дух. — И ушел ты сегодня не вовремя, а теперь меня позвал?

— Садись, жена, — ответил боярин, — действительно стряслось. Помнишь, мы за княжьего сынка свою Олюшку прочили? По рукам ударили?

— Помню, батюшка! Как не помнить! Еще на Москве то было! А что? Или поссорились вы?

— Пустяки говоришь! Дружбы нашей мечом не рассечь! А дело в том, что княжьего сына скоморохи с вотчины скрали!

— Ахти мне! -воскликнула боярыня и даже побледнела в лице. — Петр Васильевич, что ж теперь нам-то делать?

Терехов нахмурился.

— Что делать, про то я знаю. А сказал я тебе на тот случай, чтобы про эту помолвку с бабами меньше языком трепала. А теперь иди!

Не успела выйти боярыня, как в горницу спешно вошел Андреев. Едва поздоровавшись с Тереховым, он сказал:

— Зачем ты скоморохов отпустил?

— Да ведь они из-под Тулы.

— Брешут!... Сейчас доподлинно узнал, что из Москвы. Разговор такой слышал, что дьяк Егор Егорович их вызволил, а для чего -не пойму! Ну, да вот еще что: кажись, и княжий сын объявился.

— Шутишь? -откинувшись в изумлении, воскликнул Терехов.

— Что за шутки! Ты слушай. Немец-то мой, которого из Москвы для стрельцов прислали, мне диковинное поведал. Сегодня это поучил он нас-то всех, строй показывал, а потом я его к себе завел. Поместил-то я его у себя пока что -на дворе-то клеть есть, там он и живет...

— Ну!

— Вот он и стал про себя говорить. А потом и говорит... Есть на Москве корчма -ее какой-то Федька Беспалый держит...

— Федька Беспалый? -перебил Терехов, — да ведь это — дворовый покойного князя Огренева. Вор окаянный! Савелий

сказывал...

— Да постой, дай кончу! -остановил его Андреев. — Так, слышь, к этому Федьке скоморохи мальчика привели и продали. Мой-то немец видел, а на другую ночь скрал его. Говорит, Федька-то этот ребят для нищих держал.

— Ну?

— Ну, немец-то скрал его да к другим немцам свел. Мальчик теперь у них там, на Кукуе.

— Обасурманили мальчика?

— Зачем? Я к тому, что, может, это — княжий сын и есть!

— И то! Ах ты, Господи! Слышь, Семен Андреевич, расспроси ты своего немчина, как да что, и пошлем к князю нарочного.

— Беспременно! Ради этого я и прибежал к тебе. А только одно: зачем скоморохов ты отпустил и дьяк им мирволил? Нет, вот что скажи мне!

— Да откуда ты знаешь это?

— Откуда? Мой мальчишка видел, как скоморохи уходили. Сели они у нас под садом, один и бает: «Спасибо дьяку, мигнул. Лягнули бы что о Москве, повесили бы на дыбе»; другой ответил: «Надо полагать, Злоба какую ни на есть важную отписку посылал с нами». Ишь, куда завернул. Подумать надо, боярин! Может, здесь и измена есть какая. Лях не дремлет!

Терехов задумался.

— А что! Пожалуй, кто-либо и мутит. Ну а как же с князем-то? А? — вспомнил он.

— Послать нарочного непременно надо. Хочешь, мы этого немчина снарядим и без отписки всякой.

— А и ладно задумал, Сеня! Накажи ему, да и посылай. Только послание напишем, потому князь горячий и неравно немчина с первого слова на дыбу потянет!

— И то, — согласился Андреев.

— А дьяка этого я велю в шею со двора. Неравно правда что недоброе, так беды не оберешься.

— Так пойду я, снаряжу немчина!

— Иди, иди, Сеня! Бог нам его привел, — и Терехов набожно перекрестился. — Ежели сразу на след напали, прямо чудо Божие!

— Воистину! — ответил Андреев. — Ну я пойду, а ты готовь грамотку.

— Ладно, Сеня!

Андреев ушел, а Терехов пришел в свою дальнюю горницу, достал перо и бумагу и, кряхтя, стал составлять послание своему другу.

В тот же день вечером капитан Эхе, снабженный и казной, и грамотой, ехал из Рязани на своем сильном коне в коломенскую вотчину Теряева, думая не столько о княжьем сыне, сколько о свидании с Каролиною, сестрой цирюльника.

VIII РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ

С того самого дня, как пропал маленький князь, усадьба Теряева-Распояхина оглашалась стоном и плачем. С трудом поправилась больная княгиня Анна Ивановна; встала она с кровати бледная, тощая, смерть смертью, и долгими часами сидела в своей молельне, тупо, в отчаянии смотря в одну точку. Словно гробовая плита легла на ее сердце, и только приезды мужа на время оживляли ее. Она становилась тогда как безумная: бросалась в ноги князя, ловила его руки и выкрикивала проклятья на свою голову, моля мужа о прощеньи.

— Анюта, встань! Негоже так, — пытался уговаривать ее князь, подымая с пола, — грех да беда на кого не живут. И я провинился бы так же, как и ты. Тайного врага не убережешься. Да и Бог не без милости. Подожди, найдется наш Мишук!... Дай мне сроку!

Но княгиня продолжала терзаться невыносимой мукой. На беду ее муж не мог бросить столицу, правя царскую службу, а в последнее время будучи приближен к патриарху.

Он вызвал в усадьбу Ермилиху и сказал ей:

— Лечи княгиню! Занедужилась она дюже!

Ермилиха поклонилась в пояс.

— Не вели казнить, вели слово молвить, царь-батюшка! -заговорила она тонким, льстивым голосом. — С глазу княгинюшке недужится; не иначе, как с глазу! Уж я ли ее не пользовала: и травую, и кореньем, и наговором. Одно теперь осталось, князь-батюшка!

— Что?

— По монастырям везти, о здоровье молебны служить, потому всякий глаз от лукавого.

Князь молча прошелся по горнице.

— А про... сына узнали? -спросил он с запинкою.

— А по молодом князюшке панихиды служить надо. Коли жив, сейчас к дому повернется.

Князь угрюмо кивнул.

Богомолье действительно — лучшее средство. Он приказал жене собираться, снарядил возок и послал ее в Троицу, к Николе на Угреш, в ближний Юрьевский монастырь.

Остригла княгиня в знак печали свои роскошные волосы и поехала молиться святыням.

Не помогли панихиды, и не вернулся пропавший сын, но сама княгиня оправилась и стала покойнее, только сенные девки шепотом рассказывали, что порой, случалось, крикнет она ночью так-то страшно пронзительно и вскочит с постели, словно обуянная. Все угрюмее день ото дня становился князь. По дружбе к нему, дня не проходило, чтобы в застенке разбойного приказа приказный дьяк не пытал одного-двух скоморохов, но ничего не говорили пытаемые о княжеском сыне.

Терехов— Багреев тоже ничего не отвечал.

Как в злую тюрьму приезжал князь в свою усадьбу и часто, не видясь даже с женою, сидел в своей горнице, выслушивая доклады своих гонцов, которых слал во все стороны.

И вот однажды вошел к нему его верный Антон и сказал:

— Немчин какой-то с Рязани приехал. От боярина Петра Васильевича грамотка!

— Где? Давай! — Князь дрожащей рукою сорвал шнурок и, развертывая свиток, сказал Антону: — Гонца в избу сведи. Напой, накорми.

Антон ушел, а князь стал читать каракули боярина, своего друга:

«И слышь, немчину этому про твоего сына ведомо. С того и посылаю до тебя. А княгинюшке твоей от нас поклон земн...»

Князь не дочитал послания и, выскочив из горницы, закричал не своим голосом:

— Эй!

На зов прибежал отрок.

— Беги со всех ног в избу! Вели Антону немчина сюда привести!
Живо!

Давно никто не видел такого оживления в лице и движениях князя. Он не мог сидеть и бегал по горнице. Заслышав шаги, он сам отпахнул дверь и, увидев Эхе, с порога закричал ему:

— Что знаешь о сыне?

Эхе смутился и, положив левую руку на поясной нож, почесал правой за ухом.

— О каком сыне?

— О моем, о моем!

Эхе покачал головою.

— Про мальчика я говорил, это — правда; но не знаю, ваш это сын или не ваш! — ответил он.

— Про какого мальчика? Ох, да говори же!

— Дозвольте мне попить. В горле больно. Жарко!

Князь захлопал в ладоши:

— Меду ковш!

Мед появился тотчас. Эхе жадно выпил добрую половину и, вытерев рукавом усы, медленно начал свой рассказ. Князь жадно слушал его.

— Антон, зови слуг! — приказал он наконец и, взяв Эхе за рукав, потащил его к крыльцу, куда Антон согнал дворню. — Был рыжий скоморох с теми? — спросил князь у слуг.

— Был, князь-батюшка, поводырем был! — ответило несколько голосов.

— А с ним щуплый такой, белый?

— Был, был! И мальчонка еще. Да много их, чтоб им пропасти не было! — раздались снова голоса.

Лицо Теряева просветлело.

— Коней, Антон! — закричал он. — И ты, немчин, со мною! Едем к твоему приятелю. Ну, живо!

И через десять минут они мчались по дороге в Москву.

Эхе и Антон не могли на своих конях поспевать за кровным аргамаком князя, и он скакал далеко впереди их; но, когда они сделали роздых на полпути в съезжей избе, князь, не гнушаясь, посадил с собою за стол Эхе и Антона и снова стал расспрашивать немца.

— Расскажи мне, каков он собою?

Эхе опять стал описывать мальчика, а также сарай, в котором нашел его, рассказывал о своих мытарствах с ним и наконец сообщил про доброго немца-цирюльника и его сестру.

— Не заметил ли ты складня на мальчике... цепка из золота, кольчужками? — спросил Теряев.

— Нет! — покачал головою немец, — голая шея, ничего не было...

— Не он! — упавшим голосом сказал князь. — У Мишеньки складень, наше благословение!

— Эх, князь, — вмешался Антон, — да нешто этот вор Федька оставит у княжича нашего золото?

— И то! — оживился князь. — Верно! Он, он, мой Михайло! Но уж этому Федьке, вору и разбойнику, — лицо князя потемнело и он стукнул кулаком по столу, — будет солоно! Завтра же его в разбойный приказ уведут и там...

Он не окончил, но Эхе, взглянув на него, без слов понял, что ожидает содержателя рапаты, и вздрогнул.

Князь забылся, его увлек поток мыслей и чувств, и он продолжал говорить вслух:

— Но кому нужен был мой Михалка? Может, скоморохи-то просто крадут и ждут выкупа. Нет, не слышал я про такие дела, а крадут они для нищенства да для скоморошьего дела так больше от посадских да торговых людей. Ну, да доберусь до правды огнем и водою, дыбой, плетью — всем, что в застенке есть, а пока, вдруг очнувшись, резко сказал он, — поедим да соснем малость! — и, сразу оборвав речь, он придвинул к себе миску с вареной курицей и ендову с вином.

Была глубокая полночь, когда они вновь сели на коней и помчались к Москве. Они ехали молча. Князь, почти уверенный, что его сын найден, думал о том, кому понадобилось это странное преступление, и горел мстью и ненавистью к неизвестному врагу. Антон, как верный слуга, зная опасности ночного путешествия по большой дороге, на которой шалили и скоморохи, и беглые тягловые, и забулдыжный посадский, зорко осматривался в ночной полумгле и прислушивался к тишине; а Эхе, выдавший в своих походах кровь и резню, разбой и преступления, с размягченным сердцем мечтал о минуте, когда он увидит прекрасную Каролину и скажет ей... Нет, он лично ей не скажет, а только посмотрит на нее нежно-нежно и

вздохнет от больного сердца. Вот так! При этом Эхе вздыхал с такой силою, что Антон с изумлением взглядывал на него, придерживая на миг свою лошадь.

— Прямо в слободу, немчин! — отрывисто сказал Теряев, когда они въехали в московские ворота.

— Тут! — ответил Эхе, ударяя коленами лошадь.

Было уже утро, и Москва проснулась. Со скрипом тащились на базар телеги, нагруженные сеном, курами, рыбою, убоиной и всякой овощью; в рядах открывались лари; к убогой церкви торопился поп, стуча костылем по твердой земле, и во все стороны шли люди, торопясь купить, продать или поспеть в назначенное место.

Наши всадники пересекли весь город и со стороны Москва-реки въехали в Немецкую слободу.

— Узнаешь дом-то? — спросил князь.

Эхе только усмехнулся. Ему ли не узнать! С закрытыми глазами он не прошел бы мимо него.

— Тпру!...

Но что это?... Ставни закрыты, из трубы не вьется приветливо дым, в то время как все вокруг живут уже дневной жизнью!...

Эхе быстро спрыгнул с коня и стал стучать в калитку. Молчание. Он стал бить по очереди в закрытые ставни. То же молчание.

— Ну, что ж это? На смех? — закричал князь.

Эхе растерянно, убитым взглядом посмотрел на него.

В это время их успела окружить толпа, привлеченная стуком и криками.

— Эй вы, басурмане! — крикнул толпе князь. — Это ли — дом немчина-брадобрея?

— Так точно, боярин, — ответил один из немцев, толстый булочник, снимая пред князем колпак.

— Где же он, собака?

— В приказе! — закричали со всех сторон. — Приходил народ, били его и вон! Бедный Штрассе!

Эхе, молчавший все время и словно обезумевший, вдруг встрепенулся и обратился к толпе на немецком языке. Все бросили князя, окружили Эхе и, заговорив сразу, подняли оглушительный крик.

Аргамак Теряева пугливо шарахнулся в сторону, но князь резко осадил его — он сгорал от нетерпения и досады. Теперь, когда он уже

собирался обнять сына, опять что-то стало на его пути.

— Ну, что там? — закричал князь Эхе, когда толпа на мгновение смолкла.

— Его взяли в разбойный приказ на пытку, на смерть!

— А сын? — не думая о бедном цирюльнике, спросил князь.

— А его спасла Каролина. Они убежали и спрятались...

— Где?...

— Надо сперва достать господина Штрассе. Они в тайнике.

Князь махнул в воздухе плетью.

— Разве не знают тайника эти люди? Скажи, я все для него сделаю, я выручу его. Покажи мне сына!

Эхе торопливо заговорил с немцами.

— Я, я! — слышалось со всех сторон, и несколько человек, отделившись от толпы, приветливо закивали князю.

— Они покажут нам, — сказал Эхе, — только надо спасти господина Штрассе. Они говорят, клянись!

— Я, я! — закричали немцы.

Князь быстро снял шелом.

— Клянусь, хотя не знаю и вины его, спасти этого брадобрея, если не поздно!

— Я поведу, — сказал булочник, — еще не поздно. Я видел его.

— Идем! — сказал Эхе.

Булочник пошел вперед, рядом с капитаном, который вел в поводу своего коня, князь с Антоном ехали сзади.

Булочник провел их в переулок, ввел в свой дом, перешел чистый дворик и остановился подле бани.

IX СЛУЧАЙ С НЕМЦЕМ И КНЯЖЬЕ СЛОВО

Только в то время, полное суеверия и невежества, мог произойти подобный случай, и был бы похож он на анекдот, если бы Олеарий не засвидетельствовал его в своих записках.

После разграбления рапаты Федьки Беспалого ошалевшие пьяницы гуляли еще с добрую неделю, все увеличивая тот угар, который закружил им беспутные головы.

Выгнанный приказный, Онуфрий Буковинов, облыжно^[94] именовавший себя дьяком, пристал к двум посадским и с ними

крутился по Москве, напиваясь, сквернословя, играя в зернь и распевая срамные песни, за что посадские усердно поили его. На шестой день, бродя из одной тайной корчмы в другую, шли они, сцепясь руками, вдоль Москва-реки, и дьяк сказал им коснеющим языком:

— Согрешил окаянный! Согрешил! Нет мне спасения, напился я, словно свинья непотребная. Да!

— Ишь разобрало! — засмеялся один из посадских. — Пил, пил, а теперь на-ко!

— А что сам поутру говорил, — сказал другой с укором, — не пьяницы мы, если спать ложимся и немного шумим.

— Брехал! — с отчаяньем ответил дьяк и вдруг принял позу оратора, остановился, вытянул руку и покачиваясь заговорил: — И кроткий, упившись, согрешает, даже если спать ляжет! Кроткий пьяница, аки болван, аки мертвец валяется, многожды осквернившись и обмочившись, смердит. И тако кроткий пьяница в святой праздник лежит, не могий двинуться, аки мертв, расслабив свое тело, мокр, налився, аки мех до горла! Свинья непотребная иде мимо...

Тут он потерял равновесие и с плачем повалился на землю.

Посадские с хохотом стали поднимать дьяка, а он бормотал:

— Аки болван, аки мертвец... вот!

— Вставай, пес скомороший! — кричали посадские. — Ишь, вечер близко!... Когда еще до Ермилихи доберемся!... А, ну тя!

Но едва они бросили дьяка, как тот поднялся и торопливо поплелся за ними. Поднявшийся ветер еще сильнее качал его, и хлопнулся бы он на землю, если бы не успел зацепиться за рукав посадского.

Тут они пошли и сами не помнят, как завернули в Немецкую слободу.

И вдруг дьяк потянул к себе посадских, задрожал, как осиновый лист, и, совсем трезвым голосом зашептал, щелкая зубами от страха:

— Гляньте, милостивцы, к немчину в оконце! С нами крестная сила!

Посадские глянули, и хмель разом выскочил из их голов.

— Наше место свято! — пролепетали они, осторожно приближаясь к окошку.

А там, не подозревая опасности, немец Эдуард Штрассе играл на скрипке, вздыхая по Амалии, дочери булочника, и думая, что, как вылечит он булочника от мозолей, так и Амалия его станет.

— Видишь, мертвец-то! — прошептал дьяк, трясаясь от страха и выглядывая из-за плеч посадских.

— С нами крестная сила! — ответили крестясь посадские.

А скелет от ветра, что дул в щели домика и дверь, тихо шевелил своими длинными руками; оплывшая светильня мигала, и от ее колеблющегося света голова скелета, казалось, покачивалась в такт музыке. И вдруг рванул ветер, распахнул дверь. Скелет щелкнул руками, светильня вспыхнула и погасла, музыка смолкла.

— Наше место свято! — не своим голосом завопил дьяк и бросился бежать, а за ним, едва переводя дух, пустились оба посадские.

Уж и пили они в ту ночь! И все даром поили дьяка, развеся уши слушая его повесть.

— Идем мы, и вдруг этого немчина оконце! Мы и заглянь! А там — с нами сила Господня! — немчин-то на лютне играет таково жалостливо, а мертвец стоит перед ним, головой помахивает, в ладоши плескает и ногами шевелит, а потом как захохочет!... И огонь погас!

— С нами крестная сила! — крестились пьяницы. А на другой день эта диковинная весть дошла до самого царя. Кликнул он боярина Нащокина, что в разбойном приказе сидел, и сейчас велел правду допытать. А у боярина Нащокина один путь до истины добираться: дыбы да длинники. Послал он в слободу стрельцов, что при нем стражей были, и привели те к нему немчина.

Держа на коленях своего найденного сына, сияя радостью, слушал князь эту тяжелую историю из уст красивой Каролины. Она стояла перед ним на коленях, с распущенными до пола волосами, тянула к нему свои руки и кричала со слезами:

— О, спасите моего брата за сына вашего!

— Помоги им, тятя, — со слезами говорил Миша, прижимаясь к отцу, — они добрые! Они жалели меня! Все к мамке отвести хотели!...

— Никакой награды не надо, спаси его! — воскликнул и Эхе, опускаясь перед князем на колени.

— Ин быть по-вашему, коли это не колдовство! — сказал князь вставая. — Не забывали Теряевы чужой ласки да помощи, и мой

Михайло не забудет ее! Ну, Антон, на коня!

Он вышел, неся на руках сына, и, вскочив на коня, поскакал на двор Шереметева.

На его счастье Федор Иванович еще не выехал из дома.

— Радуйся, боярин! — закричал князь, подымая своего сына. — Вызволил!

— Радуйся, князь! Господь с тобою!

— И с тобою!

Они поцеловались.

— Чай, изморился князек-то! — ласково сказал Шереметев.

— И нет! Он у немчинов жил; они его добро кормили. Разве вот оскормили... ну, да младенец!

— У немчинов! Неужели они детей крадут?

— Не то, слышь, какая притча-то! — и князь рассказал, как был скраден Миша, а затем спасен Эхе.

— Того Федьку беспрерменно буду просить в приказ взять, потому тут корни чьи-то, — сказал в заключение Теряев.

— Не без этого, — согласился с ним Шереметев.

— Так и смекаю, а до того еще зарок дал. Помоги советом, — и князь рассказал про немца и его горе.

Шереметев покачал головою и произнес:

— Трудное дело, князь! — сказал он. — Тут ведь без тебя за пять дней у нас всего понаделалось.

— Да ведь я слово дал.

— Слово дал, держись! Только не иначе, как самому царю-батюшке челом бить надо.

— Ну, и ударю! Разве мало у меня заслуг пред царем? — сказал князь вставая. — Допрежь всего к боярину Нащокину поеду, чтобы он с дыбой повременил, а там и к царю.

— Ну, ин быть по-твоему! — ответил Шереметев. — А мальчонку в вотчину пошлешь?

— Хотел бы мать порадовать, да боюсь одного пускать опять на бабий дозор. Нет, пусть со мною погостит!

— И то ладно! Ну, я со двора!

— Да и я тоже!

Князь ласково простился с сыном и, поручив его Антону, поехал исполнять свое княжье слово, данное честным немчинам.

В грязном углу Китай-города, на Варварском кресте, под горою, обнесенные высоким тыном, стояли тюрьма и подле нее разбойный приказ со всеми нужными пристройками: караульной избой, жилищем заплочных мастеров и страшным застенком. В народе звали это страшное место почему-то Зачатьевским монастырем. Сюда-то и приехал князь прежде всего.

Соскочив с коня у ворот, он отдал повод часовому стрельцу и хотел войти в низкую калитку, как вдруг его заставил оглянуться страшный стон. Теряев поглядел направо от себя и вздрогнул. Из земли торчала женская голова с лицом, искаженным ужасом, и испускала нечеловеческие стоны; в пяти-шести шагах от нее торчала такая же голова, принадлежавшая уже трупу

— Нишкни! — равнодушно прикрикнул на голову стрелец.

Князь отвернулся и быстро вошел в калитку. Он знал, что это казнится жена-отравительница, знал, что иной казни и нет для такой злодейки, и в то же время не мог побороть охватившее его сострадание.

Большой грязный двор с лужами не то грязи, не то крови, с тяжким смрадом гнилых ям, где томились узники, горелого мяса и разлагающейся крови, производил тяжелое впечатление страха и мерзости. Кругом валялись орудия казней и пыток и, к довершению всего, из дыр, закрытых Решетками, слышался лязг цепей, а из огромного сарая — стоны и крики пытаемых. У князя замутилось в глазах.

В это время через двор к тюрьме пошел заплочный мастер, молодой парень с добрым лицом, покрытым рябинами. Он был в пестрядинных штанах, босоног, с сыромятным ремешком вокруг головы.

— Эй, — крикнул ему князь, — проводи к боярину Якову Васильевичу!

— Он в застенке! — ответил, остановившись, парень.

— Зови сюда! — закричал ему князь. — Скажи, князь Теряев кличет! Ну, чего же ты! Али шкуры своей не жалеешь!

— Кликнуть можно, — отозвался парень и лениво вернулся в страшный сарай.

Князь остался среди двора. Распахнулась низкая тюремная дверь, и оттуда вывели старика, по рукам и ногам опутанного цепями. Что-то

страшное было в его лице. Князь взгляделся и увидел, что рот у него был разорван и оба уха отрезаны. Он отвернулся.

— Князь Терентий Петрович! — услышал он голос и обернулся.

Пред ним стоял боярин Колтовский, в одном кафтане и скуфейке, и ласково улыбался.

— Здравствуй, боярин! — поздоровался с ним князь и прибавил: — Страшное у тебя дело!

— Приобькши, — ответил боярин.

Он был высок ростом и худ, как щепка, длинная черная борода делала его еще выше и тоньше; острый нос, тонкие губы и маленькие глаза под густыми бровями придавали его лицу зловещее выражение.

— По делу к тебе, боярин! Сослужи, а я уже отслужу, как раб твой, — сказал князь кланяясь.

— Ну, ну, — перебил его Колтовский, — я для приятеля всегда рад. Да что мы тут? Пойдем! Да нет, не в застенки, а в избу! — усмехнулся он, заметив, как вздрогнул князь и покосился на застенки.

Они вошли в избу. Пройдя сенцы, Колтовский ввел Теряева в просторную горницу. В углу висела образа до самого низа. У стены перед высоким креслом стоял длинный стол с письменными принадлежностями. В горнице помимо этого стояли скамьи, табуретки, кресла и по стенам висели укладки, а угол занимал огромный рундук.

— Медком али вином потчевать повелишь? — спросил боярин, войдя в горницу. — У меня тут в укладке есть. Опять курник женка изготовила, с собой ухватил.

— Не пойдет в глотку, боярин! Спасибо на посуле! — ответил князь.

Боярин усмехнулся.

— А я приобькши! — ответил он и раскрыл одну из укладок.

Князь увидел в ней чарки и кубки и целый ряд кувшинов, ендов и сулей.

Боярин взял с полки одну из сулеек, потом, нагнувшись засунув руку в глубину укладки, вытащил муравленный горшок, взял две стопки, ложку и вернулся к столу.

— Мы здесь, князь, — говорил он, ставя все на стол, — по-домашнему, только без хозяйки. Случается, с утра уйдешь да весь день с ночью, да еще день без выхода тут. Как татарин — и не помолишься. Да вот и сегодня работы ахти сколько! Выпей, князь! Не хочешь? Ну,

твое здоровьице! — боярин выпил стопку, крикнул и, запустив ложку в горшок, стал жадно есть курник. — А ты, князь, пока рассказывай, что за дело, — сказал он.

— Дело-то? А прежде всего мое, — начал князь и рассказал про похищение своего сына и про Федьку Беспалого-И прошу, боярин, тебя о том, чтобы ты Федьку этого в приказ взял и опросил, для чего и по чьему наущению он такое сделал?

— Что ж, это можно, — ответил боярин. — Выдь-ка, князюшка, на двор да похлопай в ладоши!

Князь тотчас вышел и хлопнул. От сторожевой избы отделился стрелец и спешно подошел к нему.

— К боярину, — сказал князь, идя в горницу.

Боярин тем временем выпил еще стопку, и острый его нос покраснелся.

— Ты, Еремка? — сказал он стрельцу. — Возьми-ка ты с собою Балалайку да Ноздрю и идите вы на Москву-реку, супротив Козья болота, у моста. Так, князь? Ну, так туда. И опросите, там ли Федька Беспалый; он рапату держит. Слышь, жгли его не так давно.

— Знаю его, боярин, — отозвался стрелец.

— Бражничал, собака!

— Бывало!

— Ну, так бы и говорил сразу! Так бери этого Федьку и волокн сюда, а добро его стереги, оставь для того хоть Ноздрю. Потом дьяка пошлем в царскую казну взять. Иди-ка!

Стрелец поклонился и вышел.

— Вот и сделали. На допрос-то придешь? Звать, что ли?

— Беспременно. О том просить хотел.

— Ну, быть по-твоему! А еще о чем дело?

Боярин выпил еще стопку и налег на курник.

— А еще о немчине Штрассе, — сказал князь.

Боярин откинулся и перекрестился.

— С нами крестная сила! Что тебе до него?

— Пытал ты его?

— Нет, так, плетью бил только. Такой щуплый. Сбирался я на дыбу его вздеть, да другие дела тут объявились, так пока в яме держу!

— Ну, и молю тебя, боярин, не трожь его дня два еще. Я о нем царю челом бить хочу, потому он — за моего сына заступник, а в вине

не причинен, — и князь рассказал про дело немчина.

Боярин от вина посоловел и подобрел.

— Ну, ну, пока что не трону его. Тут государево дело, так и не до него теперь.

— Ну, спасибо, боярин, на ласке. Теперь за мной черед.

— Что ты! Да Бог с тобою! Давай поцелуемся лучше! — и боярин обнял князя, а потом, пошатываясь, пошел проводить его.

— Что за дело? — спросил князь дорогою, услышав пронзительный вопль из сарая.

— Государево! — сказал Колтовский. — Слышь, псарь Миколка Харламов след вынул и ворожейке Матрешке Курносовой наговора ради отнес, а то видел псарь Андрей Перезвон да Кривошлык, про то сказали! Теперь правды ишу. Хе-хе-хе! Длинниками всю подлинную узнаю, колышки под ногти пушу, всю подноготную выведу. Хе-хе!

— Брр! — вздрогнул князь.

— Приобыкнуть надо, — хлопая по плечу, сказал боярин, — ну, здрав буди!

— Как Федьку приведут, пошли за мной на Шереметев двор!

— Беспременно! — и боярин, пошатываясь, пошел в застенок, а князь вышел и сел на коня.

Живая голова, увидев свежего человека, вскрикнула голосом смерти и ужаса. Конь шарахнулся, насторожив уши.

Князь сжал его коленками и поскакал к патриаршему дому. Он решил хлопотать сперва у патриарха.

Въехав на Кремлевскую площадь, он сошел с коня и взял его в повод. Проходя мимо царских палат, он обнажил голову.

Вскоре князь по докладу был введен в покои патриарха Филарета и, к его искренней радости, его ходатайство за бедного немца увенчалось быстрым успехом. Патриарх ласково встретил Теряева, порадовался за него, узнав, что его сын, Михаил, найден, и на его просьбу сказал:

— Для народа это делают, а ныне Салтыковы тешатся. Что до меня, то я и часа бы немчина не держал. Проси царя, я ему от себя тоже скажу! А сам от Москвы не отлучайся. Занадобисься вскоростях!

Царь Михаил устало выслушал князя и сразу согласился отпустить немца Штрассе. Он даже не расслышал хорошо просьбы

князя, погруженный в сладостные и тревожные мысли о зазнобе своего сердца, Анастасии Ивановне Хлоповой.

С отпускной грамотой Теряев проехал к Нащокину.

— Сейчас и отпущу его, — сказал боярин, — только не след ему в Москве оставаться. От народа беречься надо!

— А что Федька?

Боярин развел руками.

— Убежал! Как огорело его гнездо скоморошье, так он и улетел куда-то. Никто даже следа не знает.

Князь злобно стиснул кулаки и сверкнул глазами.

— Попадется еще! А сейчас просьба у меня к тебе, боярин, одна великая. Коли попадет скоморох проклятый к тебе, попытай насчет сына моего. Может, и добредем до правды.

— Это можно, князь! Всякого лишним делом подвешу. Всех бы перевешал! — злобно произнес князь.

Не из таких он был натур, чтобы прощать обиды, мысль, что его страдания остались не отмщенными, отравляла ему радость.

— Все сделал, теперь и домой ненадолго, — сказал он, обратившись к Шереметевым.

— Ну, вот и радость! Только оборачивайся живее. Слышь, патриарх никого иного, кроме тебя, не хочет в Нижний посылать.

— Зачем?

— К Хлоповым! По невесту, может!

Князь невольно улыбнулся, чувствуя великое в том для себя отличие.

— Ладно. В день обернусь, — ответил он, — а пока так задумал: возьму к себе я этого немчина, воина-то, и того другого; там во дворе у меня липший сруб найдется, я немчину-то уже накажу за сыном смотреть.

— А что же, по-хорошему надумал! — согласился боярин.

Князь хлопнул в ладоши и приказал отроку позвать Антона.

Когда Антон явился, он приказал ему:

— Скачи в слободу и накажи нашему немчину, чтобы он беспременно со мною нынче на вотчину ехал, а про того немчина скажи, что он вызволен, и ему тоже прочь из Москвы ехать надо, так, дескать, я его тоже к себе на вотчину зову. Слышь, — обратился он к

Шереметеву, — мой-то Михалка полюбил их очень! Так не забудь, скажи толково! — прибавил князь Антону.

Верный стремянный поклонился и вышел.

Эхе сидел возле грустно молчавшей Каролины и только тяжело вздыхал.

— О, будь я при вас, я отбил бы вашего братца! — сказал он, вздохнув глубоко.

Каролина покачала головой.

— Нет, их много было. Если бы мы не спрятались, они и нас взяли бы! С ними нельзя драться.

— А все оттого, что окон не закрыли, — вмешался с азартом булочник, — сколько раз я говорил вашему брату, а он все со смехом. Молодой человек!

— Эдди, Эдди! — раздирающим голосом воскликнула Каролина, — что со мною будет, как тебя замучают эти звери!

— Тсс! — испуганно зашипел булочник.

— Не плачьте, Каролина, — робко произнес Эхе, — я не буду оставлять вас, если вы не прогоните меня. Я буду работать, увезу вас в Стокгольм! Согласитесь!

Каролина взглянула на мужественное лицо воина и невольно улыбнулась его преданности. Эхе радостно закивал головою.

— Я жизнь отдам за вас!

Каролина протянула ему руку и благодарно пожала ее.

В этот миг вдруг открылась дверь, и на пороге ее показался измученный человек в грязном, изорванном платье, с бледным лицом и растрепанными волосами.

— Эдди! — не своим голосом закричала Каролина и бросилась к своему брату.

— Герр Штрассе! — закричал Эхе.

— Штрассе! Штрассе вернулся! — разнеслось по слободе, и скоро домик булочника был переполнен народом.

Все хотели видеть злосчастного цирюльника, слышать его рассказ, выразить сочувствие. Но виновник торжества, полуживой от пережитых волнений, лежал на постели булочника в полубеспамятстве, и подле него находились только Каролина и Эхе да в углу комнаты плакала от радости прекрасная дочь булочника.

— Бульону ему, и здоров будет, — суетился булочник, входя в горницу, вина стаканчик. Так, Эдуард, крепись!

Но Эдуард уже мог, улыбаясь, кивать головою и слабым голосом благодарил всех за участие.

Вдруг среди них появился Антон. Он приветливо поклонился всем и передал волю князя Теряева.

Каролина первая опомнилась.

— Передайте, что мы исполним волю князя, — сказала она.

— А ты со мной! — обратился Антон к Эхе.

— Я теперь для князя все сделаю! — энергично ответил Эхе и стал со всеми прощаться.

Каролина, краснея, протянула ему руку.

— Мы увидимся с вами! — сказала она.

Эхе просиял и раз пятнадцать кивнул головою; потом он вдруг порывисто нагнулся, поцеловал Каролину и быстро выбежал из горницы.

Так же втроем скакали Эхе и князь с Антоном, только в седле у князя сидел еще его сын, который, несмотря на бег коня, всю дорогу говорил без умолку. Все ужасы, пережитые им, как бы не коснулись его, и он рассказывал про мальчиков, которых видел в темном сарае, про скоморохов и, наконец, про добрых немцев с простотою ребенка, передающего свои несложные впечатления.

— Мамка-то тебе как обрадуется! — говорил князь время от времени.

— А она плакала?

— Все время!

— И мне скучно было! — вздохнул маленький Миша.

— Теперь не будет, Михайлушка! — ласково говорил ему князь, и его суровое лицо смягчилось нежной улыбкой.

Но вот князь стал приближаться к своей усадьбе.

— Едут! — заорал во все горло Акимка, чуть не кубарем скатываясь со сторожевой башенки.

— Едут! — подхватила Наталья, вбегая в горенку княгини.

Княгиня быстро встала из-за пяльцев, но силы тут же оставили ее, и она побледнев опустилась на пол.

Наталья быстро схватила в руки рукомойник и, набрав воды в рот, обрызгала ею княгиню.

— Матушка, — завопила она, — до того ли теперь? Радоваться надо! Эй, девки, берите княгинюшку, вздымайте за рученьки!

Две дворовые девки вбежали и подхватили княгиню. Она оправилась и улыбалась, только бледное лицо выдавало ее недавнее волнение.

— Ведите меня на красное крыльцо! — приказала она.

Девки осторожно вывели ее, а князь в это время уже въезжал в растворенные настежь ворота на свой широкий двор, на котором толпилась радостная дворня.

Князь осадил коня, спрыгнул с него и, высоко подняв своего сына, радостный пошел к крыльцу.

— Вот тебе, княгинюшка, сын наш! Живой и здоровый! Радуйся! — сказал он, ставя сына на верхнюю ступеньку.

«Мамка!», «Мишенька мой!» — слились два возгласа, и княгиня, упав на колени пред мальчуганом, целовала его и поливала слезами! Ее побледневшее и осунувшееся лицо осветилось неземным счастьем, смоченные слезами большие глаза сияли, как звезды. Видя ее радость, даже князь отвернулся и смахнул набежавшие слезы. Чтобы скрыть свое волнение, он обернулся к дворне и сказал:

— Пить вам на радостях наших мед да пиво сегодня! Дарю всем сукна на платье, а девкам ленты на косы! Радуйтесь с нами, да впредь глядите у меня за делом! — и он шутливо погрозил плеткой.

— Живите, князь с княгинюшкой, на радость! — закричали дворовые.

Князь подозвал Эхе.

— А тебя, добрый человек, не знаю, чем и жаловать, — сказал он. — Позвал я к себе и тебя, и немчина. Дам вам срубы и землицы отведу, а ты — если захочешь — живи при нас и заодно воинскому искусству обучай моего Михалку. По гроб тебя не оставлю.

Эхе схватил руку князя и порывисто прижал ее к своим губам.

— На всю жизнь служить буду, — горячо ответил он, — думал в Стокгольм уехать, да не надо теперь Стокгольма!

— А будет война, со мной пойдешь, — добавил князь.

В вотчине князя царила безмерная радость. Княгиня в ноги поклонилась мужу и обняла его колени.

— Бог с тобою! — взволнованно сказал Теряев, поднимая жену, — теперь надо Бога благодарить. Стой! Дадим обет с тобою

выстроить у нас церковку архистратигу Михаилу!

— Дадим! — радостно ответила княгиня.

Князь послал нарочного за священником для молебна. К вечеру священник приехал.

В то время было много священников, оставшихся после московского разорения без церквей. Они ютились при чужих приходах, выходили на базар и иной за калач служил молебен с водосвятием; на обедню цена была больше.

Седенький, в лаптях и онучах, в рваной, заплатах с бородкой клинышком, приехавший по вызову Теряева священник робко переступил порог княжеских хором и дрожащей рукою благословил князя с княгинею. Теряев поклонился ему в землю, приняв благословение, и сказал:

— Как звать, отче?

— Отцом Николаем, родимый, Николаем! При Козьме и Демьяне стоял, да вот пришли ляхи; церковь опозорили поначалу, потом сожгли, доченьку в полон взяли; жена умерла с горя, сначала ослепнув от слез, и оставила меня сиротинку без паствы, без друга, как былиночку!

Его голос задрожал и пресекся, из глаз скатились слезы; он опустил голову.

Князь тихо взял его под локоть.

— Бог нам послал тебя, отче! — сказал он, улыбаясь желе-Пропал сын наш, скоморохи украли, да нынче нашли его мы к своей радости. По тому случаю обет дали церковку выстроить. Будь у нас попом и живи на покое!

Священник взглянул на него растерянно, смущенно улыбнулся и тихо сказал:

— Сон вьвь! Истинно, Господь Бог указывает пути нам, а мы, что дети малые, неразумные, и не знаем Его Помыслов!

В это время вошла Наталья с девушками и спешно устала стол питьями и яствами.

— Откушай с дороги, а там отдохни, — предложил князь священнику. — Завтра сослужим Богу!

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа! — благословил о. Николай трапезу.

На другой же день князь, не мешкая, указал место для церкви и отрядил слуг за лесом. Устроив все это, он с радостным сердцем

поехал на Москву.

Спустя три дня к княжеской усадьбе подъехали два воза со скарбом Эдуарда Штрассе. Сам он с сестрою шел позади возов. Эхе встретил их и указал им место, где селиться, а потом свел их в избу, временно назначенную для них.

Княгиня не побоялась позвать к себе Каролину и обласкала ее. Миша, увидев ее, бросился ей на шею и весело смеялся.

— Расскажи мне все, девушка, — сказала княгиня.

— И рассказывать нечего, — тихо ответила Каролина. — Счастливы мы от княжеской милости теперь на всю жизнь.

Но потом все-таки она рассказала все, от первого появления у них ночью Эхе с мальчиком до встречи с князем. Рассказала про испытанный ужас, когда взяли ее брата, про то, как она с Мишей пряталась, как боялась за брата, как все говорили, что его казнят. А потом, как приехал князь — словно ясное солнце вошло для них всех, и все обернулось по-хорошему. Народ, прослышав, что ее брат на свободе, хотел сам расправиться с ним, и некуда бы им деться, если бы князь не позвал их к себе в гости. При этом Каролина опустилась на колени и поцеловала руки княгине.

— И, Бог с тобою, девушка! — ласково сказала ей княгиня. — Живите на здоровье. А что не нашей вы веры, так все же, слышала я, что в Бога вы верите и Христа нашего чтите!

Однако княгиня все-таки, после ухода Каролины, позвала о.Николая и велела ему окропить свои горницы святою водою, с соответствующей молитвою.

Князь Теряев, приехав в Москву, сказал Шереметеву:

— Всем я радостен, и для полного счастья только бы мне вора поймать! Не могу успокоиться, как о нем думаю. Так вот кровь и бурлит от гнева!

— Горячка ты, княже! — шутя отозвался Шереметев, глядя бороду. — Однако и я так смекаю, что этот Федька не без наущения действовал! Ну да правда наверх, как масло на воде, всходит. Дождемся!

— До смерти не забуду! Ну а что наверху?

— Наверху-то? — Шереметев прищурил глаза. — Завтра, в утрие, станем разбор делать. Тогда не дали. Царица вдруг сына к себе

позвала, а там в Троицу увезла. Слышь, клятву взяла с него, что на Хлоповой не женится.

— Для чего же суд тогда?

— Ну, все же, для той же правды. Я теперь лекарей Бальсыра да Фалентина на допрос завтра веду, а князя Михалку Салтыкова с его братом Бориской к ответу позвал.

— Как они?

— Да наверх не идут. Слышь, бороды отпустили, печалятся.

— Конец им! — сказал князь.

— На то идет. Не любит их патриарх Филарет Никитич. Не знаю, как меня милует. Ведь я тоже до его приезда при царице советником был, дела вершил.

— Сравнил тоже! — воскликнул искренне князь. — Ты и Салтыковы. Те — лихоимцы, а не слуги царицы!

Х ТАЙНА ЦАРСКОГО СЕРДЦА

Действительно, на долю Шереметева, а также других близких к патриарху Филарету лиц, выпало сложное государево дело, от решения которого зависело душевное спокойствие самого царя Михаила Федоровича.

Как— то однажды, в промежуток после обедни и пред трапезой, царь Михаил Федорович сидел в горнице со своим отцом, патриархом всей Руси.

Патриарх тихо, убежденно говорил ему:

— Лета твои, Михаил, уже немалые! И никогда того не было, чтобы царь холостым до такой поры был. И ему скучно, и людям нерадостно. Сам подумай, как духовный и плотский отец твой, говорю тебе! Пора, государь! И мое сердце утетишь, и народу радость, и самому веселее будет. Так ли?

Патриарх ласково взглянул на сына, а тот низко опустил голову и сидел неподвижно, облокотясь на резные локотники кресла, только его лицо покрылось румянцем.

— Так ли, сынок? — повторил патриарх и, помолчав, сказал: — Сделаем клич, соберем красных девиц и посмотрим, какая любше покажется...

Михаил вздрогнул и невольно сделал отрицательный жест рукою.

Патриарх пытливо посмотрел на него, и вдруг на его лице мелькнула лукавая улыбка. Он слегка нагнулся вперед и спросил:

— А может, у тебя и есть что на сердце? А?

И вдруг Михаил соскользнул с кресла, стал на колени и прижался лицом к руке отца. Его сердце, истомленное тайной печалью, вдруг раскрылось, и он смущенно заговорил:

— Есть, отец, есть! Томлюсь по ней, по моей Анастасье Ивановне, и оттого не хочу на иной жениться, а на ней не смею!

— Встань, встань! — ответил патриарх, наклоняясь и беря сына под локти. — Садись и говори толком. Кто она и почему не смеешь? Про кого говоришь?

Михаил поднялся, сел и, оправившись, заговорил:

— Задумал я, батюшка, пожениться и клич кликнул. Сделал я смотрины, и больше всех полюбилась мне дворянская дочь, Марья Хлопова по имени. И взял я ее с родней ее наверх, с ними в Троицу ездил, в Угреше были. И так мне сладостно на сердце. А там вдруг занедужилась Анастасия (матушка приказала ее величать так), посылали лекарей к ней а ей и того хуже. Сказывали мне Бориска и Михалка Салтыковы...

— Смерды лукавые! — гневно перебил его патриарх.

— Сказывали они мне, что ей сильно недужно и болезнь у нее вредная для нашего рода...

Михаил тяжело перевел дух.

— Ну? — произнес отец.

— И созвали мы собор, и на нем порешили, что непрочна Анастасья Ивановна нашей радости и... свели с верха... — тихо окончил он.

— И куда же?

Михаил поднял на отца взор, в его глазах сверкнули слезы.

— А потом я дознался, что Хлоповых в Тобольск угнали на прожиток. Так приказал я в Верхотурье их перевести, а теперь они все в Новгороде — сама она, мать, отец и дядя ее!... Тяжко мне, батюшка, — заговорил он снова дрожащим от слез голосом, — и нет мне покоя, и все думается: может, так что было, случаем!

Филарет встал с кресла и быстро, юношескою походкою заходил по палате. Его лицо сурово нахмурилось.

— Так, так! И очень можно, что один оговор тут, — произнес он. — Эти твои приспешники, Михалка с Борискою, на все пойдут. Им своя радость, а не государева нужна! Так!... А ты все еще любишь ее? — спросил он вдруг.

Михаил вспыхнул и потупился.

— Люблю!

— Ну, так тому и быть! -решительно сказал патриарх и остановился.

Михаил вопросительно глядел на него.

— И правды, и чести, и твоей любви ради, — торжественно произнес Филарет, — сделаем опрос, правды дознаемся. Спросим Бориску с Михалкой, почему они тебе такое сказали, лекаришек спросим, самое Анастасьюшку, и, если истинно она в радости тебе непрочна, так и будет. Что же, на все воля Божья! А коли облыжно все это, пусть твои приспешники ответ держать будут!

Лицо Михаила просветлело. Он радостно воскликнул:

— Батюшка, душу мою ты разгадал! Сколько раз собирался я сам это сделать, да все матушка отсоветовала.

— Ну а теперь и отец и патриарх тебе разрешает, и сам спрос вести будет! — сурово ответил патриарх, и его лицо приняло жестокое выражение.

— А кого из бояр на допрос выбрать? — робко спросил Михаил.

— Выберем! Ты да я допрос чинить будем, а при нас пусть твой дядя, а мой брат, Иван Никитич будет; без Шереметева нельзя быть: он аптекарский приказ ведает. А еще... еще... -Князя Черкасского позовем! Он никому не правит.

— Ну, ин быть по-твоему. И сейчас делать станем! — Патриарх быстро подошел к столу, взял свисток и свистнул. В то же мгновение на пороге показался отрок. — Пошли дьяка к нам, — сказал отроку Филарет.

На место отрока явился думный дьяк, по тому времени лицо сановное. Он упал на колени и трижды земно поклонился царю, потом так же патриарху и, не подымаясь, ждал приказа.

— Встань, — сказал Михаил, — и что тебе наш батюшка-государь накажет, то пиши!

Дьяк поднялся, тяжело переводя дух, и осторожно подошел к столу.

— Пиши грамоты на боярина Ивана Никитича да на князя Ивана Борисовича Черкасского, да на боярина Федора Ивановича Шереметева. А в тех грамотах отпиши им, что мы, государи, задумали сыск сделать про то, чем девица Хлопова непрочна стала и занедужилась, а при том сыске им, боярам, при нас находиться.

Дьяк слушал с раболепным подобострастием слова патриарха; и по мере произнесения их любопытство, недоумение и страх по очереди отражались на его лице.

— Ну, пиши.

Дьяк поклонился и, перекрестившись, сел к столу.

Наступал трапезный час. Явились бояре, окольникы и, окружив патриарха с царем, чинно пошли в столовую палату, а дьяк остался у стола, старательно выводя буквы и немилосердно скрипя пером. Пот выступил на его висках по мере писания грамот.

«Ну, — думал он вздыхая, — пропали наши головушки, не чую добра я с этого сыска для моих бояр. Для чего сыск? Непрочна», — и весь сказ. Так на соборе решено было».

Он отложил перо, полез за пазуху, вынул тавлинку^[95] и взял огромную щепоть табака.

«Ачхи!» — раздалось на всю палату, и дьяк, испугавшись такого шума, спешно схватил перо, пригнул к плечу голову и снова стал выводить буквы.

Смутное предчувствие опасности почуяли и братья Салтыковы за царской трапезой. Они с прочими боярами сидели за столом на верхнем конце. Царь и патриарх сидели за особым столом на возвышении. Справа и слева от царя стояло двое часов немецкого изделия. Кушанья подавались чередом, наливали мед и вино, и во все время царь ни одного блюда, ни одной чаши вина не отослал ни тому, ни другому из братьев Салтыковых, еще недавно встречавших с его стороны ласку. Смелые и развязные, они притихли к концу трапезы, видно, что и прочие бояре заметили такое охлаждение к ним, и задумчивые пошли из царских палат.

— Я к матушке, — сказал Михаил.

— И я следом, — ответил Борис.

Оба они, сев на коней, степенно поехали по улицам, опутив головы и все яснее чуя над собою беду.

Старица Евникия провела их к смиренной игуменье, царской матери, и, вздыхая словно в смертельной боли, сказала:

— Вот они и сами, матушка-государыня! Опроси!

— Встаньте, встаньте!-ласково сказала Марфа, наотмашь благословляя лежавших ниц пред нею Салтыковых.

Они поднялись и по очереди поцеловали ее плечо.

— Ну что с вами? Что сумрачные в нашу обитель приехали? Чего мать Евникию опечалили? Поди, патриарх грозен?

Михайло низко поклонился и, вздохнув, ответил:

— Не знаю, что и молвить, государыня. Обойдены мы сегодня с братом, и то все заметили. Государь не жаловал нас ни чарою, ни хлебом, ни взглядом, ни словом, и все сидел сумрачен.

— И всегда так бывает, когда он с патриархом вдвоем поговорит. Докука на него находит с того, — вставил Борис.

— Ах, а сколь прежде был лучезарен и радостен, — вздохнув сказала их мать, — и к тебе-то, матушка-государыня, по три раза на дню навевывался, а то бояр с запросом посылал. А ноне?

Марфа нахмурилась. Ее маленькое лицо с тонкими губами приняло жестокое выражение.

— До времени, до времени, — прошептала она, — нет такой силы, чтобы материнское благословение побороло. Мой сын, я его вскормила, взлелеяла, я его на Москву привезла, а не он! — резко окончила она и, смутясь своей вспышки, стала торопливо перебирать свои четки и шептать молитвы.

— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! — раздался за дверью тонкий голосок.

— Аминь! — ответила, быстро оправляясь, Марфа.

В горницу вошла миловидная черница и, сотворив метание^[96], сказала:

— Дьяк думный Онуфриев с вестью к тебе, государыня... повидать просит.

— Зови!

Братья Салтыковы переглянулись между собой и отодвинулись к стенке.

Дверь в комнату тихо отворилась, и в комнату на коленях вполз дьяк. Он раз десять ударил лбом в половицы, пока Марфа небрежно благословила его, и потом сказал:

— Позволь слово молвить!

— На то и зван. Говори!

— Нынче зван я был, государыня милостивица, в молитвах заступница, до царской палаты и лицезреть удостоился, пес смердящий, холоп твой Андрюшка, пресветлые лики государей наших.

— На Руси один государь, — сухо перебила его Марфа.

Дьяк спохватился.

— Истинное слово молвила, государыня. Сдуру и перепугу сбрехнул. Был я зван и лицезрел государя нашего, царя батюшку, а с ним патриарха святейшего. И был мне наказ сесть за стол и писать грамоты до боярина Ивана Никитича, до князя Черкасского да до боярина Шереметева о том, что государь-батюшка хочет сыск чинить о болезни девицы Хлоповой, и с ним им быть на сыске том.

Дьяк выпалил все это быстрой скороговоркою и опять стукнулся лбом.

— О Хлоповой? — вскрикнули разом Салтыковы и побледнели.

Так, — задумчиво произнесла Марфа, — ныне и такие дела без меня зачинаются!

Она скорбно вздохнула и обратила свой взор на икону Старица Евникия повалилась на лавку и застонала.

— Ох, беда неминуемая! Чует мое сердце, чует, бедное! Сынки мои родные, будет на головы ваши опала великая, как Ивашка Хлопов в силу войдет!

— Не будет этого! — грозно сказала вдруг Марфа. — Сыском пусть тешатся, а я не допущу сына жениться на девке недужной. Прокляну!

И от ее голоса стало страшно.

Действительно, инокия Марфа сделала не одну попытку помешать затеянному делу, она даже вызвала к себе сына-царя и всеми способами старалась добиться у него клятвы не жениться на Марии (Анастасии) Хлоповой, однако энергичная воля патриарха Филарета и в этом случае одержала верх, и был назначен допрос всех лиц, замешанных в дело Хлоповой.

Мягкосердный царь Михаил Федорович испытывал великое стеснение, видя перед собою наглые лица Михаила и Бориса Салтыковых, своих недавних приспешников. Безвольный и добрый, он

еще не избавился окончательно от их влияния, и ему казалось, что в его поведении есть нечто недоброе.

Он сидел в одной из малых дворцовых палат в высоком кресле на возвышении, под балдахином; рядом с ним, с выражением неуклонной решимости, сидел его отец-патриарх, а у ступеней, в креслах с невысокими спинками, находились боярин Шереметев и князь Черкасский. Пред государями в непринужденной позе стояли братья Салтыковы. Их лица были бледны, глаза воспалены от бессонницы, но они дерзко и смело глядели в лица своих судей, и по их губам скользила наглая усмешка.

— За лучшее поначалу врачей опросить, — сказал сухим голосом патриарх. — Боярин, позови дохтура!

Шереметев встал и вышел. Стрельцы отпахнули двери и снова закрыли за ним. Через минуту боярин вернулся в сопровождении доктора Фалентина. Последний был одет в черный камзол и короткие брюки, на его ногах были чулки и башмаки с серебряными пряжками, волосы были собраны в косицу. Он был высок ростом, рыжий, с горбатым носом и глазами навывкате. Войдя он стал на колени и трижды стукнул лбом царю, потом столько же патриарху.

— Опроси! — тихо сказал царь князю Черкасскому.

— Встань и подойди ближе! — громко приказал князь, встав и низко поклонившись царю.

Доктор поднялся и осторожно, подгибая колена, приблизился к трону.

— Тебя звали наверх, — спросил князь, — лечить царскую невесту, Анастасию Хлопову? Скажи, что у нее была за болезнь и прочна ли она была царской радости?

Доктор переставил ноги, кашлянул, пытливо взглянул на Салтыковых, на боярина Шереметева, на патриарха и тихо заговорил, стараясь правильно выговаривать русскую речь.

— Что я знаю? Я мало знаю! Меня звали наверх...

— Кто звал?

— Я звал! — отозвался Борис Салтыков.

— Ну?

— Ну, я и был! Смотрю, желудок испорчен, слабит желудок. Это — пустяки! Я давал лекарство и уходил!

— Кому лекарство давал?

— Ее отцу, Ивану Хлопову, давал и уходил...

— Так, — с трона сказал Филарет, — что ж эта болезнь опасна для родов, к бесплодию она?

Доктор поднял руки.

— Кто говорит? Пустая болезнь... два дня — и здорова! Никак ничему не мешает!

Михаил вспыхнул и с укором взглянул на Салтыковых. Те опустили головы, но Михаил Салтыков быстро оправился и шагнул вперед.

— Дозволь, государь, слово мол...

— Молчи! — резко крикнул на него патриарх. — Твои речи впереди! Боярин, зови другого врача!

Шереметев поднялся и ввел другого.

Лекарь Бальсыр, одетый, как и его товарищ, лысый, с крошечным красным носом, толстый и круглый, как шарик, вкатился в палату, добежал почти до трона и тут бухнулся в ноги, звонко стукнув лбом о пол.

— Здравия государям!-прошептал он.

— Встань и отвечай! — сказал князь Черкасский, и, продолжая допрос, предложил ему те же вопросы.

— Был зван, был зван, — мотая головою, затараторил лекарь, -звал меня Михаил Михайлович наверх. Говорил, занедужилась царева невеста. Я бегом к ней, наверх. Пришел я, осмотрел ее, невесту-то, вижу, что у ней желтуха, я говорю: «Желтуха». Но Михаил Михайлович говорит: «Можно ли ее исцелить и будет ли она государыней?». А я говорю: «А почему я знаю? Разве это — мое дело? А что исцелить, так легко можно. Желтизна в глазах малая, опасного нет». — «А будет ли, -говорит, -она чадородива? А будет ли долговечна?». На это я говорю: «Того я не знаю, о том у доктора спросить надо». Вот и все! Не вели казнить! — и он снова упал царям в ноги.

— Встань, встань! — закричал Шереметев.

Лицо царя Михаила выразило страданье. Он обратился к Михаилу Салтыкову и сказал с упреком:

— Ты мне говорил, что доктора смотрели болезнь Марьи Ивановны и сказали, что болезнь та опасна и она недолговечна.

— Дозволь слово молвить! — вспыхнув, рванулся Салтыков.

— О чем говорить будешь? — тихо произнес царь и опустил голову.

Патриарх презрительно взглянул на Салтыкова. Тот торопливо и сбивчиво заговорил:

— Что же я? Я, что дохтура говорили, то и сам. Лекарств не давал, а какие они, то в книгах записано. И опять спрашивал я, будет ли она мне государыней? Так то спрашивал по приказу государыни великия старицы инокини Марфы Ивановны. В чем вина моя?

— В том, что облыжно мне показывал! — с горечью воскликнул Михаил. — Что меня в затмении держал, правды не сказывал!

— Я — не лекарь!

— Что говорить! — прервал разговор патриарх. — Для правды надо Хлоповых позвать. Все узнаем! Боярин, что князь Теряев приехавши?

Шереметев встал и поясно поклонился.

— Вчера, государь, по твоему приказу прибыл он.

— Заказать ему сегодня в Нижний ехать и Хлоповых привезти, Ивана и Гаврилу вместе, и не мешкотно! Так ли, государь? — обратился патриарх к сыну.

— Так, государь-батюшка! Спосылать! — ответил царь.

— А пока и дело отложим! — окончил патриарх, вставая и широким крестом благословляя присутствующих.

Как ветер, несся князь Теряев, торопясь выполнить царское поручение.

Не думали, не гадали опальные Хлоповы, что их дело вдруг снова поднимется, и перепугались, увидев царского гонца; но князь успел успокоить их и без передышки погнал назад.

Снова в той же палате царь, патриарх и ставленные бояре слушали дело о Хлоповой.

Отец невесты, Иван, только сказал, поклонившись государям:

— Дочь моя была всегда здорова и, живя немалое время во дворце, не имела никаких болезней. Вдруг приключилась с нею рвота и была три дня, а потом снова через неделю. Как лечили ее, того не знаю, ибо Михаила Салтыков всем распорядился и меня не подпускал. Одно знаю, как сослали мою дочь с верха, так и стала она совсем здорова!

— Врешь, собака, что я тебя до дочери не пускал! — закричал Салтыков.

— Истинно, как пред Богом говорю! — ответил Иван Хлопов и перекрестился.

— Облыжно показывает, государи, — пробормотал Михайла.

— Ну а ты что скажешь о племяннице? — обратился Филарет к Гавриле Хлопову, не слушая Салтыкова.

Гаврила бойко выступил, стукнул лбом и сказал:

— О болезни племянницы ничего не знаю, а при крестном целовании расскажу государям все, как было.

— Давай клятву!

Шереметев вызвал священника. Стоя у аналая, Гаврила Хлопов дал клятву и в том целовал, крест, а петом стал рассказывать горячо, задорно, сверкая глазами на Салтыковых:

— Когда государь изволил взять к себе на двор племянницу мою, тогда позвали меня с братом вверх, на сени. Борис и Михаила Салтыковы, встретя нас там, преводили к государю. Государь объявил нам, что изволил взять для сочетания браком Марью Хлопову, и нам, людишкам, повелел служить при своем лице. Когда племянницу мою нарекли царицею и назвали Настасьею, то жили при ней в хоромах мать ее, Марья Милюкова, и бабка, Желябужская, а мы с братом хаживали к ней наверх челом бить. Когда государь отправился с государыней в Троице-Сергиев монастырь, то и мы в том походе были, а по возвращении в Москву начали жить вверх и ходить ежедневно к царице. Вскоре после сего пошел государь единожды в оружейную палату, взял с собою Михаилу Салтыкова, меня, Гаврилу Хлопова и брата. — Гаврила перевел дух, гневно взглянул на Салтыкова и, потрянув головою, продолжал: — Здесь поднесли государю турецкую саблю и начали оную хвалить, а Михаила Салтыков говорил, что и на Москве такую сделают. Тут спросил меня государь, как я думаю, а я сказал: «Сделают, да не такую». С тех слов Михаила Салтыков осерчал, вырвал у меня саблю и стал поносить меня.

— А ты не лаялся? — не утерпел Михаил Салтыков.

— Что же, мне в долгу быть у тебя, что ли? — ответил Хлопов и продолжал: — От сего времени начали меня с братом ненавидеть Борис и Михаила, а вскорости занемогла и государева невеста. Когда созвали собор, чтобы свести племянницу с верха, я челом бил

обождать недолго, ибо болезнь эта краткая, да не послушали меня. А Борис с Михайлом смеялись и говорили: «Подожди, скоро и тебя с Ивашкой оженим!»

Гавриил Хлопов низко поклонился и отошел в сторону.

Некоторое время все молчали. Всем вдруг стало ясно, что неспроста заболела царская невеста, и Салтыковы в молчании чувствовали для себя гибель.

Царь поднял на них укоризненный взор.

— Чую, что вороги вы мне злые, — сказал он, — да не хочу суд скорый делать, пока всего не узнаю. Князь Терентий Петрович! Боярин Федор Иванович!

Теряев и Шереметев быстро опустили на колени.

— Возьмите святого отца архимандрита Иосифа да трех дохтуров с собою, — приказал царь, — поезжайте в Нижний и на месте опросите Марью Ивановну, а те дохтуры пусть о ее здоровье мне доложат. До того времени суд откладываю!

* * *

С пышностью царских вельмож, хотя и спешно, ехали князь Теряев, Шереметев и архимандрит Иосиф. Шереметев взял с собою знаменитых того времени докторов, голландца Бильса и англичанина Дия, и до семидесяти слуг, а впереди скакали гонцы, заготавливая подставы и устраивая ночлеги по дороге.

На другой же день по приезде в Нижний Новгород Шереметев стал опрашивать царскую невесту.

В маленькой горенке, чисто убранной и красиво украшенной шитыми полотенцами да ширинками^[97], сидел за столом боярин, рядом с князем и архимандритом, а пред ними, потупившись и от смущения краснея, что вишня, стояла русая красавица. Высокая ростом, полная, с покатыми белыми плечами, с высокой грудью и чистым, ясным лицом, Марья Хлопова тихо, прерывающимся голосом говорила:

— Не иначе, как от супостатов, от зелья какого. Была здорова-здоровехонька, вот как посейчас, а тут вдруг затошнило, нутро рвать стало, моченьки нет, живот опух. А там как лишили меня царской милости, свели с верхов, так опять поздоровела я, хоть бы что! Так и скажите царю-батюшке: неповинна я в своей хворости! — и закрывшись рукавом, она горько заплакала.

— Не плачь, Марья Ивановна! — взволнованно сказал Шереметев. — Еще все поправиться может. Приказано нам сызнова звать тебя Настасьей!

Боярышня взглянула из-под рукава и улыбнулась.

Бояре встали.

— А пока, прости, еще одно от тебя надобно — докторам нашим покажь себя.

Хлопова вспыхнула, словно зарево, и потупилась.

— Как маменька.

— Царский указ! — строго сказал боярин.

— Что же, я в вашей власти!

Боярин позвал докторов.

* * *

Кажется, не дни, а минуты считал царь со времени отъезда своих послов. Он отрешился от дел, сказываясь больным, боялся встречи с матерью, и только патриарх имел к нему свободный доступ.

«Злые люди, — думалось царю, — что им в моей радости? А испятнали ее, лишили меня покоя».

И в эти мгновения ему становилось так себя жалко, что на его глаза навертывались слезы и он тяжело вздыхал.

Наконец приехал архимандрит Иосиф из Нижнего. Царь встретил его, наскоро принял из рук его благословение и велел тотчас созвать думу и послать за Салтыковыми. Почти тотчас же собрались бояре и, с патриархом во главе, выслушали донесение Иосифа.

— И ты, отче, видел ее своими очами? — весь дрожа от волнения, спросил царь, забыв свой сан. — И во здравии она? И доктора то же

говорят? И она говорит — от зелья, от супостатов? Так, так! — и вдруг его гнев вспыхнул внезапно, как долго тлевшее пламя. Он выпрямился в кресле, грозно взглянул на Салтыковых и, протянув руку, громко сказал: — Злодеи и супостаты! Я ли не жаловал вас, а вы моей радости и женитьбе учинили помешку, и ту помешку — изменою. Казнить вас, воры, за это!

— Смилуйся, государь! — закричали братья, падая ниц.

— Холопы, псы смердящие с матерью своей психой! — царь резко отвернулся и сказал ближним боярам: — Взять их именья в казну! Послать их: Бориску в Галич, Михаила в Вологду, а мать их, змею подколодную, в Суздаль!

— Смилуйся! — закричали снова Салтыковы.

— Вон с глаз моих!

Даже патриарх подивился и с радостью взглянул на своего сына, впервые видя в нем царя с грозною волею. Бояре испуганно потупились. Грянула гроза из чистого неба и ударила по супостатам, как Божья кара.

Сразу повеселел царь и вверху заговорили:

— Поженится на Хлоповой!

Иван и Гаврила Хлоповы стали в почете, и их, что ни день, звали бояре на пирование.

И вдруг все разом изменилось. Пронеслась весть, что великая старица Марфа Ивановна больна и зовет к себе сына.

Торопливо снарядился царь, послал за отцом, и оба они поехали в Вознесенской монастырь.

Их провели в покои Марфы-игуменьи. И вдруг она вышла к ним здоровая и бодрая, с грозным лицом. Царь упал на пол. Она подошла к нему, подняла его, потом поясno поклонилась и поцеловалась с ним. С застывшим суровым лицом она исполнила приветственный чин с патриархом и, видимо сдерживаясь от вспышки, сказала кланяясь:

— Садитесь, гости дорогие! Спасибо тебе, сынок, на милости, что приехал мать свою хоть в болезни проведати. И тебе, отче святой.

— Не на чем, матушка, — смущенно проговорил царь.

Патриарх глядел на свою бывшую жену недоверчивым, испытующим взглядом и строго молчал. Марфа перевела свой взор; их глаза встретились и разом вспыхнули: у нее — ревнивою злобою, у

него — презрительным негодованием. Она тотчас отвела свой взор и заговорила с сыном:

— Прости уж меня, государь, старую, что обманом завлекла тебя сюда. Не по чину, да и не по годам лукавить мне...

— Матушка, — просительно проговорил царь, — мне прости: неотложное дело государево было!

— Не по чину лукавить мне, — продолжала, не слушая го Марфа, — да не хотелось материнское право грозным делать, сынок! А что до государева дела, то прежде ничего не вершил ты, со мной не обговоривши, а ныне — вот! Не только своих верных слуг караешь, а даже мою старицу, что для меня душевной была, и той не помиловал, от родной матери отвернувшись!...

— Матушка! — умоляюще воскликнул царь и беспомощно взглянул на отца.

Тяжелые пытки были для него укоры матери. Его лицо побледнело, на кротких глазах выступили слезы.

Патриарх нетерпеливо стукнул посохом и вмешался в беседу.

— Не кори его, мать! — сказал он. — Государь он тебе и крамолу карает, а эта крамола подле тебя гнездо вила, тебе на срам.

Казалось, только этого и ждала старица. Она выпрямилась во весь свой маленький рост, ее глаза запылали, и она гневно заговорила:

— Так, святой отче, учи сына, что мать его крамолу таит, ворогов посылает, гибель ему готовит! Ты сам — вор и крамольник! — крикнула она, забываясь и делая шаг вперед.

Патриарх встал в гневном изумлении. Царь в ужасе закрыл лицо руками.

Между тем Марфа, забывшись, продолжала:

— Ты! Ополячился там, наголодался и сюда, к нам, смуту принес. Никогда не знали мы печали да горя, а что теперь? В разоренную землю вошли мы и целили ее, а ты что сделал? Всяк ропщет, всякому не под силу твое державие. С воза берешь, с лотка берешь, с сохи, с водопоя; на правежах люди весь день по всей земле стонут, а лихие целовальники с твоего патриаршего благословения народ спаивают, ярыжек по Руси разводят...

— Молчи! — гневно сказал патриарх.

— И царь не радостен! — продолжала гневно Марфа. — А таков ли был он? По церквам не ездит, народу не кажется, верных слуг

разогнал.

— Крамольников, воров, — перебил ее патриарх и пылко сказал: — А что до дел государственных, то не твоему уму судить про это! Не унижения царя, а величия хочу я, не гибели Руси, а прославления!

Царь сидел, закрыв лицо руками.

— И вот зазвала вас я за словом моим! — вдруг обернула разговор Марфа в сторону. — Слуг ты разогнал ради девки Хлоповой...

Царь нервно вздрогнул.

— Говорят, хочешь царицей ее сделать, а я говорю теперь тебе: прокляну! — Она, вытянув руку, прошипела эти слова. — Супротивница она мне, супостатка, девка негодная. И даю зарок тебе, сын: нет на сей брак моего благословения. Умру, из могилы запрет налагаю.

— Матушка! — падая в ноги, взмолился царь.

— Прокляну! Прокляну! — твердила Марфа.

Филарет недвижно стоял и, чувствуя свое бессилие пред материнской властью, только нервно сжимал в руках посох.

Царь сотрясался от горького плача. Марфа грозно стояла над ним. Наконец он смирился. Тяжело вздохнув, он выпрямился и кротко сказал:

— Прости, матушка! Не пойду против запрета твоего!

Лицо Марфы осветилось улыбкой, она кинула взгляд на патриарха, и в этом взгляде было торжество упоенного тщеславия. Потом она нежно наклонилась к сыну.

— Желанный мой, не от худа говорила тебе это, а добра желаячи! Тебе ли, солнцу красному, не найти красавицы в своем царстве!

Уныл и печален возвратился царь в свои покои. Снова на миг прорвавшиеся тучи сдвинулись грозной завесой, и уже не видел он сквозь них никакого просвета.

Вначале страх смерти от руки подосланных поляками убийц, потом голод и разорение государства, разбойники и воры, поляки и шведы. У самых ворот московских бились с ляхами!... И снова оскудение казны и тяжкая тревога... и дом без радости, и сердце без отрады, без близкого друга, грозен отец, грозна матушка.

— Господи, ты — моя охрана, мое прибежище и защита, мой покой и отрада! — и, заливаясь слезами, упал царь пред своей

образницей и бился лбом об пол, печалась о своей горькой, сиротливой доле.

А на другой день царский гонец спешил в Нижний Новгород и вез грамоту боярину Шереметеву и князю Теряеву; в той грамоте велено было передать Хлоповым, что Марью Хлопову взять за себя царь не изволит, а самим им — боярину и князю — после того немешкотно ворочаться в Москву.

XI ПРИЗНАНИЕ С ДЫБЫ

Шереметев и Теряев быстро исполнили царское повеление и поспешили обратно в Москву.

Царь принял Шереметева с глазу на глаз и долго расспрашивал его о всякой подробности: и как была одета Марья Ивановна, и какие слова говорила, и была ли лицом радостна, а потом много ли печалилась; и боярин по чистому сердцу отвечал ему на все вопросы. Здорова она была совершенно, красой расцвела еще больше, краснелась много, когда ей допрос чинили, а велика ли кручина ее была, того не видел он, боярин. Больно ему стало за ее девичью честь, и он Ивану Хлопову царское слово передал.

Михаил Федорович закрыл лицо руками и долго сидел так не двигаясь, а потом вздохнул и сказал:

— Матушка зарок с меня взяла. На все Божья воля! Все же спасибо тебе, Федор Иванович! Передай спасибо и князю Теряеву, скажи, что в окольныхи его жалую!

Со смущенным сердцем вернулся домой боярин и тотчас послал гонца к князю Теряеву, находившемуся в своей усадьбе.

Через день прискакал князь бить челом царю.

Михаил Федорович встретил его ласково.

— Люб ты мне,-сказал он, — люб и батюшке моему, а нас сторонишься. До сих пор в Москве дома не поставишь, гостем живешь!

— С завтра строиться, государь, начну!

— Ну вот, так и лучше будет. А там в нашу думу садись!

Князь низко поклонился.

Давно не было на душе у князя такой радости.

— Эх, князь, князь! — сказал ему Шереметев. — А уж как бы всем было легко и радостно под державицем царя нашего, ежели бы он крошечку побольше царем был!

Князь, не понявши, воззрился на боярина.

— Да как же! Суди сам! Поначалу, когда я у всех дел стоял, что было? Надумаешь доброе, всем на пользу, глядь, мать царя-батюшки вступится, братаны Салтыковы посул возьмут и все дело испортят. Разве такой мир мы с Сигизмундом, королем польским, заключили бы? Разве так со шведами расстались бы? А дома что?... Я в делах был не властен, почитай, все матушка царя решала, а у нее за спиной всеми купленные братья Салтыковы. — Боярин глубоко перевел дух. — Вернулся патриарх, взял бразды в руки и, пожалуй, того хуже стало. Положим, порядок словно бы и есть, а беды да лютости пуще. Теперь, смотри, с кого поборов не берут? А крестьян и совсем к земле прикрепили. Слышишь, Годунов, может, из-за того Юрьева дня сгинул, а патриарх его еще пуще закрепил. Смотри, что ни день на правеже по десяти, по двадцати человек вопят. Везде пристава с налогами ездят, а монастырское добро пальцем ни-ни! Множится оно, а народ вопит. Так-то, князь! А царь наш добр и милостив, тих, что агнец, прост, что ребенок, и словно за это все ему поперечь! Надобны, князь, царю прямые люди.

— Я за него всей жизнью, — пылко ответил князь.

В горницу вошел дворецкий.

— Что тебе?

— Да вот за князем Терентием Петровичем засыл.

— От кого?

— От боярина Колтовского!

Теряев быстро встал и вышел в сени, оттуда на крыльцо. У низа стоял стрелец. Увидев князя, он низко поклонился ему.

— Будь здоров, князь, на многие годы! Боярин Яков Васильевич заказал кланяться тебе да сказать, что вор тот, Федька Беспалый, у него в застенке сегодня с утра! Не соизволишь ли заглянуть!

— Благодари боярина на доброй вести! — взволнованно сказал князь. — Я сейчас буду! Да и тебе спасибо! Лови!

Князь кинул стрельцу из кошеля, что висел у пояса, толстый ефимок^[98] и крикнул дворецкому:

— Коня мне!

Полчаса спустя Теряев снова был в знаменитом Зачатьевском монастыре и, сидя с боярином Колтовским в избе, с нетерпением расспрашивал его о Федьке. Боярин опять прихлебывал из сулеи, на этот раз вино аликантское, опять заедал его добрым куском буженины и объяснял все по порядку.

— Ишь ведь горячка ты, князь! Сейчас что сказал? Да ведь я же Федьки, этого вора, еще и не допрашивал вовсе; как обещал тебе, так и сделал. Чини сам допрос, а меня потом каким ни на есть добром отблагодаришь. Слышь, ты ныне при царе близок.

— Снял-то ты Федьку откуда? — спросил князь.

— Да вот поди! Людишки-то мои везде толкаются, опять и средства тут у нас разные есть. Потянули это мы как-то одного скоморошника, а он и укажи: в Ярославле, дескать, теперь Федька этот, там рапату держать собирается. Ну, там его взяли и сюда. Что ж, пойдем, поспрашаем? Боярин поднялся и кивнул князю. Тот пошел за ним.

Они перешли грязный двор и вошли в застенок.

Обстановка и убранство внутри сарая были те же, что в рязанском застенке, только сарай был побольше, да заплечных мастеров число тоже больше. Мастера стояли у нехитрых снарядов, приказный дьяк сидел за столом.

Боярин Колтовский перекрестился на образа, пролез за стол, указал место князю и сказал дьяку:

— Князь Теряев вместо меня допрос чинить будет, а ты пиши, да в случае что — указывай!

Дьяк поклонился князю и снова сел, готовя бумагу и перья. Его изрытое оспой, широкое лицо с огромным синим носом и крошечными глазками, с жиденькой бороденкой и толстыми губами приняло омерзительно подобострастное выражение. Он прокашлялся и сказал мастерам:

— Федьку, по прозвищу Беспалый!

Один из мастеров скрылся. Князь нетерпеливо повернулся на месте. Минуты ожидания показались ему часами. Наконец послышалось бряцание цепей, скрипнула дверь, и в сарай ввели Федьку.

Он был жалок, опутанный цепями; невыразимый ужас искажал черты его лица. Войдя, он упал на колени и завыл:

— Пресветлые бояре, кому что худо я сделал! Разорили тут меня посадские да ярыжки, ушел я в Ярославль, от греха подальше, и там поймали меня сыщики и сюда уволокли. По дороге поносили и заушали^[99], в яму бросили, а чем я, сиротинушка, пови...

— Молчи, смерд! — закричал на него вдруг князь, — ты — Федька Беспалый? Отвечай!

— Я, бояр... — начал Федька, но, взглянув на князя, побелел, как бумага, и не мог окончить слово.

— Знаешь, кто я? — грозно спросил Теряев.

Федька собрался с духом.

— Как не знать мне тебя, князь Терентий Петрович! Когда я с вотчины князя Огренева в Калугу вору оброк возил, ты там при князе Трубецком немалый человек был. В Калуге в ту пору всякий русский...

— Молчи, пес! Знаешь — и ладно! Ответствуй теперь для чего, по чьему наговору или по собственной злобе или корысти ради моего сына ты наказал скоморохам скрасть а потом заточил его?

Федька сделал изумленное лицо.

— Смилуйся, государь! — завыл он. — Никогда я твоего сына в очи не видел, ведом не ведал.

— Брешешь, пес! Говори по правде!

— Дыбу! — коротко сказал дьяк, кивая палачам.

Федьку вмиг подхватили под руки, в минуту сняли с него цепи, еще минута — и уши присутствующих поразил раздирающий душу крик.

Трудно сказать, взяли ли мы с Запада (через Польшу) всю целиком систему допросов с «пристрастием» и весь инвентарь дьявольского арсенала или дошли до него сами, только печать нашей самобытности несомненно лежала и тут. Известно, что от татар мы взяли только кнут да правез, но ко времени описываемой нами эпохи у нас был так полон застеночный обиход, что впору любой испанской инквизиции. Правда, все у нас было проще: вместо знаменитой «железной девы», которая резала жертву на сотни кусков, оставляя живым сердце, у нас имелись две доски, утыканые остриями. Жертву клали на одну доску, прикрывали другой, и для верности на нее ложился заплечный мастер. Вместо не менее знаменитой механической груши, разрывавшей рот, у нас забивали напроосто кляп с расклиньем, вместо обруча надевали на голову простую бечевку и закручивали, пока у пытаемого не вылезали

глаза; ну а клещи, смола и сера, уголья и вода практиковались у нас с тем же успехом, хотя и без знаменитых сапог. Рубили у нас головы, четвертовали, колесовали, жгли и, в дополнение, сажали на кол и зарывали в землю. Несомненно, все это осталось в наследие от Ивана Грозного добрым началом нашей культурности.

Федьку подтянули на дыбу, дюжий мастер повис у него на ногах, и руки, хрястнув в предплечьях, мигом вывернулись и вытянулись, как канаты. Другой мастер сорвал с Федьки рубаху и замахнулся длинником.

— Спустите! — тихо приказал дьяк.

Веревку ослабили. Федька упал на пол. Мастер плеснул ему в лицо водой из ковша.

— Скажешь? — коротко спросил Федьку дьяк, когда тот очнулся.

— Ох батюшки мои, скажу! Ох, светики мои, все скажу! — простонал Федька. — Все скажу!

— Знал, что мой сын? — глухо спросил Теряев.

— Ох, знал! Знал, государик мой!

— Сам скоморохам наказывал?

— Ой, нет! Просто привели, я и признал... да!

— Сына-то? Что ты брешешь? — не утерпел боярин.

— Подтяни! — сказал дьяк.

Блок заскрипел.

— Ой, не надо! Ой, милые, не надо!

— Ты так говори, стоя! — с усмешкой пояснил дьяк.

Федьку поставили на ноги и слегка приподняли его руки; одно движение мастера, и он уже висел бы над полом.

Федька стал давать показания.

Приезжала к нему баба-колотовка из Рязани, Матрена МаксUTOва, прозвищем Огневая. Была она красавицей, ныне ведовством занимается. И привезла она ему наказ от воеводы рязанского, Семена Антоновича Шолохова, чтобы он извел щенков князя Теряева; а за каждого получила сорок рублей, а в задаток полсорока. Бил он, Федька, с ней по рукам, а потом послал в княжью вотчину скоморохов, сговорившись на десяти рублях. Привели князя-мальчика к нему как раз накануне въезда патриарха в Москву от плена польского; он спрятал ребенка, но на другой день рапату разбили, сожгли, и мальчика он бросил. Только это ему и ведомо!

Князь Теряев сидел, сжавши голову руками, и, казалось, ничего не слышал. Признание Федьки изумило его и совершенно сбило с толку. Боярин Шолохов, воевода рязанский... Был он в думе на Москве, потом был послан на воеводство... Вот и все. Не было ни ссор, никакой зацепы. С чего ему?

— Что Матрена тебе говорила, для чего воеводе мое сиротство нужно? — наконец спросил князь Федьку.

— Не сказывала, светик мой, не сказывала. Ой, не тяните. Как пред Богом говорю, не знаю!

Князь махнул рукою и встал. Колтовский вышел за ним.

— Ну, вот, князь, и дознались! Теперь ищи со своего ворога...

— Все мне вороги!

— Что ты? Кто все?

— Воевода этот, Матрена, Федька, скоморохи... Всех изживу!

Боярин усмехнулся.

— Ну, Федьку я на себя возьму. Поспрошаем его насчет казны, а там и на виселицу! Этого воеводу с Матрешкою может, ты и сам доймешь, ну, а скоморох... — боярин развел руками, — много их больно, князюшка!

— Травить псами у себя на вотчине приказал, а сам бью их!

— Не перебить всех! — засмеялся боярин и сказал: — Однако не помяни лихом. Здравствуй, князь, а я пойду по Федькину душу казны искать!-и, хрипло засмеявшись, он пошел в застенки.

Князь вскочил на коня и поехал в дом Шереметева.

Пылкий князь рвал и метал в нетерпении, горя местию к воеводе рязанскому. На другой же день, ни свет, ни заря, поехал он во дворец, чтобы бить челом царю, и вдруг узнал, что царь с матушкой своей поехал к Троице, а оттуда на Угрешь на богомолье. А там столь же неожиданно для всех поехали бирючи^[100] клич кликать, девиц на царские смотрины собирать. Потянулись вереницею по Москве возки, колымаги, забегали царские слуги, размещая всех. Приехал царь, начались смотрины, не до того царю было.

Кинулся князь Теряев к патриарху, тот принял его ласково, но ответил:

— Бей челом царю на том, чтобы он выдал тебе воеводу рязанского головою, а я в стороне. У меня дела государские.

А тем временем дочь боярина князя Владимира Тимофеевича Долгорукова, княжну Марию Владимировну, на верх взяли и царской невестой нарекли.

Не медлил царь, и скоро была назначена свадьба.

Поскакал бы на Рязань князь Теряев и с глазу на глаз переведался бы с воеводою, если бы не удержали его Шереметев да жена. Для исхода своей тревоги взялся он за постройку и стал выводить палаты на Москве-реке, недалеко от Немецкой слободы. Из слободы вызвались помогать ему чертежник да кровельщик, и действительно на удивление всем строились пышные хоромы князя. В три этажа выводил немчин терем, а за ним смыкалась церковь маленькая, а там летник да бани, да службы, да клетки, да кладовки, да подклетки. Наконец садовник, тоже из Немецкой слободы, наметил богатый сад с прудом и фонтаном.

Строилась церковка и в вотчине, и, не будь этих строек, умер бы с досады князь Теряев. Только и отвел он душу том, что длинную отповедь в Рязань своему другу Терехову послал, моля его в то же время ни своей бабе о том не говорить, ни воеводе словом не намекнуть.

«А коли можешь окольностью правду допытать, в кую стать он черную злобу на меня имеет, то допытай и, допытавши, отпиши. А я царю бить челом буду, чтобы выдал он мне пса смердного, и ужо правду с дыбы дознаю!».

19-го сентября 1624 года праздновалась свадьба царя Михаила с Марией Долгоруковой. Пышная была свадьба. Весь народ московский своей радостью принимал в ней участие.

Царь был светел и радостен, как Божий день. Молодая невеста сияла царственной красотой, и патриарх со слезами умиления на глазах соединил их руки.

Великое ликование было по всей Москве. Царь приказал выкатить народу две сотни бочек меда и триста пива, и, в то время как пировал сам в терему, народ пил на площади, гулял и оглашал воздух радостными криками.

В четыре ряда были поставлены во дворце столы, каждый на двести человек, а вверху стоял на особом возвышении под балдахином малый стол, за которым сидели царь с венчанной царицей и патриарх.

Когда пир дошел до половины и был дан роздых, во время которого гостям разносили вина барц, аликантское и венгерское, молодая царица встала, поклонилась гостям и вышла из покоев.

Пир продолжался. Время от времени стольники подходили то к одному, то к другому боярину и, поднося ему кубок с вином или блюдо с кушаньем, говорили:

— Великий государь, царь Михаил Федорович, жалует тебя, боярин, чашею вина или блюдом.

Боярин вставал и кланялся царю. Вставали все и кланялись отмеченному, а он в возврат кланялся каждому особняком. Стольник возвращался на место, кланялся царю и говорил:

— Великий государь, боярин бьет тебе челом на твоей милости.

Потом пир продолжался.

Царь особенно жаловал князя Теряева то чашею, то блюдом, а к концу пира подозвал его к себе и стал милостиво говорить с ним.

— Ну, как хоромы твои, князь Терентий?

— Подымаются, государь!

— То-то, стройся, чтобы ко мне ближе быть. Люб ты мне, князь, еще с того времени люб, как со мной на соколиную охоту ездая, спускать кречетов учил.

Князь поклонился.

— А теперь на радостях я тебя порадовать охоч. Слышал, ты все сбирался челом мне бить, да мне-то все недосуг был. Сказывай теперь, в чем твоя просьба!

— Великий государь, на обидчика своего бью челом тебе! — и князь опустил на колени.

— Что ты, князь Терентий, вставай скорее! Говори, кто тебя чем забидел, мы тут думой рассудим! — и царь шумливо показал на всех присутствующих.

Князь поднялся и начал рассказ про свою обиду с того момента, как узнал о пропаже сына. Рассказал про страдания жены, про свои мучения, про напрасные розыски, потом про немцев, про то, как сына нашел, и наконец про допрос Федьки Беспалого и его оговор.

— Что я сделал тому боярину, не ведаю; почему он за меня такое зло замыслил, не удумаю. Прошу, государь, об одном тебя: не прости ты моему супротивнику. Отдай его мне, чтобы я про него правду дознал! — и князь снова повалился царю в ноги.

— Великое злодейство! — сказал, содрогаясь, царь. — Ну да не тужи! Выдам я его тебе головою: сам правду доведешь. Приди завтра утром, при тебе указ припечатаю! А теперь выпей чашу во здравие!

Пир снова пошел своим чередом.

Далеко за полночь пошли гости по домам. Шереметев дорогою сказал Теряеву:

— Отличил тебя нынче государь против всех! Держись теперь верху ближе; выведешь хоромы и сейчас княгиню перевозки!

— Теперь правды дознаюсь! — не слушая его, сказал князь, и его лицо осветилось злобной радостью.

На другой день, сейчас же после заутрени, Теряев явился во дворец бить снова челом царю на вчерашнем посуле.

Странное смятенье поразило его в покоях. В сенях князь Черкасский озабоченно говорил о чем-то с Иваном Никитичем, дядей царя. С царицыной половины спешно вышел князь Владимир Долгоруков.

— Ну, что? — обратился к нему Иван Никитич.

Князь скорбно качнул головою.

— В аптекарский приказ послали.

Князь Теряев подошел к ним и поздоровался.

— Или что случилось? — спросил он тревожно. Князь Черкасский кивнул.

— Царице занедужилось. Как с пира ушла, а в ночь худо ей стало, а теперь кричит.

Все в унынии смолкли.

Дворецкий вышел и сказал:

— Государь князя Теряева пред очи зовет!

Князь вышел и через минуту бил челом своему царю. Вчерашняя радость сошла с лица Михаила и сменилась скорбною тенью.

— Встань! — сказал он князю. — Жалую тебя к руке моей!

Теряев порывисто поцеловал царскую руку.

— Вот то, о чем просил ты. Подай, Онуфрий!

Дьяк спешно подал царю два свитка, скрепленных царской печатью.

— Тут, — сказал царь, — наказ, чтобы того воеводу сменить, а на место его друга твоего Терехова-Багреева, а тут, — он взял другой свиток, — наказ, чтобы шел к тебе Шолохов с повинной головою.

Князь повалился в ноги и крепко стукнулся лбом об пол.

— А ты, Онуфрий, — продолжал царь, обращаясь к дьяку, — немешкотно это с гонцом пошли да еще наказ боярину Терехову изготовь, дабы все описью принял: и казну, и хлеб, и зелье^[101], и свинец, и весь наряд!

Дьяк поклонился.

XII НЕЖДАННЫЙ ГРОМ

Боярин Терехов-Багреев ходил сам не свой, получив послание от своего друга, князя Теряева.

«Что это! — думал он. — И ума не приложу к такому окаянству. Для чего боярин Семен Антонович такое скаредное дело замыслил? Ни в дружбе-то они оба не были, и делить ничего не делили. Поди ж ты! Оплел воеводу этот Федька поганец, и все! Пишет вот князь: „Допытайся!“ Когда ж это я в жмурки играл? Ишь, тоже, допытчика нашел!

Вконец измучился со своею тайною добрый боярин. Ольга Степановна стала приставать к нему.

— Свет Петр Васильевич, да поведай ты мне: или горе какое или черная немощ напала на тебя! Глянь, сокол мой, Савелий наш извелся, на тебя гляючи. Что Савелий! Маремьяниха и та слепая, твое горе чует. Кажется, все у нас есть, полная чаша. Олюша растет на радость, да и жених отыскался. А ты?...

— Уйди! -угрюмо отмахивался от жены боярин. — Не бабьего ума дело — кручина моя, вот что! Умственное дело.

— Так ты бы дьяка Егора Егоровича покликнул.

— Ахти! -всплеснул руками боярин. — Ну, и что ты лотошишь такое! Дьяк! У дьяка душа продажная, а тут тайна!

— Ну, Семена Андреевича. Он -друг тебе, брат названный и думать горазд!

Лицо боярина просветлело. Он закивал головою.

— Вот что дело, то дело! Добрая ты жена, Ольга моя, свет Степановна! Вели-ка, чтобы Савелий спосылал кого за Сенюшкой. Кланяется, мол, боярин и по делу просит!

В тот же вечер, распивая черемховый мед и заедая оладьями, боярин Терехов долго беседовал с другом своим Андреевым.

— А главное, теперь и в толк не возьму, — жаловался боярин, — как мне вести себя с воеводою. Держать хлеб-соль или откачнуться. Прямить ли ему?

Андреев погладил бороду.

— Нет, Петя, сохраним все в тайности и за всем примечать будем. Словно и грамоты ты не получал, а я уж знаю, как дело повести.

Боярину стало словно легче. После того он не раз делил хлеб-соль с воеводою, и мысли о послании князя отошли, у него в сторону.

В те поры был добрый обычай время от времени, скуки ради, пиры устраивать, и на тех пирах добрый хозяин дарил гостей кого чашей, кого блюдом, кого шапкою, а гости, опохмелясь, слали от себя доброму хозяину подарки, отдариваясь. Для корыстных воевод царских этот обычай обратился в большую пользу им. Как оскудеет казна воеводская, сейчас он пир устраивать начинал. Созывал он на пир гостей, людей торговых, купцов проезжих и дарил их скудно, а на другой день ждал от них добрых подарков, и плохо было тому, кто не угождал воеводскому оку корыстному.

Созвал гостей и воевода Семен Антонович Шолохов. Для приличия бил он челом и боярину Терехову, и Андрееву, и многим другим именитым в городе людям. И съехались голи на пир со своими холопами.

Огромная горница была уставлена столами с местами человек на двести; в голове стола сели воевода, губной староста, Андреев и боярин Терехов. Далее сели именитые купцы, еще далее гости именитые, чье отчество на «вич» писали, а затем уже там, где место нашлось, простые гости да посадские из толстосумов.

Воевода захлопал в ладоши, и пир начался. Слуги внесли на огромных блюдах жареных гусей и индеек. Воевода встал, низко поклонился гостям и просил откусать.

— Ешь, Ефимович, во здравие, — с усмешкою сказал рыжебородый купец соседу, — завтра расплачиваться будем.

— В этом году третий раз пирую, грехи наши тяжкие! — вздохнул Ефимович.

Тем временем вверху стола воевода беседовал со своими соседями. Недавно вернувшийся из Москвы дворянин Стрижов передавал московские новости.

— Батюшка-то патриарх, — сказал он, — все по-своему повернул. Поднял это суд да допрос о Хлоповой...

— О царской невесте-то, что сослали? Расскажи, Аким Сергеевич, все по ряду! — запросили гости.

Стрижов откашлялся, погладил бороду и начал рассказывать по порядку о следствии, о посыле в Нижний Новгород, о суде над Салтыковыми.

Тем временем слуги обносили гостей супами, несли щи, лапшу куриную, несли уху и рассольник, каждому по вкусу.

— Ишь ведь, — вставил свое слово боярин Терехов, — как нашему другу Тереше подвезло: вверх идет!

— Это кто? — спросил Стрижов.

— Да князь Теряев-Распояхин!

На лице Стрижова выразилось почтение.

— Важная особа! — сказал он. — Царь при мне его в окольныхчи пожаловал, всякое отличие ему идет!

Андреев взглянул на воеводу и заметил, как его жирное лицо покраснело. Он ткнул боярина Терехова в бок и сказал:

— Да, кроме милостей, и счастье ему! Слышь, сына-то у него скоморохи скрали, а теперь...

— Что! Или еще не родился?-хрипло спросил воевода.

— Нет! Сыскал князь сына-то!

— Врешь! — не своим голосом проговорил воевода, причем его лицо посинело, а жилы на короткой шее вздулись.

— Зачем врать! Пес врет! — ответил Андреев. — Да еще поймал князь главного татя, Федьку какого-то Беспалого, пытал его, тот с дыбы ему доказывал!

— Меду! — едва слышно прохрипел воевода, быстро отстегивая запонку на вороте рубахи.

Даже гости испугались вида воеводы и повставали с мест. Однако Шолохов оправился и грубо сказал:

— Чего повылезли? Чай, еще и не в полпире! Эй, медов!

Слуги торопливо забежали, разнося меды, томленные и вареные, малиновый, черемховый, яблочный, смородинный и прочих ягод.

Началось питье. Воевода, видимо, оправился и торопил гостей пить.

— Пей, душа меру знает! — выкрикивал он время от времени.

После питья началась снова еда. Понесли жирный курник, оладьи, варенухи, бараньи почки, одно за другим, все тяжелые блюда, от которых немцу давно был бы карачун. Наконец наступило время попойки. Слуги убрали все со стола, и поставив пред каждым гостем чашу или стопку, или кубок, начали разносить мед и вина.

Воевода встал и громко сказал:

— Во здравие и долголетие великих государей наших, царя Михаила Федоровича и родителя его, преславного святого патриарха всея Руси Филарета Никитича!

После этого он выпил до дна свою чару и опрокинул ее над своею головою.

— Во здравие и долголетие! — подхватили гости и всяк проделал то же.

После этого началось пьянство. Стали поочередно пить за воеводу, за губного старосту, за стрелецкого голову, за боярина Терехова, за Стрижова, за прочих дворян, а там за каждого гостя по особому.

— Пей, собачий сын! — орал то на одного, то на другого пьяный воевода. — Не то за ворот вылью!

Гости пили поневоле.

Стало темнеть. В горницу внесли пучки восковых свечей. Пьяный крик и смех смешались в общий гул, как вдруг дворецкий подбежал к воеводе и что-то зашептал ему.

Воевода словно протрезвился, гости стихли.

— Ко мне гонец царский! — громко сказал воевода. — Кличь его сюда, встречай хлебом-солью! — и он торопливо встал и, шатаясь, пошел к дверям.

В дверях показался посыльный дворянин Ознобишин. Воевода опустился на колени и стукнул лбом в пол.

— Воеводе боярину Семену Антоновичу Шолохову грамота от государей! — громко сказал гонец.

— Мне, милостивец, мне! — ответил воевода. — Пирование у нас было малое. Не обессудь!

Гонец подал две грамоты воеводе. Тот обернул руку полою кафтана, принял грамоты и благоговейно поцеловал царскую и патриаршую печати.

— Може, на случай здесь есть и боярин Петр Васильевич Терехов-Багреев? — спросил гонец.

— Здесь, здесь! — ответили протрезвившиеся гости.

— Здесь я, батюшка! — отозвался Терехов и встал.

— И до тебя грамота от государей, — сказал гонец, протягивая свиток, после чего сбросил с себя торжественный тон и просто сказал: — Ну, потчуй!

Воевода встрепенулся.

— Откушай за здоровье государей! — сказал он, беря с подноса, что держал уже наготове дворецкий, тяжелый кубок, — а кубком не обессудь на подарочке!

— Здравия и долголетия! — ответил Ознобишин и махом осушил кубок.

— Сюда, сюда, гость честной! — суетясь повел гонца воевода в красный угол. — Здесь тебе место. Чем потчевать?

Гонец как-то лукаво усмехнулся и ответил:

— Грамотки бы прочел сначала!

— Читай!... Читай! — загудели гости.

Воевода и сам торопился узнать содержание грамот и теперь растерянно искал глазами своего дьяка, но на пустом месте, где прежде сидел дьяк, торчали только его здоровенные, железом подкованные сапоги, сам же он уж мирно храпел под столом.

— Свиные подобен! — со злобным отчаянием сказал воевода.

Андреев поднялся и сказал:

— Давай, что ли, боярин, я прочту!

— Прочти, прочти, светик, — обрадовался воевода, протягивая Андрееву свитки.

Последний взял их и, поцеловав печати, осторожно развязал шнуры и распустил один из свитков. Кругом все стихло.

Андреев откашлялся и стал читать:

«Воеводе рязанскому, боярину Семену Шолохову. Бил челом на тебя нам, государям, наш окольный, боярин князь Терентий Теряев-Распояхин на том, что ты в умысле злом и лукавом заказал Матрешке Максutowой, бабе подлой скрасть его сына Михаила».

— Господи помилуй! — пронеслось промеж гостей.

Воевода стоял, держась за край стола, и смотрел на Андреева безумным, недвижимым взором. Его шея вздулась, лицо посинело. Он

судорожно рвал на вороте рубаху.

«А та баба подлая сие дело скаредное, — продолжал читать Андреев, — поведала Федьке, прозвищем Беспалому, что в приказе обо всем с дыбы покаялся. И мы, государи, сие челобитие князя приняли и на том порешили: чтобы ты, боярин, сие дело скаредное учинивши, шел с повинною до князя, коему выдаем тебя головою!» А подписи, — закончил Андреев, — «Божьею милостью великий государь царь и великий князь Михаил Федорович и многих государств государь и обладатель». А другая: «Смиранный кир Филарет Никитич, Божьею милостью великого государя царя и великого князя Михаила Феодоровича, всея Руси самодержца, по плотскому рождению, отец, волею Божьей по духовному чину пастырь и учитель и по духу отец, святейший патриарх московский и всея Руси».

Андреев замолчал. Наступила гробовая тишина.

Воевода тяжело перевел дух и прохрипел:

— Читай другую!

Андреев развернул.

«Боярину Семену Антоновичу Шолохову. Приказываем мы, государи, сняться с воеводства рязанского и все дела свои, и росписи, и весь обиход и наряд воеводский, зелье, казну, свинец, хлеб и пушкарский обиход сдать по росписи боярину Терехову-Багрееву, кому воеводство править и нам прямить!».

— Жжет! — не своим голосом крикнул воевода и гневно упал на стол.

— Дурно ему! Воды! Знахаря! — закричали смутившиеся гости.

— На воеводстве тебя, Петя! — сказал Андреев, подходя к Терехову-Багрееву.

Боярин с ужасом замахал руками.

— Господи, страсти какие! — прошептал он.

Тем временем воеводу слуги унесли в опочивальню. Гости стали расходиться, низко кланяясь новому воеводе.

Вдруг к последнему подошел дворецкий.

— Боярин просит тебя к себе!

Терехов быстро поднялся, несмотря на свою тучность, и поспешил к бывшему воеводе.

Тот лежал, как гора, на широкой постели и тяжело храпел. Из свесившейся руки в глиняный таз текла черная кровь, ловко выпущенная татаринoм-знахарем. Увидев Терехова, он глазами подозвал его к себе и зашептал:

— За попом послал! Смерть идет. Где же мне до князя с головой... тебе покаюсь... Грешен я... сбил меня мой дьяк с тобой породниться... для того и княжонка я скрал... Прости!...

— Бог простит! — не веря своим ушам, смущенно пробормотал Терехов.

В это время в опочивальню вошел священник.

Воевода рязанский смещался со своего места Божьею властью.

А через несколько времени и в стольном городе Москве произошло событие великое и горестное. Князь Теряев-Распояхин уже отстроил свой дом и сад разбил, и церковку домовую освятил; перевез он жену со своим Мишею, оставил в вотчине славных немцев Штрассе и Эхе, но все еще медлил править новоселье.

Не до того было всем близким до царского верха людям. Все разделяли царскую тревогу и печаль и ходили унылые, словно опальные. С утра по Москве несея колокольный звон и народ толпился в церквях, молясь о здравии молодой царицы. С того самого часа, как встала царица из-за пира, занедужилась она, и вот уже третий месяц был на исходе, как хуже и хуже становилась ее болезнь. Приковала она ее к постели, высушила ее тело; очи ее ввалились, нос заострился, на щеках словно огневица горит, и все кровью царица кашляет, и рвота ее мучит. Доктора голову потеряли, видя, как тает красавица. Стали знахарей из Саратова звать, с Астрахани, с Казани — и ничто не помогало царице.

Измученный скорбью царь неустанно молился, и его уста только одно шептали:

— Божий суд! Наказует меня Господь за недоброе с Марьей Хлоповой!

Свою мать ему было боязно видеть. Свободное время он боялся оставаться один, окружая себя ближними, сидел между ними, не говоря ни слова, унылый и скорбный.

Только время от времени приходили к нему сверху и докладывали о здравии царицы. А она, голубка, лежала медленно сгорая от злой

болезни, и думала горькую думу о людской злобе, что позавидовала ее счастьем и почестям

Царь сидел за столом. Вокруг него стояли бояре.

Ближе всех князь Теряев и Шереметев с Черкасским. Ждали часа, когда ударят к обеду, а до того царь принимал челобитные. Но ни на одного из вошедших даже не глянул царь, и бумаги отбирал Шереметев.

И вдруг среди тишины вместо звона церковного донеслась в горницу скоморошья песнь:

Эй, жги!
Ехал дьяк по улице
На сиротской курице,
А жена за ним пешой,
Заметая след полой...
Эй, жги!

Пел пьяный голос и слышался звон балалайки. Бледное лицо царя окрасилось румянцем. Он выпрямился и гневно сказал:

— В час скорби скоморошья песня! непригоже!

Князь Теряев вдруг рванулся с места. Его глаза загорелись.

— Государь! — сказал он, — скоморошье дело — бесово дело! Только людей сбивают с пути. А ныне и того оно богопротивнее. Дозволь скомороший обиход изничтожить!

Царь устало кивнул головою.

— Негожее дело, срамное дело, — тихо сказал он, — и отцы наши говорят: «И думал истинно, како отвратить людей от церкви, и, собрав беси, преобрази в человека и, идяще в соборе велице, пришед во град и вси бияху в бубны, друзия в козищи и в свирели и иные, сквернословя и плясахом, идяху на злоумышление к человеку; мнози же оставивши церковь и на позоры бесов течеху».

Но Теряев уже не слышал царской речи. Как голодный зверь, выбежал он из дворца, прыгнул на своего коня и, крикнув челяди: «За мной!», — понесся по улице.

Пьяный посадский брэнчал на балалайке, выводя тонким голосом:
Эк, жги, говори, говори!...

Князь наскочил на него, и в один миг балалайка вдребезги разлетелась о голову посадского. Князь бросил обломанный гриф и сказал:

— Царь запретил скоморошьи приборы. Иди и бей их!

Посадский обалдело смотрел ему вслед, потом вдруг заревел: «Бей скоморохов!» — и бросился с этим криком по улице.

А князь скакал, направляясь в самое шумное кружало на Балчуге.

Как всегда, там стоял дым коромыслом: скоморохи пели и плясали, дудели, играли и барабанили на потеху ярыжек. Князь ворвался и приказал именем царя отбирать от скоморохов гусли, свирели, домры, бубны и угольники. Скоморохи подняли вой, но князь с каким-то жестоким удовольствием разбивал их инструменты и кричал:

— Будет вам народ соблазнять!

Три дня он со своею челядью рыскал по городу, именем царя уничтожая скоморошьи инструменты. Разбитые, с порванной кожей, с оборванными струнами валяли на возы и посылали в разбойный приказ на сожжение. Рассказывают, что в эти дни пять полных возов было сожжено палачами.

Князь Теряев словно успокоился, насытив жажду мести скоморохам: с того момента, как он получил от Терехова-Багреева отписку с рассказом обо всем случившемся, вся его ненависть сосредоточилась на одних скоморохах, и теперь сразу ему стало легче.

На другой день он даже вызвал слабую улыбку на лице царя, когда рассказывал про свой поход против скоморохов. Царь одобрительно кивал головою.

— Богу, слышь, сие угодно было, — сказал он, — царице полегчало!

Все окружающие благоговейно перекрестились.

— Слышь, — продолжал царь, — с Казани мурза прибыл, настой из трав ей дал, ей, голубке, и легче стало. Был у нее я ныне от утрени, говорил. Такая-то она ныне хлипкая стала! — Царь замолк, а потом он обратился к князю: — Ну а у тебя что? Был воевода головою?^[102]

— Нет, государь! Помер.

Царь широко перекрестился.

— Упокой Господи душу раба твоего... как его-то?

— Симеона...

— Симеона, — повторил царь. — С чего же он помер?!

Князь рассказал все по порядку.

Царь опять перекрестился.

— Видна карающая десница Господа. Истинно, суд Божий! Осудил и казни обрек слугу неправедного. Что там? Чего вы молчите? — Он вдруг поднялся с кресла и тревожно взглянул на Шереметева, который только что вошел. Слышно было, как в сенях тревожно бегали люди. — Что там? -

повторил царь, бледнея.

Дверь распахнулась и в горницу с плачем вбежал князь Долгорукий.

— Кончается! — проговорил он, рыдая.

Царь выпрямился, но тут же покачнулся. Шереметев и князь успели подхватить его под руки...

Прорезая воздух уныло, гулко ударил колокол. Царь опустился на колени и заплакал.

— Кончается!... — произнес он. — Господи, я грешен, я виновен, меня и карай. За что ее-то!

Божья воля творилась: царица тихо и безболезненно кончалась, после трех месяцев непрерывной болезни, начавшейся с первого дня свадьбы.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЗАГУБЛЕННЫЕ ЖИЗНИ

І В ДОРОГЕ

В апреле 1632 года, в конце Фоминой недели, по весенней распутице медленно подвигался по рязанской дороге богатый поезд. Впереди ехал отряд человек в двадцать на конях, вооруженный пищалями и бердышами, за ним двигалась огромная колымага, запряженная восьмеркою лошадей цугом; позади нее двигалась, везомая шестеркою, другая поменьше, а дальше целый обоз со всякою рухлядью и съестными припасами и толпа дворовых мужчин, женщин и детей, словно партия переселенцев.

В передней большой колымаге на широкой скамье лежала девушка красоты русской, удивительной и, обратив свое лицо к низкому потолку колымаги, казалось, Дремала. На скамье против нее сидела полная, пожилых лет женщина, а рядом с ней маленькая, толстенькая, в ватном шугае^[103], несмотря на весеннее тепло, старушка, на сморщенном лице которой не было видно ничего, кроме живых, острых темных глаз.

Пожилая боярыня, откинувшись в угол полутемной колымаги, молча любовалась своею красавицею-дочкой, а старушонка беспрерывно суетилась и шамкала:

— Ох, ох! Уж и надумал же боярин с ума большого! На Москву, вишь, занадобилось! Всем домом; родного детища не жалеть! Что, Олюшка, изморилась? А утрясло всю? Может, касаточка, испить чего?

— Оставь, мамка! — капризно отозвалась молодая красавица.

— Ну, ну, лежи, золотце мое, жемчужинка! — И старуха, забывая о жарком дне, прикрыла ноги девушки теплым платком. Однако красавица нетерпеливо сбросила его ударом ноги.

— Ну, ну, лежи, брильянтовая! — прошамкала старуха, поднимая платок с пола, и снова стала ворчать: — Ему што! Один себе разлегся там и лежит! Трясет его, не трясет — горя ему мало. То и дело кричит — браги ему! А как вам-то, золотые? И не спросит, толстый!

— Оставь, Маремьяновна! — остановила ее пожилая боярыня. — Пустое говоришь.

— Как пустое! — вскинулась Маремьяновна. — А на какую статью он нас потащил! Праздников не отпраздновали даже как след. Словно басурмане. Скучно ему без нас, что ли? А нам всего так-то трястись, словно масло бьют из нас. Еще вот, не приведи Господь, нападут какие лихие люди!

— Наше место свято! — вздрогнув, перекрестилась боярыня. — Что это ты какое страшное говоришь!

— И очень просто! — ворчала старуха. — Боярину и горя будет мало. Ну, скажи, на какую статью поволок он нас? А?

Боярыня лениво обернула к ней свое лицо и, видимо, уже не в первый раз, проговорила:

— Зачем? Познакомиться мне с княгиней Теряевой надо, Олюшка Москву поглядит, а там, глядь, и свадьбу справим. Душой успокоимся. Петр-то Васильевич все беспокоится, самому видеть хочется.

Молодая красавица, все время недвижно лежавшая, при словах матери взволновалась. Ее лицо вспыхнуло, потом побледнело, и она торопливо отвернула его в сторону, чтобы укрыться от зорких глаз Маремьянихи.

Но та словно загорелась от слов своей боярыни.

— Срам, один срам! — забормотала она. — Где же это видано, чтобы девицу к жениху везли! Сам-то он не может приехать, что ли? Накось! Нашу горлинку везем да чужим людям подбросим. Прямо срам один!

— Ну оставь пустое, мамка! Достань-ка квасу лучше испить. Уморила я!

— И то уморишься, — заворчала старуха, шаря в рундучке под скамьей, — ишь ты, как встряхивает!

— Матушка, откинь занавеску! — попросила дочка-красавица.

Боярыня посмотрела на кожаные занавески, что закрывали двери колымаги, и грустно вздохнула.

— Боязно, доченька, по дороге народ всякий ходит.

— Чуточку, матушка!

Боярыне и самой было душно невогону. Она решилась и осторожно с краешка подняла занавеску. Воздух свежей струей волился в тесное помещение колымаги.

Маремьяниха достала квас и кружку, и боярыня жадно стала пить.
— Испей и ты, Олюшка, — обратилась Маремьяниха к девушке, но та только нетерпеливо махнула на нее рукою, быстро села и высунула свою головку за занавеску.

Однако мать тотчас отдернула ее в глубь колымаги.

— Что ты, что ты, бесстыдница! Вдруг еще батюшка увидит! — испуганно прошептала она.

Но батюшка увидеть такое своеволие не мог. В следующей, что поменьше, колымаге, распоясавшись и разувшись, жирный, толстый, разморенный дорогою, он крепко спал на устроенном ему из двух сидений ложе.

Этим спящим человеком был не кто иной, как боярин Петр Васильевич Терехов-Багреев.

От 1619 года, с которого начинается настоящий рассказ, прошло тринадцать лет, и боярин сильно постарел и опустился в течение этого времени, чему немало способствовала его тихая, спокойная жизнь. Два года он повоеводствовал в Рязани, где за него все дела правил шустрый дьяк, Егор Егорович. В эти два года воеводства, по обычаю того времени, приумножил Терехов свои богатства и, порадевши славным государям, сошел с арены общественной деятельности и зажил как бы в полусне с любимую супругою Ольгой Степановной. Тишину их дома нарушала только полная жизни красавица Оля, которой пошел уже семнадцатый год. Вырос в это время в Москве и молодой князь Теряев, и его отец уже напомнил своему другу их общий обет.

Думал боярин, как исполнить обещанное, чтобы успокоить свою душу, а тут вдруг и подошло подходящее случаю дело.

В Польше скончался король Сигизмунд и наступила временная смута. Пользуясь ею, надумали государи русские войну с Польшею и того ради созывали на Москву земский собор.

Воевода рязанский с торговыми людьми пришел поклониться боярину Терехову-Багрееву, чтобы он от Рязани ехал, и боярин, обленившийся и неповоротливый, тут сразу решил исполнить общую просьбу.

— Одно к одному, — сказал он жене, объявляя свое решение, — возьму вас с собою. Там мы и Олюшку отдадим. Познакомитесь вы, пока я в соборе сидеть буду.

— Твоя воля! — покорно согласилась боярыня и стала готовиться к дальнему пути.

Молодая же Ольга, едва прослышав про дорогу в Москву и намерение своего отца, сомлела и хлопнулась на пол в своей светлице. Маремьяниха, приводя ее в чувство, сожгла чуть ли не целый петушиный хвост и собиралась уже за знахаркой бежать.

Пришла в себя Ольга, и вся ее веселость словно отлегла от нее навсегда. Стала она задумчива и печальна, словно какая-то скорбь сосала ее сердце.

И никто не мог понять ее печаль. Маремьяниха ворчала и бранилась:

— Статочное ли дело девушку к жениху везти! Где видано такое? Известно, со стыда сохнуть Олюшка начала, потому дело невиданное!

— Просто боязно! — поправляла ее боярыня. — Впервой в дороге быть, ну и страховито!

— Одно глупство, — заявил боярин, прослышав про печаль дочери, — выйдет замуж, княжной станет. Москву увидит, и всю ее печаль как рукой сымет!

Никто не знал, отчего запечалилась так Ольга. Знали про ее печаль только сердце ее да еще сенная девушка Агаша, с которой боярышня привыкла делиться своими думами.

Сборы у боярина шли спешные. Прошли унылые дни Великого поста, настали светлые дни Пасхи Христовой, и на третий день праздника боярин стал уже торопить всех к отъезду, чтобы отойти от Рязани не позже Фомина воскресенья. Составил он обоз, снарядил охрану, определил челяди, кому идти с ним на Москву, и приготовил подарки.

И вот вскоре все очутились в дальнем путешествии.

Однако не одна Ольга запечалилась, прознав, что увезут ее в Москву в замужество с незнакомым князем. Запечалился в доме Терехова боярский холоп, кабальный человек Алеша Безродный. Он побледнел, осунулся, и боярин, разговаривая с ним, только диву давался.

— Да что у тебя, хворь какая-либо приключилась? — спросил он. — Так сходи к знахарю. Слышь, у Ефремыча от всякой болезни заговор или зелье есть.

— Ничего со мною, боярин, не случилось, — ответил на такие слова Алеша, — только так что-то закручинилось.

— Ну, ну! — тяжело отдуваясь, произнес боярин. — Эту-то кручину у тебя мигом в Москве снимут!

При этих словах еще бледнее стало лицо Алеши. Хоть и был он кабальным человеком у боярина, а вся семья, и дворня, и прочие кабальные люди любили Алешу за его силу, удаль и за добрый, веселый нрав. Маремьяниха, часто вздыхая, говорила ему:

— Эх, Алеша, Алеша, загубил ты свою жизнь! Не такая судьба тебе была писана.

А Алеша встряхивал головою и отвечал:

— Может, я сам того искал, бабушка!

Леонтий Безродный, рязанский посадский, захотел в люди выйти и торговлишкой заняться, а для того занял денег у боярина Терехова. Только ничего не вышло с этой торговли: проторговал он весь свой достаток, домишко и землю, что в пригороде имел, проторговал все деньги, что дал ему Терехов, и с горя повесился.

Сыну его, Алеше, тогда шестнадцатый год шел. Остался он сиротою круглою, да еще с порухою на имени, и не вынес того. Пришел к боярину, поклонился ему земно и отдался ему в кабалу^[104] за отчий долг.

Боярин не хотел брать его, да Алеша стал просить его, и взял его боярин на десять лет.

Вскоре отличил Терехов его ото всех и поставил во главе своих служилых людей, доверив ему личную охрану.

Отличила его и Ольга среди всех прочих своим сердцем, только что открывшимся для любви, а что касается Алеши, то он только и дела делал, что не сводил взора со слюдовых оконцев светлицы боярышни.

И случилось раз ненароком им встретиться в густом саду за сиренями. В те поры цвела она, сирень эта, цвели и яблони, и черемуха. От одних весенних запахов кружило голову, а тут еще свистел соловей, задорно выкрикивал коростель; так где же было устоять молодым сердцам, переполненным жаркою любовью? И нежданно сплелись руки, и замерли уста на устах.

Потом признался Алеша боярышне, что подстерегал ее в кустах, когда она одна пойдет. Стерег для того, чтобы высказать свею душу и

разом решить свою судьбу.

— А если бы ты не люб мне был? -лукаво спросила боярышня.

— Ушел бы, улег бы... ушел бы на Волгу, к зарубежникам и стал бы разбоем против ляха да татарина промышлять!

— Ой, что ты! -со страхом воскликнула Ольга и крепко приникла к юноше полною грудью.

И любилась они, как голуби, ни о чем не думая, ничего не опасаясь, пока вдруг не услышала Ольга решение своего отца, громом разразившееся над ними.

— Агаша, милая моя, Агаша, я тебе ленту алую подарю... оповести Алешу, чтобы нынче в саду ждал меня! -молила Ольга свою наперсницу, узнав роковую весть.

— Чего уж ленту,-ответила верная подруга, — и так скажу.

И в тот же вечер свиделась Ольга с Алешей и горько плакала, а он стискивал зубы и хмурил брови, словно терпел мученическую муку.

— Что же ты, или не знала того ранее? — угрюмо спросил он.

Ольга заломила руки.

— Ой, знала! Матушка да Маремьяниха иногда шутя говорили про то, да мне и не в голову! Так, думала... далеко!...

— И что же он? Молодой?

— Мне в погодках... слышь, на два, на три старше. Да не люб он мне, не люб! -страстно воскликнула Ольга. — В могилу лучше, чем за немилого. Ты мне люб!

Алеша порывисто прижал ее к себе.

— А что сделаем? — прошептал он. — Бежать? Как зверям, по лесам рыскать, из оврага воду пить, коренья есть, а там тебя, голубку, в разбойное гнездо завести!...

Ольга вздрогнула.

— Подожди еще, что будет, — с горечью заговорил Алеша, — еще не отдают. Придет время, подумаем еще! А может, ты еще и батюшку с матушкой уговоришь как-либо.

Нерадостные расстались они, и отлетело от них веселье. Спустя неделю сказал своей милой Алеша:

— Слышь, твой батюшка меня с собою берет, над охраною головой... тебя беречь. Ну, и то ладно. Не оставлю значит, тебя, ласточка, и в Москве. А там видно будет! Не кручинься, а то и мне невтерпеж становится!

— Тяжко мне, Алеша, до смерти!

— А мне-то!

А потом Ольга мучила Алешу:

— Слышь, князь-то, мой суженый, говорят, молодой и статный. Царем отличен; в иные земли посылали.

— Ой, не мучь ты меня! — стонал Алеша.

— Любый мой! Сокол! Да краше и лучше тебя мне ни кого нет! — отвечала Ольга и начинала ласкать его и целовать затуманенные очи Алеши.

И до самого дня отъезда ничего они не надумали против надвигавшейся на них грозы.

Тронулись они в путь, и миновали их красные дни. Все время Алеша ехал впереди своего отряда, зорко всматриваясь по сторонам, нет ли где засады, а боярышня томилась в душной колымаге и только изредка, урывками, где-нибудь на привале, доводилось им взглянуть друг на друга.

Ехали они все вперед и вперед, и оба думали почти одну и ту же думу: как они жить в Москве будут, как им свидеться там придется и что делать, когда ударит последний час. Думали, но ничего придумать не могли и только мучили свою душу тоскою и отчаянием.

II НАПАДЕНИЕ

Медленно подвигался поезд Терехова-Багреева, приближаясь к Москве. Боярин вышел из своей колымага размять ноги и подозвал к себе Алешу.

— Где будем теперь? — спросил он.

Недалеко от Коломны, боярин, — ответил Алеша, — думаю, к ночи до Коломны добраться. Верст двадцать всего!

— Ну, ну! — сказал боярин, знаком руки отпуская его от себя, и задумался.

Вспомнились ему его поиски в этих местах Ольги, атаман шишей Лапша, поляки, князь Теряев. Он оглянулся вокруг и вздохнул. Может, тут вот не одна сечь была с ляхами. Дорога шла широкой, извилистой полосой посреди леса. Сколько тут было в свое время засад и засек. Ляхи отбивали обозы у русских, шиши — у ляхов; разбойничали Лисовский, Сапега, казаки и разный сброд.

Боярин подошел к большой колымаге и ударил рукою в кожаную занавеску. Княгиня отдернула ее и выглянула из окна.

— Ты, Петр? — спросила она.

— Я, Олюшка, — ответил боярин, — может, хотите ноги размять? Дорога очень хороша, воздух на удивление!

— Я-то не прочь; как с Оленькой только?

— Ас ней что? — встревожился боярин.

— Да срамотно выйти-то так.

— И... тоже выдумала, матушка, — вмешалась Маремьяниха, — нешто тут сторонние люди есть! Одни холопы.

— И то! Выходите, выходите!

Боярин махнул слугам. Все мигом подскочили к колымаге и помогли вылезти из нее сидевшим.

Вслед за матерью козой выскочила Ольга и глубоко всей грудью вдохнула бальзамический весенний воздух.

— Прыгай, да не очень, — заворчала Маремьяниха, — ишь, бор кругом. Неравно еще зверь выскочит.

— Зверь!... — засмеялся боярин. — А на что у нас стража надежная? Эй, Алеша! — зычно закричал он.

Алексей повернул коня, и его лицо вспыхнуло пожаром, едва он увидел, что любимая Ольга вышла на дорогу. Он ударил пятками коня, подскакав к боярину, спешил.

Ольга взглянула на него и порозовела, встретив его полный страсти и обожания взгляд.

— Слышь, Алеша, — улыбаясь, сказал боярин, — наша старуха рассказывает, что здесь боязно нам.

Алексей тряхнул головою, отчего звякнула на его плечах кольчужная сеть, и ответил:

— Во все глаза гляжу, боярин! Ни зверю, ни ворогу не дам подойти близко даже, доколе жив сам.

— Ну, вот тебе, старая! — усмехнулся боярин. — Ишь, у нас какой воин да охрана! Иди, Ольга, созови девок да побегай малость, а мы с боярыней тихим шагом.

— Агаша! — звонко закричала Ольга, отбегая в конец обоза.

— Ау! — откликнулась ей верная подруга.

Боярин шел медленно, вперевалку, с женою, а невдалеке от них, ведя в поводу коня, шел Алексей. Боярин вспомнил старое время и

князя Теряева.

— У него здесь неподалеку и вотчина есть... громадная! Из нее у него Мишуху-то украли, — сказал боярин.

— Где же она? — спросила его жена.

— Тут где-нибудь. Не видал, Алеша?

Алексей вздрогнул. Само имя князя Теряева было тяжело для его слуха.

— Не знаю, боярин! — ответил он.

— Да беспрерывно увидим ее. Слышь, она как есть на дороге... Что это? — вдруг прервал свою речь боярин и насторожился. — Ровно будто засвистел кто-то? А?...

Они приостановились на дороге. Боярыня испуганно прижалась к мужу.

Замолкли по городам, селам и дорогам звуки жалейки, свирели и гуслей, звон балалайки, ложек и накр, замолкли веселые песни скоморохов, их сказки да присказки, словно исчезли и сами скоморохи со своими медведями и учеными козами, разогнанные властным словом царя Михаила Федоровича. Но не на радость мирным жителям произошло все это. Вместо музыки послышались по лесам и дорогам молодецкие посвисты да лихие выкрики; вместо песен да сказок стали раздаваться ясные крики^[105], а веселые скоморохи обратились в лютых разбойников.

Знакомые нам раскосый Поспелка, Распута, Козел да косолапый Русин соединились в одну шайку под начальством Злобы, рыжего силача, и хозяйничали под Коломною. Эта шайка увеличивалась беглыми крестьянами, иными скоморохами и всяким побродяжным людом, и они дерзали нападать на большие обозы с товарами.

Добрую неделю ждали они обоза боярина Терехова-Багреева. Прознали они, что он чуть ли не со всем добром в Москву едет, и решились попытать свое счастье. Они расположились по двум сторонам дороги еще с ночи в ожидании боярина. С одной стороны сидел в кустах косолапый Русин с Козлом, Распутою и еще десятком человек, а с другой расположился с шестью людьми Злоба.

— Как свистну трижды, в третий во всю — так и высыпай, ребята! — приказал Злоба.

— Ладно, свистни только вовремя! — отозвался Распута.

Все они были одеты в липовые лапти да простые сермяги, стянутые у пояса широким полотенцем, а вооружены кто чем. У гиганта Злобы был огромный бердыш, у других — у кого нож, у кого кистень, у кого пика, у кого пищаль.

Позади Злобы зашуршали кусты, и из них показался Пospelка.

— Уф! — проговорил он, вытирая вспотевшее лицо.

— Идут? — торопливо спросил Злоба.

Пospelка кивнул.

— Идут! Сам из колымаги-то вылез, пеший идет, и боярыня с ним, и девка! Только... того...

— Что еще? — нахмурясь, спросил Злоба.

— Стража при них. Гляди, с полсорока стрельцов да конных столько же... А челяди этой!

Пospelка лишь махнул рукой. Злоба тряхнул головой.

— Не знаешь, что ли, боярских стрельцов да холопьев? Гаркни только, так они вроссыпь! Нас, чай, тоже с полсорока будет! А как идут?

— Впереди эта самая стража, а сзади — челядь, а в середине...

Злоба остановил его.

— Замолол! — презрительно сказал он. — Ты вот что лучше: иди к нашим, — он показал на другую сторону дороги, — и скажи: как свистну, так чтобы на охрану бросились прежде всего. А мы сзади поднапрям! Ну! Живее!

Пospelка выскочил из кустов и быстро, как заяц, перебежал дорогу. Злоба подтянул кушак, засучил рукава сермяги и взял в богатырские руки свой бердыш.

Обоз показался на дороге и медленно подвигался прямо на них. Злоба с товарищами притаился. Обоз двигался, не чуя опасности. Злоба увидел боярина с женою, рядом с ними пешего воина; со смехом пробежала сенная девушка мимо него. Злоба заложил два пальца в рот и протяжно свистнул.

Этот — то свист и услышал боярин Терехов и спросил о нем Алексея.

— Не иначе, как разбойники, — сказал Алексей, быстро вскакивая на коня.

В это время свист повторился.

— Семен, меч мой! — закричал Терехов, чувствуя, как вскипела его кровь.

Маремьяниха всплеснула руками.

— Олюшка! — завопила она. — Олюшка! Дитяtko! Беги сюда!

Словно над самым ее ухом раздался в третий раз пронзительный свист, и дорога огласилась каким-то диким воплем. Грянул залп, а затем послышался шум битвы.

Семен, весь дрожа от страха, подал меч боярину и бросился под колымагу. Ольга, вся дрожа, прибежала к отцу, на руке которого повисла боярыня, и обернула свое побледневшее лицо к месту боя. Она видела, как ее Алексей махал мечом, скача то в ту, то в другую сторону.

— Мамушка, убьют! — закричала она, но Маремьяниха не поняла ее возгласа.

— Убьют, ежели слушать не будешь. Беги за мною!

Она потянула за собою Ольгу, и скоро они все укрылись за ольховым кустом у края дороги. Боярыня бессильная упала на траву. Ольга, сложив на груди руки, с мукою смотрела на бой, видя только одного Алексея, а сам боярин с мечом в руке готовился защищать себя и своих близких.

Злоба верно сказал. После первого залпа смутились воины боярина, и только один Алексей одушевлял их, готовых бежать каждую минуту. Уж очень стремителен и яростен был натиск разбойников. Стрельцы бросили свои мечи и бердыши. Косолапый Русин ухватил брошенную долбицу и махал ею, как легким кистенем, каждым ударом валя человека.

Алексей рубился нещадно. Козел полез ударить его лошадь, но тотчас покотился с разрубленным плечом.

Вдруг страшный вопль потряс воздух. Алексей обернулся и увидел, как вся челядь с женщинами и детьми в паническом ужасе бежит к ним, а за ними с ревом гонятся другие разбойники. Это Злоба ударил в хвост обоза.

Все смещалось. Страшный бердыш Злобы свистел в воздухе, валя людей рядами. Алексей бросился на Злобу, но предательский нож подсек жилы на ногах у его лошади.

Она вдруг осела на задние ноги, и Алексей покотился на землю.

— Ах! — вскрикнула Ольга и упала к ногам своего друга, Маремьяниха, испуганная, подбежала к ней.

— Вяжи его! Не бей! — приказал Злоба, опуская бердыш.

Битва кончилась. Разбитые слуги искали спасения в бегстве, сопротивлявшиеся были частью перебиты, частью связаны, челядь просила пощады.

— А где боярин с боярыней? — спросил Злоба. — Найти их!

Разбойники бросились к колымагам и, не найдя в них никого, рассыпались по дороге.

Скоро раздались крики. Злоба обернулся и увидел боярина с мечом в руке, а перед ним уже двоих убитых.

— Ах, волк тебя заешь! — проворчал он с усмешкою. — Ишь, жирный пес, а как сечется. Ну, вы! — обернулся Злоба к перепуганной челяди. — Коли не хотите по деревьям болтаться, берите его, боярина своего. Только живым, чур! Ну, разом! О-го-го!

Словно стая псов, бросились прежние холопы на боярина и дали ему только два раза махнуть мечом. Стоило это двух жизней, но минуту спустя боярин уже лежал на земле туго связанный, а Маремьяниха неистово ругалась:

— Холопы вы подлые! Вот ужо вам задаст боярин! Натe, на кого руки подняли! Душегубы вы, разбойники! Боярышню-то оставьте, волчья сыть! Уж и быть вам на виселице, подлые!... Чего? Меня? Я вам все глаза выцарапаю! Троньте только.

Тяжкую картину представляло собою наглое торжество бездельных скоморохов. Они свернули весь обоз в сторону от дороги и под прикрытием леса отдыхали, готовясь отъехать в свое становище и там поделить добычу. Боярская челядь свободной толпою разместилась подле возов и лошадей вперемежку с разбойниками, которые уже успели достать жбан меда и упивались им, пересмеиваясь с челядинцами.

— То-то вы, холопыи души, — говорили они, — что баранье стадо! Везут и снeдь всякую, и мед, а жрут толокно, запивают из гнилой лужи. То ли дело — житье наше. Веселись, душа! Чего мой сапог хочет! Есть и мед, и брага, и красная девица! Гуляй — не хочу.

— Эй, красавица, садись ближе! — крикнул пьяный, ухватив за подол девушку.

Та рванулась от него, и тесьмы на ее юбке лопнули.

— Ой, срамота моя!

— Го-го-го! — загудело кругом. — Власий, тащи сюда и другую.
Мы их!

— Давай, девки, хоровод водить!

— Вот им у нас раздолье будет, как подуваем их!

Отцы и мужья оскорбляемых женщин хмуро исподлобья глядели на обидчиков, в то же время и боясь их, а молодые холопы разгоревшимся взором смотрели на наглые шутки разбойников.

а в стороне от них, у ручья, что бежал между двух старых берез, была иная картина. На лужайке рядом друг с другом лежали связанные боярин и Алексей, а подле них сидели рыжий Злоба с косолапым Русином. Тут же неподалеку, под надзором Козла, Пospелки и Распуты, сидели боярыня, боярышня и Маремьяниха.

Злоба сказал боярину:

— Слышь, боярин, мы тебе худого не сделаем, с честью отпустим, только ты нам в Рязань отписочку дай, чтобы нам за тебя и твоих отступного дали. Дашь пятьсот, можешь и волчонка прихватить с собою. Не дашь — кого-кого, а его повесим. Беспременно уж повесим!

Боярин молчал, а Алексей сверкал глазами, готовый порвать веревки и броситься снова в неравную теперь битву.

Ольга с тоскою глядела на него. Угроза повесить Алешу долетела до ее слуха и сжала ужасом ее сердце.

Вдруг со стороны раздались крики.

— Батюшка, бьют! — заорал один разбойник, бросаясь к Злобе.

Тот бешено вскочил на ноги.

Какие— то всадники мяли его разбойников. Один миг -и на поляну выскочил на дорогом сером аргамаке юноша-воин; кольчуга блестела у него как рыба чешуя, легкий шлем горел звездой, в руке сверкал короткий меч.

Злоба с ревом кинулся на него, но молодой всадник вздыбил коня, и тот ударил разбойника копытами прямо в грудь; в ту же минуту в правой руке воина мелькнул чекан^[106], и косолапый Русин со стоном повалился на землю.

— Так их, так, душегубов! — кричала Маремьяниха. — Его берите! его, злодея! убежит! — И она вцепилась в Пospелку.

Тот стал врататься от нее и бить ее по голове; но сзади появился огромный воин на коне; он нагнулся, ухватил Пospелку за ворот и

поднял его на воздух.

Ольга думала, что все это она видит во сне.

Молодой воин соскочил с коня и снял шлем. Черные волосы, остриженные в скобку, высокий белый лоб, ястребиный нос и яркие серые глаза делали его лицо прекрасным.

К нему подскочил всадник и, спешась, сказал:

— Разогнали всех, княже, а коих перевязали. Повесить их, что ли?

— Подожди, — ответил молодой воин, — свяжи-ка и тех!

Он указал на лежавших без чувств Злобу и Русина и подошел к боярину и Алексею.

— Хвала Богу, что поспел со своею помощью, — сказал он, мечом разрезая путы, — вставай, боярин! — И, к удивлению Терехова, он низко поклонился ему и прибавил: — Прости Христа ради, что запозднились!

— Что ты, молодец! Господь с тобою! Тебе ли у меня прощения просить, коли ты всех нас от лютой беды спас? Кто ты, поведай! Было бы ведомо, за кого Богу молиться.

— Княжой сын Теряев-Распояхин, — ответил молодой воин.

— Миша! — воскликнул боярин. — Да ты ли это, княжий сынок? Ольга, глянь! Сын нашего князя! Женишок наш!

— Родной ты мой! — бросилась к руке его Маремьяниха.

Только лицо самого князя при этом возгласе затуманилось, и он исподлобья взглянул в сторону боярышни, которая вдруг потупилась; да Алеша, сперва с восторгом глядевший на молодого воина, что явился словно архистратиг, сразу нахмурился и ревниво сжал кулаки. Но боярин с боярынею не заметили этого; они, забыв о недавней опасности, осыпали князя вопросами.

Он едва успевал отвечать им.

— Случаем набрел я на вас. Батюшка послал меня к вам навстречу, я и поехал, да в Коломне остановился, ждать хотел там. А тут мужичонка прибег, говорит — на обоз напали. Я и поскакал.

— И в самую пору, соколик! — сказала Маремьяниха. — Загубили бы нас лиходеи. Везти к себе хотели.

— Ну, с ними мы управимся! — сказал князь и вдруг, к их удивлению, обратился к огромному белокурому воину на незнакомом языке. Тот ответил ему. Князь обернулся к боярину. — Мы, боярин,

обоз сейчас на дорогу выправим. Дозволь боярыню да боярышню в колымагу посадить, а мы тем часом суд свой срядим!

— Вестимо, вестимо, князек! Ну, бабы! живо! — заторопил боярин. — Сажайтесь, что ли! Алеша, подсади!

Алексей порывисто рванулся помогать женщинам. Его глаза умоляюще взглянули на Ольгу. Она поняла его взгляд и, садясь, крепко сжала его руку.

— Только твоя! — прошептала она чуть слышно.

Обоз осторожно перевели на дорогу. Тем временем князь и боярин сели на сломанное дерево, и князь приказал своему слуге:

— Сходи-ка, Ерема, зачерпни воды да полей на голову вот этому! — И он кивнул на Злобу. Ерема поспешно исполнил приказание. Злоба очнулся. Княжьи слуги встряхнули его за плечи.

— Вставай перед князем! Ну, ну!

— Э! вот кто это! — вдруг закричал огромный воин.

Князь с удивлением обернулся.

— Чего ты, Эхе?

— Чего? Это — тот самый, что тебя украл тогда, маленьким! Я видал! Да! Да!

Злоба сверкнул на него глазами.

— Кого это я крал?

— А князя Теряева?

— Князя? — И Злоба, разинув рот, в ужасе отшатнулся.

— Повесить его! Сейчас повесить! — закричал боярин. — Ах ты, подлая твоя образина! Лиходей окаянный!

— Повесить! — тихо отдал приказ молодой князь и встал. — И будет, боярин! — сказал он. — Дать остальным по полусотне плетей да отнять оружие и взашей.

Скоро обоз двинулся в прежнем порядке. Не хватало только нескольких человек, убитых в схватке, да иные шли перевязанные окровавленными тряпками.

— А ты, что же, пеший? — спросил вдруг князь у Алексея.

Тот хотел отвернуться, но не мог устоять против ласкового голоса князя.

— Коня подо мною убили, — ответил он.

— А мы тебе другого! Эй, Влас, спешься! Дай боярину коня!

Влас быстро спешился и подвел своего коня Алексею. Тот вскочил в седло.

— Не боярин я, — сказал он, выпрямляясь в седле.

— А кто будешь?

— Кабальный боярина, Алексей Безродный! — ответил Алексей и весь вспыхнул, но удивление охватило его, когда он услышал слова молодого князя:

— Все едино. Добрый воин! За что в кабалу пошел?

— За долг покойного батюшки, царство ему небесное.

— Доброе дело! — ответил князь и тихо отъехал к окну боярской колымаги.

Княжьи слуги окружили Алексея. Тот ехал задумавшись. Вот его соперник — совсем особенный человек: и красавец собою, и рода княжьего, и в обращении небывалый.

А в колымаге боярыня и Маремьяниха наперерыв восхищались молодым князем:

— Вот жених так жених! Ах, и счастливая ты, Олюшка! Хорошо надумал батюшка! Ах, хорошо!

— Уж чего и лучше! — подсказала Маремьяниха. — И бодр, и умен, и воин какой! Что бы без него? Пропали бы наши головушки! Ах, и счастливая ты у нас, Олюшка!

А «счастливая» сидела бледная, безмолвная, с горечью думая о своей горькой участи. Нет никого для нее краше ее Алеши, и напрасно прельщают ее и родом знатным, и богатством. А против отцовой воли разве пойдешь? Особенно теперь! Понимала она ясно, с горькой болью, что нежданное появление князя в роли избавителя только крепче связало ее тяжелыми путами.

Понимал это и несчастный Алеша.

Но так же нерадостно чувствовал себя и сам молодой князь. Увидел он свою невесту, и стало ему горько и за нее, и за себя. И зачем, не спросись, поторопились родители связать их обещанием?

III РОЗЫ И ТЕРНИИ ЛЮБВИ

Злосчастный цирюльник Эдуард Штрассе со своею сестрою Каролиною поселился в вотчине князя Теряева-Распояхина и вскоре приобрел полное доверие не только князя, но и княгини, и даже всех

челядинцев. Добрый, ласковый, веселый, много знающий и всегда готовый помочь каждому, он сначала прослыл ведуном, а потом знатным лекарем; князь, переселившись во вновь построенный московский дом, перевел с собою и Эдуарда Штрассе, как домашнего врача, а с ним опять переехала и красавица Каролина.

Оставил у себя тогда князь и храброго капитана Эхе, чтобы обучить своих людей иноземному строю.

Эти «немчины» оказали неоценимые услуги в деле воспитания молодого князя Михаила. Сперва княгиня-мать глаз не спускала со своего ненаглядного и решалась отпускать его только в сопровождении Эхе, невольно чувствуя простодушную честность и мужество шведа, а потом, видя, с какою любовью относятся к ее детищу добродушные немцы, и совсем доверила им своего сына.

Князь не только не перечил ей, но одобрительно говорил:

— И хорошо! Мишенька лишь добро от немчинов научится. Народ они до всего дошлый, а наш Дурад (так все в доме переделали имя Эдуард) ко всему и добрый.

Михаилу в общении с немцами была дана полная свобода.

Полюбил он их и привязался к ним всею детскою душой. Нравилась ему ласковая, обходительная Каролина, кормившая его иногда печеньем; еще более нравился сам Штрассе, который не уставал учить любознательного Михаила, все показывая ему и разъясняя. И все интересовало маленького князя. Узнавал он великие вещи: и как какая трава называется, и отчего день с ночью чередуются, и как живут в иных землях люди, и как дышит всякая тварь, и какая от кого польза, какой от кого вред.

Не уставал слушать Михаил своего добровольного учителя, и потом, когда передавал все слышанное своему отцу, тот с удивлением слушал его и говорил:

— Истинно: учение — свет!

Едва ли не больше всех полюбил Михаил славного Эхе, да и тот привязался к своему ученику в воинском деле. Выучил его капитан ездить на коне и управлять им, выучил стрелять из арбалета и пищали, мечом владеть, кистенем и страшным шестопером^[107], а рассказами о своих походах воспламенил его воображение и расположил сердце к воинским подвигам.

Вырос Михаил на диво окружающим. Говорил он на трех языках: русском, немецком и шведском; знал столько, что смело мог считаться по тому времени ученым, и при своей красоте был едва ли не первым по отваге и ловкости.

Когда в 1630 году из Москвы послали полковника веровать солдат в Швеции, князь отпустил вместе с Эхе и своего сына. Повидал юноша иные земли и иные порядки, и Филарет сразу отличил его.

— Прославит он род твой, — говорил Шереметев князю.

— Давай Бог! — отвечал с самодовольной улыбкой князь.

И все-таки молодой князь Теряев все еще не был государственного дела, не служил даже в ратниках. Князь не раз пенял ему на то, а он отвечал:

— Нешто не у дел я, батюшка? Глянь, у нас теперь своя рать готовая, не хуже тех, что Лесли привел! — И все свое время он посвящал то учению со своими солдатами, которые набирались из княжьих холопов, то учению со Штрассе, по указанию которого он навез много книг с собою. Своё время он проводил то в Москве, то в вотчине под Коломною.

И вот однажды озарилась вдруг его жизнь первым счастьем. Полюбилась ему дворянская дочь Людмила Шерстобитова. Раз зашел князь Михаил в Коломне в церковь к ранней обедне, увидел ее и потерял свой покой. С той поры, куда ни ехал он, везде ему была дорога через Коломну, и каждый раз то у обедни, то у всенощной видал он свою зазнобу.

Не выдержал он наконец и, вспомнив про знахарку Ермилиху, решил обратиться к ней за помощью. В те времена знахарки, бабы-повитухи, были и свахами, и своднями, и на всякое, даже воровское дело за деньги согласны. Князь Михаил пришел к ней и поведал ей свою тайну.

Она затрясла своею седой головой и лукаво прищурила гнойные глаза.

— Ладно, ладно, соколик, подожди денька два времени. Все выложу тебе как на ладонке и про твою любовь слово скажу!

Как в огне горел молодой князь эти два дня. Через два дня он снова пришел к старухе.

— Ну что?

— Узнала, сокол, узнала! Только птичка-то — невеличка, — сказала она, вздохнувши, — дворянская дочка, и бедная! Живет со старухой матерью, а та — вдова убогая. Только и добра, что огородишко да корова. С того и живут. Да дочка, слышь, мастерица жемчугом шить, так каким-то купцам немецким работает.

— Да кто она? Звать ее как?

— А звать ее Людмилю, рода Шерстобитовых. Слышь, у воеводы Шуйского отец ее служил ранее, а потом с Пожарским поляков отбивал, а там, слышь, со шведами дрался и убили его. Людмиле тогда всего два годочка было.

Князь нетерпеливо кинул ей несколько рублей.

— Говори дело, старая! Что про меня говорила ей... Видела ее?

Старуха обнажила улыбкою десны.

— А то как же! И про тебя говорила. Она-то, вишь, тебя заметила. Только я не назвала тебя. Так, говорю, человек ратный! Хи-хи-хи...

— Ну!

— Ну а если ты сокол есть, иди к ее дому задами да огород, как стемнеет, и иди. Частокол-то низкий. А там и она будет!

Князь радостно бросил старухе еще монету и выбежал из избышки. Его сердце билось как пойманная птица. Он увидит Людмилу, говорить с ней будет!... Но когда настала минута свидания и он готовился прыгнуть через частокол, робость охватила его, что ребенка в лесу. Он стоял и медлил. И вдруг в сером сумраке вечера мелькнуло что-то белое. Миг — и князь был подле девушки.

Она робко закрылась рукавом.

— Ой, срам мне! — тихо молвила она.

— Что за срам! — промолвил князь.

И откуда вдруг взялась у него речь! Как жемчуг на нитку, нанизывал он слово на слово. Он говорил девушке про первую встречу, про первые мысли свои, про свою любовь, и Людмила, что соловьиной песни, заслушалась его слов.

— А я-то люб тебе? — тихо промолвил князь.

Она отняла руку от лица своего и улыбнулась.

— Нешто пришла бы?

Князь обнял ее и в первый раз в жизни прикоснулся устами к девичьим устам. Словно огонь пробежал по его жилам, словно вихрь

закружил ему голову.

— Жизни за тебя не жалко! — сказал он на прощание.

— Когда придешь? — прошептала Людмила.

— Завтра!

С этого момента князь Михаил весь переродился. Даже малонаблюдательный Эхе, взглянув на него после его первого свидания с Людмилой, воскликнул:

— Что с тобою, князь, случилось?

Михаил понял его вопрос и смутился.

— А что? — спросил он.

— Да ты словно гетмана Жолкевского полонил! — сказал Эхе.

— Под Коломной полевал...^[108] удачливо очень! — соврал Михаил и покраснел снова.

Однако от взоров пронизательной Каролины он не мог укрыться. Та ничего не сказала ему, а только поглядела на него и тихо улыбнулась.

Все дивились, глядя теперь на Михаила.

Княгиня— мать сетовала ему:

— Что это ты, Миша, со мной нонче и словом не обмолвишься? Сижу я у себя наверху и все думаю, что заглянет сынок, а он — на! — опять на вотчине. Вчера батюшка искал, искал тебя!

— Скучно на Москве мне, матушка, — врал Михаил, — а там ратники мои, полевание...

Князь, занятый теперь в приказе, где на сильных челом бьют, тоже дивился на сына и говорил ему:

— Царь о тебе намедни спрашивал. Слышь, в дворцовые хочет взять, если ты охоч. Патриарх о тебе пытается, про что думаешь, а я тебя и в глаза не вижу — все на вотчине!

— Как повелишь, батюшка, — уклончиво ответил ему Михаил, — только я для верху негоден буду. Мое дело ратное!

— Ну, тем лучше!... Князь Черкасский тебе, хочешь, полк даст!

— Молод я, батюшка, для чести такой. И опять воля своя мне всего дороже.

— Ну, ладно, гуляй до двадцатого, а там и в службу царю! Негоже князьям Теряевым далеко от верху быть!

Дивился и добродушный Штрассе.

— Почему ты так мало читать стал, княже? По три дня не видно тебя. Ни о чем не спрашиваешь. Или наскучило тебе? — спрашивал

он.

— Поотдохнуть охота, — отвечал ему Михаил, — придет зима, там опять займусь поусерднее!

Но пришла зима, и все так же Михаил и от дома на вотчину отлучался, и занимался неохотно с добрым Штрассе. Знал про его дела сердечные только один его стремянный Власий. Только кивнет ему князь — и Власий, не говоря ни с кем, обряжает коней и, едва отойдет вечерня, уже едет с князем своим в Коломну, где ждет его Людмила.

Сжились, сдружились они, ни о чем не думая, вперед не загадывая, живя только своею первой молодой любовью, от которой горели оба жаром желаний и страстей. Прижимаясь к князю, рассказала Людмила ему час за часом свою монотонную жизнь, поведала ему свои девичьи мечты, встречу с ним, рассказы Ермилихи и свою любовь к нему.

— Только все мне думается, что таишь ты от меня что-то — говорила она иногда князю. — Скажи по сердцу чистому, кто ты?

Князь старался скрыть свое смущение горячими поцелуями и говорил ей:

— Князя Теряева ловчий, касатка моя! Из кабальных я; только, Бог даст, скоро князь отпустит меня в вольные люди!

— Ах, пошли, Господи! Уж молю я про это Мать Царицу Небесную. А потом мне вдруг сдается, что ты так это, шутя говоришь!

Бесконечно любя Людмилу, князь однажды привез ей дорогое ожерелье все из жемчуга и толстых крестов. Людмила вся побледнела.

— Не ловчий ты! — сказала она с упреком. — И только обманываешь меня. Ты боярин или князь! Посмеяться надо мной хочешь!

Князь испугался ее обиды и заявил:

— Если бы я и князем был, и даже до царя близким, и тогда не бросил бы тебя, моей голубушки!

Девушка успокоилась, а потом, спустя несколько времени, снова затосковала.

Все труднее и труднее становилось князю утаивать свое имя, и в то же время он понимал, что не позволят ему родители жениться на бедной дворянской девушке. Царь женился! Но царь и холопку возвеличить может, потому что пред ним все — холопы, а княжескому

сыну такой брак неместен. И, думая эти тяжкие думы, князь таил от Людмилы свое княжеское звание.

Однажды она сказала ему:

— Слушай! Иди к матушке моей и откроемся. За меня сватов заслали! Горе мне!

Князь побледнел и растерялся.

— Кто?

— Ахлопьев Парамон.

— Кто он?

— Торговый человек!

Князь ухватился за голову.

— Подожди, дорогая, голубушка моя, я не дам тебя этому холопу. Подожди!... Надумаю я, пока противься. Я же не могу идти с тобою.

Людмила сперва оторопела, потом ухватила его за руки и сказала:

— Теперь говори, кто ты есть? Может, и не Михайло вовсе? Кто ты? — настойчиво спросила Людмила.

— Князь Теряев, — тихо, словно винась, ответил князь.

Девушка пошатнулась.

Он едва успел подхватить ее и осыпал поцелуями.

— Ласточка моя, рыбка, я князь и тебя сделаю княгиней. Матушка моя была мельникова внучка, да батюшка не поглядел. И я упрошу их, подожди только! Видит Бог, я люблю тебя! Разве я обидел тебя, положил поруху, опозорил? Я тебя как очи свои берегу. Лисанька моя, не гони меня!...

— Люб ты мне и князем! — прошептала Людмила, обнимая его.

А на их счастье надвигалась новая гроза. Князь Теряев однажды зашел к жене и сказал ей:

— Вот что, матушка: Михаиле-то уже девятнадцать лет, и все он как-то не степенен достаточно. Пора женить его, а? Ты как мыслишь?

— А мне что же, батюшка князь, ты голова. По моему бабьему разуму и давно пора, да все говорить тебе опасалась. И мне-то скука. С молодою невесткою веселее будет. Опять же внучат погляжу. Мне радость!

— То-то! Я и сам так мыслю! Невеста, слава Богу, есть, искать не надобно. Отпишу боярину Терехову.

— Отпиши, родимый. И нам спокойней, как поженим!

На том и решили, не говоря молодому князю.

А тут и сам Терехов вдруг послание написал: «Еду на Москву по государеву наказу и с собою дочь везу, свое слово помня».

— Михайло, — позвал однажды князь сына, — поди-ка ко мне. Потолковать надоть.

Михаил вошел в отцову горницу, где тот занимался своими приказными делами, и почтительно остановился пред отцом, сидевшим в кресле.

— Вот что, — заговорил князь, — самый ближний друг мой сюда, на Москву, едет. Ты его и не видел, разве по наслышке знаешь. Это боярин Терехов-Багреев. В московское разорение с ним мы побратались. — Князь задумался. На мгновение пред ним мелькнули эти годы борьбы и душевного перелома, неудачная любовь, измена отечеству, раскаянье, вражда с Тереховым и потом крепкая дружба. Но затем он очнулся. — Да! Так вот едет он сюда и, надо быть, в конце Фоминой у нас будет! Так-то! Так его с почетом встретить нужно. Возьмешь ты с вотчины своих ратников, тридцать, сорок, что ли, и встретишь боярина с семьею и к нам сюда проводишь. Опять и опаски ему не будет. Шалят на рязанской-то!

— Слушаю, батюшка.

— А еще, — князь лукаво посмотрел на сына, — при нем боярышня будет, Ольгой звать. Иди, присмотришь к ней-то.

Сердце Михаила дрогнуло; смутно припомнились ему разговоры у матери в терему про заказанную невесту.

«Неужто и правда?» -мелькнуло у него в голове, и тотчас его догадка подтвердилась.

— С другом-то мы зарок дали, — сказал ему отец, — детьми породниться. Ну, так Ольга эта невестой тебе выходит. Да и пора тебе, Михалка, ей-ей, пора! Ну, так вот и собирайся в путь!

Князь встал, подошел к сыну и ласково похлопал по плечу, а Михайло стоял словно приговоренный к казни, а потом едва нашел двери и вышел из отцова покоя.

Одним ударом разбились все его мечты.

Он поехал в вотчину вместе с Эхе и своим Власием, но не решился в этот раз заехать в Коломну — до того смутно было на его душе.

Что делать? Нарушить волю родительскую в те времена не могло прийти ему в голову, равно как и его Людмиле. Мысль о женитьбе на

немилой переворачивала всю его душу.

И с этими тяжкими мыслями, ничего не решив, он выехал навстречу Терехову, отбил его от разбойников и теперь провожал его на Москву.

Видал он мельком боярышню Ольгу, но остался равнодушен к ее красоте. На что она ему, если свою душу он другой отдал? И ему было так тяжело, что он думал: хоть бы послали его на границу под татар, легче было бы.

А боярин Терехов, не отпуская его от себя, все говорил и наговориться не мог, вспоминая свои молодые годы и походы с князем, отцом Михаила.

Обоз медленно подвигался к Москве, и Михаилу думалось, что это его везут на лютую казнь к лобному месту.

IV ГОРЕМЫЧНЫЕ

Михаил послал вперед себя Власа известить отца о приезде его друга, и князь тотчас стал делать распоряжения приеме дорогих гостей. Он для них отвел весь свой зимний дом, так как для летнего времени у него была соответствующая постройка, затем распорядился о размещении слуг и прошел к жене. Лицо у него было довольное.

— Ну, Анюта, — ласково сказал он, — рядись во что ни есть лучше. Вскорости мой друг приедет, ему чару поднеси, да опять и баба его с ним. Готовься!

К приезду Терехова все было готово. Ворота распахнулись настежь, на дворе столпились слуги, и князь подошел к колымаге в то время, когда из нее вылезал боярин. Они крепко обнялись и поцеловались трижды.

А на крыльце с хлебом-солью встретила гостя сама княгиня; едва принял из ее рук боярин блюдо резное, как служанка тотчас подала княгине поднос с чарою меда.

— Откушай, боярин! — кланяясь, попросила княгиня, и боярин выпил мед, после чего трижды поцеловал княгиню.

— Встреть жену да дочку друга моего, — сказал ей князь и повел боярина в покои.

Терехов по дороге стал рассказывать ему приключение с разбойниками и хвалить его сына:

— И молодец, и красавец, и умом смышлен.

Князь довольно улыбался. Он провел боярина в его покои и оставил на время одного.

А княгиня тем временем встретила женщин и проводила их в их помещения.

Трапезовали они порознь: мужчины с мужчинами, а женщины особняком.

Боярин и князь смотрели друг на друга и вспоминали старое житье. Шутка ли, прошло девятнадцать лет! Полысел в течение этого времени боярин, стал дороден, что бочка от пива, и прежний воинский пыл сменился у него добродушной апатией толстяка. А князь был по-прежнему строен и подвижен, и только седина в его черных волосах да легкие морщины выдавали прожитые годы.

И по костюму они разнились. Боярин одел шелковую рубаху, опоясался шнуром и в широких атласных штанах да в сафьяновых ноговицах чувствовал себя совсем как дома. А князь был словно в гостях. И на нем были желтые сафьяновые ноговицы^[109], только они были так унижены жемчугом и камнями, что кожи и видно не было; желтые же штаны из тонкой тафты слегка падали на ноговицы, шелковая красная рубаха была вся расшита по вороту, подолу и рукавам хитрыми узорами, а в вороту была дорогая заплата; костюм довершали легкий зеленый зипун и вся униженная камнями тафья на голове.

— И смотрю я на тебя, Петр Васильевич, — с улыбкой вымолвил князь, — не сломить меня тебе так теперь, как тогда в Калуге!

Боярин покачал лысой головою.

— Где уж! Ты при царе все, а я на воеводстве да на печи у себя. Отяжелел! А тогда-то... Господи Боже мой!

И они вслух стали обмениваться своими воспоминаниями, воскрешая молодые годы, молодые чувства.

— А что у вас на Москве делается? — спросил Терехов.

Теряев расправил усы и начал передавать боярину московские новости.

— Царь через год по кончине царицы снова оженился. И чудно вышло! Скликали на царский двор шестьдесят невест, и все-то на подбор, и все-то именитые, а он, батюшка, возьми да и выбери себе прислужницу! Все диву дались. Царица-то Марфа упрашивала:

«Опомнись! Где видано!» -а он все свое. Взял жену, нам царицу, Евдокию, дочь можайского дворянина Лукьяна Степановича Стрешнева. Ныне ближний боярин, в думе сидит!...

— Диво! -покачал головою Терехов.

— И царица же! Красота и великолепие! Доброта всем на диво. И любятя они, словно голуби. Видно, Бог вразумил их на это! Поначалу родила царица царевну. Ириной нарекли, потом другую, Пелагею, а там и наследника дала царю, Алексея Михайловича. На радость, говорят, растет... третий годок пошел. Ну а что до остального прочего, так пожары одолели. Великие два были: один три года назад, другой -так лет шесть. Монастыри Чудов и Вознесенский, двор патриарший, дом, церкви, дворец, приказы, Кремль, Китай-город, ряды, лавки, разные магазины — все огонь пожрал. Великие бедствия!

— Ох, много Русь-матушка несет бед!

— Подожди, перемелется — мука будет!... Однако надо б нам и женок поглядеть. А? Пойдем-ка, боярин? — предложил князь.

Они встали и направились в терем княгини.

Там княгиня, одетая по дорогой московской моде, вся унизанная камнями и жемчугом, с грубо раскрашенным лицом, уже успела сдружиться с боярыней и ее дочкой и показывала им разные затейливые узоры и материи, что привозили в Москву немецкие купцы.

— А вот и женки наши! — весело сказал князь, входя в теремной покой, и низко поклонился боярыне Ольге Степановне.

Та ответила ему тоже поклоном и зарделась вся, вспомнив его прежнюю любовь и домогательство.

— Знакомь, боярин, с дочкой своею, нашей невестушкой! — продолжал князь Теряев. — Ой, и красавица же она у тебя!

— Как есть твоему молодцу! — засмеялся боярин.

Ольга стояла в углу, закрыв лицо рукавом, и горела вся, как маков цвет; но мало-помалу ее застенчивость прошла, и между всеми завязался общий разговор, начавшийся снова с описания нападения.

Всем было весело в этот день, кроме молодых. Алеше Безродному, как начальнику охранного отряда, отвели особое помещение — малую клеть во дворе; едва вошел в нее Алеша, как бросился ничком на постель и зарыдал протяжно и громко, не боясь быть услышанным. С приездом в Москву, казалось ему, кончилось его

счастье. Можно ли отвоевать невесту у сильного князя, да еще когда к тому же этого брака хотят и сами родители? И при этих мыслях его сердце разрывалось на части.

Был уже вечер, когда Алеша, утомленный, вышел из своей клетки. Вдруг перед ним, словно из земли, выросла Агаша.

— Ты, Алексей? — окликнула она его шепотом.

— Агаша! — радостно встрепенулся Алексей.

— Тсс! Иди за мною! Боярышня тебя повидать хочет.

Сердце Алеши радостно забилось; он осторожно пошел за Агашей.

А та вполголоса хвастливо болтала:

— Теперь самая что ни на есть пора. Все устали с дороги-то. Маремьяниха вовсе без ног лежит, все в доме спят. А я все досмотрела — и где сад, и где собаки, и ходы-выходы. Сюда! — Она быстро скользнула в маленькую калитку и следом за нею Алеша вошел в густой сад. — Сюда, сюда! — торопила его Агаша. — Теперь заверни направо. Тут и боярышня. А я ждать буду.

Алеша быстро пошел вперед, свернул направо и увидел Ольгу. Она стояла прислонясь к дереву, вся облитая лунным светом. Алеша подбежал к ней и порывисто взял ее за руки. Вся его грусть пропала при виде любимой им девушки.

— Дорогая моя! ласочка моя! Золотце! Уж и затосковался я, тебя не видючи. Смерть, кажись, легче, чем разлука. А тут еще и ты подле меня, а словно дальше, чем за морем, за океаном! — поспешно говорил он, прерывая свои слова поцелуями.

Ольга прислонилась головой к его плечу и нежилась в его ласках.

— Вот так бы и умереть! — чуть слышно произнесла она.

От этих слов все сладкие мечты разом оставили Алешу. Грустная действительность снова встала пред ним неотвратимой бедою.

— Оля, да неужто нет тебе выхода? — с отчаяньем проговорил он.

Она тихо качнула головою.

— Сам знаешь! Только быстрая речка...

— Тсс! — он испуганно прижал ее к себе. — Не говори так! Мне страшно от таких речей. Нет, подожди малость, мы еще надумаем.

Она опять кивнула головою и горько сказала:

— Без нас все решено. Еще нас и на свете не было, как отцы все надумали и зарок дали. Слышь, на кресте зарок дали, нам ли

переделать это! Еще немного деньков — и распрощаемся с тобою, Алеша, — Ольга вдруг обвила его шею руками и тяжело заплакала. — Горемычные мы! Бедные мы!

Алеша, сам, едва удерживаясь от слез, старался успокоить ее словами и ласкою.

Вдруг подле них появилась Агаша.

— Или ума решилась? — зашипела она. — Я свищу, гукаю, а они хоть бы что! Иди прочь скорее, обход идет!

Среди наступившей тишины послышались удары палки о палку и смутные голоса.

— Уходи, милый! — сказала Ольга. — До завтра!

Они обнялись.

— Ну, это как Бог доведет! — сказала Агаша. — Да расходитесь, что ли!...

Алеша оставил Ольгу и скользнул в кусты. Он видел как Ольга обняла за шею свою верную подругу, как они медленно пошли по дорожке и скрылись за поворотом. Он тяжело вздохнул и отер рукою глаза. Видимо, конец! Оставалась одна надежда: говорить с самим боярином. Сказан ему все, а там будь что будет. Он решительно встряхнул головой, и в его глазах сверкнул недобрый огонь.

«Все же поведать то Ольге надобно, пусть она решит», — подумал он и медленно пошел в свою клеть.

В это время князь окончил свои вечерние молитвы и собираясь на покой, кликнул Антона, своего любимого стремянного, слугу и друга.

— А где князь Михайло? — спросил он его. — Что-то сегодня его будто с вечера не было?

— Так и есть, господин, — ответил Антон, — еще до трапезы уехавши!

— Куда?

— Надо быть, на вотчину. Всю дружину с собою взял и Власия и ускакал.

Князь покачал головою.

— Ишь ведь какой! Невеста в дом, а он из дома. Как прибудет, скажи, чтобы непременно ко мне явился.

— Скажу, господин!

Антон ушел. Князь, окрестив со всех сторон свое ложе, улегся спать, а тем временем Михаил на взмыленном коне уже подъезжал к

Коломне. Дружину только для отвода глаз послал он с Власием назад в вотчину, а сам один поехал решать свою судьбу, как ему казалось. Он понимал, что борьба против решения отца немыслима, и покорился ему, как неизбежному, но расстаться с Людмилою было выше его сил, и при одной мысли о разлуке его сердце переставало биться. Крепко и долго думал он, пока созрело его смелое решение, и теперь он ехал осуществить его.

«Любит или нет?» — мелькало у него в уме, и он гнал коня, охваченный страстным, непреодолимым желанием решить все дело скорее.

Конь шатался, когда Михаил соскочил с него у ветхой хибарки Ермилихи. Князь ввел его на пустой двор, поросши бурьяном и крапивою, и быстро вошел к старухе.

Та чуть не кубарем скатилась с полатей, когда увидел нежданного гостя.

— Пошли сына коня справить, — сказал князь, — и иди меня слушать!

— Мигом, соколик мои! — льстиво ответила старуха и торопливо вышла из избы.

За сенцами в развалившейся клетки храпел ее единственный сын Мирон. Говорили про него, что он ходит на дорогу кистенем, что немало его приятелей болталось на виселице, только никто не мог углядеть его. А он в кумачовой рубахе, здоровый, как дуб, с наглым лицом, ходил по городу заломив набок свой колпак, и, смеясь боязливым мещанам в глаза, задорно побрякивал деньгами, запустив руки в карманы. И сегодня он только за час до приезда князя вернулся домой и завалился спать богатырским сном, но мать растолкала его.

— Вставай, лежебок этакий! Скорехонько! Слышь, князь прискакал, коня загнал. Обрядить его надо! Ну! Скоро, что ли! Смотри, как я тебя ахну! — И старушонка, не боясь богатырского сложения своего сына, ухватила его за волосы и трянула.

Тот лениво освободил свою голову и, зевая во весь рот, поднялся.

— Ладно уж! Иди!

Старуха побежала назад в избу, где, нетерпеливо шагая из угла в угол, ждал ее князь.

— Слушай, — обратился он к ней, едва она вошла, — жить мне без Людмилы не можно, а меня жениться неволят. Невеста приехала...

— Приворот такой есть, — заговорила старуха.

Но князь тотчас оборвал ее:

— Молчи!... Жениться я должен, а Людмилу отдать другому сил нет.

Старуха закивала головою.

— В вотчине мельница у меня есть, в стороне. Мельника я вон, а ее туда! Просить буду, не упрошу — силой уволоку! вот! А ты, — он наклонился к ней, — что тебе тут? С хлеба на квас. Иди к ней служить! Береги ее, как свой глаз, угождай ей! Я у тебя эту хибарку откуплю, а там — все дам: корову дам, лошадь, луг, сено косить двух холопов оставлю, муки, крупы и десять рублей на год! Иди!

Глаза старухи разгорелись. Она низко поклонилась князю.

— Что же! Я не прочь! Для кого иного, а для тебя, князюшка...

— Лицо князя сразу повеселело. Он кивнул ей.

— Ладно! Так скажи сыну, чтобы ждал тоже. Ты сходи теперь оповести Людмилу что видеть мне ее надо. Я скажу ей. Согласна будет, так я ввечеру Власа пришлю к тебе и все сделаете, ее перевезете. Сын твой да Влас, а ты потом. Ну живо!

— Мигом сокол мой!

Старуха поспешно повязала свой чепец и вышла устраивать свидание, а князь снова заходил из угла в угол, то гневно сжимая кулаки, то схватывая себя за голову

Радостно вздрогнула Людмила, услышав, что князь зовет ее на свидание, едва-едва могла дожждаться минуты, когда ее мать после обеда завалилась спать. Тогда она вышла на огород ждать князя Он пришел, и Людмила прижалась к нему и заговорила

— Что же ты скрылся? И не в стыд тебе? Почитай неделя, как я не видела тебя. Сердце изныло **все**. Думала, бросил ты меня, покинул.

Князь отвел ее руки и дрогнувшим голосом спросил:

— А если бы покинул?

Людмила задрожала, и ее глаза расширились, а лицо побледнело

— Негоже шутить так, — с трудом переведя дух, ответила она

Князь порывисто обнял ее и посадил, а сам сел подле и держа ее руки, заговорил:

— Мне и самому смерть была бы с тобою расстаться. Слушай же что скажу тебе...

И он начал рассказывать ей про свое горе. Рассказывал про дружбу отцов, про их уговор, про участь горькую, неизбежную, про то, что уже и невеста приехала и не уйти ему от своего горя, как от смерти.

Бледнее смерти сидела Людмила, слушая его слова. Чувствовал он в своих руках, как холодеют ее руки, как дрожит она вся словно в ознобе.

— А тебе мать мужем грозитя, замуж неволит, — тихо продолжал князь, — а мне без тебя смерть! Что невеста! Ты моя любя и никто иной А разве пойдешь против отцовой воли? Подумай! И вот что надумал я. Слушай.

И ласково убедительно заговорил он о побеге. Пусть уйдет Людмила Ермолиха и его люди укроют ее у него вотчине и будет жить она как княгиня, ни в чем не зная отказа. А он будет к ней ездить и жить у нее, и никто тогда не нарушит их тихого счастья.

Людмила слушала его склонив голову, и слезы текли по ее лицу. Любила она и любит, но не так, думала она, увенчается их любовь! Горе и позор!

— А матка как? Она затоскует! -воскликнула она.

Князь смутился.

— Я ей денег дам... много денег. Она догадается, а потом и сама к тебе переедет. То-то житье будет.

И уже увлеченный картиною, он стал рисовать их жизнь. Тихо, одни, в тесной семье. Тут и мать ее. Дом — полная чаша, слуги, и он подле нее, и любовь...

— Люба! Согласись!

Людмила обняла его и прильнула к его груди. Князь слышал ее прерывистое дыхание, его голова кружилась.

— Бери меня! — ответила она. — Не могу тебе противиться.

— Радость ты моя! — воскликнул князь и, подняв на сильные руки, стал безумно целовать ее. — Увидишь, какое наше счастье будет! Так любишь, значит?

— Как душу, которую гублю для тебя! Только бы мать не прокл...

Но князь закрыл ей рот поцелуями.

V ПЕРЕД ВОЙНОЙ

С добрый месяц уже жили Тереховы-Багреевы у Теряевых. Однажды князь пришел из думы и сказал боярину:

— Ну, Петр Васильевич, на завтра собор назначен. Царь приказал о том всех через дьяков оповестить. Ты ведь объявился уже?

Боярин всполошился.

— Да нет еще, князь. Я думал, ты оповестишь, и сижу себе. Вот поруха-то! Бежать, што ли? Князь засмеялся.

— Эх ты! Был воеводою, а порядков не знаешь. Ну да Бог с тобою. Я скажу про тебя дьякам, а ты только беспрерывно на обедню в Успенский собор приезжай, потому с этого начнется.

— А ты?

— Я с царем буду!

Боярин почесал затылок.

— Ох, горе мне! Один я тут, что сиротиночка. Беда!

— Что за беда! Смотри, куда все пойдут, туда и ты. Горлатная шапка с тобою?

— Со мной, со мной, — закивал головою боярин, — большущая! И шуба со мною.

— Ну, шубы-то не вынимай! Шубу мы теперь только в самых особых случаях надеваем. Опашень надень да к нему ожерелье понаряднее.

— Есть, есть! — ответил Терехов. — Все в жемчуге. Как воеводою я был, заказал немчинам жемчуг подобрать... бурмицкий!...
[\[110\]](#)

— Ну, и ладно!

На другой день с четырех часов утра волновался боярин Терехов. Шутка ли: в думе с государями сидеть, речами меняться!

Князь пред своим уходом зашел к нему и сказал:

— Еду я, а ты в девять часов у собора будь. Государь к тому времени пойдет. Да, слышь, до Кремлевских ворот доезжай, а там пешком.

— Знаю, знаю! — замахал руками боярин и, позвав слуг, стал мешкотно одеваться в свое лучшее платье.

Время шло. Он велел подать колымагу, надел на голову горлатную шапку, высотой в три четверти, взял в руки высокую палку с роговым в жемчуге наконечником и вышел.

К земскому собору приуготовлялись торжественно. В Успенском соборе сам патриарх Филарет служил обедню, а после нее молебствие. Царь, окруженный ближними боярами, окольниковыми, горячо молился, стоя все время на коленях; а по его примеру и бояре, и окольниковы, и служилые люди, и все, призванные на собор, стояли коленопреклоненными.

Яркое солнце ударяло в собор и сверкало на дорогих окладах образов, на самоцветных камнях боярских уборов и веселило все вокруг, кроме строгой фигуры Филарета в монашеском облачении. По окончании службы он обернулся и поднял обеими руками напрестольный крест. Все склонили головы. Потом поднялся царь и подошел под благословение к своему отцу, а за ним потянулись и все бывшие в храме.

Служба окончилась. Бояре и окольниковы выстроились в два ряда, и между ними медленно пошел царь к выходу, через площадь, в Грановитую палату, где порешено было быть собору. Следом потянулись ближние ему, а там и все прочие.

Дьяки у входа суетились. Они стояли с длинными свитками и отмечали входящих. Одни занимались проверкою лиц прибывших, другие озабоченно рассаживали всех по местам, чтобы никто себя в обиде не чувствовал.

Хотя и было уже уничтожено местничество, но с ним еще приходилось считаться не только в мирное, но даже и в военное время.

Терехов назвал себя. Шустрый дьяк подбежал к нему и ухватил за локоть.

— А! Тебя, боярин, мне князь Теряев стеречь наказал! Сюда, сюда! Тут и слышнее, и виднее, а по роду ты не моложе князей Черкасских!

Он ввел Терехова в огромную длинную палату. В три ряда обращенным покоем стояли длинные скамьи, покрытые алым сукном. Вверху на возвышении в три ступени стояли два кресла под балдахинами и подле одного из них невысокий стол.

На скамьи, говоря вполголоса, садились созванные на собор. Помимо ближних царю и думных бояр были тут присланные и от Рязани, и от Тулы, и от Калуги и Пскова, и Новгорода, и далеких Астрахани, Казани, Архангельска, даже от Тобольска и Вытегры. Все

были в высоких горлатных шапках, в дорогих опашнях с драгоценными ожерельями у воротов.

Вдруг двери раскрылись настежь, и парами показались стрельцы в алых и синих кафтанах. Они шли держа на плечах блестящие алебарды, за ними шел отрок с патриаршим посохом, следом Филарет об руку с сыном, а за ними опять бояре и духовенство.

Все присутствующие обнажили головы и пали на колени.

Когда Терехов поднялся, все уже были на своих местах. Царь с патриархом сидели в своих креслах. На столике лежали скипетр и держава, вокруг стояли стрельцы, а подле Филарета — отрок с посохом.

Внизу пред ними за длинным столом сели дьяки с бумагою и перьями.

На время наступила торжественная тишина. Потом царь встал со своего кресла, и раздался его тихий голос:

— Благослови, отче!

Патриарх поднялся во весь могучий рост и, подняв руки над головою сына, произнес:

— Во имя Отца и Сына, и Святого Духа!

Царь выпрямился. В течение времени, истекшего со дня возвращения отца, он постарел и пополнел, но его лицо сохранило все ту же кротость и простодушие и его взор глядел все с тою же нерешительностью.

— Князья и бояре, — тихо заговорил он, кланяясь во все стороны, — и вы, земские люди! Созвали мы вас на общий собор, потому что от поляков большое государство и нам, государю вашему, теснение. Для общей думы вас созвали. Ведомо вам, что декабрь первого в лета тысяча шестьсот восемнадцатое мы с поляками на Пресне мир подписали на четырнадцать лет и шесть месяцев и тому миру теперь конец выходит; и они, ляхи, то ведают и всякое нам зло чинят...— И Михаил Федорович стал перечислять все обиды, понесенные Русью от поляков: на окраинах они разбойничают, царского титула не признают, со шведами и турками против Руси зло замышляют и похваляются всею Россией завладеть, от чего посрамление и убытки немалые. — И так порешили мы в уме своем, — продолжал Михаил, — злой враг наш, король Сигизмунд, помер, а враг злейший, Владислав, еще не царствует, отчего и смута у

них в государстве. Станет он королем и поведет на нас рати, а коли мы упредим его, в наших руках более силы будет. На том и решили собор созвать. Начинать войну али нет? Рассудите!

Михаил поклонился и сел, вытирая рукою лоб.

— Война, война! — раздались со всех сторон голоса.

Лица царя и патриарха просветлели.

— Так пусть и будет! — решил царь.

Потом стали обсуждать средства, войско и его размеры, назначать полководцев, определять действия каждого и делать наряды.

Целую неделю длился собор, и с каждым днем ненависть к полякам и жажда войны все сильнее охватывали сердца русских. «Война!» — передавалось из уст в уста, и о войне говорили в домах и кружалах, на базарах и рынках, в Москве и на окраинах. Воинственный дух наполнил сердца русских, и, кажется, никогда еще не вспыхивала у русских ненависть к полякам с такою силою, как в эти дни. Все обиды, начиная с Дмитрия Самозванца до последнего приступа ляхов на Москву, вспоминались теперь и стариками, и молодыми, и служилыми, и торговыми, всеми — от простого посадского до всесильного патриарха.

Последний подолгу теперь беседовал с князьями Черкасскими, Теряевым и боярами Шереметевым и Михаилом Борисовичем Шейным.

— Наступили дни расплаты, — сказал гордо и решительно он, — все взятое отымем и им мир предпишем!

И в это время он походил не на смиренного служителя Божьего, а скорее на прежнего Федора Никитича, которого убоялся Годунов.

— Князь Пожарский дюже искусен, — сказал Черкасский.

Шеин вдруг вспыхнул и, грозно глянув на князя, грубо ответил:

— И без него люди найдутся.

— Истинно! — подтвердил Филарет. — Михаила Борисовича пошлем. Он и в бою смел, и разумом наделен!

— Услужу! — ответил Шеин, низко кланяясь Филарету

Князь Черкасский удивленно посмотрел на Шереметева и Теряева.

Патриарх подметил их взгляд.

— Ну, да про это потом, — сказал он, — а ныне сборы определить надо. Иноземных людей много, тяготы большие.

Действительно, готовясь к войне, царь Михаил взял на службу английского генерала Томаса Сандерсона с 3000 войска, полковника Лесли с 5000 и полковника Дамма с 2000 солдат. Требовались большие расходы.

— Я сам отдам всю свою казну на общее дело, — сказал царь на соборе, и его слова воодушевили всех.

— Не пожалеем имений своих! — ответили ему бояре.

Тотчас были составлены списки, и во все стороны полетели приставы собирать оброчные деньги, на конного двадцать пять рублей, на пешего десять рублей. Богатые помещики и монастыри выставляли от себя целые отряды.

Князь Теряев призвал к себе сына.

— В думе сидеть мне должно, — сказал он, — а то был бы и я на войне со всеми, но ныне ты за меня пойдешь. Возьмешь людишек наших и будешь над ними с капитаном Эхе. Иди и готовься к походу!

Михаил ускакал в Коломну.

В то же время Терехов позвал к себе Алексея.

— Все людей посылают, — сказал он ему, — так и мне негоже от других отставать. Вот тебе мой перстень. Вернись на Рязань, в вотчину, и там собери сто человек конных да пеших. Казны возьми, одень их как след и сюда веди. Тебя старшим сделаю. А как приедешь, поклонись Семену Андреевичу Он тебя во всем наставит.

В тот же день Алексей стал собираться в дорогу.

— Что ж, — сказал Терехов князю, — мы не хуже других! Люди ставят, и мы можем. А хотел я тебе одно сказать: пока что до войны, обвенчать бы нам детушек! А?

— А то как же иначе-то! — ответил, усмехаясь, князь. — Первое дело! К тому времени, как походу конец, у нас, глядишь, и внук будет!

Вечером к князю пришел Шереметев.

— Нехорошее дается, князь, — сказал он.

— А что?

— Да помилуй, Шеина в голову! Что он за воевода? Князь-то Пожарский прослышал стороною и говорит, что недужен С этого добра не будет!

— Ну, говори! — остановил его князь. — Прозоровский пойдет, Измайлов, иноземцы.

— А Шеин над ними!

Кругом были недовольны назначением Шеина, но боялись громко говорить, зная волю патриарха и царя. Шеин еще выше поднял голову и смеялся над прочими боярами, называя их в глаза трусливыми холопами.

Ненависть к Шеину среди бояр росла, но за такими заступниками, как царь и патриарх, Шеин был в безопасности.

— Горделив он больно, — задумчиво сказал о нем царь Михаил, — смут бы у них там не было!

— Отпиши, чтобы без мест были, — возразил патриарх, — а против него ни по уму, ни по силе не быть никому.

— Твоя воля! — согласился Михаил.

Главных начальников назначили. Над всеми поставили Шеина, потом окольного Артемия Васильевича Измайлова ему в помощники и князя Прозоровского во главе запасного войска Иностранцы оставались при своих войсках, но в подчинении Шеину.

Все было готово к войне. Спешно собирались даточные деньги. Со всех сторон в Москву стекались отдельные отряды от помещиков, городов и монастырей. Ратные люди готовились уже к походу и делали последние распоряжения.

В чистенькой горнице домика Эдуарда Штрассе за столом сидел сам хозяин, Каролина и капитан Эхе. Последний был задумчив, и его глаза уныло глядели на Каролину, а грудь вздымалась от тяжких вздохов.

— Пей, пей, Иоганн, — сказал ему Штрассе, — а то уйдешь на ратное дело, уж там так не посидишь!

— Где уж! — ответил Эхе. — Я, бывало, по три месяца сапоги не снимал, белья не менял. Сколько раз вместо постели в болоте лежал.

— Тяжелое дело! — вздохнув, сказала Каролина.

— Это тебе, женщине, — задорно ответил Штрассе, — а я очень хотел бы на войну. Я хотел идти лекарем, но князь не пустил. Говорит, я в доме нужен!

— Ты? — и Каролина громко засмеялась. — Да ты бы на войне от одного страха умер. Послушай Иоганна только, что он рассказывает! — И она с восхищением взглянула на плотную фигуру Эхе.

Он тряхнул головой и воскликнул:

— Не знаю почему, а мне теперь очень неохота идти. Так тоскливо и скучно. А отчего? — он развел руками. — Один я, никого у меня нет... никто не пожалеет... а скучно.

— И неправда! — пылко ответила ему Каролина. — Если бы вас убили, я глаза бы себе выплакала!

— Вы? — воскликнул Эхе, и его лицо озарилось улыбкой.

Штрассе кивнул головой.

— Она любит тебя, — сказал он.

— Каро...

— Дурак! — вскрикнула Каролина и, вспыхнув как зарево, выбежала из горницы.

— Го-го-го! — радостно заговорил Эхе. — Я ее сам спрошу!

— Спроси, спроси! — засмеялся Штрассе.

Эхе бросился следом за Каролиной и нашел ее в кухне. Она стояла, уткнув лицо в угол. Эхе тихо подошел к ней и притронулся к ее плечу.

— Правда, Каролина? — спросил он.

— Глупости Эдуард болтает, а дураки верят.

Эхе совершенно смутился.

— А я думал...

— Что? — Каролина быстро обернулась, и Эхе увидел ее сияющее лицо. — Что?

— Что вы согласитесь быть моею женой, — тихо сказал Эхе, робея от ее лукавого взгляда, и замолк.

Каролина вдруг весело расхохоталась.

— Ах, глупый, глупый!

— Чего же вы? — смутился Эхе.

— Да, понятно, соглашусь!

— Да? Согласны? Ох! — капитан сразу повеселел и, обняв, поднял на руки Каролину. — Эдуард! — заорал он. — Она согласна!

Штрассе вбежал в кухню и захлопал в ладоши.

— Я говорил тебе! Я говорил! Они, девушки, все такие!

— Теперь запьем эту радость! — сказал Эхе и на руках понес Каролину в горницу.

И в этот вечер не было счастливее этих людей.

А в это же время наверху, в своей светлице, тосковала боярышня Ольга, делясь своими горькими думами с верной Агашей. Неделю

назад, ночью, в саду прощалась она с Алешей. Он ехал по поручению ее отца в Рязань и заклинал ее подождать его возвращения. Как они оба плакали! Как целовал он ее!...

— Если выйдет не по-нашему, сложу я под Смоленском свою голову! — сказал он Ольге, а она могла в ответ только крепко прижаться к его груди, говоря:

— Прощай, мой соколик!

И так и вышло. Вчера пришла матушка и сказала, что будут теперь все к свадьбе готовиться, чтобы до похода дело окончить.

— Ах, Агаша, Агаша! Подумать боюсь даже, как Алеша вернется! — воскликнула боярышня. — Что будет с ним!

— Полно, боярышня! — ответила более практичная Агаша. — Нешто он ровня тебе? Потешилась ты с ним в девическую вольность, а теперь и в закон пора. Смотри, князь-то какой красавец!

— Не смей и говорить ты мне этого! — рассердилась Ольга. — Не люб он мне... хуже ворога, татарина! Что с Алешей будет? — заплакала она снова.

А княгиня Теряева и боярыня Терехова по приказу мужей спешно готовились к свадьбе. Ввиду событий и торопливости не собирались править ее пышно, а все же надо было хоть и к малому пиру приготовить, а потом помещение молодым приспособить, приданое пересмотреть, одежды справить. Мало ли женского дела к такому дню. И, справляя все нужное, женщины, по обычаю, лили слезы, девушки пели унылые песни, а Ольга ходила бледная, как саван, с тусклым взором и бессильно опущенными руками.

Маремьяниха сердилась и ворчала:

— Что это, мать моя, ты и на невесту не похожа! Срамота одна!... Словно тебя за холопа неволят.

— Хуже!... — шептала Ольга.

VI СВАДЬБА

От Москвы надо было проехать до Коломны, от Коломны до вотчины князя Теряева да за вотчиной, проехав верст семь, свернуть с дороги в густой лес и ехать по лесу просекою до. Малой речки, а там, вверх по ней, берегом, и открывалась тогда на полянке, у самой речки, что была запружена, старая мельница. Была она князем временно

поставлена, когда строилась усадьба, для своей потребности, а потом заброшена. Плотину давно прососало, и она обвалилась, колеса погнили, и два жернова недвижно лежали друг на друге, покрытые паутиною и мхом. Изба и клетки покосились на сторону, и эта старая мельница являла полную картину запустения снаружи, но внутри все говорило о жизни и счастье.

Оживилась мельница в последние две недели. В клетях ее поселились: в одной — старая Ермилиха со своим сыном-богатырем Мироном, в другой — три девушки: Анисья, Варвара да Степанида, безродные сироты, которых Влас отыскал в тягловой деревушке. А в самой избе две горницы со светелкою обратились в пышные теремные горенки.

Чего в них не было!... Дорогие ковры покрыли лавки, поставцы с хитрой резьбою, укладки с финифтью, образа в пышных окладах, а наверху, в светелке, стояла кровать с горою перин, с богатым пологом. В углу у оконца стояли пяльцы, и, нагнувшись над ними, сидела Людмила. Ее лицо немного побледнело, глаза стали словно больше, но вместе с этим какое-то строгое, покойное выражение лежало на лице, а во взоре светилось мирное счастье. Подле нее на низеньком кресле сидела пожилая женщина с некрасивым, сморщенным лицом и маленькими жадными глазами.

Некоторое время они сидели в молчании, потом пожилая женщина вздохнула и заговорила:

— Ох, и дура я, дура, что этой подлой Ермилихи послушалась, на корысть пошла, родную дочь продала словно бы!...

— Вы только добро мне сделали, маменька, — тихо проговорила Людмила, — без князя я умерла бы! — Князя! А где князь-то этот? Не видела я его что-то! Завезли нас сюда, словно в разбойничье гнездо, а князя и в глаза мы не видели!

Людмила побледнела и низко опустила голову.

— Приедет! У него дела много, служба царская! — тихо проговорила она.

— Жди, пожалуй! — подхватила ее мать. — Приедет! Теперь-то еще ничего — выйти можно, лесочком пройтись; а придет зима — волки завоят, медведь придет, кругом снег... Ох, дура я, дура! Выдала бы я тебя за Парамона Яковлевича и была бы вовек счастлива.

— Утопилась бы я! — твердо сказала Людмила.

— Доглядели бы! — ответила мать. — А теперь что? И на что мне корысть эта? Ох, ду...

Она не договорила и встала с кресла. Людмила тоже вскочила, и ее лицо вспыхнуло, как зарево. На дворе слышались конский топот и голоса. Людмила выглянула в оконце, вскрикнула: «Он!» — и опрометью бросилась вниз по лесенке.

— Князь! — всполошилась ее мать. — Ох, посмотрю-ка я на него! Правда ли, тароват он, попытаю. — И она быстро поправила на голове своей повойник и платок и еще сильнее сморщила свое лицо, что означало у нее улыбку.

Людмила сбежала вниз, выбежала на крыльцо и упала в объятия князя, который взбегал в эту минуту на ветхие ступеньки.

— Князь Михайло! Сокол мой!

— Людмилушка!

Они замерли в поцелуе, забыв, что во дворе стоит Влас с Мироном, а из клетки глядят сенные девушки. Их лица сияли счастьем. Только молодые любовники в первые дни своей любви могут понять их состояние.

Первый очнулся князь. Он нежно освободил одну руку и, обняв Людмилу, повел ее в избу.

— Ну что, рыбка моя, хорошо тебе тут? Я про все подумал.

— Соскучилась я без тебя! Все ждала и ждала. Дни шли, недели.

Князь вздохнул.

— Не мог я ранее. В Москве поход решали, да кроме того дела разные, а тут еще в доме гости. Суета. Был я тут дважды, все тебе горницы убирал.

— Приедешь, взглянешь — и нет тебя.

— Э! Зато я, лапушка, теперь неделю, а то и дольше все подле тебя буду, в очи твои смотреть, ласкать да голубить тебя.

— Не уедешь?

— Говорю, неделю пробуду!

— Ах! — только и сказала Людмила, но в этом возгласе вылилось все ее счастье.

Они, обнявшись, сели под образа.

— Расскажи, мое золотце, как сюда перебрались. Все ли похорошему? А это кто? — вскрикнул князь.

В горницу, кланяясь и улыбаясь, вошла мать Людмилы.

— Матушка моя, — сказала Людмила.

Князь Михаил быстро встал и отвесил Шерстобитовой низкий поклон. Та даже растерялась от смущения, а князь с жаром сказал ей:

— Благодарствую тебя, государыня, за твою милость к нам! Не попусти ты быть Людмиле моею — горькая была бы моя жизнь.

Шерстобитова поклонилась в ответ.

— Полно, полно! — заговорила она. — На то ты и князь, чтобы нам, маленьким людишкам, тебе угождать. Да и Людмила-то моя уж затосковала по тебе больно. Ребенка своего жалеючи, попустила я грех такой!

Князь вздрогнул и побледнел.

«Действительно, — мелькнуло в уме его, — гублю я душу неповинную».

— Все поправлю. Не покается в том Людмилушка! — произнес он.

— Оставь! Разве я каюсь? — с упреком шепнула Людмила.

— Только скучно нам тут, — заговорила Шерстобитова, — ровно в яме. А придет зима!...

— Я уже дом вам выстрою. Вот с похода вернусь!

— А надолго поход? — встрепенулась Людмила.

— Нет! Может, месяца три — и домой! А ты вот что, — и князь засмеялся, — я ведь голоден и есть страх хочу!

— Милый ты мой! И молчишь! Да я в минуточку! — И Людмила весело выбежала из горницы, увлекая за собой мать.

Михаил с улыбкой посмотрел ей вслед.

«Ах, если бы она была не в потаенности! Сколько счастья и радости!...» — подумал он и вздохнул, но мимолетная грусть снова сменилась радостью.

Людмила и ее девушки несли вино и посуду с едою. Она поставила перед князем горячий курник.

— Ермилиха изготовила, словно чуяла! — сказала она улыбаясь и, кланяясь, прибавила: — Не побрезгуй!

Михаил обнял ее и посадил на скамью рядом.

— Будем вместе, по немецкому обычаю! — сказал он.

Ночью он вошел в светелку своей милой. Луна ярко светила в горенку, пред иконой теплилась лампадка, и ее бледный свет боролся с

лунным. Ароматный воздух волною вливался в светелку, и где-то щелкал соловей.

Людмила прижалась к Михаилу полною грудью и сказала ему:
— Что грех? За такое счастье мне не жаль загубить свою душу!

Михаил улыбнулся, целуя ее глаза, губы.

«Что грех!» — подумал и он.

День проходил за днем в сладком очаровании. Ежедневно капитан Эхе или Влас приезжали к князю с вотчины и говорили о положении дела. Наконец медлить более стало нельзя.

— Еду, — сказал раз Михаил рано утром.

Людмила побледнела и пошатнулась. Князь успел подхватить ее.

— Перед походом я, рыбка, еще заеду к тебе, — ласково прибавил он.

Она сладко улыбнулась ему.

— Худое предчувствие сжало мое сердце, — грустно прошептала она, — мне не удержать тебя, только... не забудь ночей этих.

— Что ты! — воскликнул князь.

Людмила вышла проводить его. Он взял коня в повод, обнял Людмилу и тихо пошел с нею просекой. Впереди ехали Влас и Эхе.

— Неделю спустя заеду, — говорил Михаил.

Людмила медленно шла и не поднимала от земли глаз, полных слез.

— Слушай! — вдруг сказала она. — Если у нас с тобою дитя будет, ты не покинешь его?

Князь вспыхнул.

— Разве я нехристь!

— Клянись!

— Всем святым клянуся и Иисусом Христом, и Святою Троицей! Пусть не держит меня земля, если я говорю облыжно. Не покину младенца своего! — твердо произнес князь.

— Помни! — сказала Людмила.

Князь Михаил вернулся в Москву, и в тот же день его зашел в покой боярина Терехова и обратился к последнему:

— Что же, Петр Васильевич, сын мой вернулся с вотчины. Пока что до похода и справим свадьбу, как говорили? А?

Терехов твердо кивнул головою.

— Хоть завтра, князь! Наши бабы, смотри как уже хлопчут. Только поговорили мы, а у них в терему девки уже и песни поют подблюдные.

— Ин так! На неделе и окрутим. Дела теперь такие, что пиры не у места. Мы потихоньку и сделаем. С дочкой-то ты говорил?

— А что говорить с ней? — удивился Терехов.

— Может, не люб ей Михайло?

Боярин даже покраснел при таком предположении.

— Не люб? Да смеет ли она даже такое слово сказать, если ее отец обет дал? Да будь твой сын горбат или умом скорбен, и тогда она выйти за него должна!

— Ну, ну, распалился! — улыбнулся князь. — Так на неделе?

— У баб спросим и день назначим.

В тот же вечер князь позвал вернувшегося сына и объявил ему свое решение.

— Ольга — девка добрая, — сказал он, — с ней тебе мирно и покойно будет. Да и нам утеха. Кроме того, идешь ты на войну. В животе и смерти Бог волен, а мне, старику, на душе легче, что я обет свой выполнил. Так-то! Пока что подыщи тысячника да дружков, а про остальное я сам подумаю!

Бледный, смущенный, растерянный вышел Михаил от отца. Мысль сопротивляться его воле не приходила ему в голову и в то же время казалось ужасным жить с немолою, а ту, которую любил он, как душу, держать, как тайную полюбовницу. На дворе с ним встретился Эхе. Лицо капитана сияло счастьем; он широко улыбался, дружески кивнул молодому князю и спросил у него:

— Что ты такой печальный?

— А чего ты такой радостный?

— Я? О, я теперь очень счастлив, как король! — и Эхе громко засмеялся. — Я люблю Каролину, и Каролина любит меня. Мы обвенчаемся с ней.

Михаил с завистью посмотрел на него.

— Правда, счастливый! А я и не знал! Пойду, сейчас поздравлю ее!

Он быстро перешел двор и вошел в домик Штрассе. Добрый лекарь-цирюльник встретил его как родного сына

— О мой дорогой! О мой любезный!...— заговорил он с волнением. — Я думал, ты забыл своего друга и учителя, а ты и пришел. Садись здесь, рассказывай про себя.

Михаила растрогала эта доброта.

— Я был занят, а вот сейчас узнал, что мой Эхе женится и пришел поздравить Каролину.

— О, да, да! они давно любят друг друга. Я сейчас! Каролина! — закричал Штрассе.

— Иду! чего тебе? — слышался ее голос.

— У нас князь... тебя поздравить хочет. Иди!

— Иду! — и Каролина вбежала в горницу, смеясь и краснея. — Кто тебе наговорил про меня? — спросила она Михаила. — Вероятно, Эдуард?

— А вот и нет! Сам хозяин!

— Ах он болтун! Я покажу ему!

— Ты скажи мне лучше, — сказал Михаил, — ты счастлива?

Каролина серьезно посмотрела на него и кивнула головою, а потом села на лавку и, всматриваясь в лицо князя, сказала:

— А ты нет? Я никогда не видела тебя таким печальным, как теперь.

Ее нежный голос проник в самое сердце Михаила.

— Горе на мою голову! — глухо ответил он.

— Что? Что с тобою? Скажи нам! — встрепенулся Эдуард. — А мы думали, ты счастлив. Твоя невеста приехала.

— В этом и горе мое! Не невеста она, а разлучница! Вам все скажу как на духу.

И он рассказал про свою подневольную женитьбу, про свою тайную любовь, про свои терзания и муки.

У Каролины выступили на глазах слезы, Эдуард тяжело вздыхал и качал головою. Михаил окончил свой рассказ и закрыл лицо руками.

— Бедные вы, — тихо сказала Каролина, — мне Людмилу, как сестру, жаль!

Михаил схватил ее руку.

— Каролина, сестра моя названная, я уеду, посмотри за ней, чтобы ей худа какого не было! Я скажу тебе, где она живет, и ей пред расставанием про тебя сообщу.

— Хорошо, — просто ответила Каролина.

Эдуард глубоко вздохнул.

— Да, — задумчиво сказал он, — трудно... нельзя отцу напротив делать. Нигде этого нет!

— Знаю! — воскликнул князь. — Но вот ни ты, ни Каролина не пошли бы к алтарю клясться ложно?

— У нас нет этого. У нас спросят, мил или нет, и тогда венчают. Без благословения отца никто не пойдет, но и отец не дает слова за дочь или сына.

— Ну, ну, — сердито сказал Эдуард Каролине, — что ты понимаешь! И у нас, и везде так делают. Крикнут: «Иди!» — и идет, как бычок на веревке. Да! В сердце не смотрят!

Михаил вдруг вспыхнул.

— А я, — воскликнул он, — я клянусь пред вами, — и он поднял кверху руку, — если будут у меня дети, вовек не поневолю их идти против сердца. Дочь холопа полюбит — отпущу ее, сын — тяглую — поженю их... не дам испытать такой муки!

Долго сидели они втроем и говорили. Каролина собрала ужин. Давно так задушевно не проводил времени Михаил, и, когда вышел от Штрассе, его душа была покойнее.

Темное небо было все усеяно звездами. Летняя ночь жгла горячим дыханием. В саду шелкал соловей.

Михаил остановился у ограды и замер в сладком мечтании. Пред ним словно встали старая мельница среди густого леса, горницы и Людмила. Воспоминания пережитых ночей наполнили его сердце.

Вдруг до него донеслись рыдания. Он вздрогнул и поднял голову.

Да, это не обман слуха. Из теремного оконца неслись рыдания, глухие, беспомощные. Михаил поднял кверху руки. Ведь это плачет Ольга, его невеста!... Значит, и он ей не мил! Что же это с ними делают?...

Рыдания становились все глуше и глуше. Наверху хлопнуло окно, и все смолкло. Смолк и соловей, вероятно, испуганный выражением человеческой скорби.

Михаил опустил голову и тихо побрел к себе.

Это действительно рыдала Ольга. Михаил угадал. Она рыдала, прощаясь навеки со своей девичьей волей, со своими мечтами и первой, чистой любовью, которой забилось ее сердце.

Боярин Терехов готовился опочить и пил шестой стакан сбитня, приготавливаясь к вечерней молитве, как вдруг к нему таинственным видом вошла Маремьяниха.

— Чего тебе, старая? — спросил он.

Маремьяниха вплотную приблизилась к нему и зашептал

— Смотри, шума не делай! Я к тебе с добрым словом пришла. Ведь беда у нас.

— А что? — встрепенулся боярин. — Говори! Какая такая беда?

— Слышь, не шуми, — зашамкала Маремьяниха. — Ведь князь-то нашей Ольге не люб. Вот!

Боярин тряхнул бородою.

— Э, стерпится — слюбится. Что она знает!

— Глупый ты, — заговорила опять Маремьяниха, — я все дознала. Хотела боярыне сказать, да что толку-то в этом!... Сомлела бы она только! Я к тебе...

— Тьфу ты, старая, да скажешь ли ты толком! — рассердился боярин.

— Не шуми, говорю! — Маремьяниха совсем понизила голос и прошептала: — Наша-то Ольга Алешку любит. Вот... верно... Алешку Безродного.

— Врешь, баба! — заорал боярин, вскакивая, но тотчас опустился на лавку, тяжело переводя дух, причем его лицо покраснело как кумач, и он торопливо расстегнул ворот рубахи.

Маремьяниха укоризненно покачала головою.

— Ишь, что вымолвил! В жизнь я неправды не говорила, а он такое!... Нет, не вру. В бреду Олюшка про то говорила. А ты не пужайся. Я ведь с добром к тебе... Ты вот что...

— Ну?

— Напредки отпиши, чтобы Алешке сюда не ворочаться, а там окрутим Олюшку с князем, так у нее и дурь вон. Девичья дурь-то.

Боярин тяжело перевел дух и кивнул головою.

— А промеж нею и Алешкой ничего не было?

— Ни, ни! — уверенно сказала Маремьяниха.

Боярин оправился.

— Ан быть по-твоему, — сказал он.

— Так и сделай! — Маремьяниха поклонилась боярину и вышла.

Терехову было не до молитвы. И досада на дочь, и робкое сожаление наполнили его душу. На Алешу гнева не было. Вспомнил боярин, как сам тайком виделся со своею женою, и понял его сердце.

«Все же старухи послушаюсь, — подумал он, — завтра от пишу, чтобы со своим ополчением Алексей шел прямо на Смоленск вперерез нашим. На дороге и сойдется. Так и отпишу. А с Ольгой...»

Он вдруг встал, обул ноги, накинул легкий зипун и поднялся в терем.

Жена с удивлением взглянула на него.

— Покличь Ольгу, — сухо сказал Терехов, садясь на низкий рундук.

— В светелке она... ложится.

— А ты приведи!

Боярыня встала и через минуту ввела в горницу Ольгу. Лицо девушки было белее полотна.

— Пришел я на тебя, Ольга, взглянуть, — сказал боярин, — как ты в невестах себя чувствуешь. Что такая бледная? А?

— С истомы, батюшка, душно летом, — тихо ответила Ольга.

Боярышня потупилась.

— Мил, спрашиваю?

— Мил, — едва слышно ответила Ольга.

Лицо боярина просветлело. Ее ответ сразу успокоил его.

— Ну, ну, я к своему покою это, — ласково сказал он и встал. — Покойной вам ночи!

Терехов ушел успокоенный; боярыня улеглась, не понимая, чего муж всполошился, а Ольга вернулась в свою светелку и, упав на лавку, громко и жалобно зарыдала.

Маремьяниха вбежала и стала корить ее, торопливо вспрыскивая наговоренною водою с угольков.

Увы! Ничему не помогли слезы и горе невольных жениха и невесты — день их свадьбы был назначен.

С самого раннего утра началась брачная церемония. Рано-рано пришла сваха рядить брачное ложе. Ей указали помещение, избранное для спальни молодых, и она торжественно пошла туда, неся в руках рябиновую ветвь. А следом за нею вереницею потянулись тысяцкий и ясельничий, а там дружки, свадебные дети боярские, свечники;

каждый из них нес какую-либо принадлежность брачного ложа или брачной комнаты.

Шереметева (она согласилась быть свахой) важно обошла кругом комнату, в каждый угол с молитвой воткнула по длинной стреле. Дружки быстро подавали ей соболя, и она накидывала шкуру на стрелу; другие тотчас подавали калачи, и сваха натыкала их на концы стрел.

Затем быстро стали застилать и завешивать горницу коврами, чтобы нигде голого места видно не было, а потом, в предшествии образов Спаса и Богоматери и большого креста, дружки внесли широкую кровать и поставили ее красный угол.

Сваха стала стелить постель: постлала сорок снопов, на них пышный ковер, на ковер три перины. После этого она покрыла перины шелковою простынею. А тем временем дружки установили кадки с пшеницей, овсом и ячменем

Часа три возились они с этим, а в это время Ольгу и Михаила обряжали к свадьбе и наконец повели в горницу где собрались гости и свидетели. Пред ними свечники несли двухпудовые свечи, другие несли обручальные кольца, каравайники на пышных носилках несли караваи хлебов. Не поскупился князь Теряев и устроил пышную свадьбу.

Первой вошла в горницу невеста и заняла свое место, а спустя немного вошел и жених с поезжанами. Он был бледен как мертвец, и его глаза смотрели совсем не весело. Белее полотна было и лицо Ольги, только скрыта эта бледность была под слоем румян, а до венца и покрывалом. Когда уселись жених с невестой за стол, тотчас стали обносить гостей кушаньем.

— Дозволь невесту чесать и крутить, — сказала сваха Тереховой.

— Благослови Бог! — ответила боярыня дрогнувшим голосом, и сваха тотчас подошла к Ольге.

Между нею и женихом развернули тафту и, скрыв Ольгу от жениха, сняли с нее покровы и быстро стали расчесывать густые ее длинные косы. Сваха мочила гребешок в меде и чесала им волосы; потом быстро скрутила их, надела волосник, кикку, подзатыльник и накрыла снова невесту.

Загуманилась голова у Ольги. Не помнила она дальше, как отец с матерью благословили ее и как на ее пальце очутилось золотое кольцо,

как трижды плеть ударила ее по плечам и перешла из отцовых рук в жениховы. Только на воздухе очнулась она, по дороге в церковь, и поняла, что настал конец ее девичьей воле. И на прощанье она не увидела даже Алеши, да и посейчас нет его у них в доме.

А вокруг уже поздравляли ее. Еще миг — и зерна хлеба посыпались на ее голову. И снова она в поезде едет назад на брачное пиrowание. Князь Теряев созвал на свадьбу всю знать московскую. Были у него на свадьбе и его друг Шереметев, и Шеин, и князь Черкасский, и воеводы, и бояре думные, и именитый Иван Никитич, царский дядя.

Гудели сурмы и бубны, пелись песни о тяжелой женской и Ольга, сняв фату, залилась горькими слезами. Таков был обычай, и никто не думал, что молодая льет непритворные слезы.

Начался пир.

— Горько! — первым закричал Шеин.

— Горько, горько! — подхватили поезжане и свахи.

Ольга встала и поцеловалась с мужем. На своей щеке она почувствовала легкое прикосновение усов, и на миг ей сделалось обидно — словно муж нехотя целует ее!

Долго пили и ели гости, пока дошли до третьей перемены. Тут встал дружка и, кланяясь родителям, сказал:

— Благословите молодых в опочивальню весть!

— Бог благословит!

Молодые поднялись. Длинною вереницей двинулось шествие к брачному сеннику. А гости продолжали пить, есть и веселиться.

Заливаясь слезами, Ольга сняла с немилого ей мужа сапоги. Не смотря на жену, томясь и тоскуя, ударил князь Ольгу плетью и после принял ее в равнодушные объятия.

По крыше сенника застучал частый дождик, яркая молния прорезала темноту ночи, загрохотал гром.

«Бог не благословит нашего брака», — с горечью подумал Михаил.

Ольга в испуге прижалась к нему.

— С нами крестная сила!

— Не бойся! Это Бог гневается на ложную клятву, — сказал ей князь.

Она отпрянула от него в новом испуге: «Неужели он знает?»

Гости хмелели.

— Пожарский тоже! — громко кричал Шеин. — Великий воевода! Брал Москву два раза, а взял лишь на третий, когда поляки с голода померли! Вот я покажу, как войну вести!

— А кто Смоленск сдал? — задорно закричал князь Одоевский.

— Я! Да ведь мне помощи ниоткуда не было! Зато теперь и назад отберу!

— Не хвались, идучи на рать, — с усмешкой крикнул ему князь Черкасский.

— Я не бахвал. Не бойсь, тебя в помощь не позову, князь!

Спор стал горячим. Князь Теряев ухватил Черкасского за руку и стал уговаривать.

— Не люб он мне! — возразил Черкасский. — Бахвалится много!

— Мне вчера дорогу загородил, злобно сказал Масальский.

— Выскочил, да и на — пред нами!

— Схизматик! — проворчал Одоевский.

Между тем Шеин на уговоры Шереметева кричал во весь голос:

— Да что они все на меня, ровно псы борзые, право! Завидки берут, вот и лаются!...

— Это ты про кого, пес католицкий? — заревел Масальский.

— Да хоть про тебя!

— Про меня? — и Масальский, вскочив, ухватился за поясной нож.

— Други! — закричал Иван Никитич Романов. — Ведь мы на брачном пиру. Радоваться надо, а не озорничать да ссориться!...

Под утро разошлись гости. Князь Теряев угрюмо качал головою.

— Озорной народ!

— Пир омрачили ссорю, — с сокрушением сказал Терехов.

Князь усмехнулся.

— Ну, это нас с тобой не коснется, а одно скажу: плохо будет Михаилу Борисовичу, коли ляхи его одолеют. Не простят ему бояре обиды и его гордости.

— Истинно! Горделив уж он очень и заносчив! — согласился Терехов.

VII ПОХОД

Девятого августа 1632 года все в Москве заволновалось. Бряцающая оружием, скрипя колесами пушечных лафетов, двигалось из Москвы несчетное войско; на площадях и базарах толпился народ всякого звания, а перед толпами дьяки, окруженные бирючами, громко читали царский манифест, в котором он, перечисляя все козни поляков, объявлял им войну.

— Бить их, схизматиков! — в исступлении выкрикнул старик в толпе. — Не будь мои кости старые...

— Ужо им боярин Михайло Борисович покажет! — сказал, усмехаясь, приказный.

Бабы остановили юродивого:

— Фомушка, что молчишь, голубь?

Фомушка, огромный лохматый детина с железными веригами на плечах и на шее, замотал головой и глухо проговорил:

— Кровь, кровь, кровь! Много крови будет!

— Господи, Владыко, горе нам! — заголосили бабы.

В то же время в дворцовой церкви шла торжественная обедня с молебствием о даровании победы. Патриарх стоял рядом со своим венчанным сыном на коленях и горячо молился, а сзади стояли Шеин, Прозоровский, Измайлов, которым было вверено царское войско, и все ближние бояре государевы. Тут же был и молодой князь Теряев со своим отцом и тестем.

Медленно и протяжно пел клир, торжественно проходила служба; государь молился со слезами на глазах, и всех молящихся соединяло с ним одно чувство.

Служба окончилась. Государь обратился ко всем идущим на войну и тихим голосом произнес:

— Бог с вами и Пречистая Матерь, с Нею же победа и одоление! Идите стоять за государево дело и не посрамите нашего славного имени.

Все двинулись к целованию руки. Боярин Шеин стал на колени и бил государю челом сто раз, потом поцеловал руку государеву и бил снова пятьдесят раз. За ним подошли Прозоровский, Измайлов, а там тысяцкие и начальники отдельных отрядов.

Поцеловав руку государю, они потом подходили к патриарху и падали ему в ноги, а патриарх благословлял их, говоря: «За веру

Христову и государя! Благослови тебя Бог и Пресвятая Троица!» — и после каждому говорил напутственное слово.

Увидев молодого князя, он улыбнулся ему и произнес:

— Тяжко расставание с молодою женой, но вернешься победителем, и слаще будет счастье твое! Будь доблестен, как отец и дед твой!

Государь вышел на Красное крыльцо. Военачальники садились на коней. Тут же оказались теперь и Дамм, и Лесли, и Сандерсон. Народ толпился кругом и дивился на красоту коней и вооружение. Блестя серебром и золотом, отчищенной медью и полированным железом, гремя конской сбруей и оружием, группа начальников, с плотным, коренастым Шеиным во главе, была очень эффектна.

Войска выходили из Москвы, подымая облако пыли. Гром литавр и бубнов далеко разносился по воздуху.

Филарет поднял руки и благословил начальников. Они медленно повернули коней и поскакали следом за войском.

Михаил Федорович медленно вернулся в покои в сопровождении бояр.

— Каково будет для нас счастье? — задумчиво проговорил он,

— Победить должны, — уверенно ответил Стрешнев.

— Истинно! — Филарет взглянул на него и кивнул головой. — Боярин Михаил Борисович — знатный военачальник, хоть многие на него и клепят.

Князь Черкасский потупился и переглянулся с Шереметевым, но хитрый царедворец словно не заметил его взгляда.

— Люди все славные, — подхватил Стрешнев, — и войска много!

— Пошли, Господи, одоление супостата! — молитвенно произнес Михаил. — Много бед нам от поляков чинится.

— Аминь! — заключил Филарет.

А тем временем по дороге к Можайску огромным сказочным змеем тянулось русское войско — конные отряды, тяжелая артиллерия, стрельцы и иноземная пехота. Позади этого войска ехали пышною группой Шеин, Прозоровский, Измайлов, Лесли, Дамм и Сандерсон.

— У Можайска разделимся, — сказал Шеин, — мы все пойдем на Смоленск прямо, а ты, князь Семен Васильевич, иди кружным путем другие города воевать и тоже к Смоленску ладь!

— Хорошо, — ответил Прозоровский.

— А оттуда далее пойдем, до Варшавы.

Измайлов усмехнулся.

— Там видно будет, боярин. Поначалу нам бы до Смоленска добрести только.

— Молчи! Говори подумавши, — грубо оборвал его Шеин, — теперь, чай, вы не со своим Пожарским али Черкасским идете, а со мною! У меня во как все удумано! — И Шеин хвастливо вытянул руку и сжал ее в кулак. Во главе войска, среди отрядов конницы ехал и отряд Теряева в сто двадцать человек, во главе которого стояли Эхе и молодой князь. Оба они ехали задумчиво, молча. Эхе думал о Каролине, с которою недавно обвенчался у пастора, и переживал тяжелые минуты разлуки с нею. Она не плакала, провожая его, не голосила, как молодая жена князя Теряева и его мать, но ее печаль была, наверное, сильнее и глубже. Как крепко она обняла его и поцеловала! «Не говорю: прощай, — твердо сказала она, — а до свидания! Ты не смеешь умереть, потому что...» — и тут она тихо-тихо сказала Эхе такое, отчего у него всколыхнулось сердце и кровь прилила к лицу. А теперь, когда он вспоминал все это, ему становилось тоскливо и грустно. Не дай Бог, убьют. Тогда что?... Он косился на Михаила и вздыхал, слыша и его вздохи.

Но Михаил вздыхал не по своей молодой жене, которая, провожая его, голосила на весь двор, не любя его ни капли; грустил он по Людмиле, с которой ему предстояло последнее свидание.

— Иоганн, — сказал он.

— Что, князь?

— Я подле нашей вотчины отойду, а завтра догоню тебя.

Эхе молча кивнул головой.

Князь тихо отъехал в сторону, но едва редкий перелесок скрыл его, что было мочи погнал своего коня, направляясь к старой мельнице.

В тот же день из Рязани выступил Семен Андреевич Андреев, стрелецкий голова, во главе рязанского ополчения, а с ним и Алеша Безродный со своим отрядом. Грустен и уныл был юноша, думая про Ольгу и томясь тяжелой неизвестностью. Он уже собрался было в Москву, как вдруг получил от боярина наказ идти с Андреевым не из Москвы, а прямо с места. Волей-неволей остался он в Рязани и не знал, вышла ли Ольга уже замуж или все еще в девицах.

Князь Михаил быстро мчался к своей милой. Та же дорога перелеском, потом вдоль берега речушки, та же рассосанная плотина; все то же, что видел князь месяц тому назад, но какая разница была в чувствах!... Тогда он ехал по этой дороге полный счастья и радости, думая только о том, как встретится с Людмилой и какие речи поведет с ней, а теперь какая-то неясная тоска сжимала его сердце и туманила очи. Злое предчувствие неминуемой беды сосало его сердце.

Сам того не заметив, князь подъехал к воротам мельницы и даже вздрогнул от неожиданности. Быстро спешившись, привязал коня к крыльцу у столба и тихо вошел в калитку. Огромный цепной пес рванулся на него с ревом. Князь недовольно оглянулся. Где слуги? Где Мирон?... Правда, ведь его любя словно в неволе лютой.

— Миша! — вдруг раздался радостный возглас, и Людмила, спрыгнув с трех ступеней крыльца, бросилась к нему на шею, обвила его руками и замерла на его груди.

— Голубка моя!...

Князь забыл свои думы, свои недовольства. Он только чувствовал любимую женщину у своей груди и, прижимая ее, осыпал горячими поцелуями.

— Приехал! Не обманул! А я ждала тебя, ждала... Пресвятая Богородица сжалилась надо мною!...

— Голубка моя!... — повторил князь.

Людмила освободилась из его объятий.

— Пойдем же ко мне! Нынче я уж покормлю тебя. Помню прошлое!-весело сказала она и вдруг побледнела. — Что это ты такой? — дрогнувшим голосом спросила она.

Только сейчас она разглядела костюм князя. Его голову покрывала не обычная шапка с выпушкой, а шлем со стрелой между бровей и острым наконечником. На плечах поверх кафтана висела кольчуга, у пояса болтался меч, а в руке на коротком ремне висел блестящий чекан.

Князь смущенно улыбнулся.

— Голубушка моя, да ведь я с похода! Наши дорогой идут, а я заехал на тебя взглянуть. В ночь нагоню...

— В ночь? — побледневшими губами проговорила Людмила.

— Ну, в утро, — поправился князь и про себя подумал: «Далеко не отойдут за ночь!».

Веселье оставило Людмилу. Она провела князя в горницу, усадила за стол, уставленный флягами, бутылками и разными блюдами, села подле него и замерла, припав головою к его плечу.

Князь тоже чувствовал, как к его горлу подступали слезы, но крепился.

— Рыбка моя, — шутливо сказал он, — да как же есть мне, коли ты и угощать не хочешь меня и сидишь такая грустная?

— А откуда веселье мне, если ты на войну идешь и не знаю, когда воротишься?

— Не долго походу быть, яхонт мой! Месяц, два... и я уж всегда у тебя буду. Неделя — и я у тебя. Вот как. А пока погляди, что я для тебя припас!

Князь вспомнил, что в тороках^[111] увязал для Людмилы ларец с подарками, и, быстро встав, вышел за ворота. Слуги уже прознали про приезд князя и все вышли на двор. У дверей стоял Мирон. Князь хотел побранить всех за нерадение, но сердце, полное любви, не распалилось гневом, и он только пригрозил всем.

— Проведи коня да засыпь ему корма, — сказал он Мирону, вынимая из тороков ларец. — На заре уеду.

Мирон подобострастно поклонился ему.

Князь вернулся в горницу и раскрыл перед Людмилою ларец.

— Все для тебя, моя ясная! — сказал он, выкладывая драгоценности.

В ларце было много ценного: хитрой византийской работы подвески и запястья, богатое монисто, унизанное жемчугом; кольцо и серьги с самоцветными камнями и нитки жемчуга для работы. Но Людмила равнодушно смотрела на вещи.

— Зачем мне? Пред кем рядиться я буду? — сказала она. — Едешь ты и с тобою счастье мое. Я молиться пойду...

Князь смутился.

— Что же, с Богом!... Только идти не надо — я тебе поезд снаряжу. Молись, а там вернешься и меня поджидать станешь. Приеду я — нарядись. Ну, поцелуй меня! — И он привлек Людмилу к себе и поцелуями снимал слезы с ее глаз.

Ее грусть на время прошла. Она улыбнулась и стала угощать его.

— Кушай, князь, во здравие, — сказала она, кланяясь ему в пояс, — для твоей милости старалась. Не погнушайся!

— Горько! -засмеялся князь, наливая чарку вином.

— Ну, уж и привередливый гость у меня! -ответила Людмила и звонко поцеловала князя.

А там наступила ночь. В темноте, в тишине Людмилу то охватывала безумная страсть, то поражал страх. Она целовала князя, а потом — вдруг холодела и шептала:

— Что, если тебя убьют? Умру я...

— Я сам семерых убью, — шутил в ответ князь. Ах, оставь!...
Поклянись лучше беречь себя!...

— От стрелы или пули нешто убережешься...

— А у тебя наговоренные шелом и панцирь?

Князь уже не верил наговорам, но подумал и ответил:

— Наговоренные!... Мне в Швеции наговорил колдун один.

— То-то, а то у нас Ермилиха может.

— Нет, у того наговор крепче, — сказал князь, желая успокоить Людмилу.

И та успокоилась.

— Милый, только одно прошу, — заговорила она, — вот тебе ладанка, — она быстро в темноте накинула ему гайтан, — сама шила. Наговоренная. Тут мощей частица и, — она понизила голос, — колдовство это, а ты прости! Волосы я свои тут зашила. Ермилиха присоветовала. Не сбрось ее! Носи.

— Богом клянусь! — ответил тронутый князь.

— И еще, — она прислонилась к самому его уху и зашептала: — Коли ребеночек будет, я и для него такую же сделала.

Князь обнял ее и порывисто прижал к себе.

Чуть забрезжило утро, когда проснулся князь и взглянул на Людмилу. Измученная слезами и ласками, она теперь крепко спала, раскинувшись на постели. Князь долго с любовью глядел на нее, и ему жаль стало будить ее.

«Плакать будет, убиваться, — подумал он, — долгие проводы, лишние слезы. Господь с тобою, голубка!»

Он тихо поцеловал Людмилу, она во сне улыбнулась и ответила ему поцелуем.

Князь осторожно встал, оделся и начал молиться Богу.

— Господи, не допусти какой беды над ее головой!... Не покарай ее за грех мой и мое окаянство! Огради, защити и помилуй ее, Мати

Пресвятая Богородица!...

После этого князь поднялся с колен, еще раз поцеловал Людмилу и, смахнув с глаз слезы, осторожно спустился вниз. Там он надел кольчугу, опоясался, надел шелом, взял чекан и вышел во двор, прямо к Ермилихе.

Та уже не спала.

— Сокол-свет! Что так рано? — воскликнула она.

— Молчи! Вели Мирону коня сготовить и слушай!

— Ну, ну, кормилец наш!

— В поход я еду, так ее, — он указал на дом, — беречь, как свои очи! За все заплачу, довольна будешь, а коли упустишь, то не прогневайся! Созови слуг!

Он вышел во двор.

Ермилиха уже созвала дворовых девушек, и тут же стоял Мирон с конем в поводу.

— Беречь свою государыню, — строго наказал князь, — как косы свои беречь. Вернусь и, ежели что приключится, не пожалею!... Ты, Мирон, из леса выведешь меня! — сказал он Мирону и вышел за ворота.

Все тихо проводили его туда. Князь сел на коня. Мирон шел подле его стремени, и князь сказал ему:

— Хоть знаю, вор ты, но в слове тверд! С тебя и взыск будет. Вот казна тебе, — он дал ему мешок, — государыня хочет молиться ехать; снаряди обоз ей, людей найми. А коли беда, упаси Господь, стряхнется, Богом молю, сыщи меня и весть подай!... Клянись!

Мирон торжественно поднял руку и кивнул князю.

— Спасибо тебе! — сказал князь. — Вернусь — награжу!

Князь ударил коня и выехал из леса.

Вдали пред ним облаком стояла по дороге пыль. Он погнал коня и поскакал, словно спасаясь от врага бегством.

Но никакой конь не умчит от кручины, и когда князь поравнялся наконец с Эхе, он был темнее ночи.

— Князь, что с тобою? — участливо спросил его немец.

— Оставь! — ответил князь и, отмахнувшись от него, отъехал в сторону.

Представлялась ему Людмила, как проснулась она и его не нашла, как горько заплакала...

«Лучше разбудить ее было бы!» — терзался он, а потом подумал, что тогда он и вовсе не расстался бы с нею.

Кругом стоял неумолчный гам. Бряцало оружие, гроыхали подводы, кричали люди, ржали кони, мычали быки, но князь ничего не видел и не слышал, думая о своей любви, о Людмиле, о горькой разлуке, совершенно забывая, что у него в терему, в Москве, оставлена молодая, красивая жена.

VIII В ПОХОДЕ

Наперерез главной армии, стягиваясь к Можайску, со всех сторон шли ратные ополчения, от Казани, от Саратова, Калуги, от Астрахани, от Рязани. Главную силу таких ополчений составляли стрелецкие войска, а подле них группировались повинные ратные люди, отряды которых снаряжали монастыри, богатые помещики, сельские и мещанские общества.

От Рязани вел немалое войско, в тысячу сто человек стрелецкий голова Андреев, и с ним шел Алеша Безродный во главе своей сотни, собранной в вотчине Терехова.

Андреев вовсе не изменился, только в его лохматых волосах появились серебристые нити да оспенные рябины скрылись под мелкими морщинами. Невысокий, коренастый, неладно скроенный, да крепко сшитый, он представлял собою тип русского воина того времени. Рядом с ним ехал Алеша Безродный, а в стороне, мерно топая по крепкой земле ногами, шла рать.

— Брось кручину, — с убеждением сказал Андреев своему молодому спутнику, — сам знаешь, нестаточное затеял, так надо скорее вон и из головы, и из сердца, а не баловать себя. Вот!

— Да ведь не идет! Я больше про нее, не про себя думаю. Радость ли за немилого идти ей? Сердце рвется!... — тихо ответил Алеша.

— Стерпится — слюбится! — сказал Андреев. — Не она первая. Девки всякого любят.

— Невмоготу отказать.

— А надо.

Надо — это понимал и Алеша, но не мог ничего поделать со своим сердцем. Томилось оно у него тоскою по Ольге. Разум подсказывал, что ее свадьбы не миновать, что, может быть, уже

совершилась она, а все-таки какие-то смутные планы роились в его голове, какие-то неясные надежда поддерживали его дух.

«В войне отличусь, — думал он, — царь честь окажет. Буду челом бить, чтобы сосватал!»

А если замужем? Он холодел при одной мысли, но опять надежды шевелились в его душе. Может, князя убьют.

«С нами крестная сила! Сгинь!» — и Алеша крестился при этих мыслях, но они снова лезли ему в голову и не давали ни сна, ни покоя.

Даже мысли о войне не занимали его.

— Будешь такой совой бродить, — шутил с ним Андреев, — и ляхи тебя живым заберут!...

У Можайска, у самой границы с Польшей, раскинулись лагерем наши войска, готовясь к вторжению в неприятельскую землю.

В середине была ставка самого Шеина — огромный шатер и подле него у входа хоругвь с иконою Божьей Матери. Вокруг шатра ходили с пищалями стрельцы. Недалеко от его шатра стояли шатры Прозоровского и Измайлова, а там — Лесли, Дамма и Сандерсона. Весь лагерь был наскоро окопан валом и огорожен стадами волов, телегами и пушками.

Рязанское ополчение подошло к самым окопам и было остановлено отрядом рейтаров.

— Нельзя дальше, — сказал их капитан, — надо генералу доложить. Куда поставить, куда послать!

— Да ну тебя! — отмахнулся Андреев. — Иди, говори! Нам бы передохнуть с дороги.

— Откуда? Кто?

— С Рязани, скажи!

— А вы тут стойте!...

Андреев кивнул капитану, и тот ушел.

— Шут гороховый, — сказал Андреев, — поди, в двенадцатом году полякам служил или за свою душу грабил, а теперь у нас! Меч продажный!

— А знатно дерутся.

— Дерутся-то хорошо, да веры в них нет. Вдруг к недругу и перейдут... что казаки...

В это время вернулся капитан.

— Иди! — сказал он Андрееву.

— Ты за меня побудь, — распорядился Андреев, обращаясь к Алеше, и пошел за капитаном.

Они прошли почти весь лагерь и вошли в палатку Шеина. Боярин сидел за столом с Прозоровским и Измайловым. Андреев снял налобницу, перекрестился на образ, что висел в углу, и низко поклонился воеводам.

— Бог с тобою, — ответил ему Шеин, — откуда? Кто?

— С Рязани... стрелецкий голова Семен Андреев.

— Много людей-то?

— Своих восемьсот да ополченцев триста будет. Над ними Алексей Безродный, а надо всеми я.

— Пушки есть?

— Две малые только.

— Ну, ну! Станом у заката станете, там место есть, а после с князем Семеном Васильевичем пойдете, — распорядился Шеин. — С ним вот!

Андреев поклонился Прозоровскому. Тот дружески кивнул ему и сказал:

— Приходи вместе с Безродным в мою ставку.

Андреев вернулся и повел свой отряд на указанное место.

— Князь-то Прозоровский — добрый человек, а боярин не пришелся мне по сердцу.

— Говорят, он воевода хороший, — сказал Алеша.

— А то в деле узнаем!

Отряд рассыпался и стал торопливо устраиваться. Каждое отделение устраивалось в общем лагере своим лагерем. Окопов не делали, но огораживались обозом и ставили себя сторожевые посты. Андреев с Алешей деятельно хлопотали со своими служилыми, и через три часа утомленные ратники уже сидели за горячим толокном.

Андреев с Алешей прошел к Прозоровскому. Тот сидел за длинным столом с чарою меда в руке. Тут же сидели тысяцкие, сотники, иные стрелецкие головы и Лесли, с которым Прозоровский был в большой дружбе.

— А, честные воины, будьте здоровы! — приветствовал их князь. — Садитесь! Мальчик, меда и чары!

Андреев и Алеша отвесили общий поклон и сели.

— Ну, кто из вас с ляхами бился?

— Я, — отозвался Андреев, — в шестьсот двенадцатом году их из Кремля высаживал!

— Да что ты, князь, — заговорил Лесли, — кто из нас ляха не бил? Разве безусые.

— А тех выучим. Ха-ха-ха! — сказал со смехом старый воин с выбитым глазом.

— Да! — изменив тон, серьезно заговорил Прозоровский. — Нам много дела впереди. Боярин-воевода напрямки к Смоленску придет, а нам надо и на Белую, и на Рославль, и на Невель, и на Себеж — на все, что по пути будет, а там и к Смоленску. Силы у нас не Бог весть. Так надо все скоро делать.

— Когда выступим?

— Я думаю, завтра еще дать передохнуть, да и, благословясь, прямо к Серпейску идти, благо ляхи еще промеж себя дерутся.

— Верно, — сказал Лесли. — Я бы уже завтра тронулся.

— Ну, надо и людишкам отдохнуть, а там выпить! Пейте, гости дорогие!

Гости стали пить. Алеша не отставал от прочих, думая затопить свою тоску. Почти до полуночи длилось пирование, когда гости встали наконец и попытались двинуться в путь.

Алеша вдруг почувствовал прикосновение к своему плечу и услышал голос:

— Друже, не ты ли Алексей, кабальный Терехова?

Алеша задрожал, узнав голос Михаила Теряева. «Что ему нужно?» — подумал он и сдавленным голосом ответил:

— Я. А ты кто?

— Я-то? Князь Теряев, Михаил, — ответил князь, которого Алеша едва различал в темноте, — может, помнишь? А я тебя не забыл с того времени, как боярина из полона выручил. Лицо твое тогда приглянулось мне.

— Спасибо за ласку, — проворчал Алеша и быстро отошел от князя.

— Вот тебе на! — воскликнул с изумлением Михаил. — Что я ему сделал такого?

А Алеша вернулся в свой шатер и, сев на землю, где ему была постлана солома, сказал Андрееву:

— Разлучник-то мой здесь... с нами вместе.

— Ну и ладно! — сквозь сон ответил Андреев.

Но для Алеши это была мученическая мука. Он чувствовал, что с князем ему придется и говорить, и сталкиваться; сознавал, что князь ничем не виновен пред ним, и в то же время не мог победить свою ненависть к нему.

Целый следующий день он не выходил из своего шатра, боясь роковой встречи, а когда заиграли в трубы поход, выстроился со своею сотнею в стороне от князя, которого заприметил во главе войска. Прозоровский велел ему соединиться с другими отрядами и надо всеми дал начальником дворянина Аверкиева, старого заслуженного воина. Войско выстроилось и выступило в неприятельскую землю.

Началась военная страда. Князь Теряев на время забыл и про Людмилу, и про свою любовь. Новизна обстановки, участие в настоящей войне заняло его ум и сердце.

Войско Прозоровского подвигалось медленно. Дороги почти не было: наступила осень, и ее размыло дождями. Дождик лил без перерыва, и войско шло, шлепая по грязи.

— Зелье береги! — раздавались постоянные приказания, но по такой погоде трудно было уберечь порох — у стрельцов он был просто насыпан в мешок вместе со свинцовой сечкой, и, как его ни прятали, сохранить сухим не было никакой возможности.

Уже месяц, как с малыми остановками двигалось войско, а врага все не было. Случались по дороге деревни и села, мелкие города. Русские без боя занимали их, грабили, а затем шли далее, оставляя за собой смерть, слезы и разорение.

Прозоровский то и дело посылал Теряева с его конным отрядом на разведки. Князь рыскал по узким тропинкам непроходимым дорогам и возвращался к Прозоровскому.

— Ничего не видать Стоит деревнюшка, и в ней с полсорока домов. Взял я языка, пытал его: никого нет!

— Нет — и слава Богу — говорил Прозоровский, — побережем людишек наших подоле!

Князь вздыхал и говорил Эхе:

— Иоганн, да что это за война! Вот уже месяц идем, и хоть бы что. Только, словно разбойники, жжем да грабим

— Ха-ха-ха! — смеялся Эхе. — Подожди, и война будет!

— Скучно!

Но, кроме скуки, становилось и трудно. Дождь и холод донимали людей. Есть приходилось только холодное и сырое, потому что нельзя было развести костер при такой погоде. Люди стали болеть цингой.

Однажды Теряев выехал на разведки, как всегда, вместе с Эхе. За день перехода должна была находиться крепость Белая — первая крепость, где было войско.

Крошечный отряд Теряева выехал с опушки леса, и вдруг Эхе резко ухватил княжьего коня за узду и осадил назад.

Князь вздрогнул от радости и посмотрел в сторону, куда указывал Эхе. На полянке подле высоких, одиноко растущих кустов верхом на лошади сидел всадник и осторожно оглядывался по сторонам. Длинное копьё торчало у него из-за спины; в руках была пищаль. Князь не выдержал. Не успел Эхе опомниться, как Михаил рванул коня и помчался на одинокого всадника, высоко подняв в руке тяжелый чекан.

Всадник увидел его и навел пищаль. Пуля прогудела над головою князя. Он подскочил уже к всаднику, тот уклонился от удара и выхватил саблю. В тот же миг из-за куста выскочили шесть других всадников и бросились на Теряева.

— Матка Боска! Пан Иезус! — кричали поляки, скача и махая саблями.

Князь, не помня себя, махал чеканом, и тот со свистом резал воздух. Вдруг его конь вздыбился и с криком повалился наземь — подлый удар подсек ему задние ноги. Однако князь успел вскочить на ноги.

— Держись, князь! — раздался в это время голос Эхе, и он бурею налетел на поляков со своими двадцатью воинами. Поляки рассеялись.

Князь перевел дух и весело сказал:

— Нигде не ранен!

— А коня загубил, — угрюмо ответил швед. — Эх, воин! Чуть ты и себя не погубил!... И все по глупости.

Князю стало совестно.

— Ну, да что, — усмехнулся Эхе, — едем назад скорее, скажем воеводе. Может, тут и засада есть! Эй, Терентий, отдай князю коня, а сам пешим иди. Да сними с княжьего коня сбрую!

И они поскакали с вестью о неприятеле.

Прозоровский приготовился к битве. Он разделил войско на фланги и центр, отвел часть в резервы и двинул вперед артиллерию. Но враг оказался ничтожным: пред крепостью выстроилось все войско — восемьсот жолнеров да человек триста пехоты.

Прозоровский ударил на них и смял в мгновение ока. Они бросились в крепость и на плечах внесли за собою русских. Князь Теряев опьянел от крови, дыма и криков. Как безумный, носился он по узким улицам крепости и бил тяжелым чеканом направо и налево. Кровью залились улицы. Крепость пылала.

Спустя час Прозоровский чинил допрос пленным:

— Знает ли король ваш, что мы войной идем?

— А мы откуда знаем. Пришли холопы, говорят, войско идет. Мы и встали на защиту, а дальше ничего не знаем.

— Вешать! — распорядился Прозоровский, и шестьсот жолнеров были повешены после мучений.

Прозоровский отдохнул неделю и двинулся дальше.

От Шеина прискакал гонец с вестями. Боярин взял Серпейск, Дорогобуж и подошел уже к Смоленску, куда ждал и князя.

— Будем, будем! — ответил Прозоровский. — Пусть он Смоленск берет.

Войско двигалось дальше, и Теряев уже увидел войну. Брали Невель, Рославль, Почеп, Трубчевск и Себеж. Поляки, один против десяти, сражались с отчаянной храбростью и жестокостью. Несколько взятых ими пленных вернулось с отрубленными руками и отрезанными ногами. Русские платили тем же.

Однажды Эхе захватил языка. Это был маленький рыжий еврей. Эхе привязал его за шею веревкою и, сидя на коне, привел его в стан. Полузадушенный еврей долго не мог опомниться.

— А ну-ка, дайте ему плети понюхать! — сказал Прозоровский.

— Ай, ну! -закричал еврей. — Зачем бить! Я все скажу что знаю! Пусть меня спрашивают!

— Откуда ты? Куда шел?

— Откуда? Меня пан Заблоцкий послал. «Иди, — говорит, — в Смоленск, скажи, что мы идем!»

— Кто «мы»?

— А пан Заблоцкий и его гайдуки!

— Много?

— У-у! Много! — И еврей даже зажмурился и поднял руки.

— А по какой дороге? Далеко отсюда?

Еврей показал. Это были первые поляки, заведомо шедшие на войну.

Прозоровский устроил засаду и врасплох напал на отряд Заблоцкого. Победа далась без труда. Двадцать восемь пушек и восемьсот гайдуков сделались добычею русских.

Ликующий Прозоровский пошел дальше.

— Ежели мы их так бить будем, то, смотри, в январе в Варшаву придем.

— Ну что еще под Смоленском ждать! — говорили другие начальники.

— А будь там не Шеин, что у всех на шее, — ответил Прозоровский, — так Смоленск уже взяли бы.

Был ноябрь месяц, когда Прозоровский с войском подошел к Смоленску, под которым уже стоял Шеин со своим помощником Измайловым и иностранцами.

Прозоровский прошел к Измайлову.

— Как дела? — спросил он Измайлова и стал расхваливать свои подвиги. — А у вас что, Артемий Васильевич? — окончил он.

— И не говори! — Измайлов махнул рукою. — Мы с боярином — что волки в одной яме: одни ссоры. Мы скажем одно, а он сейчас другое, хоть бы сам о том думал раньше. А цари пишут — жить в мире! Беда! Окопались и ждем, когда ляхи одумаются и помощь пришлют. Два раза уже Смоленск взяли бы!

— Ты здесь, князь? — вошел в ставку молодой Черкасский, который был на посылках у Шеина. — Боярин тебя и Артемия Васильевича на совет зовет!

— Будем сейчас! — ответил Измайлов и сказал Прозоровскому: — Пойдем, князь.

В большой палате сидел Шеин. При входе Прозоровского он встал и дружески поцеловался с ним.

— Спасибо, князь, на старании государям! — сказал он. — Садись теперь советчиком нам. Видел Смоленск?

— Снаружи, боярин, крепость добрая!

— Что? — торжествующе сказал всем Шеин. — Говорю и я! Иначе, как измором, не взять ее. Стены не пустят.

— Мы стену-то, почитай, проломили с юга, — сказал Сандерсон, — чего ждать?

— Ну, ну! А я говорю — измором брать! А созвал я вас на то, чтобы князю место указать! — решительно сказал Шеин.

Все смолкли.

— По мне, стать ему станом на Покровской горе, — решил Шеин. — Ты, Артемий Васильевич, укажи место.

Крепость Смоленск, против поляков укрепленная еще Борисом Годуновым, была по тому времени одною из сильнейших крепостей. Боярин Шеин, сдавший ее в Смутное время полякам, знал ее силу и потому избегал бесполезного штурма, решив вести правильную осаду. Она стояла на берегу Днепра, и Шеин прежде всего занял оба берега. Прямо пред воротами крепости, у моста, на высотах он поставил Матиссона с сильным войском, на северо-западе стал сам с Измайловым, на северо-востоке поставил Прозоровского, занявшего Покровскую гору, а вокруг с южной стороны широким полукругом расставил станы под начальством Лесли и Дамма и приказал оттуда громить стену из пушек. С каждым днем он суживал и суживал осадное кольцо, зорко оберегая крепость от посторонней помощи, и жителям Смоленска приходилось все тяжелее.

— Знаю, что делаю! Знаю, что делаю! — хвастливо и упорно твердил Шеин, когда все советовали ему идти на приступ. — Приступу будет время!

Страшные холода мучили и изнуряли войско. Осада едва ли не тяжелее, чем для поляков, была для русских, но Шеин продолжал упорствовать в своем плане.

Теряев и его молодые товарищи бездействовали и роптали.

— Доколе, — жаловались они Прозоровскому, — нам без всякого дела быть?

— А вот подождите, — усмехался он, — приедет король с поляками!

И действительно, всем казалось, что Шеин словно нарочно медлил с окончательным приступом, потому что обороны крепости уже нечего было бояться.

IX ДВОРЕЦ И МОНАСТЫРЬ

Тихо, строго и чинно было в Вознесенском монастыре. Временно смирилась мать Михаила, Марфа (игуменья Ксения). Поняла она, что не под силу ей бороться с Филаретом Никитичем, и отступилась с наружным смирением от власти. Ее друг и наперсница, старица Евникия, томилась в Суздальском монастыре, и государыня редко получала о ней весточки.

Все, кто прежде приходил к ней на поклон и простого царского приказа не слушался без ее благословения, перешли на сторону патриарха. Только князь Черкасский еще прямил ей, да хитрый Шереметев нет-нет да и навещал ее в ее келье.

— Ой, не лукавь ты, Федор Иванович, — говорила Ксения, — что тебе во мне, смиренной?

А он бил ей челом и со вздохом говорил:

— Счастье и мир ушли с тобою. Больно тяжела рука у владыки! Гляди, все стонут. Одним монастырским житье, а прочие волком воют. Не две, а четыре шкуры дерут: и с сохи, и с общины, и за соль, и за дорогу, и палубные, и за водопой. Больно уж строг владыка!

Слаще меда были такие речи для Ксении, но, опустив глаза вниз, она смиренно говорила:

— Отошла я от дел мирских. Ему лучше они ведомы.

Тем не менее стороною она всегда узнавала про дела государские и в душе таила воспоминания о былой власти. И теперь, когда царь приехал к ней тих и светел лицом и, земно поклонившись, поцеловался с нею, она знала уже государевы новости.

— Отчего ты светел так? — спросила она царя.

— Радость велика, матушка,-ответил царь, — кругом врагов одоление. Боярин Шеин и князь Прозоровский уже под Смоленск пришли. Слышь, и Дорогобуж отвоевали, и Белую, и Серпейск, и Почеп, и Невель.

— Пошли Бог, пошли Бог! — тихо сказала Ксения, перебирая четки.

— А ныне пишут, что их воеводу Гонсевского отбили.

— Радость, радость, — сказала Ксения, — завтра закажу молебствие отслужить Владычице. Наши молитвы тоже, может, до Нее, Царицы Небесной, дойдут. А ты бы с царицею нас пожаловал, помолился бы вместе!...

— Непременно, матушка!

— А то совсем забыли меня. На смех Филарет Никитич меня в сане возвеличил, а всю радость отнял у меня: и сына любимого, и дружбу рабскую.

Лицо Михаила покраснело, он потупился, а Ксения, подняв на него свой блестящий взор, продолжала:

— Теперь ты хоть ради радости милость мне оказал бы. Верни мне Евникию! Что тебе в ее немощи! А мне она — утеха велия. И за что казнишь ее? Что она — мать Бориске да Михаиле? Так они тебе, как ты, служили и за тебя кару приняли. Не любы были отцу твоему твои други. Оставил он тебя одного и над тобой верх взял. Млад ты был тогда, а теперь муж. Покажи им мощь свою!

Голос Ксении все крепчал; глаза ее горели живым огнем. Царь снова подчинился ее власти и подумал: «Что же, и правда. Велики ли беды Салтыковых? Может, и впрямь о Хлоповой как о порченной думали, меня же ради. А мать их и ни при чем. Крут батюшка!»

Он поднял голову, и в глазах его сверкнула решимость.

— Ладно, матушка, — сказал он вставая, — сделаю, как ты хочешь. Ради старости верну Евникию тебе в утешение и Михалку с Бориской ворочу. Жди!

Лицо Ксении осветилось торжеством.

— Узнаю царя! — сказала она в ответ. — Спасибо тебе, сынок, на утешении! — И она поясно поклонилась сыну.

Тот упал ей в ноги.

— Прости, матушка!

Ксения проводила его во двор монастыря и вернулась бодрая и радостная в свою келью. Михаил сказал Шереметеву, вернувшись из монастыря:

— Хочу добрым делом добрые вести отметить. Напиши указ, по которому я прощаю вины братьям Салтыковым и ко дворцу ворочаю, и чтобы мать их из Суздаля назад в Вознесенский перевели!

Шереметев поясно поклонился, а у дьяка Онуфрия затряслись руки при таком приказе.

— А как же владыка? — пролепетал он, но Шереметев только грозно повел на него очами.

На другой день отстоял царь раннюю обедню и прошел в свой деловой покой до отъезда в Вознесенский монастырь дела послушать, вдруг в этот покой вошел Филарет не по чину быстро.

Михаил спешно вскочил и упал ему в ноги. Патриарх благословил его и затем, принимая из рук своего боярина свиток, протянул его царю и сухо сказал:

— Это нельзя!

Царь смутился.

— Прости, отче, меня просила матушка, и я обещал ей на радостях!

— Нельзя! — проговорил патриарх. — Воры и прелестники не могут вернуться к престолу Мы не ложно судили! Слово государево должно быть твердо, иначе где ему вера! Милости его велики, но и гнев его страшен! Иначе что? Баловство! Скажут: ради меня казнили, ради нее простили! Нет моего благословения, нет!

Он кинул свиток на стол.

Царь беспомощно опустил голову.

Филарет снова заговорил:

— Прости их, верни их, и они затеют крамолу. Не будет покоя у твоего трона. Опять произвол. Ксения ищет смуты не по сану своему. Ты хотел к ней в монастырь ехать?

— Молебствие за победы она служить заказала, — только ответил царь.

— Не надо! Свою опалу показать ей надо. Кто есть? — обернулся патриарх к своему боярину.

Тот выбежал и тотчас вернулся назад.

— Окольничий князь Теряев!

— Зови! А ты наказ дай! — предложил Филарет царю.

Князь Теряев вошел и отбил поклоны. Царь обернул к нему побледневшее лицо и сказал:

— Иди в Вознесенский монастырь. Скажи нашей матушке: быть не можем... недужится!

Теряев вышел.

Ксения готовилась к торжественной встрече царя. Далеко были высланы служки, чтобы издали заметить царский поезд; но время шло, а поезда все не было видно. Ксения волновалась. Ударили по церквам к обедне, а царя не было, и Ксения делалась все беспокойнее.

«Неужели и тут Филарет поперек стал, прознал про его обещание и удержал?»

Горькая усмешка сжала ей губы. Крут и властен патриарх, но она поборется с ним!... Вдруг появился служка с докладом:

— Едет, мать игуменья!

Ксения встрепенулась.

— Звоните в колокола!...

— Не царь, а посол царский!...

Лицо Ксении побледнело.

Через несколько минут пред нею стоял царский окольный, князь Теряев, с царской оговоркою, что за недугом легким на молебствии царь-батюшка быть не может.

А спустя какой-нибудь час от Филарета принесли свиток и в нем строгий наказ, чтобы в дела государские она, Ксения, не совалась.

«То не бабьего ума дело. Ежели же тебе и за молитвами досуга много, то есть дальние обители, где смятенному духу для размышлений вельми укладно будет».

Потемнела как туча Ксения и... смирилась...

В тот же вечер был у нее князь Черкасский и тяжело вздыхал, сочувствуя ей.

— А теперь, ежели его ставленник Смоленск возьмет, еще круче повернет владыка! — сетовал он.

Действительно, владычество Филарета приходилось всем в тягость, хотя и было оно во славу родины. Слишком тяжкими поборами обложил патриарх все сословия, особенно крестьян и посадских. Светские люди жаловались на духовенство, которое, напротив, пользовалось всякими льготами; но роптало, в свою очередь, и духовенство, в личной расправе с которым Филарет был беспощаден. Не только попов, но даже архиереев учил он свои жезлом, и нередко до крови.

Тяжко было и малодушному Михаилу, которому Филарет оставил охоту, богомолье да теремные дела. Все писалось от имени Михаила — и приказы, и наказания, но ничего не решал он сам, без патриаршего слова и указа.

А Филарет все горделивее подымал свою голову, зовя себя в то же время смиренным иноком.

В неустанном труде проходил его день, в долгой молитве проводил он ночи. Его глубокий ум умел обнимать все разом, зоркий глаз видел больше всех окружающих. Это был изумительный человек,

и история мало отвела ему места. Его характер и его государственный ум несомненно унаследовал его великий правнук Петр.

Немудрено, что личность Филарета подавляла собою все окружающее и царь Михаил не имел силы противостоять воле своего отца, тем более что тот еще и был облечен.

X НОВАЯ ГРОЗА

Заскучал на Москве боярин Терехов-Багреев. Хотя и были для него отведены просторные хоромы и слуг было довольно, и хоть князь постоянно заботился о своем друге-госте, а теперь и свойственнике, все же боярин чувствовал себя как в гостях. Помолился бы он, да своего попа нет; взял бы палку, пошел бы по двору — на чужих холопов кричать негоже. По Москве пойдет — все чужие; не то что в Рязани! Там выйдет боярин — всякий шапку ломит, со всяким поговорит; не базар пройдет — все посмотрит, поторгует. Глядь — и день прошел.

Однажды, трапезуя вдвоем с женою (Ольга уже в своем терему жила со свекровью), Терехов отодвинул от себя миску и сказал:

— А что, Ольга, не пора ли нам и ко двору? А?

— Как ты, Петр Васильевич! Твоя воля!

— Знаю, что моя, — ответил боярин, — я тебя спрашиваю: заскучала ты или нет?

— Скучно, Петр Васильевич, да Олюшку жаль: как подумаю, что расстаться надо, сердце щемит! — И боярыня слезливо заморгала глазами.

— Глупости! На то она и девка, чтобы из дома уйти, на то и растили.

— Знаю, Петр Васильевич, а все-таки тяжело, ой как тяжело! — И боярыня закрылась рукавом и заплакала.

— Глупости бабьи! Едем на неделе, и сказ весь. Готовься, а я князю скажу!

Он поднялся, тяжело сопя, и прошел в опочивальню, а боярыня позвала к себе Маремьяниху и стала с нею печалиться.

— И, Олюшка, — зашамкала старуха. — Не на век расстаешься, матушка. Еще не раз свидитесь, а дом бросать тоже не след! Разговорали, поди, холопы добро все.

— Не знаю, как Олюшке-то сказать. Больно ей тяжело будет!

— Ништо, — шамкала Маремьяниха, — ее княгиня-то, что мать родная, любит. Утешится Олюшка. Гляди, война кончится и муж вернется. Не до нас ей будет! То-то...

Но Ольга чуть не умерла, услышав весть про отъезд отца с матерью. Тяжко ей было в первые дни замужества. Чуткой женской душой поняла она, что для своего мужа она также постылая жена, и, не любя его, она была оскорблена. Еще тяжелее были ей дни до его отъезда, и ко всему прибавились мысли об Алеше: ведомо ему или нет о ее замужестве? Может, с горя загубил себя, а может, еще не знает и прилетит сюда соколом.

Черные думы свили гнездо в голове Ольги, а свекровь Анна Ивановна вьется над Ольгой что горлица и каждую свободную минуту только и говорит ей о постылом муже.

Вяло тянется теремная жизнь. В большой горнице стоят пядьцы: у окошка, друг против друга, пядьцы Ольги и свекрови, подалее — сенных девушек.

Помолятся утром, попьют сбитня — и за пядьцы.

— Что это ты, Олюшка, какая бледная нынче? — тревожно пытается ее княгиня

Ольга только клонит вниз голову.

— Не знаю, матушка, будто ничего со мною!

— Ну, ну, а ты не труди своих глазышек, посиди так! Хочешь, я тебе про Мишу расскажу?

Ольга садилась на низкую скамью у ног княгини и в сотый раз слушала, как Мишу скоморохи скрали, как Миша с коня упал, как Миша к басурманам ездил, наконец, про Штрассе, Каролину, про Эхе.

— Из похода вернется Мишенька, царь его пожалует. Ждешь ли ты его? — спрашивала княгиня. — Жду, матушка!

— А я-то! Кажись, приди Господь и скажи: «Хочешь увидеть и умереть?» — «Хочу, Господи!» — отвечу, — восторженно говорила княгиня, и слезы умиления падали на работу.

Иногда, чтобы потешить Ольгу, она приказывала девушкам петь, но их пение только мучило Ольгу. Нет радостных песен по теремам — и пели девушки про монотонную девичью жизнь, про выход силком за немилого, про грозного мужа и тоску-змею.

— Ох, девушки, перестаньте! — качая головою, останавливала пение княгиня, а Ольга плакала неудержимым плачем.

Только и утешения было у нее, что сойти вниз, к матушке, уткнуться лицом в ее колени и плакать — плакать о своей молодой, в корне увядшей любви, о своей горькой доле, о своем тоскливом одиночестве.

Лаская ее, начинала плакать и боярыня.

— Лебедь ты моя белая, — причитала она, — рыбонька ты моя златоперая!... Аль ты несчастливая, что все убиваешься? Или князь не мил?

— Скучно, матушка, сиротливо! — сквозь слезы твердила Ольга.

И вдруг пришла матушка и поведала роковую весть. Ольга вскрикнула, взялась за грудь и сомлела. Всполошились все, забегали. Сама княгиня нагнулась и стала пером от черной курицы ее окуривать; Маремьяниха свяченой водою с угольков стала брызгать, а боярыня упала на рундук и громко заплакала.

Ольга очнулась, взглянула на мать, и снова скорбь поразила ее.

— Матушка, не покинь меня! — вскрикнула она и опять упала.

— Ой, порченая! — пугливо заговорили девушки. — Гляди, как бьется!

— Не иначе как за знахаркой надо, — сквозь слезы вымолвила боярыня, — Олюшка, очнись!

Княгиня первая догадалась.

— Князь задаст вам за знахарку. Зовите Дурада, спешно!

Но Ольга очнулась. Вся трепеща, прижалась она к матери и осыпала ее нежными ласками.

А тем временем на половине князя боярин говорил с князем о своем отъезде.

— Напрасно, Петр Васильевич, — сказал ему князь омрачаясь, — думал я, здесь умирать вместе будем, внучат качать. Я уж с Федором Ивановичем говорил. Слышь, открывается тут приказ. Новой чети. Тебя воеводою посадить можно. Покойно и почет! Ой, оставайся!

— И не проси, князь, -уперся боярин, — не вмоготу мне жизнь. Все при царе... ходи и дрожи. А там я себе голова. Да и суета не по мне. То к тебе посланец, то ты посланцем: утром наверх иди, дужится или недужится. Неуж я, обленился. Мне и в Рязани-то воеводство не под силу было. Куда мне, простому? Мне бы лежанка теплая да банька.

Князь засмеялся.

— Что же, неволить не будем! Честью проводим. Когда же отъехать думаешь?

— Да на неделе, князь.

— Ин быть по-твоему. А жалко!... Не по моим мыслям вышло! — со вздохом сказал князь.

Ольга словно успокоилась, примирившись с неизбежностью разлуки. Только в последние дни она не отходила ни на шаг от матери и временно спала с нею.

По настоянию князя к ней пришел Штрассе, осмотрел ее, ласково ей улыбаясь и добродушно кивая головою.

После его осмотра все вдруг стали с ней еще ласковее.

— Смотри, чтобы князь был! — шутливо погрозила ей княгиня.

Ольга вспыхнула как маков цвет и поняла, что беременна. Но мысль об этом наполнила ее не радостью, а ужасом.

— Помру я, Агаша, — тоскливо шептала она ночью своей верной подруге.

Наконец боярин Терехов уехал. Как подстреленная птица билась в рыданиях Ольга, прощаясь с отцом и матерью, и ее на руках унесли в терем.

Задумчив сидел боярин в тяжелом рыдване, и одна и та же мысль неотвязно мучила его душу: «Ишь, за немилого выдал. Знал ли про то! Обет-то давали, еще и ее не было. А все дура старая: не уберегла! Ну и задам я Алешке, как свидимся!»

Но от этих дум не становилось легче боярину и, вспоминая прощание с дочерью, он чувствовал укоры совести. «Сгубил девку!» — горестно думал он.

Горько было молодой княгине Теряевой-Распояхиной, осталась она одна-одинешенька в Москве в доме нелюбимого мужа, а над ними собиралась новая беда, туча грозовая.

Нет на свете муки тяжелее муки ревнивого сердца, любящего без взаимности. Молодые сердца не испытывают ее, и она выпадает только на долю пожилых или безобразных лицом.

Такие муки испытывал коломенский торговый человек Парамон Ахлопов. Был он и годами не молод, и лицом не красив, но любил Людмилу Шерстобитову всюю силою своей души. Торгуя панским товаром, не раз продавал он Людмиле и ее матери и камку, и парчу, и

атлас для вышивки и пленился Людмилою. Но, как ни искал он ее взаимности, девушка только отворачивалась от него.

Мрачнее тучи ходил Парамон, обдумывая, как бы завладеть Людмилою, и решил действовать через мать. Хитрые глаза да лисий облик Шерстобитовой словно подсказывали ему, что за деньги мать продаст дочь свою, и Парамон Ахлопьев издалека повел речи с дворянскою вдовою.

— Видим мы даже очень, что не по чину живешь ты. Тебе бы сидеть да санным девушкам приказывать, а ты вон на людей работница! — вкрадчиво сказал ей однажды Ахлопьев.

Шерстобитова вспыхнула и обидчиво сжала губы.

— Я к тому, собственно, что в твоей воле судьбу свою переменить! — продолжал Ахлопьев.

— Это как же переменить ее? — спросила Шерстобитова на его подвохи.

Ахлопьев нагнулся к ней и произнес:

— Отдай, Надежда Петровна, дочь свою за меня. Вот и перемена!

Вдова даже вздрогнула от радости.

— Казны у меня на всех хватит. Дом — чаша полная!

Шерстобитова недолго думала над этим предложением и быстро ответила:

— Засылай сваху!

В три дня порешилось дело. Много слез в ту пору пролила Людмила, но ее мать была непреклонна. Не знала она тогда про свидания дочери с князем, ничего не ведала про их уговор и думала только о перемене жизни с голода на сытость, с хлопот на покой и почет.

Но когда явилась к ней Ермилиха да поведала ей про тайную любовь, да, суля золото, стала сманивать на согласие, голова кругом пошла у дворянской вдовы. Чего не случается? Пока что полюбовница, а там и княгиня. Шутка ли это!... А денег-то у князя Теряева уж куда больше, чем у Ахлопьева. Кто не знал в Коломне князя Теряева-Распояхина!

а тут Людмила и заговорила:

— Не быть мне за Парамоном. Лучше с камнем в воду!

— Что думаешь, глупая? — зудила Ермилиха. — Счастье раз дается. Смотри, как помрет сам князь-отец, в усадьбу перейдем. Всея

владей. Холопов одних ста три будет!... А теперь казны даст, беречь как очи будет!...

И Шерстобитова согласилась.

— Только одно, милая, — запросила она, — чтобы ото всех потаенно!

— Это-то уж будь покойна! Мой Мирон да и княжий стремянный все сделают!...

И действительно, потаенно скрылись они из Коломны; только тайну Людмилы знали почитай все соседи, кроме Парамона.

Пришел он к Шерстобитовым в воскресенье после обедни и диву дался: калитка настезь, а что и того хуже — и дверь нараспашку. Шагнул он в двери со словами: «Господи Иисусе Христе...» — да и остановился с разинутым ртом посреди горницы. Все разворочено; пяльцы опрокинуты, другие с начатой работой стоят, образа сняты, словно разбойники были!

В голове Ахлопьева помутилось; выбежал он на улицу и заорал благим матом:

— Убили! Ой, убили мою голубушку!

— Парамон Яковлевич, ты чего? — посыпались на него вопросы.

— Чего?! — кричал Парамон. — Шерстобитовых нету! Гляньте, православные!

Народ гурьбою ввалил в брошенную избу Шерстобитовых, и соседи лукаво закачали головами, но имя князя, хотя и просилось у многих с языка, пугало всех как гроза.

— К воеводе иди! — советовали одни. — Сыск сделает!

— Ой, поопасись! — говорили другие.

— Може, они на богомолье поехали, — догадывались третьи.

— Ермилиха их на богомолье повела, — ехидно заметил кожевник, что жил напротив.

Но Парамон ничего уже не слышал. Словно что оборвалось внутри него; в уме потемнело, и он со стоном упал.

С неделю пролежал без памяти Ахлопьев, а потом, когда очнулся, снова стал как безумный. Мысль, что Людмила потеряна, не давала ему покоя.

Он передал торговлю приятелю и собрался в дорогу.

— Куда ты? — спрашивали его.

— На Угреш, угодникам помолиться, — ответил Ахлопьев и уехал.

Месяца через два он вернулся в Коломну, угрюмый, молчаливый, сосредоточенный на одной думе.

— А хочешь, по приятельству скажу тебе, где твоя Шерстобитова? — сказал однажды ему купец из красного ряда.

— Где?

— Пойдем, скажу! — Купец отвел Парамона к пустырю за рядами и там, озираясь по сторонам, тихо сказал ему: — Молодой князь Теряев сманил их. Слышь, молодую-то в полюбовницах держит.

— Где?! — закричал Ахлопьев.

Купец даже отскочил от него.

— Тсс!... Что орешь, непутевый! — воскликнул он и зашептал снова: — Где хоронит, того не знаю, а что сказал — верно. Теперь князь-то на войну уехал.

Купец ткнул Ахлопьева дружески в бок и отошел.

Как у волка, вспыхнули глаза у Парамона, стан выпрямился, кулаки сжались. Вся тоска, испытанная горечь, сожаление об утрате — все разом обратилось в мучительную ненависть.

— Найти бы только! — бормотал он про себя, возвращаясь домой, и наутро вновь исчезал из Коломны с твердым намерением разыскать тайное убежище Людмилы.

Тихо и уныло протекали дни Людмилы в ее тихом убежище. По отъезде князя ездила она в Москву к Иверской Божьей Матери, завернула в Троицу и Угреш и словно успокоилась духом. Только о князе и были все ее думы, а ко всему чуяла она, что забеременела, и тихая радость наполняла ее.

Не знала она теперь ни тоски, ни скуки. На дворе ненастье, хлещет дождь и гудит ветер, ломая деревья, иногда издалека доносится волчий вой, а ей хорошо и уютно в своей светлице. Сидит она и шьет бельецо для крошечного-крошечного тельца, и мурлычет про себя песню или за пальцами вышивает хитрым узором дорогой покров и думает: «Как вернется с войны Михаил, упрошу его, чтобы он пелены эти к себе в усадебную церковь отдал».

И никого ей не надо.

Наведается к ней мать.

— Что ты, Людмилушка, все одна да одна?

— Мне хорошо, матушка.

— Все же хоть бы девок позвала. Смотри, как Степанида ладно сказки рассказывает. Умора!

— Не хочу, матушка. Мне одной со своими думками всего веселее!

— Ну, и сиди так, коли нравится, — с неудовольствием замечала мать и шла в избу к Ермилихе.

Собирались туда и девки. Ермилиха и дворянская вдова тянули наливку, а девки пели им песни. Шум и веселье, а у Людмилы тишина и покой, что в монастырской келье.

Раз сидела так Людмила, думая о своем любимом князе, потом, улыбаясь своим мыслям, подняла глаза — и замерла на мгновение. Перед нею стоял ненавистный ей Ахлопьев и нагло улыбался, в то время как глаза сыпали искры.

— Что, сомлела? — насмешливо заговорил он. — Думала, любовник пришел. Ан это я.

Людмила быстро встала.

— Уйди отсюда! Как ты вошел сюда?

— Двором, лебедь, двором. К бесстыдным девкам дорога всем открыта! Небось, ты вздумала укрываться, а худая слава бежит до самого порога. Да не с мощной я пришел к тебе, распутница, а пришел я ответ искать! — И с этими словами он резко шагнул к ней. — Что ты со мной сделала?

Людмила быстро отскочила в сторону и распахнула слюдяное окно.

— Матушка! Мирон! Девушки! -раздался ее пронзительный крик.

— Убью, паскуда! -кинулся на нее Парамон, но в тот же миг сильная рука Мирона рванула его и опрокинула навзничь.

— Ах ты, пес непотребный! -крикнул богатырь. — По светлицам лазать! Я ж тебя! — И, не дав опомниться Парамону, он волоком потащил его вниз по лестнице, куда бежали мать Людмилы, девушки и Ермилиха.

Шерстобитова взгляделась в Парамона и завопила:

— Ах, разбойник! Ах, оглашенный! Он это с убийством пришел... не иначе!... Бейте его, девки, бейте окаянного! — нагнувшись, она провела острыми ногтями по его лицу. У Парамона из щеки брызнула кровь. Она опьянила всех!

— Бейте татя! Бейте разбойника! — завизжала Ермилиха. Мирон приподнял Парамона и выбросил на двор. Девки ухватили кто веревку, кто палку, и на Парамона посыпались несчетные удары. Окровавленный, в изодранной одежде, он едва вырвался от них и бросился бежать.

— Пса спусти, Мирон! — кричала Ермилиха.

Парамон обернулся, потряс кулаком и быстрее пса пустился по лесу.

— Го-го-го! — диким голосом кричал ему вслед Мирон. — Приходи за остатним!...

— Приду, небось! — побледневшими губами шептал Парамон, подходя к Коломне темною ночью.

Ненависть, ревность создали в его душе ад. Только кровавая месть могла смыть всю обиду его поруганной любви и он надумал страшное дело.

Три дня спустя после рассказанных событий, собрался он в путь-дорогу и в одноколке, несмотря на осеннюю распутицу, затрусил на Москву. Твердо решил он известить всех своих обидчиков и ехать к самому князю Теряеву-Распояхину с подлой ябедой на его единственного сына.

XI НАЧАЛО БЕДСТВИЙ

Десять месяцев стояли уже русские войска под Смоленском, все теснее и теснее окружая его. Вожди уговаривали Шеина броситься на приступ и взять Смоленск, но воевода упорно отказывался.

— Боярин, — взволнованно сказал ему Измайлов, — гляди, мы в южной стене уже знатный пролом сделали. Пойдем!

Шеин лишь покачал головою и произнес:

— Пролом! Эх, Артемий Васильевич! В те поры, когда здесь стоял Жигмонд, а я за стенами Смоленска сидел, ляхи у меня две башни разрушили, а войти не могли, голодом только и одолели... Пролом!... Нет, подождем, когда они с голода пухнуть станут.

— Боярин! Невозможно так дольше! — с неудовольствием заявили Шеину иностранцы. — Там всего две тысячи четыреста воинов-ляхов; в один день Смоленск наш будет, а мы ждем, время тратим. Смотри, изнурение какое!

— Недолго теперь, — ответил им Шеин, — еще месяц, и нам ворота откроют!

— Жди! — угрюмо заявил ему князь Прозоровский. — Придет наконец Владислав из Польши и снимет осаду!

— Небось, князь, сумеем и Владислава встретить! — раздражился Шеин и продолжал упорствовать.

Сидя в своей ставке, он иногда бессонной ночью тяжело вздыхал и думал: «Не возьму в толк: враги вокруг меня али понять не хотят, что я кровь русскую берегу! К чему лить ее, ежели без крови возьмем Смоленск? Ох, люди, люди! Князь-то Черкасский схизматиком, изменником меня назвал! И он туда же... Да нет! Боярин Шеин не изменял Руси, царям правил; знает меня Филарет Никитич и боронит, не будь его...» — и при этой мысли Шеин невольно вздрагивал.

Над станом Прозоровского, казалось, разверзлись все хляби небесные. Ветер рвал и стонал, дождь лил не переставая, несмотря на то, что стояли последние дни июля месяца. Выкопанные землянки обратились в мелкие колодцы, ратники вылезли из них и предпочитали оставаться снаружи, чем снова лезть в воду.

Но несмотря на это, во всем русском войске царило веселье, и, казалось, ничто не могло испортить хорошего настроения россиян.

На краю лагеря, у валов, на вышке расположился стрелецкий сторожевой наряд. Подложив под себя мокрое сено, накрывшись зипунами, стрельцы равнодушно смотрели вдаль сквозь чистую сеть дождя и лениво переговаривались.

— Шеин! — с презрением сказал старик. — Нешто это голова? У него сноровка за окопом как кроту сидеть, а чтобы действовать — николи! Помню я, покойник — царство ему небесное! — Михаиле Васильевич Шуйский! Тот орел!...

— Дядюшка, — сказал молодой стрелец, — расскажи, как он ляхов бил!

— Ляхов? Всех он бил! Москву очистил! Как соединился это с Делаярди, и пошли мы...

— Дядюшка! Михеич! Гляди-ка, кто-то скачет! — перебил его другой стрелец, всматривавшийся вдаль.

Михеич оборвал свой рассказ и обернулся.

— И то! — сказал он. — Ну, вы! положить самопалы!

Двое стражников тотчас установили козлы и положили на них свои ружья.

Действительно, прямо на них скакал всадник. Не доезжая стражи, он замахал шашкою и что-то закричал.

— Стой! — успокоившись, сказал Михеич. — Ишь, несет его! Стой! Кто? Какое слово?

— Орел! — ответил всадник, соскакивая с коня и вытирая полкой кафтана лицо. — Поляки!

Стрельцы сразу всполошились.

— Где? Много?

— Полчища! И не счесть! Смотрите лучше! — И всадник, вскочив на коня, погнал его к ставке князя Прозоровского.

Князь, всегда недовольный Шейным, сидел в ставке с Сухотиным и Ляпуновым, своими помощниками, и говорил:

— Грех Пожарскому, что уклонился. Был бы теперь и Смоленск наш, и в Польшу в нутро самое забрались бы. А теперь что? Год почитай стоим.

— Голодом, слышь, воевода выморить хочет, — заметил Сухотин.

— Сами, пожалуй, еще голодом помрем!

— Ну, сказал тоже!

— А что же? — вспыхнул князь. — Придут поляки, перегородят реку — и умирай!...

В это время в палатку вошел Алеша Безродный. Вода с него лилась в три ручья, он был весь забрызган грязью. Прозоровский недовольно обернулся на него.

— Что ввалился? Кто такой?

— Алексей Безродный, сотник над дружиною боярина Терехова.

— Чего надо?

— Поляки идут. Туча!

Князь и его собеседники вскочили на ноги.

— Поляки? Где? Кто видел?

— Я же и видел, — ответил Алексей. — Ездил это я с утра охотиться. На берегу в камыше сижу, а ляхи тут как тут... человек десять. Погутарили и уехали. Я вышел, глянул, а их-то идет да идет... туча!

Прозоровский взглянул на собеседников.

— Говорил я вам про это?... Ну, теперь все испорчено. Снимайся, вот что! — Он обернулся к Алеше и сказал ему: — Возьми своих людей человек двадцать и поезжай на разведки. Дознай, много ли ляхов да где станом стали. Языка достань! А ко мне князя Теряева пришли. Знаешь его?

Алеша вздрогнул.

— Знаю! — ответил он глухо и вышел.

Судьба словно нарочно сталкивала его с князем.

У последнего была построена избашка с печью. Он сидел у стола и разговаривал с Эхе, поверяя ему свои печали, когда в избу вошел Алеша. Князь Михаил встал и быстро подошел к нему, узнав его сразу и говоря:

— А, Алексей, Божий человек, чего хоронился так долго? С чем пожаловал? Садись! Иоганн, давай меду!...

Алеша резко затряс головою.

— Я к тебе с посылом от князя Прозоровского. Тебя он зовет. Немедля!

Теряев отшатнулся.

— Теперь? Для чего?

— Поляки пришли, — ответил Алеша и вышел.

Теряев встревожился.

— Слыхал, Иоганн? Поляки!

Эхе кивнул головой и спокойно сказал:

— Вот драться и будем!

— Я пойду! — произнес князь. — Верно, надо что-нибудь.

«Поляки пришли!» — эта весть уже облетела весь лагерь и взволновала всех.

— Теперь хоть подеремся! — говорили кругом.

— Хошь не хошь, боярин, а войой! — усмехались другие.

Князь Прозоровский сказал Теряеву:

— Седлай коня! Скачи к боярину Шеину и скажи, что невдалеке от нас поляки показались. Какой приказ будет? Назад поедешь, заверни к Сандерсону, его оповести... А то нет! — перебил он себя. — К Сандерсону я пошлю другого. Ты назад так же спешно. С Богом!

Спустя пять минут князь Теряев бешеным галопом скакал в лагерь Шеина, до которого было верст пятьдесят по берегу Днепра.

Почти в то же время из лагеря выехал Алеша с малою командою в восемь человек и тихо поехал вверх по Днепру. Был уже вечер. Темнело. Не зная покоя, не находя себе места, Алеша все время проводил на коне, гоняя его по степи, или на охоте, сидя часами в густых камышах. Это шатанье ознакомило его с местностью, где он знал каждую тропку, а потому вечерняя мгла в порученном ему деле разведки была только на помощь. Он медленно подвигался берегом, поросшим мелким ивняком, и вдруг остановился и спешился.

— Слезьте и вы, — тихо сказал своим дружинникам. — Ты, Ванька, и ты, Балда, со мною пойдете. А вы, — сказал он остальным, — ждите! Коли до зари не вернемся, ворочайтесь в лагерь; значит, сгибли мы... Ну, с Богом!

Он подтянул поясной ремень, попробовал нож, легко вынимается, и спустился к камышам. Ванька и Балда спустились за ним. Добрый час они двигались в камышах колена в воде.

Вдруг невдалеке послышался говор; следом раздался глухой смешанный шум. Алеша тотчас подал знак и высунул голову из камышей. В темноте вокруг и вдоль на всем пространстве которое мог окинуть глаз, горели костры. Возле них виднелись силуэты людей и коней. Невдалеке от притаившегося Алеши у костра сидели трое. Спутанные кони стояли подле, тут же торчали воткнутые в землю пики, и их наконечники горели красными огнями.

— Всех не убрать! — прошептал Алеша.

Балда замотал головою.

— Я возьму левого, ты правого, а на переднего Ванька навалится, — продолжал Безродный. — Живьем возьмем! Можно?

— Можешь, Ванька?

Ванька только кивнул головою.

— Подожди, кляп сделаю, — пробурчал он, снимая пояс и свертывая его.

— Тогда с Богом! Только разом!

Они легли наземь и поползли как змеи.

Поляки, довольные отдыхом, беспечно болтали и не думали об опасности. Вдали шумел лагерь, впереди расстилалась степь и вилась река; казалось, не для чего было выставлять и сторожевые пикеты.

— Один порядок только! — засмеялся молодой жолнер.

— Для видимости! — подтвердил другой.

— Именно! — начал третий, но тотчас захрипел под тяжестью навалившегося на него тела.

Мокрый и толстый жгут с силою вдвинулся ему в рот. Он упал ничком. В то же время два его товарища извивались в предсмертной агонии, убитые ударами кистеней.

— Вяжи! Тащи! — хрипло крикнул Ванька товарищам.

Перевязанного кушаками ляха Алеша и Балда подняли и потащили камышами к своим коням. Костер горел. Пики, воткнутые в землю, торчали, а спутанные кони храпели испуганно смотрели на своих корчившихся хозяев.

В то же самое время домчался до главного лагеря под Смоленском и князь Теряев, и привезенная им весть о наступлении поляков словно гром с ясного неба поразила Шеина.

— Врешь! — заревел он, услышав слова Теряева.

Князь побледнел.

— Теряевы никогда не вдали, — гордо ответил он, — а теперь я и не свои слова передаю!

— Прости на слове... Сорвалось! — смутился Шеин и тотчас разразился криками и угрозами своим слугам. — Коня! — орал он. — Коня, холопы! Живо!

Дрожащие слуги подвели ему коня.

— Князю! — закричал он снова.

Теряеву тотчас подвели свежего коня.

— Скачем! — И Шеин вихрем помчался в лагерь Прозоровского.

Прозоровский вышел ему навстречу.

— Боярин! — сказал он. — А тут мне и языка добыли. Сразу все и вызнаем!

— Где? — быстро спросил Шеин.

— А тут! — и Прозоровский провел главнокомандующего на зады своей ставки.

На расчищенном месте у слабо горевшего костра стояло несколько стрельцов и между ними приведенный Алешей жолнер со связанными назад руками. Его красивый алый жупан был изорван и весь испачкан грязью, лицо исцарапано, распутившийся чуб висел растрепанною косою.

— Этот и есть? — спросил Шеин и, подойдя к ляху, быстро заговорил по-польски: — Откуда ты и чей? Много ли вас пришло? С

вами ли король?

— Ишь ты, как лопочет по-ихнему! — перешепнулись стрельцы и стали ждать ответа ляха.

Но жолнер молчал.

— Прижгите ему пятки! — приказал Шеин.

Стрельцы быстро разули поляка. Один из них взял головню, другие подняли поляка на руках, и горящая головня с тихим шипением прикоснулась к обнаженным подошвам. Поляк закричал не своим голосом:

— Все скажу, панове! Честное слово, все, как есть...

Шеин махнул рукою. Поляка отпустили.

— Ну, говори, как звать тебя и кто ты?

— Ян Казимир Подлеский, улан из Радзивиллов!

— Много вас?

— Тысяч двадцать есть, и еще сегодня к нам пришли казаки, тысяч пятнадцать.

— Кто у вас главный?

— Король Владислав с нами.

— Еще?

— Генералы: пан Казановский, ясновельможный пан Радзивилл, Казиевский, Песчинский, Данилович, Воеводский.

Шеин круто отвернулся от поляка и вошел в ставку Прозоровского. На лице последнего светилась злая усмешка.

— Что же, — решительно заговорил Шеин, — мне с ляхами не впервой биться. Их тридцать пять тысяч, а нас сорок да немчинов шесть, да казаков десять. Управимся!

— Надо битву дать, — сказал князь.

— Это зачем? Пусть они на нас лезут. Мы, слава Богу, в окопах!

Прозоровский пожал плечами и произнес:

— Если они соединятся со Смоленском, мы будем промеж их как в клещах.

— Не дадим соединиться. Ну, да с тобой не столкнешься. Ты ведь, князь, за Черкасского, — гневно перебил себя Шеин. — Приезжай завтра ко мне. Я всех соберу. Столкнемся!...

Брезжил рассвет, когда Шеин оставил ставку Прозоровского, а вскоре за ним отъехал и князь, оставив лагерь на Ляпунова и Сухотина. Те то и дело высылали разъезды, и почти каждый привозил с собою

языка, а через него они узнавали, что Владислав решил пройти в Смоленск и выручить осажденных.

Поздно вечером вернулся Прозоровский темнее тучи.

— Что? — спросили его товарищи.

Князь махнул рукою.

— Ждать будем, пока поляки на нас насядут!

— Ну?!

Князь развел руками.

— Видит Бог, в ум не возьму, что наш воевода-голова думает. И Измайлов за ним! Как кроты в норе!... Нас пятьдесят тысяч, а ляхов и сорока нет.

Князь Теряев горел весь в нетерпении боя. Он созвал свое ополчение и сказал ему:

— Помните, ребята, умирать один раз. Так будем умирать с честью!

— Да уж постараемся, князюшка! — добродушно ответили его ополченцы.

Потом он пошел к Аверкиеву и сказал ему:

— Иван Игнатьевич, честью прошу, коли где жарче будет, пошли меня!

Аверкиев засмеялся.

— Ладно, ладно! В самое пекло пошлю. Ужо попомнишь.

На другое утро по всему лагерю раздался тревожный звон литавров. Все быстро повыскакивали из своих землянок. Теряев вскочил на коня и вывел свое ополчение.

— Бой?

— Будет! — спокойно усмехнулся Эхе.

Рядом с князем Теряевым выстроилась дружина Алеши. Князь весело кивнул ему, но Алеша отвернулся в сторону.

«Ах, и за что он не любит меня?» — с обидою подумал князь.

А крутом шла суета. Аверкиев строил конницу и летал на коне из конца в конец лагеря, стрелецкие головы равняли свои полки. Потом все стихло.

От своей ставки медленно на коне ехал Прозоровский, а за ним Сухотин, Ляпунов, Аверкиев, Андреев и другие старшие. Прозоровский останавливался то тут, то там и что-то говорил. Наконец он поравнялся с Теряевым и тоже остановился.

— Дети мои милые! — громко заговорил он. — Вот и довелось нам ляха увидеть, а скоро, может, и в бой с ним вступить. Не осрамитесь, милые! Бейте, не жалея животов своих. За царя-батюшку будете! За Русь православную! Бог нам в помощь!

Он осенил себя крестом и поехал далее.

— Не пожалеем животов! — кричали кругом, и этот крик эхом прокатился по лагерю.

Армия в полном походном снаряжении простояла весь день, а затем улеглась на покой.

Мирно спал князь Теряев в ночь с шестого на седьмое августа, как вдруг вздрогнул и проснулся от пушечного гула. Он вскочил. В воздухе чуть светало.

Князь быстро оделся и выскочил следом за Эхе. В лагере была суматоха. Внизу, под валами, гремели пушки, и русские пушкарки отвечали тем же. Князь быстро вскочил на коня, к нему подскакал Аверкиев.

— Ну, за мною!

Теряев обернулся на свой отряд и поскакал. Несколько сотен мчались вместе к одной цели. Они доскакали до ворот и вышли в поле.

Князь увидел стройные польские полки, за которым клубами дыма обозначались пушки. Сбоку стояла недвижно конница. И вдруг вся она дрогнула и вихрем помчалась русский лагерь.

— Бей! — закричал Аверкиев и бросился вниз на несущуюся конницу.

Теряев видел впереди себя Аверкиева, сбоку Эхе и Алешу, видел, как вдруг все они перемешались с красными, желтыми и синими жупанами, и больше ничего не помнил. Его конь носился взад и вперед, опрокидывая собою всадников чекан со свистом кружил в воздухе, что-то теплое брызгало в лицо князю, текло по рукам и склеивало пальцы...

— Довольно, князь, далеко уехал! Назад! — раздался подле него голос, и Теряев очнулся.

Подле него, держа лошадь под уздцы, очутился Алеша. Конь его был в пене, короткий меч дымился кровью.

Князь осмотрелся. В лагерь медленно отходили русские полки, вдали к Днепру в расстройстве бежали поляки, а несколько жолнеров

мчалось прямо на князя и Алешу. Князь понял опасность и ударил коня. Они помчались и через несколько минут были в лагере.

— Победа! — кричали кругом.

— С победой, князь! — поздравляли Прозоровского, но он был мрачнее тучи.

— Нет! — с горечью наконец ответил он. — Нас обманули и победили! Вон где победа. Смотрите! — И он указал на далекий лагерь Сандерсона.

Там, видимо, шла еще жаркая битва, а от лагеря тонкой линией виднелся движущийся обоз. Он направлялся прямо в Смоленск и скрылся за его стенами.

— Поляки прошли в Смоленск!

— Ударим на них!

Прозоровский усмехнулся.

— Нас не пустят эти полки! — И он указал на только что разбитое им войско.

Со стороны поляков был обдуман и выполнен блестящий маневр.

Если смотреть на Смоленск с берега Днепра прямо, то перед его воротами, за мостом, на некотором возвышении расположился стан генералов, нанятых русскими, а именно Матиссона и Сандерсона; вправо от них, по берегу, на котором расположен Смоленск, крепкую позицию занимал Прозоровский, и, наконец, налево стоял лагерь Шеина и Измайлова.

Польские войска остановились на одной стороне с Прозоровским. Им надо было прежде всего снабдить провиантом Смоленск, а для этого следовало пробиться к нему.

И вот в ночь с шестого на седьмое августа Владислав навел два моста через Днепр и перевел главные силы на другой берег в тыл Матиссону. Для того же, чтобы русские не имели возможности помочь последнему, он велел Казановскому напасть на лагерь Прозоровского, а Розенову на Шеина.

Завязались битвы, но все внимание поляков было сосредоточено на Матиссоне с Сандерсоном. Мост был взят, и обозы прошли в Смоленск. После этого поляки на время отступили.

Взятие Смоленска русской армией стало несбыточной мечтой. Надо было думать, как отбиться от Владислава и с честью для оружия

снять неудавшуюся осаду. Шеин словно смирился и торопливо созвал новый, совет в своей ставке.

XII КРУТАЯ РАСПРАВА

В терему князя Теряева-Распояхина была тихая радость. Ольга родила отсутствующему мужу князя Терентия и лежала еще расслабленная на пышной постели. Подле нее сидела верная ее Агаша и толкала ногой крошечную зыбку, в которой, туго-натуго перетянутый, лежал новорожденный князь. Радость была по всему дому. Князь-отец распорядился выслать пива и водки своим дворовым и весело смеялся от сознания, что он уже дед. В то же время один гонец был уже на полпути до Рязани — послан к боярину Терехову, а другой гнал коня под Смоленск к счастливому отцу, Михаилу.

Князь Теряев сидел в своей горнице, думая, кого звать кумом к себе, кого кумою, как вдруг в горницу осторожно вошел Антон и сказал:

— Слышь, княже... какой-то человек пришел. Сказывает, тебя видеть непременно надо, говорить хочет.

— Кто такой? Сказывал?

— Из Коломны купец...

— Ну, кто там? Веди!

Князь повернулся в кресле и стал ожидать, смотря на дверь.

— Вот он! — сказал Антон и втолкнул Ахлопьева.

Последний тотчас же упал князю в ноги. Теряев увидел небольшого роста коренастого человека. Его рыжие волосы торчали в разные стороны, раскосые глаза словно хотели уследить за ними; широкий приплюснутый нос и огромный рот придавали лицу что-то разбойничье.

— Что тебе? — спросил его князь.

— Слово до тебя есть тайное, — ответил, стоя на коленях Ахлопьев, — прикажи своему холопу уйти.

Князь взглянул на его разбойничье лицо, попробовал рукою, на месте ли поясной нож, и, усмехнувшись, сказал Антону

— Уйди!

Антон вышел.

Ахлопьев тотчас поднялся на ноги и проговорил:

— Ведомо ли тебе, князь, что сына твоего оплели?

— Как? — не понял Теряев.

— Оплели! — повторил Ахлопьев, и его глаза зло сверкнули. — Дворянская вдова Шерстобитова с дочерью, да на помогу знахарку Ермилиху взяли.

Князь вздрогнул, призрак опасности мелькнул пред ним.

— Ермилиха? Бабка-повитуха?

— Она! Она и наговоры великие знает и с нечистым — Господи, помилуй! — вожжается. Сделали они то, что князь Михайло взял вдовью дочку в полюбовницы.

Князь грозно нахмурился и ухватился за нож. Однако Ахлопьев смело продолжал:

— И для той полюбовницы занял он старую мельницу в усадьбе, их всех перевел к себе. А они замыслили теперь его жену, молодую княгиню, извести и род ее весь.

Князь стоял уже на ногах и грозно смотрел на Ахлопьева. Кровь кипела в нем.

— Бреешь, смерд! Не может сын мой после того, как у алтаря клялся, против закона идти!

— Ведовство... опоили...

— Бреешь!

— С дыбы скажу!

Лицо князя осветилось злою усмешкою.

— Ин будь по-твоему! Антон! — крикнул он и захлопал в ладоши. Антон вошел.

— Возьми этого молодца да отведи его в Зачатьевский монастырь, знаешь? Сам отведи! А мне коня закажи! Живо!

— Идем, что ли! — грубо схватывая за плечи Ахлопьева, сказал Антон, и они вышли.

Князь подтянул кушак и вышел на крыльцо, а через минуту скакал по Москве к страшному земскому приказу. Через полчаса он уже сошел с коня у ворот, где, вкопанные в землю, мучились обреченные.

— Боярин здесь?

— Здесь! В избе! — ответил стражник.

Теряев быстро прошел в знакомую избу.

— А, князь! — приветствовал боярин Колтовский Теряева. — С чем пожаловал? Здравствуй!

— Здравствуй, боярин! Да не с доброю вестью! — ответил князь. — Слышь, пришел ко мне купец из Коломны. Говорит, сына моего зельем опоили, сердце привораживая. Взял он девку в полюбовницы, а она и жену его, и внука извести норовит, а в помощь ей баба-колотовка, Ермилиха.

Боярин покачал головою.

— Беда с этих ворожей!... Вот и сейчас одну на дыбе спрашивал. Мужа извела!...

— Сыскать, боярин, надо!...

— Беспременно! А где они-то?...

— Сейчас мой Антон этого человека приведет. Попрошай, а там пошлем с Антоном сыщиков.

— Пошлем, пошлем, — согласно ответил Колотовский. — А что, князь, с внуком поздравить можно?

— Спасибо на добром слове!...

* * *

Не сбылись мечты Людмилы. Как появился пред нею Ахлопов и она закричала о помощи, так тотчас потом свалилась на пол от страшной боли. Прибежали, спустя час почти, мать и Ермилиха, подняли ее с пола всю кровью залитую, и, обессиленная, осиротелая, сразу лишенная мечты о ребенке, лежала Людмила в светлице и думала горькие думы.

Ничем— то, ничем не порадует она князя, как он придет -даже здоровьем своим! На человека похожа не будет, слабая, как котенок, бледная и худая, словно щепка!

Вдруг она испуганно вздрогнула. На дворе послышался шум: словно кто-то бранится, кто-то плачет. В ту же минуту с пронзительным воем к ней ворвалась мать. Кичка с ее головы была сброшена, волосы распустились полуседыми космами.

— Дочка моя! Людмилушка! — завопила она. — Царские сыщики пришли! Нас забирают! На Москву тащат! Ох, пропали головушки наши! Людмилушка! Идут! Идут! — и она забилась под кровать.

Страх передался Людмиле. Забыв болезнь, она вскочила на ноги и быстро набросила на себя сарафан. В эту минуту в дверях светлицы показались стрельцы.

— Бери эту! А где старая ведьма? Ищи, ребята!

— Кто вы? — вскрикнула Людмила.

— Ха-ха! Кто? Вот там у нас, голубушка, узнаешь! Ну шевелись, что ли! — И стрелец грубо потащил Людмилу.

Сзади раздавались пронзительные вопли и грубый смех. Один из стрельцов увидел вдову и со смехом тащил ее за ногу из-под кровати. Только один Мирон успел спастись от облавы и, забрав что под руку попало, бежал по лесу быстрее зайца.

Как лет четырнадцать назад, князь Теряев сидел рядом с боярином Колтовским в страшном застенке. Пред ним стояла Людмила. В распущенными волосами, падавшими до колен, в длинной сермяжной сорочке, с бледным, измученным лицом, она походила на христианскую мученицу.

— В одном виновата, что князя Михаила больше жизни люблю! — твердо ответила она.

— А что пить ему давала?

Людмила тихо улыбнулась, отдавшись воспоминаниям.

— Мед и брагу, вино и пиво. Сбитень он пил... помню, как впервой приехал, налила я ему чару вина, а он и говорит: «Горько!»

Князь нетерпеливо махнул рукою.

— А что ему в чару сыпала? — спросил дьяк. — Чем приворожила его?

— Любовью своею! А за что он меня полюбил, не знаю.

— Веди доказчиков! — приказал Колтовский.

Двое мастеров вышли. Людмила опустила голову.

«И муки, и поношения!... Да неужели простым людям нельзя любить князей, что за такую любовь муками мучают...»

В это время раздался лязг цепей, и друг за другом в застенок ввели бабу Ермилиху, мать Людмилы, Ахлопьева и девушек, что прислуживали у Людмилы.

При виде их Людмила всплеснула руками.

— Голубушки вы мои! — воскликнула она, но все вошедшие взглянули на нее с какой-то злобою.

— Змея подлая! — прошептала Анисья, одна из девушек.

— Сказывай ты, купец! — с усмешкою проговорил Колтовский.
Ахлопьев злобно сверкнул на Людмилу глазами и заговорил:

— Увидела она князя Михаила и решила приворожить. О ту пору она моей невестой была. Заскучала очень, стала к Ермилихе ходить. Однажды князь у нее воды испить просил. Ему подала из ковша с наговором, и с того часа князь, что ни день, к Шерстобитовой ездил.

Людмила улыбнулась.

— Потому что любя была!

— Молчи! — крикнул на нее Теряев.

— А потом взял их князь и к себе в усадьбу увез, — продолжал Ахлопьев. — Там они надумали княгиню молодую извести. На том крест целую!...

— Не думала! Врет он со злобы! — закричала Людмила.

— Молчи! — пригрозил ей дьяк и сказал: — Говори теперь ты, Ермилиха!

— А что я, — загнусила старуха, — я ничего не знаю. Просил меня князь: «Уговори уехать девушку!» — и я пошла.

— Опять! — зашипел дьяк. — А что вчера говорила? Игнашка, дыбу!

Ермилиху подхватили под руки.

— Ой, родимые, — завопила она, — вспомнила! вспомнила!

— Шептала на воду?

— Шептала, родимые! — Ермилиха дрожала как лист и испуганно глядела на стоявшего подле нее мастера.

— Приворот-корень давала?

— Ой, давала, давала!

— Извести княгиню думала?

— Она думала, — указывая на Людмилу, сказала Ермилиха.

— Врет! Не было у меня и в мыслях этого! — вскрикнула Людмила.

— А это что? — проговорил вдруг Теряев, указывая на ее обнаженную грудь.

— Сорви! — приказал дьяк.

Заплечный мастер ухватил ладанку, что висела на шее Людмилы, и рванул ее что было силы. Людмила упала на колени и вскрикнула.

— Вскрой! — сказал дьяк.

Палач провел по ладанке ножом и вынул оттуда прядь волос.

— Это что? — строго спросил князь.

— Волосы! Мои волосы! Сыну дать хотела, — ответила Людмила. — И такую же князю дала, как он в поход ехал!

— Терлик! — вскричал князь. — Приворот! Читай, дьяк, приговор!

— Ну, вы! — закричал на всех боярин Колтовский. — Слушайте!... Дьяк читать будет!

Дьяк поднялся и гнусавым голосом начал чтение. Сперва в приговоре перечислялись вины всех, как они приворотным зельем заманили молодого князя Теряева, а потом — как замыслили извести молодую княгиню и ее новорожденного.

— А потому тебя, дворянскую вдову Надежду Шерстобитову, и тебя, дворянскую дочь Людмилу Шерстобитову, и тебя, посадскую вдову Парасковью Ермилиху, как в ведовстве уличенных и с нечистою силою знаемых, и зелье на гибель православной души готовивших, живыми огнем спалить! А вас, девок, холопок князя Теряева-Распояхина Анисью, Варвару и Степаниду, за пособничество да укрывательство кнутом стегать и большой палец на руке отсечь!...

В застенке поднялся вой. Людмила покачнулась и упала.

Князь медленно возвращался к себе домой, а на сердце его было тяжело, тяжело. Чувствовал он радость, что спас сына и невестку свою и внука от злых происков, и в то же время образ Людмилы и ее голос не выходили из его головы. Так бы и оберег ее от тяжелой смерти!...

А в это время заплечные мастера торопливо готовили сруб для приведения приговора в исполнение.

Так окончились любовь и счастье Людмилы...

XIII РУССКОЕ ГОРЕ

Положение русских под Смоленском сразу изменилось после рокового дела с шестого на седьмое августа. Время бездействия сменилось беспрестанными кровавыми сражениями, и доблесть русского войска меркла пред Владиславом, едва ли не умнейшим полководцем того времени.

— Да нешто можно тут Михаилу Борисовичу стоять? — говорили с совершенным недоверием русские военачальники про Шеина, а

некоторые угрюмо прибавляли: — Десять раз можно было Смоленск завоевать, а мы целый год онучи сушили! Ну, вот теперь и дождались!

— Умирать теперь, ребяташки, придется! — слышались голоса в войсках.

Шеин не слышал, но чувствовал обращенные к нему укоры и становился все мрачнее и суровее. Теперь он уже не собирал советов и действовал от себя, хотя все его действия сводились к каким-то ожиданиям.

Особый роман можно посвятить этой тяжелой године нашего войска — так много заключалось в ней отдельных событий, столько совершалось героических подвигов и так трагически закончился этот неудачный поход.

Только сутки дал роздыха польский король своим войскам и повел их снова в дело. Против Шеина пошел Казановский, против Прозоровского — Радзивилл, а главные силы — снова против мостовых укреплений Сандерсона и Матиссона. Казановский шаг за шагом теснил Шеина и успел выставить несколько окопов, чем отрезал его от лагерей Прозоровского и Матиссона. Другие атаки поляков были не столь удачны, но ярость, с которою велись они, показывали, что победы поляков есть дело времени.

Снова был сделан небольшой перерыв, в течение которого все-таки происходили ежедневные битвы между частями, а двадцать первого августа король опять повел свои сокрушительные атаки. Но здесь Шеин словно очнулся на время от спячки. В то время, как король Владислав бился с Прозоровским, Шеин набросился на Радзивилла, смял его, уничтожил окопы и успел переправить часть войска на другую сторону Днепра, чем отвлек короля от нападения и снова восстановил прерванное сообщение.

Эта победа была едва ли не последнею во время злосчастной кампании. Да и тут торжество было омрачено.

Сандерсон и Матиссон, занимавшие центральную позицию, видя, что они со всех сторон окружены польскими войсками, и боясь быть совершенно отрезанными, снялись ночью и, бросив три пушки и множество ружей, осторожно удалились в лагерь Шеина.

Боярин всплеснул руками и зарычал как зверь:

— Что вы сделали со мною?

— Мы не могли держаться. Завтра же нас заперли бы и потом вырезали бы! — ответил Матиссон.

— Там мы были бесполезны, — прибавил его товарищ.

А на другое утро их лагерь был занят дивизией Бутлера. Поляки совершенно придвинулись к горе, и король свободно въехал в Смоленск. Между Прозоровским и Шеиным левую сторону Днепра укрепились поляки. Русских соединяли только длинные цепи окопов, с южной стороны Смоленска окружившие город.

Теперь, имея у себя в тылу крепость, король решил сделать общее нападение на всю линию русских войск, задавшись целью выбить их из укреплений и прогнать за реку.

Страшный бой длился двое суток. Король в легкой карете ездил из конца в конец по линии своей армии, а Шеин и его помощники на конях устремлялись в самые опасные места.

Битва была ужасна по кровопролитию; но еще не было и не будет войск, способных выбить русского солдата из окопа, а потому битва была бесплодна для поляков: они успели только сильнее укрепить позиции своих лагерей и отрезать Прозоровского.

Держаться долее в своем лагере для Прозоровского было безумием. Он снялся в темную дождливую ночь с двадцать девятого на тридцатое августа и кружным путем через окопы и укрепления соединился с Шеиным.

Наконец, четвертого сентября Лесли, Шарлей и Гиль, занимавшие окопы и укрепления вдоль южных стен города, тоже пришли в общий лагерь.

Осада была снята, и наступили черные дни.

Поляки укреплялись в тылу Шеина, ставя его войско между собою и Смоленском. Положение для русских было невыгодное.

Шеин собрал все войско в один корпус и сделал нападение на королевский стан. На время удача улыбнулась ему: он отеснил поляков и занял Богородскую гору, — но через месяц должен был оставить ее и, бросив часть запасов и артиллерию, занять другой пункт.

Это было в октябре. Шеин укрепился на правом берег Днепра, но в то же время поляки, укрепив Богданову гору, заняли и Воробьеву.

— Смотри, что ты сделал! — гневно сказал Прозоровский Шеину, выводя его на вал и показывая окрест.

Все высоты вокруг русского стана — горы Воробьева, Богданова, Богородская — были заняты поляками, и русский стан был под ними как на тарелке. Шеин смутился.

— Я говорил, надо было на Воробьеву гору послать дивизию с пушками, — волнуясь, кричал Лесли.

— А на Богданову гору?

— Туда тоже!

— Теперь не время ссориться, — уныло сказал Шеин, — надо выбить ляхов с Воробьевой горы!

На следующий день русские вышли из стана. Это было девятнадцатого октября. Рано утром, едва забрезжил рассвет, Измайлов двинулся с пехотой и артиллерией, сзади его подкреплял Прозоровский, а с флангов стали Лесли с Сандерсоном и Ляпунов с Даммом.

Но поляки уже были предупреждены об этом движении русских. Гористая местность скрывала овраги и ямы; пользуясь этим, поляки наделали засад.

Войско Измайлова ударило на ляхов, и завязался ожесточенный бой... Фланги начали обходить польское войско с боков, как вдруг на них с криком бросилась из засады пехота и разом смяла оба фланга. Произошла паника. Врезавшиеся в полки польская кавалерия не дала одуматься и погнала русских.

Этим несчастным делом, лишившим русских до трех тысяч воинов, закончились на время битвы, но не действия русских.

Король Владислав послал кастеляна Песчинского взять Дорогобуж, где хранились жизненные припасы русской армии, и этот город был взят без особого усилия.

Русские были лишены припасов. Отрезанных от Днепра, их ждала голодная смерть, на которую раньше Шеин обрек жителей Смоленска.

Роли переменялись. В русском лагере наступил голод, в лагере поляков было изобилие всего, даже роскошь. Король привел с собою огромный штат челядинцев, военачальники задавали у себя пиры, устраивали охоты; с утра до ночи оттуда неслись веселые крики и песни, и еврей-шинкари работали на славу. А в русском лагере царили тишина и уныние. Призрак голода стоял пред всеми, и ко всему поляки закрыли русским всякий выход из лагеря и лишили их дров на зимнюю стужу.

Так прошли октябрь, ноябрь и декабрь.

Ужасно было положение Шеина и Измайлова, как ближайшего помощника. В войске поднимался ропот, до их ушей уже донеслось роковое слово «изменник».

Шеин, оставаясь один, в отчаянии взывал к Богу:

— Господи, Ты видишь мое сердце! Я не изменник царю и родине, я не предатель! Пошли смерть мне на поле брани но избавь от поношения! Сил нет моих!...

Его лицо похудело и осунулось, самоуверенный голос пропал и исчезла власть над другими начальниками.

В лагерь с голодом и холодом пришли болезни — тиф, цинга — и раздоры.

— Боярин, — сказал однажды Шеину Измайлов, — соберем хоть совет. Может, и решим что!

— Сзывай, ежели охота есть, Артемий Васильевич, — устало ответил Шеин, — все равно зачернили нас насмерть с тобою. Не обелишься!...

Но Измайлов все-таки созвал совет.

Военачальники стали сходиться к Шеину один за другим. Первым пришел князь Прозоровский и дружески поздоровался с боярином Шеиным. Тот изумленно взглянул на него. Князь понял его взгляд и ответил:

— Полно, Михаил Борисович, полно! Бодриться нужно, в повода всех взять, а не сплетни слушать.

— Так ты, князь, не... веришь... что я... — Голос Шеина дрогнул от волнения.

— Что ты! Господь с тобою. Я ли не знаю службы твоей, боярин! — ответил князь.

Шеин обнял его и припал к его плечу.

— Умереть охота! — сказал он.

В палатку вошли Измайлов, Ляпунов и Сухотин; следом за ними Лесли, Дамм, Гиль, Аверкиев, а там Шарлей с Матиссоном и Сандерсоном, и Измайлов открыл совет. Шеин сидел в углу молча, нахмурившись, бессильно опустив руку на поясной нож. Измайлов описал положение войска, тщету обороны и окончил:

— Так вот и решить теперь надобно, что далее делать: мира ли просить, пробиться ли, или умирать в этой засаде измором?...

— Ничего этого бы не было бы, если бы не Сандерсон, — угрюмо произнес Лесли.

— А что я сделал такого? — запальчиво спросил Сандерсон.

— Снялся с лагеря. Твоя позиция была всему корень. Сдал ее — и осаде конец! — вспыхнув, ответил Лесли.

— Теперь не время спорить! — остановил их Прозоровский, но они вскочили с лавки и кричали, не слушая увещаний.

— Я не мог один держаться! Ты там позади был. Водку пил! — кричал Сандерсон.

— Я водку пил, а с поляков отступного не брал!

— А я взял?

— Должно быть, что так!

— Я не вор! — заорал Сандерсон. — Я тебя за это! — И он бросился на Лесли с обнаженным кинжалом.

Лесли выхватил пистолет. Раздался выстрел. Палатка наполнилась дымом. Сандерсон корчился на полу в предсмертных муках.

— Вот тебе, собака! — четко сказал Лесли и, сунув пистолет за пояс, медленно вышел из палатки.

Все повскакали с мест и бросились к Сандерсону. Он умирал и в предсмертной агонии рвал воротник кафтана. Шеин в отчаянии схватился за голову и кричал:

— Убить Лесли! Повесить!

— Руки коротки! — грубо ответил ему Гиль, выходя из палатки вслед за Шарлеем.

Князь Прозоровский позвал стражу и велел вынести труп. Оставшиеся грустно посмотрели друг на друга.

— Плохой совет! — произнес наконец Измайлов.

— Я говорил тебе, — с горечью воскликнул Шеин, — я не начальник, меня не слушают, мне дерзят и при мне ссоры заводят.

— Что же будет теперь? — уныло проговорил Аверкиев. — Без начала нам всем умирать придется.

— Все в руках Божьих! — строго сказал князь Прозоровский.

Вести о неудачах под Смоленском доходили до Москвы и сильно волновали государей. А вскоре к этим неприятностям для царя Михаила прибавилось новое горе.

Однажды он сидел в своем деловом покое и беседовал с Шереметевым и своим тестем Стрешневым о войне и делах

государственных, когда вдруг в палатку вошел очередной ближний боярин и, поклонившись царю, сказал:

— С патриаршего двора боярин прибыл. Тебя, государь, видеть хочет!

— От батюшки? — произнес Михаил. — Зови!

Толстый, жирный боярин Сухотин торопливо вошел и, упав на колени, стукнул челом об пол.

— К тебе, государь! — заговорил он. — Его святейшеству патриарху занедужилось; за тобою он меня послал.

Михаил быстро встал, на лицах всех изобразилась тревога. Все знали твердый характер Филарета и его стойкость в болезни, а потому понимали, что если он посылает за сыном, то, значит, ему угрожает серьезная опасность.

— Закажи колымагу мне, боярин, да спешно-спешно! — приказал Михаил. — А ты, Федор Иванович, — обратился он к Шереметеву, — возьми Дия да Бильса и спешно за мною!

Шереметев вышел. Спустя несколько минут Михаил Федорович ехал к патриарху, а еще спустя немного стоял на коленях у кровати, на которой лежал его отец.

Лицо патриарха потемнело и осунулось, губы сжались и только глаза горели лихорадочным блеском.

— Батюшка, — со слезами воскликнул Михаил, припадая к его руке, — что говоришь ты! Что же со мною будет?

Филарет перевел на него строгий взор, но при виде убитого горем сына этот взор смягчился.

— Не малодушествуй! — тихо сказал патриарх. — Царю непригоже. Говорю, близок конец мой, потому что чувствую это... А ты крепись! Будь бодр, правь крепко и властно!

— Не может быть того, батюшка! Дозволь врачам подойти к тебе. Пусть посмотрят.

— Что врачи? Господь зовет к Себе раба Своего на покой. Им ли удержать Его волю?

— Дозволь, батюшка! — умоляюще повторил Михаил.

Филарет кивнул.

— Зови! — тихо сказал он.

Михаил быстро встал, подошел к двери и сказал Шереметеву:

— Впусти их, Федор Иванович!

Дверь приоткрылась, и в горницу скользнули Дий и Бильс. Они переступили порог и тотчас упали на колени. Царь махнул рукою. Они поднялись, приблизились к постели и вторично упали пред Филаретом. Он слабо покачал головой.

— Идите ближе, — сказал он, — успокойте царя.

Врачи поднялись и осторожно приблизились к постели патриарха. Они по очереди держали его руки, слушая пульс, по очереди трогали голову и, ничего не понимая, только хмурились и трясли головами. Состояние медицины было в то время настолько жалко, что врачи не могли, в сущности, определить ни одной болезни. Но панацеи существовали и то время в виде пиявок, банок и пускания крови, и к этому согласно прибегли и царские врачи.

— Полегчало, батюшка? — радостно спросил Михаил, к Филарету после этих средств, видимо, вернулись упавшие силы.

— Полегчало, — ответил он, — но чувствую, что болезнь та последняя. Не крушись!-ласково прибавил он.

И действительно, к вечеру с патриархом сделался бред, а в следующие дни он явно угасал.

Москва взволновалась. Народ толпился в церквах, где шли непрерывные молебны, колокольный звон стоял в воздухе; всюду виднелись встревоженные, опечаленные лица. У патриаршего дома не убывала толпа народа. Одни приходили, другие уходили и тревожным шепотом делились новостями.

Царь почти все время проводил у патриарха. Он совершенно упал духом, его глаза покраснели и опухли от слез; склонясь у одра болезни, он беспомощно твердил:

— Не покинь меня, батюшка!

Патриарх смотрел на него любящим, печальным взглядом, и глубокая скорбь омрачала его последние часы.

— Государь, — говорили царю бояре Шереметев, Стрешнев и князь Черкасский, — не падай духом. Страшные вести! поляки на Москву двинулись...

Михаил махал рукою.

— Не будет для Руси страшнее кончины моего батюшки!

— Что делать? Прикажи!

— Сами, сами!

Владислав действительно отрядил часть армии на Москву. Ужас охватил жителей при этой вести. Вспомнились тяжелые годы московского разорения и вторичного вторжения поляков в столичный город.

— Невозможно так! — решил Шереметев. — Князь! — обратился он к Черкасскому — Надо дело делать! Есть у нас еще ратные люди. Стрельцы есть, рейтары. Надо собрать и на ляхов двинуть!

— Кто пойдет?

— Пошлем Пожарского! Я нынче же к нему с приказом князя Теряева пошлю. Пусть они оба и идут.

На другой день князь уже собирал рать, чтобы двинуться на поляков. Народ успокоился. Спустя неделю десять тысяч двинулись из Москвы под началом Теряева и Пожарского.

Они встретились с поляками под Можайском и бы разбиты, но все-таки удержали движение поляков.

Князь Черкасский, сжав кулаки, с угрозой подымал их в думе и говорил:

— Ну, боярин Шеин, зарезал ты сто тысяч русских. Будешь пред нами отчитываться.

И никто ему не перечил; только Теряев-князь, качая головою, сказал Шереметеву:

— Торопитесь осудить Шеина. Ведь о нем еще и вестей нет!

— Я что же? — уклончиво ответил Шереметев. — Смотри: на него и дума, и народ!

Только патриарх, мирно отходя на покой, не ведал вовсе московской тревоги. В ночь на 1-е октября 1634 года он спешно приказал прибыть Михаилу с сыном Алексеем, которому было всего пять лет.

Михаил рыдая упал на пол, но патриарх, собрав последние силы, строго сказал:

— Подожди! Забудь, что ты мой сын, и помни, что царь есть! Слушай!

Царь тотчас поднялся. Его заплаканное лицо стало торжественно-серьезным.

Филарет оставлял ему свое духовное завещание. Он говорил долго, под конец его голос стал слабеть. Он велел сыну приблизиться и отдал последние приказания:

— Умру, матери слушайся. Она все же зла желать не будет, а во всем с Шереметевым советуйся и с князем Теряевым. Прямые души... Марфа Иосафа наречь захочет. Нареки! Правь твердо. В мелком уступи, не перечь, а в деле крепок будь. Подведи сына! Ему дядькой — Морозов! Помни! муж добрый! Возложи руку мою!

Царь подвел младенца и положил руку своего отца на голову сына. Патриарх поднял лицо кверху и восторженно заговорил, но его слова нельзя было разобрать. Вдруг его рука соскользнула с головы внука. Ребенок заплакал.

— Батюшка! — раздирающим душу голосом вскрикнул Михаил.

С колокольни патриаршей церкви раздался унылый звон, и скоро над Москвою загудели печальные колокола. Народ плакал и толпами стекался поклониться праху патриарха.

Боярин Шереметев прискакал в Вознесенский монастырь и торопливо вошел в келью игуменьи.

Смиренную монахиню нельзя было узнать в царице Марфе Она выпрямила стан и словно выросла. Ее глаза блестели.

— А, Федор Иванович пожаловал? — сказала она. — С чем?

Шереметев земно поклонился ей.

— Государь прислал сказать тебе, что осиротел он. Патриарх преставился!

Марфа набожно перекрестилась, с трудом скрывая улыбку торжества на лице, и сказала:

— Уготовил Господь ему селения райские!

Шереметев поднялся с колен.

— Наказывал он что-либо царю? — спросила инокиня Марфа.

— Наедине были, государыня. Не слышал!

— Кого за себя назначил?

— Не ведаю!

— Так! Слушай, Федор Иванович: буде царь тебя спросит, говори — Иосафа. Муж благочестивый и богоугодный!

— Слушаю, государыня!

— Еще сейчас гонцов пошли: двух к Салтыковым, одного — к старице Евникии. Измучились они в опале.

— Слушаю, государыня!

— Грамоты готовь милостивые. Царь в утро руку приложит А ты изготовь сейчас и ко мне перешли.

— Слушаю, государыня!

XIV ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

Мертвая тишина царила в русском стане под Смоленском. Была темная морозная ночь. Шеин в своей ставке не спал. В валяных сапогах, в тяжелой шубе и меховой шапке сидел он в своей ставке, сжав голову руками. Что делать? Господи, что делать!

Ссоры в лагере росли, начальники враждовали друг с другом; ратники умирали от голода, холода и болезней, а никакой надежды на помощь не было. Оставалось просить о мире: пусть выпустят только!

Шеин протянул руку к кружке с водою, подле которой лежал ломоть хлеба, и хотел залить внутренний пожар, но вода оказалась замерзшею.

«Что у ратников?» — подумал он, и невольно в его мыслях прошли все дни его удач и неудач под Смоленском.

Он мысленно проверял свои распоряжения, вспоминал советы своих товарищей и чем больше думал, тем сильнее бледнело его лицо. Холодный пот выступил на его лбу, и в то же время он распахнул шубу.

«Есть вина моя! — с ужасом решил он в сердце. — Медлителен был я и робок. Прав князь Семен Васильевич: до прихода короля Смоленск взяли бы, но теперь... — И, думая о второй части похода, он не видел ошибок: — Воробьевой горы не занял. Так что же? Все равно вышибли бы. Господи, оправдай! Сними позор и бесчестие!...»

Он задыхался и вышел из ставки. Прислонясь к косяку, стоял недвижно у входа стрелец. Бледная луна освещала его почти белое лицо. Оно казалось странным, все запущенное инеем. Шеин окликнул его:

— Молодец, ты чьего отряда? А?

Стрелец не шелохнулся.

«Заснул, упаси Боже, — подумал Шеин, — на морозе смерть!»

— Эй, проснись! Эй, ты! Как тебя! — И он толкнул стрельца в плечо.

Тот покачнулся и во весь рост, не сгибая колен, грохнулся наземь с глухим стуком. Шеин отпрянул.

— С нами крестная сила! Замерз! — в ужасе прошептал он и, крестясь, торопливо вернулся в палатку. — Завтра же пошлю! —

решил он и медленно стал ходить по ставке. — Кого? Семена Васильевича пошлю, Дамма пошлю, а с ними... ну, князя Теряева! Завтра же...

Долгая зимняя ночь текла над станом. Если бы пройти по землянкам, в которых жили ратники, — ужас сковал бы все члены зрителя; больные, разъеденные цингой, больные страшным поносом, раненые и здоровые — все лежали в одной куче, думая только о том, чтобы согреться.

В маленькой землянке, плотно прижавшись друг к другу, прикрывшись тулупом, лежали Эхе и князь Михаил Теряев и оба не спали. Князь весь отдался мечте о Людмиле. Думал он, как она родила, как ждет его, и представлял себе радость свидания с ней. Мысль, что он может не вернуться, вовсе не приходила ему в голову, равно как и мысль о молодой жене. Только недавно верный княжеский конюший пробрался к нему в лагерь и принес весть о рождении наследника, но Теряев даже не сумел притвориться радостным. Что ему до нее? Она княгиня, все ей приложится. А его зазнобушка, его лебедь белая, как позорная прячется...

«И награжу я ее! Усадьбу ей выстрою. Гнездо сделаю, соболями выстелю!...»

А Эхе думал свою думу. Вчера они съели последнюю горсть толокна, завтра придется есть конину, а там, как своих коней съедят, тогда что? И он ломал голову, как спасти дорогого ему князя.

В землянку вошел какой-то человек и окликнул князя. Теряев вскочил.

— Кто? Чего надо?

— От Павла Аверкиева, к князю, — сказал казак, вошедший в землянку, — на тебя наряд сегодня: за дровами идти!

— Один?

— Приказал и Безродного поднять! Много вас?

Князь обратился к Эхе.

— Сколько у нас осталось людей?

— Сорок и нас двое!

— Ну, так и собирайтесь! Ух, и мороз же... страсть!...

Казак вышел.

— Ну, вот и согреемся! — с усмешкой сказал князь, натягивая на себя тулуп. — Собирай людей, Иоганн!...

Эхе грустно поднялся и засветил сальник.

— Варить не будем, — сказал, бодрясь, Эхе, — потом, как вернемся, покушаем!

Князь улыбнулся.

— Эх, Иоганн! Да разве я не видел, что мы остатки съели?

Швед поник головою.

— Не тужи, друже, Бог не захочет — не умрем! — сказал князь и обнял Эхе.

Они крепко поцеловались, и Эхе вышел. Через несколько минут вышел за ним и князь. В темноте толпился его народ.

— А возы?

— Тут! — отозвался голос.

— Куда идти?

— Приказано за северные ворота.

— Ну, с Богом!

Князь пошел по знакомой дороге, за ним двинулись пешком его люди и десять санных передков.

Они уже прошли половину лагеря, когда с ними поравнялся отряд Безродного.

— Где князь? — спросил Алексей.

— Я, здоров будь!

— И тебе того же! — Алеша подошел к князю и заговорил: — Чудно! Нас, почитай, во всякое дело вместе посылают!

Князь кивнул головой и заметил:

— А ты все от меня воротишься; будто недруг! Отчего?

Безродный не ответил. Они подошли к воротам, и им тихо отворили.

Они вышли. При блеске луны пред ними белело снежное поле, а за ним версты за три чернел лес, который караулили от русских поляки. В нем надо было набрать топлива.

— Ты уж сначала бери! — сказал Алеша. — Мне такой приказ был!

— Ладно! — согласился князь.

Снова тронулись в путь. Спустя полчаса они входили в лес. Князь остановился.

— Сани вперед! — сказал он. — Стой! Десять с топорами сюда! Руби! А вы, — обратился он к остальным, — цепью вокруг. Ты, Эхе,

сам у просеки стань. Возьми правее, а ты, Алексей, левее! С Богом!

В лесу застучали топоры. Их стук разносился по морозному воздуху. Подрубленное дерево наклонилось и с грохотом повалилось на землю.

Князь сменил дровосеков.

Мороз и работа разгорячили бледные лица. Все оживились. Работа кипела, и скоро распиленные и обрубленные деревья стали валить на сани. Уже светало.

— Славно! — шутил молодой ратник. — Теперь хоть на неделю станет тепло-то! А то беда!

— Поторапливайтесь! — говорил князь. — Ну!

Нагруженные сани тронулись.

Вдруг раздались выстрелы, и из кустов быстро выбежали ратники, Эхе и Алексей.

— Конница! — сказали они.

— Гони из леса! — приказал князь. — Братцы, собирайтесь в круг... Ну!

Сани скрипя двинулись и вышли из леса, окруженные отрядом человек в семьдесят. В ту же минуту из леса высыпали польские уланы и стали строиться.

— Стой! — приказал Теряев.

Уланы выстроились и вихрем полетели на отряд.

— Пищали! Пищали! Пики вперед! Вот! — закричал князь. — Разом!

Уланы почти подскакали, как вдруг грянул залп из нескольких пищалей и люди Теряева бросились с пиками на улан. Кони вздыбились и понеслись обратно врассыпную. Несколько всадников упало наземь.

— Славно! — радостно воскликнул князь. — Теперь скорее в дорогу! Ну, ну!

Сани опять тронулись. Однако уланы снова стали выстраиваться.

— Ну, ну! — подгонял князь. — Полпути уже есть! Стой! — Он остановил отряд снова, потому что уланы снова мчались. — Пищальники вперед! Цельтесь лучше!

Но уланы, подскакав, на залп ответили залпом и ускакали прочь.

Алеша схватился за грудь. Эхе торопливо подхватил его. Несколько человек упало.

Князь увидел раненого Алешу, и слезы навернулись ему на глаза. Но жалеть было некогда — на помощь полякам скакал свежий отряд, стремясь перерезать путь в лагерь.

— Раненых на сани! Живее! — скомандовал Теряев. — Ну, еще раз, пищальники!

Уланы опять скакали и, отраженные, ворочались назад, а князь со своим отрядом медленно двигался вперед, с ужасом думая, как пробиться сквозь линию конницы, что стояла между ним и лагерем.

Но в лагере увидели его положение. Грянула пушка, ворота распахнулись, и отряд русских с криком побежал на поляков. Князь ускорил шаг. Поляки рассеялись.

Теряев вошел в лагерь и прежде всего подумал об Алеше. Он и Эхе перенесли его к себе в землянку.

Алеша умирал. Он вдруг схватил руку князя и, сжимая ее, сказал: — Я был врагом тебе. Прости! Я любил Ольгу, и она меня. Ты взял ее... Скажи ей, чтобы забыла меня... Тебя бы... ты... брат... люби!...

Он продолжал говорить несвязно, потом захрипел и умер.

Князь поднялся с колен.

«Господи, — с горечью подумал он, — загубили отцы наши души! Бедный Алеша!»

Однако думы князя вскоре были прерваны: в землянку вошел стрелец.

— Князь Семен Васильевич за тобой, князь, послал! — сказал он и, увидев покойника, стал креститься, а потом повернулся и добавил: — Идти спешно наказывал! Ждет!

Князь горячо поцеловал холодеющее лицо Алешы и выпрямился.

— Обряди его! Я сейчас вернусь! — сказал он Эхе и кивнув ему головой, вышел.

Князь Прозоровский встретил его дружески.

— Ну, вот и ты! Слушай! Нынче у нас совет был. Терпеть нельзя более. Все видят это. Гиль уже перебежал к полякам с восемьюстами рейтаров. Шарлей то же мыслит. Наши мрут от холода, голода и болезней. Мы решили просить нас выпустить.

— Сдаться! — в ужасе воскликнул молодой князь.

Прозоровский нахмурился.

— Не сдаться, а просить выпустить нас. Это иное!

— Лучше умереть! — сказал Теряев.

Прозоровский горько усмехнулся.

— Умереть все рады. Да кому от этого польза? Теперь мы хоть что-нибудь сохраним, а тогда?... Нет, — перебил он себя, — на том все и порешили, так и будет. А тебя я позвал потому, что с нами поедешь к ляхам. Впереди с белым платом. Ты на коне?

— На коне!

— Тогда идем! Двадцать казаков с тобой поедут. Подъедешь и держи плат. Ляхи спросят тебя. Скажи, что для переговоров начальники видеться хотят, и с ответом вернись. С Богом! Вот плат тебе!

Прозоровский взял из угла ставки длинную пику, на конце которой висел белый платок, и передал ее князю.

Теряев вышел. У ставки Прозоровского его ждали уже двадцать казаков. Князь сел на коня и поехал из лагеря через другие ворота к королевскому стану. Не проехал он и версты, как был замечен поляками, и тотчас на него поскакал отряд гусар; но князь приказал поднять значок, и гусары без выстрела окружили его и казаков. К князю подскочил молодой, розовый, как девушка, офицер.

— Что угодно от нас пану? — спросил он князя, с сожалением окидывая его и его отряд взглядом.

Разница между двумя конными отрядами была разительная. Поляки, чуть не в новых кунтушах, веселые, розовые, сидели на сытых конях, а наши — худые, угрюмые, оборванные — на тощих, словно скелеты, лошадях.

— Наши воеводы хотят говорить с вашими, — ответил князь, — и сейчас выедут. Какая им встреча будет?

— А-а, — радостно воскликнул полячок, — подождите! Я мигом! — и, оставив свой отряд, он вихрем помчался назад в ставку.

Князь спешил и в нетерпении стал ходить. Его думы перешли на умершего Алешу и Ольгу. Гнева не было в его душе. Он представил молодую любовь Алеши, Ольгино горе когда она, не любя, венчалась, и его сердце наполнилось жалостью.

«Он сказал: „Люби!“ — думал князь, — а как любить, коли мое сердце все с Людмилою! Что-то она, голубушка? Воркует теперь, поди, со своим птенчиком в гнездышке... Эх, увидеть бы ее!»

До него донесся топот, и он очнулся. Молоденький офицер скакал сломя голову и, подле князя лихо осадив коня, быстро спешился.

— Пан круль велел сказать, — заговорил он, — что встретит ваших генералов как героев. Он поручил князю Радзивиллу говорить с ними. Я же встречу и провожу вас.

Князь быстро сел в седло и повернул коня.

— До доброй встречи! — крикнул полячок.

Прозоровский и Дамм ждали Теряева с нетерпением и едва он передал им ответ, приказали ему сопровождать их и тотчас сели на коней.

Между двумя станами их встретил тот же офицер и повел их в свой лагерь. Кони глухо стучали подковами по замерзшему снегу. Небывалый мороз проникал сквозь теплые тулупы. Они вошли в лагерь. Кругом горели костры, и возле них грелись солдаты.

Князь Теряев смотрел по сторонам и везде встречал сытые, довольные лица, а молодой поляк сказал ему:

— Мы тут всем довольны, если бы не морозы! Таких холодов никто еще не помнит. Верно, вам еще холоднее?

— У нас топлива хватит еще на две зимы! — ответил Теряев.

— Ну! А сами каждое утро за лесом вылазку делаете!

Князь вспыхнул, но в это время к ним подскакал какой-то генерал, и все начали спешиваться.

— Князь, с нами пойдешь! — приказал Теряеву Прозоровский, и они тронулись уже пешком.

Радзивилл жил в большом деревянном срубе. По внешности дом казался простой избой, но внутреннее устройство поразило русских своим великолепием. Не так жил Шеин в своей воеводской ставке! Дорогие ковры завешивали стены, пушистые шкуры медведей лежали на полу, золоченая мебель с шелковыми подушками украшала комнаты. Сам Радзивилл в дорогом парчовом кунтуше, в червлёных сапогах с накинутым на плечи собольим ментиком, с золотой цепью на шее казался более кавалером в бальном зале, чем генералом на военном поле.

— А, панове! — радушно встретил он русского воеводу и генерала. — Милости просим! Давно бы так! Садитесь! — Он усадил всех и, не давая говорить, продолжал: — Да, да! Вы — славные воины. Боярин Шеин — великий муж, но счастье войны переменчиво. Это

игра! Вы проиграли ее, и надо кончить. Зачем губить такое славное войско! Вы с чем пришли?

— Мы пришли говорить о пленных, — сказал Прозоровский, — давайте их менять! пока будем менять, отдохнем!...

Радзивилл усмехнулся.

— Запасемся топливом, достанем продовольствие, — окончил он.

Прозоровский вспыхнул, но сдержался.

— Что же? — сказал Дамм. — Ваше войско сильнее теперь, и вам нет нужды морить нас. Не даете нам дровами запасаться, но мы сами берем их, а продовольствия у нас хватит! Это все вам не опасно. Вы так сильны.

— А вы мужественны!

— Ну, вот! Устали и мы и вы. Будем менять пленных и отдохнем.

Радзивилл задумался.

— Хорошо, — сказал он, — будем менять их в течение месяца, а в это время вы, может, одумаетесь.

— Предложите нам добрые условия, — сказал Дамм, — и мы снимемся!

— Какие условия! — воскликнул Радзивилл. — Пусть боярин Шеин предаст во власть короля свой жребий, вот и все!

— Никогда! — пылко ответил Прозоровский.

Князь Теряев сжал кулаки.

Радзивилл пожал плечами.

— Ваше дело! На месячное перемирие мы согласны, и завтра король пришлет вам подтверждение, а что касается выпуска, то мы составим условия и будем говорить. А теперь — совершенно меняя тон, сказал Радзивилл, — запьем нашу беседу! Эй, пахолик!^[112]

Но князь Прозоровский быстро встал.

— Прости, — ответил он, — воевода наказал не мешкать!

Радзивилл нахмурился и махнул рукой на пахолика, вносившего поднос с кубками.

— Неволить грех! — сказал он. — Передайте боярину наш поклон. Скажите, что от сегодня мы снимаем караулы! — И он дружески протянул руку, но она не встретила ничьей руки и опустилась.

Князь Прозоровский и Дамм вышли из избы и скоро помчались обратно в свой стан.

Усталый, голодный возвратился князь Теряев в свою землянку, и первое, что бросилось ему в глаза, был холодный труп Алеши. Он недвижно лежал на лавке в красной рубахе, сложив на груди руки, и его лицо выражало тихое умиление.

Князь задрожал.

— Горемычный! Сколько горя выпало на его долю, и окончил он молодую жизнь нечаянной смертью! — Сердце князя дрогнуло, в голове промелькнули неясные, смутные мысли:— Что-то есть во всем этом обидно несправедливое... но что? Кто виноват?».

— Устал, княже? — послышался голос, и в землянку ввалился Эхе с полной охапкою сучьев. — Постой, я вот огня разведу, а поесть... — Он бросил наземь вязанку и конфузливо покачал головою. — Сухарь достал, — сказал он, — размочи в воде и съешь!

Князь нетерпеливо отмахнулся.

— Его схоронить надо!

— Сделал! Наши тут могилку выкопали. С утра копали, земля-то твердая. И попа достал. У Власа греется.

— Тогда скорее! А гроб?

Эхе развел руками.

— Теперь, князь, всякая щепка на счету! Так завернем!

Он подошел к трупу и бережно поднял его, потом переложил на пол, достал кусок холста от летней палатки и аккуратно завернул им Алешу.

Князь помогал ему и взял труп за голову, чтобы поднять. Подожди, людей кликну! — сказал Эхе.

— Не надо, — возразил князь, — понесем сами!

Они взяли Алешу и вынесли из землянки. Эхе шел впереди, неся его за ноги. Встречавшиеся люди набожно крестились. Невдалеке от землянки чернела яма, и князь опустил Алешу подле нее. Эхе пошел за священником и людьми.

Как сиротинку похоронили Алешу, без гроба, креста, могилы. Невысокий холмик занесло в ночь снегом, и навеки скрылось даже место его погребения

Князь вернулся к себе. В очаге пылал костер, наполняя дымом тесную землянку. Князь лег на лавку, на которой только что лежал труп Алеши, и заснул.

Он проснулся словно от толчка. Правда, его слегка толкал в плечо какой-то рослый, лохматый оборванец, но тот толчок, от которого проснулся Теряев, был изнутри и сразу сотряс все его тело.

— Кто? Что надо? — пробормотал князь, быстро садясь и в темноте чувствуя, что кто-то стоит подле него.

— Ты, князь? Мне сказали, что ты тут, и я вошел. Эх, темень! — произнес кто-то хрипло.

Князь задрожал.

— Ты-то кто? Я князь! Что тебе нужно?

— Я-то? — ответил голос. Да я Мирон! До тебя еле дошел. Три месяца шел. Поляки кругом... холод, беда!

Князь вскочил на ноги, потом сел.

— От Людмилы? Говори, что. Сын, что ли? Или иные вести? Да говори же!... Эхе! Эхе! Засвети светец!

Но шведа в землянке не было, и они продолжали разговор в темноте.

— Вести-то? — нехотя ответил Мирон. — Вести-то худые! Ой, худые! Нес я к тебе их, а теперь и не рад!

— Что? Отвечай! Ах, да не мучь ты души моей!

— Чего мучить! Забрали их!

— Кого? — закричал князь.

— А всех: и Людмилу, и мать ее, и мою матку, и девок всех! Я только и убег!

— Кто забрал?

— Царевы сыщики. Налетели это и ну вязать, а потом увезли.

— Куда? Зачем?

Голова князя кружилась, он ничего не понимал.

— Сказывали, в земский приказ либо в разбойный... не упомню. Пришли это с Антоном, стремянным князя, твоего батюшки.

Что— то с грохотом упало пред Мироном и ударило его ногам. Он нагнулся и нашарил тело князя. Испуганный, он выбрался из землянки и стал кричать.

На его крик прибежал Эхе.

— Чего ты, дурак?

— Дурак ты! — огрызнулся Мирон. — Иди скорее, огня засвети, князь помер!

Эхе в один прыжок очутился в землянке и тотчас высек огня. Светец тускло осветил помещение, и Эхе увидел лежащего на земле князя. Он торопливо поднял его. Князь вздохнул и очнулся.

— Иоганн! — тихо сказал он и вдруг залился слезами.

Швед растерялся.

— Князь! Миша! Чего ты? Ну, ну же!

— Ох, кабы знал ты! — князь оправился и сел на лавку. — Позови Мирона!

Эхе оглянулся, но Мирон уже скользнул в землянку и стоял подле князя.

— Ух! — сказал он. — И напугал же ты меня, князь!

— Договаривай все! — тихо приказал ему Теряев. — Так, говоришь, Антон был?

— Антон! — подтвердил Мирон. — А раньше Ахлопьев.

— Жених ее?

— Он! С того она и выкинула. Пришел это Ахлопьев татем крадучись, да и шасть к ней... — И Мирон по порядку рассказал про посещение Ахлопьева и испуг Людмилы, а потом высказал свою догадку, близкую к истине.

Князь вскочил. Его слабость исчезла, глаза загорелись бешенством.

— Купчишка этот! О, я же поймаю его! Возьму за горло, внутренности вырву! Он скажет мне, что с Людмилой... покается! Отец! Что он мог отцу сказать? Я узнаю... все узнаю!... Скорее!

— Князь, куда ты? — остановил его Эхе.

— К Прозоровскому... в Москву проситься!

Без шашки, в одном кафтане князь ворвался в избу Прозоровского. Тот перекрестил его, услышав его просьбу.

— Очнись! — сказал он. — Непутевое выдумал! На Москву! Да нешто пустят тебя ляхи? Тебя, как утку, подстрелят. Дурость одна.

— Пусти, князь! Если бы ты ведал горе мое!

— Что за горе?

— Не могу сказать тебе. Верь слову!

— Ну, ну! Тут у всех горе, не твое одно!

— Князь, я не могу! Не могу я! Ах, Боже, да поверь ты мне, должен я!...

Теряев был вне себя. Прозоровский невольно пожалел его.

— Ну, ин будь по-твоему, — ласково сказал он, — подожди только малость. Я боярину про тебя доложу, без него нельзя.

— Завтра скажи!

— Ну, завтра! Иди, иди с Богом! Ишь, на тебе лица нет! По морозу такому без шапки. Совсем обеспамятел!

— Скажешь?

— Скажу! Завтра же скажу. Иди!...

Теряев вышел. Лютый мороз не знобил его, он не чувствовал резкого ветра, не видел дороги и, вернувшись в землянку, молча стал ходить взад и вперед.

Эхе с тревогой глядел на его потемневшее лицо, на безумно горящие глаза и не решался заговорить с ним. Он узнал от Мирона про тяжкий удар, обрушившийся на голову князя, и думал: «Пусть перемучается. Легче станет!». Это было первое горе князя Михаила, настоящее горе, обрушившееся на него как гроза из чистого неба. Людмила пропала, царские сыщики увезли ее, но куда? Зачем? При чем тут отец? Что мог наговорить Ахлопьев?

Мысли князя путались. Он по несколько раз в день звал к себе Мирона и расспрашивал его о подробностях. Но подробности еще больше путали его, и он решил, что только там, в Москве, он узнает всю правду. Пойдет он к отцу и спросит прямо у него... Или нет: позовет Антона, тот ему все скажет. Ох, только бы на Москву скорее!

Князь ездил к Прозоровскому, но тот уклончиво говорил ему:

— Подожди, княже, не до тебя! У нас переговоры начались. Ждем вестей от ляхов!

Князь Михаил в отчаянии возвращался в землянку и говорил Эхе:

— Я убегу!

— Стыдно будет. Скажут: князь от своих людей бежал.

— Что же делать мне? Что делать?

— Терпи! Воевода отпустит — поедешь!

— Ах, скорее бы!

Так прошло недели две. Вдруг и князя, и других сотников, и даже Эхе позвали к ставке Шеина.

— Мир! — заговорили кругом.

— Ну, вот и уйду! — оживленно сказал Теряев, идя с Эхе.

Они пришли и увидели вокруг ставки Шеина толпу своих сотоварищей. Здесь были и Андреев, и Аверкиев, и все до сотников

включительно.

— Для чего звали? — спрашивал один другого.

— А не знаю! Пришли и так поспешно приказали идти!

— Надо думать, мир выговорили!

— Может, помога идет!

— Откуда? На Москве про нас и думать забыли. Поди, полгода, как нас отрезали!

Бледное солнце желтым пятном светило в небе. Был тихий морозный день. Крутом чувствовалось уныние и утомление. Даже начальники, говоря о мире, облегченно вздыхали. Наконец из воеводской ставки показались все воеводы. Впереди шли Шеин и Измайлов, у последнего в руке была бумага, за ними — Лесли, Дамм, Матиссон и князь Прозоровский.

— Здрaвы будьте! — поклонился всем Шеин.

— Будь здоров! — ответили ему из толпы редкие голоса.

Шеин укоризненно покачал головою и потом, оправившись, заговорил:

— Жалея ратников, слуг царевых, и видя, что трудно теперь бороться нам с супостатами, порешили мы все говорить с ними о мире; и вот они нам бумагу прислали, по которой на мир соглашаются. Так позвал я вас, чтобы и вы свой голос для ответа подали. Прислушайте! Артемий Васильевич, читай! — И он посторонился, дав место Измайлову.

Последний прокашлялся и среди гробового молчания начал чтение:

«А пункты то следующие:

I. Россияне, оставляя лагерь, должны присягнуть не служить четыре месяца против короля и республики.

II. Исключая двенадцать пушек, кои дозволяется Шеину взять с собою, должен он оставить все остальное королю.

III. Всех беглецов выдать королю, хотя бы они и состояли на русской службе; равным образом поступлено будет и с россиянами.

IV. Русская армия выступит со свернутыми знаменами, утушенными фитилями, без барабана и труб, и соберется в назначенное королем место. После тpоекратного салюта положены будут знамена на землю и останутся в сем положении, пока литовский генерал не подаст сигнала к маршу. Главный начальник, воевода

Михайло Борисович Шеин, со всем штабом его, без всякого различия в нациях, сойдут с коней и преклонят колени пред королем».

Шеин стоял, опустив голову, бледный, как снег, покрывавший площадь.

— Не бывать этому! — вскрикнул вдруг князь Теряев.

Глаза его разгорелись, он забыл про свое горе и чувствовал только весь позор такого условия.

Этот его крик словно был сигналом.

— Не бывать! Не согласны! Смерть ляхам! — послышалось кругом.

Измайлов, напрягая голос, продолжал: — «Они не должны прежде вставать, пока князь Радзивилл не подаст им знака сесть на лошадей и последовать в поход».

— Довольно! Брось! Не согласны! Боярин, веди нас на ляхов!

— «Пятое! — кричал Измайлов. — Артиллерия, порох и все военные снаряды должны быть сданы без всякого исключения комиссарам. Шестое! Окопы и все укрепл...»

Но тут крики совершенно заглушили голос Измайлова, и он свернул бумагу. Шеин выступил вперед; его лицо озарилось улыбкой. Он кланялся и махал рукою, пока шум не утих.

— Так! — сказал он. — Так же и мы решили. Лучше смерть, чем поношение. У нас еще есть сила умереть!

— Умрем лучше! — пылко крикнул князь Теряев.

— Ну! — продолжал Шеин. — Так и с Богом! Нынче в ночь приготовьтесь, братья, и я вас поведу на смерть! Или пробьемся, или умрем!

— Так, так! Слава тебе, боярин! — закричали кругом.

— Идите же по местам, и начнем дело делать с Богом.

Сердца всех вспыхнули прежним огнем. Оскорбление, нанесенное кичливым врагом, было слишком сильно.

— Друга! — обратился князь Теряев к своим ратникам — Нынче в ночь мы умирать должны, но не сдаваться ляхам. Обидели они нас кровно, и мы им то помянем!

Шеин решил пробиться на юго-восток и, обойдя королевский стан через Вязьму и Гжатск, пройти к Москве. Собрав все силы, он выступил ночью и внезапно напал на ничего не ожидавших поляков.

Завязался бой. Поляки растерялись было, но быстро оправились. Со всех сторон к Воробьевой горе потекло подкрепление, и скоро пред русскими стала несметная сила. Продолжать борьбу было безумием. Шеин приказал отступить и снова укрылся за окопами. Страшные потери не привели ни к каким результатам. Напротив, спустя какой-нибудь час явился от короля парламентар, который заявил, что теперь король уже ничего из своих требований не уступит.

Мрачное отчаяние овладело всеми.

— Умирать надо было! — твердил с яростью князь Теряев, совершенно забыв о своем горе.

Было еще раннее утро, когда его вдруг потребовали к Шеину. Князь спешно пришел. Боярин, опустив голову, задумчиво сидел у стола и даже не слышал прихода князя.

Теряев молча остановился у дверей.

— Боже! Ты меня видишь! — с тяжким вздохом произнес боярин и поднял голову. — А! Пришел, князь? — сказал он, увидя Теряева, и, встав, подошел к нему. — Сказывал мне князь Семен Васильевич, что ты на Москву просишься, — заговорил он, ласково кладя на плечо князя руку.

— Ежели милость твоя... — начал Теряев.

— Что милость! — перебил его Шеин. — Теперь тебя на службу зову. Коли не прошла охота твоя, иди!... — Князь благодарно схватил руку Шеина.

— Иди!... — повторил последний. — Только ведаешь ли ты, как это трудно? Нас кругом кольцом окружили, зайца не выпустят...

— Бог поможет, а тут невоготу мне! И свое горе, и обиды видеть тяжкие.

— Ну, ну! Коли проберешься в Москву, иди к царю. Скажи, что видел. Проси помощи! Невоготу держаться более. — Шеин помолчал, а потом вдруг сжал плечо князя и тихо заговорил: — Повидай патриарха и царя да скажи им еще, что я верный раб царю, что не ковы ковал я на родину, а готовил ей венец славы, и гордость моя стала на погибель мне. Пусть ко мне, а не к супротивникам моим царь обратит сердце свое!

Князь молча поклонился.

— А теперь прощай! Млад ты, и жена у тебя молодая, а я, может, на гибель тебя шлю, но — видит Бог — я не нудил тебя. Скажи отцу

своему, что шлю ему поклон до пояса. Помоги тебе Господь!

Шейн обнял князя и крепко поцеловал его. Князь чувствовал на своей щеке горячую слезу, и его сердце сжалось жалостью к боярину. Тяжко отвечать пред Богом и царем за напрасно пролитую кровь!...

XV НА МОСКВУ

Князь Теряев, вернувшись к себе, сиял от счастья.

— Чего такой радостный? — спросил его Эхе.

— Воевода в Москву меня послал! — ответил князь — Как стемнеет, так и пойду.

— На Москву? — Эхе даже взмахнул руками. — Да это на смерть верную идти! Поляки теперь мыши не пропустят.

Князь усмехнулся.

— Ежели суждено мне на Москву быть, то буду!

— Я не отпущу тебя одного, — пылко сказал Эхе, — я с тобою! Ведь я дядька твой... должен!...

— Да и Каролину повидашь, — весело прибавил князь.

Эхе вспыхнул, но не удержался от улыбки.

Как ни тайно делал свои приготовления князь, но скоро и его отряд, и все ближние узнали о его безумном намерении. В землянку ввалился Мирон.

— Князь, я без тебя тут не останусь, — твердо сказал он, — я только к тебе пришел. Возьми меня с собою!

Князь кивнул ему головою.

— Я думал тебя взять. Ты для меня самый нужный! Ты мне должен этого Ахлопьева найти, а затем в нашей вотчине схоронить.

Мирон сразу повеселел.

— Не уйдет! — ответил он. — Проклятый и мне солон. А что до меня, так я тебе, князь, и в дороге пригожусь; я сюда-то шел — словно уж полз. Всякую тропку запомнил.

— Ну, еще того лучше!

Все обнаружили трогательное участие к князю.

«Помоги тебе Бог!» — говорили одни, другие несли к нему черствые сухари, свое последнее пропитание. Князь Прозоровский сам приехал к Теряеву и, сняв тельный крест, повесил на него.

— Мы с твоим отцом хлеб-соль делили, — сказал он, — а тебя я как сына любил!

И князь Теряев, видя общую любовь к себе и внимание, на время забыл о целях своего страшного похода. Вечерело. Князь, Эхе и Мирон собрались в дорогу, взяв с собою только короткие мечи да небольшой мешок с толокном. Князь еще зашил в пояс сто рублей, а Мирон, кроме меча, захватил кистень.

— Мне с ним сподручнее будет, — объяснил он.

Пред их уходом пришел попик и трогательно благословил их крестом.

Наступила ночь. Князь простился со всеми, назначил Власа начальником над отрядом и вышел из лагеря.

XVI ТЯЖКАЯ РАСПЛАТА

Князь Терентий Петрович Теряев-Распояхин словно утратил равновесие духа после совершенной над Людмилою казни. Виделась она ему как живая, слышался ее тихий голос, и чувствовал он, что ее сердце было полно любви, а не злобы к его сыну.

«Душу загубил!» — думалось князю в бессонные ночи, и он с испугом озирался по сторонам.

Пробовал он служить молебны с водосвятием, потом служил панихиды по невинно убиенной Людмиле, но ничего не помогало. Еще хуже стало князю после разговора со Штрассе. Он вызвал к себе немца и спросил:

— Скажи, Дурад, можно человека извести?

Штрассе даже вздрогнул от такого вопроса.

— А вам зачем это?

— Просто знать хочу. Скажи, можно?

— Очень легко.

— Как?

— Отравы дать — зелья, по-вашему.

— Выпить?

— Выпить или съесть, все равно. Травы есть такие. Вот белены дать — с ума сойдешь, белладонны — умрешь скоро, яду дать можно — мышьяку. Много отравы есть!

Князь кивнул.

— А так, чтобы на расстоянии? Можно?

— Как это? — не понял Штрассе.

— Ну, вот я здесь, а вороги мои в Коломне, скажем, захотят извести меня наговором.

Штрассе улыбнулся.

— Это невозможно, князь. Бабы сказки!

— Почему?

— Да всякая зараза должна в кровь войти. Как же за сто верст сделать это?

— По ветру!

— Тогда бы с тобою они тьмы душ загубили. Ветер-то не на одного тебя дует!...

Князь почесал затылок.

— Что же, по-твоему, нельзя и человека приворожить к себе?

— Нельзя, князь!

— Отчего же дадут испить наговоренной воды — и сердце сейчас затоскует?

— Не бывает этого, князь. Наши чувства не от желудка идут. Кровь — от желудка, а любовь или злоба — от сердца прямо.

— Ну, насажешь тоже! Иди с Богом, надоел! — сказал князь, отпустив Штрассе, но с того разговора запечалился и заскучал еще сильнее.

Ничто не радовало его. Подымется он в терем, смотрит на внука, на свою невестку и не улыбнется. Царь после смерти своего отца обласкал его, и во время шествия на осляти князю поручено было вести за узду осла, на котором сидел вновь избранный патриарх Иосаф. Кругом шептались о новом любимце царевом, а князь хмурился все больше и больше.

Потом в его душу проник страх. Ведь сын-то вернется и все дознает; как взглянет он сам ему в очи? Крут и горяч был князь и сам себе не поверил бы месяц тому назад, что побоится родного сына, а тут случилось...

Один Антон видел и понимал страдания господина.

— Батюшка князь, — жалостливо сказал он ему однажды, — хоть бы ты святым помолился. Съезди на Угреш или в Троицу!

— Согрешили мы с тобою, Антон, — тихо ответил Теряев, — только сын вину мою с меня снять может!

— Господи Христе! Да где же это видано, чтобы сын отца своего судил? Да его тогда земля не возьмет!

— Нет мне без него покоя! — И князь поник головою застыл в неподвижной позе. Антон посмотрел на него и стал креститься. Однажды князю почудился будто шорох. Он поднял голову и быстро вскочил.

— Свят, свят, свят! — зашептали его побледневшие губы.

Пред ним стоял призрак его сына, страшный, неистовый, бледный, с воспаленными глазами, с косматой головою, длинной бородой, в нагольном тулупе.

— Батюшка, я это! — вскрикнул призрак и бросился к отцу.

— Отойди! — неистово закричал князь. Его лицо исказилось ужасом. Он вытянул руки и упал, извиваясь в судорогах; его глаза страшно закатились.

— Антон! — на все горницы закричал князь Михаил. — Зови Дурада! Скорее!

Штрассе уже знал о приходе молодого князя — Каролина уже обнимала Эхе и то смеялась, то плакала от радости. Штрассе быстро прибежал на зов и склонился над князем.

— Положить его надо! Кровь пустить! Пиявки!...

— Горе-то, горе какое вместо радости! — бормотал Антон.

Князя бережно уложили в постель. Он метался, стонал и говорил бессвязные речи. Штрассе сидел подле него. Утомленный Михаил сел в изголовье.

Наступила ночь. Больной князь садился на постели и вскрикивал как безумный:

— Отойди! Да воскреснет Бог и расточатся враги его! Наше место свято! — Потом начинал плакать и бессвязно бормотать: — Горяч я, сын, не стерпел. Прости Христа ради! — Иногда же он молил кого-то: — Подождите! Я снял с нее вину. Она молода, любит. Нет, нет! Не жгите ее. У нее такое белое тело... она так дрожит!...

Волосы зашевелились на голове князя Михаила, когда он разобрал отцовские речи. Ужас и отчаяние охватывали его при мысли о Людмиле, а также о роли отца в ее гибели. Любящим сердцем, быстрым умом он сразу понял ужасную участь своей любовницы.

— Ты устал, Миша! — дружески нежно сказал ему Штрассе. — Пойди отдохни!

— Не до сна мне, учитель! — ответил князь и закрыл лицо руками.

— В терем поднялся бы. Там у тебя и мать, и жена, и сынок, еще не виданный тобою!

— После! За мною еще государево дело!

Бледное утро глянуло в окно. Князь Михаил вспомнил свои обязанности, поднялся с тяжким вздохом, приказал Аи тону принести одежды и, сев на коня, двинулся в путь

Федор Иванович Шереметев встретил Михаила криком изумления:

— Ты ли это, Михайло? Как? Откуда? Говори скорее! Что наши?

— Я, боярин! Воевода Шеин послал меня к царю. Умираем! — И князь Михаил стал рассказывать боярину про бедствия войска.

Шереметев слушал, и невольные слезы показались на его глазах.

— Ах, Михайло Борисович, Михайло Борисович! — повторял он с грустным укором.

Князь вспыхнул.

— Не вина его, боярин! Видел бы ты, как он казнится! В последнем бою он как простой ратник на пушки лез, смерти искал!

— Не я виню, обвинят другие.

— А ты вступишь!

— Я? Нет; его заступник помер, а мне не под силу защищать его.

— Кто помер-то?

— Да разве еще не знаешь? Филарет Никитич преставился... как есть на Покров!

Князь перекрестился.

— Да нешто отец тебе не сказывал?

— Батюшка в огневице лежит, — тихо ответил Теряев.

— Да что ты? А я его вчера видел. Духом он смятен был что-то, а так здоров.

— Меня он увидел, — сказал князь, — и, видно, испугался. Вскрикнул, замахал руками и упал... и сейчас без памяти лежит.

— Ишь притча какая! — задумчиво сказал боярин. — Надо быть, попритчилось ему. Не ждал тебя... Да и кто ждать мог?... — прибавил он. — Диву даешься, что добрался ты жив. Чай, трудно было?

— Трудно, — ответил князь, — спасибо, что при мне человек был, что раньше к нам пробрался, а то бы не дойти. Сначала больше все на

животе ползли; днем снегом засыплемся и лежим.

— Холодно?

— В снегу-то? Нет. Прижмемся друг к дружке и лежим, в берлоге... Ночь придет — опять ползем. Однажды на ляхов набрели. Двое их было... пришлось убрать их. А так ничего. Волки только: учуют нас и идут следом, а мы мечами отбиваемся... Опять, слава Господу, мороз спал, а то бы замерзнуть можно. До Можайска добрались, а там коней купили и прямо уже прискакали...

— Ну и ну! Однако что же это я? — спохватился вдруг Шереметев, взглядывая на часы. — С тобой и утреннюю пропустил! Ну, да царь простит. Идем скорее!

Царь сидел в своей деловой палате. Возле него стояли уже вернувшиеся Салтыковы, а также князь Черкасский, воеводы с приказов и Стрешнев, когда вошел Шереметев и сказал о приходе молодого князя Теряева из-под Смоленска. Все взволновались, услышав такую весть.

— Веди, веди его спешно! — воскликнул Михаил Федорович, теряя обычное спокойствие. — Где он?

— Тут, государь!

Шереметев раскрыл дверь и впустил Михаила. Князь упал пред царем на колени.

— Жалую к руке тебя, — сказал ему царь, — вставай и говори, что делает боярин Михайло Борисович!

Теряев поцеловал царскую руку и тихо ответил:

— Просим помощи! Без нее все погибнем. Я шел сюда, почитай, месяц и, может, все уже померли!

Царь вздрогнул.

— Как? Разве так худо? Мало войска, казны, запаса?

— Ляхи стеснили очень. Сначала наш верх был, потом их... — И князь подробно рассказал все положение дел.

Царь Михаил поник головою, потом закрыл лицо руками и тяжело вздыхал, слушая рассказы о бедствиях своего войска.

— На гибель вместо победы, на поношение вместо славы! — с горечью проговорил он.

— Воевода Михаил Борисович и Артемий Васильевич много раз смерти искали как простые ратники, — сказал Теряев, — для твоей службы, государь, они животов не жалели!

— Чужих! — с усмешкой сказал Борис Салтыков. — Знаю я гордеца этого!

— Чего тут! — с гневом вставил Черкасский. — Просто нас Владиславу Шеин предал. Недаром он крест польскому королю целовал.

— Что говоришь, князь? — с укором сказал Шереметев.

— И очень просто, — в голос ответили Салтыковы, и их глаза сверкнули злобою.

Шереметев тотчас замолчал.

Государь поднял голову и спросил Теряева:

— Как же ты, молодец, до нас дошел, ежели кругом вас ляхи? Расскажи!

Теряев начал рассказ о своем походе, стараясь говорить короче, и от этого еще ярче выделились его безумная отвага и опасности трудного пути.

Лицо царя просветлело.

— Чем награжу тебя, удалый? — ласково сказал он. — Ну будь ты мне кравчим!... Да вот! Носи это от меня! — и царь, сняв со своего пальца перстень, подал князю.

Тот стал на колени и поцеловал его руку.

— Теперь иди! — сказал царь. — Завтра ответ надумаем и тебе скажем. Да стой! Чай, нахолодился ты в пути своем. Боярин! — обратился он к Стрешневу. — Выдай ему шубу с моего плеча!

Князь снова опустился на колени и поцеловал царскую руку.

Салтыковы с завистью смотрели на молодого князя.

— Ну, — сказал Шереметев, идя за ним следом, — теперь надо тебе на поклон к царице съездить.

— К ней-то зачем? — удивился Теряев.

— Тсс! — остановил его боярин. — В ней теперь вся сила.

Спустя час князь стоял пред игуменьей Ксенией и та ласково расспрашивала его о бедствиях под Смоленском. Слушая рассказ князя, она набожно крестилась и приговаривала:

— Вот тебе и смоленский воевода Михайло Борисович — полякам прямит, своих на убой ведет.

— Не изменник, матушка, боярин Шеин! — пылко произнес князь.

Ксения строго взглянула на него и сухо сказала:

— Молоденек ты еще, князь, судить дела государевы!

Только к вечеру вернулся Михаил домой и прямо прошел в опочивальню отца. Тот лежал без памяти, недвижимый как труп. Подле него сидела жена. Увидев сына, она быстро встала и прижала его к груди. Пережитые волнения потрясли молодого князя. Он обнял мать и глухо зарыдал.

— Полно, сынок, полно, — нежно заговорила княгиня, — встанет наш государь-батюшка, поправится! Ты бы, сокол, наверх вошел, на Олюшку поглядел и на внука моего! Не плачь, дитяtko!

Она гладила сына по голове, целовала его в лоб и в то же время не знала, какая рана сочится в сердце ее сына, какое горе надрывает его грудь стоном.

Михаил отправился и, чтобы скрыть свое горе, сказал:

— Матушка, пойди и ты со мною! На что тебе здесь быть? Здесь наш Дурад.

Княгиня вспыхнула при его словах.

— Мне-то на что? Да что же я буду без моего сокола? Мое место подле него!... Эх, сынок, когда Антон твоего отца, всего израненного, к моему деду на мельницу принес, кто его выходил, как не я? И теперь то же. Как я его оставлю? Ведь его жизнь — моя жизнь!

Каждое слово терзало раскрытую рану молодого князя. Смерть отца — и для матери гибель, горе отца — и для матери горе, его проклятие — ее проклятие. Он поник головою и печально прошел к жене в терем. Холодно поцеловал он свою жену, равнодушно взглянул на ребенка; мысли о смерти теснились в его голове.

На следующее утро, чуть свет, молодой князь снова сидел у постели отца; последний лежал теперь недвижимый, и только прерывистое дыхание свидетельствовало о его тяжких страданиях. Княгиня, утомленная бессонной ночью и тревогою, дремала на рундуке в ногах постели.

Молодой князь сидел и терзался. Негодование против отца, загубившего его Людмилу, вспыхивало в его сердце пожаром, но тотчас угасало, едва он взглядывал на бессильно лежавшее тело отца, на измученное лицо матери. Да и мыслим ли гнев на родного отца? Нет греха тяжелее этого, и не отпускается он ни в этой жизни, ни в будущей! Князь Михаил поникал головой, а потом снова вспыхивал.

В горницу тихо вошел Антон и тронул за плечо молодого князя.

— Чего? -спросил тот.

— Молодец какой-то внизу шумит, видеть тебя беспрерывно хочет!

«Мирон!» -мелькнуло в голове князя, и он, встав, быстро вышел за Антоном.

На дворе у крыльца стоял действительно Мирон. Князь быстро сбежал к нему.

— Ну?

— Все дознал! Людмилу-то и матку мою сожгли.

Теряев замахал рукою:

— Знаю, знаю!

Но Мирон продолжал:

— По приказу твоего батюшки, по извету Ахлопьева. Он, слышь, их в знахарстве опорочил.

— Достал ты его? — быстро спросил князь.

Мирон ослабился.

— Достал! Сначала не узнал он меня, а потом как завоет!

— Где схоронил?

— Где ты приказывал — на усадьбе.

Лицо князя разгорелось, глаза вспыхнули. Он нагнулся к Мирону:

— Свези его на мельницу... в ту самую горницу, где Людмила жила. Понял? Береги его там как очи свои, пока я не приеду! Я на днях там буду! На! — И князь, дав Мирону рубль, отпустил его.

Мирон быстро скрылся со двора. Спустя полчаса за князем Михаилом прислал князь Черкасский.

— Думали мы всяко, — сказал Черкасский Теряеву, когда тот пришел, — и на том решили, чтобы послать помощь под Смоленск. Пойдет князь Пожарский, и ты с ним. Ты дорогу покажешь. Идти немешкотно надо! Князь Пожарский как раз здесь и уже про все оповещен. Рать тоже готова, недавно под Можайском была. С Богом!

Князь поклонился.

Черкасский ласково посмотрел на него и дружески сказал:

— А царь твоих заслуг не оставит! Батюшку твоего ласкает и тебя не обойдет. Прями ему, как теперь прямишь! А что батюшка?

— В забытье все. Дохтур говорит, девять дней так будет!

— Ох, грехи! Грехи! — вздохнул князь. — Ну, иди!

Знаменитый освободитель Москвы, доблестный воин, поседевший в боях, князь Пожарский ласково принял молодого Теряева.

— Добро, добро! — сказал он ему. — С таким молодцом разобьем ляха, пух полетит!

— Когда собираться укажешь?

— А чего же медлить, коли наши с голода мрут? Я уж наказал идти. Рать-то из Москвы еще в ночь ушла, а мы за нею! Простись с молодухой да с родителями, и с Богом. Я тебя подожду. Ведь я и сам царского указа жду!

— О чем?

— а и сам не знаю!

Два часа спустя они ехали полною рысью из Москвы.

— Князь, — по дороге сказал Теряев Пожарскому, — мне будет на усадьбу заехать. Тут она, за Коломной. Дозволь мне вперед уехать, я тебя к утру нагоню!

— Что же, гони коня! Лишь бы ты к Смоленску довел меня, а до того твоя воля! — добродушно ответил Пожарский.

Теряев благодарно поклонился и тотчас погнал коня по знакомой дороге.

В третий раз ехал князь по узкой тропинке к заброшенной мельнице, и опять новые чувства волновали его. Словно одетые саваном стояли деревья, покрытые снегом, и как костлявые руки тянули свои голые, почерневшие ветви. Вместо пения птиц и приветливого шуршания листвы гудел унылый ветер и где-то выл волк. Солнце, одетое туманом, тускло светило на снежные сугробы.

И вся жизнь показалась князю одним ясным днем. Тогда все было: и любовь, и счастье, и вера в победу. Дунули холодные ветры — и все застудило, замело, и весенний день обратился в холодный зимний. Любовь? Одним ударом ее вырвали у него из сердца вместе с верою!... И так вот странно в его уме смешивались мысли о своем разбитом счастье и о гибели родных воинов под Смоленском.

Наконец он увидел мельницу. Маленький домик был весь занесен снегом, настезь раскрытые ворота говорили о запустении. Свила ласточка теплое гнездышко, а злые люди разорили, разметали его. Князь тяжело перевел дух и въехал во двор. Кругом было тихо. Теряев привязал коня у колодца и твердым шагом вошел в домик. Все кругом

носило следы разгрома. Князь мгновение постоял, прижимая руки к сердцу, потом оправился и стал подыматься в Людмилину светелку. Страшно было его лицо в эти минуты!... На площадке у двери он остановился, потому что до него донесся разговор.

— Отпусти! — произнес хрипый голос. — У меня казна богатая. Я тыщу дам!... Две... пять дам!...

— Чего пустое болтаешь? — ответил другой, в котором князь признал голос Мирона. — Говорю тебе, с князем разговор веди. Я бы тебе, псу, очи вынул, а потом живьем изжарил, как матку мою... Душа твоя подлая! Пес! Татарин того не сделает, что ты!

— Меня самого на дыбу тянули.

— Мало тянули, окаянного!

— Руку вывернули... ай!

Князь открыл дверь и переступил порог. Ахлопьев лежал на полу со связанными ногами и руками, Мирон сидел на низенькой скамейке подле его головы. При глазе Ахлопьева он поднял голову, вскочил на ноги и поклонился князю.

— Спасибо тебе, Миронушка! — ответил князь и, остановившись, стал смотреть на Ахлопьева.

Очевидно, было что-то ужасное в его пристальном взгляде, потому что Ахлопьев сперва хотел было говорить, но смолк на полуслове и стал извиваться на полу как в судорогах.

— Эх, Мироша! — сказал, вдруг очнувшись, князь. — Хотел я душеньку свою отвести, вдоволь помучить пса этого, чтобы почувствовал он, как издыхать будет, да судьба не судила: надо спешно рать нагонять. Крюк-то у тебя?

— Привез, князь!

— И веревка есть? Ну, добро! Приладь-ка тут, как я наказывал тебе!

— Сейчас прилажу, князь!

Мирон быстро вышел, а князь сел, закрыл лицо руками и словно забыл о купце из Коломны.

— Сюда? — спросил вдруг вернувшийся Мирон.

Князь очнулся.

— Сюда! — сказал он.

Мирон придвинул табуретку под среднюю балку и стая прилаживать веревку, на конце которой был привязан острый толстый

крюк.

— Вот, вот! Пониже малость! так! — тихим голосом говорил Теряев.

Ахлопьев смотрел над собою расширенными от ужаса глазами и, вскрикнув, потерял сознание. Он пришел в себя от грубого толчка Мирона. Последний, ухватив его за шиворот, посадил на пол.

— Слепи! — приказал князь.

Ахлопьев с воем замотал головою, но острый нож Мирона сверкнул и врезался в его глаз. Ахлопьев закричал нечеловеческим голосом и замер. Он очнулся вторично от нестерпимой боли. Мирон поднял его, а князь, взрезав ему бок, спокойно поддевал крюк под ребро. Ахлопьев снова закричал, поминутно теряя сознание и приходя в себя. Его тело судорожно корчилось над полом.

— Так, ладно! — с усмешкой сказал князь. — Попомни Людмилу, пес!... Идем, Мирон!

— Пить! — прохрипел Ахлопьев, но страшный мститель уже ушел.

На дворе князь приказал поджечь все постройки, причем произнес:

— Ее теремок я сам подпалю!

Прошло полчаса. С испуганным криком поднялись вороны с соседних деревьев и закружились в воздухе. Просека озарилась заревом пожара... Князь и Мирон спешно погнали коней.

— Без памяти будет, вражий сын, пока огонь до него доберется, — сказал Мирон.

Князь кивнул.

— Очей вынимать не надо было.

Они догнали князя Пожарского всего в пяти верстах за усадьбою.

— Справил дело? — спросил князь.

— Справил, — коротко ответил Теряев. Князь оглянулся на него.

— Что с тобою? Ой, да на тебе кровь! Кажись, ты что-то недоброе сделал?

Теряев тихо покачал головою.

— Святое дело! А что крови касается, так скажу тебе, князь: змею я убил!

— Змею? Зимою? Очнись, князь! Скажи, что сделал?

— Ворога извел, — прошептал Теряев. Пожарский не решился расспрашивать его дальше.

Они ехали молча. В полуверсте от них двигалась рать. Так они шли два дня. На третий день Пожарский вдруг сдержал коня и сказал Теряеву:

— Глянь-ка, князь, никак рать движется?

Теряев всмотрелся вдаль. Какая-то темная масса, словно туча, чернелась на горизонте.

— Есть что-то, — ответил он, — только не рать. Солнце гляди как светит. Что-нибудь да блеснуло бы.

— Возьми-ка ты молодцов десять да съезди разузнай! — приказал Пожарский.

Теряев повернул коня и подскакал к войску. В авангарде двигалась легкая конница. Он подозвал к себе Эхе и велел ему ехать с собою.

— Куда же ты вдвоем? — окликнул его Пожарский.

— Нам сподручнее! — ответил князь и пустил коня.

Странная туча подвигалась на них. Показались очертания коней, человечьи фигуры.

— Князь, — воскликнул Эхе, — да это наши!

Сердце Теряева упало. Он уже чуял смутно, что это смоленское войско. Они ударили коней и помчались вихрем Ближе, ближе... так и есть! Громадной массой, без порядка, теснясь и толкаясь, оборванные, худые как скелеты с закутанными в разное тряпье головами и ногами, шли русские воины, более похожие на бродяг, чем на ратников. Впереди этого сброда верхом на конях ехали боярин Шеин с Измайловым и его сыном, князь Прозоровский, Ляпунов Лесли, Дамм и Матиссон. Увидев скачущих всадников, они на миг придержали коней. Теряев поравнялся с ними и вместо поклона скорбно всплеснул руками.

— А я с помощью! — воскликнул он. Шеин покачал головою.

— Поздно!

— Что сказать воеводе?

— А кто с тобою?

— Князь Дмитрий Михайлович Пожарский! — Шеин тяжело вздохнул.

— Скажи, что просил я пропуска у короля Владислава, сдал весь обоз, оружие, зелье, пушки и домой веду остатки рати. Во всем царю

отчитаюсь да патриарху!

— Помер патриарх, — глухо сказал Теряев.

Шеин всплеснул руками.

— Помер? — воскликнул он. Смертельная бледность покрыла его лицо, но он успел совладать с собою. Усмешка искривила его губы, и он сказал Измайлову. — Ну, теперь, Артемий Васильевич, конец нам!

Теряев вернулся к князю Пожарскому и донес про все, что видел. Князь тяжело вздохнул.

— А знаешь, что мне в грамоте наказано? — спросил он Теряева. — Объявить опалу Измайлову и Шеину и взять их год стражу!

— Вороги изведут его! — воскликнул Теряев.

— Про то не знаю!

Пожарский сел на коня, окружил себя старшими начальниками до сотника и тронулся навстречу разбитому войску. При его приближении Шеин, Прозоровский и прочие сошли с коней и ждали его стоя.

Пожарский слез с коня и дружески поздоровался со всеми.

— Жалею, Михайло Борисович, что не победителем встречаю тебя! — сказал он.

— Э, князь, воинское счастье изменчиво! — ответил Шеин.

— Сколько людей с тобою? — спросил Пожарский. Шеин побледнел. — У ляхов две тысячи больными оставил, а со мною восемь тысяч!

— А было шестьдесят шесть! — невольно сказал Пожарский, с ужасом оглядываясь на беспорядочную толпу оборванцев.

— На то была воля Божия! — ответил Шеин. Пожарский нахмурился.

— Есть у меня царский указ, боярин... — начал он и запнулся.

К боярину вдруг возвратилось его самообладание.

— Досказывай, князь, я ко всему готов!

— Прости, боярин, не от себя, — смутился Пожарский. — Наказано тебя и Артемия Васильевича с сыном его под стражу взять и сказать вам царскую опалу. Гневается царь-батюшка!

— И на то Божия воля! — проговорил боярин. — Судил мне Господь до конца дней моих пить горькую чашу. Бери, князь!

Шеин отделился от толпы и стал поодаль. Измайлов с сыном медленно подошли к нему. Пожарский сел на коня.

— Теперь что же? — сказал он. — Отдохнем! Князь, — обратился он к Теряеву, — прикажи станом стать и пищу варить. Всех накормить надо, а бояр возьми за собою.

— Мне, князь, стражи не надо, — твердо сказал боярин Шеин, — слову поверь, что ни бежать, ни над собою чинить злое не буду! Освободи от срама!

— И меня с сыном, князь! — сказал Измайлов.

Пожарский сразу повеселел.

— Будь по-вашему! — согласился он. — Ваше слово — порука!...

Теряев велел скомандовать роздых. Скоро везде запылали костры. Безоружные воины соединились со своими товарищами и жадно накинулись на еду. Шедшие на выручку им воины с состраданием смотрели на них и торопливо делись с ними одеждою. Без содрогания нельзя было смотреть на них, без ужаса — слушать...

Попадались люди, сплошь покрытые язвами, из десяти у семи были отморожены либо руки, либо ноги: из распухших десен сочилась кровь, из глаз тек гной, и все как голодные звери, бросились жадно на горячее хлебово.

Три дня отдыхала рать Пожарского и затем двинулась назад к Москве. Во всей нашей истории не было примера такого ужасного поражения. Из шестидесяти шести тысяч войска боярин Шеин привел восемь тысяч почти калек, потеряв сто пятьдесят восемь орудий, несметную казну и огромные запасы продовольствия. Нет сомнения, что военное счастье переменчиво, но, рассматривая действия Шеина, нельзя не признать, что он много испортил дело своею медлительностью. Этим воспользовались бояре, ненавидевшие Шеина за его заносчивость, и, чувствуя свою силу после смерти Филарета, громко обвинили Шеина и Измайлова в измене. Царь не перечил им.

Шеина и Измайлова судили. Истории не известны еще ни точные обвинения Шеина, ни его защита — архивы не сохранили этих драгоценных документов, и мы только знаем, что 23-го апреля 1634 года боярина Шеина, Артемия Измайлова и его сына Василия в приказе сыскных дел приговорили к смерти. Но трудно думать, чтобы среди русских военачальников мог существовать когда-нибудь изменник. Ни предыдущая, ни последующая история до наших дней не давали нам подобных примеров. Скорее всего, страшное осуждение Шеина было делом партийной интриги, своего рода мстью уже

упокоенному Филарету. Уже одно то, что и Измайлов, и Шеин добровольно вернулись в Москву, говорит за их невиновность. По крайней мере русские историки (Берг, Костомаров, Соловьев, Иловайский и др.) не решились обвинить опороченных бояр.

Победа под Смоленском повела Владислава дальше. Он опять двинулся на Москву, но, не дойдя до Белой, повернул назад, услышав про враждебные замыслы турецкого султана против Польши.

Результатом войны с поляками был тяжелый для России Поляновский мир. Поляки временно восторжествовали, отняв у русских черниговскую и смоленскую земли, но за свое торжество впоследствии заплатили с изрядною лихвой.

XVII ДУША МИРА ИЩЕТ

Нет ничего ужаснее разлада в семье, а в семье Теряева совершалась именно эта страшная казнь.

Князь Терентий Петрович стал поправляться. Сознание и силы медленно возвращались к нему, но по мере восстановления здоровья прежние мысли и страхи стали посещать его снова. В то же время, едва сын заметил первый проблеск сознания у отца, чувство сострадания сразу оставило его и он перестал навещать больного.

Княгиня дождалась его однажды в узком переходе из терема и сказала ему с упреком:

— Что это, Миша, Бога в тебе нет, что ли? Батюшка выправляться начал, а ты хоть бы глазом взглянул на него. Он-то все тоскует: «Где Михайло?»».

Михаил побледнел и потупился.

— Зайду, матушка, после!

— Сейчас иди! Батюшка проснулся только что.

Михаил вздрогнул и невольно рванул руку, за которую ухватила его мать.

— Недосужно мне сейчас, матушка. Пусти!

Княгиня отшатнулась и даже всплеснула руками.

— Да ты ума решился, что так говоришь? К отцу недосужно! А? Идем сейчас!

— Матушка, не неволь! — взмолился Михаил. — Невмоготу мне видеть его, невмоготу, матушка! — И он быстро ушел от изумленной

матери.

— С нами силы небесные! — растерянно забормотала она. — Что творится на свете Божиим!

А через полчаса слабым голосом позвал ее к своей постели выздоравливающий князь.

— Анна! — тихо заговорил он, крепко ухватив ее за руку — Михайло вернулся ведь?... Да?

— Вернулся, государь мой, — ласково ответила княгиня. — я его, хошь, покличу, ежели в доме он!...

Князь задрожал, и на его лице отразился ужас.

— Нет, нет, нет! — торопливо проговорил он. — Не пускай его! Проситься будет ко мне — не пускай! Ой, страшно мне!... Обещайся: не пустишь?...

— Ну, ну, не пущу, успокойся только. Не пущу его!

Князь облегченно вздохнул и откинулся на изголовье.

— Господи Иисусе Христе, Царица Небесная! что с ними? Один не идет, другой говорит— «Не пускай!» Что с ними случилось? — в ужасе и изумлении шептала княгиня.

Ее сердце уже не знало покоя. С тревогою глядела она на мужа, со страхом и недоверием на сына. Он ходил мрачный, угрюмый, почти не бывал дома. Немало муки приняла на себя и Ольга. Вернулся муж неласков и мрачен; чуть коснулся ее губами, едва взглянул на ребенка, и почуяло ее сердце что-то недоброе.

Наступила ночь. Князь Михаил вошел в опочивальню и не глядя на молодую жену, бросил армяк на лавку, снял с себя сапоги и лег. И всю ночь слышала бедная Ольга, как вздыхал он протяжно и тяжело. Слышала она это, но не имела храбрости подойти к нему. Страшен казался он ей. Она тосковала и думала: «Покарал меня Господь за грешную любовь. Шла к аналою и клялась ложно. Грешница я! Нет мне спасения!» В тоске думала она про Алешу и — дивно сердце девичье! — сердилась на него за его любовь к ней: «Разве не знал он, что я уже засватана? К чему покой тревожил, сердце мutil?» Но в другой раз грусть о нем охватывала ее сердце, и она рыдала.

— Полно, княгинюшка, — испуганно уговаривала ее верная Агаша, — смотри, Михайло Терентьевич увидит, худо будет. И так он туча тучею!

— Не нужна я ему. Он на меня и глазом не смотрит. Хоть умереть бы мне, Агашенька! — причитала Ольга.

— Умереть!... Экое сказала! А ты, государыня, старайся ему любой быть, приласкайся!...

Ольга вздрагивала.

— Да что, княгинюшка, пугаешься? Про Алексея забудь лучше. Вот что! Да и не увидишь его больше! А боярин, батюшка твой, отпустит его и, смотри, поженится он.

— Пусть! Не по нем я плачу, по себе!...

— И по себе не след. За Михаилом Терентьевичем гляди. Ишь, он какой унылый да страшный... Даже вчуже жаль...

Действительно, глядеть на Михаила становилось вчуже жалко. Отпустил он бороду, отчего еще более вытянулось его лицо. Прежде здоровое, розовое, теперь оно побледнело, осунулось; от недосланных ночей мутно глядели его глаза, от тяжелых дум морщился лоб и крепко, были сжаты губы.

Горше всех ему было. Видел он тревожный, испуганный взгляд матери, понимал ее думы, но не мог ничего сказать ей про свое горе. Видел он распухшие от слез глаза Ольги, ее бледнеющие щеки, понимал и ее тоску, но тоже не находил ни слов ей, ни ласки — словно вовсе чужая. Про отца он и думать боялся. Его кидало в дрожь при одной мысли о том, как он взглянет ему в глаза впервые, как укроет от него свои супротивные думы, и, словно преступник с отягощенной совестью, не находил себе места в доме

— Боярин! Федор Иванович! — стал он молить Шеремета. — Ушли меня в дальний поход, на окраину куда-нибудь!

— Что ты, свет? — изумился его желанию боярин. — Ишь, кровь бурливая! И царь тебя жалует, и богат ты, и жена у тебя молодая, а тебе все бы воевать!

Не мог Теряев объяснить ему свое горе и уныло поник головою.

Только и отрады было у него, что в домике старого Эдуарда Штрассе. Тоскливая зависть охватывала его при виде тихого счастья маленькой семьи. Эдуард в ермолке и домашнем кафтане с увеличительным стеклом в руке читал какую-нибудь книгу; Эхе сидел в блаженном покое и по часам смотрел на маленькую зыбку, где тихо спал будущий рейтар, а пока еще маленькое, беспомощное существо; в кухне с веселою песнею возилась красавица Каролина. Входил князь,

и все встречали его с радушием близких друзей. Штрассе откладывал в сторону стекло и книгу и говорил:

— А, Михайло! Ах, что я прочитал сегодня! О-о! — И он поднимал вверх палец и начинал с жаром рассказывать Михайлу.

Эхе подмигивал князю и с глубоким уважением молча хлопал себя по лбу, что показывало его удивление умом Штрассе; но это длилось лишь до той поры, пока маленький «рейтар» не подавал голоса. Тогда бежала из кухни красавица Каролина, на бегу вытирая передником руки, ловко выхватывала из зыбки ребенка и, вынув полную грудь, кормила его своего первенца. Штрассе смолкал и с умилением начинал глядеть на сестру, а та смеялась и говорила:

— Ну, чего замолчал? Говори! Он умнее будет, тебя слушая.

— О, он будет ученый! — радостно ответил Штрассе.

— Воин будет! — поправлял его Эхе, и между ними поднимался спор.

— Монахом! — смеясь останавливала их Каролина и, уловив ребенка, с хохотом зажимала им рты ладонями. — Разбудите, вас качать заставлю! — прибавляла она с угрозой.

При взгляде на эту милую семью Михайлу становилось и тоскливо, и сладко Эх. не довелось пожить ему такой тихой, радостной жизнью!...

В тяжелом настроении возвращался он домой в теремную опочивальню и часто целые ночи напролет не мог сомкнуть глаза.

Пыткой стала ему такая жизнь.

Однажды заплакал в зыбке его маленький сын, Михаил оглянулся. Ольга спала, разметавшись на постели. Князь поднялся и приблизился к зыбке. При свете лампадок он увидел маленькое личико с широко открытыми глазами, полными слез. Он нагнулся к ребенку, и тот вдруг перестал плакать и улыбнулся.

Что в бессмысленной улыбке младенца? Но она вдруг перевернула сердце князя. «Мой ведь, кровный!» — мелькнуло у него, он наклонился ниже и тихо поцеловал ребенка.

Тихая радость сошла на его сердце. Он подошел к Ольге и толкнул ее в плечо.

— Мальчик плачет! Проснись!

Ольга раскрыла глаза и увидела над собою лицо мужа. В его глазах светилось что-то совсем новое, и она смело ответила ему

взглядом и улыбнулась тоже.

Князь уже не ложился. Ольга накормила ребенка и легла, с тревожным замиранием смотря на мужа. И вдруг он заговорил:

— Я все знаю. Ольга. Не любя ты за меня вышла, знаю!

Она задрожала как лист.

— Не бойся! — грустно продолжал князь. — Не в обиду говорю тебе. Силой ведь тебя неволили... не твоя вина. Вот... — он перевел дух. — Алеша Безродный все время со мной был. Вместе мы рубились. Сторонился он меня, а потом ничего... Убили его, Ольга, ляхи!... — Он остановился и посмотрел на Ольгу. Она вздрогнула, и только частое дыхание выдало ее волнение. — На руках у меня Алеша помер, — заговорив снова князь, — и помирая покаялся. Наказывал мне любить тебя... Я тебя в печали не неволю! — вдруг окончил он и, накинув армяк, вышел из опочивальни.

— Князь Михаил о! — раздался за ним голос жены.

Он быстро вернулся. Ольга в одной сорочке стояла на полу, с мольбою протягивая к нему руки.

— Что ты? С чего?

— Михайло, не мучь меня! — заговорила она, падая ему в ноги. — Неповинна я!... Прости мне за девичью думу, за любовь запретную! Вольна была я, глупа!

Словно на лед упал горячий солнечный луч и растопил его — так подействовала на сердце князя мольба Ольги.

Он быстро нагнулся к ней и, подняв ее, ласково заговорил:

— Полно, полно!... С чего взяла ты? Да я... я сам, голубка моя! Ах, Олюшка!... — Накипевшее горе запросилось наружу молодое сердце захотело ласки. Князь посадил Ольгу, обнял ее и стал тихо, прерывающимся голосом рассказывать ей про свое горе. И по мере того как он говорил, теснее и тесней прижималась к нему своим плечом Ольга.

— Видишь, и я не любя женился, — уныло окончил князь.

— Теперь любиться будем... — тихо ответила ему Ольга.

Жизнь снова возродилась для Михаила. В его душе уже не было злобы против отца, и однажды он спустился вниз к отцу. Но княгиня остановила его в дверях.

— Тсс! Запретил государь тебе входить. Не хочет он тебя видеть! — Михаил тихо улыбнулся.

— Скажи ему, матушка, только, что я все знаю и все простил! — сказал он. Княгиня пытливо посмотрела на него.

— Что же это ты знаешь? — ревниво спросила она его.

— Не пытай, матушка!... После!...

Княгиня недовольно покачала головою и вышла. Через мгновение она позвала сына:

— Иди скорее!

Михаил вошел и опустился на колени у постели отца. Бледный, с отросшими и поседевшими волосами, сидел князь Терентий Петрович в постели, и по его лицу струились радостные слезы.

— Отпустил? — радостно повторял он, держа руку на склоненной голове сына.

— Бог Судья тебе! — тихо произнес Михаил.

— Не ведал я... Богом клянусь, не ведал! — торжественно сказал старый князь. — Но замолю грех свой!...

Княгиня смотрела на отца с сыном и в изумлении качала головой. Никогда такое ей даже и не снилось. «Кажется, будто отец у сына прощенья просит. Да где же это видано? Господи Иисусе Христе! А я-то сначала думала, что Михайло согрешил супротив родительской воли... Нет, видно, в свете теперь все по-иному пошло!».

Но, как она ни удивлялась, все же и ей было радостно видеть, что отошли тучи от их дома и снова в нем стало светло и радостно.

— Внука бы мне принести, — с улыбкой счастья сказал отец и потом тихо прибавил сыну: — Я на него и то смотреть боялся.

Князь Михаил опустил голову. Образ замученной Людмилы мелькнул пред ним и словно благословил наступивший мир. Сзади раздался шорох. Сияя радостью, в горницу вошла Ольга, неся на руках своего первенца. Михаил ласково кивнул ей головой и улыбнулся.

В. С. Соловьев

**ЖЕНИХ ЦАРЕВНЫ
(РОМАН-ХРОНИКА XVII ВЕКА В
ДВУХ ЧАСТЯХ)**

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Ранний зимний вечер уже давно наступил, и в царицыном тереме по всем покоям и переходам зажглись огни. Мама царевны Ирины Михайловны^[113], княгиня Марья Ивановна Хованская, сидела у себя в опочивальне. Она только что пришла от царицы после долгой и весьма важной беседы и теперь крепко пораздумалась. На некрасивом и уже давно поблекшем лице ее, освещенном, однако, большими и добрыми голубыми глазами, читалось необычайное смущение.

Женщина она была спокойная, рассудительная, ко всему. Что творилось вокруг нее в этом обширном человеческом муравейнике, носившем название царского терема, она относилась всегда без волнения и редко что принимала к сердцу. Но сегодняшняя беседа с царицей Евдокией Лукьяновной выходила из ряда вон. Было над чем подумать и чем смутиться.

Княгиня временами начинала даже шептать что-то почти вслух, с недоумением качала головою и разводила руками. Низенькая дубовая дверь опочивальни скрипнула.

— Кто там? — очнувшись, спросила Марья Ивановна.

— Это я, матушка-княгинюшка... Дозволишь войти на малую минутку али недосуг тебе? — послышался знакомый голос.

— Войди, ничего, войди, Настасья Максимовна! — сказала княгиня.

Дверь отворилась и пропустила небольшую, плотную еще не старую женщину. Это была одна из царицыных постельниц, пользовавшаяся, несмотря на свой не слишком важный чин и всем ведомое худородство, большим значением и влиянием в тереме.

— Что скажешь, матушка?... Присядь-ка! — указала княгиня рядом с собою на низенькую скамью, покрытую мягким стеганым тюфячком.

— Спасибо, княгинюшка, рассаживаться недосуг — где уж тут, дел-то с этими негодными людишками полон рот, от заутрени до заутрени не справиться... Я всего на одно слово зашла...

— Что такое, Настасья Максимовна, али по терему неладно?

— Да все Машутка, то есть вот никакого, никакого с ней сладу... Моченьки моей нету с этой девчонкой! — проговорила Настасья Максимовна с таким негодованием, какого даже нельзя было и ожидать от ее дышавшей добродушием фигуры.

— Что же такое еще натворила твоя Машутка? Разбила али попортила что-нибудь царевнино? — с недовольной улыбкой спросила княгиня.

— Какое там разбила! Этим стала бы я тебя тревожить! Не мое дело ее черепки считать... Во сто крат хуже, княгинюшка!... Ты ведь от царицы... запершись с нею была... о деле каком, видно, толковали... Вот вхожу я в Царицыну опочивальню, нынче-то мой наряд, да как вошла, вижу: занавеси-то будто и шевелятся. Кошка, думаю, забралась, — ну как, не ровен час, да государыню-то ночью напугает! Тихим шагом я к занавеске, ан глядь, то не кошка, а Машутка-негодница притаилась. Я ее за ухо и вытащила. Ты что это, мол, дрянь девчонка, говорю, как это ты сюда забралась, что это ты, говорю, за государыней подслушиваешь? Да тебя за такие дела убить, говорю, мало! А она-то: глядит на меня своими бесстыжими глазищами и хоть бы сморгнула. Воля твоя, говорит, убей ты меня, Настасья Максимовна, а подслушивать у меня и в мыслях не было, да ничего и не слыхала. Как сюда, говорит, забежала, сама не ведаю — дверьми обозналась. Вижу, говорит, государынина опочивальня, дух у меня захватило со страху, а тут дверь скрип, я и за занавеску... Ведь вишь, что выдумала!... И не сморгнет Я ее держу за ухо, крепко держу, а она во все глаза на меня, ровно истукан какой... Ну, сама посуди, княгинюшка, ну что ж с этим зельем теперь делать?!

Княгиня задумалась.

— А может, девчонка и не врет, — сказала она, — бес в ней сидит, это верно, ровно коза она скачет, ровно волчок вертится... Может, и точно, забежала зря в опочивальню да о страху, как ты вошла, за занавеску и спряталась... мудреного тут нет...

Настасья Максимовна вся так и побагровела.

— Ну... и ты, княгинюшка, вместе с царевной ее покрываешь! — воскликнула она, разводя руками.

— Не покрываю, а ведь что же... не убивать же ее, сиротинку! Ну, накажи ее как знаешь...

— Что мне ее наказывать, ухо-то у нее я крепко подержала, а только сил с нею нету, от рук она отбилась; как что, сейчас к царевне, а та за нее горой... Но только, ежели я на таком подслушивании ее накрыла, могу ли я умолчать перед тобою? Должна я о том тебе доложить али нет?

— Вестимо, как не сказать... Ну вот я Машутку и поспрошаю... там видно будет...

— Да только ты не верь ей, княгинюшка, не верь ни единому ее слову... вся она изолгалась, и стыда в ней нету ни на волос!

— Теперь-то где ж она?

— Где, как не у царевны.

— Так вот я и пойду.

У княгини мелькнуло в мысли: «А ну, коли и впрямь Машутка подслушала да Иринушке передала!... Не дай Бог!» Встревоженная этой мыслью, царевнина мама поднялась со скамьи и быстро вышла из опочивальни.

II

Княгиня Марья Ивановна как можно тише подошла к покою царевны, постаралась как можно неслышнее отворить дверь и заглянуть так, чтобы ее появление не сразу заметили. Однако, несмотря на это, она не увидела и не услышала решительно ничего подозрительного. Царевна Ирина сидела за большими пядями и при свете двух толстых восковых свечей была, по-видимому, прилежно занята рукоделием. Возле нее в почтительной и скромной позе стояла стройная девочка лет пятнадцати. Увидев входившую княгиню, эта девочка еще больше опустила глаза, и все несколько бледное, хотя хорошенькое, лицо ее сложилось в очень жалкую мину. Княгиня прямо подошла к девочке:

— Ты чего это здесь? Что делаешь?

Та подняла на нее большие темно-серые глаза, в которых читались не только робость, но и настоящий страх. Но за нее ответила царевна:

— Это я, матушка, позвала ее, учу рукоделию. Я работаю, а она смотрит, перенимает.

— Нечего сказать, много переймет, хороша рукодельница! Да и ты, царевна, что за мастерица! Ежели девчонке и впрямь

рукодельничать охота, так пускай у мастериц и обучается. Избаловала ты совсем Машутку, со всех сторон только жалобы на нее и слышу.

Девочка опять опустила глаза и так и застыла совершенным олицетворением скромности и испуга. Между тем княгиня продолжала:

— Ну да не о рукоделиях теперь! А вот ты скажи-ка мне, Машутка, была ты эдак с полчаса тому времени в государыниной опочивальне?

Девочка вскинула было глаза на княгиню, но опять опустила их и молчала.

— Что ж, язык у тебя есть, отвечай, коли спрашивают!...

Девочка едва слышно ответила:

— Была...

— А! Была!... Как же ты смела?... Каким путем туда попала?!

— Не знаю... — скорее вздохнула, чем сказала, девочка.

— Как — не знаю! Как ты смеешь мне так отвечать? Кто же знает? — крикнула княгиня.

Но тут царевна пришла на помощь своей любимице.

— Мамушка, да не запугивай ты ее, — произнесла она милым, ласкающим голосом, поднимаясь с места, и, подойдя к княгине, обняла ее. — Уж она мне в своей вине повинилась... Ну, что же ей и отвечать-то, коли и впрямь не знает, как она забежала?! Это и со мной ведь по сю пору случается, разыграешься, бежишь, словно на крыльях летишь, словно несет кто тебя, и двери будто сами собою перед тобою открываются. Ну, вот и забежала, перепугалась. Уж ты не казни ее, не брани, она не нарочно и впредь такого не сделает...

Говоря это, царевна прижалась своей нежной горячей щечкой к дряблой, покрытой белилами щеке княгини.

— Заступница, баловница! — произнесла та с полупечальной улыбкой и тихонько отстраняясь. — А у двери за занавеской зачем была? — обратилась она к девочке. Та теперь уже не стояла с опущенными глазами, а глядела ими прямо в глаза княгини, глядела пристальным, смущающим взглядом, в котором ничего нельзя было разобрать и который так раздражал Настасью Максимовну.

— За занавеской-то зачем? — произнесла она, и голос ее уже дрожал от страха. — Не то что за занавеску, а и под кровать, куда попало спрячешься от Настасьи Максимовны, ведь она ухо-то мне

как! — закончила она, поднося руку к своему красному и даже несколько припухшему уху.

— Ухо-то посмотри, мамушка, ведь это что же такое, ведь этак Настасья Максимовна ей когда-нибудь совсем оторвет уши! — сказала царевна. — Ведь не впервые это, так как же тут не прятаться от нее?

— Настасья Максимовна женщина не злая, даром драть за уши не станет, — строго сказала княгиня. — Ну и что же, долго ты, Машутка, за занавеской стояла?

— Какой же долго, когда она вслед за мной пришла. Как вбежала я, не успела опомниться, слышу — шаги, а шаги ее я всегда за три покая узнаю, огляделась — куда мне, вижу — занавеска, я и шмыг. Притаилась. А она так прямо и идет на меня, занавеску-то отдернула, а меня за ухо и вывела, — медленно, с небольшой запинкой, но уже без особой робости объясняла Машутка и все продолжала, не мигая, прямо смотреть в глаза княгини, так что той стало неловко от этого взгляда. Неловко, и в то же время все ее сердце, вся ее раздраженность быстро утихали, может быть, под влиянием этого же взгляда. Ведь это она первая обратила внимание на бойкую, смышленную девочку-сиротку. Она приставила ее для мелких услуг к своей царевне и до сих пор, несмотря на все Машуткины провинности и частые нанее жалобы, миловала ее и жалела.

Что же теперь с ней делать? Докладывать государыне о том, что постельница поймала ее в опочивальне у двери, где она подслушивала? Плохо придется Машутке, ведь за такое дело, ведь за подслушивание слов государынинных ее надо не только выгнать навсегда из терема, но придется сослать куда-нибудь подальше, в какой ни на есть строгий женский монастырь... и конец там Машутке на веки вечные!

А может, она и без вины виновата, может, и впрямь все так, как она объясняет?!. На то похоже. Ведь кабы долго она там была, притулившись у двери, кабы могла подслушать всю беседу, то, конечно, успела бы уже передать о ней царевне, и в таком разе сейчас, вслед за таким известием, разве Иринушка могла бы быть спокойной?! А вот она спокойна. Как ни всматривается в свою воспитанницу княгиня Марья Ивановна, ничего не замечает в ней особенного. Нет, решительно все так и было, как объясняет Машутка: ничего она не подслушала, не успела. А что бегают девчонка ровно белены объелась

— так этому предел положить надо. Да авось теперь уймется. Ишь, ухо-то! Раздуло его... И впрямь ручки у Настасьи Максимовны не бархатные...

Княгиня сделала строгое, серьезное лицо и обратилась к провинившейся:

— Слушай ты меня, озорница! — насколько могла суровым голосом объявила она. — Выдрали тебя за ухо, да мало, ну уж Бог с тобою, по глупости твоей на сей раз еще вина тебе прощается, не доложу я о ней государыне, пощажу я тебя. Только слушай ты меня и на носу у себя заруби: коли ежели еще раз что-нибудь такое случится — кончено, только и жизни твоей! В тот же день, слышь, — в тот же час тебя здесь не будет, и куда тебя увезут, и куда тебя денут, про то никто даже и не узнает... не ты первая, не ты последняя, чай, сама понимать можешь, не малолеток ведь уж, что за такое депо бывает...

Царевна улыбалась. Машутка тихонько подошла, склонилась, поймала и поцеловала руку княгине.

— Смотри ты у меня, смотри! — погрозила та, сердито отдергивая руку. А сама думала: «Сиротинка ведь, без отца, без матери, не будь меня, заклевали бы ее, давно бы заклевали, так что и званья не осталось бы на белом свете». И княгине вдруг стало не то жаль девочки, не то приятно, что жизнь этой девочки и ее счастье — ее, княгининых, рук дело.

— Не прохлаждайся ты тут, и ты, царевна, не балуй ее через меру.

— Чем же я ее балую? — отозвалась царевна. — Посмотри-ка вот, мамушка, хорошо вот эти цветики вышли?

Она отшпилила платок, прикрывавший часть работы, и показала хитро расшитые шелками и бисером фантастические травы.

— Уж на что лучше, красота! — разглядывала с видом знатока княгиня.

— Так ведь это кто вышил: не я, а Машутка. Вот от пор и до сих — это все она! — звонко смеялась царевна, в то время как девочка снова приняла свою скромную позу и только искоса, одним глазком, взглядывала то на царевну, то на княгиню.

— Ишь ты, ну что ж, ничего, коли так: всякая девица сякого звания должна быть искусна на рукоделия, настоящее это наше женское дело, истое наше художество. Так вот ты бы, Машутка, и

работала побольше, а беготню эту и шалости всякие пора оставить, не такие уж твои годы!

С этими словами, вспомнив, что, наверное, кто-нибудь уже ждет ее для всяких распоряжений на следующий день, княгиня вышла от царевны.

III

В одно мгновение Маша преобразилась. Скромно опущенные глаза ее раскрылись во всю величину и загорелись бойким огоньком. Уже начавший округляться стан ее выпрямился. Бледные щеки подернулись легким румянцем. Тонкие ноздри прямого, несколько коротенького, задорного носика расширились, будто у зверька, желающего удостовериться чутьем — насколько удалилась грозившая опасность.

Но своему чутью, своим тонким ноздрям Маша, очевидно, не доверилась: с большою легкостью и грацией, в два-три неслышных прыжка она очутилась у двери, осторожно приотворила ее и стала прислушиваться.

— Ушла! — наконец шепнула она, оборачиваясь к царевне и тихонько притворяя за собою дверь.

Ирина, уже севшая снова за пяльцы, подняла свою хорошенькую юную головку, зарделась вся как маков цвет и вздохнула.

— Эх, Маша! — сказала она. — Грех-то какой мы с тобой затеяли! Да и оторопь берет, ведь вот ты уж и попалась, ведь мамушка не шутит: того и жди, пропадешь ты из-за меня...

Маша кинулась к царевне, припала к ее коленям и стала целовать ее руки.

— Царевна, золотая моя, ненаглядная! — восторженно говорила она, заглядывая в глаза Ирины. — Не говори так, какой тут грех, а коли и грех, не твой он, а мой... И за меня не бойся, не пропаду, не загубит меня Настасья Максимовна, вывернусь, выкручусь, кругом пальца обведу Настасью Максимовну... не на таковскую напала...

— Шустра ты больно, Машуня, много берешь на себя — опять вздохнула царевна. — Ну, да уж рассказывай, что ты проведала, о чем у двери-то услышала...

«Матушки мои, стыд-то какой, каким делом занимаюсь!» — невольно подумала царевна и совсем смутилась, но любопытство, даже нечто гораздо более серьезное, чем любопытство заставило ее забыть все упреки совести и жадно слушать.

— Сказала ведь я тебе, царевна, что узнаю всю правду, — начала Маша, — вот и узнала. Совсем уж решено это дело: выдают тебя за королевича и королевич уж на Москве, из-за моря приехал!

Ирина даже схватилась за сердце, так оно вдруг у нее застучало.

— Верно ли? Кто же это сказал? — едва слышно прошептала она.

— Государыня царица говорила, вот те Христос, своим вот этим ухом у замочной дырочки слышала, о том они с княгиней-то и толковали.

Ирина стыдливо потупилась и то бледнела, то краснела.

— Машуня, да как же это? — наконец произнесла она. — Ведь он не наш... ведь он басурман... Басурманской веры?!

— А уж этого я не знаю! — развела Маша руками. — Вот и княгиня то же говорила, все спрашивала государыню — как такое быть может, чтобы идти тебе за басурмана...

— Что же матушка-то государыня?

— Плачет она, вот что! — отрезала Маша.

— Пла-аает?!

— Да еще как плачет-то!... Заливается! Княгиня-то ее все утешала... Ну а потом что было, я не знаю... вошла эта Максимовна да меня за ухо и вытащила... я от нее... с ухом-то... да к тебе... едва дождалась, едва утерпела, пока боярышни ушли и мы одни остались, а тут вон... и княгиня...

Ирина сильно задумалась, и сама не знала она, что такое творится с нею: и страшно, и радостно что-то, и дух захватывает, и ничего она понять не может... Ведь уж не впервой слышит она о королевиче этом, ведь уж давно-давно, когда она была еще несмышленочком, прозвучало перед нею это непонятное, таинственное и сразу почему-то запало в сердце, почему-то испугало, почему-то смутило — и с тех пор не выходило из памяти... Вольмар-королевич!

По зимним долгим вечерам в жарко натопленном покойчике, у горячей лежанки, старушки много всяких чудных сказок рассказывали маленьким царевнам. Были в тех сказках добрые и храбрые царевичи-королевичи, были в них красные девицы-царевны, и манили те сказки

в свой мир заколдованный, за тридевять земель, в тридесятые царства, и тайна благоуханным цветком раскрывающейся любви, непонятная и неведомая, все же как-то трепетно и заманчиво сказывалась детскому сердцу.

А теперь вот и наяву будто начинает твориться волшебная сказка. Из тридесятого царства, из-за моря приехал королевич... и приехал он за нею, за царевной Ириной... Посадит он ее на коня богатырского и увезет... Куда? Зачем? По какому праву?... Отчего это так нужно?!

А видно — так и нужно, видно, есть у королевича права, потому что чувствует она всем своим существом, что над нею творится что-то особенное, роковое, неизбежное, что пришла какая-то великая, могучая сила и вот-вот захватит ее и увлечет... На счастье или на горе?... Ох как бьется сердце, как душа замирает, будто земля разверзлась под ногами, и так и тянет, так вот и тянет туда, в эту отверстую бездну...

— Машуня, как же быть-то теперь?

— А так вот и быть, что я стану все, как есть все разузнавать про королевича, и как что узнаю — так в тот же час и к тебе, царевна... Матушки! Никак, опять кто-то идет... Так и есть!

Маша замолчала, опустила глаза и застыла в скромной, почтительной позе.

IV

Шила в мешке не утаишь: Машутка никому не проболталась, а на следующее утро неведомо каким образом весь терем, от боярынь до дурки Афимки, знал, что приехал из датской земли королевич и что тот королевич — жених царевны Ирины Михайловны.

Во дворце делались самые спешные приготовления приему дорогого гостя. Приготовления были веселые, весь дворцовый люд сразу оживился и как-то встряхнулся. Течение однообразной, день за днем, жизни было нарушено, явился животрепещущий интерес, ожидалось самые разнообразные впечатления, зрелища, события.

Во всех углах шли разговоры и рассказы о новоприезжих, которым был отведен обширный двор в Кремле. Стольники, дворяне, стряпчие, дьяки, стрелецкие начальники на «крыльце постельном», бояре, окольниковый, думные и ближние государевы люди «в верху», в

«передней»,^[114] бесчисленная прислуга и стражники — все это толковало:

— А людей-то с королевичем много, целое войско...

— Что ты?!

— Верно говорю, сам видел, как во двор они въезжали... и все немцы, кургузые, на голове перья болтаются, во всяком оружии, с мечами, ножами и пищалями...

— Ишь ты! Ну, а сам королевич-то каков?

— Да нешто ты не видал его в третьем году-то, как он приезжал с посольством?

— То-то что не привелось... Да полно, тот ли это самый королевич?

— А то какой же, вестимо, тот самый; тогда наехал для прилики, в послах будто, высмотрел все, ну, вот теперь и совсем к нам. Ничего, ладный парень, только из себя жидок больно, безбородый; вот в наше платье оденется да бороду отпустит — тогда ничего, вид знатный получит...

— А не слышал, когда его крестить будут?

— Крестить-то?

— А то как же, ведь он басурман, немец, некрещеный, так разве царевну за нехристя можно отдать, ты как об этом думаешь, а?

— Это точно, что нельзя...

Всюду и между всеми разговор кончался вопросом о крещении королевича, и тут не было никаких разногласий. Все, от людей важных и чиновных до последнего стрельца, знали, что так как королевич — басурман, то должен креститься в православную веру и что иначе отдать за него царевну нельзя, невозможно. Для лиц не столь близких к царю и незнакомых с обстоятельствами дела все казалось ясным: приехал, окрестят его — и обвенчается он с царевной. Людям, посвященным в дело, было нечто известно, нечто, по-видимому, очень важное, но и они все же отлично понимали, что иначе быть не может: королевич должен креститься.

Встреча датскому королевичу Вольдемару была приготовлена в Грановитой палате. Холодное, но ясное январское солнце врывалось в небольшие окна и озаряло сводчатую обширную палату, причудливо расписанную пестрыми узорами и полную своеобразной красоты. Царь Михаил Федорович, окруженный ближними боярами, в

сопровождении думного дьяка, медленно вошел в открытые рындами^[115] двери, тяжелой поступью, пройдя палату, поднялся по устланном красным сукном ступеням и с видимым удовольствием поместился на своем царском месте.

Кто не видал Михаила Федоровича несколько лет, тот нашел бы в нем весьма большую перемену. В настоящее время, несмотря на свои далеко еще не старые годы, он сильно постарел, располнел и обрюзг. Красивое лицо его как бы отекло и поражало прозрачной бледностью. Все движения были вялы, и когда он говорил, то часто останавливался, чтобы перевести дыхание. Среди разговора он иногда вдруг задумывался, и тогда в глазах его читалась скорбь.

Человек мягкий и сердечный, горячо любивший детей своих, Михаил Федорович в 1639 году в течение трех месяцев потерял двоих сыновей, царевичей Ивана и Василия. Он не мог справиться с таким неожиданным горем, и с этого времени окружавшие стали замечать в нем все усиливающуюся не только душевную, но и телесную усталость. От юности мало подвижный, склонный к сидячей жизни, он теперь почти совсем отказался от движения, всегда сидел, много лежал. Отсюда излишняя полнота, вялость, затруднение дыхания. Доктор Венделин Сибелиста не раз доказывал царю, что сидячая жизнь для него крайне опасна и может значительно сократить жизнь его; но Михаил Федорович, спокойно выслушивая врача, все же решительно отказывался следовать его советам и даже часто совсем не принимал составляемые им лекарства, во всем полагаясь на волю Божию.

На этот раз царь, однако, находился в самом веселом настроении духа, глаза его минутами начинали сиять прежним блеском, во всех чертах лица замечалось оживление. Дело в том, что это был день исполнения его заветного желания. Королевич Вольдемар здесь в качестве жениха царевны Ирины. То, что еще так недавно представлялось неисполнимым, от чего уже совсем приходилось отказаться, совершилось.

Когда все собравшиеся в Грановитой палате разместились по своим местам, наступило несколько минут полной тишины и ожидания. Взгляды всех обратились к дверям. Боярин князь Львов, человек осанистый и важный, мягкий в походке и движениях, с поклоном подошел к красивому отроку, царевичу Алексею

Михайловичу. Тот поднялся со своего места, последовал за князем, и оба остановились посреди палаты, у столпа.

Между рындами, стоявшими по обеим сторонам дверей произошло некоторое, едва уловимое движение, и двери медленно, бесшумно стали отворяться.

V

Спокойное достоинство, с которым вошел королевич Вольдемар, сопровождаемый несколькими лицами своей свиты, показывало, что он отлично владеет собою и что, несмотря на юные его годы, его нелегко заставить смутиться и растеряться. Хорошего среднего роста, стройный, широкоплечий, в богатом, темного бархата костюме, не скрывавшем, а, напротив, выказывавшем крепкие и красивые формы его тела, он производил впечатление здоровья, свежести и энергии. Это впечатление еще усиливалось при взгляде на его молодое лицо с блестящими глазами и смелым, веселым выражением.

Пройдя несколько шагов по палате, он остановился, увидя двинувшегося ему навстречу князя Львова, рядом с которым был царевич. Князь Львов, подойдя к новоприбывшему, низко ему поклонился и, взяв за руку царевича, «явил» его гостю. Царевич спросил Вольдемара о здоровье, и, пока толмач переводил, они обменялись ласковыми улыбками и затем в сопровождении князя Львова направились к государеву месту.

Теперь князь Львов должен был «явить» королевича царю, и, когда это было исполнено, Михаил Федорович поднялся, сошел со своего места, подал королевичу руку и также спросил его о здоровье. При этом царь пристально и бесцеремонно всматривался в гостя. Осмотр этот, очевидно, удовлетворил его: королевич, со времени своего пребывания в Москве два года назад, возмужал, окреп и представлял собой уже не юношу, а вполне сформировавшегося человека. И этот человек пришелся царю еще больше по нраву чем прежний юноша.

«Слава тебе, Господи!» — мысленно сказал царь, с облегчением вздохнув всей грудью.

Что думал и чувствовал королевич, трудно было решить, глядя на его свежее лицо, по которому быстро скользнула и тотчас же исчезла

добродушная усмешка; одно можно было утверждать, что он не смутился под пристальным взглядом великого государя, что он, вероятно, так же смело, как на царя, глядел и на свою будущность в этой чуждой, неведомой стране, где все должно было ему казаться необычным и диким. Когда толмач перевел ему слова царя, он поклонился, поблагодарил и передал поклон от короля, отца своего, государю и царевичу.

Вольдемара посадили с почетом близ царского места, и тогда датские послы, приехавшие с королевичем, Пассбирг и Биллей, стали говорить речь. Речь эту толмач перевел такими словами: «Его королевское величество, во имя св. Троицы, послал своего любительного сына Вольдемара-Христиана, графа Шлезвиг-Голштинского, к его царскому величеству, чтоб ему, по царского величества хотению и прошению, закон принять^[116] с царского величества дочерью Ириною Михайловною. Король просит, чтоб его царское величество изволил для большей верности и укрепления договора о сватанье крестным целованием при его королевских послах укрепить и письмо дать; также принять и почитать королевского сына как своего сына и зятя, а король накрепко наказал сыну своему царское величество как отца почитать, достойную честь и службу воздавать».

Когда слова эти были выслушаны, поднялся думный дьяк Григорий Львов и ответил от имени царя:

— Желаем, чтоб всеильный Бог великое и доброначатое Дело к доброму свершению привел; хотим с братом нашим, его королевским величеством, быть в крепкой дружбе и любви, а королевича Вольдемара Христианусовича хотим иметь в ближнем присвоении, добром приятельстве и почитать, достойную честь ему воздавать, как есть своему государскому сыну и зятю.

Датским послам, по наказу царскому, объявили, что сих днях они будут «в ответе»^[117] с боярами и дьяками, пока же они получили приглашение вместе с королевичем к обеденному царскому столу, до которого оставалось уж немного времени.

VI

Пир. был задан гостям на славу. Царь распорядился, чтобы всего было в досталь, чтобы иноземцы царского угощения во всю жизнь не

забыли, и князь Львов, главный распорядитель, на это отвечал:

— Небось, государь, в грязь лицом не ударим, долго немцы будут облизываться, ведь они там у себя, в датской земле, видно, не очень-то сладко едят, народ ишь какой сухой да поджарый...

Часа четыре за столом сидели, до двадцати перемен одних «тельных»^[118] подавалось. Проворные молодцы то и дело в чарки подливали меда старые да вина фряжские искрометные. Под конец гости перестали чиниться, осушали чарку за чаркой и загалдели. О чем они галдели, того никто, кроме толмача, понять не мог, да и сам толмач вряд ли разобрал что-либо: он сидел, покачиваясь из стороны в сторону, весь красный, с бессмысленно вытаращенными глазами, и только ухмылялся.

Шумело в голове и у королевича, только был он крепок, и ни меда, ни вина фряжские не могли заглушить в нем мысли и чувств, вызывавшихся новой обстановкой, среди которой он находился. Королевич любил попить и за чаркой вина становился особенно веселым, оживленным, общительным. На этот раз, однако, чем больше он пил, тем делался молчаливее и задумчивее. На него напала тоска, сердце начинало щемить, и несколько раз он вздохнул глубоко.

К добру ли принял он свое смелое решение, на счастье ли покинул родину, стал добровольным изгнанником, осужденным всю жизнь прожить в стране далекой, чуждой, где все, хоть он уже и пробыл здесь некоторое время два года тому назад, кажется ему таким странным и диким?!

Действительно ли не было для него лучшего выбора, действительно ли необходимо было покинуть родину, которая вот теперь, когда все уже кончено навсегда и бесповоротно, является воспоминанию такой милой, дорогой и любимой?...

В душной атмосфере низкосводчатой палаты с жарко натопленными изразцовыми печами, с маленькими и узкими, совсем заледеневшими окнами, среди нестройного говора хмелевших собеседников, под звон и стук приносимой и уносимой посуды королевич перенесся в замок отца своего, короля Христиана IV. Вся оставленная им жизнь сразу вернула к себе и охватила его, будто в одно мгновение пережилась снова.

Она не была усыпана розами, эта жизнь. С первых лет отрочества пришлось переживать Вольдемару тяжелые впечатления. Он видел

вокруг себя гораздо больше горьких слез, чем счастливых улыбок. Король Дании, Христиан IV, был человек сурового нрава, энергичный и смелый, порывистый и страстный, способный на неожиданные, быстрые и бесповоротные решения. Честолюбие и властолюбие оказывались его первенствующими страстями, и ради удовлетворения этих страстей ему пришлось бороться всю жизнь.

Вступив на престол Дании, он увидел себя в положении довольно шатком и решил во что бы то ни стало выйти из этого положения, укрепить власть за собою и своим потомством и, насколько возможно, расширить ее пределы.

С большим трудом он выхлопотал в Вене императорский патент, устанавливающий в его владениях наследственность королевской власти. Но, несмотря на все его усилия, этот патент получил значение только в Шлезвиг-Голштинских его владениях, в Дании же на него не обращали внимания.

Постоянные споры и ссоры с Германией и Швецией принудили короля, ради крепости своего положения, угождать датским вельможам, скрепя сердце делать им всякие поправки.

Эти постоянные мелочные заботы не давали ему возможности серьезно заниматься внутренними преобразованиями, и, таким образом, его царствование, несмотря на все добрые желания и разумные мысли короля, часто приходившие ему в голову, принесло не слишком много пользы государству. Он не снискал особенной любви своих подданных. Многие его боялись, и искренно преданных ему людей насчитывалось мало.

У короля Христиана была еще одна страсть, оставившая яркие следы на всей его жизни, — он очень любил женщин. Его брак с королевой Катериной не был счастлив: супруги не сошлись характерами. Король с каждым годом все более и более охладевал к королеве и, задолго до ее кончины почувствовал страстную любовь к молоденькой, красивой дочери ютландского дворянина, Христине Мунк. Эта страсть была взаимной.

Юная Христина без ума влюбилась в короля и, хотя и была воспитана в самых строгих правилах нравственности, даже не нашла в себе силы бороться со своей любовью. Несмотря на все меры, принимавшиеся ее ближайшими родственниками для того, чтобы отдалить ее от короля, она оставалась непоколебимой; препятствия

только еще более разжигали ее страсть. Она обманывала самый строгий надзор, и скоро ее сближение с королем было тайной только для королевы, которая, кажется, так и умерла, не подозревая об измене мужа.

Меньше чем через год после кончины королевы Христиан IV вступил в морганатический брак^[119] с Христиной Мунк, причем ей был дан титул графини Шлезвиг-Голштинской.

Началась самая блестящая пора жизни Христины. Она являлась олицетворением счастья и производила на всех придворных чарующее впечатление. Красивая, добрая, ласковая, всегда готовая услужить каждому своим влиянием, она мало-помалу начинала играть очень большую роль. Она имела значительное влияние на все дела, часто совсем овладевала волей короля и направляла ее по своему усмотрению.

Так прошло несколько лет, и второй брак Христиана казался самым счастливым браком. Королевская семья росла с каждым годом: у короля и Христины родилось двое сыновей и восемь дочерей, и король, несмотря на свою порывистость и подчас суровость, оказался очень нежным отцом. Но особенно любил он своего сына Вольдемара, графа Шлезвиг-Голштинского.

Счастье убаюкивает, затуманивает, затуманило и убаюкало оно и Христину. Она получила над королем такое исключительное влияние именно благодаря тому, что изучила его характер и обдумывала свои действия. Она очень хорошо понимала в первые годы, что можно и чего нельзя. знала, какими способами действовать на короля и в какие минуты.

Но вот мало-помалу, уверенная в своей силе, освоившаяся с нею, она позабыла всякое благоразумие, сочла короля своим неотъемлемым достоянием, которым могла распоряжаться произвольно. Сама того не замечая, теперь она становилась чересчур требовательна, стесняла свободу действий мужа, являлась постоянным, неустанным контролером его жизни.

Сначала, в первые годы своего семейного счастья, он не замечал этого, а если и замечал, то, полный страстью, даже, может быть, находил наслаждение в том, что всюду и во всем видел Христину, что сталкивался с нею во все минуты своей жизни. Однако горячая страсть, естественно, заменилась более спокойным чувством, и

стеснительность ревнивой женой охраны становилась для короля все ощутительнее; в нем начинала говорить его врожденная самостоятельность. Он начинал все более и более жаждать простора и свободы.

Чувство его к жене было очень сильно, и, если бы теперь Христина поняла свою ошибку, она, вероятно, навсегда сохранила бы любовь мужа; но понять свою ошибку она уже не была в состоянии, и, по мере того как король начинал освобождаться от рабства, она силилась все крепче и крепче заковывать его в цепи.

Между супругами началась глухая борьба, доставившая много мучений обеим сторонам. Нетрудно было предвидеть, к чему приведет эта борьба. Христина не могла оказаться в ней победительницей. В прежние времена она обезоруживала мужа ласками, видимой ему покорностью, своим тихим и ровным характером, теперь, полная убеждения в своих правах не только на его исключительную любовь, но и на его жизнь, она негодовала, упрекала, требовала, раздражала короля все больше и больше.

Во время одного из бурных объяснений она вдруг заметила в первый раз, что король смотрит на нее совсем иначе, чем прежде. Она увидела, что ее раздражение, упреки и жалобы остаются без ответа, король молчит, смотрит на нее — и улыбается. Она не поняла еще разумом, что это значит, но сердце у нее вдруг упало, тоска вдруг охватила ее, мучительная, давящая тоска, какая находит на человека перед неотвратимым, грозящим несчастьем. Такая тоска не могла обмануть — несчастье уже свершилось. Христина достигла единственного, чего могла достичь своим образом действий, — король почувствовал к ней полное охлаждение.

VII

То, что представлялось королю томлением и несчастьем, от которых некуда было скрыться, — эти все возраставшие нелады с женой вдруг в один миг как бы забылись им. Приближенные сразу заметили в нем большую перемену: стихла его раздражительность, изменился его мрачный, суровый вид. В лице его, после долгого отсутствия, снова появилось веселое выражение. Давно, давно никто не слышал его смеха, — теперь он опять смеется!

Придворная жизнь, в последнее время сделавшаяся такой мертвенной и унылой, оживилась, король прилежно стал заниматься делами и в то же время желал развлечений.

В королевском замке начались праздники за праздниками. Замечали, что графиня Шлезвиг-Голштинская, по мере того как король становился веселее и общительнее, делается мрачнее и мрачнее.

Иной раз она появлялась во время придворных празднеств только на мгновение и незаметно удалялась в свои апартаменты. Иногда ее вовсе не было, но ее отсутствие нисколько не нарушало общего оживления и веселья. Тень уныния, которая следовала теперь за Христиной, удручающе действовала на окружающих; Христина уходила и уводила за собой эту тень.

На придворном горизонте появились новые светила; несколько молодых красавиц обратили на себя внимание короля, и скоро все увидели, что одна из них, Луиза Вибекке, окончательно победила его сердце. Он нисколько не скрывал этого, и фавор Вибекке быстро сделался совершившимся, общеизвестным фактом.

На этот раз случилось совсем не то, что было в то время, когда Христиан влюбился в Христину Мунк. Тогда покойная королева ничего не подозревала о том, что давно было известно, — теперь графиня Шлезвиг-Голштинская одна из первых узнала о любви короля к Вибекке.

Примириться с действительностью она не могла, она заявила свои права, стала подвергать короля сценам самой несдержанной ревности, не могла владеть собою даже перед своими малолетними детьми.

В королевской семье начался настоящий ад, и все это кончилось тем, что, доведенный до последнего, возненавидевший жену, Христиан решился на развод с графиней. Христина, против ее воли, перевезена была в один из дальних охотничьих королевских замков, и там она очутилась вместе с детьми под арестом.

Между тем дело о разводе шло и наконец кончилось в пользу графини — суд не признал ее виновной перед королем. Однако это было плохим для нее утешением, — потеряв любовь короля, она потеряла все. Теперь у него к ней не было никакой жалости. Он считал ее, совершенно искренно, своим злейшим врагом, а с врагами он не церемонился.

Графиня Шлезвиг-Голштинская была лишена возможности выезжать из назначенного для ее жительства замка, над ней был учрежден строгий надзор, но ее ожидало и еще новое бедствие. Король стал тосковать по своим детям. Сначала он признавал за Христиной все права матери, он вовсе не желал разлучать ее с детьми, да, наконец, в первое время, увлеченный своей капризной страстью к Луизе Вибекке, он и не думал о детях. Но капризная страсть быстро охладела — король уже не был способен на серьезную привязанность, он слишком искренно и слишком долго любил Христину, теперь же для него возможно было только непродолжительное увлечение — он развлекался. Эти увлечения и развлечения не могли удовлетворить его сердца, ему нужны были более глубокие сердечные радости — и он затосковал по своим детям.

Дети, один за другим, были переселены в королевский замок. Время от времени их возили на свидание с матерью, но и эти свидания становились все реже и реже: дети, подрастая, охлаждали к Христине. В королевском замке им было хорошо и привольно, об их воспитании король очень серьезно заботился. Каждую свободную минуту он посвящал детям, и, несмотря на то, что бывал иногда строг с ними и раздражителен, он искупал эту строгость и раздражительность порывами таких горячих ласк, что дети хотя и побаивались его, но все же горячо любили. На них не могла тоже не действовать та всеобщая почтительность, которой он был предметом. Между тем, отправляясь на свидание с матерью, они испытывали совсем иное впечатление: их встречала унылая, озлобленная, не примирившаяся со своей участью женщина, женщина ревнивая, готовая возненавидеть своих детей за то, что они с отцом, за то, что они любят отца больше, чем ее...

Таковы были впечатления, на которых вырос и созрел Вольдемар, граф Шлезвиг-Голштинский. Его природа оказалась глубже природы его брата и сестер, он сильнее их воспринимал все эти тяжелые впечатления и, придя в сознательный возраст, проводил немало горьких часов.

Он все чаще испытывал такое ощущение, будто ему мало воздуха в родном доме, и хотелось ему уйти куда-нибудь дальше, начать совсем новую жизнь. Ему казалось, что чем дальше будет он от дома, тем жизнь его станет счастливей, тем вольнее будет ему дышаться.

VIII

Как раз в то время, в конце 1640 года, в Копенгаген явился из Московии некий муж, проживший весьма долгие годы в русском государстве. Этот муж, по имени Иоган Томас, а по нашим документам Иван Фомин, иностранец, приехал в Копенгаген не по своим делам, а гонцом от царя московского.

Появление его для короля Христиана не было неожиданностью, так как Петр Марселис, посланный в Москву Христианом для разных дел, несколько месяцев тому назад, возвратясь в Данию, докладывал королю следующее: призвали его в посольский приказ и там бояре русские допрашивали во всех подробностях — сколько у короля Христиана детей и каких они лет. Марселис боярам ответил, ничего не утая, что у короля датского два сына от первой жены, королевы Катерины. Старший, наследник престола датского, женат, другой собирается жениться, но есть еще третий сын, Вольдемар, от второго, законного же королевского брака, но только морганатического, что принцу этому двадцать два года, и хотя король не живет с его матерью за то, что она на него злоумышляла, но сына крепко любит.

Петр Марселис добавлял, что, очевидно, царь московский желает выдать за принца Вольдемара свою старшую дочь.

Король, услыша это, задумался. Если бы могло статься так, как того желало его сердце, он не отпустил бы своего любимца, Вольдемара, из Дании, он сделал бы его своим наследником с уверенностью, что из него выйдет достойный ему преемник. Но об этом нечего и думать — престол датский, после его смерти, должен перейти к его старшему сыну от первого брака. Хотя сын этот и не так любим отцом, как Вольдемар, но все же, во всяком случае, нет никаких причин отстранить его от престола, да и невозможно это по тем самым законам, о закреплении которых король всю жизнь так заботился.

Теперь Вольдемару хорошо и спокойно живется, но умрет отец — и что его ожидает? Старшие братья его не особенно любят, быть может, ему предстоят всякие беды, да и не только беды, но, пожалуй, и опасности. Вольдемар — юноша смелого, предприимчивого нрава, Московия — страна далекая и дикая, но вот в последнее время оттуда получают все более и более интересные сведения... Приезжие из Московии рассказывают чудеса об обширности этого восточного

государства, о богатстве царей московских. Если Вольдемар женится на дочери царя и если царь при этом выговорит ему всякие выгоды, то он, наверно, в этой полуварварской стране окажется первым лицом, получит главнейшее влияние на все дела и, как знать, быть может, окажется на престоле своего тестя...

Одним словом, эта мысль очень заинтересовала Христиана, и он все чаще и чаще стал к ней возвращаться. Его, конечно, смущала необходимость разлуки с любимым сыном, но он любил его не эгоистической любовью, он думал прежде всего о его счастье.

Таким образом, появление Ивана Фомина, иностранца, доставило королю немало удовольствия, только он решил с этим делом не торопиться и действовать осторожно.

Иван Фомин был ласково принят в королевском замке. Его спросили о причине его приезда, и он ответил, что послан с жалобой на герцога Голштинского, который не исполняет условий договора относительно персидской торговли.

Ему обещали все устроить и потом спрашивали: нет ли у него какого-нибудь еще иного поручения? — но Иван Фомин уверял, что другого поручения ему не дано.

Между тем жалоба на герцога Голштинского была только предлогом — Ивану Фомину в посольском приказе было велено, по приезде в Копенгаген, «проведывать подлинно, тайным обычаем, сколько у короля детей от венчальных, прямых жен, от королев, и сколько не от прямых, но все же действительных жен и в каких чинах у него эти дети? Проведать допряма про королевича Волмера (Вольдемара) сколько ему лет, каков собою: возрастом, станом, лицом глазами, волосами, где живет, каким наукам, грамотам, языкам обучен? Каков умом и обычаем, и нет ли в нем какой болезни или увечья, и не сговорен ли где жениться, чья дочь его мать, жива ли и как живет? Промышлять, чтоб королевича Волмера видеть ему самому и персону его написать подлинно на лист или доску без приписи, прямо, промышлять это, подкупя писца (то есть живописца), хотя бы для этого в датской земле и помешкать неделю или две, прикинув на себя болезнь, только бы непременно проведать все допряма, во что бы то ни стало, давать не жалея, а для прилики, чтобы не догадались, велеть написать персоны самого короля Христиана и других сыновей его».

Хитрый иностранец Иван Фомин весь этот наказ исполнил, но хитрость его не совсем удалась. Когда он, найдя подходящего «писца», подкупил его, чтобы писать персоны королевских сыновей, об этом тотчас проведали, и Иван Фомин приглашен был к первому советнику короля Христиана, Улефельдту, который сразу спросил его:

— Дошел до меня слух, что ты подкупил живописца и заказал ему тайно написать схожие портреты короля и королевичей, правда ли это?

Иван Фомин растерялся, забегал глазами во все стороны и приготовился отпираться, когда Улефельдт строго перебил его:

— Если я говорю: «дошел слух», то, значит, этот слух верен, отпираться тебе нечего. Ты хорошо должен знать, что затеял невозможное дело. Как же это тайно писать портреты и чтобы они были схожи? Живописец, польстясь на твои деньги, мог обещать тебе что хочешь, но если он будет писать портреты тайно, то никакого сходства в них с королем и королевичами не окажется. Он должен работать, имея перед собою тех, с кого пишет портрет, — только в таком случае будет сходство.

На это Ивану Фомину возражать было нечего, и он молча стоял пред датским сановником, ожидая, что тот дальше говорить будет.

Улефельдт, видя его смущение, улыбнулся и продолжал.

— Успокойся, ничего преступного в твоём действии мы не видим, видим одну только несообразительность. Его королевское величество, когда узнал об этом, засмеялся и дал свое соизволение написать хорошие портреты с себя и с королевичей с тем, чтобы послать их вашему государю. Только скажи ты мне, пожалуйста, зачем это вашему государю понадобились портреты?

Фомин опустил голову и развел руками.

— Мысли государевы в руках Божьих, — ответил он, — мне же они неизвестны.

Улефельдт не стал настаивать и отпустил московского гонца успокоенным и довольным.

В тот же день к Фомину явился королевский секретарь с тем же вопросом: зачем нужны государю московскому портреты короля и королевичей?

Так как и перед секретарем Фомин отговорился неведением и в дальнейшем разговоре не заикнулся о королевиче Вольдемаре, секретарь сам сказал ему:

— Если вашему государю королевич Вольдемар нужен для воинского дела, то король отпустит его к царскому величеству.

Фомин ответил, что передаст это своему государю, и, получив обещание относительно присылки на Москву портретов, с легким сердцем выехал из Копенгагена.

Возвратясь, он докладывал в посольском приказе подробно обо всем, что с ним было, и подал записку, в которой значилось: «Королевич Волмер лет двадцати, волосом рус, ростом не мал, собою тонок, глаза серые, хорош, пригож лицом, здоров и разумен, умеет полатыни, по-французски, по-итальянски, знает немецкий верхний язык, искусен в воинском деле: сам он, Фомин, видел, как королевич пушку к цели приводил. Мать его, Христина, больна, отец ее был боярин и рыцарь большой, именем Лудвиг Мунк, и мать ее также боярыня большого родства».

IX

По отъезде Ивана Фомина король имел продолжительное объяснение с сыном. Он передал Вольдемару все свои мечты и планы относительно его будущности и не без сердечного замирания ждал, что ему на это ответит сын. Ведь он мог сказать ему: «Отец, где же твоя любовь ко мне, если ты хочешь удалить меня от себя, ото всего, что мне близко и дорого, если ты посылаешь меня в неведомую темную даль, полную всякого тумана, за которым могут скрываться беды, опасность и гибель?!»

Конечно, на такие слова король мог объяснить ему, что еще большие беды, опасности и гибель грозят ему здесь, на родине; но что возразил бы он ему, если бы юноша сказал, что всякая гибель не так страшна у себя дома, среди своих?

Однако никакого спора, никакого разногласия не произошло между отцом и сыном.

Король сразу увидел, что Вольдемар увлечен его планом даже больше, чем он сам. Возможность новой жизни в далекой стране оказалась для него заманчивой. Даль и неизвестность не могли устрашать, а только восхищали смелого юношу. Оставался один вопрос...

«Если королевич нужен царю московскому для воинского дела — король его отпустит», — сказал королевский секретарь Фомину. Но ведь всем было хорошо известно, что королевич нужен владыке восточной полуварварской страны не для воинского дела, а для того, чтобы с ним породниться, чтобы выдать за него свою дочь, — и вот Вольдемар говорил отцу:

— Да, я поеду, с удовольствием поеду, но царевна московская должна мне понравиться. Если она нелюбезна, некрасива, если она покажется мне каким-нибудь чудовищем, как я свяжу с нею мою жизнь? Отец мой, я не могу этого!

Король, нежно глядя на своего любимца, потрепал его по плечу:

— Глупый мальчик, — сказал он, — разве стану я принуждать тебя жениться на чудовище! Как царь московский не выказывает прямо своего желания, а хочет сначала узнать про тебя все, видеть твой портрет, а затем, конечно, пожелает видеть и тебя самого, поближе познакомиться с тобою, так точно и я — о тебе уж и не говорю — должен хорошенько узнать, какова его дочь. Я вовсе не требую от тебя твоего согласия на брак с московской царевной, я хочу узнать, желаешь ли ты, в звании моего посла, съездить в Московию? Вот пока все, о чем я тебя спрашиваю. Разговор об остальном может быть только по твоем возвращении из путешествия.

— Если так, — весело воскликнул Вольдемар, — я отвечаю: да; да и да! Я очень рад этому путешествию. Ты знаешь, отец, как я люблю путешествовать!

Таким образом, оставалось только найти предлог для отправки посольства в Московию.

Так как в Дании все еще ходили самые преувеличенные рассказы о суровости московского климата, то и решено было дожидаться летнего тепла, чтобы совершить путешествие быстрее и с большими удобствами.

В Московию своевременно послали извещение, что к царю едет из Дании особое посольство: в послах королевич Вольдемар, граф Шлезвиг-Голштинский, вторым же послом назначен Краббе.

По получении этого известия царь Михаил Федорович распорядился, чтобы датскому посольству всюду были оказываемы особые почести. Немедленно же были посланы гонцы во все города, через которые посольство должно было проезжать: приказано было

воеводам спешить навстречу графу Вольдемару и челом ему бить усердно. В Москве, ко дню приезда посольства, тоже было все приготовлено в лучшем виде. Послам назначили помещение в Китай-городе, на дворе думного дьяка Ивана Грамотина, и царским приказом велено: «Отводимые гостям палаты, а также поварню, все хоромы и конюшни осмотреть, вычистить, худые места починить, столы, скамьи и окончины поставить, навоз и щепы со двора свозить и посыпать на дворе песком».

У средней палаты двери были железные, а моста перед нею и всходу не было, так велено было сделать мост с перилами и лестницу; колодец вычистить. Во второй палате, даже в покоевой задней деревянной горнице лавки и скамьи были убраны сукнами червчатыми. Далее, в тех же палатах и горнице, где стоял граф Вольдемар, один стол покрыт был ковром, а три сукнами червчатыми багрецовыми.

Приставам было сказано: «Вы бы рассмотрели всякими мерами подлинно и у дворян и посольских людей в разговорах тайно разведали, как графа Вольдемара посол Краббе и посольские люди почитают: государским ли обычаем или рядовым обычаем?»

По приезде посольства приставы немедленно донесли, что Краббе перед графом но временам снимает шляпу, по дороге едучи, но говорит с ним иной раз и в шляпе; за обедом сидит с ним вместе. «Думные же и бояре» графа почитают, говорят с ним все снявши шляпы и в разговоре с ним называют его королевичем, а не послом и во всем его почитают государским обычаем.

Получив такой ответ, царь с думными боярами совещался о том, как же принять королевича: со всеми почестями, принадлежащими его сану, или как обыкновенного посла?

Решено было принять обыкновенным образом, так как в королевской грамоте королевич значился не королевичем, а послом.

X

С первого же дня появления Вольдемара в Москве начались всякие недоразумения и неприятности. Когда он отправился представляться царю, то его попросили снять шпагу.^[120] На это он возразил, что шпагу снять не может, так как это было бы для него

позорно. Но на его доказательства московские бояре не обратили внимания и стояли на своем, не допуская его до государя.

Королевич был поставлен в безвыходное положение: нельзя же было возвращаться в Данию, не представившись даже царю, — это ведь тоже было бы позорно и затем грозило нескончаемой враждою между двумя государствами. Пришлось покориться иноземному обычаю и снять шпагу. Впрочем, царь Михаил Федорович, приветствуя королевича, имел такой добродушный, привлекательный вид, так ласково к нему отнесся, что Вольдемар сразу вышел из мрачного настроения, в какое повергла его история со шпагой.

Правда, и во время царской аудиенции не все было совсем гладко: уж слишком бесцеремонно как сам царь, так и его приближенные разглядывали королевича, и это бесцеремонное разглядывание не могло не покоробить юношу, родившегося и воспитанного среди более цивилизованного общества. Но он, по счастью, сообразил, что ведь он не в Вене у императора, что он и ехал сюда, представляя себе Московию полуварварской страной.

К тому же результат разглядывания королевича был, очевидно, в его пользу. От него не стали скрывать произведенного им впечатления, а самолюбивый юноша, видящий, что он понравился, станет ли сердиться?

Вольдемару и Краббе было тотчас же назначено «быть в ответе с боярами» и изложить причину, побудившую короля датского прислать посольство.

Вольдемар от имени короля потребовал вольной торговли для датских купцов по всему московскому государству.

Вопрос этот был решен в утвердительном смысле, хотя и с некоторым ограничением.

Затем королевич просил позволения датчанам строить дворы и церкви. На это ему ответили, что в Москве уже есть у датских купцов свой двор, а в Новгороде, Пскове и Архангельске пусть они купят дворы или построят новые на посаде. Что же касается церквей, ответили сразу и единогласно: «Киркам не быть». На этом бояре стояли твердо и отказались от всяких дальнейших разговоров по этому предмету.

Затем пошли уже вопросы второстепенные и после всестороннего обсуждения были решены более или менее удовлетворительно.

Наконец, переговорив обо всем, собрались писать грамоты «на докончание»^[121], но тут, как и прежде случалось весьма часто в подобных обстоятельствах, оказалась беда. Вольдемар настаивал, чтобы в датской грамоте королевское имя стояло перед царским именем. На это бояре не согласились и выказали такое же упрямство, как и по вопросу о кирках.

Напрасно в течение нескольких дней Вольдемар, Краббе и все члены датского посольства доказывали боярам, что в их желании нет ровно ничего обидного для царского величества: как естественно со стороны бояр ставить в своих грамотах имя своего государя перед именем чужеземного, так точно и датчане в своей грамоте не могут поставить имя своего государя на втором месте. Бояре никаких доказательств не слушали только обижались, только мрачно повторяли, пощипывая себе бороды: «Этому делу не бывать».

И пришлось королевичу с посольством уехать из Москвы ровно ничего не добившись, ничего не разузнав. Главное же что сердило Вольдемара, он не только не увидал никакой царевны, но не разглядел даже ни одной московской женщины.

Во время его прогулок по городу ему попадались только совсем неинтересные фигуры старух. Правда, иной раз мимо него прокатывались какие-то безобразные рыдваны, и в этих рыдванах помещалось что-то таинственное, но что именно, того никак нельзя было разобрать, так оно было закутано ревнивой фатой.

Потом Московия представлялась королевичу странною упрямых, непонятливых бородачей в высочайших шапках и парчовых кафтанах, странною, где люди живут в тесных помещениях, много едят, много пьют и где совсем нет женщин. Такая страна не могла понравиться юноше, и он возвращался в Копенгаген с сознанием разбитых грез, в глубоком разочаровании.

XI

В Москве, однако, вовсе не думали разочаровываться или покидать мысль о женитьбе королевича на царевне Ирине. Уж очень этого хотелось царю: он считал, во всех отношениях, крайне важным родство русского царствующего дома с семьями иноземных государей. Эту мысль он наследовал еще от своего отца, патриарха Филарета,

который его самого, после печальной истории с Марьей Ивановной Хлоповой, непременно хотел женить на иноземной принцессе.

Царь хорошо помнил все обстоятельства этого времени своей юности.

Как теперь, так и тогда выбор прежде всего остановился на Дании.

В 1621 году из Москвы были отправлены патриархом Филаретом в Данию князь Львов и дьяк Шипов с таким предложением королю: «По милости Божьей великий государь приходит в лета мужеского возраста, и время ему, государю, пришло сочетаться законным браком, а ведомо его царскому величеству, что у королевского величества есть две девицы, родные племянницы, и для того великий государь его королевскому величеству любительно объявляет: если королевское величество захочет с великим государем царем быть в братстве, дружбе, любви, соединении и приятельстве навеки, то его королевское величество дал бы за великого государя племянницу свою, которая к тому великому делу годна».

Вместе с этим послам был дан устный приказ: «Если в Дании станут говорить, что королевская племянница перейдет ради своего супруга в русскую веру, но что креститься ей в другой раз непригоже, так как она и без того крещена по своему закону в христианскую веру, то следует отвечать: «Королевской племяннице в другой раз не креститься никак нельзя, потому что у нас со всеми верами рознь немалая: у иных вер вместо крещения обливают и миром не помазывают...у иных вер вместо крещения обливают и миром не помазывают...— Лютеранское крещение (как и католическое) заключается в обливании крещаемого водой, тогда как православный обряд предполагает тоекратное погружение в освященную воду и последующее таинство миропомазания^[122]; так король бы свою племянницу на то наводил и отпустил ее с тем, чтобы ей принять святое крещение».

Так же и во всем остальном посланные должны были действовать с осторожностью и заранее на все иметь готовые ответы.

Они должны были стараться всем родственникам и ближним людям королевской племянницы, войдя к ним в доверие, всячески расхваливать православную веру и просить их убеждать в достоинствах этой веры невесту.

Для того чтобы дело лучше ладилось, послам было приказано не скупиться на подарки, а пуще того на обещания.

Если король будет спрашивать: дадут ли его племяннице особые города и доходы то следовало отвечать: «Если по Божественному Писанию будут оба во плоть едины, то на что их государей, делить? Все их государское будет общее, чего она, государыня, захочет все будет ей невозбранно: кого захочет, того, по совету и повелению супруга своего, жаловать будет, и датским людям, которые будут с нею, nevoли и нужды не будет ни в чем, что с нею будут немногие люди — многим людям быть не для чего: у государя на дворе честных и старых боярынь и девиц, отеческих дочерей, много»

Наконец, на случай благополучного окончания переговоров и королевского согласия давалось послам такое наставление: «Если король согласится на все, просить позволения ударить челом племянницам и пришедши к ним, ударить челом по обычаю учтиво об руку и поминки королеве и девицам поднести от себя по сороку соболей или что пригоже. Причем смотреть девиц издалека внимательно, какова которая возрастом, лицом, белизною глазами, волосами и во всяком приращенье и нет ли где увечья, а смотреть издалека и примечать вежливо. Если королева позовет их к руке, то идти, королеву и девиц в руку целовать, а не витаться с ними (то есть не брать их за руку). И посмотревши девиц, идти вон, после чего проведывать, которая к великому делу годна: чтобы была здорова, собою добра, не увечна и в разуме добра, и какую выберут, о той и договор с королем становить: спрашивать, сколько дадут за невестою земель и казны».

Но, несмотря на все эти рассудительные предписания, а вернее, именно благодаря им, сватовство ничем не кончилось. Король сказался больным и не стал объясняться с князем Львовым, а тот, в свою очередь, объявил, что иначе как с королем ни о чем говорить не будет.

Потом, через два года, патриарх Филарет сделал еще одну попытку. Он послал к шведскому королю Густаву-Адольфу сватать за царя Екатерину, сестру курфюрста бранденбургского Георга, приходившегося шведскому королю шурином. Однако и тут вопрос о вере всему помешал. На требование, чтобы невеста крестилась в православную греческую веру, король ответил, что ее княжеская

милость для царства не отступит от своей христианской веры, не откажется от своего душевного спасения...

С большим горем патриарх Филарет оставил мысль женить сына на иностранной принцессе. Но мысль эта не погибла. Она жила в царской семье, и вот теперь Михаил Федорович решил во что бы то ни стало породниться с Данией.

Когда ближние советники напомнили ему, что и на сей раз вопрос о вере, наверно, станет непреодолимым препятствием, он отвечал им:

— Да, дело трудное, но не будь оно трудно, так о нем и толковать было бы нечего. Обходить его надо со всякой опаской, со всякою хитростью.

Этот царский взгляд, безусловно, разделяли и советники, поэтому вопроса о вере королевича Вольдемара решено было коснуться только при последней необходимости, если же возможно, то и совсем обойти его: Бог милостив, все сделается само собою, в свое время...

Но вот королевич уехал из Москвы, и не только о вере его, но и о сватовстве не было речи. О том, под каким впечатлением он уехал, никто не думал. Царь и ближние бояре были довольны, они достигли всего, что было пока необходимо: видели королевича и он их видел.

Жених всем понравился, и никакой персоны его теперь и писать не надо. Что же касается того, что ни он не видел невесты, ни она его не видела, — об этом, конечно, никто не думал, никому и в голову не могла прийти мысль подумать об этом.

XII

Переждали зиму и в апреле 1642 года отправили в Данию посольство. В послах были: окольный Степан Матвеевич Проестев и дьяк Иван Патрикеев. Им поручено было начать вопрос о заключении докончания, но это было только для прилики.

Они везли подарки королевичу Вольдемару, везли соболей на две тысячи рублей и имели полномочие ничего не жалеть, лишь бы совершить добром государское дело, приступить к которому было теперь признано благовременным.

Въезжая в Копенгаген, Проестев и Патрикеев никак не ждали дурного приема, а между тем их встретили далеко не ласково.

Вольдемар и Краббе вернулись крайне недовольными, и все, о чем они рассказали Христиану, раздражило короля. О dokonчании и он мало заботился, но он признал придирки московских бояр доказательством того, что царь передумал и не желает больше выдавать своей дочери за Вольдемара. Между тем ведь это было теперь единственным интересом в сношениях с московским государством.

Узнав о приезде русских послов, Христиан даже рассердился и отдал приказ не оказывать им никаких знаков внимания. Однако все же им была назначена у него аудиенция.

Христиан принял их в аудиенц-зале с большой торжественностью, которая сразу смутила москвичей.

Проестев и Патрикеев не без робости подошли к трону и встретили равнодушный взгляд короля. При их приближении он не переменял своей небрежной позы и только едва заметно кивнул им головою.

Они, запинаясь, по обычаю, сказали, что великий государь велел королю поклониться, про свое здоровье сказать и брата своего здоровым видеть.

Вот толмач перевел королю эти слова, конечно, король сейчас встанет и в свою очередь спросит про царское здоровье. Но король не встает, молчит, послы не знают, что им делать. Они испуганно переглянулись, побледнели, в руке у Проестева дрожит царская грамота. Он должен подать ее королю, но может ли он подать, когда король не встает с места и молчит? Может ли он перенести такое оскорбление царского величества?

Он обеими руками ухватился за грамоту, будто боясь, что ее силой у него вырвут, и весь вспыхнул. Пусть его убьют на месте, но он не отдаст грамоты, пока король не встанет.

Нельзя же, однако, так стоять и ждать — надо говорить; и вот Проестев собрал последние силы, взглянул на Патрикеева, молчаливо прося его поддержки, и, едва ворочая языком, объявил, что он ждет исполнения обычая.

Толмач перевел. Король медленно произнес несколько слов, но, говоря, он обратился не к послам, а к своему канцлеру, и уж тот повторил слова его, глядя на послов.

Толмач перевел, что король рад слышать про здоровье своего брата, царя московского.

И Проестев и Патрикеев оба вздрогнули. Робость их и смущение прошли, голос Проестева окреп, и он с большим достоинством ответил:

— Наш великий государь про королевское здоровье спрашивал сам, никому того не поручая, и спрашивал вставши.

Услыша слова эти, король сделал нетерпеливый жест, горделиво откинув голову, и сердито спросил:

— Как наши послы были у вашего государя, то что им у вас делали?

— Когда ваши послы были у нашего государя, то государь наш у вашего королевского величества чести не умалял, а мы теперь видим тому противное! — звучным голосом произнес Проестев.

Он выпрямился и глядел прямо в глаза Христиану с таким выражением, какое могло смутить кого угодно.

Король сообразил, что действительно зашел уж слишком далеко, и вдруг встал, снял шляпу и спросил про царское здоровье.

Теперь Проестев мог уже со спокойной совестью передать королю грамоту, что он и сделал, почтительно и низко кланяясь.

Аудиенция была благополучно закончена.

Через несколько дней начались переговоры послов с канцлером, и первый вопрос опять был: кого прежде писать в грамотах? Датский канцлер прямо заявил Проестеву и Патрикееву:

— Наш король во всей Европе никакому государю своей чести не уступит и такой дорогою ценою ни у какого государя дружбы купить не хочет.

Послы тоже уступить не могли и о докончании совсем замолчали. Они прямо приступили к своему главнейшему делу, бывшему единственной действительной целью их посольства.

Проестев говорил канцлеру:

— Великий государь хочет быть с его королевским величеством в приятельстве, крепкой дружбе, любви и соединении свыше всех великих государей и для того велел его королевскому величеству объявить, что его государской дочери, царевне Ирине Михайловне, пришло время сочетаться законным браком и ведомо ему, великому государю, что у датского Христиануса короля есть добродородный и

высокорожденный его, короля, сын, королевич Вольдемар-Христиан, граф Шлезвиг-Голштинский. Если его королевское величество захочет быть с ним, великим государем, в братской дружбе навеки, то он бы позволил сыну своему государскую дочь взять к сочетанию законного брака.

Услыша эти слова, канцлер сразу стал любезен и ласков. Он ответил, что дело это великой важности и он о нем немедленно доложит его королевскому величеству, а пока, от себя, не может сказать ровно ничего.

Христиан очень изумился, увидя входившего канцлера с таким лицом, которое ясно говорило о том, что владелец его несет весьма радостную весть. Никакой радостной вести в настоящую минуту король не ожидал, а о послах московских забыл и думать.

Он выслушал канцлера с нескрываемым удовольствием, и снова все прежние планы относительно судьбы любимого сына зароились в голове его.

— Вот странные люди! Вот дикие люди! — повторял Христиан, в необыкновенном волнении поднимаясь с места. — Впрочем, действительно нельзя строго судить их, быть может, граф Шлезвиг-Голштинский научит их вежливому обхождению, отучит их от грубости и варварства... Надо пожалеть их. — прибавил он с довольной улыбкой. — Согласиться что ли, отдать им в учителя моего сына? Как вы об этом думаете, канцлер?

— Вопрос уже был решен, — отвечал канцлер с поклоном, — и если ваше величество не передумали, все зависит от подробностей...

— Поручаю вам расспросить этих московских медведей обстоятельно и тотчас же доложить мне все подробно.

XIII

Так как вместе с Проестевым и Патрикеевым был послан и Иван Фомин, иностранец, в качестве человека бывалого, знающего языки и уже ведомого королевичу Вольдемару, переговоры могли идти быстрее и успешнее.

Первым делом Фомин отправился к королевичу и уже теперь, ничего не скрывая, объявил ему все и представил себя в его распоряжение. В случае же, если сватовство окажется удачным, Фомин

предложил Вольдемару обучать его русскому языку, без знания которого жить в московском государстве ему будет не только трудно, но и совсем невозможно.

— Русские люди, начиная с самого царя, никаких языков не знают...

При этом Фомин предупредил королевича, что язык московитов весьма труден и что он обучился ему только через десять лет.

На это Вольдемар сказал, смеясь, что ко всяким языкам у него, слава Богу, большие способности, обучается он им легко и быстро. Как ни труден язык московитов, но и его он надеется одолеть, только пока о занятиях его этим языком нечего и думать, — понапрасну он учиться не станет и вообще не поедет в Москву, пока не узнает доподлинно, на ком его женить хотят.

— Ведь вот ты, почтенный Томас, как приезжал сюда гонцом, с меня даже тайно писать портрет подговаривал живописца, — весело продолжал Вольдемар, — значит, там у вас, в Москве, непременно хотели знать, каков я собою, оба ли у меня глаза целы и все ли на своем месте. Так посуди сам, могу ли я не интересоваться, кого мне в жены прочат? Был я в Москве, не знаю — видела ли меня в какую-нибудь щелку ваша царевна, только ведь я-то ее не видал. Покажи мне ее портрет, расскажи, по совести, какова она, тогда и за уроки московитского языка я готов, пожалуй, с тобою приняться, конечно, коли царевна мне понравится.

Иван Фомин, иностранец, веселого вида толстяк с бледными глазами навывкате, соорудил весьма забавное лицо и развел руками.

— Ваша милость задаете мне неисполнимую задачу, — произнес он, — не только не могу я вам показать портрета царевны, но не могу и сказать, какова она, по той простой причине, что сам никогда ее не видал.

— Очень жаль, — перебил его Вольдемар, — ты легко мог бы догадаться, что я тебя стану о ней спрашивать.

— Догадаться было нетрудно, ваша милость, да ничего из моей догадки не могло выйти — царевны не видал никто, кроме ее семьи, ближайших родственников и слугителей.

— Что ты мне сказки рассказываешь. Быть того не может!

— Однако ведь вы сами, ваша милость, прожили в Москве не день и не неделю, скажите: разве видели вы хоть одну девицу благородную?

— Нет, не видал.

— Так если дочерей московских сановников нельзя видеть — царевен тем более.

— Вот так страна! Вот так обычаи! — изумился и возмутился Вольдемар.

В это время ему доложили о приезде послов.

Он принял их весьма радушно и, поговорив с ними кое о чем при посредстве Фомина, услышав и от них про действительную цель их посольства, обратился к ним с тем же требованием показать ему портрет царевны.

Он все же рассчитывал, что с Проестевым прислан ему портрет царевны, и желание его видеть волновало его все больше и больше. Но никакого портрета с послами не было прислано, и, согласно данному в Москве наказу, в котором был предвиден и этот случай, Проестев отвечал:

— У наших великих государей российских того не бывает, чтобы персоны их государских дочерей, для остерегания их государского здоровья, в чужие государства возить, да и в московском государстве очей государыни царевны, кроме самых ближних бояр, другие бояре и всяких чинов люди не выдают.

— При чем же тут здоровье? — удивленно спросил Вольдемар Фомина, когда тот перевел ему слова эти.

— А здоровье при том, — отвечал переводчик, — что москвиты питают глубокую веру в возможность колдовства и порчи. Они полагают, что злой человек, получив чей-нибудь портрет и произведя над ним какие-нибудь магические действия, может этим погубить человека.

— Вот как! — сказал Вольдемар, удерживаясь от смеха. — Впрочем, такие верования свойственны не одним москвитам — и у нас, в Дании, наверное, найдется несколько старух, которые верят такому вздору...

Вольдемар в этот день собирался ехать в тот уединенный замок, где жила его мать, с тем чтобы пробыть с нею некоторое время. Он не стал откладывать своей поездки и уехал.

Уехал он в странном настроении. Дело, о котором он когда-то мечтал, которое потом признал несостоявшимся, так что даже забыл о нем и думать, теперь всецело наполняло его. Он чувствовал какое-то

особенное волнение и никак не мог успокоиться. То обстоятельство, что ему невозможно увидеть даже и портрета невесты, было главной причиной его волнения. Он почему-то вдруг решил, что она прелестна, как ангел.

Еще недавно он боялся, что его женят на уроде, теперь же, если даже послы или Фомин объявили ему, что царица некрасива, он бы им не поверил. Его юность и горячее воображение уже создали ему образ этой таинственной невидимки, и этот образ с каждым часом становился для него все реальнее.

Через несколько дней он уже был совершенно влюблен в этот созданный им образ, только о нем и думал.

Между тем из Копенгагена в уединенный замок графини не приходило известий. Вольдемар собрался и поехал в Копенгаген. Его ожидала весть о том, что дело расстроено. Он пришел в отчаяние: «Как? Почему?»

Дело было так.

Канцлер, по поручению короля, спросил послов, в каком положении у царя будет королевич Вольдемар? Какова будет ему честь? Какие именно города и села даст ему царь на содержание?

Послы на это ничего определенного не сказали за неимением наказа, но Проестев сделал неосторожность, прямо объявив, что королевич должен креститься в православную веру греческого закона.

На это последовал решительный отказ короля и послам дали понять, что они могут ехать, что ни о чем больше король с ними объясняться не будет.

Они получили отпуск, послали Вольдемару царский подарок, пять сороков соболей, и, грустные, собирались к отъезду, когда к ним явился граф Шлезвиг-Голштинский.

Он был задумчив и очень ласков. Через Фомина он объявил послам, что приехал благодарить их за царский подарок. Послы же, оказав королевичу все знаки почтения, с низкими поклонами просили его сесть, но он сказал:

— Когда вы, послы, сядете, так и я с вами сяду!

Послы на это с еще более низкими поклонами отвечали:

— Как ты государский сын, мы, по указу государя нашего, тебя почитаем. Тебе, по твоему достоянию, добро пожаловать сесть, и мы с тобою сядем.

Так говоря, оба посла поставили для королевича большое кресло, но он на него не сел, а взял сам первый попавшийся стул, на котором поместился. Он говорил:

— Король, мой отец, все рассказал мне о нашем деле. Мне очень грустно, что оно не может состояться, но в какой вере я родился, в такой хочу и умереть. Ничто не заставит меня переменить веру и креститься снова.

Послы думали было его уговорить, и уже дьяк Патрикеев принялся доказывать ему все преимущества православной веры, но королевич решительно сказал, поднимаясь с места и прощаясь:

— Много говорить я с вами не могу, мне это и не дозволено, да и не о чем теперь нам говорить. Во всем полагаюсь я на волю моего отца: как он решит, так и будет.

С этими словами королевич уехал.

Послы видели, что он недоволен и грустен, почти так же недоволен и грустен, как были они сами.

С тяжелым сердцем, в страхе ожидавшей их царской немилости, тронулись Проестев и Патрикеев в обратный путь из Копенгагена.

XIV

Страх послов был не напрасен. Когда они возвратились ни с чем, царь Михаил Федорович сильно разгневался — сам даже не захотел и говорить с ними, а в посольском приказе им были сказаны вины их многие.

Обвиняли их в том, что великое государское дело, для которого их посылали, они делали не по наказу.

Им говорили:

— Должны вы, послы, были радеть и промышлять всякими мерами, уговаривать и дарить кого надобно, а вы же такое наделали? Первый отказ услышали, да сейчас ж и уехали, не обославшись ^[123] с государем. С вами для государева дела послана была казна, соболи, слава Богу, давать было что, а вы соболей-то, видно, раздавали для своей чести, а не для государева дела. С ближними королевскими людьми говорили самыми короткими словами, что к делу не пристало, многих самых надобных дел не говорили и ближним королевским людям, во многих статьях, были безответны!...

Как ни оправдывались Проестев с Патрикеевым, как ни доказывали, что делать им было нечего, что они стояли не за свою, а за государеву честь и не могут быть в том повинны, что чести этой великой умалить не посмели, — на оправдания и доказательства их не обратили никакого внимания.

Что тут говорить — посланы были устроить дело, о котором царь денно и ночью помышляет, которое у него «загорелось», — дела такого не сделали, все только напортили, так какие уж оправдания!...

Велика была на послов царская опала, притихли они, притаились. Не видать их стало, будто никогда на Москве и не было окольного Степана Матвеевича Проестева да дьяка Ивана Патрикеева...

Выждал царь три месяца и снова отправил в Данию, но уже не своих, не московских людей, а датского же комиссара Петра Марселиса, и, посылая его, царь говорил ему такие слова ласковые:

— Верим мы тебе, Петр, в таком великом нашем деле, ибо твой, Петров, отец, Гаврила, и сам ты, Петр, прежде нам, великому государю, служили верно. Как был в Польше и Литве отец наш, то Гаврила Марселис о его государском освобождении радел и всякими мерами промышлял; да и другие ваши, Гаврилы и Петра, к нам, великому государю, многие верные службы были...

Марселис в ответ на столь милостивые речи низко кланялся и обещал государю и на сей раз послужить верою и правдою в его деле.

Затем Марселису в посольском приказе было внушено так:

— Объяви ты королю Христианусу, что прежние послы, Проестев и Патрикеев, говорили не по царскому наказу, а самовольно толковали о вере королевича и крещении. То говорили и делали они нерадением. Им велено было из Копенгагена отписать царскому величеству, если объявится какое-нибудь затруднение, но они ни о чем не писали и сами приехали, не сделав ничего. За это царское величество положил на них опалу. Великий государь станет королевского сына у себя держать в ближнем приятельстве и в государственной большой чести, как государственного сына и зятя. Ближние всяких чинов люди Российского государства будут его, королевича, почитать большой честью, и будет он одарен всем: города, села и денежная казна будет у него многая. Государь велел дать ему города большие: Суздаль и Ярославль с уездами и другие города и села, которые ему, королевичу, будут годны. В вере неволи не будет королевичу, а в православную христианскую

веру греческого закона крещение всем людям — дар Божий: кого Бог приведет, тот и примет, а воля Божья свыше человеческой мысли и дела. Которые ближние и дворовые люди будут при королевиче и захотят служить при его дворе — тем всем государская милость будет во всем по их достоинству, а неволи им ни в чем не будет...

Вот как теперь заговорили! Пошли на всякие хитрости, лишь бы страстно желаемое царское дело привести к благополучному окончанию.

Ближние бояре так рассуждали в думе царской:

— Заполучить бы нам только королевича, так мы его из рук не выпустим! Само собою все сделается. Чтобы он, пожив с нами да приглядевшись к нашим обычаям, обласканный царем, отказался сотворить столь благое дело — перейти в нашу святую православную веру, — может ли такое случиться!

Другие говорили:

— Вот и Проестев с Патрикеевым толкуют: королевич, вишь ты, сам сюда так и рвется, на все готов, отец только упирается, сговариваться с послами запретил. Дело ясное: не в королевиче тут сила — в одном короле!

— А что король может поделывать, коли королевич ему из Москвы отпишет: «Привел меня Господь Бог совершить благое дело, ради души спасения присоединился я к святой православной вере греческого закона»?

— Вот это верно, хоть и осердится король, а все же делать ему будет нечего! Не войной же ему идти на нас! Да и на кого идти? Кто тут причина? Королевич не малолеток...

— А коли проклянет?

— Ну, где же там! Сына-то ведь, чай, тоже пожалеет. Да ежели и проклянет, так проклятие еретика не страшно для православного христианина!... Нет, клясть не станет... побурлит, посердится и замолчит... А теперь к чему поднимать это, теперь только обещать все надо. Не сумели Проестев с Патрикеевым оборудовать это дело, промахнулись на свою голову, надо думать, Марселис окажется поумнее.

— Надо думать, немец хитрый, бывалый!

И поехал Марселис в Копенгаген, твердо решившись радеть и промышлять всякими мерами.

Ему пришлось исправлять все промахи своих предшественников и он сразу натолкнулся на всякие препятствия.

Канцлер хотя и принял его, но весьма сухо, и когда он пустил в ход все свое красноречие, го увидел, что задача нелегка: на все его речи канцлер только головой качал да помалкивал, наконец сказал:

— Как это королевичу в Москву ехать? Знаем мы теперь людей московских! Люди они дикие. Что же ему придется попасть в рабство к этим диким людям? Обещают что угодно, да ничего не исполнят. Гораздо лучше оставаться ему в Дании — здесь без всякой беды можно ему прожить и отцовским жалованием. И это не мое мнение только, прибавил канцлер, — так все у нас думают.

Но он сильно преувеличивал — так думали только те, кто имел расчет желать женитьбы графа Шлезвиг-Голштинского на дочери чешского короля.

Марселис ответил канцлеру:

— Если бы в Москве люди были дикие, то я бы столько лет гам не прожил. Зачем клеветать на московитов не зная их жизни! Поистине скажу, хорошо, если бы в Дании был такой же порядок, как в Москве. Никто не может доказать, чтобы царь не исполнил того, что обещает. Слово свое он держит крепко не только христианским государям, но и магометанам.

Канцлер ничего на это не мог возразить, а подумав немного, он сказал:

— В Москве многие бояре не хотят, чтобы царь выдавал дочерей своих за иностранных принцев, и это понятно: бояре желают сами породниться с царской семьей.

— Московский государь-самодержец, — ответил Марселис, — и делает все по своей воле. В теперешнем деле нет и не может быть никакого разногласия — все приближенные царские желают, не меньше самого царя, этого брака царевны с королевичем Вольдемаром.

Против этого канцлеру возразить опять было нечего, но у него наготове был новый и меткий выстрел.

— Сначала королевичу, конечно, в Москве будет хорошо, — сказал он. — Ему, наверное, будут оказывать большую честь, для того чтобы

отвести его от лютеранской веры. Если же он на это не согласится, то перестанут почитать его.

Хотя Марселису прямо и не говорили ни царь, ни ближние бояре о том, как они смотрят на это дело, но он, человек проницательный и хитрый, отлично понимал, на что в Москве метят, поэтому выстрел канцлера попал прямо в цель и при неожиданности заставил Марселиса смутиться. Однако он тотчас же справился с этим смущением и, по-видимому, совершенно спокойно спросил:

— Какое же основание полагать это? Кто так хорошо знает царя и его приближенных, чтобы заранее решать, как они будут действовать?

Канцлер внимательно глядел на своего собеседника.

— Я их не знаю, — сказал он, — да и говорю не только о царе и его приближенных, а обо всем московском народе. Может случиться, что не царь и не приближенные, а именно народ, все московиты, будучи фанатиками, начнут оскорблять королевича за его преданность лютеранской вере. Я говорил с некоторыми шведами и голландцами, которые жилали в Москве и хорошо знают московитов, — это их мнение, что так непременно будет.

— Шведы и голландцы нарочно так говорят! — воскликнул Марселис. — Говорят так, желая расстроить тесный союз Дании с Москвою. На слова их нечего обращать внимания. Я много лет прожил в московском государстве и знаю московитов получше этих шведов и голландцев, и я утверждаю, что ничего подобного нельзя ожидать. Королевич Вольдемар в бытность свою в Москве всем очень понравился все его полюбили и желают его возвращения. Канцлер хитро улыбнулся.

— Вы хороший посол, господин Марселис, — сказал он, — на все умеете ответ дать, и вас, видно, не переспоришь, но дело не во мне — я тут сторона, я только исполнитель приказаний моего государя. Поговорите с графом Шлезвиг-Голштинским, быть может, несмотря на все достоинства московитов и на то, что его так полюбили, он сам не захочет ехать.

Марселис откланялся канцлеру и отправился к Вольдемару в полной уверенности, что тут его красноречие будет гораздо более к месту.

Перед своим отъездом из Москвы он обстоятельно говорил с Проестевым и Патрикеевым, и они убедили его в том, что королевич

только и мечтает, как бы скорей переселиться в Москву и вступить в брак с царевной.

Но и тут Марселиса ожидало разочарование — Вольдемар был уже не в том настроении, в каком находился перед отъездом из Копенгагена московских послов.

За эти последние месяцы он часто ездил к матери и поведал ей о своем деле. Графиня пришла в ужас. При мысли о разлуке с сыном в ней вспыхнула вся ее прежняя к нему нежность, и она пустила в ход все убеждения, всю силу, на какую способна мать, хотящая отвратить гибель от своего ребенка. Ее доводы, убеждения, мольбы и слезы в конце концов подействовали на Вольдемара.

Что же касается фантастической любви его к неведомой царевне, она не прошла, она время от времени просыпалась снова, но только время от времени и ненадолго.

Юный граф Шлезвиг-Голштинский жил весело, часто находился в обществе красивых женщин, и живая, осязаемая красота сильно вредила красоте призрачной, неосязаемой, созданной юным и пылким воображением.

Как бы то ни было, Марселис нашел королевича весьма сдержанным, и наконец после долгого разговора тот прямо сказал ему:

— Право, напрасно вы приехали — это дело так долго тянется, что уже наконец всем у нас надоело, да и мне тоже. Не знаю, отчего вам так нравится Москва и вы там живете, — я не нашел в ней ничего интересного. У меня от моей поездки не осталось никаких приятных воспоминаний, а грубости и дикости видел я там много.

— Как же мне прикажете понимать слова ваши? — спросил смущенный Марселис. — Как прямой отказ?

— Нет, — ответил Вольдемар. — Я бы отказался, если бы это только от меня зависело, но я должен и хочу поступить так, как мне прикажет король, мой отец. Если он прикажет жениться на царевне, я его не ослушаюсь.

XVI

Марселис после разговора с Вольдемаром стал объезжать и обходить всех влиятельных людей. Человек бывалый и к обхождению привычный, хорошо знавший людские слабости, он действовал весьма

успешно. Где надо польстить — польстит, где надо пообещать — пообещает где надо подарить — подарит. Партия лиц, желавших брачного союза между Вольдемаром и дочерью чешского короля, совсем стусевалась, сторонников женитьбы королевича на московской царевне все прибывало.

Королевич под влиянием разговоров со своими ближними людьми снова вернулся к прежним мыслям, и наконец Марселису было объявлено, что он может представиться его величеству и иметь с ним окончательный разговор. Король согласен на отъезд сына и на его женитьбу, только остается договориться об условиях.

Марселису дали понять, что теперь все дело в уступках желаниям короля, что, при малейшем противоречии королевской воле, дело разойдется, и уже на сей раз бесповоротно. Но Марселис и сам отлично понимал, что это так.

Король принял его милостиво, но прямо сказал, что прежде всего необходимо получить из Москвы письменное согласие на все его условия. Условия же были таковы:

«1) В вере королевичу неволи не будет, и церковь ему будет поставлена по вероисповеданию.

2) Королевич от всех людей высокого и низкого, духовного и мирского чина должен быть почитаем царским зятем, чтобы ему над собою никакого начальства не иметь, кроме царя и царевича, — их он будет почитать своими государями а больше никого.

3) Королевичу и его прямым наследникам обещанные города иметь в вечном и потомственном владении. Если ж Вольдемар умрет без наследников, то царевна Ирина наследует эти города в пожизненное владение. Если же царь, кроме городов и земель, изволит дать денежное приданое, то это — как сказано в русском переводе условий — «честнее и славнее будет». Кроме городов королевичу должны давать на содержание его двора, так как доходы с городов неизвестны. Королевич будет одевать свой двор как того сам желает; вольно ему слуг принимать из датской земли и отпускать назад».

Марселис, не теряя часу, отправился с этими условиями в Москву и по приезде упрасивал всеми мерами, чтобы ответы на эти условия были удовлетворительные и чтобы с ними не мешкали, а то все дело разрушится.

Мешкать в Москве на сей раз не стали, собрали думу, сразу написали ответы и вручили их Марселису. Царь отпустил его с еще большей лаской, чем прежде, и просил, не теряя часу, ехать в путь обратный и торопить в Копенгагене дело.

Марселис отвечал царю, что себя не пожалеет, лишь бы сослужить службу его царскому величеству. Действительно, он не стал отдыхать в Москве, явился в Копенгаген раньше, чем его там ожидали, и по виду его можно было заключить, что старания его увенчались успехом.

На первый вопрос отвечали, что королевичу и его двору в вере и законе неволи никакой не будет, а о том, чтобы дать место для кирки, договор будет с королевскими послами, которые приедут с графом Вольдемаром в Москву.

На второй вопрос было объявлено безусловное согласие. На третий — тоже с прибавкою: «Если после Вольдемара останутся наследники, то имения графа Вольдемара в датской земле должны быть за Ириною и за ее наследниками... Также мы, великий государь, приданое: всякой утвари и деньгами, всего на триста тысяч рублей, — дать изволили».

По четвертому вопросу отвечали: «С назначенных городов собирается доходу много, а если окажется мало на дворовое содержание, то мы прибавим городов и сел».

Наконец, на пятый пункт последовало согласие и определено, чтобы королевич взял с собою в Москву триста человек.

Все эти ответные статьи были закреплены государскою печатью.

Король, всесторонне разобрав их, решился дать свое согласие.

Марселис кинулся к королевичу Вольдемару. Тот его встретил мрачно и, несмотря на свою всегдашнюю обходительность и ласковость, на сей раз говорил с ним в видимом раздражении. На поздравление Марселиса и его низкие поклоны он сказал:

— Не с чем поздравлять меня — по своей воле не поехал бы. Я согласился ехать только потому, что боюсь рассердить короля, отца моего. Боюсь я, что вы меня обманете и что мне в Москве худо будет. Можешь ли ты мне поручиться, Марселис, что все будет исполнено по договору, что все будет честно сделано?

Марселис стал уверять и клясться, что королевичу не о чем беспокоиться, нечего тревожиться, что его ожидает в Москве самая

радостная жизнь.

— Если вам будет дурно, — говорил он. — то и мне будет дурно. Я отвечаю своею головою.

— А какая мне польза в твоей голове, когда мне дурно будет! — воскликнул королевич. — Видно, уж так Богу угодно, — прибавил он, — если король и все его приближенные так решили. Много я на своем веку постранствовал и так воспитан что умею с людьми жить. Одна моя надежда на доброту царя...

— И в этой надежде... ваша милость... не обманется. — поспешил заявить Марселис— Царь Михаил Федорович — государь большой доброты и кротости, и если увидит ваше к себе расположение, то ничего для вас не пожалует. Подумайте ведь вы будете первым человеком в обширном и могучем государстве!

Итак все было решено. Но надо отдать справедливость королю Христианусу — он вовсе не приневоливал сына, он в последнюю минуту говорил ему:

— Я решился на разлуку с гобою, Вольдемар, только в надежде на твое счастье, если же ты хочешь остаться — оставайся.

И Вольдемар остался бы, если б как раз в эти дни не поссорился с одной хорошенькой женщиной, с которой был очень дружен в последнее время. Но он поссорился с нею и захотел доказать ей, что вовсе не считает себя несчастным от этой ссоры, что легко может обойтись без порванной дружбы и даже совсем пренебрегает ею.

Вольдемар пренебрег даже слезами и воплями своей матери, разлукой со всей семьей.

Он недаром говорил Марселису, что много постранствовал и привык встречаться с новыми людьми и обращаться с ними. В нем была врожденная жилка искателя приключений, его опять с неудержимой силой влекла таинственная даль, в нем начинали роиться честолюбивые планы, и снова мелькал перед ним образ неведомой царевны из сонного царства, которую он должен пробудить к жизни, к счастью своим поцелуем.

Он быстро набирал свой штат и с двумя королевскими послами, Олафом Пассбиргом и Стрено Билленом, отплыл из Копенгагена в середине осени.

Королевич направился в Данциг, чтобы через польские, а не шведские владения ехать к Москве.

На пути он на некоторое время остановился в Вильне, где был встречен с большими почестями и ласкою королем Владиславом.

В его честь дано было несколько блестящих праздников. На этих праздниках он совсем очаровал поляков, а главное — поляк, своей красотой, ловкими манерами и знанием французского, а в особенности итальянского языка, бывшего тогда в большой моде.

XVII

После скучного пути, во время которого единственным развлечением для Вольдемара были беседы с Марселисом, начавшим знакомить его с русским языком, пребывание в Вильне показалось юноше раем. Блестящий двор Владислава, ряд празднеств, лестный прием, умильные взгляды польских красавиц — все это вскружило голову самолюбивому и честолюбивому юноше.

Ему не хотелось выезжать из Вильны, но все же благоразумие взяло верх, он не замешкался с отъездом и выехал в самом лучшем настроении духа, обещая королю и придворным снова навестить их при первой возможности.

С этого дня все изменилось вокруг Вольдемара. Все неприятные впечатления его первого приезда в Москву исчезли: все ему стало нравиться, даже наступившая холодная, снежная зима.

Ему доставляло большое удовольствие мчаться по безбрежной белой, ослепительно сверкавшей на солнце равнине, закутавшись в богатую соболью шубу, обернув себе ноги выделанной, подбитой алым бархатом медвежьей шкурой.

Покойно развалясь в просторном, удобном возке, он внимательно слушал бесконечные рассказы Марселиса. Рассказы эти не могли не быть интересными: хитроумный посол провел такую разнообразную жизнь, входил в сношения с такими различными людьми, столько навидался в различных странах. Главное, Марселис сразу попал в точку, снова заинтересовал Вольдемара до последней степени царевной Ириной.

Он признался ему, что перед своим отъездом в Данию видел царевну.

— Я не сразу взял на себя это трудное и щекотливое поручение, — говорил Марселис, — мог ли я за него взяться без

уверенности, что не наживу себе такого врага, как ваша милость? Вот вы считаете меня, и не без оснований, конечно, одним из главных виновников вашего теперешнего переселения в Москву, в каком же бы я был положении, если б невеста вам не понравилась? Ведь вы стали бы меня во всем обвинять, вы меня возненавидели бы!

— Почему же ты так уверен, что она должна мне понравиться? — с живостью и сверкнув глазами спросил Вольдемар.

— Потому, что юная красота, свежая, как роза, и чистая, как лилия, не может не пленить молодого человека с таким изящным вкусом, как ваша милость! — важно ответил Марселис.

Вольдемар засмеялся.

— Вот как! — воскликнул он. — Свежая, как роза, и чистая, как лилия. Господин Марселис, я не знал, что ты поэт!

— Я вовсе не поэт, но бывает такая красота, которая превращает в поэта и самого хладнокровного человека.

И при этом зоркие глаза Марселиса пристально следили за впечатлением, произведенным его словами на юношу.

Вольдемар почувствовал вдруг сердечное замирание. Не только образ копенгагенской приятельницы, с которой он поссорился перед отъездом, но и недавно пленявшие его образы польских красавиц вылетели из его памяти. Снова он оказался под обаянием грезы.

— Как же ты мог ее увидеть? — спрашивал он. — Я в течение более чем двух месяцев делал всевозможные попытки, чтобы добиться этого, — и не мог.

— Очень просто, — ответил Марселис с хитрой миной и пожимая плечами, — я подкупил одну из теремных постельниц, которая тайком провела меня, поместила в удобном уголке, мимо которого должна была пройти царевна. Сама же постельница — прехитрая особа — остановила царевну в двух шагах от меня, заговорив с нею, вот я и успел не только разглядеть красавицу, но и услышать ее голос. Признаюсь, принц, на своем веку в разных странах видал я немало девиц прелестных, но такой еще не приводилось видеть!... Одним словом, вас будет пара, — прибавил он, смотря на красивое лицо Вольдемара и не боясь, что слова его будут приняты за грубую лесть.

Вольдемар даже и не слышал этих слов. Перед ним быстро, одна за другою, создавались и исчезали картины будущего.

«Дикие нравы — прятать женщин, — думал он. — Я все это изменю. Я не стану прятать царевну, пусть все любуются ее красотой...»

Ему представлялась его будущая жизнь в виде нескончаемого праздника любви и всяких удовольствий.

Да, конечно, не станет он запираить ее в келью, эту московскую розу, и не засядет на всю жизнь в Москве с нею. Он повезет ее в Вену, повезет в Копенгаген, пусть все узнают, какое чудо красоты выросло и созрело для него на диком Севере!...

В этих мечтаниях, в беседах с Марселисом короталось время. Зима становилась все суровее и суровее. Началась вторая половина декабря.

Вольдемар переехал русскую границу, и под Псковом к нему выехали навстречу боярин князь Юрий Сицкий и дьяк Шипулин.

При въезде в город путешественника ожидала еще более торжественная встреча. Псковский воевода, гости и посадские лучшие люди поднесли ему дары: хлеб-соль, два сорока соболей и сто золотых. Вольдемар стал было отказываться от даров, но дьяк Шипулин объяснил ему, что его отказ очень оскорбит псковичей и чтобы он этого не делал.

Князь Сицкий, по царскому указу, «королевичу Вольдемару Христианусовичу всякое бережение и честь держал великую; здоровье его от русских и всяких людей остерегал накрепко».

Одна только беда и случилась до Новгорода. Во время остановки в Опочке, несмотря на всю честь и все бережение, неведомо какие люди испортили возок королевича. Как влез он в него да поехал — и видит: у дворец вырезан весь бархат.

В Новгороде была королевичу такая же торжественная встреча, как и в Пскове. А при въезде его в Москву, 21 января 1644 года, московские, голландские и английские гости и торговые люди поднесли ему хлеб и дары и целовали ему руку...

И вот королевич у цели. Он сидит на пиру государевом. Кругом него пьют и шумят люди, с ним приехавшие, и московские бояре. У всех развязались языки, все веселы пьяным весельем. Датчане с москвитами пожимают друг другу руки, говорят друг другу всякие любезности, нисколько не смущаясь тем, что не понимают друг

друга... Да к чему тут и понимать слова, когда взгляды и жесты тех так выразительны!

Веселым надо быть и королевичу, а он вдруг взял да и загрустил о покинутой родине, об отце с матерью, о братьях и сестрах, о приятелях и приятельницах, обо всем что отдалено теперь от него глубокими снегами да застывшим морем.

Однако он был не из тех людей, которые надолго отдаются грусти. Тряхнул он кудрями, осушил залпом чару вина и принял участие в общем веселье.

XVIII

С делом не мешкали, а потому в скором времени начались беседы датских послов Олафа Пассбирга и Стрено Биллена с ближними царскими боярами, назначенными для этого дела: князем Одоевским и Сицким, окольниковым Стрешневым и дьяками Львовым и Волошениновым.

На этот раз датчане должны были убедиться, что в Москве уже не желают делать им никаких придинок и склонны соглашаться на все их требования. Даже к самому страшному вопросу о том, чтобы в королевских грамотах имя короля Христиана писалось выше царского имени, отнеслись иначе, чем прежде.

На следующий день после первого «ответа» датских послов с боярами, а именно 4 февраля, царь Михаил Федорович посетил королевича и выразил большое удовольствие заметив, что Вольдемар уже кое-что понимает из русской речи и даже хоть и с трудом, но все же выговаривает много русских слов.

Вольдемар жаловался царю на шведов, которые, нарушив договор, вторглись в Голштинию, и говорил, что царю надо беречься шведов.

— Я напоминаю об этом великому государю, — говорил Вольдемар, — желая ему всякого добра, так как я приехал быть с ним в родственном союзе и готов помогать ему во всяком деле.

Царь ласково кивнул ему головою и любовно ему улыбнулся, услышав слова эти.

— Это так, — сказал он, — что правды в шведах мало и верить им нечего, только до сих пор мне от них задиру не бывало, и у меня со шведским королем заключен вечный мир.

Слова эти Вольдемар перевел себе так: «Родство родством, а мешаться тебе в дела еще рано».

Юноша понял, что действительно поторопился, но он не стал смущаться и бойко возразил:

— Какое у вас, великий государь, со шведами дружество — разве они с московским государством как друзья поступили? Царь Василий призвал их на помощь, а они оказались злыми врагами^[124].

— Верно! — произнес царь, и ему понравилось, что не только настоящие, но и прошедшие обстоятельства, касающиеся московского государства, ведомы королевичу.

«Из него прок будет, малый с головою!» — подумал он.

Вольдемар хотел было просить царя дозволить ему представиться государыне царице и — что само собою подразумевалось — царевне, но он не решился на это, боясь как-нибудь повредить себе во мнении царском своей торопливостью.

Он стал ждать. Прошло четыре дня, и вот, вместо приглашения к царю, случилось совсем иное.

К Вольдемару от имени патриарха Иосифа явился бывший в Швеции резидент Дмитрий Францбеков и на вопрос Вольдемара, с чем он пожаловал, повел такую речь:

— Великий святитель со всем священным собором сильно обрадовался, что вас, великого государского сына, Бог привел к великому государю нашему для сочетания законным браком с царевною Ириною Михайловной, и вам бы, государскому сыну, с великим государем нашим, с царицею и их благородными детьми и нами, богомольцами своими, верою соединиться.

Королевич весьма смутился и сразу пришел в негодование, но он сдержал себя и спокойно ответил:

— Принять мне веру греческого закона никак нельзя, и ничего я не буду делать вопреки договору, заключенному Петром Марселисом. Если Марселис обещал на словах царю, что я переменю веру, а королю, моему отцу, и мне того не сказал, то он солгал, обманул и за это от короля и от меня будет наказан. Если бы я знал, что опять будет речь о вере, то я из Дании сюда не приехал бы, и если теперь его царское величество не изволит дело делать по статьям договора, то пусть прикажет меня отпустить назад к королю отцу моему, с честью.

Францбеков не смутился ничуть.

— Марселису никто не приказывал и не поручал говорить и решать дело о вере, — сказал он. — Теперь вашей милости назад в свою землю ехать невозможно. Оскорбляться вам нечего, а следует обсудить благоразумно. Да не угодно ли вам поговорить о вере с учеными духовными людьми московскими?

Королевич вспыхнул.

— Я сам учен не меньше московских попов! — почти закричал он. — Библию я прочел пять раз и всю ее помню, учить меня нечего. А впрочем, — прибавил он, стихая, — если царю и патриарху угодно поговорить со мною, то я говорить и слушать готов.

С этим ответом Францбеков и ушел от королевича, оставив его совсем встревоженным.

Послы датские, бывшие при этом объяснении, встревожились не меньше королевича, особенно Пассбирг.

Пожилой, унылого и сухого вида человек, недоверчивый по своему характеру и даже мнительный, он прямо высказал:

— Я говорил королю, что нельзя доверять никаким обещаниям московитов. Я предвидел, что дикари эти заманят нас и потом откажутся от всех условий.

— Нет, каков Марселис! — в негодовании воскликнул Вольдемар. — Достаньте мне его скорей! Пошлите за ним, чтобы явился немедленно! Ах, старая лисица! Посмотрю я, что он мне теперь ответит?

Марселис не заставил себя ждать. Вольдемар так на него и накинулся, называя его прямо предателем.

— А еще головой мне ручался, что никакого худа мне здесь не будет, никакого насилия!

Марселис хотя и смутился, но все же пытался успокоить королевича.

— Ведь вот же этот швед прямо объясняет, что тебе не было никакого полномочия решать вопрос о моей вере! — в негодовании говорил королевич.

— Он лжет, — уверял Марселис, — и вы не придавайте его словам никакого значения, ваша милость. Как же бы я осмелился брать на себя такое дело, да и разве забыли вы, что ответные условия я привез за царской печатью.

Вольдемар должен был замолчать.

— Да, конечно, — сказал он, — но в таком случае и тебя обманули — мне от этого не легче.

— Нет, легче, ваша милость, потому что вы всегда имеете возможность указывать на этот документ, скрепленный царской печатью. Дело вовсе не так страшно, как вам представляется, — поговорят и перестанут! Поймите же, патриарх хотя и знает, что вы не перемените религии и что царь согласен на это, все же считает своей обязанностью попытаться уговорить вас. А вы будьте благоразумны и потолкуйте с ним и с царем без всякого раздражения, все кончится к общему удовольствию... патриарх и царь успокоятся. Они сделают свое дело, а вы — свое.

В конце концов спокойный тон Марселиса и его доводы успокоили и Вольдемара. Только Пассбирг все качал головой и ворчал:

— Марселис играет двойную игру, ему нельзя верить. Если уж так начинают сразу, добра ожидать нечего!

— Однако не след и преувеличивать, — возразил Вольдемар — Все, что говорил Марселис, мне кажется основательным, да и на самый худой конец, что же, возьмем и уедем — ведь я не перемену религии.

— А если заставят силой? — мрачно сказал Пассбирг. — А если мы окажемся пленниками у этих дикарей?

Вольдемар засмеялся.

— Мой добрый Пассбирг, ты плохо спал эту ночь! Да к тому же московские кушанья слишком жирны для твоего желудка, вот тебе и представляется все в мрачном свете. Ну, где же это видано, чтобы силой заставляли переменить религию?

— Здесь все возможно! — упрямо и уныло повторял Пассбирг.

XIX

Вольдемар, совершенно полагаясь на объяснения Марселиса, со спокойным духом отправился к царю, где был принят почетно и проведен в царскую комнату.

Царь встретил королевича еще более ласково, чем в прежний раз, крепко пожал ему руку и троекратно с ним поцеловался.

Он посадил его рядом с собою и объявил, что хочет по душе потолковать с ним о весьма важном деле.

Королевич ответил, что рад слушать все, что ему скажет государь.

— Послы королевские нам говорили, — начал Михаил Федорович, — что король велел тебе быть в моей государевой воле и послушании и делать то, что мне угодно... Ну и вот, мне угодно, чтобы ты принял православную веру.

Сказал это царь и глубоко вздохнул, а сам глядел прямо в глаза королевичу.

Вольдемар не ожидал ничего подобного, но недаром он объявил Марселису, что много навидался на своем юном веку и привык к обращению с разными людьми. Помолчав несколько мгновений, он спокойно ответил:

— Государь, я рад быть в твоей воле и послушании, готов пролить за тебя свою кровь, но веры своей переменить не могу, у нас, в Дании, и в других государствах европейских ведется; что муж исповедует веру свою, а жена другую, и если вашему величеству не угодно исполнить наш договор, то прошу отпустить меня назад, к отцу моему.

Царь еще раз вздохнул, но отвечал решительно:

— Любя тебя, королевич, для ближнего присвоения, я воздал тебе достойную великую честь, какой прежде никогда не бывало; так тебе надобно нашу приятную любовь знать, что мне угодно исполнять, со мною верою соединиться, и за такое превеликое дело будет над тобою милость Божья, моя государская приятная любовь и от всех людей честь! Не соединясь со мною верою, в присвоении быть и законным браком с моею дочерью сочетаться тебе нельзя, потому что у нас муж с женою в разной вере быть не могут... Петр Марселис, — продолжал царь, — в московском государстве живет долго и знает подлинно, что не только в наших государских чинах, но и в простых людях того не повелось. Отпустить же тебя назад непригоже и нечестно: во всех окрестных государствах будет стыдно, что ты от нас уехал, не совершив доброго дела.

Вольдемар молчал и глядел во все глаза на царя, не веря ушам своим. А царь с еще большей ласкою в голосе и в то же время таким тоном, будто Вольдемар сознательно и кровно обижал его, говорил:

— Ты бы подумал и мое прошение исполнил... Да и почему ты не хочешь быть в православной вере греческого закона? Знаешь ли, что Господь наш Иисус Христос всем православным христианам собою образ спасения показал и погрузился в три погружения?

— И у нас, в, лютеранской вере, погружение было, — ответил Вольдемар, — а перестали погружать только лет с тридцать. Я погружения вовсе не хую, только теперь мне креститься во второй раз никак нельзя, потому что боюсь клятвы от отца своего. Да и при царе Иване Васильевиче было, что его племянница вышла за короля Магнуса.

— Царь Иван Васильевич сделал это, не жалуя и не любя племянницы своей, — сказал Михаил Федорович, — а я хочу быть с тобою в одной вере, любя тебя как родного сына.

Защемило сердце у графа Шлезвиг-Голштинского. Сразу увидел он, что старый Пассбург прав. Перед ним отверзлась какая-то бездна. Он чувствовал и понимал, что это не простой разговор, что никакими доводами не переубедить ему царя и что здесь, в Москве, свои собственные взгляды на то, что возможно и что невозможно. Да, вот теперь царь говорит ласково, объясняет все своей особой отеческой любовью к жениху дочери, но пройдет несколько дней, ласковая речь превратится в гневный приказ, а потом... что будет потом?

Королевич чувствовал, что у него начинает кружиться голова. Надо обдумать положение, надо посоветоваться с послами.

Вольдемар встал, поклонился царю и попросил его назначить другое время, чтобы поговорить о вере.

Среди датчан началось волнение. Все посольские люди хоть и не знали ничего определенного, но хорошо догадывались, что творится что-то неожиданное и плохое.

Вольдемар долго совещался со своими ближними людьми, и наконец была написана и послана царю такая грамота:

«1) Разве вашему царскому величеству не известно, что вы за два года прислали к отцу моему великих послов о сватовстве, и когда они объявили, что я должен переменить веру, то им прямо отказано?

2) Ваше царское величество на том стоите, что вы прислали к отцу моему Петра Марселеса, который, по вашему наказу, объявил, что мне в вере никакой неволи и помешки не будет.

3) В грамоте вашего царского величества, за вашею печатью присланной, не первая ли статья говорит о вольности в вере?

Мы никак не можем верить, чтобы ваше царское величество, государь повсюду славный и известный, решились, по совету злых людей, что-нибудь сделать вопреки вашему обещанию и договору, что

приведет не только нашего отца, но и всех государей в великое размышление, и вашему величеству недобрая заочная речь от того будет».

Ничего более сильного, ясного и решительного нельзя было придумать.

Отправив к царю эту грамоту, Вольдемар начал надеяться, что царь наконец одумается и поймет всю невозможность дальнейших пререканий.

С нетерпением Вольдемар и послы ожидали царского ответа. Ответ этот не замедлил и был таков:

«И теперь мы вам тоже объявляем, что вам в вере никакой неволи нет, а говорим и просим, чтобы вам с нами быть в одной христианской православной вере, в разных же верах вашему законному браку с нашей дочерью быть никак нельзя, и в нашем ответном письме, которое послано с Петром Марселисом к отцу вашему, нигде не написано такое, чтобы нам вас к соединению в вере не призывать. Мы, великий государь, хотим начатое дело так делать, как угодно Богу и нашему царскому величеству, и вас к тому всякими мерами приводим и молим с прошением, чтобы вам поискать своего душевного спасения и телесного здравия, с нами верою соединиться, а его королевскому величеству, другим христианским государям и вам мимо дела и правды размышлять непригоже; про наше царское величество недобрых заочных речей быть не в чем, а ссоре бы вам ничьей не верить».

Прочел этот ответ Вольдемар с послами, и у всех у них руки опустились.

Пассбирг торжествовал.

— Ведь я говорил, что здесь все возможно! — воскликнул он. — Однако я не ожидал такого ответа. Должно признаться, что московиты по-своему тонкие дипломаты.

Вольдемар перечитывал грамоту, и у него дрожали руки от раздражения.

— Да, действительно, — засмеялся он злобным смехом, — в ответном документе, за царскою печатью, нигде не написано, чтобы мне венчаться, оставаясь в моей вере. Меня молят с прошением — вот так мольба! Однако что же мне отвечать?

Приступили к составлению грамоты.

«Мы ясно выразумели из вашего ответа, — писал Вольдемар, — что ваше царское величество не по ясным словам, как у великих христианских государей во всей Европе ведется, идете, но единственно по своему толкованию и мысли обо всем это дело становите. Никогда еще не бывало такого договора, в котором бы его королевского величества, отца нашего, всю основную мысль превратили и явные слова в иную мысль, по своему изволению, толковать и изложить хотели, как теперь в этой стране делается...»

Далее королевич убедительно просил, так как никакое соглашение невозможно, отпустить его в Данию.

— Что же теперь будет? Что могут они нам придумать и отчего царь не дает ответа? — спрашивал на другой день Вольдемар у вошедшего к нему Пассбирга.

— Ответ есть, — многозначительно и мрачно сказал посол.

— Где же он? Дайте мне его скорее!

— Он там, у входа... живой ответ, — усиленная стража, которая меня не выпустила, когда я хотел выйти из дома.

Королевич не поверил, кинулся к выходу но там должен был убедиться, что он пленник.

XX

Морозная, снежная зима неожиданно сменилась дружной весной. Потекли, сверкая на солнце, шумные ручьи по московским улицам и переулкам. На иных перекрестках нельзя было ни пройти, ни проехать — хоть лодки спускать да переправлять народ, спешащий по своим делам и останавливаемый шумными весенними потоками. По иным местам, под московскими пригорками, даже много бед вода наделала, но люди московские и ко всем этим бедам отнеслись снисходительно — уж больно надоела зимняя стужа.

Таких морозов, какие были в ту зиму, старожилы не могли запомнить: вороны и голуби замерзали на лету и так и падали на головы прохожих.

В Замоскворечье появился юродивый, никому не ведомый до того времени. Юродивый тот, детина огромного роста, в волчьей шкуре шерстью вверх, с нечесаными, как войлок, торчавшими волосами и по какому-то чуду незамерзавшими босыми ногами, бегал по улицам и

кричал, размахивая руками, что чаша гнева Божьего опрокинулась на землю, что за грехи покарает Господь людей и все человечество вымрет от стужи, что не будет на земле больше ни весны, ни лета, а сплошная зима. Солнце станет показываться все на более короткое время, наконец закатится да и не взойдет больше — и зачленеет род людской среди безрассветного мрака.

Народ внимал словам юродивого и проникался страхом и трепетом.

В конце января и в начале февраля, когда морозы держались непрерывно, на многих стала нападать паника: о женщинах уже и говорить нечего, а и мужчины в конце концов убеждались, что юродивый возвещал правду, что впереди зима бесконечная и смерть.

Мороз продержался до марта и начал ослабевать. Юродивый продолжал бегать по улицам и кричал о том, что вот теперь поотпустит маленько, а затем такая стужа начнется, что дышать нечем будет.

Однако в половине марта сразу началась оттепель, а первого апреля от глубокого снега не осталось и помину. Теплое солнце, поднимаясь все выше и выше, грело и сушило московскую грязь.

Народ успокоился, бранил на чем свет стоит перепугавшего всю Москву юродивого, и плохо бы ему пришлось, если бы он показался на улице. Но он вовремя скрылся, пропал без вести, будто его никогда и не было.

Светит весеннее солнце, пробивается в узкие разноцветные окошки царицына терема, воздух весны живительной струей пробирается в каждую щелку. Кипит хлопотливая жизнь царицына муравейника. По низеньким душным покойчикам, по лесенкам, переходам и чуланчикам идет с утра до вечера всякая работа, звучат и громкие и тихие речи теремных жилиц, вечные неизбежные пересуды. Ссоры и мир, дружба и ненависть чередуются друг с другом ежедневно.

То и дело проносятся разными путями со всех концов Москвы всякие вести и слухи, но пуще всего занят терем басурманом королевичем — женихом царевны Ирины.

Теперь это дело не тайное, о нем знают все, только по наказу государыни не смеют громко говорить об этом деле, пуще же всего молчат о нем перед царевной. И она молчит, ни у кого ни о чем не спрашивает. По-видимому, ведет она свою обычную жизнь и ни в чем

вокруг нее нет перемены, но в ней самой перемена большая. Хоть и молчит она, а знает все, что касается гостей приезжих.

Маша улучшает каждый день удобное время и доподлинно докладывает ей как есть обо всем. Маша же знает гораздо больше, чем княгиня Хованская, чем сама даже царица.

Быстроногая, легкая и чуткая девочка скользит, как тень, по всем закоулкам терема, все она видит, все слышит, не ускользает от нее ни одно слово: за два покоя расслышит она самый тихий, боязливый шепот — и только узнает что-нибудь новенькое, тотчас же к царевне и передаст ей в ушко новинку.

Мало того, Маша ухитрилась, не раз и не два, выбираться из терема. Видела она немцев приезжих, видела она и самого королевича.

Вся трепещущая и радостная примчалась она к своей царевне и рассказала ей быстрым, восторженным шепотом о том, что королевич красоты неописанной. Царевна краснела как маков цвет и жадно слушала, спрашивала-переспрашивала Машу, так спрашивала, что под конец той уж и лгать приходилось. Кой-чего она и недоглядела в королевиче. да царевна знать желает — жаль ей не ответить, жаль не успокоить — вот солгать и приходится.

Сначала, в первое время по приезде королевича, в тереме все были как на угольях: все были уверены, что со свадьбой мешкать не станут я уже заранее готовились ко всякому веселью.

Но вот прошло целых три месяца. Королевич живет в Китай-городе со своими немцами, а о свадьбе нет и помину. Царица весь день вздыхает, вздыхает и княгиня Хованская, а царь батюшка заглянет в терем — так и тот вздыхать начнет.

Вот тебе и раз! Ждали веселья всякого, а тут тоска одна, горе — с чего бы это?

Скоро узнали все, а Маша раньше всех, что королевич упрямится от своей басурманской веры отстать не хочет, не желает принять святое крещение.

Весть эта как громом поразила царевну Ирину.

Тихонько ото всех плакала, ночей не спала, все думала о своем горе. Ведь после того как Маша описала ей красавца королевича, она только им и жила, он наполнял все ее помыслы, при одной мысли о нем замирало ее сердце.

Тихий поздний час ночной. В опочивальне царевны тьма, даже лампада перед киотом с образами потухает. Ничего не видно, все окутано мраком, только среди ночной тишины явственно слышится сдержанный шепот. То Маша прокралась затаив дыхание, дрожа и замирая с каждым шагом, в опочивальню царевны, проскользнула к ее высокой кровати, наклонилась над ее изголовьем и ведет с ней свою обычную беседу о королевиче. Царевна плачет, Машутка ее успокаивает, но нелегко теперь успокоить царевну. Жалуется она: зачем только это он приехал, зачем такое горе стряслось над нею? Негодует она на королевича.

— Вот, говорила ты, Машуня, — слышится жалобный голосок Ирины, — говорила: пригожий он, ласковый, добрый, нет — не таков он, видно, ежели бы таков был, стал ли бы он противиться батюшкиной воле? А вестимо, за нехристя меня не выдадут — греха такого не будет...

Но у Маши нет никакого понятия о грехе.

Она не знает, где тут грех. Тут совсем никакого греха не видно — все дело в том, что не выходит так, как бы хотелось им с царевной, — ну и, поразмыслив, надо как бы так устроить, чтобы все уладилось. Главное же — вот уж с утра новая мысль пришла в голову Маше, и она спешит поделиться этою мыслью с царевной.

— Все будет ладно, царевна, — шепчет она, — на все королевич согласится, только одно надо беспрерывно: чтобы ты его увидела и он тебя увидал.

— Бог с тобою, Машуня! — испуганно, почти громко вскрикнула Ирина и вся вздрогнула. — Как такое быть может?

— Кабы знала я как, то и сказала бы, да вот беда: не могу придумать, как бы это сделать.

— Да что сделать-то... сделать-то? — дрожит голосок царевны. — Нельзя до времени мне его видеть, и ему тоже нельзя видеть — нечего и думать об этом.

— А нешто ты не хочешь, царевна? Ну, скажи, скажи, как перед Истинным, неужто не хочешь?

Во тьме не видно, как вспыхнули щеки Ирины. Не может она лгать перед своей любимой подругой.

— Хочу! — едва слышно шепчет она. — Знаю, что грех это, а все же не стану лукавить: хотелось бы увидать его хоть на самую малую

минуточку. Хоть пропасть потом, лишь бы взглянуть на него!...

Маша торжествовала.

— Ну вот, видишь ли, я так и знала! Вот и нужно, беспрерывно нужно вам повидаться — как повидаетесь да столкнетесь...

— Столковаться!... Что ты, опомнись, Машуня!

Царевна даже ей рот закрывает рукою, но Маша, отклоняя ее руку, шепчет:

— А что же такое? Уж коли увидите, так и потолкуете. Не слушается он государя... а тебя, как же тебя-то он не послушает? Скажешь ты ему одно слово — он все и исполнит по твоему приказу, — вот и уладится дело...

Долго, долго, чуть не до самого рассвета, шепчется царевна с Машей. Раздастся поблизости шорох, скрипнет половица, пропищит мышонок — и Маша не дышит, юркнуть под кровать собирается... стихнет все — и опять она шепчет на ухо царевне.

Кончилось тем что Ирина совсем поддалась хитрому бесенку: искусила и соблазнила ее Маша, и теперь уже не было и помину о грехе, оставалось одно только страстное желание увидеть королевича. Хватит ли сил вымолвить ему слово — этого царевна не знает, но для того, чтобы увидеть его, она готова на все: нет в ней ни стыда, ни страха.

А Маша обещает все устроить, конечно, не вдруг, не сразу, не завтра, не послезавтра, а все же в скором времени. Как она устроит — она еще и сама не знает, но вся она кипит: она верит в то, что ей удастся сделать так, как она хочет и свою твердую веру передает и царевне.

XXI

Вольдемар проводил невыносимо скучные, однообразные дни, переходя от порывов злобы и отчаяния к надежде. Ему все же в конце концов казалось невозможным такое грубое насилие. Он думал, что пройдет еще несколько времени, и царь поймет незаконность и опасность своих поступков. Очевидно, у царя плохие советники. Надо найти кого-нибудь из ближних бояр, кто бы взялся за это дело.

Пришлось позвать Марселиса, на которого королевич очень сердился, хотя и склонен был теперь думать, что тот сам обманут, сам

попался.

Вольдемар расспросил Марселиса о ближних боярах, и тот указал ему на боярина Федора Ивановича Шереметева как человека благоразумного и ласкового, пользующегося к тому же царским расположением.

Вольдемар послал просить к себе Шереметева, и, когда тот к нему явился, он, всячески обласкав его, убеждал его похлопотать перед царем об отпуске. Королевич говорил:

— Я знаю, что ты большой, ближний царский боярин, справедливый и разумный, а поэтому бью тебе челом: помоги мне, чтобы царское величество послов и меня отпустил.

— Хорошо было бы тебе с царским величеством соединиться в вере, — ответил Шереметев, — а ехать такую дальнюю дорогу, ехать назад непригоже.

— Соединиться с царем в вере я не могу, — возразил Вольдемар, — об этом и говорить нечего — пусть меня отпустят. Но если меня честно отпустят, я стану громко прославлять царское величество.

Шереметев обещал донести царю о желании королевича и сделать все, что от него зависело, для убеждения государя исполнить это желание. Но ответ был самый плачевный: стража вокруг двора королевича оказалась усиленной.

Тогда датские послы отправились в посольский приказ, но там им прямо объявили, что нечего и думать о браке королевича с царевной без соединения в вере.

— Вы обязаны, — говорили бояре, — упрашивать и уговаривать вашего королевича принять православие.

— Нам это не наказано, — ответили послы, — и если мы только заикнемся королевичу о том, чтобы он отрекся от своей веры, то король велит снять с нас головы.

— Да хотя бы королевич и соединился верою с царем, — прибавил Пассбург, — то все же он во всем другом не сойдется: в постных кушаньях, питье и платье. Теперь мы ясно видим, что тому делу, для которого мы сюда приехали, нельзя свершиться. Королевич веры своей не переменит, и говорить об этом даже напрасно. Нам одно остается — уехать; пусть нас царское величество отпустит как

подобает, мы не пленники, и держать нас силою нельзя: от этого могут быть великие и неприятные последствия.

Но бояре, очевидно, ни о каких последствиях не думали. Они решились не мытьем, так катаньем добиться своего и полагали, что, раз королевич залучен в Москву, в конце концов всего и можно будет достигнуть.

Пассбирг и Биллей возвратились к Вольдемару с очень неутешительным известием: отпуска нет и не предвидится.

Вольдемар решил терпеть, пока сил хватит, а пока прилежно занимался русским языком с Иваном Фоминым, иностранцем.

Способности королевича к языкам были поразительны. Каждый день запас его знаний в русских словах и оборотах русской речи быстро увеличивался: он уже бегло читал и писал по-русски изрядно. Если бы не трудность произношения, он мог бы вести бегло какую угодно беседу. Он рассчитывал при первом свидании с царем приятно поразить его, так как мог уже с ним объясняться без помощи переводчика.

В ожидании решения своей участи датчане изошрялись коротать время без особенной скуки. Быстро растаявший снег и невылазная грязь лишали их возможности выезжать и выходить из дому, да и неизвестно еще, мыслимы ли были такие прогулки и поездки, ведь они находились под стражею. Но при доме был обширный прекрасный сад; его уже очистили от снега: на деревьях уже приготавливались почки, погода стояла такая чудесная, солнце так приветливо грело! Вольдемар со своею свитой проводил долгие часы в этом саду, придумывая всякие забавы.

Иногда из сада раздавались звуки музыкальных инструментов, пение датских песен, веселые возгласы. Датчане пировали, вино оказывалось в изобилии, и им не пренебрегали. Не будь вина, трудно было бы справиться с одолевавшей скукой.

21 апреля явился к королевичу, уже раньше бывший у него, Дмитрий Францбеков, принес ему письмо от патриарха и говорил так:

— Государь королевич, послал меня к тебе государев отец и богомолец святейший патриарх Московский и всея России, велел он твое здравие спросить, как тебя Христос милостью своею сохраняет? И велел тебя известить: «Слух до меня дошел, что ты, государь королевич, у царского величества отпрашивался к себе, а того великого

дела, для которого приехал, с царским величеством не хочешь совершить». Так святейший патриарх Иосиф о том к твоему величеству советное за своей печатью, письмо послал, просит тебя письмо прочесть и ответ ему дать.

Королевич на этот раз сам стал разбирать письмо и в конце концов разобрал.

«Прими, государь королевич, Вольмар Христианусович, — писал патриарх, — сие писание и, прочтя, уразумей его любительно и, уразумев его, не упрямясь. Государь царь ищет тебе и хочет всякого добра и ныне и в будущем веке. Своею упрямою доброго, великого, любительного и присвоенного дела с его царским величеством не порушь, но совершенно учини во всем волю его. По Боге послушай, не от Бога тебя он отгоняет, но совершенно Богу присвояет. Да и отец твой, Христианус-король, показал совет свой к его царскому величеству и присвоиться захотел, тебя, любимого сына своего, к царскому величеству отпустил, чтобы тебе жениться на его дочери, и с послами своими приказывал, что отпустил тебя на всю волю его царского величества, так тебе надобно его царского величества послушать, да будешь в православной Христовой вере вместе с нами. Мы знаем, что вы называетесь христианами, но не во всем веру Христову прямо держите и всеми статьями разделяете от нас, и тебе бы, государь королевич принять святое крещение в три погружения, а о том сомнения не держать, что ты уже крещен. Несовершенное вашей веры крещение требует истинного исполнения, таким образом и будет единокрещение в святую соборную и апостольскую церковь, а не два, и у нас второго крещения нет».

Дальше Вольдемар не стал читать, а прямо сел и написал такой ответ:

«Так как нам известно, что вы у его царского величества много можете сделать, то бьем вам челом, попросите государя, чтобы отпустил меня и господ послов назад в Данию с такою же честью, как и принял.

Вы нас обвиняете в упрямстве, но постоянства нашего в прямой вере христианской нельзя назвать упрямством. В делах, которые относятся к душевному спасению, надобно больше слушаться Бога, чем людей. Мы хотим отдать на суд христианских государей: можно ли нас назвать упрямым.

Как видно, у вас перемена веры считается делом маловажным, когда вы требуете от меня этой перемены для удовольствия царского величия, но у нас такое дело чрезвычайно великим почитается и таких людей, которые для временных благ и чести, для удовольствия людского веру переменяют, бездельниками и изменниками почитают.

Подумайте о том, если мы будем Богу своему не верны, то как же нам быть верным царскому величеству? Нам от отца нашего наказа нет, чтобы спорить о мирском или о духовном деле; царское величество нас обнадежил, что нам, нашим людям и слугам никакой неволи в вере не будет. Мы хотим вести себя перед царским величеством, как сын перед отцом, хотим исполнять его волю во всем, что Богу не гневно, нашему отцу не досадно, нашей совести не противно, и ничего не желаем, как приведения к концу договора, но для этого не отступим от своей веры.

Вы приказываете нам с вами соединиться, и если мы видим в этом грех, то вы, смиренный патриарх, со всем освященным собором, грех этот на себя возьмете. Отвечаем: всякий свои грехи сам несет, если же вы убеждены, что по своему смирению и святительству можете брать на себя чужие грехи — сделайте милость, возьмите на себя грехи царевны Ирины Михайловны и позвольте ей вступить с нами в брак»

Как ни казалось разумно и убедительно это письмо, ему не суждено было произвести никакого впечатления на патриарха и помочь делу. Время шло, а датчане чувствовали себя пленниками и не знали когда же наконец окончится их неволя.

XXII

Как— то, в начале лета, после скучного, однообразного дня, вышел королевич под вечер в сад.

Вечер был тихий и теплый грава уже поднялась высоко, вербы стояли одетые бледной, нежной листвой, от тополей далеко разносилось смолистое благоухание. Солнце давно зашло, на темно-синем небе загорались звезды.

Королевич забрался в самую глубь сада и бродил взад и вперед по березовой аллее, за которой шел высокий бревенчатый забор.

Что там такое, за этим забором, — королевич не знал, да и мало интересовался. В мыслях его и в сердце было очень смутно, как что

только юность да значительная беззаботность нрава заставляли примиряться с невозможным положением, в котором он теперь находился. Утомленный всеми неприятностями, он просто отдавался ощущению этого великолепного вечера и, сам того не замечая, уже начинал грезить о царевне-невидимке, ради которой подвергался таким неслыханным бедам.

Невольно он запел, и звуки нежной, любовной датской песни огласили притихший сад.

Но вот песня кончена; снова все тихо вокруг королевича, и только раздаются шаги его по влажному песку в березовой аллее.

Что это? Как будто кто позвал его, будто чей-то тихий, странный, нежный голосок произнес по-русски: «Королевич!»

В нескольких шагах от него мелькнуло что-то, и среди дымки вечера он различает небольшую стройную женскую фигуру.

Он даже протер себе глаза, так явление это было странно, почти невозможно. Но нет, небольшая женская фигура к нему приближается, вот она перед ним. Он видит премиленькую девушку, почти еще ребенка, с быстрыми, живыми любопытными и смелыми глазами.

— Королевич, ты меня понимаешь? — спрашивает она.

Его сердце так и забилося, будто хочет выпрыгнуть из груди. Он так счастлив, что может ей ответить: «Понимаю». Он хочет спросить ее: кто она? откуда? Живое ли она существо или призрак? Но он молчит, глядит на нее во все глаза, слушает, а она ему шепчет:

— Я от царевны Ирины Михайловны, я служу ей... Вот уже пятый вечер я здесь, перелезаю через забор и тебя поджидаю. Вчера я видела тебя издали, но с тобой были люди, и я притаилась, не смела идти. Нас никто не слышит?

— Никто нас не слышит, никто, прелестная девица! — прерывающимся голосом, стараясь выговаривать русские слова понятнее, яснее, отвечает Вольдемар.

— Царевна приказала мне тебе кланяться, — шепчет Маша и при этом так мило улыбается, так смело и плутовски глядит на королевича, что он едва удерживается, чтобы не обнять и не расцеловать ее. — Царевна приказала спросить о твоём здоровье, — между тем продолжает бесенок, — царевне бы хотелось повидаться с тобою...

Он молчит, он до того изумлен, так растерян, что ему кажется все это сном. Вот-вот он очнется — и нет перед ним этого милого

призрака.

— Возможно ли это? — проговорил он. — Ты не обманываешь меня, девица?

— Вот те Христос, не обманываю! Говорю чистую правду.

Маша перекрестилась.

Приходится верить невероятной действительности.

— Скажи царевне, что я благодарю ее, кланяюсь ей, желаю ее видеть. Для того чтоб видеть ее, готов на всякие опасности, готов умереть.

Маша в восторге. Вот это она понимает — ведь и она тоже не боится никаких опасностей, и она тоже готова умереть, лишь бы только исполнить то, что задумано в голове, что загорелось в сердце.

— Как же, где я увижу царевну? — спрашивает Вольдемар.

— Не знаю я, ничего еще не знаю, — отвечает Маша и все лукаво улыбается, все ласкает его своими блестящими глазами. — Но я буду думать, мы придумаем, мы все устроим, мне надо было только узнать, хочешь ли ты... нет, я была уверена, что ты хочешь, но мне надо было тебя видеть, говорить с тобой... теперь я все знаю... Я снесу твой поклон царевне. Если бы ты знал, королевич, какая она красавица, царевна!

— Я знаю, — отвечал Вольдемар, бессознательно любясь Машей, которая в эту минуту для него как-то странно сливается с царевной.

Неподалеку раздаются голоса, слышатся шаги.

— Прощай, — быстро и испуганно шепнула девушка.

— Когда я тебя увижу? — спрашивает королевич, кидаясь к ней.

— Скоро!... Завтра... — расслышал он, — об эту же пору...

Мгновение, и нет никого. Как проворная белка взобралась она на невысокий бревенчатый забор и исчезла по ту сторону.

XXIII

Это неожиданное приключение имело на Вольдемара огромное влияние, оно совершенно изменило всю внутреннюю жизнь его. Тоска и скука пропали бесследно. Он почти всю ночь не спал и грезил о своей невесте. Только этот неведомый чудный образ то и дело сливался с образом хорошенького бесенка, посланного царевной.

И бесенок, явившийся так фантастично, среди прозрачного сумрака летнего вечера, представлялся, конечно, гораздо более прелестным и соблазнительным, чем был в действительности.

Ведь с самой Вильны королевич не видел ни одного молодого женского существа! К утру, еще и не помышляя изменять своей невесте и мечтая о ней, он все же был уже совсем влюблен в ее посланницу. Никому не проговорился он ни словом и с сердечным замиранием ждал вечера.

Если Вольдемар, навидавшийся на своем недолгом веку чего угодно, так волновался, — можно себе представить, в каком состоянии была Маша, а еще более того царевна.

Быть может, кому-нибудь покажется просто невероятным такое приключение в тереме, среди семнадцатого века, а между тем здесь рассказывается только самая невинная из теремных историй.

Стены московских теремов, а царского в особенности, если бы кто порасспросил их и умел их слушать, могли рассказать немало удивительных историй, доказывающих пылкость воображения, хитрость, изворотливость и поразительную смелость теремных затворниц. Чего никогда и в голову бы не пришло женщине, поставленной в иные условия жизни и не лишенной известной свободы, то не только приходило в голову, но и тотчас же исполнялись, со всею силою женской страстности, русскими затворницами.

Требования природы во все века — одни и те же и если им не дается естественного простору — они находят себе самые невидимые лазейки и просачиваются через них с энергией и силой, по меньшей мере равной силе задерживающих препятствий.

Конечно, в старом русском тереме выросло достаточное количество женщин неспособных на борьбу и поэтому осужденных безропотно подчиняться всем требованиям обычаев. Такие женщины, по большей части, жили день за днем, уходили в узкие материальные интересы. Если они страдали, то страдания их были бессознательны, как страдания животных, рожденных и выросших в клетке, не знающих, что есть иная жизнь, что где-то, далеко, шумит дремучий лес со своим привольем, со своею вечной, манящей тайной.

Встречались также иные характеры, иные организации, в которых подчинение существующему складу жизни не было признаком бессилия и узости умственного кругозора. Такие русские женщины

старого времени глядели на свою трудную, малорадостную жизнь как на подвиг.

«Темна женская наша доля, — говорили они в ответ на ропот и слезы прибежавших под их защиту и за их советом, — недаром про долюшку эту жалобные песни сложены, а все же таки не след нам роптать, гневить Господа Бога. Все мы должны претерпеть ради души спасения. Счастье-то да радости не здесь, а там, где нет болезней и воздыхания. Да и здесь не все ж таки горе одно. Коли ты замужем, будь ему верной, покорной женой, душу свою за него положи да за детушек, живи, дыши ими, и ох как дышаться-то легко тогда будет! Ну, а коли нету у тебя ни мужа, ни детушек — живи для Бога, молись Ему, отдай себя делам добрым...»

Под влиянием таких женщин, а их было немало, развивалось и крепло истинное благочестие, глубокая и непреоборимая вера. Эта вера, со всеми ее дарами, не только давала возможность жить, но и наполняла, по-видимому, однообразную и темную жизнь богатым внутренним содержанием и светом. Эта вера творила иной раз чудеса, поднимала русскую женщину из ее приниженности и безответности; она-то охранила ее от вырождения, пронесла «живую» сквозь века испытаний и открыла ей широкую, плодотворную будущность.

И пока русская женщина крепка в вере, пока живет, чувствуя себя под отеческим Божьим оком и не забывая о земных своих задачах, в лучшие минуты стремится к небесной отчизне, — она не погибнет, не выродится в уродливое, болезненно-преступное создание, а, расцветая все краше и краше, будет играть видную и прекрасную роль в истории человечества.

Однако среди бессильных, отупевших существ, способных только на животные проявления, поскольку это им разрешалось, среди женщин, богатых верою, терпением и сознательными семейными добродетелями, всегда встречались представительницы третьего типа — живые, страстные и беспокойные натуры.

Они уж так рождались живыми, страстными и беспокойными: теремное воспитание не могло уничтожить их природных, врожденных особенностей, клетка только портила их, извращала их инстинкты, зачастую превращала их в существ хитрых, лживых, способных на всякое тайное преступление ради достижения своих целей.

Русская девица того времени, принадлежавшая к этому третьему типу, едва придя в возраст, являлась живым протестом всему складу теремной жизни. Она не могла примириться со своей обособленностью, отчужденностью от мужского общества. Если б ей дана была возможность вращаться среди мужчин — она, быть может, удовлетворилась бы этим, удовольствовалась бы мужской оценкой своей красоты и хранила бы сердце до прихода истинного суженого, на всю жизнь Богом данного и добровольно, по собственному влечению, ею избранного.

Но ведь она знала, что, выдавая ее замуж, о влечении ее не спросят. «Выдадут за немилого, за постылого!» — жалобно пела она в минуты мечтаний.

Ей же хотелось милого, дружка сердечного, и начинала она стремиться к нему, искать его всеми мерами, всеми хитростями и выказывала при этом искании поразительное упорство, невероятную смелость. Препятствия только прибавляли ей силы и изворотливости. Начиная с самых идеальных представлений, путая в себе самые чистые чувства, она, после первого трудного шага, после первого греха по понятиям терема, начинала чувствовать себя преступницей и говорила себе: «Ну, пропадать так пропадать! Все равно не простят, коли узнают. Значит, так тому и надо быть. За семь бед — один ответ!... По крайности потешу свою душеньку, чтоб было что вспомнить, чтоб было за что страдать, о чем лить реки слезные!...»

При таком взгляде она уж не знала себе удержу, «тешила свою душеньку» и потом, когда все выходило наружу часто «лила реки слезные» в тесной и сырой монастырской келье. Точно так же поступала, только, может быть, с еще большей смелостью отчаянья, жена, которую выдали против воли за «постылого». Главное же, чем больше было препятствий, тем смелее становилась любовная драма.

А препятствий всего больше было, конечно, в царском тереме. Там вырастали, под тройной охраной, царевны. Для них положение боярышень и дочерей купеческих представлялось чуть ли не идеалом запретной свободы. Для них все оказывалось недозволенным. Наконец, и мужа, достойного их, найти было трудно, а потому, в большинстве случаев, царевна готовилась к вынужденно одинокой жизни. Таким образом, немудрено, что некоторые царевны боролись со своей долей, со своей печальной судьбой не на живот, а на смерть...

Шереметев в последнее свое свидание с королевичем Вольдемаром говорил ему, убеждая его не сердить царя, принять православие и не требовать отпуска.

«Быть может, ты думаешь, что царевна Ирина Михайловна не хороша лицом? Так успокойся — будешь доволен ее красотой; также не думай, что царевна любит напиваться допьяна; она девица умная и скромная, во всю жизнь свою ни разу не была пьяна!»

Но достоинства юной невесты далеко не исчерпывались этим характерным панегириком. Быть может, глядя на других, она от скуки когда-нибудь и хлебнула бы лишнее, только мама, княгиня Хованская, этого бы ни за что не допустила, ибо сама была женщина непьющая и на сей счет весьма строгая. Ирина имела характер ласковый, большую доброту сердца, всех она жалела, за всех готова была просить, всех прощать, всем отдавать все, чем сама владела.

Про нее прислужницы и ближние боярышни говорили:

«Уж добра же, добра наша царевна, не будь она царевной, не имей всего вдосталь да распорядись всем по своему изволению, кажись, для бедного человека последнюю сорочку бы с себя сняла да так, нагишом, по улице бы и побежала!»

Они подсмеивались, эти ближние боярышни и прислужницы, но в их подсмеиванье звучала невольная симпатия к царевне.

Такие добрые девушки бывают обыкновенно и сердцем нежны и горячи; любя всех, всех жалея, они чувствуют влечение и к любви страстной, полюбив, жертвуют всем для любимого человека, делаются сильны и смелы. Такие девушки очень склонны к мечтательности, воображение у них богатое и пылкое, чувствительность их возбуждается быстро, потрясает их сильно, и переход от чувствительности к часто бессознательной чувственности совершается незаметно, естественно, сам собою.

А что какова женщина в наше время, такова была она и во все времена, в этом не может быть никакого сомнения. Время, нравы и обстоятельства имеют, конечно, большое, но все же, главным образом, внешнее значение — внутренние человеческие свойства и проявления их остаются неизменными на многовековом пространстве. Не будь этого — древние памятники человеческой жизни оставались бы для нас непонятными. Не будь этого, Шекспир, несмотря на свою гениальность, не мог бы создать таких лиц, которые и по сей день

живы, которых мы встречаем и теперь и узнаем, забывая всякие «анахронизмы».

Неизвестно, как бы отнеслась царевна к появлению в Москве королевича Вольдемара, до чего бы дошла она своим умом, если бы возле нее не оказалось бесенка Маши. Но бесенок был на лицо тоже такой добрый, или, вернее, способный на всякое добро и зло бесенок, какой может создаться во всякое время и во всякой обстановке. Чего по воспитанию и положению еще не хватало Ирине — смелой инициативы того у Маши было столько, что хоть отбавляй.

Она сразу, еще до приезда королевича, овладела царевной; теперь же просто отождествилась с нею, они были одно существо...

Когда Маша вернулась со своей опасной прогулки и прошмыгнула в терем, было уже поздно, и она не могла увидаться с царевной. Пробраться в ее опочивальню ей тоже не удалось. Настасья Максимовна, искавшая весь вечер бесенка и не доискавшаяся, поймала его наконец за ухо в одном из коридорчиков. Не говоря худого слова, за ухо же, свела она Машутку в темный чулан, пихнула, заперла дверь чулана на ключ и внушительно объявила:

— Тут и сиди до утра, полуночица! Другой раз не будешь пропадать неведомо где весь вечер... Чтоб тебя крысы за ночь съели!

И ушла.

Маша, вся еще трепетная от смелости и удачи, вся еще полная впечатлений свидания и беседы с королевичем, упала в темноте на какой-то довольно мягкий узел, высунула язык и состроила такую гримасу, что Настасья Максимовна, кажется, убила бы ее на месте, если бы только могла вообразить себе нечто подобное, несомненно относившееся к ней самой и ни к кому более.

«Ну и что же! — думала Маша. — И посижу до утра, и не съедят меня крысы, а завтра, хоть ты тут лопни, с царевной переговорю и все устрою тут же, у вас под носом... а вы только глазами будете хлопать!...»

Она почесала и потеряла себе разгоревшееся от неожиданной ласки Настасьи Максимовны ухо, свернулась калачиком на большом узле, как истый котенок, и вдруг сразу, тоже как котенок, заснула крепким, сладким сном — следствие юности, усталости и пережитых за этот вечер волнений.

Строгая постельница сдержала свое слово, так и не выпустила провинившегося бесенка до утра из чулана. Да и утром, в хлопотах, не сразу о нем вспомнила.

— Машутка, Машутка! — звала она, выходя в коридорчик и заглядывая направо и налево. — Опять пропала, анафемская девчонка!...

Но тут Настасья Максимовна хлопнула себя по лбу:

— Матушки, да ведь никак я ее в чулан заперла!

Подошла к чулану, отперла дверь, впустила свету и видит: спит Машутка на узле, в клубок свернувшись, спит и похрапывает.

Еле— еле растолкала ее Настасья Максимовна. Вот наконец вскочил на ноги бесенок, глаза кулаками протирает, потягивается и никак понять не может, что это такое?

— Да ну тебя, вылезай, что ли! Беги умываться-то!

А самой вдруг с чего-то жалко стало бесенка.

— Чай, проголодалась?... Как умоешься да приберешься, иди уж ко мне, там у меня всего осталось...

Маша убежала, а Настасья Максимовна пошла в свою светелку, выложила на стол пирог, краюху хлеба, кувшин с молоком, поставила и стала дожидаться. Когда Маша робко вошла, она велела ей сесть к столу и с видимым удовольствием следила за тем, как девушка ест.

— Молока-то, молока побольше пей, в твои годы молоко на пользу большую, здорово оно, от него тело растет и белеет... А молоко-то чудесное, коровушки уж вешней травки отведали, — говорила постельница таким тоном, будто это совсем и не она чуть не оторвала у Маши ухо, в чулане на узле ночевать ее заставила и пожелала, чтоб ее съели крысы.

Между тем Маша, отлично выспавшаяся и свежая, розовая от умыванья, быстро соображала все выгоды своего положения.

«Максимовна-то подобрела, — думала она, — видно, совесть в ней заговорила... Ишь, ведь меня улещает, потчует. Ну и пусть! Значит, нынче по пятам за мною бегать не станет, а мне только того и надо!...»

Она делала умильную рожицу, наелась и напилась до отвалу, потом встала из-за стола, утерла себе рот рукою и низко поклонилась

Настасье Максимовне.

— Ну, сыта? Богу-то, Богу помолилась? Где уж, чай, да и времени не было... так ты хоть теперь...

Маша послушно подошла к киоту с образами, стала креститься и класть земные поклоны. Трудно сказать, была ли она в молитвенном настроении, но поклоны ее и продолжительность молитвы произвели на Настасью Максимовну хорошее впечатление. Она глядела на Машу с удовольствием и при этом бессознательно любовалась ее грациозной, стройной фигуркой.

Наконец девушка кончила молитву подняла свои хорошенькие глаза, в которых теперь выражалась кротость на Настасью Максимовну и тихо сказала:

— Царевна велела мне быть у нее пораньше... Никак я уж и опоздала... браниться она будет.

— Это царевна-то браниться? Хорошо бы оно было, если б она тебя хоть разок побранила! Да нешто она браниться умеет? Потакать тебе да баловать тебя, это ее дело... Уж иди, не мнись, уж иди себе, коли тебе точно от царевны приказано!

Маша не заставила себе повторять этого и мигом очутилась у двери царевниного покоя.

Вот сейчас, сейчас все она расскажет царевне! То-то обрадует!

Вошла и сразу остыла, опустила глаза и затаила дыхание: рядом с царевной сидела княгиня Хованская и вышивала в царевниних пальцах.

«Вот тебе бабушка и Юрьев день!» — подумала Маша. — Кикимора расселась, того и жди, надолго, ведь это она любит... от пялей-то ее и не оторвешь!...»

Маша низко поклонилась, подошла к руке царевны, а потом и княгини-мамы, которая, вся погружаясь в свою работу, не обратила на нее особого внимания.

— Ты за уроком? -спросила, вся вспыхнув, царевна, а глаза ее. устремленные на Машу, говорили совсем другое. «Где пропадала? Отчего вчера тебя вечером не было? Отчего не пробралась ночью? Да и теперь почему пришла так поздно? Что случилось? Не удалось, видно? Я весь вечер, всю ночь, все утро промучилась, тебя дожидалась!» — говорили глаза царевны.

— За уроком, царевна, по твоему приказу,-ответила Маша почтительным шепотом, стала за спиной княгини и, почувствовав себя в безопасности, совсем преобразилась.

Она кивнула головою, сделала счастливое лицо, схватила себя за ухо.

Царевна отлично поняла: «Все благополучно... самые чудные вести... Не была до сих пор, потому что Максимовна задержала и опять пришлось пострадать уху».

Царевна так вся и просияла, забыв даже пожалеть о бедном вечном страдальце, об ухе своей подруги.

Она бросила мгновенный взгляд на княгиню и едва заметно передернула плечом: «Видишь, сидит, пожалуй, уйдет не скоро! Вот наказанье-то!»

«Кикимора!» — совершенно ясно проговорили глаза бесенка.

Минуты с две продолжалось молчание. Княгиня прилежно не поднимая головы, вышивала, искусно нанизывая на шелк блестящие бисеринки.

Вдруг Маша, вздрогнув, бросила торжествующий взгляд на царевну. Вздохнула она раз, вздохнула еще глубже, еще слышнее другой

— Чего это ты вздыхаешь? — спросила царевна.

— Королька жалко! — с новым вздохом печально выговорила Маша.

Княгиня оторвалась от работы, обернулась, взглянула на девушку и быстро спросила:

— Что Королек? Про что ты говоришь?

Дело в том, что Королек был любимый царицын попугай которого выучили, каждый раз как царица проходила мимо клетки, кричать: «Здравствуй, матушка-царица, ты царица, а я заморская птица!»

— Да как же не пожалеть-то его, княгинюшка?! — печальным голосом, чуть что не со слезами на глазах стала объяснять Маша. — Ведь даром что он — птица, а все ж таки у него чувства есть и ему очень больно...

— Что больно? Говори толком! — совсем встревожилась княгиня.

— Иду я и вижу. — продолжала Маша. — вижу я, дурка-арапка подобралась к клетке, отворила дверцу, руку просунула и выщипывает

у него перышки, а Королек-то кричит не своим голосом: «Больно, ой, матушки, больно!»

— Да ты не врешь?...

Маша сделала недоумевающее, изумленное лицо.

— С чего ж это я врать стану! Неужто врать можно!

— Ну, уж я ж эту арапку! Уж я ж ее! Не впервой замечаю, что она все что-то с Корольком возится... Не дай Бог замучает его, захиреет он, что тогда царица-то скажет. Вот так народец... Отвернись только, и того и жди всякой напасти! — Княгиня, говоря это, поднялась с места и быстро вышла из покоя.

Маша крепче приперла за нею дверь и засмеялась, кидаясь к царевне.

— А у Королька-то перышки все целе-е-ехонькие!... А арапке-то задаром доста-а-анется! — с блаженным выражением в лице протянула она.

— Зачем же ты это, Машуня?! — упрекнула царевна. — Нешто тебе не жаль арапку?!

— А то что же, жалеть мне ее, что ли! Благо она на язык мне подвернулась, пусть и отдувается! Я ей пряничка, леденчика за это дам, смерть она до сладкого охотница, кабы не она, век бы нам княгиню-то не выжить...

Царевна потеряла всякую жалость к дурке-арапке и с шибко забившимся сердцем, почти беззвучно спросила Машу:

— С чем же ты? Говори скорее! Неужто вчера удалось тебе?

— Удалось, удалось, моя золотая царевна, все удалось, как по писаному! — кипела и трепетала от восторга Маша. — Наконец-то вчера вечером видела я королевича...

— Ох! — даже тихонько простонала Ирина, схватываясь рукой за сердце.

— Да и не только видела, но и беседу с ним вела.

— Что ты? Не верю я... да и как же ты с ним могла беседу вести, ведь он немец... по-нашему, сказывали, не понимает...

— Ан и соврали люди! Как еще понимает-то... как еще говорит-то!... Получше Королька говорит, иногда только слово какое у него не выговорится, а все понять можно...

— Ну...

— Красавец он какой!...

Маша зажмурила глаза и развела руками.

— Да не томи ты меня, Машуня, и, Бога ради, не ври, говори все как было, ничего не пропусти, только и не прибавляй ничего! — шептала Ирина, крепко сжимая Машины руки и впиваясь ей в глаза затуманившимся, влюбленным взглядом.

Маша стала передавать быстрым шепотом все, что было с нею, изо всех сил стараясь ничего от себя не прибавить и не пропустить никакой подробности.

Ирина то вспыхивала, то вся холодела.

— Как же нам быть теперь? Что ж ты ему нынче вечером скажешь? — наконец проговорила она, умоляюще глядя на разгоревшегося бесенка и с замиранием сердца ожидая его вдохновения.

— А скажу я ему, что если я могла вырваться из-под надзора Максимовны, да и не раз вырваться, а каждый вечер вырваться, так он и подавно, королевич-то, может добраться до забора нашего садочка, а уж там будет мое дело, дорогу я ему укажу чай лазить-то он не плоше моего мастер! — объявила Маша.

— Что ты! Что ты! А забыла, ведь вокруг их двора немецкого стража понаставлена, чтобы не сбежал королевич! — в ужасе прошептала Ирина.

— Кабы стражи не было, кабы мог он среди бела дня в колымаге золоченой к нам подъехать, так и толковать нам было бы не о чем! — засмеялся бесенок. — Ведь вот он говорит: умереть, мол, готов за царевну, только чтобы повидать ее... ну, так чего ж тут!. Да и совсем дело простое: откуда я у них через забор перелезаю, оттуда и он вылезет, какой дорогой я домой возвращаюсь, такой дорогой и он пойдет... Матушки! — вдруг вскрикнула она, — Что такое я придумала-то! И как это до сей минуты не догадалась?

— Что еще такое? — так и впилась в нее глазами царевна.

— А то, что в садочке опасно, да и неведомо еще, какова погода стоять будет... Лучше я вот что: я его бабой одену да в тот чулан приведу, где ночевала нынче... от чулана-то и выход в двух шагах... и никого там не бывает... на что ж лучше!... Вот и придумала.!

Но Ирина побледнела.

— Нет, нет... Боже сохрани! Как такое можно..., его сюда! Машуня, ты с ума сошла... Ведь ежели накроют... смерть и ему, и мне,

и тебе...

— А ты нешто боишься смерти? — весело спрашивала Маша. — По мне вот, все равно: умирать так умирать... Да и какая тут смерть? Жутко вот... а все же... Тем-то и хорошо, что жутко!...

В конце концов она добилась своего, получила согласие царевны и, когда солнце зашло, когда стало понемногу смеркаться, с большим узлом в руках ускользнула из терема.

Точно так же, как и вчера, тихий и ясный вечер. Как и вчера, королевич бродит один в березовой аллее. Вот чутким ухом слышит он шорох. Он спешит к забору. Вдруг к самым ногам его падает узел. В недоумении он отскочил, потом взглянул наверх и увидел над забором улыбающееся хорошенькое лицо царевниной посланницы. Миг — она ловким, быстрым движением спрыгнула с забора. Еще миг — и она очутилась в его объятиях, и он жадно целовал ее, сам не понимая, что делает.

Наконец она тихонько высвободилась и лукаво глядела на него, качая головою.

— Ах, королевич! — проговорила она, улыбаясь. — Ты, верно, принял меня за царевну, а я всего-то бедная девчонка-сиротка... и мне каждый день дерут уши...

Он пришел в себя, но все же глядел на Машу нераскаянным грешником.

— Это что? — спросил он, указывая на узел.

Девушка проворно развязала узел и стала вынимать из него принадлежности женской одежды. Королевич глядел с изумлением.

— Одевайся! — повелительным тоном произнесла Маша.

Королевич сразу все понял и, не говоря ни слова, не теряя ни одной секунды, стал исполнять ее приказание. Она ему помогала и тихонько смеялась.

XXV

Невидимки-бесенята, любители всяких смелых шалостей и полуневинных шуток, умеющие ловко отводить глаза людям и дурачить их всяким манером, очевидно, добросовестно помогали своей приятельнице и родственнице — Маше.

Как задумала она, так все и вышло по писаному. Впрочем, ведь подобные проделки иной раз и без помощи бесенят с рук сходят.

Не прошло и пяти минут, а королевич уже превратился в весьма изрядную девицу.

На нем оказалась длинная, до пят, и широкая сорочка из набивной индийской ткани и с такой невероятной длины рукавами, что он, собирая их вверх, думал, что и конца им не будет.

Поверх сорочки Маша надела на него телогрею, а висящие рукава ее она связала назади за спиною в перекладку друг на друга.

Потом она нагнула ему голову и надела столбунец — высокую цилиндрической формы шапочку с прямой тульею, а поверх нее набросила покрывало.

Этим наряд был окончен.

Вольдемар окутал себе лицо фатою, перелез вслед за Машей через забор, хотя это и оказалось не особенно удобным в новом, непривычном для него наряде.

Он огляделся и увидел в полумраке вечера, что они находятся среди пустыря. Однако в недалеком расстоянии начались жилища.

— Ты не бойся королевич. — запыхавшись, едва переводя дыхание, вся дрожа от волнения и восторга, поясняла Маша, — я тут, по этой дороге, каждый камушек, каждую песчинку знаю, проведу тебя все задворками, все задворками, никому мы на глаза не попадемся...

Вольдемар ее понял и засмеялся.

— Я не боюсь, веди меня!-сказал он.

И действительно, никакого признака робости и смущения в нем не было. С этим неожиданным милым путеводителем он готов был бежать хоть в преисподнюю.

Ему только неприятно было сознавать себя в женском наряде, в своем обычном виде, с оружием в руках, он чувствовал бы себя еще гораздо свободнее и смелее. Но он, конечно, понимал, что обстоятельства требовали превращения его в московитку, и весело покорился этим обстоятельствам.

Через пустыри и по задворкам, с каждым шагом приближавшим их к царскому терему, мчалась легкая небольшая фигурка Маши, и за нею едва поспевала чересчур высокая в женском платье фигура королевича. Только раз в пути из-под какой-то подворотни кинулась

было на них собака, но грубый мужской голос позвал ее, и собака с рычанием влезла обратно в подворотню.

Вот они перед забором. Забор этот довольно высок. Маша обернулась и шепнула:

— Смотри! Куда я — туда и ты! — и как белка начала карабкаться по толстым, выступавшим бревнам.

Королевич не отставал от нее и тоже быстро карабкался, приподнимая платье, стараясь не разорвать его.

Перелезли через забор, прислушались и прыгнули на землю.

Они снова в саду, в густом, совсем заросшем саду.

Вдоль забора, по узкой тропинке, на каждом шагу останавливаясь, повела королевича Маша.

Между тем почти уже совсем стемнело.

Перед ними высокая стена; из маленьких окошек мелькают огоньки.

— Это и есть наш терем, — шепчет Маша, — постой, не шевелись, жди меня. Я пройду сначала, посмотрю, все ли тихо, чтобы кому на глаза не попасться.

Она исчезла.

Он стоял не шевелясь, затаив дыхание. Наконец устал так стоять. Ему казалось, что прошло уже очень много времени, а Маша не возвращается.

«Ну что, коли она и не вернется? Может быть, она насмеялась надо мною, эта хорошенькая девочка? — вдруг подумал он. — Может быть, это ловушка! Ведь я здесь стою, придут люди, схватят меня... ну, так что ж!...»

Он ощупал под широкими складками своего женского платья кинжал и совершенно успокоился. Он решил ждать до глубокой ночи, а затем, перед рассветом, если девушка не придет, он перелезет через забор, сбросит с себя платье и уже в своем обычном виде вернется.

Дорогу он хорошо запомнил, вообще на места у него была всегда отличная память.

Однако только от нетерпения и волнения ему казалось, что много прошло времени, прошло всего с полчаса, не больше. Он услышал наконец возле себя шорох, расслышал шепот Маши. Она объясняла ему что-то, но так тихо, так быстро, что он не понимал ее.

Она объяснила, что вошла в терем благополучно, нашла дверь отпертою, да только тут же сейчас и повстречалась с постельницей, которая шла запереть дверь на ночь.

Надо было отвести глаза этой постельнице, так заговорить ее, чтобы она оставила ключ в двери, а не унесла с собою, и это удалось Маше.

Тогда нужно было выждать, чтобы все кругом угомонились, чтобы все ушли подальше, и вот теперь можно идти без опасения кого-либо встретить.

Маша в темноте взяла королевича за руку, и они бесшумно двинулись вперед. Маша нащупала низенькую дверь и тихонько отворила ее. Она еще днем, улучив удобную минуту, хорошенько смазала дверные петли, чтобы не скрипели.

Они вошли. На королевича пахнуло теплом жилого помещения. Совсем темно. Он подвигается вперед неслышно, шаг за шагом. Маша крепко держит его руку своей маленькой, горячей рукой.

— Стой! — шепчет она.

Он остановился.

Маша опять отворила какую-то дверцу и шепнула:

— Наклонись! Лезь вперед!

Но он вдруг так растерялся, что сразу ее не понял. Тогда она сама наклонила его и куда-то впихнула, заперев за ним дверь.

— Когда увидишь в щелку свет, приотвори тихонько дверь, смотри и жди! — расслышал он тихий шепот.

XXVI

Он в полной тишине и темноте. Опять ему стало казаться, что проходит чересчур много времени, а он ничего не видит и не слышит.

Но вот среди этой кромешной темноты мелькнула тоненькая полоска света. Да, он ясно различает свет сквозь неплотно притворенную дверцу.

Он не совсем ясно понял то, что сказала ему Маша, но инстинктивно приблизил лицо к дверной щели. Он увидел за низенькой дверцей того темного, тесного помещения, где он находился, невысокий длинный коридор. Из глубины этого коридора

медленно движется с лампадкой в руке какая-то фигура. Он вглядывается и узнает Машу.

Она, осторожно поставив лампадку на низенькое окошечко, в двух шагах от дверцы, и шепнув: «Жди. не шевелись», неслышно, как призрак, удалилась.

Прошло несколько мгновений, все тихо. Вот шаги на этот раз тяжелые, громкие шаги.

«Царевна!» — подумал Вольдемар, и сердце у него шибко забилось. Он так и впился глазами в приближавшуюся фигуру. Вот уж ясно может он различить ее. Он приотворил дверцу и видит: перед ним плотная, средних лет женщина в теплом, ваточном шугае.

Он не знал, что и подумать. Ему, конечно, не могло и прийти на мысль, что это царевна. Он замер и ждал, что будет, а было вот что.

Полная пожилая женщина, дойдя до чулана и видя дверцу неплотно запертою, взялась за нее с очевидным намерением отворить и заглянуть в чулан. Огонек лампадки хоть и не очень ярко светил, но все же достаточно для того, чтобы женщина эта сразу увидела Вольдемара.

Он мгновенно сообразил всю опасность своего положения, крепко ухватился за ручку двери и прихлопнул ее к себе. В это время, от движения его, сзади что-то с шумом упало на пол, что-то очень тяжелое.

Пожилая женщина взвизгнула не своим голосом и пустилась назад по коридору.

Опять все стихло. Он осторожно приотворил дверцу и решал, что же теперь лучше: остаться или уйти? Очевидно, перепуганная женщина расскажет, что кто-то забрался в чулан, и его увидят, но если идти — куда? В совершенных потемках проведенный Машей до чулана, он сразу теперь не мог сообразить даже, в какой стороне был выход. Однако, вероятно, он все же кончил бы тем, что стал бы искать этого выхода, если бы снова, вдали по коридору, не услышал шагов. Он остался за полуотворенной дверцей и видит: к нему приближаются две фигуры. Одна из них Маша, а за ней... Он глядит во все глаза, и при бледном освещении лампадки перед ним все яснее и яснее чудный образ. Это она, царевна!

Разом забылось все. Пусть теперь приходит кто угодно, он ничего не помнит, не сознает, он видит только ту, которая давно уже грезилась

ему в юных горячих мечтаниях, для которой он приехал сюда, оставив далеко за собою все, чем жил до сего времени, ради которой выносит теперь столько неприятностей, томлений...

Она еще его не видит. Она, вся трепещущая, остановилась, бросив умоляющий, почти отчаянный взгляд на Машу, а та ее ободряет ответным взглядом.

В один легкий прыжок бесенок у дверцы чулана и шепчет:

— Выходи, королевич!

Маша сама вывела его за руку и подвела к неподвижной, будто окаменевшей, царевне. Потом она взяла лампадку с окошечка и осветила ею их лица.

Их взгляды встретились, они разглядели друг друга, и обоим им показалось, что все их грезы ничто по сравнению с действительностью. Оба они поняли, что принадлежат друг другу.

— Теперь не надо света! — шепнула Маша и затушила лампадку.

Они в темноте, в объятиях друг друга. Темнота придает смелости, она отняла у них рассудок и всякое соображение, все исчезло, уничтожилось бесследно, не было ни прошлого, ни будущего, была только настоящая минута, чудная, блаженная, и эта минута будто остановилась, будто медлила и шептала им: «Пользуйтесь мною!... Я готова долгие, долгие годы, целую вечность, стоять над вами, охраняя вас благоуханными крыльями, но я не властна в этом. Я промчусь и уже никогда не вернусь более... пользуйтесь мною!»

И они целовали друг друга долгими, беззвучными, безумными поцелуями, и конца бы не было этим ненасытным поцелуям, если бы голос Маши не вернул их к действительности.

— Ахти нам! Никак идет кто-то! — испуганна прошептала она, нащупала руку королевича, схватила ее, изо всех сил оттащила его от царевны и увлекла за собою. — Можешь один выбраться? — спрашивала она.

Резкая струя свежего ночного воздуха пахнула на его горевшее лицо.

— Можешь один вернуться? — тревожно повторила Маша.

Он сообразил, понял.

— Могу, — сказал он.

Она заперла за ним дверь, щелкнув в темноте ключом, помчалась по коридору.

Вот она почувствовала возле себя царевну, охватила ее за талию, и они побежали.

Они свернули направо, поднялись по лесенке и в то время, как уже были в безопасности, наверху лесенки, увидели, как внизу, по направлению к чулану, идут с фонарями. Вот прошли мимо, — и кто же? Сама Настасья Максимовна, а за нею несколько служанок.

Но наверху темной лесенки их, к счастью, никто не заметил. Они без всяких препятствий добрались до опочивальни царевны.

XXVII

Разноцветные зажженные у киотов лампадки, мигая своими огоньками, придавали совсем фантастический вид тесным и низеньким теремным покойчикам. Только то там, то здесь из-за высоко взбитых перин широких кроватей слышался храп некоторых более или менее высокопоставленных особ царевниного штата, обязанных охранять ее опочивальню и в ночное время находиться неподалеку от нее.

Но ни одна из этих мамушек и нянюшек и не пошевелилась; дело было праздничное, со всякими угощениями, между которыми первую роль играли хоть сладкие, но все же сильно хмельные напитки.

Ведь недаром Шереметев уверял королевича Вольдемара, что его невеста ни разу в жизни не была пьяна!

Она — то пьяна не была, а вокруг нее пили изрядно, только делали это с рассуждением, обдуманно, норовили напиться к самому вечеру, напиться да и залечь на мягкие и высокие перины.

Спали, после царских медов и всяких брашен, сладко и крепко, спали всю ночь напролет, приятные сны видели, а к утру просыпались как встрепанные.

Это пристрастие теремных затворниц к хмельным напиткам, конечно, прежде всего объяснялось скукой и монотонностью их жизни и в них находило себе оправдание.

Избегали такого порока весьма немногие, так, например, старшая мама царевны, княгиня Хованская, не брала в рот хмельного. Но у нее была своя опочивальня.

Никто никогда не видал навеселе постельницу Настасью Максимовну, имевшую обычай по вечерам, когда все трезвые и

хмельные залягут спать, обходить дозором терем.

Она и на этот раз поступила по обычаю. Но с ней случилось обстоятельство, перепугавшее ее чуть не до смерти.

Придя в себя с перепугу, она решилась вернуться и осмотреть чулан, где происходит что-то неладное, но одной идти было боязно, и вот она разбудила всех служанок, которых только могла добудиться...

— Ну, царевна, прощай пока, я еще вернусь, а теперь надо скорее на свою кровать, — шепнула Маша Ирине, — авось поспею вовремя. Ведь Максимовна-то не спит, бродит, да и не одна, почуяла, видно... непременно ко мне наведается. Как она ляжет-заснет, среди ночи опять проберусь к тебе, спать-то мне нынче совсем что-то не хочется...

Маша исчезла из опочивальни.

Бесенята, ее приспешники, подхватили ее, понесли быстро и неслышно мимо всех этих кроватей, с которых раздавался храп, донесли вовремя до уголка, где стояла небольшая, уже давно ставшая ей короткой кроватка. Она быстро, вероятно, опять-таки с помощью тех же бесенят, разделась и юркнула под мягкое, стеганое, сшитое из разноцветных кусочков одеяло.

Едва успела она это сделать, как чуткое ухо ее расслышало чье-то приближение. Вот приотворилась и дверь, и в нее заглянуло озаренное фонарем, недовольное, почти свирепое лицо Настасьи Максимовны.

Маша захрапела что было силы.

— Нет, тут она, дрыхнет, — сказала Настасья Максимовна кому-то.

Маша захрапела еще сильнее и потом простонала.

— Батюшки! Да никак ее домовой душит! Ишь ведь! Ишь!

Настасья Максимовна вошла, поставила фонарь на столик и стала будить девушку. Та едва удерживалась от душившего ее смеха.

— Ишь ведь! Да проснись ты, проснись!

Маша вскочила, открыла глаза и безумно глядела на Настасью Максимовну.

— Что ты, Господь с тобою, чего храпишь да стонешь?

Маша стала дрожать всем телом и стучать зубами.

— Настасья Максимовна, ты это? Ах, что было-то со мною! Сплю это я, и вдруг... будто упало что на меня, да огромное, да тяжелое, давит, душит...

— Ну, так и есть! Так и есть! — шептала Настасья Максимовна и заботливо перекрестила Машу. — Ничего теперь не будет, перекрестись, прочти «Да воскреснет Бог», и уйдет оно, не посмеет вернуться. Так ты давно заснула?

— Давно, Настасья Максимовна, еще не совсем смерклось, как сон меня стал клонить, я и заснула.

— А в коридоре ты не была?

— В каком?

— Ну, а там, где вчера-то я тебя поймала; не ты забралась в чулан да меня не пустила?

«Батюшки, да ведь это она на него наткнулась... до нас еще. Вот грозу-то пронесло!»-чуть громко не крикнула Маша.

Сознание огромной, но миновавшей опасности наполняло ее необыкновенной радостью и весельем.

— Бог с тобою, Настасья Максимовна! — сказала она. — Как же это мне быть в чулане, когда я здесь... да и была же охота! Или думаешь ты, что там, на узлах-то, спать больно приятно? Довольно и одной ночи, второй такой не захочется...

Настасья Максимовна ничего не сказала, еще раз перекрестила Машу, взяла свой фонарь и ушла, притворив дверь.

— Однако что же такое у нас творится? — говорила она дожидавшимся ее служанкам. — Воля ваша, дело неладно! Ведь я, слава Богу, в своем уме, ведь я же знаю, что в чулане был человек, да и человек сильный, может мужчина. Я-то за дверь, а он как дернет к себе изо всей мочи... а там застучало...

— Да уж что толковать, — возразила одна из служанок, — домовой это шалит, некому другому. Сама знаешь, матушка, как тут мужчине забраться, дверь-то ведь на запоре.

— Да, хорошо, на запоре... — протянула Настасья Максимовна, — а ключ где? Ключ в двери!

— Да дверь-то ведь заперта?

— Так это ты говоришь, что заперта. Маху я дала, сама не осмотрела.

— Что ж это, матушка, сама я, что ли, заперла? — обиженно сказала служанка.

— А это тебе знать! Может, и заперла, и отперла, как тут на вас положиться! — ворчала постельница. — Идем опять. В сад выйти

надо, может, след там есть. Так дело никоим образом невозможно оставить.

Настасья Максимовна, в сопровождении служанок с фонарями, пустилась в обратный путь и по теремным переходам и коридорам добралась до двери, через которую Маша провела королевича в терем.

Теперь Настасья Максимовна вынула из своего кармана ключ, сама отперла дверь и спустилась в сад. По ее приказанию служанки, опустив фонари к самой земле, искали следов, но следов на влажном песке было много.

— Стой! — вдруг остановила их Настасья Максимовна, приседая на корточках к самой земле и ставя перед собою фонарь. — Ишь, так и есть! Это чей след? Нет, это не женский след, смотрите все, смотрите!

Все в один голос должны были признать след не женским, а мужским, и несомненно свежим, только что отпечатанным.

Шаг за шагом пошли по этому следу, он привел к забору.

— Это что же такое лежит? Видите, у забора-то что такое? — воскликнула Настасья Максимовна.

Все попятись, но она храбро, со своим фонарем, сделала несколько шагов вперед. Она наклонилась к земле и стала поднимать с нее женское платье.

— Что же это такое? Вор был! Здесь он через забор перелез, да не все, видно, уворованное захватил с собою, вот это и осталось. Чья эта одежда? Бери, сверни... да нет, постой, сама я снесу... Вор к нам забрался, только этого недоставало! Кто же это пустил его? Кто его выпустил? Кто дверь за ним запер? Кто ключ в двери оставил? Ну, девки, не пройдет это вам даром! Вот уж до чего дошло! Завтра разберу я это доподлинно, и несдобровать виновной, потачки не дам. Ишь ты, какое дело! Воров пропускают в терем...

Ее голос оборвался. Она вся прониклась ужасом сделанного ею открытия и, забрав найденное на земле платье, спешно пошла обратно в терем.

Служанки, молча и уныло, следовали за нею.

Они хорошо понимали, какая каша заваривается, какое начнется бесконечное дело. Поднимется следствие, будут притянуты все, будут в ответе, не ускользнет виновный сам, да и невинных за собою потянет; пытаться всех станут, плетьюми стращать, а от таких угроз как не наплести на себя, наплетешь неведомо что со страху.

Долго не могла заснуть в эту ночь Настасья Максимовна, возмущенная, но в то же время и обрадованная, хотя и бессознательно, сделанным ею открытием.

Деятельная и энергичная по своей природе, она иногда уж чересчур скучала, просто тоска на нее находила оттого, что все вокруг нее шло тихо да гладко. Иной раз с тоски да скуки сама она невольно начинала придумывать какой-нибудь беспорядок, какого в действительности вовсе не было, начинала подозревать вещи, каких совсем не существовало, придиралась к подведомственным ей женщинам, доводя их этими придирадками просто до отчаяния.

А тут вдруг такое дело!

Надолго теперь его хватит, наполнит оно однообразные дни, однообразные вечера, будет о чем потолковать, судить, рядить и волноваться. Настасья Максимовна уже мечтала о том, как она будет добираться до виновников, какие хитрости пустит в ход.

Среди этих мечтаний, уже далеко за полночь, она наконец заснула.

Не спала и Маша. Прошлую ночь в чулане слишком хорошо она выспалась, а теперь разве можно заснуть? Она не напала на след воровства, не мечтала об интересном теремном следствии, не целовалась она с королевичем в темном коридоре, но ведь и ее задела своим крылом блаженная минута любви, остановившаяся над Вольдемаром и Ириной. Она пережила вместе с ними эту минуту, не отделяла себя от них. Она тоже любила, точно так же, как и ее царевна-подруга, только еще не понимала этого.

Долго— долго неподвижно лежала она с широко раскрытыми, устремленными в окружавший ее мрак глазами, и ей чудилось, будто над нею звучит какая-то сладкая музыка. В ней не было ни мыслей, ни представлений, ни определенных чувств, но вся она отдавалась неуловимому сладостному ощущению любви, дышавшей всюду, со всех сторон, всюду проникавшей.

Наконец, она несколько пришла в себя. Раздававшаяся над нею и в ней музыка затихла.

Она прислушалась, накинула душегрейку и наизусть знакомой дорогой, в сопровождении снова явившихся приспешников-бесенят, пронеслась в опочивальню царевны.

В соседних покойчиках из-под высоких перин раздается все тот же мерный храп. В опочивальне царевны тоже слышится что-то. Маша приостановилась в дверях на мгновение и поняла, что это слышится: это царевна плачет, неудержимо рыдает. Кинулась к ней Маша, обняла, целует, спрашивает:

— Что с тобой, золотая царевна? С чего ты это так плачешь? Зачем? Зачем? Вытри слезки, чего же плакать!

И сама Маша удивляется и никак не может понять, чего тут действительно плакать, ведь вот же ей не плакать, а смеяться теперь, плясать хочется.

Кое— как успокоила она своими ласками, своим нежным шепотом царевну и опять спрашивает: «Чего же ты плачешь?»

— Как же мне не плакать, — всхлипывая и снова готовая разрыдаться, отвечает Ирина. — Пойми, Машуня, ведь что мы с тобой наделали!

— Как что? Ничего! Все ладно, хорошо вышло, так вышло, как было задумано. Что такое, царевна? — изумлялась Маша.

— Да ты что думаешь, Машуня? Ты думаешь, со стыда я плачу, что он целовал-то меня, что я его целовала, эх, о стыде, о грехе я забыла, где уж тут о стыде да о грехе думать! Пусть душа прямо в ад идет, пусть дьяволы всю вечность меня терзают, жарят на раскаленных угольях, не страшусь я стыда, не боюсь я греха, не о том думаю, не о том плачу я!... Что мы наделали! Где он теперь, мой голубчик? Провела ты его, как он вышел? Как выбрался? Да и это не то!... Вот кабы не видала я его нынче, и ничего, что никогда бы не увидела... а теперь и не могу уж не видеть, и плачу, видеть его хочу скорее!

— Вот как! — тихонько засмеялась Маша. — Ну что же? Ну и опять его приведем сюда.

— Ведь подумай, Машуня, ни слова, ни одного малого словечка мы не сказали друг другу; подумай, Машуня, ведь только взглянула я на него, а ты лампадку затушила, не дала наглядеться.

— Я же и виновата! — шепнула Маша; прижимаясь к царевне.

— Да, тебе хорошо, — продолжала свой жалобный шепот Ирина, — ты его видела, ты его опять увидишь, ты говорила с ним долго, много времени была с ним, а я...

— А ты?... Ты с ним всю жизнь будешь, царевна! Как тебе и на ум взбрело говорить такие речи? Что я? Я служанка твоя, раба твоя

верная... не мой он, а твой...

Ирина не расслышала, не почувствовала, не поняла, что в этих последних словах ее Маши, этого беззаботного бесенка, вдруг прозвучала какая-то грустная, странная нотка.

— Полно же, перестань, что тут говорить слова напрасные, что тут причитать и жаловаться; лучше, коли не спится тебе, потолкуем о том, что будет. Вот подожди, скоро попируем на твоей свадьбе, царевна!

— Ах, Машуня, не верится мне такому счастью! Чудится мне — не бывать этой свадьбе.

— А мне вот так чудится, быть ей, и даже очень скоро.

— А коли он не захочет креститься?

— Может, вчера и не захотел бы, а сегодня как же так не захочет? Ну, скажи мне сама, царевна, нешто после сегодняшнего вечера можно ждать от него отказа?

— Так ведь об этом-то с ним и надо было перемолвиться, — сказала Ирина.

— Оно так, — соглашалась Маша. — Да что же ты тут поделаешь? Мы ведь и то чуть было его не погубили...

И она рассказала царевне о том, что поняла из слов Настасьи Максимовны. Та вся так и похолодела от ужаса.

— Машуня, да ведь это что же такое? Ведь его, того и жди, поймали! Боже мой, Боже! Где он? Что с ним? Чует мое сердце беду неминуемую... ох, чует!...

Теперь уж никак и ничем не могла Маша успокоить царевну. До самого света сидела она над нею, а когда забрезжилось, оставила ее всю в слезах, в необычайном волнении и страхе.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Хоть и часто оказываются верными предчувствия любящего сердца, но на сей раз все опасения царевны были напрасны: с Вольдемаром ничего не случилось.

Сбросив с себя столбунец с покрывалом, телогрею и сорочку у забора и уже не стесняемый этим неудобным длинным нарядом, он быстро выбрался из сада, с пути не сбился, да и поднявшаяся луна пришла ему на подмогу. Час для Москвы был уже поздний. Все спали. Даже собака не залаяла на королевича из-под опасной подворотни. Когда он перелез через забор своего сада и очутился между своими, то и тут никто не обратил внимания на его долгое отсутствие.

Датчане, по обычаю, пировали: почти все были сильно навеселе, пели свои песни и играли на музыкальных инструментах. Вольдемар не присоединился к веселой компании, а прямо пошел в свою опочивальню и заперся. Он всецело находился под очарованием только что случившегося с ним приключения.

Он был безумно влюблен, насколько может быть влюблен молодой человек его лет в лунную тихую ночь и среди таких исключительных обстоятельств.

В своих чувствах он, конечно, не отдавал себе отчета, но если бы мог их анализировать или если б это сделал за него другой, оказалось бы, что неизвестно еще, в кого он больше влюблен: в царевну или в Машу.

Как бы то ни было, если бы к нему пришел теперь Пассбург с известием, что все улажено, что всех их хоть сейчас отпускают с честью обратно в Данию, он решительно ответил бы: «Я остаюсь здесь, никуда не уеду!»

Уже прошла ночь, прошла она в молодых любовных грезах, сменявшихся тоже молодым крепким сном. Поднялось над Москвою солнце, и при его ясном, спокойном, правдивом освещении исчезли все чары, все призраки летней ночи.

Влюбленность Вольдемара, конечно, не прошла, но наступивший день дал простор иным свойствам его характера, его сильной природы. Теперь он уж не ответил бы Пассбиргу: «Я остаюсь здесь, я не еду», — теперь, если бы посол объявил ему о возможности отъезда, он просил бы только обождать несколько дней и стал бы придумывать смелый план похищения царевны.

Если обстоятельства не изменятся, если его по-прежнему будут принуждать переменить веру, он умрет скорей, но этого не сделает. Никакая ночь, никакие любовные чары не заставят его быть малодушным, унизиться перед собою, сделать то, за что и он сам, и все честные люди могли бы презирать его...

Ведь вот эти москвиты, они народ дикий и варварский, никакого понятия они не имеют о том, что дозволено и что невозможно, а ведь как они стоят за свою веру, на все готовы пойти за нее! Они сами дают ему пример стойкости.

Но царевна... Лучше бы он ее не видел, лучше бы не было этой волшебной ночи! Однако она была, не во сне ему все пригрезилось... и теперь кончено!... Как твердо он знал, что не уступит в вопросе о вере, так точно твердо знал и другое: не отступится он от царевны, она будет принадлежать ему. Как случится это? Как сумеет он примирить, по-видимому, непримиримое? Он не мог еще себе, конечно, представить, да и не до того теперь было. Когда он увидит «их» снова? Вот в чем состоял единственный вопрос, которым он был теперь полон.

Он ждал вечера, ждал нового свидания с Машей. Но к вечеру погода испортилась, все небо заволокло серой дымкой, пошел мелкий, частый дождик, предвещавший долгое ненастье.

Несмотря на этот дождик, Вольдемар часа три, а может, и больше, прокараулил в саду у забора, на заветном месте. Маша не пришла.

И на следующий день и вечер лил дождь, и опять, хоть и понимал, что это напрасно, караулил Вольдемар у забора.

Наконец дня через три небо прояснело и непогода миновала. Опять чудный вечер, теплый и влажный. Снова караулит Машу королевич, а ее нет как нет!

Между тем, так как все переговоры не привели ни к чему, Пассбург и Биллей составили и понесли в посольский приказ грамоту с решительным требованием отпуска. Они просили, чтобы царь назначил им день для того, чтобы быть у царской руки на прощанье. Вместе с этим они настоятельно требовали, чтобы королевич непременно был отпущен вместе с ними.

С ответом на эту грамоту к послам явился Шереметев и от имени царя строго объявил им:

— Грамота ваша написана непригоже, как бы с указом. Таким образом полномочным послам к великим государям писать не годится, да и в грамоте совсем неразумно написано про королевича: ведь вы сами, послы, по королевскому приказу, подвели его к государю и отдали его во всю его государскую волю, а потому отпуску ему с вами не будет. Когда настанет пригодное к тому время, то государь велит отпустить к королю Христианусу послов его, только одних, без королевича.

— Но ведь это насилие, — ответил Шереметеву Пассбург. — Ведь так не только в христианских, но и в магометанских государствах не делается, и за это царское величество перед всем миром отвечать будет!

— Неладные ты слова говоришь, — спокойно возразил Шереметев, — никакого ответа его царское величество не боится, сам знает хорошо, что делает, и не тебе его, государя, учить.

Пассбург должен был убедиться, что всякие рассуждения и слова действительно в этом деле напрасны. Потолковав со своим товарищем Билленом, он просил Шереметева, чтобы это все было объявлено им письменно.

На это Шереметев согласился, и на следующий день датские послы получили грамоту от имени государя. В ней дословно было повторено все, что говорил Шереметев, и прибавлялось:

«А что станете делать мимо нашего государского величества, своим упрямством и какое вам в том бесчестье или дурно сделается, и то вам и вашим людям будет от себя, а без отпуску послы не ездят».

Послы очень хорошо знали, что без отпуску ехать действительно не годится, и последние слова царского ответа достаточно красноречиво говорили им о том, что, стоит им только шевельнуться, и над ними будет учинено самое грубое насилие.

В подобных обстоятельствах оставалось одно: снестись скорее с королем и от него ждать помощи.

Но в том— то и дело, что это оказывалось невозможным, никаких сношений королевича и послов с Данией не допускали. Каждого человека, приходившего из посольского дома, обыскивали и следили за ним шаг за шагом. Из Дании тоже не было никаких известий: очевидно, если и приезжали оттуда гонцы к королевичу, то их не допускали и задерживали как пленников.

Такое положение не могло продолжаться. Как ни старались себя веселить датчане, какие ни затевали попойки с пением и музыкой, но это помогало не много. Скрывать от посольских людей действительные обстоятельства уже не представлялось возможным. Все эти люди были очень преданы королевичу: ведь он сам себе выбирал штат свой и знал, кого выбирает.

Сначала они успокаивали себя надеждой, что все это временное недоразумение, что в конце концов все уладится, но теперь надежда их окончательно покинула. Все мало-помалу пришли к убеждению, что так как Вольдемар не может и не хочет отказаться от своей веры, то ему, а с ним вместе и всем, придется здесь погибнуть.

Самые смелые из посольских людей собирались и решили во что бы то ни стало бежать, добраться до Копенгагена и вызвать оттуда немедленную помощь. Ведь пройдет еще несколько дней, и это, пожалуй, уж будет поздно.

Когда решение окончательно созрело, люди были выбраны и подготовлены, обо всем этом известили королевича и послов. И Вольдемар, и послы не могли не одобрить такого плана.

Вольдемар оказался совсем растроганным. Ему чересчур было жаль этих преданных друзей и слуг, так как он не мог не понимать, каким страшным опасностям они подвергаются: ведь за ними будет погоня! А поймут их — не станут с ними церемониться.

— Лучше не делайте этого, не пытайтесь, — сказал королевич смельчакам, — на успех такого бегства нет надежды. Ведь вы не знаете этой страны, не знаете дорог, языка не знаете, только даром пропадете!

Но смельчаки отвечали:

— Пропадем и здесь даром. Нас много, не всех же переловят, не всех убьют, кто-нибудь доберется до Копенгагена, а ведь в том и дело, чтобы хоть один человек добрался.

Со слезами на глазах благодарил королевич своих верных слуг, крепко жал им руки, обнимал их. Пришлось ему принять их жертву и ради себя, и ради всех, кто с ним здесь оставался: другого выхода не было.

Датчане, в числе пятнадцати человек, приготовились, как могли вооружились и в третьем часу ночи вышли со двора королевича.

Они сразу наткнулись, конечно, на карауливших стрельцов, подошли к стрелецкому сотнику и стали его просить, чтобы он отпустил с ними стрельцов. При этом они объявили ему, что идут за Белый город, за Тверские ворота.

Сотник послал сказать об этом голове, но голова отказал.

— Разве за каким-нибудь дурным делом мы идем? Просто идем прогуляться, потому что засиделись здесь, и просим с собою стрельцов для того, чтобы указать нам дорогу. Разве мы враги ваши? Разве мы пленники?

— Ладно, немцы, не лопочите, сидите смирно, а мы вас сторожить будем. Вот коли выйдет приказ, так и отпустим на все четыре стороны, а теперь сидите!

Двое датчан хотели было проскользнуть мимо караула, но стрельцы их схватили крепко, скрутили им за спину руки. Другие датчане, забыв всякое благоразумие, бросились выручать товарищей, выхватили из ножен шпаги. Завязалась схватка. Датчане многих стрельцов поранили, но все же не могли с ними справиться и, побежденные численностью противников, должны были вернуться во двор.

Шум, произведенный этой схваткой, заставил королевича проснуться. Он выбежал и, узнав, в чем дело, всплеснул руками.

— Что вы наделали! — вскричал он. — Зачем вы мне не сказали, что хотите бежать сегодня ночью? Ведь мы условились с вами, что тайно от меня вы этого не сделаете. Я все обдумал, а вы поступили как безумцы, сами свое дело вконец испортили! Разве можно было выйти так прямо, со двора, и рассуждать с караулом? Кто это среди ночи на прогулку выходит и как тому поверить? Я бы указал вам такое место, где можно выбраться и не попасться на глаза караульным...

— Так покажи нам его, королевич, скорее! — встрепенулись беглецы. — Теперь мешкать нечего и часу!

Вольдемар сообразил, что и в самом деле чем скорей, тем лучше, и провел их в глубь сада, к забору, объяснив им, насколько сам мог себе представить, в какую сторону, перелезши через забор, им идти.

Произошла трогательная сцена прощания королевича с верными слугами, а затем датчане стали перелезать через забор.

Перелезать было нетрудно по Машиному следу, да пришлось сейчас же вернуться: стрельцы ходили караулом вокруг забора и тотчас же подняли тревогу.

Что же было делать? Отложить всякую мысль о бегстве и безропотно ждать своей участи? Но на это датчане не пособны, препятствия только увеличили их отчаяние и их решимость.

Никто не спал в эту ночь, и видно было, что приготавливается что-то спешное и неожиданное.

Самые близкие к королевичу его придворные долго совещались с ним при запертых дверях, приходили и уходили, что-то укладывали. На конюшнях тихо и осторожно седлались кони.

III

В следующий вечер ходил по Москве рассказ, сущность которого, если очистить его от очевидных прикрас и прибавлений, заключалась в следующем.

Приезжие с басурманским королевичем немцы датские, видно, соскучились сидеть под караулом у себя во дворе; человек их с тридцать, все люди молодые, в одеже богатой и со многим оружием, оседлали коней. Неожиданно, распахнув ворота, пробились они сквозь растерявшихся караульных и помчались по московским улицам. Доскакали они до Тверских ворот. А ворота те стоят на запоре, и приставлен к ним стрелецкий караул.

Немцы требуют, чтобы для них отворили ворота, но стрельцы не пускают, Тогда они сами начали ломать ворота. Караульные закричали, со всех сторон набежали стрельцы. Немцы начали в них стрелять из пистолетов и колоть их шпагами.

Но численность стрельцов одержала победу, пришлось-таки басурманам бежать от ворот обратно в город. Один из них был взят стрельцами в плен, и его тотчас же повели в Кремль, но едва поравнялись с собором Николы Гостунского, находившимся вблизи от

помещения датского посольства, как с королевичева двора набежали в большом количестве пешие немцы, кололи стрельцов шпагами, одного убили до смерти, шесть человек ранили и своего товарища у них отбили...

И до этого разу много всяких самых невероятных слухов и рассказов ходило по городу относительно приезжих датчан. Так, например, рассказывали, что у них во дворе происходит всякая чертовщина и неслыханные непотребства, что все немцы датские, и с их королевичем, не простые басурманы, а колдуны и чародеи.

Царь— то хотел за того королевича царевну замуж выдать, а как узнал про его ведовство, так и говорит ему:

«Нет, брат, не обмануть тебе нас, не токмо царевны ты не увидишь, а беру я тебя в плен, и коли отец твой, басурманский король, не пришлет за тебя выкупа, десять возов с золотом да пять возов с камнями самоцветными, так и сидеть тебе, ведуну, на цепи у меня до скончания века, и никакое ведовство твое тебе не поможет».

Много чего рассказывалось по Москве, но на сей раз слух оказался справедливым.

На следующий день к королевичу явился Петр Марселис. Он был крайне встревожен и расстроен. Ему объявили, что королевич нездоров, из своего покоя не выходит и лежит со вчерашнего дня не вставая. Королевич сначала не хотел принять его, но Марселис так просил и настаивал, что был наконец впущен к Вольдемару в опочивальню.

— Чего ты больного меня тревожишь! — сурово сказал королевич при его входе. — Какое такое у тебя дело?

— Вчера ночью и утром учинилось у вас дурное дело, — прямо начал Марселис, — очень дурное... Это жаль, потому что от такого дела добра нечего ждать...

— Мне своих людей не в узде держать! — сердито ответил ему королевич. — А скучают они оттого, что здесь без пути живут. Я был бы рад, чтобы им всем и мне шеи переломали!

— Вам бы подождать, ваша милость, — робко проговорил Марселис, — все устроится понемногу, а дурных советчиков не слушайте.

— Хорошо тебе разговаривать! — закричал на него королевич. — Ты у себя дома живешь, у тебя так сердце не болит, как у меня. Ведь

ты хорошо должен знать, что тут делается: послов хотят отпустить, а меня царь отпустить не хочет. Я лишен возможности писать отцу и от него не получаю известий, разве можно все это вынести?

— Потерпите, ваша милость! — упрашивал Марселис.

— Молчи и оставь меня в покое! — перебил его Вольдемар. — Неужели ты не понимаешь, что мне на тебя глядеть противно! Ведь ты всему виною, ведь благодаря тебе я здесь... Ты мне обещал, ты мне клялся, что ничего дурного со мною не будет, ты ручался своей головой!...

Марселис развел руками и опустил глаза.

— Что же, — прошептал он, — разве мог я думать, что так все случится? Разве я знал?

— Ты должен был знать, ты хвастался, что хорошо знаешь московитов, говорил канцлеру о здешних порядках, что хорошо было бы, если б в Копенгагене были такие... Да что мне с тобой разговаривать! Погубил ты меня, да и не меня одного, а всех людей моих. Хорошую службу сослужил ты королю! Изменник! Предатель! Вон с глаз моих! Не то я за себя не отвечаю...

Королевич бешено поднялся с лавки, на которой лежал. Еще две-три минуты, и, может быть, он убил бы Марселиса, такое в нем клокотало бешенство, такое душило отчаяние.

IV

Когда Марселис, бледный и трепещущий, пробирался к выходу, его остановил один из молодых людей, приближенных к королевичу, по имени Генрих Кранен, и увел его в сад.

— Слышали ли вы, какое несчастье у нас вчера случилось? — спросил он.

— Да как же, знаю, знаю! — ответил Марселис. — Принц во всем меня винит, а я тут при чем? Видит Бог, хотел все к общему удовольствию устроить, только и думал о том, как бы исполнить желание его королевского величества, как бы способствовать счастливой жизни принца. Я сам теперь почитаю себя несчастнейшим в мире человеком и придумать не могу, как выйти из этих прискорбных обстоятельств...

— Да нет, — перебил его молодой человек, — видно, не знаете вы беды нашей! Как вы застали принца? Протянул он вам руку?

— Нет, — вздохнул Марселис, — он не считает меня достойным этой чести.

— Да кабы и считал достойным, а руки все же бы не протянул, сильно болит она у него.

— А почему?

Марселис еще не понимал, в чем дело, но уже почуял недоброе.

— А потому, — продолжал молодой датчанин, — что ведь вчера утром принц чуть было не убежал.

— Как? — воскликнул Марселис, весь холодея от ужаса.

— А так, что принц наш потерял всякое терпение, да к тому же и опасность велика. Он и решил... И был у Тверских ворот... Знали про это дело только я да его камер-юнкер, а послы про то не знали. Принц взял с собою свои драгоценности и изрядную сумму денег... В Тверские ворота их не пропустили. Хотели они оттуда воротиться назад с тем, чтобы попытаться выехать в другие ворота, но стрельцы принца и камер-юнкера поймали, у принца вырвали шпагу, били его палками и держали лошадь за узду. Тогда принц вынул нож из кармана, узду отрезал и от стрельцов ускакал, потому что лошадь под ним была ученая, его любимая лошадь: она слушается его и без узды.

— Господи! Хоть бы про то не проведали москвиты! — воскликнул Марселис.

— Слушайте, что было дальше. Вернулся принц и рассказал мне все как было, что план его не удался, а камер-юнкера стрельцы увели, но что он ни за что не хочет его выдавать. Затем принц схватил шпагу, взял с собою десять человек скороходов, выбежал с ними со двора и, увидав, что стрельцы ведут камер-юнкера, бросился на них, убил того стрельца, который вел пленника, и, выручив его, возвратился домой.

Марселис закрыл лицо руками.

— Боже мой! Боже мой! — говорил он. — Этого я уж никак не ожидал! Ведь если бы побег принцу удался, я был бы в ответе! Конечно, меня стали бы подозревать, что я знал о побеге, и не миновать мне казни!

Марселис не ушел, а просил молодого человека пойти к Вольдемару и, когда тот будет поспокойнее; спросить, не примет ли он его, Марселиса?

— Уж лучше бы его не раздражали, — отсоветовал ему Генрих Кранен. — Раз он считает вас во всем виноватым, о чем же тут говорить?

Но Марселис ответил:

— Пусть он на меня гневается сколько хочет, пусть даже побьет меня, а я желаю ему добра и, по моей прямой верноподданнической службе, должен всеми мерами отговорить его от повторения такого поступка. Бога ради, убедите его принять меня.

Марселис, ожидая возвращения Кранена, стал бродить по саду. Ждать ему, однако, пришлось недолго.

Молодой человек возвратился и сказал, что принц согласен принять его, только изумляется, что ему еще может быть от него нужно?

Марселис поспешил к Вольдемару.

Припадок бешенства уже прошел, оставалось отчаяние и сознание своего бессилия.

Вольдемар лежал на лавке, покрытый мягкими стегаными тюфячками и обложенный пуховыми подушками. Здоровою рукою он подпирал себе голову. Красивое лицо его было бледно, глаза померкли... При входе Марселиса он встретил его усталым, равнодушным взглядом и тихо произнес:

— Чего тебе еще от меня надо? Что доброго можешь сказать мне?

— Принц, — начал Марселис мягким голосом, — простите меня и не гневайтесь, Бога ради! Клянусь, я несчастлив, но не преступен перед вами. И теперь помышляю я только об одном, как бы вы себе не повредили...

— Я навсегда и бесповоротно повредил себе в ту минуту, как склонился на твои лживые уверения, — сказал Вольдемар, отвертываясь от Марселиса.

Но тот не стал обижаться. Об обиде ли теперь было думать!

— Я все знаю, — сказал он, — знаю, что вы убили стрельца, принц...

— Ну так и знай! Я этого не скрываю и ни от кого скрывать не буду. Сам скажу об этом царю и боярам.

— Ах, не делайте этого, ваша милость! — воскликнул Марселис. — Ведь, может быть, стрельцы вас не узнали, а если вас и назовут, я стану уверять, что это ошибка, что вас не было...

— Не советую делать этого! — усмехнулся Вольдемар. — Я объявлю, что ты лжец.

— Ах, зачем вы не сказали мне, принц, что собираетесь бежать из Москвы?

— Нечего сказать, очень был бы я умен, если бы об этом деле рассказал тебе или кому другому, кроме тех, кого с собою брал!

— Что подумает царь, если узнает про то, что вы сделали! — вздохнул Марселис. — Нет, умоляю вас, пожалейте себя, никому об этом не говорите!

— Вот еще! — воскликнул Вольдемар, порывисто вставая с лавки, но от боли снова на нее опускаясь. — Ведь я уж приказывал Шереметеву передать от меня царю, что хочу это сделать и кто меня станет держать и не пропускать, того я убью. И впредь я буду о том думать, как бы из Москвы уйти, а если мне это не удастся, то... я знаю, что я тогда сделаю!...

Королевич проговорил эти слова таким мрачным и загадочным тоном, что Марселис вздрогнул.

«Боже мой! — подумал он. — Да ведь он хочет что-нибудь над собою сделать, только это и могут означать его слова. Да и как в таких бедах, в таком положении не остановиться на мысли о самоубийстве? Но ведь нельзя же допустить такое несчастье, надо действовать...»

Видя, что королевич не хочет с ним больше разговаривать, Марселис откланялся, ушел и, возвращаясь к себе, все думал, как ему поступить теперь? Наконец он решил, что о таком деле необходимо дать знать царю, чтобы потом не быть в ответе.

V

Между тем Вольдемар как сказал Марселису, что не станет ни от кого скрывать свой поступок, так и сделал. Явился к нему князь Сицкий, и он ему прямо рассказал, как было дело, и просил при этом передать все царю.

Царь при докладе Сицкого тотчас же приказал ему идти обратно во двор королевича и сказать послам от его имени, что и простым людям такого дела делать не годится и слышать про него непригоже, а ему, царю, слышать про это стыдно и королю Христианусу такое дело не честно.

Пассбург и Биллей ответили Сицкому для передачи царю:

— У нас с принцем было условлено ехать из Москвы всем вместе, явно и днем. Мы не пленники, и держать нас силой не за что, в действиях же наших отдадим отчет нашему государю, если же королевич поехал один, нам не сказавшись и тайком, то нам до этого дела нет, у него своя воля.

«Эх, — подумал Сицкий, — покажем мы ему эту волю! Волей-неволей, а сделает он по-нашему...»

После этого Вольдемар послал царю новую грамоту; в ней опять он просил об отпуске, клялся, что никогда не переменит своей веры и что потому жить ему в Москве больше незачем.

Царь отвечал ему в жалобном тоне, выговаривая, что он, королевич Вольдемар, за великую его любовь и ласку отплатил ему таким непригожим делом, о котором скоро будет толк у бояр с послами королевскими.

Королевич ответил, доказывая, что вина этого дела на тех людях, которые без всякой причины позволяют себе над ним насилие, и снова просил отпустить его.

Тогда Пассбурга и Биллена призвали в посольский приказ, и там бояре от них требовали, чтобы они вместе с королевичем дали письмо с приложением своих рук и печатей и поцеловали крест, что «дело о браке королевича с обеих сторон полагается на суд Божий и вперед царю с королем быть в крепкой, братской дружбе и любви и в ссылке^[125] навеки неподвижно».

— Как только вы все это напишете и крест поцелуете, — говорили бояре, — так и будете вместе с королевичем вашим отпущены в Данию. Вечному же dokonчанию быть по договору царя Иоанна с королем Фридрихом.

Послы датские, уже потеряв всякую веру в обещания московитов, не спешили радоваться. Они ответили:

— Если главное дело, свадьба королевича, остановилось, то нам никакого другого дела делать и закреплять, без королевского приказа, нельзя, хотя бы нам пришлось и десять лет еще прожить в Москве.

На это им бояре ничего не сказали и так и ушли из приказа. Опять началась ежедневная пересылка писем, опять королевич просил отпустить его; послы тоже просили не держать их без всякого дела.

На это получили они ответ, что без обсылки с королем Христианом отпустить их нельзя.

«Когда король отпишет, — значилось в царской грамоте, — то мы, великий государь, выразумев из грамоты, с вами и делать станем, как о том время покажет».

Вольдемар писал царю, что соседние государи, польский и шведский, принимают участие в его беде и не будут равнодушно смотреть на его плен.

На это был ответ: «Мы, великий государь, над вами с приезда до сих пор ведем честь государственную большую, и вам непригоже было писать, будто вы в плену находитесь. Мы отпустить вас никогда не обещались, потому что отец ваш прислал вас к нам во всем в нашу государскую волю и вам, не соверша великоначатого дела, как ехать?»

Читая это послание и вникая в смысл его, бедный королевич просто скрежетал зубами от бессильного бешенства. Он даже вдруг позабыл и царевну, и Машу, в нем поднималась жажда мести, все сердце кипело так, что больно даже становилось.

— Нет, — говорил он своим приближенным, — так невозможно оставаться! Во что бы то ни стало надо выбрать надежного человека, который мог бы помочь мне бежать в Данию... Я не могу больше так жить... я задохнусь, с ума сойду, я наложу на себя руки.

По счастью, явился Пассбург с известием, что нашелся один московский немец, ремесленник, который согласился, за известную плату, отправить в Данию своего сына тайным образом.

Послы и королевич приготовили письма, и на этот раз гонец их благополучно выбрался из Москвы.

VI

Не на шутку забурлил царский терем. Очень часто, для того чтобы поднять из глубины его всю накопившуюся грязь и муть, требовалось гораздо меньше. Какое-нибудь зря вырвавшееся и не имевшее никакого смысла слово служанки оказывалось достаточным, чтобы начать долгое и мучительное следствие, тут же дело было действительно выходящее из ряда вон: воровство в тереме, да еще в ночное время!

Положим, как ни перебирала Настасья Максимовна и другие постельницы всю теремную рухлядь, все платье и белье, ровно ничего

не оказывалось пропавшим, но ведь в саду, у забора, найдены были вещи. Вещи эти оказались принадлежащими одной из молодых прислужниц царевны Ирины Михайловны по имени Ониська Мишурина.

По приказу царицы был призван дьяк Тороканов, и ему велено было разобрать дело.

Главной обвинительницей и доказчицей явилась, конечно, Настасья Максимовна, а первой ответчицей — Ониська, девка работающая, простая и несколько придурковатая, которая, еще ничего не видя, уже лила реки слезные, вопила и причитала, имела вид до крайности перепуганный и виноватый.

Когда дьяк Тороканов, призвав ее, стал допрашивать, он долго не мог от нее добиться ни одного слова. Она бухнулась на землю и вопила благим матом. Он терпел, терпел, наконец стал кричать на нее. Тогда ее вопли остановились, и она превратилась как бы в истукана, глядела в глаза кипятившегося дьяка бессмысленным взглядом, и только. Он схватил ее за косу и потрепал ее изрядно.

— Будешь ли ты, дурища, говорить или нет? Я тебя ем, что ли? — крикнул он. — Ведь я тебя не наказывать хочу, до наказания далеко еще, должна ты сказать только всю правду.

Бедная Ониська и хотела говорить, да не могла, язык не слушался.

Из своего окаменения она перешла теперь в новое состояние: дрожала всеми членами, стучала зубами и вдруг со всех ног кинулась было вон, очевидно, не соображая, что такое делает, повинувшись только инстинкту запуганного, видящего неминуемую опасность зверя, порывающегося уйти от врага, хотя уйти и некуда.

— Эге! Да ты вот как! — протянул он. — Ну, так вот тебе последний мой сказ: либо говори, либо сейчас же на пытку. Вот как вздернут тебя на дыбу, небось заговоришь!

Ониська взвизгнула нечеловеческим голосом, крепко зажмурила глаза, будто перед ней очутилось нечто нестерпимо ужасное, и наконец заговорила, стуча зубами:

— Все скажу... все... Да что говорить-то? Нешто я виновата? У меня же стащили...

— Ведь твои это вещи? — указал Тороканов на лежавшее тут же, на столе, поличное.

— Мои... мое все... новешенькое, только к празднику и сделано, царицыно жалованье...

— Ну, так ты, значит, признаешь? — важным голосом сказал Тороканов и, обмакнув большое гусиное перо в склянку с чернилами, стал медленно, но не без искусства выводить на бумаге хитрые закорючки.

Ониська глядела на эти движения пера и на выходившие из-под него непонятные знаки расширившимися от ужаса глазами. Зубы ее так громко стучали, что Тороканов даже оторвался от писанья, крикнул: «Ну!» — и снова наклонился над бумагой.

Вот он кончил, положил перо на стол и опять обратился к Ониське:

— А теперь ты скажи мне: где же эта одежда у тебя лежала?

— Вестимо где! Где же ей лежать-то... в сундучке, в чулане.

— И на запоре?

— Не! Хотела я замок достать, да где ж его сразу достанешь. А Соломонида Митревна и говорит: не сумлевайся, говорит, Ониська, кто у тебя возьмет! Нешто в тереме есть воры? Не бойся, не украдут. А вот и украли... — протянула Ониська и вдруг опять завопила: — Матушки вы мои, голубушки!... Царица небесная!...

— Нишкни! — крикнул Тороканов и топнул ногою.

Она затихла.

— Ну, а кто же это у тебя украл-то?

Она совсем не поняла и только бессмысленно глядела на него.

— Да нешто я знаю! — отчаянно воскликнула Ониська. — Кабы я знала...

— Ну, что кабы знала?...

— Так я бы... я бы... не дала бы моего добра вору, я бы кричать стала!...

Допрос продолжался все в том же роде.

Как ни бился Тороканов, ничего не добился он от Ониськи, да и что могла она открыть ему? Были вещи, лежали в сундучке, в чулане, кто их взял и когда, неведомо. Она их не хватилась, а как Настасья Максимовна, постельница, призвала ее, показала, она и признала свои вещи.

Записал все это Тороканов и пока отпустил Ониську. Сидел он, перечитывал показание перепуганной служанки и раздумывал, как тут

взяться, за какой конец ухватиться?

Было воровство? Было. Вор проник ночью в терем, захватил Ониськину праздничную одежду, вышел невредимым в сад, добрался до забора, но тут, видимо, перепугался, побросал все вещи, перелез через забор и утек. Никто его не видел, кроме Настасьи Максимовны, да и та не видела его, знает только, что он был в чулане, где вещи те лежали.

— Эка дура баба! — говорил себе Тороканов. — Как припер он дверцу, ей бы тут же ее снаружи и запереть на щеколду, вот вор сразу бы живьем и попался. Эка дура баба! За домового, вишь, его приняла... ну, да и то сказать, — тотчас нашел он оправдание для Настасьи Максимовны, — как и не принять? Может, тут и впрямь не обошлось без домового, уж больно дело-то мудреное. А дверь?... Каким таким образом дверь ночью была не на запоре?

Тороканов понял, что все дело в этой двери, и снова приступил к допросу всех теремных жительниц. Но тут оказалось нечто не совсем согласное с действительностью.

Все перво-наперво отозвались полным неведением: «Знать ничего не знаем, ведать не ведаем, двери у нас всегда на запоре, ключи на месте!» И бывшие тогда вместе с Настасьей Максимовной, и выходившие с нею в сад для осмотра показывали, что ключ она, постельница, разбудив их, взяла с собою, что Пелагея Карпова, по ее приказу, взяв у нее тот ключ, отперла им дверь в сад, а дверь, допрежь того, была на запоре.

Откуда взялись такие новые показания, неизвестно. Настасья Максимовна никого не подговаривала, да и подговаривать ей было незачем; не она отвечала за ключ, не она в тот день была наряжена смотреть за выходами. Но она не противоречила этим показаниям: может, она и впрямь, с перепугу, запомнила, как было дело, или просто не хотела выдавать товарок.

Тороканов, собрав все эти новые показания, только разводил руками.

— Ну, как же тут быть? — толковал он. — Дверь на запоре, ключ на месте, а он, вор-то, сидит в чулане, а потом в ту дверь с краденой одеждой проходит...

— И ничего тут мудреного! -вдруг возвысила голос бойкая, глазастая женщина, та самая Пелагея Карпова, которая по приказу

Настасья Максимовны отперла дверь. — Все это не иначе как Машуткино дело!

— Машуткино? Какой Машутки? -насторожился Тороканов.

— А известно какой! Да вот она и сама тут! — отрезала Пелагея Карпова, злобно сверкнув глазами и указывая на Машу, стоявшую тут же, в числе допрашиваемых, и уже никак не подготовленную к такому обороту дела.

— Что ты, Пелагея? Господь с тобой! За что ты на меня напраслину такую взводишь? Я-то тут при чем? — едва веря своим ушам, заговорила девушка.

— Ладно! Прикидывайся казанской сиротой, зелье ты этакое! Знаем мы тебя! — со злобной усмешкой продолжала Пелагея. — А это что же такое?

Она вынула из кармана платок и, приподняв его за концы руками, всем показывала.

— Чей это плат? Ну-ка, отопрись!

— Мой он! — крикнула Маша, подбегая к Пелагее и стараясь вырвать у нее из рук платок. Но та не давала.

Тороканов в это время так и впивался то в ту, то в другую.

— Мой плат, я обронила его нынче утром... искала... ну, ты нашла, так что ж тут? — говорила Маша, еще не понимая, какое обвинение может быть связано с этим оброненным ею утром платком.

— «Что тут такое»!... — передразнила Пелагея. — А вот это ты и скажи сама, что тут такое у тебя в этом плате в узелке завязано?

Действительно, один из углов платка был завязан узелком и в том узелке, очевидно, находилось что-то.

Тороканов взял из рук Пелагеи плат и развязал узелок.

— А! — многозначительно произнес он, кладя осторожно платок на стол. — Ну-ка, Машутка, поди сюда да скажи по истинной правде, какой такой корешок у тебя в плате-то завязан?

Маша подошла к столу и с изумлением глядела на сухой, толстый корешок.

— Не ведаю, — сказала она. — Вот те Христос, ничего у меня в плате завязано не было... Это она все... она, Пелагея, по злобе на меня. Вот те Христос! Мать пресвятая Богородица!...

И бедная Маша, хотя еще не успевшая испугаться как следует, но уже почуявшая беду, стала креститься. Пелагея злобно усмехнулась.

— Ишь ты, по злобе на нее! Какая у меня на тебя может быть злоба? Как нашла плат, вижу, завязан узелок, я и развязывать не стала. Рук своих не стала пачкать. Кто его знает, что там такое!

Все с видимым страхом и любопытством подходили к столу и глядели на корешок.

В это время в горницу, где происходил допрос, вошла Настасья Максимовна. Все расступились и дали ей дорогу. Она внимательно посмотрела на корешок, потом обвела взглядом всех присутствовавших и развела руками.

— Только этого и недоставало!-многозначительно вымолвила она.

— Да это что же такое? Как ты полагаешь, Настасья Максимовна? — спросил ее Тороканов.

— Что уж тут полагать, батюшка, дело ясное, разрыв-трава, вот это что! — с полной уверенностью и с видом знатока объявила Настасья Максимовна.

VII

Дьяк Тороканов был очень доволен найти выход из своего затруднительного положения. Еще за минуту перед тем дело представлялось ему совсем непонятным, а вот разрыв-трава так просто и ясно отвечает на самый важный, главнейший вопрос.

В существовании этого зелья он не сомневался; оставалось только убедиться, точно ли корешок, лежавший перед ним в Машинем платке, действительно настоящая разрыв-трава. Но ведь Настасья Максимовна прямо, без всякого приготовления произнесла это слово, произнесла его без колебаний, решительно, ну, а Настасье Максимовне как же не поверить!

Что касается всех теремных жительниц, находившихся при допросе, для них уж, конечно, тут невозможны были никакие сомнения, все готовы были теперь идти хоть под присягу, что этот таинственный корешок и не может даже быть ничем иным, как разрыв-травой.

Тороканов быстро вскочил из-за стола, подбежал к Маше и ухватил ее за руку, будто боясь, что она сейчас ускользнет и исчезнет.

Но Маша бежать не собиралась. Она все еще никак не могла взять в толк возводимого на нее обвинения.

— Откуда у тебя разрыв-трава? Кто тебе дал ее? — спрашивал между тем Тороканов.

— Да ведь я же говорю, что в плате, который я обронила, ничего не было! Это она, это Пелагея положила, а что она такое положила — почем же мне знать. Может, это и разрыв-трава, а то и еще хуже, она положила, у нее и спрашивай!

— Так это Машутка! Она? У нее нашли? — с изумлением воскликнула Настасья Максимовна и сразу растерялась.

Она одна из всех здесь бывших не вполне верила в сделанное ею определение сущности этого корешка.

Ведь, сказать по правде, она никогда разрыв-травы не видала, да и не говорили ей люди верные, знающие, что трава эта вот такой темный, толстый, сухой корешок, — сказала она, что это именно такой корешок, потому что так ей оно показалось, а главное, бессознательно приятно было произвести сильное впечатление на всех своим заявлением.

Но уж никак не думала она, что словом «разрыв-трава» обвиняет она Машутку. Хоть и сидела у нее на шее эта озорница, по ее выражению, хоть и готова она была предполагать за нею всевозможные, самые непростительные шалости, но все же ведь она в глубине души своего сердца не только не питала к ней никакой злобы, но даже по-своему жалела ее, делала ей добро. Наконец, ведь Машутка, царевнина любимица, на ее глазах, недавно, будто вчера, еще была совсем ребенком; положим, теперь она выросла, хоть под венец ее веди, ей уж пятнадцать лет, но все же какие это еще годы? Да и дурачества, шалости у нее все детские...

Однако кто ее знает, ведь вот она то и дело пропадает неведомо где. Тогда вот вечером, когда она поймала ее и заперла на всю ночь в чулане, где она была все время? Да и вор... ведь забрался именно в этот самый чулан...

Ох, неладно тут что-то! А все ж таки жаль девчонку, все ж таки... Ну а вдруг то не разрыв-трава, а она такой грех взяла себе на душу!

Настасья Максимовна почувствовала, как у нее будто что-то перевернулось в сердце и засосало.

Она подошла к столу и после некоторого колебания решилась взять в руку корешок. Оглядела его она со всех сторон, не без робости, но все же понюхала и сказала:

— А может, я и обозналась, может, это и другое что... Говорила вот мне одна божья старица про разрыв-траву... Похоже-то оно похоже, да ведь кто их знает — корешки-то эти! Поди сорви репейник потолще, высуши его, так и у него такой же вид будет... Ты, батюшка, на мои слова не полагайся, — обратилась она к Тороканову, — греха на душу я брать не хочу, говорю: может, я и обозналась.

Но тут выступила вперед Пелагея и, вся даже трясась от злобы, заговорила:

— Не обозналась ты, государыня Настасья Максимовна, а самую, видно, правду сказала. Сами посудите, сами разберите, люди добрые, как тут решить-то?... Может, другие ничего не видят, а я-то вижу. Вот уж целую неделю, как дело к вечеру, так Машутка и пропала! Она-то думает, что никто этого не примечает и что всех она за нос провести может, ан нет... я-то за ней уж давно примечаю, за негодницей. Три раза своими вот этими глазами я видела, как она поздно вечером из сада через ту дверь возвращалась.

Против этого обвинения Маша ничего не могла возразить, только бросила злобный взгляд на Пелагею и невольно зарумянилась.

Ее смущение, ее румянец ни от кого не скрылись, все их заметили, заметили и Настасья Максимовна, и дьяк Тороканов.

— А! Так вот что! И каждый вечер, ты говоришь, она убегала?

— Да, да, — твердила Пелагея, — своими вот этими глазами видела, как вечер, так она и шмыг в сад и долго, долго пропадает.

— Отчего ж ты мне тогда не сказала! — крикнула Настасья Максимовна.

— А чего мне говорить, — ничуть не смутившись, ответила Пелагея, — нешто я в няньки к ней приставлена! Вот вышло дело, я и говорю, что знаю.

— Ну-ка, что ты на это скажешь? — строго спросил Машу Тороканов.

— Да что скажу? Что мне сказать-то? — проговорила Маша. — Коли видела, что я в сад бегаю, значит, так оно и было, ну что же такое! День-деньской маешься, то тут, то там в работе, то Настасья Максимовна кличет, то царевна, ну, а придет вечер — дела-то нет, вот в саду и хочется побегать, я и в сад, что ж тут такого?

— Да кто же тебе это позволил? Как же ты могла не спросившись? — крикнула Настасья Максимовна.

— А кабы я тебя спросилась, Настасья Максимовна, тогда ты бы меня все равно не пустила, так я уж лучше так, без спросу... Нешто знала я, что эта злодейка за мной подглядывает.

— А дверь-то, дверь?... — спросил Тороканов. — Что ж она у вас, так до поздней ночи и стоит отпертою али вы ее запираете по положению?

Тут все в один голос начали уверять, что дверь запирается аккуратно.

— Ну в таком разе и толковать нечего, — решил Тороканов, — раз дверь запирается, а девчонка через нее в сад и из саду пробирается, значит, у нее отвор есть. Вот отвор этот и лежит теперь на столе, вот он!...

— Так, так! — торжествующе подтвердила Пелагея. — Умный человек сейчас видит, в чем дело.

— Да и для глупого человека оно ясно: коли дверь на запоре, а девчонка в нее пробирается, значит, отворяет она ее разрыв-травкою. Что же, ты еще ничего не заприметила, Пелагея? — спросил Тороканов.

— Как не заприметить! Она в сад, а я в светелку к окошечку, а из окошечка-то все как на ладони, ну вот и видела...

Маша почувствовала, как у нее спина холодеет. «Что она видела? — промелькнуло у нее в мыслях. — Неужто видела, как я через забор лазила?»

— И вижу это я раз: Машутка подбежала к забору, — объясняла Пелагея, — подняла голову, гляжу я, куда это она смотрит? Ан и вижу, на заборе-то шапка. Ну, а дальше, известно, что шапка-то не сама собою... на человеке надета. Приманила Машутка голубчика!...

У Маши широко раскрылись глаза.

— Али в тебе стыда нет! Бога побойся! Что ты на меня клеплешь! — крикнула она Пелагее. Но та ничуть не смутилась.

— Вестимо дело, клеплю я на тебя. Так ты сейчас и признаешься, что парней в царский терем приманиваешь, да воров еще...

Теперь все было ясно. Тороканов подтащил Машу к столу и строгим голосом приказал ей стоять смирно. Сам же он обмакнул перо в чернильницу и приготовился писать.

— Признавайся во всем, во всем как есть! Если станешь отпираться, не взыщи, голубушка!

— Не в чем мне признаваться, — то бледнея, то краснея, но не от страха, а от бешенства на Пелагею, ответила Маша. — Что есть, то есть, а чего нет, того нет. Мой плат, обронила я его нынче утром, только никакого корешка в нем не было. Гулять в саду в ведро я не раз выбегала: в этом не запираюсь, а больше ничего не знаю и не ведаю.

— Ну, это мы уж слышали, — перебил ее Тороканов, — а теперь вот что мне скажи: кто такой этот парень, которого ты приманила-то? Откуда он у тебя взялся и как его имя?

— Никакого парня нет, — решительно ответила Маша. — Никакого парня я и в глаза не видывала.

— Эй, Марья! — погрозил ей пальцем Тороканов. — Не шутки я шучу с тобой, да и времени у меня не много. Либо ты мне сейчас истинную правду скажешь, либо, не взыщи, прикажу тебя взять да попытать хорошенько. Авось на дыбе во всем повинисься.

Маша взвизгнула, и, прежде чем кто-либо мог опомниться, она уже выбежала из светелки и исчезла. Несколько женщин кинулись за ней вдогонку, но скоро вернулись, объявив, что она прямо побежала в покои царевны и что туда они за нею войти не посмели.

— Ну, да куда ж и выбежать ей, как не к своей заступнице, — раздумчиво произнесла Настасья Максимовна, — ты уж, батюшка, обожди, — обратилась она к Тороканову, — пойду я к княгине Марье Ивановне, поведаю ей обо всем, пускай она государыне доложит, как та прикажет.

Она кивнула головою Тороканову и пошла разыскивать княгиню Хованскую.

VIII

Как ни была бойка и неустрашима Маша, но все-таки то, что с ней случилось, это неожиданное обвинение, не могло в конце концов не смутить и не перепугать ее. С детства живя в тереме и притом развившись очень рано, она отлично понимала все особенности окружавшей ее жизни. Отличаясь живостью и любопытством и по свойству своей организации неспособная сидеть на одном месте, думать и интересоваться одним и тем же, она наслушалась всевозможных рассказов о теремных историях и делах, бывших еще до

нее. Таким образом, она очень хорошо поняла всю опасность своего положения.

Она знала, что справедливости и выяснения правды нельзя ждать от следствия: достаточно того, что страшное слово произнесено. По прежним примерам ей известно было также, что заpiresательство в таких делах не ведет ни к чему: раз кого-либо обвиняют, хотя бы без всякого основания, по одному лишь наговору, следует или тотчас же сознаться в несуществовавшем преступлении, или ожидать пытки. Дьяк Тороканов не просто пугает: что он сказал, то и будет, по крайней мере, всегда так бывало. Одна надежда на заступничество царевны.

И вот Маша бежит к своей приятельнице, с каждым мгновением чувствуя, как страх и ужас охватывают ее все больше и больше.

«Куда ты? Куда? Остановись, полоумная!» — кричат ей, но она ничего и никого не видит, она вырывается из рук тех, кто хочет удержать ее, и наконец достигает того покоя, где царевна Ирина проводит обыкновенно большую часть дня в обществе то княгини Хованской, то боярышень и где она занимается своими любимыми рукоделиями, в которых так искусна.

Вбежала Маша и видит — царевна не одна, но кто с ней, того она не разбирает. Она видит только Ирину, единственную свою защитницу, кидается перед ней на колени и с прорвавшимися неудержимыми рыданиями вопит:

— Царевна, золотая! Спаси ты меня, пытать хотят! Напраслину на меня возводят.

Царевна побледнела, поднялась с места и совсем растерялась. На лице ее изобразился ужас, она сразу почувствовала, что случилось какое-то несчастье.

«Пытать! Значит, все открыто».

Но рядом с царевной сама царица Евдокия Лукьяновна. Царица, конечно, не ждет никакого несчастья, не чувствует за собою никакой тяжкой провинности, а потому относится хладнокровно к этому трагическому появлению Маши, к ее воплям и непонятным словам.

Царица имеет вид и печальный, и болезненный. В это последнее время она, на глазах у всех, совсем извелась; здоровье ее, несмотря на всякое береженье, давно уже плохо, а тут это мучительное дело — сватовство королевича.

Много горя и страха переиспытало материнское сердце. Сразу почуяла царица, что не к добру затеяно сватовство это, что ничего путного из него не выйдет. Говорила она о том царю, но он и слушать ее не хотел, уверял, что все сделается само собой, доказывал ей всю желательность этого брака, а ведь вышло по ее, по царицыному, не ладится это дело, да, видно, и не суждено ему сладиться.

А царь волнуется, а царь тоскует. Не далее как накануне в беседе с женою он сказал ей:

— Плохо мне, Авдотьюшка! В гроб сложит меня зятек нареченный, уперся на своем и стоит: не стану, мол, креститься! Ну а сама понимаешь, нешто за нехристя можно нам дочь выдать?

— Да ведь я ж тебе говорила, что так будет, ты не хотел меня слушать. Бабы, мол, речи; все, мол, мы знаем, все устроим, вот и устроил теперь с боярами, срам один да горе!

Рассердился царь, поднялся, дрожит, за сердце ухватился. «Худо мне!»— говорит. И сказал таким глухим, страшным голосом, а сам потемнел весь. Уж и не помнит она, как людей дозвалась, как увела его в опочивальню, на постель уложила, за дохтуром послала. Прибежал дохтур-немец, долго с царем возился, и грудь, и спину ему стучал, и мазями всякими растирал его, сварил и заставил его выпить травы какие-то душистые.

Успокоился царь, заснул, да что в том проку? Нынче с утра ему не лучше, лежит и не встает с постели. Ну, а муж болен — жена добрая больна с ним вместе, сосет у нее сердце тоска... голова как-то кружится, руки и ноги дрожат. Пришла вот она к дочке любимой, Иринушка тоже сидит с рукоделием, бледная, невеселая.

Как ни наказывала царица, чтобы никто ни одним словом не смел проболтаться перед царевной про басурманского королевича, да, видно, все ж таки дошли до нее слухи, видно, многое она знает, а то с чего бы ей быть скучной да бледной. Решилась царица выведать у дочки, что же именно она знает? Хотела она всячески ее успокоить. А тут вдруг ворвалась эта девчонка.

— Встань и не вопи! — строгим голосом сказала царица Маше. — Да и как ты смеешь так врываться? Нешто не видишь меня?

— Матушка государыня, прости ты меня! — прорыдала она. — Прости! До смерти напугали меня, обидели, сама не своя... не заметила тебя, государыня, прости Христа ради!

У Маши был такой отчаянный вид и в словах ее слышалось столько мученья и правды, что царица, всегда добрая и жалостливая, и на сей раз осталась себе верной. Гнев ее прошел.

— Говори, — сказала она уже гораздо более мягким голосом, — что такое с тобой сделали? Чем тебя обидели? Наверное, пустое...

Маша, сдерживая рыдания и мало-помалу приходя в себя, насколько могла толково передала, в чем дело.

Царевна Ирина от слов ее бледнела все больше. Маленькая, хорошенькая рука ее, лежавшая на пальцах видимо дрожала. Она опустила глаза, не имея силы взглянуть ни на мать, ни на Машу. Правда, она ждала еще худшего, она думала, что все раскрыто, но и то, что услышала она от Маши, никак не могло ее успокоить.

Ни на одну минуту не сомневалась она в том, что Маша хоть умрет, а ее не выдаст, но ей было мучительно жаль свою приятельницу, и она сразу хорошо сознала себя виновницей всего, виновницей беды, которая стряслась теперь над этой преданной ей подругой.

— Матушка! — наконец воскликнула она, обращаясь к царице. — Хорошо, что ты здесь, что все от нее услышала! Прикажи, государыня, чтоб ее больше не трогали; ведь сама видишь, она ни в чем не виновата. Какая там разрыв-трава! Пустое все это, один наговор, по злобе... знаю я эту самую Пелагею, давно она на Машутку злобствует...

— А я знаю, — серьезно перебила ее царица, — что ты давно Машутку покрываешь: княгиня Марья Ивановна еще вчерась мне о том говорила.

Между тем Маша упала теперь на колени перед киотом с образами и, крестясь, клялась, что она ни в чем не повинна, что никакого корешка у нее не было и никакого вора она не знает.

— Ладно, — сказала царица, — разберем мы это дело; коли невиновна ты, так тебе и бояться нечего.

Но Маша со свойственной ей быстротой и живостью впечатлений уже пришла в себя и снова все ясно сообразила. К ней снова вернулась ее смелость.

— Коли так, государыня, — воскликнула она, — коли не защитишь ты меня, так все равно я пропала! Я ведь уверяла дьяка, а он ничего знать не хочет, твердит одно: либо винись во всем сейчас же,

либо пытка! Не могу я повиниться в том, чего не было, значит, вот и поведут меня на пытку! Помилуй, государыня! Помилуй, царевна!

В это время у двери показалась княгиня Хованская, а за ней выглядывало смущенное и возбужденное, побагровевшее лицо Настасьи Максимовны.

— А! Так ты здесь? Ну еще бы!-воскликнула княгиня Хованская, увидя Машу.

— Да, вот ворвалась. Хороши тут у вас порядки! — усталым голосом проговорила царица.

Княгиня как-то вся съежилась, сделала несчастное лицо и в то же время бросила сердитый взгляд на Машу.

IX

Несмотря на заступничество царевны, несмотря на то что и царица, ввиду уверений и слезных просьб дочери, была очень склонна считать Машу невинной, все же положение девушки оказалось довольно затруднительным.

Следствие уже производилось: страшное обвинение на Машу было возведено в присутствии многих свидетелей, записано дьяком и освободить ее, признать непричастной к делу было почти невозможно, не подняв ропота в тереме.

Пелагея ненавидела Машу не со вчерашнего дня, ненависть эта началась очень давно, и первой ее причиной оказалось такое обстоятельство: у Пелагеи была дочка Машиных лет, и она, определяясь в терем, хотела пристроить ее вместе с собою с тем, чтобы девочка находилась при царевне. Это было почти уже обещано ей, но вот подвернулась Маша, и все изменилось. Пелагеина дочка не понравилась царевне, а Маша сделалась ее любимицей. Этого обстоятельства, конечно, было совершенно достаточно для того, чтобы от природы злая и неразборчивая в средствах женщина почувствовала непримиримую ненависть к царевниной любимице.

— Уж отплачу я тебе! Уж будешь ты меня помнить, вовек не забудешь! — злобно говорила сама себе Пелагея, встречаясь с Машей.

А тут еще свойство Машиного характера добавило яду: Маша была великой насмешницей, подмечала во всех смешные стороны и слабости и при случае умела отлично передразнить кого угодно.

Пелагея много раз узнавала, что Машутка и над ней потешается, поэтому она пользовалась случаем, чтобы раздражать против ненавистной ей девочки всех и каждого, а в особенности Настасью Максимовну. Сколько напраслин возвела она на Машу! Давно бы уж и достигла она своего, давно бы ее погубила, если бы не охраняла ее любовь к ней царевны. А тут такое дело! Все само собой так в руки и давалось.

Пелагея с каждым днем что-нибудь да прибавляла к своим показаниям против Машутки.

Главное же, все это являлось таким простым и естественным образом: девчонка озорная, весь терем тому свидетель, девчонка бегаёт, через заборы лазает, неведомо куда пропадает.

Против этого никто возразить не может, и прежде всего Настасья Максимовна, хоть, видимо, и хочет она теперь обелить ее для того, чтобы подслужиться к царевне. Все же не может она скрывать правду: ведь она сама не раз искала Машутку по всему терему и никак не могла доискаться.

Ну вот бегаёт, пропадает девчонка, где-нибудь спозналась с вором, слюбилась с ним, он и подговорил ее, дал ей разрыв-траву. Она ему указала, где он, не заходя далеко, может добром поживиться. Да и чулан-то этот ей, Машутке, хорошо известен: Настасья Максимовна ее в него запирала.

Все просто и понятно. Если же обелить Машутку, то за кого взяться? Ониська, у которой одежда украдена, — дура дурой, и заподозрить ее виновность в этом деле никто не хочет, что ж, сама Пелагея, что ли? Оно, конечно, и такое быть может, всякое бывает, но главное дело в том, что весь терем, как один человек, показывает на Машутку. Все самым искренним образом считают ее единственной виновницей — и этого убеждения ничем не изменишь. Это убеждение и является первой и главнейшей против девочки уликой.

Все же стоит за свою любимицу царевна, царицу на свою сторону переманила, но приходит княгиня Хованская и говорит царице:

— Что же тут делать? Нельзя это так оставить! Все, как один человек, твердят: Машуткиных рук это дело... Дьяк требует ее к ответу...

Царица не знает, как ей и рассудить. Жаль ей дочернюю любимицу, да и девочка перед нею так клялась, так божилась, так

горько плакала...

— А сама-то ты, княгиня, как полагаешь? Неужли и впрямь она виновна?

— Кто ее ведает! — пожимает она плечами. — Сдается мне, что не может она пойти на такое дело, а коли все, как один человек, против нее — недаром это... да и на кого подумаешь?

Но царевна знать ничего не хочет. Она не отпускает теперь от себя Машу. Она, всегда послушная и часто робкая, так и уцепилась за свою любимицу: не отпущу, мол, не троньте! — и только.

Что ни говорит ей мама, княгиня Марья Ивановна, она отвечает только слезами.

— Не виновата она, не дам ее пытать да мучить!...

Остановилось следствие. Тихий, тайный ропот идет по терему:

— Такого еще у нас не бывало! Девчонка озорная, воров в терем водит, разрыв-траву достает, при себе держит, а подступиться к ней нельзя! Что же это будет? Ведь этак она всех морить станет. Как кто ей не показался — она сейчас засыплет отравы и опоит!

А Пелагея мутит всех, подзадоривает. Дьяк Тороканов тоже молчать не желает. Он обижен, возмущен, — поручили ему следствие, да и руки связали!...

Прошло несколько дней, и уже по всей Москве стали ходить самые невероятные слухи о теремном деле. Кто пустил эти слухи — никому не ведомо, но всюду толкуют о том, что в тереме поймали вора с разрыв-травой; о том, что там нашлась такая девка-злодейка, которая душегубством занимается, больше десятка теремных прислужниц перетравила, на тот свет отправила... И невесть что болтают. Побледнела, осунулась Маша. В бойких глазах ее появилось новое выражение — выражение испуга. Не слышно и не видно ее, таится она ото всех, по уголкам в царевниных хоромы прячется, старается быть как можно ближе к своей царевне. Знает и чувствует она, что вот только стоит отойти ей — и кинутся все на нее, как звери лютые, и растерзают ее на части.

Грустит и томится царевна; томит и смущает ее не одно Машино дело, а и то тайное дело, из-за которого обрушилась теперь такая напасть на Машу. А главное — лишена она возможности потолковать с Машей с глазу на глаз. Стерегут теперь, не по царицыну приказу, а по

тайному какому-то соглашению между собою, все стерегут и ее, и Машу.

Долго не удавалось девушкам остаться наедине, но как ни стерегли их, а все же в конце концов улучили они удобную минуту.

— Не бойся, Машуня! Христа ради, успокойся, — не выдам я тебя ни за что на свете! — шепчет царевна, обнимая Машу.

Но та горько вздохнула.

— Верю — не выдашь! Не захочешь выдать, так заставят. Каждую минуту дрожу — силой меня у тебя отнимут и потащат на пытку.

Вспыхнули ярким румянцем щеки царевны, загорелись небывалым огнем голубые глаза ее.

— Нет! Не бывать тому! — уверенным голосом воскликнула она. — Не бывать! А потащат тебя силою — пусть и меня тащат тоже на пытку, и я тоже всем скажу правду: я во всем виновата, никакого вора — вор тот королевич! Не за одежей приходил он в терем, а за мною. Ради меня ты бегала, через забор лазила и без разрыв-травы, одною хитростью, ко мне привела его. Я во всем виновата...

Но Маша не согласна с этим. Хоть и бесенок она, хоть и мало кого любит, хоть и готова подчас на всякую злую шутку, на всякое издевательство над человеком, хоть и запугана она теперь и при одной мысли о пытке вся холодеет — все ж таки не согласна она признать вину за царевной. Сознает она, что не будь ее, Машутки, и ничего такого не случилось бы — где ей, царевне! Разве бы она надумалась? Разве бы она решилась — в чем же вина ее?

— А я скажу, что ты по доброте своей, царевна, на себя клеплешь, — решительно объявила Маша.

— А я скажу...

Но что такое хотела сказать царевна — осталось неизвестным: в эту минуту зашевелилась ручка у двери и Маша в один прыжок очутилась в уголке и приняла свою обычную в таких случаях скромную и почтительную позу.

X

В то время как благодаря заступничеству за Машу не только царевны Ирины, но и самой царицы, а также княгини Хованской и

отчасти Настасьи Максимовны дело о краже в тереме и разрыв-траве затыгивалось — нежданно поднялось другое дело.

Это новое дело не имело отношения к терему, не носило на себе фантастического отпечатка и оказывалось посерьезнее.

Вяземский воевода, князь Пронский, прислал в Москву священника села Большого Покровского, по имени Григорий. Этот священник явился в приказ и показал, что к ним на село приехал из-за рубежа его сын с двумя беглыми людьми, Тропом и Белоусом.

Троп и Белоус объявили ему, попу Григорию, что они прямо из Смоленска и там узнали о большом государевом деле. Пришли в Смоленск от датского королевича из Москвы два человека: Андрей Басистов и Михайло Иванов, принесли с собою грамоты. Басистова Троп и Белоус давно уж знают, и вот он, по дружбе, прочел им эти грамоты. В грамотах пишется к смоленскому воеводе о том, можно ли Андрею Басистову верить, что он датского королевича из Москвы проведет в литовскую землю проселочными дорогами.

Воевода смоленский после того допрашивал мещан и лучших людей, и они ему поручились за Басистова и сказку за Басистова заруками ему дали, что ему верить можно.

Тогда воевода смоленский написал датскому королевичу в Москву, чтобы он в Басистове не сомневался и ему верил.

Обо всем этом тотчас же было доложено царю, и Михаил Федорович приказал попу Григорию выследить Басистова, опознать его тайным образом.

Для того чтобы Басистов не мог никак узнать попа, Григорию укоротили бороду и с обеих сторон выстригли усы.

Не прошло и недели, как поп Басистова нашел и привел его в посольский приказ. Тогда государь велел немедленно боярину Федору Ивановичу Шереметеву и думному дьяку Львову расспросить Басистова, «пытать его и на очные ставки с Тропом, попом Григорием и Белоусом ставить, для того чтобы про такое великое воровское дело сыскать вовремя».

Под крепким караулом, связанного, привели Басистова на житный двор. Мужик он был ражий, по-видимому, обладавший большою силою, с лицом смелым, смышленным и живыми пронизательными глазами, но когда связанным предстал он перед боярином и дьяком, то, видимо, оказался перепуганным не на шутку, побледнел и на

обращенные к нему вопросы о том, кто он и откуда, не сразу даже мог ответить.

— Молчать станешь — так попытают, — обратился к нему Львов с обычным ободрением.

Басистов заговорил.

— Родом я из Вильны, — сказал он, — служил казачью службу, а теперь живу в Смоленске и торгую с мещанами.

— Зачем же ты здесь, на Москве, оказался?

— Да вот приехал для своей бедности с табаком.

— Полно, с табаком ли? — усмехнулся Львов. — Не для того ли приехал, чтобы королевича датского из Москвы в литовскую землю вывести?

Басистов перевел дух и довольно решительно ответил:

— Нет! Слышал я это точно, про датского королевича, только совсем его не знаю и вывести из Москвы никому не обещался, а вот что правда, то правда... хотел я вывести с собою... только не королевича, а его ловчего. Ловчий этот посулил мне пятьдесят рублей, только солгал, денег не дал... Про королевича я ни от кого и слова не слыхал... и в уме у меня того не было, поклепали меня в том напрасно.

— Ведите его! — распорядился Шереметев.

И повели Басистова через двор в избу, дали ему встряску — молчит. Пождали немного, дали другую, застонал он, замычал сильно и все-таки виниться не хочет. Стали отсчитывать ему удары, на пятом закричал:

— Ослобоните! Невмоготу! Ведите к боярам... во всем повинюсь...

Привели его к Шереметеву и Львову. Едва он на ногах держался и точно, повинился.

— Хотел, — говорит, — вывести королевича из Москвы в Смоленск, да не один, а вместе со смолянином Михайлой Власовым. Он, Власов, уже давно живет в Москве и торгует табаком.

— Как же ты уговорился с королевичем? Где его видел? — спросил Шереметев.

— Нигде не видал, не с ним уговаривался, а с его ловчим. Сулил мне за это ловчий сто рублей; ждал я королевича недели с три и больше, а потом ловчий пришел ко мне и сказал, что делу этому не бывать, что королевичу выехать из города невозможно.

— Ну вот, — сказал дьяк Львов, — теперь ты уж говоришь другое, оно хоть и не совсем, а все же на правду похоже. А про табак ты что сказывал? Табак тут при чем?

— Привез я в Москву восемь пудов табаку, — объяснил Басистов, — пуд продал, взял за него пять рублей, два пуда табаку у меня украли, а пять пудов я спрятал на Ходынке, в лесу закопал их в землю.

— Ну пока довольно! Уведите его, — распорядился Шереметев и тут же приказал разыскать табак и тех людей, которым продавал его Басистов.

На следующий день стрельцы притащили пять человек — того самого смолянина Михаилу Власову, с которым Басистов хотел вывести королевича, да еще четырех дорогобужан. Оказалось, что прятались они с табаком в гумнах против Бутырок, в деревне князя Репнина.

Прежде всего обратились к Власову, и так как он начал с того, что ничего не знает, его прямо стали пытаться.

С пытки он сказал, что действительно слышал от Басистова о том, что тот хочет вывести из Москвы королевича, но сам он в этом деле не принимал никакого участия.

Тогда Шереметев и Львов опять призвали Басистова и стали его допрашивать.

— Скажи ты нам, смоленский воевода Мадалинский что с тобою приказывал? И король с панами радными знают ли про это дело?^[126]

— Мадалинский мне приказывал, — отвечал Басистов, — чтобы я всей Речи Посполитой сделал добро — королевича в Литву проводил, чтобы впредь из-за королевича литовским гонцам не ездить через их имения и убытков королевской казне и им не делать. А король и паны радные о том не знают.

— Ну а скажи теперь допряма, когда же ты с королевичем-то виделся? — спросил Львов.

— Ведь я уж говорил, что ни разу не видал королевича и в лицо его не знаю. Вот те Христос! Истинная это правда! — уверял Басистов. — Толковал я с ловчим королевичевым, его только одного, из всех датских людей, и знаю.

— Как же ты узнал его?

Басистов замялся было, но, сообразив, что сейчас, если не скажет правды, его поведут опять пытаться, объявил:

— А с ловчим свел меня немец Захар, стекляничный мастер, да зять его, Данила.

Увели Басистова, и тотчас же Шереметев, конечно, приказал достать немца Захара и Данилу...

Дело кипело, и ежедневно на житный двор приводили новых людей, допрашивали их, пытали, но ничего нового узнать не пришлось.

Королевич хотел бежать из Москвы, поручил устроить это дело своему ловчему, который действовал через московских немцев, имевших доступ во двор датского посольства, но так как стража, следившая за королевичем, была сильна и после первой попытки бегства неусыпна, королевич должен был отказаться от своих планов.

XI

Медленно тянулось время, не принося Вольдемару ничего нового, никакого утешения, никакой надежды.

Прошло все лето, началась осень, затем зима надвинулась. Датчанам разрешалось выезжать со двора, кататься по Москве, но с таким конвоем, что нечего было и думать о каком-либо решительном новом действии.

Королевич за это время сильно переменялся, с лица осунулся, стал молчалив и ко всему как бы получил отвращение. Ничто его не занимало, не развлекало.

Иногда по целым дням лежал он на лавке. Порывы бешенства, отчаяния — все это прошло. Он убедился, что ничем не может помочь себе, что должен ждать помощи извне и нет у него никаких способов поторопить эту помощь. Появление Маши, свидание его с царевной представлялись ему далеким сном, от которого осталось только смутное, сладкое воспоминание.

К нему не доходило не только никаких вестей из терема, но даже и с царем он не видался ни разу. Всякая пересылка грамот, всякие переговоры были кончены, и с той и с другой стороны все уже оказывалось сказанным.

О чем было теперь говорить? И так слишком долго толковали об одном и том же; обе стороны крепко стояли на своем.

Конечно, королевич хорошо понимал, что от него зависит выйти из этого невозможного положения. Ему стоит только согласиться на требование царя и московитов.

Некоторые из его приближенных, не зная, что и делать, советовали было ему изъявить согласие на переход в православную веру, исполнить все обряды, спасти этим себя и своих людей, а потом, при первой возможности, снова вернуться к лютеранству.

Эти советы для королевича были большим соблазном. Он подолгу, с раздражением и злобой думал о том, как он оплатит своим мучителям.

Ну да, хорошо, он примет для виду православие; женится на царевне, но так как все это будет вынужденным, неизбежным для спасения свободы и жизни, — потом он уедет с женою в Данию и насмеется над своими мучителями.

Такие планы роились и развивались в горячей голове его; сердце кипело. Но вот проходили часы злобного раздражения, и благоразумие взяло верх. Он начинал ясно видеть, что такой образ действий и недостойн его, и чересчур рискован. В нем поднималась гордость, самолюбие, чувство собственного достоинства, и он уже не слушал своих советников и на все слова их только качал головою.

— Прежде всего неизвестно, спас ли бы я себя этим? — говорил он. — А главное, я не хочу обманывать ни людей, ни Бога, не хочу действовать так, чтобы отец мой мог меня стыдиться. Лучше умру, но останусь достойным сыном короля Христиана.

И тянулись скучные, однообразные дни, недели, месяцы.

— Не мытьем, так катаньем, а дойдем мы «немца»! — толковали ближние бояре.

Однако все же пришлось сделать некоторые уступки. Из Дании от короля Христиана пришли к датским послам грамоты, и после долгого обсуждения решено было гонца пропустить, чтобы не нажить какой-либо большой беды и чрезмерных обвинений.

Послам датским разрешено было явиться к царю и представить полученную ими от короля грамоту.

28 ноября Пассбирг и Биллей были у государя с грамотами. Король Христиан, изумляясь столь непонятно долгому молчанию и

проволочке, требовал, чтобы царь исполнил все то, в чем обязался по договору, заключенному с Петром Марселисом. В противном же случае чтобы он отпустил королевича и послов с честью.

Целый месяц молчал царь и только 29 декабря призвал к себе королевича.

Вольдемар даже отступил и вздрогнул, увидев царя, — так его поразила происшедшая в нем перемена. Перед ним был будто другой человек, ему совсем неизвестный.

Михаил Федорович сильно состарился, как-то опух. Цвет лица его был темен, в глазах никакого блеску. Он встретил Вольдемара уже не с прежней ласкою, да и королевич смотрел на него с едва скрываемой ненавистью.

— За что, ваше царское величество, вы меня так мучаете? — начал он прямо. — Зачем берете такой тяжкий грех на душу? Я перед вами ни в чем не повинен: я ни от чего не отступался и не отступаюсь. Сколько раз просил я отпустить меня, теперь вот и король, отец мой, того же просит, того же требует. Нельзя меня держать силою, если вы не желаете исполнить договор, заключенный вами с отцом моим.

Царь громко вздохнул и с большим трудом хриплым голосом проговорил:

— О чем тут толковать, нельзя тебе, без перекрещения, жениться на царевне Ирине, и отпустить тебя в Данию тоже нельзя, потому что король Христиан отдал тебя мне, царю, в сыновья. Крестись в нашу православную веру и будь мне сыном.

Королевич только блеснул глазами, сжал себе руки так, что они хрустнули, и молчал. Замолчал и царь, только было слышно, как тяжело он дышит.

Так и кончилось это свидание. Прошло еще несколько дней. Новый, 1645 год настал.

9 января^[127] королевич написал царю:

«Бьем челом, чтобы ваше царское величество долее наг не задерживали; мы самовластного государя сын, и наши люди — все вольные люди, а не холопья; ваше царское величество никак не скажете, что вам нас и наших людей, как холопов, можно силою задерживать. Если же ваше царское величество имеете такую неподобную мысль, то мы говорим свободно и прямо, что легко от этого произойти несчастью, и тогда вашему царскому величеству какая

будет честь перед всею вселенною? Нас здесь немного, мы вам грозить не можем силою, но говорим одно: про ваше царское величество у всех людей может быть заочная речь, что вы против договора и всяких прав сделали то, что турки и татары только для доброго имени опасаются делать. Мы вам даем явственно разуместь, что если вы задержите нас насильно, то мы будем стараться сами получить себе свободу, хотя бы пришлось при этом и живот свой положить».

Получив это письмо, царь послал на королевичев двор Шереметева, приказав ему сказать датским послам, чтобы они королевича унимали, чтобы он мысль свою молодую и хотение отложил. Если же, по его мысли, учинится ему какая-нибудь беда, то это будет ему не от государя и не от государевых людей, а самому от себя.

Послы на это отвечали Шереметеву, что они тут ни при чем, что королевич совещається не с ними, а со своими приближенными...

И опять потянулись скучные, холодные зимние дни. Королевич написал отцу, рассказав подробно обо всем и умоляя поскорее прийти к нему на помощь, выручить его, а не то он или с ума сойдет, или руки на себя наложит.

Письмо это было вручено гонцу, но очутилось в посольском приказе.

Для того чтобы Вольдемар не исполнил своей угрозы, не наложил на себя руки, его стали развлекать всячески. Устроили для него медвежью облаву, потом возили его на царскую потеху, на бой кулачный.

Пришлось поневоле всем этим развлекаться, во всем этом находить удовольствие, иначе действительно можно было сойти с ума.

— И нет никого, кто бы за меня заступился, кто бы внушил этим людям, что нельзя так поступать, как они поступают! — жаловался Вольдемар своим послам.

Наконец Пассбург нашел союзника, в дело вступился польский посол Стемпковский, но как вступился! Он пришел к королевичу и стал его уговаривать исполнить царскую волю.

— Подумайте, принц, — говорил Стемпковский, — ведь царь, раздраженный вашим упрямством, может соединиться со Швецией против Дании, тогда вас заточат в дальние страны — подумайте хорошенько об этом!

Королевич подумал и послал Стемпковскому свой ответ в письме: «Я могу уступить только в следующих статьях, — писал он, — Пусть дети мои будут крещены по греческому обычаю.

1) Я буду стараться посты содержать сколько мне возможно без повреждения здоровью моему.

2) Буду сообразоваться с желанием государя в платье и во всем другом, что не противно совести, договору и вере. Больше ничего не уступлю. Великий государь грозит сколько хочет, пусть громом и молниєю меня изводит, пусть сошлет меня на конечный рубеж своего царства, где я жизнь свою с плачем скончаю, и тут от веры святой не отрекусь; хоть он меня распни и умертви. Я лучше хочу с неоскверненной совестью честною смертью умереть, чем жить с злою совестью. Бога избавителя своего в судьи призываю. А что королю, отцу моему, будет плохо, когда великий князь станет помогать шведам против него, то до этого мне дела нет, да и не думаю, чтобы королевства датское и норвежское не могли справиться без русской помощи. Эти королевства существовали прежде, чем московское государство началось, — и стоят еще крепко.

Я готов ко всему, пусть делают со мною что хотят только пусть делают поскорее!»

Но больше того, что уж было сделано, с Вольдемаром ничего не делали.

— Крепкий паренек, выносливый, — толковали про него ближние бояре царские, — а все ж таки мы его переупрямим. Год выдержал, другой выдерживает. А не наступит еще конец второго года, сдастся он, чай жить тоже хочется, а это что за жизнь! В плену! Еще как обойдется-то! И вот как, Бог даст, уладится все, пройдет год-другой, сам станет на себя дивиться: из-за чего так долго ломался. Выдержать только надо, не уступать. Хоть мягок государь, а в этом деле он не уступит!...

И не уступал Михаил Федорович. Он знал, как и все знали, что хоть помирать, а в таком деле уступить невозможно. И помирал он от этого дела, тоскуя и мучаясь, ни в чем не находя себе утешения.

С каждым днем чувствовал он себя все хуже и хуже. Опять прошумели весенние воды, опять тепло, греет солнце, но царю холодно, знобит его, и никак не может он согреться. Дохтур уговаривает его делать побольше движений, быть на чистом воздухе.

Встанет царь, пойдет — ноги подкашиваются, дышать нечем. Нет, лежать лучше!

Возвращается он в свою опочивальню, ложится на кровать широкою и думает невеселые думы.

XII

Неоткуда взяться у царя спокойным и радостным думам. Не одно это несчастное дело с королевичем его мучает — со всех сторон приходят тревожные, смущающие вести. Будто мрак какой отовсюду надвигается, окутывает царя и дышать ему не дает.

Великий царь всея Руси, самодержец! Ведь живы еще люди, немало их осталось, которые в глубине сердца, конечно от всех тая свои мысли и чувства злобы, завидуют его доле. Помнят эти люди Михаила Федоровича робким и скромным отроком в семье боярской в смутное время.

Странна была эта семья, залегла в ней какая-то тайная, особенная сила. И отец, и мать Михаила Федоровича были люди необычайной крепости, твердой воли, большого разума; про них говорили: «Нашла коса на камень». Близкие родственники полагали, что не добром кончится брак Федора Никитича — жена ему не уступит, он перед нею не согнется, пойдут беды всякие, раздоры, ненависть...

Но ничего этого никто не видел. Ни Федор Никитич, ни боярыня его из избы сору не выносили. Что было между ними и как они поладили, осталось их тайной. Не дали они потешиться над собою языкам людским, разошлись втихомолку для Божьего дела. Она стала инокиней, он — иноком. Но не таковы они были люди, чтобы ограничить свою жизнь четырьмя стенами тесной кельи...

На руках строгой, разумной и честолубивой матери воспитывался Михаил.

Федор Никитич, превратясь в Филарета, служил великие службы своей родине. Выносил он польскую неволю, не дрогнул и спокойно ждал лучшего времени.

Инокня вырастила сына и — невидного, неслышного отрока, о котором никто не думал, которого мало кто знал, — посадила на престол московский. Народ его выбрал по Божьему соизволению. Да, народ, да, конечно, в избрании его был виден перст Божий; но первым

орудием Божьей воли все же была эта сильная волей и разумная инокиня. Не будь у юного Михаила такой матери, быть может, иная выпала бы ему доля!

Дождался Филарет Никитич лучших времен, вернулся он из тяжкой, долгой неволи и оказался истинным распорядителем судеб России. Наложил он свою могучую руку, свою несокрушимую волю на все дела, крепко ухватил он новосозданный престол своего сына и в трудное время, среди едва утихнувшей бури, оставившей неисчислимы следы разрушения, держал этот престол до тех пор, пока не почувствовал его поставленным на твердую, непоколебимую почву.

Сын оказался не совсем в отца и в мать. Он склонен был больше слушаться своего сердца, чем разума. Мягкого характера, богобоязненный, без отцовской и материнской опоры и поддержки никак не мог бы он удержаться на своем месте. Но мать воспитала в нем послушного сына, и не способен он был выйти из родительской воли.

Он был верным эхом отца и матери, и в конце концов, отходя в иной мир, оба они сумели-таки вложить в него, несмотря на всю мягкость его характера, несмотря на его невольное стремление слушаться своего сердца, те разумные, твердые взгляды, которыми он должен был руководствоваться как царь и как человек.

Потом, уже без них, не раз готов он был дрогнуть и отступить от какого-нибудь серьезного решения, но всегда в таких случаях вставали перед ним, как живые, родители, и он явственно, почти физически, слышал их голос и оставался, как и в прежние юные дни, послушным этому знакомому голосу. Оба они умерли, но дух их жил у московского престола, жил и действовал.

Нередко случалось, что Михаил Федорович, приняв какое-нибудь решение, давая согласие на какую-нибудь меру строгости, чувствовал себя очень неловко: его чуткая совесть начинала упрекать его в жестокости. Но строгий голос отца звучал над ним.

«Или забыл ты, чему я учил тебя? Я, патриарх, служитель Божий, не смущался таким делом, не боялся, что меня назовут жестоким. Я говорил тебе, что венец Мономаха, возложенный на твою голову, принуждает тебя к многому. Ты должен забыть, забыть все и помнить только о том, что твоя первая обязанность — величие и крепость твоей

родины, что для этой крепости все тебе разрешается. Если ты исполнишь великий долг свой, тебе простится многое, не исполнишь его, поступишься чем, хотя бы ради доброго чувства, и все с тебя взыщется сторицею.»

Вслушивался царь Михаил в эти слова, и замолкали все его сомнения, и крепло сердце, будто одеваясь железною броней...

«Чти отца твоего и мать твою и долголетен будешь на земле»^[128].

Святое исполнение этой заповеди обещало царю Михаилу долголетие, и вот, когда в нестарые еще годы, он уже чувствовал приближение не только старости, но смерти, смущало его это обетование. Как ни искал он в глубине души своей и в тайниках своей памяти какой-нибудь вины против заповеди, не находил он ее.

По совести, с чистым сердцем, как на духу, мог он сказать, что был верным, почтительным сыном, что, хоть и трудно ему приходилось порой от крутого отцовского и материнского нрава и тяготила иной раз долгая отеческая опека, он оставался непреклонным. Никакие искушения не отвлекали его хоть на миг один от исполнения великой заповеди, а долголетия, видно, нет, видно, все же хоть и не знает чем, а провинился он!

Он не знал, этот первый царь новой династии, что ему уготовано иное великое долголетие, именно то долголетие, обетование которого и звучит в словах заповеди Божьей. Заповедь обмануть не может. Она говорит о долголетьи в потомстве, о крепости на земле того, кто строит дом свой на твердой основе лучших отеческих преданий.

Страдал, болел и, видимо, приближался к преждевременной смерти царь Михаил, но престол русский, устроенный, укрепленный патриархом для сына, получал с годами все больше и больше твердости и являл несомненные признаки обетованного долголетия.

Царь Михаил, верный и послушный сын отца своего, не забывая отцовских советов и вслушиваясь постоянно в родительский голос, неустанно работал над укреплением того, что составляло истинные основы для долголетия его рода... И все шло хорошо. Милость Божия была над царем и над Россией. Оправлялось мало-помалу государство от таких бед, от такого разгрома, перенести которые, казалось, было совсем невозможно. Бывало временами очень трудно, грозили всякие опасности, но тяжкое время проходило, являлись новые обстоятельства и несли с собою успокоение, надежду.

А тут вот, в это последнее время, вдруг со всех сторон стали надвигаться черные тучи, будто вдруг разом исчезли прежние удачи.

Бывает такая полоса в жизни каждого человека, и ни золотой трон, ни высшее могущество, ни все богатства мира не могут избавить человека от такой полосы. Нахлынет волна, и ничего с ней не поделаешь! Одна за другой идут беды...

— Божье испытание! — давно уж говорит себе благочестивый царь и прибавляет в своих мыслях: «Не испытывает Господь сверх сил, надо быть твердым, надо не падать духом»

Но легко это сказать себе, легко понять всю необходимость этого, да трудно, подчас невозможно, совладать со своею слабостью. Коли и дух бодр — плоть немощна.

XIII

С каждым днем все немощнее и немощнее становится плоть царя Михаила. Каждое новое тревожное известие жестоко ударяет его в самое сердце, и трепещет сердце, болит, слабость оковывает все члены, дух замирает, дышать нечем. А тучи все сгущаются, беды все прибывают. Старое зло, которому, казалось, уже конец наступил, снова появилось. Приходят дурные вести о самозванцах. Приходят они из Турции и из Польши.

В октябре 1644 года греческий архимандрит Амфилохий прислал из Царьграда грамоту, извещающую, что два турка приехали к султану с грамотою, написанною по-русски, и просили переводчика. Вот им и указали на архимандрита Амфилохия. Прочел он их грамоту, но не понес ее к султану, а переслал ее в Москву.

В ней написано было такое обращение к султану:

«Милостивый и вельможный царь, смилуйся надо мною, бедным невольником. Ты мне отец и мать, потому что не к кому мне прибегнуть к другому. Когда я шел из земли персидской в польскую, то встретились мне твои люди, казну у меня взяли, самого меня схватили, к тебе не везут, а запродали жидам. Если ты надо мною смилуешься, то будешь отцом и матерью мне, грешному и бедному невольнику, московскому царевичу. Если по милосердию твоему овладею землею московскою, то будет она мне пополам с тобою».

Грамота эта подписана: «Князь Иван Дмитриевич, московской земли царевич, рука властная».

Но то далеко, в Турции, а вот гораздо ближе, в Польше, еще хуже дела делаются. Поляки не унялись, по-прежнему зло замышляют, по-прежнему готовят, воспитывают самозванцев. Один называет себя Семеном Васильевичем Шуйским, сыном царя Василия Ивановича, и доказывает свое царственное происхождение тем, что у него пятно на спине. Взяли будто его в плен черкасы^[129], когда царя Василия из Москвы везли в Литву, и с тех пор жил у черкасов. Теперь подскарбий коронный^[130] Данилович, по приказу шляхты и всей Речи Посполитой, держит его и бережет, учит русскому языку и грамоте.

А в Бресте-Литовском, в иезуитском монастыре, другой вор-самозванец. На спине у него, между плечами, тоже герб, и сказывается он сыном Лжедмитрия.

Царь послал в Польшу надежных людей с тем, чтобы всеми мерами добыть этих самозванцев, но первого не достали; поляки отговаривались полным неведением относительно того, куда он делся.

Между тем польские паны говорили в Кракове русским послам:

«Если у вас, послов, с панамы радными в государственных делах соглашения не будет, то у нас Дмитриевич готов с запорожцами и черкасами на войну».

Наконец, приехал к московским послам коронный канцлер Оссолинский и говорил, что король поручил им сказать, что он ради братской дружбы и любви великого государя не постоял бы за такого мужика, который выдает себя царевичем, но мужик этот не виноват ни в чем. Он не царевич и себя таковым не именует, он простого отца сын, из Подляшья^[131]. Воспитал его поляк Белинский и назвал царевичем, сыном Марины Мнишек. Этим он хотел выслужиться перед королем, но король велел отослать его к Гонсевскому, а тот стал его держать у себя и учить, полагая, что он может пригодиться, так как тогда были враждебные отношения между московским государством и Польшею.

Но ведь теперь заключен мир на вечное dokonчание, и никто того мужика царевичем не называет, скитается он без приюта по шляхтичам и о московском государстве не думает. Он поляк, а не русский и желает как можно поскорее сделаться ксендзом. Имя его Иван Дмитриев Луба, и выдать его царю как ни в чем не повинного человека невозможно: перед Богом грех и перед людьми стыдно.

Но послы московские: князь Львов, думный дворянин Пушкин и дьяк Волошенинов — на этом не могли успокоиться. Пустили они в ход все свое красноречие, убеждали панов всяким манером, так пристали к ним, с такою чисто московскою упрямою, что пришлось полякам сдаться. Поехал в Москву великий посол королевский, Стемпковский, и повез с собою самозванца Лубу.

Этот Луба, действительно ни в чем не повинный, несчастное орудие козней панов польских, оказался человеком тихим, робким, безобидным. Его воспитали, внушая ему мысль, что он московский царевич. Когда обстоятельства изменились и существование подложного царевича уже стало ненужным, ему объяснили, что он вовсе не царевич. Воспитали во всяком довольстве, дали порядочное образование, подготовили к той роли, которую, может быть, придется ему играть, а теперь взяли да и пустили по миру.

Луба примирился со своей участью, простил людям великую обиду, возмутительное издевательство над ним и стремился к одному — сделаться служителем Божьим, посвятить всю свою жизнь церкви и добрым делам.

Между тем в Москве все эти обстоятельства, изложенные Стемпковским, и самый вид несчастного Лубы не произвели никакого действия.

Лубу требовали от Стемпковского, но тот его не выдал. Бояре донесли об этом царю, и царь, не имевший ровно ничего против этого человека, знавший одно, что он не может допустить его существования ради спокойствия России, велел сказать Стемпковскому, что если Луба не будет отдан, то он, царь, боярам и думным своим людям ни о каких делах с ним, послом, говорить и его посольских речей слушать не велит.

Списались с польским сеймом и королем. Король ответил:

«Луба человек невинный, никакого лиха и никакой смуты не чинил и чинить не будет, но монашеского, духовного чина желает, и не для того он при нашем после к вам послан, чтобы его выдать, а только для того, чтобы невинность его и ни к какой хитрости неспособность перед вашим царским величеством была обнаружена. Вам, брату нашему, известно, что в нашем великом государстве нельзя и не ведется природного шляхтича выдавать, а если окажется виноватым, то его тут же и казнят. Но на Лубе никакой вины не объявилось, и вам бы

при великом после нашем этого Лубу поздорову отпустить не задерживая».

Таким образом, затянулось это дело, затянулось так же, как и дело королевича. Смущает оно царя, не дает ему покою. Порою кажется ему, что все против него, все действуют только для того, чтобы досадить ему, его принизить действуют от зависти.

А то придет и такая минута, — чувствует царь, что неладное что-то и он творит вместе с боярами. Вот и король относительно Лубы, и королевич с послами датскими относительно их отпуска пишут так вразумительно, что даже читать царю неловко. Никому он не желает зла, никакой в нем нет жестокости, желает он только блага и добра одной России, а выходит будто так, что он сам зачинщик всякой неправды, что творит он только жестокости: тут вот невинного человека требует, чтобы казнить его, здесь отказывается от договора и силою удерживает королевича пленником из-за того, что тот не хочет отказаться от своей веры!...

Приходит царю на мысль: «Ну а что кабы меня заставляли отказаться от нашей святой православной церкви!» Жутко царю и помыслить об этом, «Да, но ведь то Лютерова ересь, то басурманы! А коли королевич православие ересью считает?... Как же он может, как же смеет считать?»

Закипает больное царское сердце, и не может он никак разобраться в этих противоречиях, не может потому, что не умещаются они в голове его, не в таких взглядах воспитали его отец с матерью, а новых понятий о справедливости, о том, что можно и чего нельзя, взять еще неоткуда. Тяжко и тошно царю.

— Господи, помоги мне! Возри на слабость мою, не по силам мне испытание! — стонет он, и слезы муки стекают из потускневших глаз его по бледным опухшим щекам.

XIV

— Что, батюшка? Что, мой золотой? Опять, видно, неможется? — говорит царица, входя в царскую опочивальню и приближаясь к кровати, на которой лежит царь в обычной ему теперь позе, подложив руку под голову, на правом боку, так как на левом не пролежать и

минутки, — тотчас же будто под сердце вода подольет. Замрет оно, потом шибко заколотится, дух захватит.

Царь поднял усталые глаза на свою верную, Богом данную ему подругу и глядит на нее пристально. Видит он, и в ней за это время большая перемена, и поражает его перемена эта, несмотря на то что лицо царицы, по обычаю, все набелено, щеки нарумянены, глаза и брови подкрашены. Видит он перемену и в походке ее, в звуке ее голоса, в тихом вздохе, который она скрыть не может.

— Да и тебе, видно, тоже неможется, Дунюшка? — говорит он, указывая ей на кресло у изголовья своей кровати.

Она присела.

— Что ж обо мне-то толковать! Тебе, государю моему, хорошо — и мне хорошо, тебе худо — и мне худо.

— Это ты неладно рассудила, Дунюшка! — старается улыбнуться царь. — Изводить тебе себя, на меня гляючи, нечего. О детях должна думать.

— Невеселые думы!... Вот Иринушка совсем меня сокрушает...

Царица сама испугалась, как это так обмолвилась, как выдала царю ту тревожную мысль, которая теперь ее не оставляет, с которой она пришла и сюда, — да уж сказанного слова не воротишь...

— Что Иринушка? — спросил царь. — Нешто и она нездорова? Говори прямо, не то, хоть и трудно, сам пойду ее проведать, сам стану ее расспрашивать.

Царица махнула рукою.

— Да что расспрашивать! От нее ничего не добьешься, молчит она, ни на что не жалуется.

— Коли нездорова, полечить ее надо. Я и сам заметил, что она ровно похудела.

— Уж и не говори! — вздохнула царица. — С каждым днем худеет. По ночам плачет, княгиня Марья Ивановна сказывала.

Царица не замечала теперь, как она проговаривается. Хотела ничем не расстраивать больного мужа, испугалась своего первого слова, а теперь и высказывает все, что на сердце. Забыла она теперь сразу, в одну минуту, что он болен, что его беречь надо, думает только о дочери, видит только ее перед собою.

— Что ж ты об этом мыслишь? — тревожно спросил царь.

— Жених все наделал! — решительно высказала царица.

Михаил Федорович приподнял голову с подушек и сел на кровати.

— Да нешто она знает? Ведь приказывал скрывать от нее, ей про это дело до поры до времени знать нечего.

— Так, так! — кивала головой царица. — Я ли не наказывала строго-настрога, чтобы никто ей одним словом не проболтался, да как тут убережешь. Хоть день и ночь не спускай глаз, а все же чего не надо знать, то узнается. Сколько народу у нас в тереме, и народ все хитрый-прехитрый, видно, давно ей шепнули, и я так полагаю теперь, что ей все доподлинно ведомо.

— Ох! Уж этот мне жених! — схватился царь за голову руками.

— Говорила тогда, не начинать бы... — невольно вырвалось у царицы.

Побагровели бледные щеки царя, крикнул он хриплым голосом:

— Ты опять о том же! Ведь говорил я, говорил тебе!...

— Прости, батюшка! Прости, государь! — зашептала царица. «Ох, я глупая! — думала она с мученьем и тревогой. — Голова идет кругом, никак не могу удержать своего сердца. Убей он меня, в толк не возьму, зачем это так нужно? Зачем всю эту кашу заварили! Поискать, и свой бы хороший человек нашелся. Эка невидаль — заморский, басурманский королевич!»

Между тем царь, победив в себе волнение, которое было слишком для него мучительно, говорил:

— Что же меня и мучает пуще всего, как не это дело!... Начато оно, кончить его надо, беспрерывно надо, а как тут кончить?

Царица опять не сдержала сердца.

— Зачем было немцу Марселису наказывать, чтобы он уверял Христиануса, что королевичу помешки в вере не будет?

— Это уж мы так тогда с боярами решили! — в раздумье произнес царь. — Оно и точно, кабы не уверял Христиануса Марселис, так Вольдемара бы на Москву не отпустили.

— А что же теперь, лучше, что ли? Вот он здесь, и никакого толку, только срам один, только языки все чешут, мы с тобой убиваемся, а на Иринушке лица нет!

— Кто такое мог помыслить, чтобы он оказал столь лютое упрямство? Ведь я то ж... я не дурного чего прошу от него и требую, а к Богу привести хочу...

— Нешто он может понять это? — перебила царица. — На то он и басурман. Вот помяни ты мое слово, хоть десять лет ты его держи тут, он от своего еретичества не отстанет.

— Это и он сам пишет мне.

— Ну вот видишь!

— Да что видеть-то! — в приливе нового отчаяния воскликнул царь. — Вижу одно: необходимо Ирине быть за ним, и нельзя оставить этого дела!

— Что же тут!... Ты никак держишь в мыслях, что можно ее обвенчать с нехристом? — испуганно спросила царица. — Так ведь ежели бы мы такое сделали, не токмо бояре и боярыни, но и весь народ русский перестал бы почитать нас!

— Это я и без тебя знаю, жена! — мрачно сказал царь. — И никогда у меня в мыслях не было венчать ее с еретиком! Нет, — ухватился он за единственную надежду, которая его еще поддерживала, — угомонится королевич! Попервоначалу-то он рвал и метал, бежать собирался, а теперь затих. Выдерживать надо, время все исправит — сдастся он.

Царица отрицательно покачала головою.

— Не жди ты этого!

Царь с сердцем отвернулся от нее, и голова его опять упала на подушки.

— А ты лучше смотри за нею! — тяжело дыша, заговорил он. — Да накажи Марье Ивановне, чтобы она глаз не спускала... Так-то!... Ты вот от меня что-то нынче все скрывать начинаешь, а довелось мне услышать, у тебя в тереме неладное творится: воры объявляются; всякие зелья у девчонок находят... какая такая девчонка с зельем поймана?

— Э, государь, пустое! Не тревожься ты, Христа ради. Кабы что было важное, стала ли бы я скрывать от тебя?

— То-то пустое! Нет, видно, не пустое, коли я говорю. Прикрыли, затушили дело, а о деле том вся Москва кричит, — какая такая девчонка с зельем попалась, спрашиваю, а ты отвечай мне прямо!

— Да есть тут одна... к Иринушке приставлена!... — с великой неохотой и новой тревогой прошептала царица.

— То-то и есть, к Иринушке приставлена!... Быть может, от этой девчонки и беда вся.

— Нет! — воскликнула царица. — Кабы она в чем была виновата, не стала бы я покрывать ее. Иринушка больно ее любит, так в нее и вцепилась, сама плакала, на коленях меня упрашивала. Не троньте, говорит, Машутку, люблю я ее, она ничего дурного не сделала и сделать не может.

— Машутка... — прошептал царь, припоминая. — Ах да, бойкая такая, быстроглазая! — вспомнил он. — Чего ж это Иринушка так к ней привязалась? Неладно тут что-то. Не она ли и ослушивается нашей с тобой воли? Не она ли и про королевича Иринушке шепнула да и вести ей всякие передает о нем?

Царица заволновалась.

И как это ей самой до сих пор не пришло в голову. Ведь и то правда!

— Смотри в оба! — между тем говорил царь. — Чтобы хо рошенько следили за этой Машуткой, и как только что — не покрывать ее! Да и что за приятельство между нею и нашей дочкой?... Ох, тяжело мне! — вдруг простонал он, хватаясь за грудь, и замолчал.

Царица тоже ничего не говорила.

Так прошло несколько минут. Царь задремал.

XV

В это время в укромном уголке царицына терема, в опочивальне царевны Ирины, происходила тоже беседа, горячая и быстрая, под страхом, что кто-нибудь придет.

Царевна говорила Маше:

— Ну что ты мне душу надрываешь, Машуня, чего ты меня успокаиваешь? Что ты твердишь мне, зачем я хую да скучаю? С чего же мне радоваться? Вся жизнь опостылела. Да и на себя посмотри, та ли тоже и ты, что была прежде?

Действительно, за этот год большая перемена произошла в обеих девушках. Обе они созрели, обе похорошели, но при этом вид их был печален, не тот, что прежде. Даже Маша уже не казалась бесенком. В ее больших темно-серых глазах явилось совсем новое выражение. Она теперь слушала царевну и вздыхала.

— Подумай только, ведь целый год прошел с того далекого вечера, — продолжала Ирина, — целый год я его не видала! И не было

за это время не только дня, но и часу, чтобы не думала я о нем, не вспоминала. На миг один он был со мною, но кажется мне, будто весь век его знала и любила!...

Маша вздохнула при этом еще глубже.

«А я... — мелькнуло в ее мыслях, — ведь и со мной то же. Кабы она знала... только никто о том и никогда не узнает!...»

— А он... что с ним? — жаловалась царица. — Ведь вот уж сколько времени мы ничего, как есть ничего про него не знаем. На Москве ли он еще или уже уехал?

— Ну, это-то мы знаем, — перебила Маша. — Говорят, вот и хочет уехать, да держат его, не пускают, в плену он... и все из-за своего упрямства...

— Да вот видишь! А ты тогда что говорила?

— Что же я говорила, царица?

— Забыла, видно!... Я-то не забыла. Ты ведь уверяла меня, что стоит ему повидаться со мною — и он откажется от своей еретической веры и крестится в веру православную.

— Да, это точно я говорила, — вспомнила Маша, — так и теперь повторяю то же. Сама поразмысли: кабы ты его попросила хорошенько, он бы и не смог отказать тебе, а ведь виделись вы тогда всего на одну малую минутку, ни слова не сказали друг другу.

Царица покачала головой и горько усмехнулась.

— Нет, Машуня, видно, я ему пришлась не по нраву. Кабы так полюбил он меня, как я его полюбила, не выждал бы он этого долгого, тяжкого года; кабы любил он меня — не стал бы упрямиться. Он и думать обо мне позабыл, одно только и в помышлении у него, как бы выбраться отсюда скорей в свою басурманскую землю. Видно, там девицы лучше меня, больше ему по вкусу!...

— Ах, нет, нет, не говори так, царица! Что такое мы знаем? Может, он истомился пуще нашего... пуще твоего, — поправила Маша.

— Да пойми ты, пойми, Машуня, не могу я так больше жить — тошно мне, душно! Уж хоть бы один конец, а то что ж это такое?

Царица замолчала и, не в силах будучи совладать с собою, залилась горькими слезами.

Маша глядела на нее каким-то особенным пристальным, странным взглядом, и все больше и больше сдвигались ее тонкие

брови. Она, видимо, решилась на что-то. Вдруг она тряхнула своей русой головкой, в глазах ее загорелся прежний огонек.

— Ныне же я попытаюсь его увидеть, — прошептала она, бледнея и чувствуя, как от одной мысли об этом свидании застучало, забилось ее сердце, но не от страха, не от робости...

Остановились царевнины слезы, поднялась она с места, ухватила Машу руками. На лице изобразился ужас, но и в самом этом ужасе как бы светила надежда.

— Что ты? Что ты? Опомнись! — шептала она. — После того, что было?... О двух ты головах, что ли?

Усмехнулась только Маша и тряхнула своей густой косой.

— Голова-то у меня одна, да и той не больно-то жалко. Коли пропадет — туда и дорога. Да нет, зачем пропадать.

— Ведь следят за тобою, Машуня, по пятам следят, сама знаешь, да и я знаю, ведь уж как помог только Бог тебя от напраслины отстоять, от пытки избавить, а тут ты сама так прямо в руки своим злым врагам и лезешь. Нет, нельзя этого — нечего и думать!

Но по лицу Маши царевна видела, что она вовсе не желает отступить от своего безумного плана. Вздохнула царевна.

Боже милостивый! Чего бы ни дала она, чтобы иметь возможность согласиться на предложение подруги! Но согласиться нельзя. Тоскует и сохнет она по королевичу, только ведь от этого ей не меньше жаль Машу, не меньше от этого она ее любит и за нее страшится.

Поборола она в себе искушение и твердым, строгим голосом проговорила:

— Машуня, чтобы об этом не было между нами речи больше, я тебе запрещаю, слышишь!

— Слышу, царевна, — проговорила Маша, — твоя воля!

Вошли боярышни и оттеснили Машу от царевны. Ушла Маша к себе в свою светелку, присела у окошечка, распахнула его. День чудесный, жаркий и солнечный, точь-в-точь такой же, какой был тогда, год тому назад. Под окошечком густая зелень; за деревьями виднеется забор знакомый, а там за ним, за этим забором, тоже знакомая, памятная дорога.

«Боится... за меня боится, — думает Маша, — добрая она. Ведь кабы не она, не ее любовь ко мне, где бы я теперь была?»

Королевич!...»

И вдруг она вздрогнула, и горячая краска залила ее щеки. Так живо, живо, будто сейчас это было, припомнила она тот вечер, когда спрыгнула она с забора у него в саду, а он ее обнял, целовал, целовал... Никогда за весь год не вспоминалось это так живо!

Увидеть его, заглянуть ему в ясные очи, услышать его голос...

«Она боится... Будь она Машуткой — не пошла бы, ну а я пойду... пойду для нее и скажу ему: „Королевич, сдавайся — царевна тебя любит, царевна ждет тебя“. Скажу, взгляну на него, и пусть меня пытаются... умру, о нем думая! Вот так подумать, так себе представить... чтобы и смерти не заметить!...»

Долгим, долгим показался этот день для Маши; солнце будто поддразнивало ее, не спешило закатываться, стояло и палило землю своими летними лучами.

Бродила Маша по терему, все высматривала, выслушивала. Положение ее в тереме теперь незавидно. Кабы не царевна, давно бы уж бежала она куда глаза глядят. Все-то от нее отворачиваются, слова ей по-человечески не скажут, а заговорят — сейчас попреки, брань, воровкой называют, колдуньей... Сколько слез пролила она из-за обид этих! Но теперь ей все равно, брани и обижай ее кто хочет — ничего этого она не замечает, — все люди, все в мире исчезло для нее, не существует... лишь бы скорее вечер...

Настал наконец этот мучительно ожидавшийся ею вечер. Потемнел терем, зажглись огни. Скользнула Маша в сад, крадется по дорожке к забору, вот уж добралась до того места, где в прошлом году перелезала. Вся она горит, бьется в ней каждая жилка, и не слышит она в своем волнении, что по пятам за нею крадется кто-то.

Она у забора. Уже ухватила рукою за выдвинувшееся бревно.

— Так я и знала! Ах ты поганая девчонка! Ах ты колдунья негодная! За старое? Ну уж теперь не отвертишься, уж теперь не уйдешь от пытки, ни царевна, ни царица за тебя не заступятся! Царица-то вон строго-настрого приказала не упускать тебя из виду... Так еще не забыла старого! Опять к дружку милому, к вору пробираться!

Все это, шипя и задыхаясь от злобы, быстро выкрикивала Пелагея, хватывая Машу и оттаскивая ее от забора.

Но первое мгновение неожиданности и ужаса уже прошло, страшная злоба подступила к сердцу Маши, вывернувшись она, изо всей что было мочи ударила кулаком Пелагею — куда и сама не знала. Пелагея дико вскрикнула, выпустила ее из рук и упала на землю.

«Батюшки, уж не убила ли я ее?» — мелькнула мысль у Маши, но тотчас же забылась. В один миг она была на заборе, перелезла на ту сторону и пустилась бежать, как стрела.

XVI

Быстро добежала она, едва переводя дыхание, до забора королевичева сада, огляделась — нет никого... Только что это: забор-то ведь не тот! Прежде был низенький, в этом месте бревна старые разошлись, повылезли, ничего не стоило на них вскарабкаться, а теперь стоит новый да высокий. Попробовала на него лезть Маша — не может, дрожит вся, в руках, в ногах силы нет. Села она у забора и горько заплакала, как не плакала ни разу в жизни.

Что же теперь будет с нею?

Слышала она, что денно и ночью караулы стрелецкие кругом всего двора королевичева ходят, вот уж и забор новый поставили, — крепко стерегут королевича. Найдут ее стрельцы, поймут, надругаются только над нею, и пропадет она навеки, и не узнает, не услышит о ней королевич. Назад бежать — так ведь там что она наделала? Пелагея-то, чай, уж подняла на ноги весь терем.

А ну коли она и впрямь убила Пелагею? Ох, от одной мысли вся теперь она похолодела. Нет, ни за что, ни за что не вернется она в терем.

Долго сидела Маша и плакала, выплакала все свои слезы. По счастью, стрельцы не проходили, не нашли ее. Отдохнула она, собралась с силами и опять полезла на забор.

Теперь уже не дрожат руки и ноги, словно в них явилась сила прежняя, вернулась к ней вся ее ловкость.

Ох, долезет ли?

Долго билась Маша и все же в конце концов забралась-таки на забор, только всю себя исцарапала, одежду на себе изорвала.

Сидит она наверху забора, смотрит вниз, в сад королевича, прислушивается. Все тихо. Темно под нею, и чудится ей, что висит она

над бездонной пропастью.

А может, и впрямь тут глубокий ров вырыли? Но вот она заметила, хоть и темно было, что поблизости старая кудрявая береза. Доползла она по забору до этой березы, пригляделась, один-другой сук попробовала, добралась до крепкого, толстого, прыгнула и повисла на нем. По березе-то куда было легче спускаться — еще больше только разодрала себе одежду. Правая рука вся липнет — видно, кровь... всю ладонь так и жжет.

Но все— таки прыгнула Маша в густую, покрытую росой траву, и только тут, очутившись на земле, она почувствовала, что все силы ее оставляют, голова кружится, все будто уходит от нее куда-то, будто земля расступается под нею, и летит она не то вверх, не то вниз. Потеряла Маша сознание.

Мало ли, много ли времени лежала так без чувств девушка, но вот она очнулась, собирает с мыслями, соображает: где она? что с нею? Вспомнила все, вспомнила и слушает, как бьется ее сердце. Трава дышит на нее душистой прохладой; над нею древесные ветки, а там, за ними темное, звездное небо.

Все тихо. Она лежит не шевелясь. Вдруг где-то неподалеку раздаются голоса.

Голоса все ближе. Это там, за забором... видно, стрельцы караульные обходят. Счастье-то какое, что не попала она им в руки! Да, счастье, но все же, что делать ей теперь? Как быть? Где искать королевича? Не идти же по саду прямо в хоромы, на кого еще натолкнешься. Нет, об этом и думать нечего! Надо здесь его ждать. Неужто он совсем забыл прежнее? Неужто никогда сюда теперь не заглядывает?

Ночь глубокая. Спит теперь королевич, не придет он, до утра ждать надо. Что-то утро скажет? И звучит у нее в ушах с детства памятный старушечий голос нянюшки, сказывавшей в тереме сказки: «Утро вечера мудренее! Утро вечера мудренее!»

Под этот далекий старушечий голос, под эту все повторяющуюся фразу, незаметно заснула Маша.

Проснулась она. Солнце ярко светит, взглянула она на себя и ахнула: вся-то разорвана, вся растерзана. Растрепалась коса густая; вся правая ладонь ссажена, кровь запеклась, и в то же время чувствует Маша и голод и жажду. Кругом все так же тихо, как было и раньше. На

забор она взглянула: так и ахнула, вышина-то какая! И увидела, что не доползи до березы, не слезь по дереву, расшиблась бы она вдребезги. Кругом кусты, трава густая. Тихонько-тихонько пробралась она в кусты, выглянула. Знакомая березовая аллея, никого не видно, не слышно.

Опять вернулась на свое прежнее место Маша, села в траву и задумалась.

Боже мой, Боже! Что теперь творится в тереме? Беда. За нею, наверное, снаряжена погоня, по всей Москве ее ищут.

— Пропала моя головушка! — громко вздохнула Маша. — Ну да что уж теперь жалеть, на то и шла! А царевна? Плачет она теперь, голубушка, меня жалеючи... никогда нам больше с нею не видаться!...

Заплакала Маша. Слезы ее остановили людские голоса. Вздогнула она, прислушалась. Вблизи по аллее идут люди, говорят, а что говорят, понять невозможно. Немцы... взглянуть бы, может, с ними королевич. Да как взглянуть-то? Боязно — себя выдашь.

И она притаилась, не дышит. Прошли мимо. Опять стала плакать Маша, только и плакать уже надоело, голод мучает, во рту совсем пересохло, язык будто деревянный, пить страсть хочется.

Солнце уже высоко стоит на небе; мучительные часы проходят, и с каждым новым часом все невыносимее становится Маше. Лежит она в траве, теперь уже не плачет, голова у ней разболелась. Думала, думала, все передумала, и даже мыслей нет.

Солнце склоняется к западу; все длиннее и длиннее становятся тени от кустов и деревьев; ветерок поднялся; прохладнее сделалось.

«Долго ли мне так лежать? Не встать ли? Не идти ли — ведь, может, он не только нынче, но и завтра, но и никогда не придет сюда. Что ж тогда? Помирать здесь с голоду?»

Судьба сжалилась над Машей. Солнце еще не зашло, как она услышала звуки немецкой песни, уж знакомой ей, той самой, какую пел год тому назад королевич. Да и теперь это он, его голос...

Захватило дыхание у Маши. Ей ли не узнать этого голоса! Он... он это, сердце говорит, что он... Боже, счастье-то какое! Один ли? Но теперь все равно!

Она подобралась к кустам, выглянула — и видит: вдали, по аллее, идет королевич.

Один он! Один!

Вмиг была она перед ним, и уж теперь не он ее обнял, не он стал целовать ее — сама она, бессильная и истерзанная, с глухим, мучительным рыданием, почти упала на грудь его и обвила его шею руками.

Он долго не мог в себя прийти от изумления, радости и страха. Он ничего не понимал.

Когда Маша очнулась, он с восторгом, жалостью и ужасом глядел на нее, на ее растерзанную одежду, растрепавшиеся волосы, окровавленные руки.

Он старался понять — сообразил и понял наконец, почему она так растерзана, почему она в крови. Как только могла она добраться сюда, через этот забор? Чудная, непонятная девушка.

Он готов был своими слезами смывать кровь с ее ручек.

Что же теперь делать? Ее надо проводить в безопасное место так, чтобы никто ее не видел. Он объяснил ей, чтобы она ждала его здесь, в кустах, что он все устроит и вернется в миг один. Он стал прежним Вольдемаром, горячим, смелым юношей.

Он сообразил, что одному трудно будет все устроить, надо посвятить в секрет Генриха Кранена. На его скромность, на его молчание и преданность можно положиться.

Он нашел Генриха и все рассказал. Тот в первую минуту просто подумал, что королевич сошел с ума, до такой степени этот рассказ представлялся невероятным.

Решили, что надо дождаться, пока стемнеет. Когда наступил вечер, под охраной Генриха, Вольдемар провел в свои покои Машу.

Здесь она смогла вымыться, привести в порядок свою одежду, здесь королевич сам накормил и напоил ее. Это был один из самых счастливых, самых лучших вечеров его жизни.

Королевич казался нездоровым; двери его заперты на ключ. Маша весь вечер передавала Вольдемару горячим шепотом все, что было с нею в течение этого года до сегодняшнего дня. Говорила она про царевну, но он пропускал мимо ушей слова эти; до царевны ему уже не было никакого дела. Он любил одну Машу. Он восторженно глядел на нее, и казалось ему, что такой чудной красавицы никогда не видал он в жизни.

Он восхищался ее смелостью, страдал всем сердцем, слушая об ее несчастьях. Наконец, когда уже ничего не осталось ей рассказывать,

само собою представился вопрос: что же делать дальше?

В терем вернуться ей невозможно, об этом нечего и думать, это хорошо понимали как он, так и она...

Было уже поздно, все в доме заснуло, но им не до сна. Сидят они рядом, в уголке на широкой лавке, окруженные мягкими, алыми подушками. И Маша, и Вольдемар не замечают, что крепко держатся они за руки и глядят друг на друга влюбленными глазами. Ничего не видят они, не знают, где они и что с ними...

Они в объятьях друг друга, и Маша не говорит ему о том, что он обозначился, что он принял ее, бедную простую девушку-сироту, за царевну... Он целует ее, и она отвечает ему безумными поцелуями... И не слышат они, как кругом, вокруг них и над ними, хохочут-заливаются бесенята.

Бесенята сшутили ловкую шутку и рады — смеются.

XVII

Когда ясное солнце заглянуло в маленькие оконца и разогнало весь сладкий сумрак ночи, Маша долго была в забытьи, не могла сознать и понять действительности.

Но действительность эта все громче и громче врывалась вместе с дневными звуками в тихий уголок, где лежала девушка, наконец призвала ее к себе и показала ей без прикрас, в которые любовный хмель может нарядить что угодно.

Подняла Маша свою отяжелевшую голову с мягких подушек, огляделась испуганным взглядом — и горько заплакала. Хоть и была она легкомысленным, беспечным бесенком, хоть никто и не внушал ей никогда толком понятия о добре и зле, но все же теремная жизнь и плохие примеры, слишком часто виденные ею, не искоренили в ней этих врожденных понятий.

До сих пор, даже после самых злых своих шалостей, от которых приходилось страдать людям, она никогда не задумывалась над своими поступками. Когда Настасья Максимовна или другой кто из старших, поймав ее на чем-либо недолжном, с сердцем на нее накидывались и кричали: «Стыда в тебе нет!... Совесть-то у тебя где? Куда ты ее спрятала?» — Маша действительно чувствовала, что ей ничуть не стыдно; что же касается совести — она чистосердечно могла

покаяться, что никуда ее не прятала, так как решительно не знает и не понимает, какая это такая штука — совесть.

Во всю свою жизнь только раз один испытала она стыд. Было это позапрошлым летом. Гуляла она с царевной своей и с боярышнями по саду.

Девочки резвились, бегали взапуски, играли в горелки, пели песни, кричали и визжали так, что княгиня Марья Ивановна Хованская, бывшая при царевне, несколько раз зажимала себе пальцами уши и наконец, видя, что этого девичьего, совсем еще детского веселья не уймешь и что пуще и пронзительнее всех визжит царевна, ушла подальше: Если Ирина визжала пронзительнее всех, то проворнее и задорнее всех оказывалась, конечно, Маша. Вся раскрасневшаяся, с растрепавшейся толстой косой и обезумевшими от веселья, расширившимися глазами, она кружилась и вертелась, как волчок, мчалась, как птица, едва касаясь ногами густой и мягкой травы лужайки. Она ничего не сознавала, вся охваченная развивавшейся в ней силой жизни.

Вдруг, стремясь схватить с визгом спасавшуюся от нее подругу, она споткнулась, упала со всего размаху и о попавшийся острый черепок сильно разрежала себе ногу. Кровь так и хлынула. Все кинулись к ней, а царевна, увидя кровь, побледнела и перепугалась ужасно.

— Матушки! Да ведь она изойдет кровью! — наклонясь над Машей, взволнованно говорила Ирина. — Бегите вы все скорее, бегите к княгине Марье Ивановне, где это она?... Зовите ее сюда!... Да воды несите, тряпиц...

Боярышни со всех ног бросились исполнять царевнины приказания, а сама Ирина осталась со своей любимицей, которая хотела было подняться на ноги.

— Боже тебя избави! — крикнула испугавшаяся ее движения царевна. — Не шевелись, не то кровь еще пуще побежит... Да чулок-то, чулокними, а то кровь запечется, и тогда не отодрать его будет... Беда!...

Но Маша, побледневшая было не столько от боли, сколько от неожиданности и перепугу, вдруг вся так и вспыхнула и подобрала ногу, очевидно не желая снимать чулка.

— Что ты?... Снимай же скорее чулок! — волновалась и приказывала царевна. Маша не слушалась и краснела еще больше. Тогда Ирина, не говоря худого слова, сама стащила с нее чулок. В это время прибежали с кувшином воды две боярышни.

— Ах ты, Машутка, что это у тебя на ноге-то? — наклоняясь и в ужасе, смешанном с отвращением, крикнула одна из боярышень. — Меченая ты, да и метка у тебя какая противная — мышь большущая, с хвостом!... Стыд какой!

Действительно, у Маши на ноге была отметина — родимое пятно большое, черное, густо покрытое как бы шерстью. Оно несколько не безобразило ее стройную ногу; но еще до жизни в тереме царском, еще у себя дома, при отце с матерью, все попрекали маленькую девочку этой ее «мышью». Она привыкла смотреть на свое странное родимое пятно как на что-то позорное, стыдное и, поступив в терем, тщательно его ото всех скрывала. А тут вот оно и обнаружилось, да вдобавок при царевне... а царевна смотрит...

Маша закрыла лицо руками, и хотелось ей провалиться сквозь землю. Никогда и не думала она, что можно так стыдиться, совсем она со стыда сгорела... А боярышни смеются, дразнят «мышью»...

Вот теперь, как только пришла она в себя среди королевичевой светлицы, прежде всего почему-то вспомнился ей этот случай во всех подробностях — и то же чувство стыда как в тот день, охватило ее всю. И, как и тогда, захотелось ей провалиться сквозь землю, чтобы никто и никогда не увидел ее больше.

Но мало того, что-то уж совсем неведомое, никогда еще в жизни не испытанное схватило ее за сердце и так засосало, что тошно сделалось.

Упала она лицом в подушку и зарыдала.

«Что я наделала, что наделала! — не думалось, а чувствовалось ею мучительно и невыносимо. — Окаянная я, подлая девчонка!... Царевна моя... золотая моя, добрая царевна!... Ждет она меня... плачет... о нем нежно думает... а я!... Убить меня мало!... Куда мне деваться?... Побегу, утоплюсь в Москве-реке — одна мне и дорога!...»

В это время дверь скрипнула, вошел кто-то. Маша крепче уткнулась в подушку и безнадежнее зарыдала. Не видела она, но знала, наверно знала, кто это вошел, и стало ей еще тошнее, еще невыносимее.

Он обнимает ее, старается приподнять ее голову, повернуть к себе ее лицо, он тихо, тихо и нежно ей шепчет:

— Что ты?... Не плачь... голубушка... Маша... люблю я тебя...

Она хочет освободиться от его объятий, она его отталкивает.

— Оставь меня... злой... оставь... противный... уйди...пусти меня... дай мне уйти... утопиться!...— сквозь рыдания, с ненавистью и ужасом в голосе твердит она. — Уйди... враг мой лютый... душегубец!...

Но он теперь плохо понимает слова ее, он их не слушает.

— Не плачь... я люблю тебя! — повторяет он. — Люблю тебя... Маша!...

Он так странно, так смешно и мило выговаривает «люблю» и «Маша».

Она подняла голову, взглянула, охватила его шею руками, изо всех сил прильнула к нему — и замерла. Рыдания ее понемногу стихали, ее трепетные руки все крепче его сжимали, и она, забыв все, знала одно, что никому не отдаст его, что он — ее жизнь и что никуда она не уйдет от него, не уйдет даже топиться в Москву-реку.

Любовный чад не помешал королевичу подумать о положении, и, в то время как Маша еще спала, он уже имел с Генрихом Краненом и другими своими молодыми придворными весьма серьезное совещание. Он объяснил им всю безвыходность положения юной московской боярышни, свою горячую любовь к ней, озарившую теперь для него мрак и томление этого бесконечного, невыносимого плена, и свое твердое намерение спрятать и сохранить нежданную гостью.

Молодые люди не смели завидовать своему любимому всеми принцу и поклялись ему сделать все, чтобы спасти прекрасную москвитку. Дело было трудное, но не заключавшее в себе окончательной невозможности. Ни один из датчан, а их было в штате королевича триста человек, не мог выдать Вольдемара и ему изменить. Правда, «во дворе» всегда находилось несколько человек русских, но эти люди не раз уже менялись, очевидно, с той целью, чтобы датчане не успели их подкупать. Можно было смело рассчитывать, что русские не обратят внимания, если в числе пажей королевича окажется новый мальчик, которого до сей поры никто еще не видал. А дальше что делать — видно будет...

До вечера Маша не выходила из светлицы, а к вечеру уже все датчане знали о ее существовании и относились к ней с большим интересом. Состояние духа королевича начинало во всех внушать сильные опасения, Вольдемар иной раз, выходя из апатии, в которую вообще был погружен, проявлял признаки такого отчаяния и бешенства, еще более ужасного при полном бессилии, что нельзя было не бояться за его рассудок. Это же неожиданное любовное приключение, как легко было понять, являлось для горячего молодого человека спасительным.

Один только посол Пассбирг, узнав о «московской боярышне», пришел в негодование. Человек старый, с давно остывшей кровью, а потому и строгих нравов, он вовсе не был склонен снисходительно смотреть на молодые увлечения и почитал их недостойной человека блажью.

Мрачный и недовольный говорил он своему товарищу Биллену:

— Только этого и не доставало! И так уже положение крайнее, и неизвестно, выйдем ли мы из него... Московиты нас ненавидят и ждут только предлога, чтобы всех нас перерезать!... А тут мы сами даем им в руки этот предлог... да еще какой!

На это Биллей, малоречивый и скромный, но далеко не лишенный здравого смысла, стал ему доказывать, что о высшей нравственности теперь нечего думать, а надо думать лишь о том, чтобы принц Вольдемар не сошел с ума и не наложил на себя рук.

— Все это так! — воскликнул Пассбирг. — Только какую-то песню вы запоете, когда у нас найдут эту слишком уж смелую московитку, и прежде всего нас с вами потянут к ответу! Вы, кажется, забыли, что мы среди варваров, которым весьма желательно познакомиться нас с пыткой и кнутом.

— Я уже полтора года чувствую себя сидящим на раскаленных угольях, — отвечал Биллей, — и, признаться, начинаю привыкать к этому. Опасность нашего положения так велика и так давно существует, что, право, лучше всего о ней и не думать. Никакой московитки у нас не окажется, а хорошенького мальчика-пажа наши молодцы авось охранят и не выдадут...

Пассбирг махнул рукой.

— Э, да что тут толковать! — ворчливо проговорил он. — Конечно, нам остается закрыть глаза на такое предосудительное

поведение принца. Я только бы просил его уволить меня, во внимание к моим седым волосам и долгой верной службе его величеству королю, от компании нового пажа: я до подобных маскарадов не охотник...

Старый Пассбирг мог негодовать и не интересоваться пажем, но когда Маша, смущенная до последней степени, с опущенными глазами и рдевшим горячей краской лицом, появилась в саду, где были собраны почти все датчане, — ее встретил шепот восхищения.

Конечно, никто, и в том числе сама царица Ирина, никто не узнал бы ее в этом прелестном, стройном мальчике. Тяжело было ей расстаться со своей красою девичьей — густою косою, но она, ввиду очевидной необходимости, решилась на это. Стыдно ей было чувствовать себя в срамной и куцей немецкой одежде, но она победила свой стыд и смущение.

«Снявши голову, по волосам не плачут!» — сказала она себе.

Хуже всего было ей, теремной жительнице, почти никогда не выдавшей мужчин, оказаться в этой толпе немцев; но она взглянула на Вольдемара, бывшего рядом с нею, встретила его влюбленный взгляд и забыла все.

А затем ее верные бесенята явились ей на помощь; к ней вдруг вернулись вся ее потерянная было веселость, легкомыслие и жадное стремление жить настоящим, не думая и не заботясь о будущем.

Через несколько минут ей вдруг стало смешно глядеть на все эти незнакомые лица. В каждом немце она подметила сразу что-нибудь забавное; пуще же всего ей казалась смешной их речь, представлявшаяся ее непривыкшему слуху каким-то странным птичьим гоготаньем.

«А ведь надо и мне поскорее научиться так гоготать... Не то что же? Они на меня глаза таращат, я на них — и ни с места!...» — подумала она.

XVIII

Старый посол Пассбирг, конечно, со своей точки зрения, имел все основания обвинять королевича Вольдемара в предосудительном поведении и презирать превратившуюся в пажа московитку. Но если бы Вольдемару пришлось защищать себя перед строгим судом, он,

наверное, нашел бы себе в оправдание немало весьма серьезных, во всяком случае, «смягчающих» обстоятельств.

Что же касается Маши — между нею, какую создали ее природа и обстоятельства, и презрением к ней старого посла Пассбирга не было ровно ничего общего. Бесенята или, что в настоящем случае равнозначнее, жизнь сыграла с нею самую неожиданную и, если можно так выразиться, очень серьезную шутку. Последствия этой серьезной шутки сказались сразу: в один день легкомысленный, шаловливый бесенок превратился в любящую и уже только по одной внешности легкомысленную женщину. Ее природа оказалась гораздо глубже и богаче, чем можно было ожидать.

Прошло три-четыре дня. Врожденная нежная грация и прелестная женственность Маши, которым ничуть не мешал костюм пажа, приворожили к ней не только королевича, но и всех его придворных. Все датчане поголовно оказались без ума от московитки, и не только ради королевича никогда бы ее не выдали, но уж и ради нее самой готовы были защищать ее до последней капли крови.

Ее присутствие явилось как бы лучом света среди безнадежного мрака, в котором чувствовали себя так долго эти пленники.

Их скучная, однообразная жизнь получила интерес. До сих пор, вот уже сколько месяцев, они могли толковать между собою только об одном — о своем безвыходном положении, и разговоры эти, естественно, раздражали их, приводили в унылое, мрачное настроение духа. Вольдемар, уезжая в Московию, набрал свой штат по большей части из людей молодых, энергичных, веселых; к тому же все эти люди находились между собой в самых приятельских, искренних отношениях.

Долгая московская неволя, замкнутая, лишённая удовольствий и каких-либо живых интересов жизнь, испортив характеры пленников, сделав их раздражительными, чувствительными ко всякой мелочи, способствовали тому, что они все чаще и чаще стали между собой ссориться и браниться.

Самые лучшие друзья теперь враждовали. В саду было уже несколько крупных стычек, и не раз приходилось более разумным силою прекращать поединки.

Только благодаря тому, что королевич, обыкновенно ласковый и простой в обхождении со своими приближенными, все же умел, когда

нужно, быть строгим и твердым, — дисциплина между датчанами до сих пор почти не нарушалась. Слово Вольдемара, его гневный взгляд, решительный приказ продолжали действовать по-прежнему. Будь у него иной характер, эти триста человек, от бездействия и с отчаяния, давно бы уж дошли до крови.

Но ведь и сам королевич в последнее время находился в полной апатии, которая увеличивалась с каждым днем. Он уже выказывал равнодушие ко всему и просил только одного, чтобы его оставили в покое. Его по целым дням не было видно, он никого не впускал к себе, и ссоры между датчанами принимали все более и более смущающие размеры.

Все это могло прекратиться только с получением свободы, с известием о возможности скорого возвращения на родину. Иного лекарства от такой болезни, казалось, не было. Между тем оно нашлось. Очень действенным лекарством оказалась Маша.

Заинтересовав собою решительно всех, она отвлекла мысли датчан от их тяжкого положения, сделалась почти единственным предметом разговоров.

Не будь королевича, соперничать с которым никому не могло прийти в голову, хорошенькая москвитка, вероятно, послужила бы причиной еще больших ссор и вражды; но теперь она всех соединила, сделалась для всех этих «добрых молодцев» «любимой названной сестрицей-красавицей», о которой говорится в старой сказке.

Добрые датские молодцы желали только одного: дружно служить красной девице, баловать ее всеми мерами и охранять от всякого врага.

Маша сразу не поняла еще, но почувствовала это всеобщее к себе отношение «немцев», и оно помогло ей легче перенести очень тяжелые минуты по временам все же наплывавшей тоски и невольного душевного смущения.

«Вот, говорили, — думалось ей в такие минуты, — говорили, немцы — нехристи, все одно что жидовины, хуже всяких воров-разбойников!... Ан нет, напраслину на них возвели... даром что ходят куцые, перья на голове носят, да и гогочут по-птичьему, а душа-то у них человечья, добрая душа, ласковая...»

Вспомнились ей другие люди, которых она знала с детства: все эти важные теремные боярыни, мамушки, нянюшки, постельницы,

многочисленные прислужницы, среди которых она жила. Приходили ей на ум разные деяния женщин, подсмотренные и подмеченные ею, — и она думала о многих!

«Вот ведь и Господу Богу веруют, и в церковь ходят, молятся, что ни слово, то Христа и Владычицу небесную поминают, а злобы-то, злобы сколько у них в сердце! Чем же они лучше басурман этих? Не лучше они их, а во сто крат хуже!...»

А Пелагея? А дьяк Тороканов? При мысли о них злоба подступала к сердцу Маши, и почитала она их не людьми, а зверями лютыми.

Но не могла же она не вспоминать и о других! Вот мелькает перед нею багровое от быстро воспламенявшегося и еще быстрее стихавшего гнева лицо Настасьи Максимовны, и уже не помнит она, сколько бед пришлось ей испытать от быстрой на решения и слова бранные постельницы, как часто болело и горело ее ухо от бесцеремонных к нему прикосновений этой блюстительницы теремных нравов.

Помнит она только те минуты, когда, набурлив, накричавшись и набравившись вволю, Настасья Максимовна вдруг сразу стихала, добрела... Зазовет она, бывало, Машу к себе, самые что ни на есть вкусные лакомства выложит, угощает, а сама все ворчит, все ворчит:

— Ишь, космы-то, космы растрепала! — говорит. — Стыдись, мать моя, пригладься... У! Бесстыжие твои глаза... разгильдяйка!...

А сама возьмет гребешок частый, причесывает Машу, волосок к волоску подбирает, рукой своей пухлой, мягкой приглаживает, и глаза у нее такие вдруг добрые станут, улыбается она, будто рублем дарит.

Так вот и захочется Маше кинуться ей на шею, прижаться к ней, обнять ее крепко, громко и звонко целовать ее в круглые, красные, горячие щеки... Да куда тебе! Попробуй только — того и жди, она нос откусит!...

Такою вот вспоминалась теперь злая постельница Настасья Максимовна, и больно-больно сжималось Машино сердце, а слезы так, одна за другою, из глаз тихонько и скатывались.

Потом, на смену Настасье Максимовне, являлся перед Машей другой образ, образ княгини Марьи Ивановны Хованской. Ведь это она приютила сиротку, лишившуюся отца с матерью, не имевшую никого из близких кровных родных, оставшуюся без всяких средств к существованию.

Княгиня взяла Машу к себе в дом. Но так как она дома почти не бывала и жила в тереме при царевне Ирине, то скоро рассудила, что уж коли делать добро, так делать его не наполовину. Она расхвалила сиротку царице, добилась ее определения в терем и — теперь Маша это хорошо понимала — очень способствовала первому сближению ее с царевной.

Сколько людей с большими достоинствами обращалось к княгине с просьбою пристроить так их дочек при царевне. Сколько подарков и всякого добра сулило княгине исполнение таких просьб!

Но она гнушалась подарками, не потому, что такое чувство было внушено ей воспитанием или развито примерами окружавших ее людей, а потому, что оно родилось вместе с нею. Все вокруг нее, за малыми исключениями, именно пуще всего любили всякие подарки и ради них готовы были сколько угодно кривить душою.

А вот княгиня пренебрегла всем, даже недовольством сильных людей, и пристроила бедную сироту, за которую некому, было просить, ради которой никто не сулил никаких благодарностей. Не для людей, а для Бога сделала это княгиня и никогда не оставляла девочку своими милостями.

А Маша — то, Маша! Ведь в последнее время она мысленно никогда иначе и не называла княгиню, как «кикиморой»! Сколько раз подшучивала она над нею и ловко, осторожно водила ее за нос.

Стыдно теперь вспомнить Маше о многих своих проделках. Кинуться бы теперь на колени перед благодетельницей, от души поплакать, целуя ее руки. И никогда, никогда больше не увидит Маша княгиню... Царевна!... Гонит от себя хорошенький паж королевича Вольдемара этот милый и в то же время теперь такой жестокий, такой мучительный образ и никак прогнать его не может...

Царевна, полная своей юной красоты и печали, как живая перед нею. Глядит она ей в глаза невинными, голубыми, заплаканными глазами. Шепчут ей столько раз целовавшие ее губки:

«Зачем ты обманула меня, Машуня! Я ли тебя не любила, я ли тебя не защищала... а ты вот что со мною сделала!... Сама разожгла мое сердце... сама мне привела его... отравила меня его поцелуями — и насмеялась надо мною, отняла у меня жизнь и счастье!...»

Что ответить Маше на эти беззвучные, но слышные ее сердцу речи? Как вынести взгляд этих заплаканных глаз?... Щемит сердце,

будто клещами железными давит голову...

Но что это? Блеснули гневом глаза царевны, злая, презрительная усмешка искривила ее губы. Уже не жалобно шепчет, а кричит она:

«Подлая, низкая девчонка! Ведь без меня ты бы давно пропала, искалечили бы тебя, уморили смертью лютою, медленною на пытке!... Туда бы тебе и дорога! Нету в тебе ни стыда, ни совести, тварь ты гадкая, злая, неблагодарная!... Воровка ты, предательница!...»
Слушает, жадно слушает Маша эти бранные речи, и вот поднимаются ее глаза и прямо, смело смотрят теперь в гневные глаза царевны...

«Неправда, неправда! — звучит из глубины ее души громкий голос. — Не воровка я, не обманщица, не предательница!... Не тебя, царевна, не тебя, а себя я только обманывала!... Об одной тебе думала, для тебя с огнем играла, а как и когда опалила навеки свое сердце, не ведаю!...

Отравили, вишь, тебя, царевна, его поцелуй!... Ну а я — нешто истукан, нешто из камня я сделана?... Целовал он тебя под моей охраною в теремном переходе!... Так ведь и меня целовал он допрежь тебя, в тот же вечер зачарованный, под звездным пологом летнего неба, в тихо шептавшей душистой древесной чаще... Я смеялась...

Я смеялась, царевна, и тебя ему поминала... и к тебе привела его... и сторожила вас, слушая ваши поцелуи, ваши нежные вздохи... а была ли ты в моем сердце, царевна? Али думаешь, что у тебя у одной сердце?!

Я здесь, царевна! Не боюсь лютых мучений, не боюсь смерти, я сюда прибежала... истерзанная, голодная, вся в крови, как загнанный зверь, я к нему кинулась, прося его защиты... себя я не помнила от муки и радости и все же ему о тебе говорила... Не только сюда, но и на край света для тебя бы я побежала!... Ну так вот, не для меня, а для себя прибеги-ка сюда, царевна! Возьми его у меня, коли можешь, ни слова не скажу я, не стану за него вступаться...»

Кипит сердце Маши, и ничего уж она понять не в силах... Изверг она, змея подколотная, бесстыдная и бессовестная девчонка! Пусть так... видно, оно так и есть взаправду... Только бы он пришел поскорее, только бы покрепче прижал к своему сердцу, только бы шепнул, так странно, так смешно и сладко: «Люблю я тебя, Маша!»

Он входит — и все забыто, исчезла царевна, будто никогда ее и не бывало... Как хорошо и отрадно быть змеею, какое блаженство

змеиному сердцу слушать милый голос, повторяющий: «Люблю я тебя, Маша!»

— Надолго ли?... Скоро разлюбишь!... Когда?

— Никогда! Ведь не вечно будем мы сидеть в этой клетке... Увезу я тебя в мою родную датскую землю...

Он старается объяснить ей, как хорошо там, у него на родине. Там люди добрее, справедливее, там жизнь иная, счастливая.

Но Маша не слушает его и не понимает. Она не хочет, не может думать о том, что будет. Пусть там, за чудной этой минутой, — мрак, мучение, смерть...

Теперь — свет, блаженство, жизнь — вечность это или мгновение?...

XIX

Рано утром раздался стук в дверь опочивальни княгини Марьи Ивановны Хованской. Но княгиня уже давно не спала. В ее годы и вообще-то некрепко и недолго спится, а тут еще все это последнее время всякие печальные мысли одолевать стали.

Вокруг, в тереме, да и во всем царском дворце, творилось неладное. Наблюдения княгини и опытность ее твердили ей, что настали черные дни и вряд ли пройдут скоро.

Царю все хуже да хуже, на царице лица нет. Иринушка такова стала, что краше в гроб кладут.

Часто, часто задумывается теперь княгиня, качает головою и глубоко вздыхает.

«Помирать, видно, надо, — шепчет она, — да и то сказать: всему свой час, всему свое время. Пожили — видно, с нас и довольно».

Несмотря, однако, на эти рассуждения, все же нет спокойствия, нет на душе примирения с неизбежностью.

Пожили! То-то вот и есть, что пожили слишком мало! Куда это вся жизнь ушла, куда ушла молодость? Как в годы юные казалось, что настоящей жизни, настоящих радостей еще не было, что они впереди, придут, будут, так вот и теперь, до самого этого последнего печальною времени, все казалось, все ждалось что-то светлое, счастливое в будущем. А текущий день, настоящая минута представлялись только кануном какого-то всю жизньжданного праздника...

Видно, праздник-то истинный, жизнь настоящая, светлая не здесь, а там!...

Стала задумываться княгиня, и только вот эти новые мысли помогали ей временами успокаиваться, сдерживать в себе подступавшую к сердцу тоску. И опять, вот и теперь, рано встав и помолясь горячо Богу, она настроила себя на примиряющие со всеми невзгодами мысли.

Услыша стук в дверь, она вспомнила, что дверь на задвижке. Подошла, отперла ее и увидела перед собою Настасью Максимовну.

У постельницы было такое перепуганное, багровое лицо, что княгиня, забыв все свои благоразумные мысли, перепугалась и схватилась за сердце, так оно вдруг шибко у нее застучало.

— Матушка, что такое... что случилось? — воскликнула она, даже зажмуриваясь, как перед неминуемым, готовым сейчас обрушиться на голову ударом.

— Не пугайся, княгинюшка, Бог с тобой, успокойся...— едва переводя дух, заговорила Настасья Максимовна, заметив впечатление, произведенное ею на княгиню. — Беда случилась!... Машутка у нас пропала!...

— Ах, чтоб тебя! — невольно вырвалось у княгини, и от сердца отступило.

Не того совсем она ждала, не того боялась. Однако не без интереса и не без некоторого все же волнения спросила она:

— Как пропала, куда же она могла деваться?

— А вот и пропала, совсем сбежала Машутка; не знаю, что теперь и делать. Через забор перелезала, еще вечер это было, до ночи. Да ты уже заперлась, тревожить тебя не хотела, думала, авось негодница сама одумается, вернется, ан нет!

Говоря это, Настасья Максимовна багровела все больше, раздувала ноздри и глаза выкатывала.

Она, очевидно, была взволнована до последней степени; в ней боролись и страх за озорную девчонку, и бешенство на нее, и жалость — одним словом, самые разнородные чувства.

— Да говори ты, матушка, толком, не разобрать мне тебя, как это так через забор убежала да не вернулась? Кто видел? — спрашивала княгиня.

— Пелагея видела, она ее выследила до самого забора, а как та лезть на него стала, она и стащила ее.

— Ну?!

— Стащила, а Машутка как ударит ее изо всей силы в грудь, Пелагея-то и свалилась. Девчонка на забор — да и тягу... Едва отдышалась Пелагея...

— Ну, уж они тоже и наскожут! — с недоверием перебила княгиня. — Машутка-то не боец-мужик, уж будто может так ударить, чтобы человека с ног свалить! Пелагея-то баба злая, знаю я ее, ее давно из терема выгнать надо. Я уж об этом и подумывала. А на Машутку, знамо дело, она всякую напраслину возвести готова. Темно тут что-то, Настасья Максимовна...

— А я нешто лыком шита? — с сердцем воскликнула постельница. — Нешто я все это в толк взять не могу, что плетет Пелагея? Да вот, вишь ты, весь терем перерыла — нет Машутки, нет и доселе! Как она ее ударила, следа-то не видно, а Машутки все ж таки нету!

— Подождем до полудня, может, и окажется.

— Пождать — пождем, другого что же теперь делать! — привычно развела Настасья Максимовна руками. — Я только доложить тебе; царевна неравно будет ее спрашивать.

— Так, так! — говорила княгиня. — Ох уж эта мне Машутка!... Своего горя поверх головы, а тут еще с нею...

Прибралась княгиня, пошла к царевне, да как взглянула на нее — руки опустились. Совсем не в себе Иринушка: глаза горят, то засмеется вдруг невпопад, то заплачет.

Ласкает ее Марья Ивановна, уговаривает, расспрашивает, не болит ли где, не желает ли чего царевна. Но Иринушка отвечает:

— Ничего не болит у меня, мамушка, ничего мне не хочется, скучно только. Отчего скучно — сама не знаю. Места себе не нахожу...

— Так в садик бы вышла, прошлась, теплынь нынче, благодать.

— Ох, и гулять не хочется. А вот что, мамушка, прикажи ко мне позвать Машуню.

— Ладно!

Уходит княгиня от царевны да и не возвращается.

Посылает Ирина за Машей то того, то другого. Возвращаются посланные ею с одним и тем же ответом: нигде нет Маши, никак отыскать ее не могут.

Ждет царевна и волнуется все больше и больше.

Наконец сама она вышла, обошла весь терем, в сад спустилась — нет нигде Маши. Спрашивает она о ней, никто ничего сказать не может. И в то же время замечает она, что все как-то странно на нее смотрят.

Кинулась Ирина к княгине Марье Ивановне, дрожит вся, рыдает.

— Где Маша? — спрашивает она.

Княгиня видит, что нельзя больше скрывать.

— Нет ее, убежала она, твоя любимица!

Царевна так зарыдала, будто сердце разрывалось на части.

— Неправда это, скрываете вы от меня... своего добились, схватили, видно, ее, повели на пытку!... Это зверь этот... дьяк... Тороканов!... Да как же он смеет, ведь мне обещали, что ее не тронут... Как же мне-то не сказались?!

Она, как безумная, побежала отыскивать царицу. Нашла ее и вся в слезах, в исступлении молила и в то же время требовала, чтобы отдали, возвратили ей любимицу.

Но царица ничего не знала и не понимала, в чем дело. Призвали княгиню, призвали Настасью Максимовну и, наконец, привели к царице Пелагею.

Ирина из всех этих докладов и рассказов должна была убедиться, что ее предположение неверно. Тут не Тороканов, не на пытку повели Машу.

Так что же? Один ужас заменился другим. Значит, она не послушалась, значит, она так и сделала, как предполагала. Убежала она к нему... Отчего же не возвращается?!

— Послать людей искать эту девчонку по городу! — распорядилась царица. — Чтобы нынче же ее нашли, не булавка ведь... Да и куда же это она могла убежать? — обратилась царица к дочери. — Ты вот ее заступница. Ты меня уверяла, что девчонка эта ни в чем не повинна, ну так и объясни нам, знать ты должна — где она?

Ирина опустила голову и молчала. Что могла она ответить?

— Вот и выходит, — продолжала царица уже совсем раздраженным голосом, — что мы с Марьей Ивановной, потакая тебе,

в дурах остались. Не надо было тебя слушаться. Ишь, невидаль какая, сокровище, золото! Все, вишь, на нее напраслину возводят, все, вишь, виноваты, она одна права!... Слушай ты, Марья Ивановна, — повернулась царица к княгине Хованской. — Как отыщут эту негодницу, так ты ее запри. Мне доложи, а я дьяка пошлю поспрошать ее. Нет уж, Иринушка, плачь ты не плачь, хоть рекой разлейся, а об Машутке чтобы и слуху не было! Вон ее из терема, не то она всех тут перепортит...

Совсем разгневалась царица. Ирина убежала к себе, кинулась на кровать, никого к себе не подпускала и горько-горько плакала.

Вечер пришел и принес только одно известие, что, несмотря на поиски во все стороны разосланных надежных людей, Машутки не отыскали. Как в воду канула. И на следующий день, и еще через день — нет Машутки.

Царевна все перебрала в уме своем. Представлялись ей всякие ужасы: растерзали Машу злые собаки по дороге, захватили ее воры-разбойники, душегубцы, утопилась она от страха погони.

Долго не могла остановиться царевна на мысли о том, что Маша жива, что она там, во дворе королевича, что она с ним, но пришлось, перебрав все, дойти и до этой мысли. Если она жива и только не могла до сих пор вернуться — это еще самое для нее лучшее. Только ведь не вытерпит она, никакие стражники ее не остановят, раньше или позже, а явится она в терем себе на погибель. И нет никакой возможности дать ей знать, чтобы не возвращалась.

Томится бедная царевна без известий о Маше и королевиче, и пуще того еще страшится она, чтобы Маша не вернулась.

Ото всех сторонится царевна, ни с кем не ведет беседы: «да», «нет» — только от нее и слышат.

Вечер придет, запрется она у себя в опочивальне, упадет на колени перед киотом с образами и жарко, горячо молится. Так чиста, горяча ее молитва, так непорочно ее юное измученное сердце, что не смеют Машины бесенята шепнуть ей: «А Машуня-то твоя у королевича, обнимает она его, целует... Обманула тебя твоя Машуня, насмеялась над тобою».

Прячутся бесенята в темный угол, забираются на теплую изразцовую лежанку, изукрашенную хитрым рисунком, невиданными

цветами и травами, и оттуда с изумлением и грустью глядят на молящуюся царевну.

XX

Была середина лета, последние числа июня. Погода стояла знойная: засуха, ни малейшего дуновения ветра, солнце медленно плывет по безоблачному небу и жжет, палит своими лучами.

По Москве бешеные собаки бегать стали и кусаться. На людей, местами, мор пошел: схватит человека, кричит он, корчится, холодеет, а через несколько часов, глядишь, и Богу душу отдал. Решили, что болеть ту завезли купцы из Персии, а другие уверяли, что все это просто с духоты, от зноя — спадет зной, пойдет дождик и всю болеть лихую как рукой снимет. Пока же не принимали никаких мер против заразы, да и не знали, какие тут меры помочь могут.

Вообще над Москвою и помимо удушающего зноя и заразы чувствовалось что-то тяжелое, тревожное. Ходили недобрые слухи о болезни царской, о самозванцах. Ближние бояре, знавшие доподлинно, в чем дело, с каждым днем смущались все более и более.

Они хорошо понимали, что царская болезнь не к доброму концу. Еще весной, в апреле, призывали иноземных дохтуров — Венделина Сибелисту, Иоганна Белоу да Артмана Грамана и допрашивали их: какая болеть у царского величества, от каких причин та болеть случается и что от того бывает?

Ученые иноземцы, осмотрев государя, объявили, что желудок, печень, селезенка, по причине накопившихся в них слизей, лишены природной теплоты, и оттого понемногу кровь водянеет и холод бывает; оттого же цинга и другие мокроты бывают.

Назначили лечение: давали государю составное рейнское вино, приправляя его разными травами и кореньями, запретили ужинать, пить холодные и кислые питья.

Лекарство это не оказало никакого действия. Тогда, 14 мая, прописали другой очистительный состав, но и он не принес облегчения. В конце мая врачи говорили ближним боярам, что желудок, печень, селезенка бессильны «от многого сиденья, от холодных напитков и от меланхолии, сиречь кручины».

Венделин Сибелиста, будто оправдываясь, доказывал, что он давно уже просил великого государя изменить образ жизни, ходить пешком как можно больше и, главное, не кручиниться, быть веселым.

— А что ж ты, дохтур, зелья-то целебного государю не дал от кручины? — спрашивали бояре. — Тоже толкуют: не кручинься, будь весел! Ну, так и дай от кручины зелье!

— Нету такого зелья в натуре! — объявил Сибелиста. — Коли вам старые бабы говорят, что они то зелье знают, не верьте им: врут ваши старые бабы!

— То-то оно и есть! А ты вот выдумай снадобье целебное от кручины, от беды всякой да тогда и говори... А то что ж ты за дохтур немецкий, ученый, коли великого государя, за его же тебе царское жалованье, вылечить не можешь!

Сибелиста обиделся, отошел от бояр и, потолковав с товарищами, прописал царю составной сахар и велел мазать желудок бальзамом.

Начались у Михаила Федоровича головные боли, да такие, что по дням не мог головы поднять с подушки. Составили 5 июня порошок. От того ли порошку или так, само собою, голове полегчало. Царь стал вставать с кровати, проходил в «комнату», беседовал с боярами; но лик его был темен, глаза потухли, он с трудом двигал опухшими ногами, дышал тяжело и, поговорив немного, чувствовал большую усталость.

Дохтуры строго-настрого запретили докладывать ему о чем-либо неприятном, наказывали ничем не раздражать его, да и сами бояре видели, что волновать его невозможно, что от каждой малости ему становится хуже.

А тут, как нарочно, дела все такие неприятные, и не знают бояре, как вывернуться, как быть без царского наказу.

Начать хоть бы с королевича! Ведь это он, басурман упрямый, жестоковыйный, и есть главная причина болести государя, его злой кручины. Не сдается, хоть ты тут что! Да еще и на хитрости всякие поднимается...

Вот пришел к боярам Петр Марселис и докладывает:

— Вчерашнего 24 числа июля заболел королевич Вольдемар Христианусович болезнью сердечною, сердце у него щемит и болит, что скушает пищи или чего изопьет, то сейчас назад...

— С чего ж бы это? — спрашивают бояре.

— Ясное дело, с кручины! — отвечает Марселис. — Если скорой помощи не подать королевичу, то может быть с ним удар или огневая болезнь и может он помереть...

Марселису ничего на это не сказали бояре, отпустили его и тотчас же послали за верным человеком, Миной Алексеевым, который в последнее время был приставлен для наблюдения за тем, что делается на королевича дворе. Мина Алексеев, явясь перед боярами и узнав, в чем дело, сказал:

— Петр Марселис либо сам обманывает, либо его обманули. Вчерашнего 25 числа королевич кушал в саду; маршалок, чашник, дворяне и ближние люди при нем были все веселы, ели и пили по-прежнему. После ужина королевич гулял в саду долго со своим любимым рындой, ловким таким и пригожим из себя парнишкой, а маршалок звал к себе в хоромы чашника, дворян и ближних людей всех, потчевал их, пили вино и романею, и рейнское, и иное питье до второго часу ночи. Все были пьяны, играли в цимбалы. Дохтура я сегодня на дворе у королевича не видал...

— Ну и пускай себе пьянствуют и играют в цимбалы! — решили бояре и отпустили Мину Алексеева, наказав ему следить хорошенько и обо всем своевременно докладывать.

Было другое дело, путаное-перепутаное, с которым надо было непременно скорее кончить, а как кончить, того бояре не знали. Дело это касалось ждавшего своей участи самозванца Лубы и привезшего его польского великого посла Стемпковского, который все громче и громче начинал жаловаться на свое положение и требовать царских решений. Жаловался он тоже на пристава.

Разобрали бояре дело. Оказалось, что пристав упрекал Стемпковского за то, что приехавшие с ним литовские купцы ходят пьяные поздно ввечеру и ночью по улицам, продают вино и табак, царского величества людей бесчестят, бранят, саблями секут, шпагами колют.

Стемпковский не верил таким действиям литовских купцов и в то же время просил, чтобы им было позволено торговать вином и табаком, так как в договоре написано что им вольно торговать всякими товарами.

Пристав ответил:

— Стыдно такие товары товарами называть и в перемирных записях писать: литовские купцы сами знают, что по царскому указу за такие товары всяким людям чинят жестокое наказание: носы режут, кнутом бьют без пощады и в тюрьму сажают.

Далее посол жаловался боярам:

— Хорошо было у нас царского величества послам, князю Львову с товарищами: сенаторы их почитали, к себе на пиры звали и дарили. Жили они в Польше, как у родных братьев, на поле тешиться ездили и дома у себя тешились; а мне здесь, великому послу, только позор и бесчестье, живу взаперти, никуда выехать не пускают, людей моих не пускают на двор к королевичу датскому...

— Это никак невозможно без царского наказа! — отвечали ему бояре. — Его величество болен, за болезнью мало из своих царских покоев выходит, а как его величеству Бог даст облегчение, то думный дьяк станет докладывать ему о всяких делах...

Но царскому величеству облегчения не было. Хоть и прошли головные боли, да слабость и отеки все увеличивались.

Наступило двенадцатое июля, день именин государя. После почти совсем бессонной ночи Михаил Федорович все же пересилил свою слабость, поднялся чуть свет, облачился в праздничную одежду и вышел к собравшимся боярам, чтобы идти с ними к заутрени.

Бояре со страхом и в великом волнении ожидали его выхода. Почти все были уверены, что он не в силах будет идти в церковь.

Но вот царь появился, и при взгляде на него все оживились. Велика сила духа! Благочестивый царь в сознании святости этого дня и необходимости присутствовать на богослужении нашел крепкое оружие против тяжелого недуга, окончательно разрушавшего его тело.

На душе у него было светло и ясно. Все мрачное, безнадежное, смущавшее и отравлявшее покой этого времени — отошло, забылось. Ведь вот давно, давно уж, поглощенный заботами, тоской и страданием, царь совсем не замечал, не ощущал того, что в прежние счастливые годы составляло для него радость жизни. Для него уж не существовала природа, не светило солнце, не красовалась земля в своем летнем наряде.

А теперь глядит он и видит: утреннее солнце пронизало расписные, разноцветные стекла узких, длинных окон палаты и играет на знакомых, когда-то так нравившихся предметах.

И теперь все это опять нравится, а главное — солнце! Хочется скорее на воздух — там небо синеет, там шелестят листвою деревья, жужжат пчелы...

Детски счастливая улыбка озарила бледное лицо царя. Он оглядел собравшихся бояр, низко ему кланявшихся и поздравлявших его с радостным днем, со днем его ангела. Поклонился и он на все стороны, благодарил верных слуг своих и советников, со многими облобызался.

Все эти давно знакомые лица, вчера еще надоедливые и совсем ненужные, казались ему теперь близкими, милыми, дорогими, будто он свиделся с ними после долгой разлуки.

Никто не смел его спрашивать о здоровье, так как вопросы эти его раздражали, но он сам объявил громко:

— Смилоствился Господь надо мной, послал для моего праздника успокоение моему недугу. Давно я так хорошо себя не чувствовал... Пойти скорее в церковь, после молитвы-то еще, Бог даст, поздоровею...

Однако, пройдя несколько шагов, он почувствовал в ногах такую слабость, что оперся на руку оказавшегося рядом с ним Шереметева и так, медленно передвигая ноги, дошел до церкви. Взойдя на свое царское место, он тотчас же опустился на колени, и все заметили, что он на коленях не стоит, а сидит. Так оно и было, и вдобавок, начав горячо молиться, царь сам не замечал положения своего тела.

Молитва окончательно оторвала его от действительности, перенесла в иной мир, разорвала связь между ним, воспарившим духом, и слабым, истощенным долгой болезнью телом, которое лежало теперь согнувшись, подавляемое собственной тяжестью.

Царь уже не различал звуков церковного пения и слов читаемой молитвы. Он слышал совсем иные звуки, полные дивной, никогда еще не слыханной им гармонии. Будто где-то высоко, над сводами церкви, шла тоже церковная служба, только совсем иная, полная великой, божественной тайны...

И хотелось царю проникнуть в эту тайну, вслушаться в непонятные слова согласного хора. Еще одно усилие парящего духа — и он поднимется выше, все расслышит, все поймет...

Но вдруг внизу, глубоко внизу будто упало что-то, раздался будто звук порвавшейся струны — и царь почувствовал, что он стремительно летит вниз.

Страшная боль загрызла его сердце, все его внутренности. Он крикнул не своим голосом, пошатнулся на правую сторону и упал, ударясь головою о резную решетку. Со всех сторон к нему подбежали бояре. Пение внезапно замолкло. На всех лицах был ужас...

XXI

Михаила Федоровича, находившегося без чувств, пронесли в царские палаты, прямо в опочивальню. Царица, сама совсем больная, едва волочившая ноги, громко плакала и причитала, обливая слезами бледное, неподвижное лицо мужа. Собравшиеся врачи едва уговорили ее дать им раздеть царя.

— Одно скажите мне, Христа ради, — вопила царица, — жив ли он, жив или уже нет его, желанного?

Венделин Сибелиста стал уверять, что царь еще жив, что вот он скоро придет в себя, чтобы царица не плакала и удалилась, ибо ее слезы и крики только могут повредить больному. Но Евдокия Лукьяновна не двигалась с места, пока наконец царь не открыл глаза и не пошевелился. Тогда она сама, почти уж потеряв сознание, допустила увести себя в терем.

Между тем Михаил Федорович от разных обкуиваний и примочек вышел из своего оцепенения, получил способность говорить. На вопросы дохтуров, что он чувствует, он ответил:

— Ничего не чувствую, нигде не болит, только дышать трудно. Окна отворите, двери... дайте воздуху.

Его приказание было тотчас же выполнено.

— Оставьте меня все, оставьте одного, — прошептал царь и махнул рукою.

Все вышли. Дохтуры и самые приближенные остались в соседнем покое, разместились кто где и прислушивались, затаив дыхание, не произнося ни слова, только переглядываясь.

Царь скоро, очевидно, заснул. Сибелиста решился осторожно прокрасться в опочивальню, подобрался к кровати, прислушался и затем, возвратясь, объявил:

— Дышит изрядно, авось отойдет. Сил у него мало; не надо было идти в церковь.

Бояре шепотом заговорили:

— Как тут не идти в такой день!

— И ведь как бодр да радостен казался, от сердца отлегло...

— А тут вот какое горе!

Стали приставать к дохтурам, выпытывать: опасен или нет, встанет ли? — дохтуры качали головами:

— Как знать! Всяко бывает, может, еще и поправится ненадолго, а все же опасен, ничего хорошего не видно.

Вместо веселья и радости этого всегда такого торжественного дня в царских хоробах было теперь великое уныние и затишье. О именинных столах никто не думал.

Скоро Венделина Сибелиста позвали к царице, ей тоже стало совсем худо.

Время от времени ближние бояре, то один, то другой, осторожно входили в опочивальню, глядели на царя, прислушивались и уходили. Он все спал. Проспал он почти до самого полдня, но вот пошевелинулся и застонал.

Сибелиста еще не возвратился от царицы, а потому дохтур Граман кинулся к царю, подал ему лекарство.

Михаил Федорович лекарство выпил, а на вопрос дохтура, как он себя чувствует, ответил:

— Ничего. Все уходите!

Он, очевидно, собирался с мыслями и еще не ясно понимал, где он и что с ним такое. Наконец сознание всего, что было, вернулось к нему.

«Что же это, помираю я? — подумал он. — Неужто помираю в день такой?»

Он стал вслушиваться в свои ощущения, бессознательно желая решить вопрос, откуда идет смерть, где она стучится. Но, к изумлению, все внутри его было тихо, никакой боли. Напротив, он чувствовал даже большое наслаждение лежать так тихо на своей широкой мягкой кровати: приятная слабость оковывала все его члены; в голове стало совсем ясно; в сердце не было ни тоски, ни томления, никакие тревожные, черные мысли не смущали.

Царь перевел глаза к открытому окну, из которого лились солнечный свет и тепло летнего полдня. Он расслышал где-то вдалеке птичье щебетанье; потом уж близко, у самого окна, заворковали голуби; какой-то неопределенный гул доносился издалека...

Царь жадно вслушивался во все эти звуки, и его снова, как утром, потянуло на воздух, к солнцу, к теплу. Он сделал движение, чтобы встать и подойти к окну, но встать не мог, так велика была слабость. С большим усилием приподнял он руки и тихонько хлопнул в ладони. Сейчас же несколько человек показались у двери.

— Я не выйду, — тихим голосом произнес царь, — хоть мне и гораздо лучше. Пошлите к царице сказать, что мне лучше, да пусть все будет как положено... За столы, за столы идите, пируйте, чтобы все было как всегда!...

Его приказание было исполнено, но пированье вышло печальное; даже первейшие любители покушать и попить за царским столом и те держали себя в этот день как постники.

Около восьми часов вечера, незадолго до солнечного заката, из опочивальни государя стали все громче и все чаще раздаваться стоны. Снова собрались дохтуры со своими вновь приготовленными лекарствами, но царь отказывался теперь принимать эти лекарства, громко стонал и охал.

— Ох, внутренности все терзаются! — стонал он. — То огнем жжет, то холод по всему телу разливается!...

Прошло еще с полчаса, мучения не ослабевали.

— Позовите патриарха, — приказал царь, — царицу зовите, царевича с боярином Морозовым...

Скоро в опочивальне появилась сухая, согбенная фигура патриарха. Он благословил царя и тихим, старческим голосом стал говорить ему обычные речи, подавать надежду на милость Божию, на выздоровление.

Царь слушал его или, вернее, старался слушать внимательно, проникнуться его словами, но между тем видно было, что неотпускающие мучения время от времени становятся так сильны, что поглощают все его внимание.

Вот появилась, едва держась на ногах, царица. Ее всеми мерами уговорили не выказывать своего отчаяния, поселя в ней надежду, что царь еще не при смерти, что болезнь может отпустить и что пуще всего не следует пугать его.

Царица удерживала слезы. Она почти упала в кресло у кровати рядом с патриархом и обратила на него умоляющий взор. Тот ответил ей спокойным и в то же время строгим взглядом, и взгляд этот, более

чем все уговаривания, помог ей сдержать рыдания, подступавшие к горлу.

Наконец появился и шестнадцатилетний царевич Алексей Михайлович. Его юное красивое лицо было бледно, на глазах стояли, не смея выкатиться, слезы.

Он робко подошел к отцовской кровати, припал губами к холодной, опухшей руке царя и замер.

Царь с легким стоном приподнял другую руку и положил ее на голову сына.

— Где же Борис Иванович? — прошептал он.

— Я здесь, государь, — ответил Морозов, подходя ближе к кровати.

Царь посмотрел на красивое, бледное, еще более бледное от густой, обрамлявшей его черной бороды лицо своего ближнего боярина, но не сказал ни слова.

Не один царь смотрел теперь на Морозова, все взгляды были обращены на это несколько мрачное, бледное лицо с почти совсем опущенными глазами, которые оттого, верно, и опускались, что боярин боялся выдать свои мысли.

А может, и мыслей особенных у боярина в этот час не было, он давно уже приготовился к этому дню, давно уже видел, что царя скоро не станет и что ему, а никому другому, придется играть первую роль в государстве. Давно уже, день за днем, шаг за шагом, подготовил он себе эту роль и был спокоен.

Прошло еще с полчаса времени, усилились страдания царя, снова заметался он на кровати, снова застонал; потом стихли его стоны, ему опять стало спокойнее и лучше. Вдруг он заговорил хоть и тихим, но твердым голосом:

— Чувствую я, пришел конец мой. Теперь никакие уж лекарства не нужны мне, все кончено. Смерть пришла — я это знаю, — так угодно Богу.

Он слабым движением руки поманил к себе царицу. Она, уже не в силах сдерживать рыданий, упала головой на грудь его.

— Не плачь, жена, — как будто издали откуда-то слышала она над собой его голос. — Зачем плакать? Господь знает, что делает. Время пришло... Прости, жена, коли я был виноват в чем перед тобою, отпусти мне... Сын!

Морозов подвел Алексея и помог ему опуститься на колени перед кроватью.

— Сын мой! — уже иным, громким и звучным голосом произнес царь. — Благословляю тебя на царство! Богу угодно отозвать меня к себе, да будет Его святая воля! Юн ты, неопытен, но и сам я таким же, как ты, юношей принял царство. Бог не оставил меня, нашел я руководителей и защитников, и тебя не оставит Бог, коли ты Его забывать не будешь... Боярин наш, Борис Иванович, — все тем же голосом, громким и звучным, продолжал царь, глядя на Морозова, — слушай: тебе, боярину нашему, приказываю я сына и со слезами говорю...

Голос его дрогнул, и из глаз брызнули слезы...

— Как нам ты служил и работал, с великими усердием и преданностью, оставя дом и покой, пекся об его здоровье и научал страху Божьему и всякой премудрости, жил в нашем доме безотлучно в терпении и беспокойстве тринадцать лет и соблюдал его как зеницу ока... так и теперь служи...

Голос царя оборвался. Он тяжело вздохнул, замолчал и закрыл глаза. В опочивальне сделалась полная, глубокая тишина, даже царица остановила свои рыдания. Чувствовалось надо всеми нечто торжественное и таинственное, будто дуновение иного мира пронеслось...

Вечер быстро надвигался, темнота сгущалась, все ярче и ярче загорались огоньки лампад перед образами, и долго все оставались в этой торжественной тишине, не шевелясь, не замечая времени.

Царь то лежал неподвижно, то начинал стонать. На него находило забытьё, и ему представлялось что-то светлое, но неясное и хотелось разглядеть и никак разглядеть того было невозможно. Вот он совсем перестал сознавать действительность, забыл о том, что его окружают близкие люди. Ему казалось, что он один, совсем один, среди невозмутимой тишины, и вспомнилась вся жизнь ему от самого детства. Снова переживал он все радостные и печальные события этой жизни. А время шло...

Наступило два часа ночи. Очнулся Михаил Федорович, и будто какой-то голос, ясный и знакомый, шепнул: «Пора! Пришло!» Он открыл глаза, взглянул на патриарха и прошептал:

— Отхожу, желаю исповедаться и приобщиться святых тайн...

Его желание было тотчас же исполнено...

Приняв святые дары, он совсем успокоился. Лицо его теперь не выражало никакого страдания, оно будто просветлело. Еще несколько минут — только глубокий, тяжкий вздох показал, что все кончено...

XXII

Несмотря на теплую, ясную летнюю погоду, тишина и уныние царили в Кремле и вокруг Кремля.

Давно уже московские жители унылым звоном колоколов были извещены о переселении в вечность благочестивого государя царя и великого князя Михаила Федоровича, давно уж в тяжелом, дубовом гробу, покрытом червчатым бархатом и драгоценною парчою, стояло царское тело в дворцовой церкви.

Церковные дьяки денно и нощно читали у гроба псалтырь с молитвами.

По всем городам, монастырям и церквам разосланы были гонцы с приказом чинить по царе шестинедельное поминание. В города к митрополитам, архиепископам, епископам, в монастыри — к архимандритам и к игуменам отправил патриарх грамоты с приказом быть на Москву к царскому погребению не медля часу. Но пока соберутся все, пройдет еще немало времени.

К концу первой недели наглухо закрыли гроб царский... Все происходило так, как повелось исстари.

На третий день после кончины царя в царских палатах был на патриарха, ближних бояр и духовенство поминальный стол, во время которого отпевали панафиду^[132] над кутьею.

Через три недели был другой, такой же поминальный стол, и вот начали съезжаться со всех сторон к царскому погребению оповещенные лица.

Ночь царского погребения — так как, по обычаю, царей хоронили в ночное время — была назначена. Уже с вечера бесчисленные толпы московских людей со всех концов города стремились к Кремлю; множество было и приезжего из городов и из уездов люда.

Площадь, залитая народом, изо всех сил старавшимся пробиться вперед, поближе к пути от царского дворца до Архангельского собора, представляла необычайное зрелище.

В тишине безлунной, звездной ночи эти многие тысячи людей, тесно прижатых друг к другу, являлись каким-то громадным, бесформенным, копошащимся существом, таинственным и страшным. Глухой гул, исходивший от этого существа, имел в себе что-то зловещее.

Еще до выноса царского тела было далеко, а уже гудевшее таинственное существо начало поедать само себя. То здесь, то там раздавались отчаянные вопли и крики; люди мяли и давили друг друга. Проникшие в толпу воры и душегубцы, пользуясь в темноте всеобщей растерянностью и необыкновенной теснотой, нагло обирали своих соседей, а в случае чего давили их и душили. Стрельцы, обязанные следить за порядком, ничего не могли сделать, и только самих себя оберегали.

Наконец заунывные звуки колоколов возвестили, что царский гроб поднят из дворцовой церкви, и шествие тронулось. Толпа присмирела и затихла.

В теплом, безветренном ночном воздухе доносилось издали церковное пение; запылала бесчисленные свечи в руках идущих. Показались сначала, в траурном облачении, диаконы, попы, певчие дьяки. Вот и гроб царский, несомый духовенством. Позади идут: патриарх, юный царь Алексей Михайлович, бояре, за ними ведут царицу, за царицей царевны, боярыни и боярышни, все в черном, потом все население царского дворца и терема, мужчины и женщины вместе, без чину, тоже все в черном, с громкими воплями и рыданиями.

Ярко горят факелы по обеим сторонам широкого пути, оставленного для печального шествия, за этими факелами вплотную — стрельцы, стражники, едва сдерживающие напор бесчисленной толпы.

Медленно, шаг за шагом, продвигается шествие. Стоящие в первом ряду за стрельцами, стиснутые, сдавленные люди почти не могут дышать, но зато хорошо видят.

Почти у самого входа в Архангельский собор, рядом со стражниками, озаренная светом факелов группа — несколько человек в иноземной, воинской одежде. Впереди всех выделяется стройная, красивая фигура королевича Вольдемара. Не просил и не хотел он участвовать в шествии, но потребовал, чтобы его с ближними к нему

людьми пропустили к собору — посмотреть на перенесение царского тела.

Ввиду настоятельности его требований и соображений ближних бояр о том, что теперь, по кончине царя, неведомо еще что будет, как повернется королевичево дело, ему было разрешено занять место у собора.

Стоит он, гордый и красивый, с побледневшим лицом и сверкающими глазами, опираясь на рукоятку шпаги. Блестит и искрится при свете огня его дорогая одежда, горят алмазы, яхонты и рубины тяжелой цепи, надетой поверх всего на его шее; тихо колышутся большие страусовые перья над его головою.

Уж диаконы и певчие дьяки вошли в собор и оглашают его своды звуками канона.

Вот тяжелый, закрытый гроб царский. Глаза королевича мрачно сверкнули; невольное злобное чувство изобразилось на лице его. Не может он побороть этого чувства, ради этого чувства он здесь. Кипит его сердце, вихрь мыслей проносится в голове его.

«Так вот что от тебя осталось, мой мучитель! — думается ему. — Не встанешь ты теперь из этого гроба, чтобы терзать меня. Что я тебе сделал? За что ты надругался надо мною? За что превратил в тяжелую, позорную неволю лучшее время моей жизни?»

Но вдруг на него как бы пахнуло дыхание смерти. Он вздрогнул, и глаза его опустились. Наполнявшая его ненависть мгновенно замерла, и откуда-то, из глубины сердца, поднялось совсем иное чувство.

Ему вспомнилось доброе, ласковое лицо царя в первое свидание, потом вспомнилось это же лицо, такое печальное и страдающее, вспомнились глубокие царские вздохи в ответ на его твердость, на его доказательства и уверения в том, что он, королевич, не может отступить от своей веры, и если царь не желает исполнить подписанного им договора, то он требует честного отпуска. Показалось Вольдемару, будто он снова услышал этот глубокий вздох, будто вздох этот несся от гроба, — и он внезапно понял то, по-видимому, непостижимое противоречие, которое было виною всех полученных им на Москве оскорблений и его долгой возмутительной неволи.

«Он не мог! — сказал себе королевич. — Пусть Бог простит ему... и я прощаю!...»

Он низко наклонил голову перед царским гробом, и как-то тихо и грустно сделалось в его сердце.

Когда он поднял глаза, перед ним была закутанная в черное женская фигура, которую две такие же фигуры вели под руки. Сзади себя он слышал чей-то голос, говоривший:

— Это царица! Ишь, бедная, убивается! Сама больно недужна, наживет недолго!...

А это кто? Кто глядит на него, на королевича, из-под черного покрывала?

Он еще не успел сообразить и понять, как мучительный женский крик огласил воздух — и стройная, закутанная в черное одеяние фигура упала без чувств на руки окружавших.

Все могла вынести царица Ирина — только не эту неожиданную встречу.

XXIII

С тех пор как пропала Маша, с тех первых дней вечного волнения, тревоги и ожидания, царица как бы перестала жить. Она даже известие о кончине отца встретила будто в бреду, не поняв хорошенько его значения. Она громко плакала и рыдала, но делала это машинально и не давала себе никакого отчета в новом постигшем ее горе. Она приходила к больной матери, которая только и говорила теперь о смерти, слушала ее и оставалась безучастною, будто камень лежал у нее на сердце.

Даже молитва не шла на ум. Подолгу стояла на коленях перед киотом с образами, клала земные поклоны, шептала слова молитвы, но не находила в этом прежней отрады, не лились слезы, облегчавшие страдания, да и страданий как будто уже не было. Камень лежал на сердце, давил — и только.

Время от времени она справлялась, не слышно ли что-нибудь о Маше? Не нашли ли ее? Но и это делала она почти машинально. Кажется, явись теперь Маша перед нею — и ей будет все равно. Ей казалось, да и не то что казалось, а она была совсем уверена в этом, что жизнь ее кончена, все прошло, навсегда исчезло все, чем жила она до сих пор.

Вечером она ложилась в кровать, засыпала мертвым сном, без сновидений, просыпалась утром без мыслей, одевалась, ела, пила, разговаривала с княгиней-мамой, со своими боярышнями, занималась обычными рукоделиями — но ничего это не выводило ее из окаменения.

Точно так же собралась она и на отцовские похороны. Кругом нее, как подняли из дворцовой церкви царский гроб и понесли, раздавались вопли и рыдания. Младшие ее две сестры-царевны заливались непритворными слезами — у нее же ни одной слезы из глаз не выкатилось. Вряд ли она понимала даже, что такое значит этот гроб и кто в нем лежит.

Она двинулась за матерью, рядом с сестрами и боярынями, и шла, по-видимому, совсем спокойно, с застывшим выражением в лице, с глазами, устремленными куда-то прямо перед собою.

Она никого и ничего не видела, но вдруг, когда она подходила к Архангельскому собору, в ней произошла непонятная перемена. Сама не зная почему, она вздрогнула всем телом, на щеках ее вспыхнула давно уже, давно сбежавшая с них краска.

Она подняла глаза, будто ища среди лиц, бывших перед нею и освещенных факелами, кого-то.

Кого ей было искать? Кого ей было ждать встретить?

Она не думала о королевиче. Она не знала, где он и что с ним, никто не сказал ей, что она его увидит, да и трудно было ей узнать его — ведь она ни разу не видела Вольдемара в его обычном наряде. Перед нею, в ее воспоминании — странная высокая женская фигура, на один миг ей мелькнувшая, освещенная лампадкой, приподнятою Машей... а потом мрак...

Но теперь ее вдруг охватило то самое чувство, которое наполняло ее тогда, в тот далекий, бесконечно далекий вечер, в темном теремном коридоре. Ее глаза остановились на стройной фигуре молодого красавца, над головой которого тихо шевелились страусовые перья.

Все в ней застыло, широко раскрылись глаза ее.

Это он! Разве когда-нибудь могла она забыть это мгновение, мелькнувшее перед нею, при свете Машиной лампадки, лицо? Ведь его покрывала она ненасытными поцелуями. Разве можно забыть это? В чем бы ни был он, где бы ей ни явился — не может она не узнать его, не может ошибиться — это он!

Но лицо его спокойно и холодно. Вот он взглянул на нее, он ее видит, видит — и не узнает ее!...

Острая, мучительная боль впиалась ей в сердце, она дико вскрикнула, все перед ней закружилось, все исчезло во мраке и тумане.

XXIV

Царевну Ирину пришлось отнести обратно в терем. Княгиня Хованская, перепуганная до полусмерти этим обмороком, едва нашла в себе силы сообразить, что же теперь делать, и приказала как можно скорее звать дохтура. Настасья Максимовна, вся багровая и заплаканная, окуривала царевну жжеными перьями и спрыскивала ее с уголька, уверяя, что, наверное, это кто-нибудь из толпы взглянул черным глазом на царевну. На этот раз она была совершенно права: сглазил царевну хоть и не черным глаз, а равнодушный взгляд королевича Вольдемара.

Больная царица так была погружена в свою горесть и в свои телесные страдания, что даже не заметила происшествия с дочерью и ее отсутствия в церкви.

Царский гроб поставили внутри собора близ алтаря, и началось погребальное пение. Отпели царя, опустили гроб в склеп и отверстие покрыли каменной плитой. Принесли кутью, над которою патриарх сказал молитву. По окончании молитвы он трижды отведал кутью, затем поднес ее царице, Алексею Михайловичу, царевнам, всем боярам и разных чинов людям, находившимся в церкви.

Погребение было окончено.

Царицу тоже пришлось нести, так как сама она уже не могла двигаться.

Все стали расходиться.

Подьячие, получившие из приказа в огромном количестве деньги, завертывали в бумагу рубли, полтины и полуполтины, наложили их на подводу, вывезли на площадь и стали всем раздавать деньги.

В народе шел говор о том, что для царского преставления уже выпущены из тюрем все колодники.

— Хоть бы подождали, выпустили бы их после погребения, — рассуждали многие, — а то вон слышали, сколько на площади

ограбленных, сколько убитых: более ста человек снесли. Чьих рук это дело? Вестимо, тех же самых колодников, душегубцев.

— Ну да уж что тут толковать! Так исстари повелось, так тому и быть должно. А в такой день без смертей да без увечья тоже никак невозможно!...

Воцарился над Москвой и над всей православной Русью тишайший, благолепный юноша Алексей Михайлович. Народ московский издавна любил царевича, готов был служить ему верой и правдой. Одно только смущало: чересчур юные годы царя.

— Юн был и Михаил Федорович, взойдя на престол, — говорили в народе, — да ведь тогда рядом с ним кто находился? Отец его, мудрый патриарх Филарет Никитич, а теперь кто заправлять всем будет?

— Боярин Морозов. Вишь ты, сам царь на смертном одре передал ему всю власть и всю силу!...

— Коли сам, так уж что тут!... значит, так тому делу и быть, по последней царской воле!

Однако же последняя царская воля хоть и признавалась ненарушимой, все же приводила многих в великое смущение.

Боярина Морозова в народе недолюбливали, как-то инстинктивно ему не доверяли, чувствуя в нем не слугу царского, а слугу своей собственной гордыни, своего ненасытного честолюбия.

Ближние бояре Михаила Федоровича тоже ходили нос повеся, вспоминали да взвешивали все прежние обстоятельства, все те случаи, когда боярину Морозову не по нраву кто что сделал. Боярин злопамятлив, ничего не пропустит, ничего не забудет. Кланялись ему ниже пояса, в глаза заглядывали и трепетали.

Покуда Борис Иванович ничем себя не проявлял: со всеми был ласков, работал с утра до вечера над делами государскими...

Явился во двор королевича Шереметев и не то от себя, не то от нового царя, то есть боярина Морозова, повел снова с послом Пассбиргом речь о том, что теперь, мол, времена переменялись, у боярина-де Морозова с другими боярами была беседа о королевиче. Боярин Морозов находит, что с его королевским высочеством Вольдемаром Христианусовичем было поступлено неладно, так чтобы король Христианус за это на царское величество государя Алексея Михайловича и бояр гнева не имел. Его царское величество, любя

королевича от всего сердца, желает ему всякого добра и захочет иметь его своим братом. Пассбирг, задержав Шереметева, пошел сначала один к королевичу и передал ему слова боярина.

Неопределенная усмешка мелькнула на лице Вольдемара.

— Что же вы на это скажете, принц? — спрашивал Пассбирг.

— А ничего не скажу, — ответил Вольдемар, сдвигая брови.

— Этот боярин Морозов, — продолжал посол, — человек иного сорта, чем те бояре, с которыми мы до сего времени имели дело; он поумнее их, посмышленнее, сразу понял, что за такое поведение, за такой прием, какой нам был здесь сделан покойным царем, можно очень ответить. Этот Морозов боится гнева королевского и, понимая хорошо все обстоятельства, желает пуще всего, ради спокойствия государства, которое теперь особенно нуждается в спокойствии, избежать всяких столкновений. Просто-напросто боится он войны, ну и потому положение наше теперь, слава Богу, изменилось. Если вы желаете, принц, то можете настоять на исполнении договора, заключенного с Петром Марселисом. Теперь, при юном царе, вам предстоит здесь действительно первое место, нас же не станут задерживать, отпустят. Дело наше представлялось в безвыходном положении, никто не пришел нам на помощь, а вот кончина царя все перевернула... Шереметев желает вас видеть.

— Так зовите его! — все с той же неопределенной улыбкой сказал Вольдемар.

Шереметев предстал перед королевичем, который сразу заметил в нем большую перемену. Теперь этот царедворец, державший себя в последнее время довольно гордо, выказал перед Вольдемаром все знаки особенного почтения. Даже говорить он стал не прежним, а каким-то новым, вкрадчивым голосом. По всему было видно, что обстоятельства изменились. Вольдемар из пленника, с которым перестали даже церемониться, опять превратился в великую особу.

Шереметев повторил все, что уже сказал Пассбирг, только особенно упирал на то, что молодой царь чувствует к королевичу братскую любовь и непременно хочет с ним породниться.

Наконец, он прямо решился высказать свой собственный взгляд на дело.

Он доказывал королевичу, что у покойного царя были советники, старые и опытные, пользовавшиеся неограниченным царским

доверием; эти советники могли легко изменять как мнения, так и чувства царя; новый же государь-юноша слушается одного лишь боярина Морозова, который с детства к нему приставлен, да и то слушается его он не всегда, имеет свою волю. Коли он так любит королевича, то от королевича и зависит получить над царем первенствующее влияние, быть к нему самым близким человеком, устранить от него дядьку Морозова, который во всяком деле склонен больше хлопотать о своих выгодах, чем о царских.

— Так, так! — проговорил Вольдемар, очень хорошо соображая и понимая, в чем дело.

«Вы все тут боитесь этого Морозова, — думал он, — вам бы хотелось, чтобы я его уничтожил, а потом вы и меня есть станете... О, поскорей бы отсюда!»

Но он ничем, конечно, не выдал Шереметеву своей мысли: он сказал, что желал бы повидаться с царем и просит известить, когда царь может его принять.

По уходе Шереметева королевич прошел в свою дальнюю светелку, где сидел, его дожидаясь, любимый паж.

— Знаешь ли, кто у меня был? — спросил королевич пажа.

— Знаю, боярин Шереметев. О чем же говорил он?

— А вот о чем: царь непременно хочет, чтобы я женился на царевне Ирине... Он, видишь ли, очень любит меня и не желает расставаться со мною!...

Нежные щеки пажа побледнели, темные, прекрасные глаза его заволклились как бы туманом.

— Ну что ж, — прошептал грустный голосок, — я так и знала, так оно и должно было кончиться. Будь счастлив, королевич!

— Да, я буду счастлив! — вскричал Вольдемар, подбегая к пажу и крепко его обнимая. — Я и буду счастлив, не сегодня, так завтра пойду к царю и скажу ему: не надо мне любви твоей, не надо мне твоей царевны, отпусти меня скорей домой, не то тебе будет худо! И он меня отпустит, он не может теперь держать меня, и мы уедем с тобою, Маша, уедем на мою милую родину и проживем хорошей новой жизнью. Довольно мучений! Довольно неволи! Пришло наше время!

Такая уверенность, такая молодая сила звучали в его голосе, такой любовью и горячей жизнью горели глаза его, что Маша забыла все

свои страхи, все угрызения своей совести и с криком радости и счастья кинулась ему на шею.

XXV

В богатом своем наряде, со сверкавшей драгоценными камнями цепью на шее, с гордо поднятой головой и, по-видимому, равнодушным взглядом, вступил королевич Вольдемар в палату, ту самую, где он впервые представлялся покойному царю Михаилу Федоровичу. За королевичем шли послы датские и свита.

Около двух лет прошло с тех пор, как Вольдемар здесь не был. Тогда он находился в уверенности, что приехал на новую свою родину, был весь полон еще впечатлениями только что покинутой им иной совсем жизни, на сердце у него тогда было смутно от всяких ожиданий, сомнений, надежд и зарождавшихся планов. Теперь он чувствовал себя совсем иным человеком, чем в то, как ему казалось, далекое время, и, оглянувшись, с изумлением увидел он, что все здесь как было тогда: те же самые расписные своды, тот же застывший в своих почтительных позах ряд рындов, те же бояре в своих длинных кафтанах и высоких шапках... Тот же самый трон, только на нем уже не тучный от болезни царь с бледным, как бы затуманенным лицом, а свежий, полный жизни и красоты юноша. Рядом с ним, у трона, в свободной позе, высокий, красивый боярин с густой черной бородой, с проницательными глазами.

«Так вот он, этот боярин Морозов! — подумал королевич. — Вот он, царский воспитатель, которого так все теперь, по-видимому, трепещут, влияние которого на молодого царя предлагают мне уничтожить. Если бы я вздумал здесь остаться, этот человек был бы первым моим врагом. Вот он и теперь как мрачно взглянул на меня. Да, должно быть, опасный враг — какое лицо! Какие глаза! Только я его успокою...»

Юный царь, при входе королевича, быстро встал со своего места и, сойдя по покрытым алым сукном ступеням, с доброй, веселой улыбкой пошел навстречу Вольдемару.

— Радуюсь видеть твое высочество! В добром ли ты здоровье? — раздался юношеский голос.

Царь крепко сжал руку королевича и в то же время искал глазами переводчиков. Вольдемар заметил это и улыбнулся.

— Приветствую твое царское величество на престоле московском, — ответил он по-русски, произнося довольно чисто и правильно и сопровождая свои слова красивым поклоном. — Радуюсь, государь, видеть тебя в добром здоровье, а мое здоровье не худо.

Алексей Михайлович с изумлением и видимым удовольствием воскликнул:

— Как, королевич, ты говоришь по-нашему и как хорошо! Вот не ждал я!

— Во время долгого моего здесь плена что мне было делать? Вот я и выучился хорошо языку русскому, — с недоброй усмешкой ответил Вольдемар.

Царь растерялся и как-то жалобно оглянулся, ища глазами Морозова. Но боярин Борис Иванович был уже около них.

С поклоном, который, однако, мог быть ниже и почтительнее, обратился он к Вольдемару:

— Прости, ваше высочество; государь королевич, зачем ты говорить изволишь о плене? Не в плену ты был, и нечего тебе попрекать великого государя; коли и случилось много для тебя неприятного, то он в этом неповинен. Он тебя любит и почитает и желает одного, чтобы ты ныне забыл все неприятности. К чему помнить старое, надо помышлять не о том, что было, а том, что будет. Твое высочество, государь королевич Вольдемар Христианусович, дорогой высокий гость царского величества, и все мы, ближние бояре, готовы служить тебе.

Морозов поклонился снова, и по его знаку поклонились все бывшие в палате бояре.

«Вот как теперь заговорили, да уж поздно!» — подумал чуть не вслух королевич и взглянул на послов. У них тоже были как бы новые лица и новые фигуры. К ним вернулось все их достоинство и вся их важность, совсем было потерянная ими после мучительных невзгод долгого пребывания в Москве.

— Его царское величество, — между тем продолжал Морозов, — готов с великой радостью иметь тебя в ближнем присвоении и покончить, к общему благополучию, то доброе дело, ради которого твое высочество к нам изволил приехать.

Яркой краской вспыхнули щеки Вольдемара, глаза его загорелись злобным чувством, но он сдержал себя.

— Благодарю тебя, великий государь, — сказал он, обращаясь к юному царю, — дело, ради которого я приехал, не по моей вине стало невозможным. Об этом деле уж давно нет и не может быть разговору, уж давно я и послы отца моего, короля датского Христиана, просим отпустить нас с честью в Данию. Только эту просьбу я и теперь могу повторить пред тобою, государь: повели отпустить нас немедля. Мы долго здесь жили, никакого худа никому не сделали, а с нами было много худого... Мы люди вольные, а я сын великого короля. Правда это, что не надо вспоминать старое, я вспоминать и не буду. Кроме чувства любви и почтения к тебе, у меня нет ничего в сердце, и всю мою жизнь я готов почитать тебя и прославлять твою доброту и ласку, коли ты, великий государь, исполнишь мое желание.

Совсем растерялся Алексей Михайлович, жалобно глядел он на королевича и не знал, что сказать, как быть теперь.

Несколько мгновений молчал и боярин Морозов. Различные мысли быстро проносились в голове его.

«Вот как! — думал он. — Упрямый парень, и гордости в нем много, ну да ведь и то надо сказать, наши тоже хорошо с ним поступали. Так я и полагал, что не по нраву ему будет предложение остаться здесь и жениться на царевне, да и как бы мы это устроили? Ведь уж как ни есть, а в лютеранской вере пребывать ему было бы невозможно. Все к лучшему! Если бы он остался, много бы мне хлопот с ним было. Ишь, ведь орлом каким глядит! Это не то что наши ротозеи, с ним пришлось бы тягаться. Алеше вот больно не по сердцу это, да и как бы зазорно для царевны, что он отказывается. Ну да что ж? Алешу я успокою, объясню ему. Все к лучшему, слава Богу!...»

— Воля твоя, государь королевич, — произнес наконец Морозов со вздохом, — силою держать тебя и послов твоих и всех твоих людей великий государь не станет. Отъезжай. Любя, тебя проводим мы с честью, жалея, что не привелось тебе остаться с нами.

Юный царь готов был заплакать.

— Когда мы можем выехать?

— Когда то вашему высочеству будет угодно, — ответил Морозов.

Вольдемар крепко сжал руку царя, который ему очень нравился, обнялся и поцеловался с ним трижды, сделал всем общий поклон и,

полный достоинства, с просветлевшим лицом, вышел из палаты, сопровождаемый своей свитой.

Он на мгновение остановился в одной из царских хором, через которую пришлось проходить, и вдруг стал соображать: далеко ли отсюда и где тот терем, тот сад, тот темный узкий длинный коридорчик, тот маленький чулан, которые, как видение, промелькнули перед ним в далекую, бесконечно далекую теперь от него ночь.

Ему невольно вспомнился прелестный образ царевны, тоже мелькнувший перед ним на мгновение, вспомнились ее поцелуи, а пуще того страшный, мучительный взгляд ее глаз ночью, во время похорон царских. Он снова будто услышал пронзительный крик ее, сердце у него дрогнуло, и в это мгновение он вдруг, неожиданно для самого себя, пожалел о своем решении.

— А что если...

Но он даже не закончил этой мысли, сожаление как мгновенно родилось в нем, так же мгновенно и исчезло. Ему захотелось скорее, как можно скорее к себе... туда, где ждет его не призрак, не мгновение, а долгие часы, долгие дни и, как казалось ему, долгие годы в объятиях милой, любимой Маши.

XXVI

Ликут датчане, несказанная радость изображается на всех лицах.

Когда королевич, возвратясь от царя, объявил об отъезде, все боялись даже и поверить такому счастью.

Начались сборы, но они не могли быть долгими. Если бы королевич сказал бы, что надо выехать немедля, сейчас же, все люди его штата побросали бы свои пожитки, оставили бы их на память о себе москвитам, только чтобы скорее, не теряя ни минуты, бежать отсюда, из этих надоевших стен, показавшихся сначала такими интересными и хорошими, а потом превратившихся в мрачную темницу.

Сам королевич, и так уж сильно изменившийся к лучшему со времени появления нового пажа, теперь совсем был другим человеком. Никогда, даже в Дании, его приближенные не видали его в подобном лучезарном состоянии. На него нашло просто какое-то опьянение

радостью. Он сам наблюдал за всеми сборами, был то здесь, то там, подходил то к одному, то к другому, дружески похлопывал своих придворных по плечу, шутил, смеялся. Даже старый Пассбирг и тот оживился. Встретясь с пажем — Машей, он и на нее нечаянно взглянул с благосклонной улыбкой, только потом все же сморщил брови и нахмурился, а в первом же разговоре с Билленом говорил ему:

— А с маскарадом-то как мы теперь будем?

— С каким маскарадом? — изумленно спросил его толстяк Биллей, обезумевший от радости скорого возвращения в Копенгаген и свидания с семьей.

— Ну, с пажем этим?

— А вам разве не известно, что принц берет ее с собою?

— Она с нами едет? Это допустить нельзя! — возмутился Пассбирг.

— Попробуйте, не допустите...

— Да ведь, во-первых, кто-нибудь проговорится еще, выйдет неприятность, в последнюю минуту все может быть испорчено.

Биллей улыбался и качал головою.

— Нет, — говорил он, — несмотря на всю вашу строгость, а придется вам примириться с этой девицей. Ее можно жалеть, так как она, на мой взгляд, очень достойна жалости, но что она должна ехать с нами в Копенгаген, в этом нет сомнения. Неужели не видите вы, что если бы даже принц относился к ней иначе, если бы даже он решился ее покинуть, так все наши люди не допустят этого, ведь они все, как один человек, без ума от московитки. Не знаю, почему вы так против нее? Надо быть снисходительнее, да и, право, она лучшее, что мы здесь видели за все время нашего плена.

— Да, — проворчал Пассбирг, — если и вы тоже пленены ею, тогда, конечно, мне только молчать остается, но... но в Копенгагене что скажут?

— Я думаю, даже уверен, что в Копенгагене эта московитка произведет очень сильное впечатление.

— А король?

— Король, вероятно, одобрит вкус своего сына.

— Я умываю руки, — продолжал ворчать Пассбирг.

Вольдемар был так счастлив, его охватывала такая радость, что он долго не замечал, как, впрочем, не замечали этого и остальные,

большой разницы во всеобщем настроении с настроением Маши. Среди всех этих сиявших счастьем лиц — одна она была печальна.

Наконец Вольдемар заметил это и спросил о причине. Она подняла на него свои темные, большие глаза, в которых теперь ничего уж не было общего с прежними ее глазами теремного бесенка, — такое в них глубокое и грустное стало выражение.

— Ты едешь домой, к своим, ты едешь из чужой земли, где тебя держали в плену, а я... я все свое оставляю.

Он взял ее руку.

— Да, — сказал он, — но все же ты не должна грустить и печалиться, ведь я теперь знаю твою жизнь, у тебя нет никого родных и близких. Я был здесь в опасности, да ведь и ты была, пожалуй, в еще большей, у тебя есть один только человек, близкий тебе и родной, — это я, и ты едешь со мною... Или, может быть, ты уж не так любишь меня, Маша?

Она печально улыбнулась.

— Я? Не люблю тебя?... Ты говоришь правду, у меня никого нет, я всем чужая... за тобой готова я идти на край света, все равно куда. Не об этом я думаю, а вот что: здесь ты мой, а там...

— И там буду тоже твой, — перебил он ее, обнимая и целуя.

— Дай-то Бог! Только сердце щемит, как-то не верится этому.

— Клянусь тебе, Маша... — горячо начал он, но она его остановила:

— Не клянись, мой золотой, не надо мне твоей клятвы, знай только одно, коли разлюбишь меня, коли бросишь, тут мне и конец... Ну и довольно, и то правда, чего я нос повесила? Слава Богу, что уезжаем, скорее бы только, скорей!... А вдруг меня узнают, вдруг отнимут, потащат на пытку... Ну, нет! — совсем уж другим тоном воскликнула она. — Не дамся я! Как по улицам-то московским буду ехать, так все равно что личину на себя надену, глаза зажмурю, щеки надую — вот!

Она сделала такое невозможное уморительное лицо, что Вольдемар захохотал как сумасшедший...

Ранним, сереньким, довольно теплым утром тронулся поезд с королевичева двора^[133].

Датчане разукрасили своих коней, надели на себя самые новые красивые платья. Потом, как выедут из Москвы, они переоденутся по-

дорожному, а теперь пусть смотрят москвиты!

Королевич, окруженный своими придворными, гарцевал на любимом коне. За толпой всадников двигались многочисленные повозки с пожитками.

В одной из этих повозок, между разными тюками, со всех сторон прикрытая ими, сидела Маша. Ее печальное настроение давно уже исчезло. Теперь и она была так же довольна и счастлива, как и все, ничего не боялась, ни о чем не думала. Но вот, выглянув из-за тюков, она так прямо, сразу и увидела крышу терема. Страшная тоска вдруг охватила ее, ей безумно захотелось выпрыгнуть из повозки и бежать туда, скорей, в терем к царевне. Подступившие рыдания сдавили ей горло, слезы так и брызнули из глаз, в голове стало туманно. Почти совсем забылась она... а когда пришла в себя, то увидела, что Кремль остался далеко позади.

В городе по улицам уж было обычное движение. Народ останавливался и глядел с любопытством на поезд королевича.

Маша теперь не плакала. Она из-за окружавших ее тюков глядела на всех этих людей, крестилась на церкви, мимо которых проезжала, но уж не думала о том, что никогда в жизни не увидит ни этого люда родного и знакомого, ни этих православных храмов, в ней было одно только желание — скорей отсюда и как можно дальше, как можно дальше.

XXVII

После всего испытанного в Москве датчанам было как-то даже жутко верить своему счастью. Это недоверие их выразилось особенно ясно, когда они выехали из Москвы и ощутили свободу.

Ближние к королевичу Вольдемару люди стали поговаривать, что вдруг все это так только для виду! Вдруг вот едут они себе спокойно, а за ними погоня. Придерутся к чему-нибудь и силою вернут обратно.

Хотя такие предположения и были невероятны, но у страха глаза велики, разговоры эти в конце концов подействовали даже на Вольдемара.

— В таком случае мы не дадимся живыми, будем биться до последнего издыхания! — воскликнул он и приказал всем своим людям вооружиться и быть наготове.

Однако ничего не случилось. Как ни оглядывались во все стороны датчане, не могли они заметить по дороге ничего подозрительного и благополучно добрались до Вязьмы. Было очевидно, что никакого зла против них не умышляют и в Москву вернуть не хотят.

Поверили наконец пленники своей свободе, а королевич из Вязьмы послал государю письмо, в котором благодарил его «за великую любовь и сердечную подвижность, какие царь всегда ему оказывал и теперь оказал в том, что отпустил его и послов королевских со всякою честью».

В конце письма Вольдемар просил царя пожаловать Петра Марселиса.

В этой приписке именно и сказывалось счастье, ощущавшееся королевичем.

Он считал Марселиса виновным во многом в последний год своей московской жизни, не мог равнодушно его видеть, а когда тот пришел с ним прощаться, принял его так сурово, что бедный Марселис ушел совсем расстроенный и оскорбленный. Но вот теперь, на радостях, королевич простил его, и доброе сердце подсказало ему даже желание просить за этого человека, злая воля или неразумность которого причинили столько страданий как самому Вольдемару, так и близким к нему людям.

Дальнейший путь совершился без всяких неприятных приключений. Быть может, опасения датчан и оказались бы основательными, если бы ко времени их отъезда вернулся Апраксин, посланный к королю Христиану, вслед за кончиной царя Михаила Федоровича, с известием о восшествии на престол царя Алексея. Может быть, бояре, неспособные вынести ничего, касавшегося умаления царской чести, действительно выместили бы на Вольдемаре и датчанах неудачу этого посольства.

Но Апраксин еще не вернулся, и в Москве не знали, что король Христиан, приняв от него грамоты, о здоровье государевом не спрашивал, к руке своей не позвал гонца московского и к столу его не пригласил, а ответную грамоту прислал ему с секретарем.

Апраксин требовал, чтобы король лично, как всегда это водилось, отпустил его, но Христиан об этом и слышать не хотел, и пришлось Апраксину уехать без королевского отпуска с такою грамотою:

«Хотя мы имеем сильные причины жаловаться на исполнение договора о браке сына нашего с вашей сестрою, но так как ваш отец скончался, то мы все это дело предаем забвению и хотим жить с вами в такой же дружбе, как жили с вашими предками».

По счастью, король Христиан должен был ограничиться холодным, несколько высокомерным тоном и оскорблением, нанесенным послу московскому. Ему хотелось бы посильнее ответить за страдания сына, но обстоятельства были не таковы, чтобы начинать войну с московским государством...

Молодые датские придворные, и главным образом — Генрих Кранен, который имел на то свои личные, сердечные причины, начали вспоминать в разговорах с Вольдемаром о веселом времяпрепровождении в Вильне и о том, что королевич обещал при первой возможности туда приехать. Но Вольдемар отвечал на это:

— Тогда было одно, а теперь другое. Нет, мы минуем Вильну. Мы возвращаемся вовсе не в таком положении, каким можно бы хвастаться, и очень может быть, что в Вильне теперь встретили бы меня не почести и любезности, а насмешки. Да и, наконец, я удивляюсь вам: неужели не дорог вам каждый день, каждый час, приближающий нас к Дании? Я, по крайней мере, думаю об одном, как бы скорее быть дома.

В этих рассуждениях заключалась правда, но не вся, — некоторые из молодых датчан, которые полагали, что теперь все равно Дания не уйдет от них, перешептывались между собою.

— Да, оно понятно, почему принцу теперь не до Вильны: его московитка с ним, он забыл и думать о виленских дамах и девицах. Ну, что ж делать, и нам придется забыть о них, а жаль — то-то бы повеселились после тюрьмы московской!

Молодые датчане были правы. Вольдемар не думал ни о каких красавицах, а о Маше думал много. С каждым днем росла его к ней страстная привязанность. Он часто мечтал о том, как устроит ее в Копенгагене, как употребит все меры для того, чтобы сделать жизнь ее приятной и спокойной.

«Ну можно ли было думать, — говорил он себе, — что в этой варварской Москве я найду такое сокровище?!»

Маша быстро перерождалась. У нее оказались чуть ли не такие же хорошие способности, как у королевича: она с каждым днем все

больше и больше осваивалась с датским языком, а датчане, наперерыв друг перед другом, пользовались каждым удобным случаем, каждой подходящей минутой, чтобы учить ее новым словам и оборотам речи. В этой теремной дикарке оказалась врожденная способность русской женщины очень скоро применяться ко всякой обстановке, легко и незаметно усваивать чужое.

Вместе с этим, по мере отдаления от Москвы, совсем проходила и тоска Маши. Ее, очевидно, по дороге нагнали все ее бесенята и снова завладели ею. Она стала весела и шутлива.

Так как до границы королевича сопровождали приставленные русские люди, то необходимо было соблюдать прежнюю относительно Маши осторожность, но она сделалась смела, весела, задорна, так что королевич иногда за нее боялся, а Пассбирг отворачивался и ворчал:

— Вот помяните мое слово, еще наделает нам бед эта девчонка!

Но беды никакой не случилось, и наконец королевич со свитой и хорошеньким пажем прибыл в Копенгаген.

Король Христиан сильно радовался, увидя сына бодрым и здоровым, а выслушав подробный рассказ его и послов о том, что им пришлось вынести в Москве, он пришел в страшное негодование; многого он не знал еще. И опять-таки счастье было, что Апраксин уже уехал с его грамотой.

Через несколько дней по возвращении Вольдемара король пришел к сыну. Негодование его уже улеглось, и он был в веселом настроении духа.

— А ты, оказывается, многое скрыл от меня., — сказал он притворно сердитым тоном. — Ты рассказывал мне о дурном с тобою поведении московитов, а о своем дурном поведении — ни слова; между тем старик Пассбирг на тебя сильно жалуется.

— Вот как! — воскликнул Вольдемар, хорошо понимая, в чем дело.

— Он говорит что-то о своих седых волосах, просит считать его непричастным к твоим дурным поступкам. Он говорит, что у тебя какой-то паж, вывезенный тобою из Москвы.

— Был паж, — ласково заглядывая в глаза отцу, начал Вольдемар, — только теперь никакого пажа нет, а есть московская боярышня, которую я люблю всем сердцем. Я сам хотел с тобою поговорить об этом... дорогой отец, выслушай меня.

И он рассказал ему откровенно всю свою историю. Он говорил горячо, и король видел, что Вольдемар не на шутку увлечен своим бывшим пажем, но не видел он в этом ничего опасного. Между тем королевич говорил:

— Я очень много обязан ей, в то время как все это случилось, я дошел до полного отчаяния, я уже не мог выносить этой жизни, этого позорного плена. Бывали минуты, когда я готов был наложить на себя руки. Это правда, ты можешь спросить об этом у всех, кто был со мною. Да и не я один, все были в таком состоянии. Она, эта девушка, своим присутствием, спасла и меня, и всех.

Король внимательно слушал; он понимал сына, он сам, как известно, был склонен к сердечным увлечениям и не мог себе представить счастливой жизни без любимой женщины. Теперь он был уже стар, сердце его уже не билось сильнее при взгляде на женскую красоту, но все же в этом сердце хранилось столько милых и приятных воспоминаний.

— Так покажи мне свою волшебницу, — сказал король, — а то ты наконец мне такого о ней насажешь, что я буду ждать встретить чудо, а чуда-то и не окажется. Любопытна эта московская боярышня!... — прибавил он.

Вольдемар показал отцу свою волшебницу, и король отнесся к ней благосклонно. Благосклонность короля обратила на нее всеобщее внимание.

Если бы Маша, подобно большинству юных теремных затворниц, обладала только красотой, если бы шаловливые бесенята не передали ей своих лучших свойств, она погибла бы на этой чужбине, ее красота скоро наскучила бы королевичу, он бы разлюбил ее. Но красота Маши была на втором плане, да и красоты в ней особенной не было. Она сразу не могла никому броситься в глаза; в Копенгагене нашлось бы немало гораздо более эффектных и ростом, и дородством. Но в небольшой, тонкой Маше с ее подвижным личиком и большими темно-серыми глазами, умевшими говорить и высказывать что угодно, была большая прелесть, действовавшая на человека все больше и больше, по мере того как он знакомился с нею.

Ее живой характер, живой ум, природная кокетливость и шаловливость, а главное — женский такт, которому научил ее, конечно, не терем, а все те же приспешники-бесенята, составляли для

нее крепкое и надежное оружие, с помощью которого она могла постоять за себя. Она страстно любила своего королевича, но не надоедала ему своей любовью...

Он устроил ей прелестное гнездышко, роскошь которого не напоминала своеобразной роскоши царицына терема, но пришлась Маше очень по вкусу. Скоро она по виду и манерам превратилась в датчанку.

Королевич приставил к ней учителей. У нее оказались музыкальные способности, хороший голос. За все она хваталась жадно, все она быстро усваивала.

В ее теплом гнездышке Вольдемар проводил свои свободные часы; к ним присоединялись иногда его молодые приятели. Наконец у Маши появилось и женское общество: она была интересна, была в моде.

Часто вечером, по окончании полного занятий и удовольствий дня, Маша, оставшись одна, вздыхала всей грудью от избытка счастья. «Боже мой, как хорошо на свете!» — думалось ей. Являлась мысль о будущем, но она ее гнала; являлись временами воспоминания; мелькали навеки покинутые фразы, тоска заползала в сердце. Вдруг начинало тянуть ото всего этого счастья в покинутую даль, где прошло ее темное детство и первое время юности, где она была бедной «девочкой-сиротой», которой, чуть не каждый день, драла уши суровая постельница Настасья Максимовна.

Слезы показывались на глазах у Маши, опускалась голова ее; вздохи счастья превращались во вздохи печали. Но у нее было одно заветное слово, один талисман, посредством которого она отгоняла все эти призраки. «Вольдемар!» — шептала она — и призраки исчезали.

ЭПИЛОГ

Такая спокойная и счастливая жизнь Маши продолжалась года три.

В 1648 году скончался король Христиан IV, и тотчас же после его смерти пришлось Вольдемару вспомнить опасения отца, на основании которых он решился расстаться с любимым сыном и отпустить его в далекую, чудную страну, где судьба тогда сулила ему счастливую и спокойную жизнь. Родственники никогда не могли простить графу Шлезвиг-Голштинскому исключительной любви к нему короля, к тому же он был опасен, в Дании его очень любили.

У Вольдемара был преданный друг, человек энергичный, решительный и способный, Корфиц Улефельд. Он был женат на сестре Вольдемара. Честолюбие его было безгранично, он хорошо понимал, что, несмотря на все свои способности, не может сам достигнуть престола, а поэтому решил во что бы то ни стало возвести на престол своего друга, графа Шлезвиг-Голштинского. Он завел смуту и длил междуцарствие.

За Вольдемара были многие, но сам он, хоть и желавший занять престол, ввиду ненависти к нему старшего брата, которая сулила ему всякие беды, все же не мог вести как следует интригу. Интрига была не в его прямом, откровенном характере.

Дело Улефельда не удалось, второй сын Христиана от королевы Екатерины, Фридрих III, был возведен на престол, а принцу Вольдемару пришлось бежать в Швецию. Конечно, за ним последовала и Маша.

Здесь началась совсем иная жизнь. Прежнего счастья уж не было — вечные опасности, заботы, опасения, — но и на эту новую жизнь не жаловалась Маша. Пока Вольдемар был с нею, пока она могла | разделять его радости и горе, ей ничего иного не хотелось. Ему была неудача, горе — ей двойная неудача, двойное горе, ему радость — ей двойная радость.

Но вот началась польская война^[134]. Вольдемар принял в ней участие в армии шведского короля Карла X. Отговорить его от этого не

было возможности, да Маша и не отговаривала. Но не было возможности заставить и ее покинуть Вольдемара.

Тайно от принца приготовилась она, и в тот час, когда он думал проститься с нею, она явилась перед ним в виде маленького, хорошенького воина, вооруженного с головы до ног и готового к бою. Он не ожидал ничего подобного и сразу даже не понял, что это значит. Наконец он понял.

— Маша, дорогая моя, ты с ума сошла! — воскликнул он. — Разве можно это? Я иду туда, куда зовет меня мой долг, честь мужчины, моя судьба, я не могу не идти, а ты...

— А я, — перебила его Маша, — тоже не могу не идти туда, где ты подвергаешь опасности жизнь свою. Разве ты не знаешь, что моя жизнь в тебе и другой у меня нет? Подумай, как же я останусь?

Он взглянул на нее и понял, что действительно остаться, покинуть его ей нет никакой возможности. А она смеялась?

— Посмотри, чем же я не воин? Мала только, ну, да не беда это! Ты сам знаешь, как я могу верхом ездить, а стреляю, ты сам опять-таки знаешь, стреляю я метко.

— Маша, подумай, да ведь это война, я буду в постоянной опасности. Я не стану прятаться и беречь себя.

— Я знаю все это, — ответила она. — Мы не будем с тобой прятаться, не бойся, рядом с тобою я ничего не испугаюсь, не осрамлю тебя. Жизнь наша и смерть вместе.

Исполнились эти слова Маши. Впереди своего отряда, в пылу жаркого сражения нашел смерть королевич Вольдемар; на ее руки он упал бездыханный. Маша перекрестила его, поцеловала.

— Стреляйте, ляхи! — крикнула она по-русски.

Что— то ударило ей в грудь, прямо в сердце, и она упала с предсмертным стоном на труп своего королевича...

А в это время там, в Царицыном тереме, где распоряжалась новая молодая хозяйка, царица Марья Ильинична, шла все та же обычная жизнь, жизнь человеческого муравейника. День за днем, как вчера, так и сегодня. Вырастали, созревали и увядали до срока до времени, не радуя ничьего взора, красивые цветки — царевны. Раньше других увядала царевна Ирина. Пережитое ею горе не унесло ее жизни, но навсегда придавило ее своею тяжестью.

Теперь она уж не знала радости. Бледная, с потухшим взглядом, казавшаяся гораздо старше своего возраста, она жила безучастная ко всему и ко всем. Никого она не любила, будто сердца у нее совсем не было, будто вырвали его у нее. Прежде, в первое время, пока хоть и измученное, а все же трепетало и жило в ней сердце, она умела молиться и находить в молитве отраду. Теперь и этой отрады не было. Обычная молитва, перешедшая в привычку, не приносила ей никакой радости и облегчения.

Мало— помалу царевна изменилась в характере, так изменилась, что если бы воспитавшая ее мама, княгиня Марья Ивановна Хованская, была еще в живых, она не узнала бы своей воспитанницы. Теперь уж не говорили о царевниной доброте теремные жительницы, а постельница Настасья Максимовна иной раз шепотом на ушко надежной приятельнице толковала:

— Зла наша царевна Ирина Михайловна, никакой в ней нету к людям жалости, сколько слез от нее по терему! Никто ей не угодит, все неладно, так и норовит обидеть человека, под беду подвести его. И что такое случилось с нею? Ведь добра была как ангел Божий...

— Так отчего бы это? Какая тому причина? — тоже таинственным шепотом спрашивала Настасью Максимовну приятельница.

— Какая тому причина?! Одна причина: зельем таким опоили царевну. Зелье такое, вишь, есть, сушит оно сердце, делает из доброго, ласкового человека — ненавистника.

— Да кто же бы это? И как случилось такое в тереме?

— Ума приложить не могу, матушка, ума приложить не могу! На глазах она у меня была сыздетства. У меня да у покойной княгини Марьи Ивановны, и сама ты знаешь, провести меня мудрено, все я вижу... А тут и недоглядела. Вот грех-то какой! Как-то!

Настасья Максимовна, по старой привычке своей, разводила руками и печально задумывалась.

ОБ АВТОРАХ

ПОЛЕВОЙ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ(1839-1902), писатель. Закончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, получил степень магистра за «Опыт сравнительного обозрения древнейших памятников народной поэзии германской и славянской», читал лекции приват-доцентом в Санкт-Петербургском университете, был профессором по кафедре русского языка и славистики в Новороссийском и Варшавском университетах. В 1871 г. вышел в отставку и посвятил себя исключительно литературе. Ему принадлежат учебные и популярные труды: «Учебная русская хрестоматия», «Общедоступная русская грамматика», «Очерк русской истории в памятниках быта», «Родные отголоски», «Русская история для средне-учебных заведений» и, наконец, «История русской литературы» (Спб, 1872), которая имела большой успех как первая удачная популяризация. Последняя переработка книги (1900), выпущенная в роскошном издании Маркса, очень отстала от современной автору науки. Полевой известен также как автор многочисленных исторических романов и повестей («Исторические повести», «Тальянская чертовка», «Под неотразимой десницей» и другие), печатавшихся главным образом в «Историческом Вестнике» и «Ниве». Полевой в 1875 г. редактировал «Пчелу», а в 1882-1887 издавал «Живописное Обозрение». Сочинения П.Н.Полевого в 3-х томах вышли в 1910—1911 годах в издательстве А.Ф.Маркса.

Роман «Избранник Божий» печатается по изданию А.Ф. Девриена, С.-Петербург, 1900 г.

ЗАРИН АНДРЕЙ ЕФИМОВИЧ(1862-1929), прозаик, журналист. Вырос в литературной семье, печатался с 1881 г. В 1883 г. исключен из 6-го класса Виленского реального училища в связи с арестом по обвинению в контактах с народовольцами. Содержался один месяц под стражей в Виленской тюрьме, затем в течение десяти лет находился под негласным надзором полиции. В 1886-1888 годах служил в Государственном банке в Петербурге, в Управлении государственных имуществ Петербургской и Псковской губерний. С 1888 г. полностью

посвятил себя литературной деятельности. В 1890-е гг. публиковал «бытовые» повести и романы («Тотализатор», «Дочь пожарного», «Серые герои» и др.), посвященные жизни городских низов и получившие благожелательные отзывы критики. В 1900-е гг. Зариным были изданы многочисленные мелодрамы («Увлечение», «За чужое удовольствие» и др.), исторические («Кровавый пир», «На изломе», «Власть земли», «Двоевластие» и др.) и уголовные романы. Позднее, в 1908-1909 годах отбывал одиночное заключение в петербургских «Крестах» за статьи, «возбуждающие к учинению бунтовщических деяний». До ареста редактировал журналы «Живописное Обозрение» (1902-1903), «Воскресенье» (1903-1905) и газеты «Обновленная Россия», «Современная Жизнь» (1905-1906), неофициально редактировал журналы «Звезда», «Природа и Люди». К 300-летию дома Романовых им было опубликовано тринадцать книг, посвященных жизни русских царей. После 1917 года Зарин сотрудничал в журналах «Смена», «Красный пролетарий», «Вокруг света», газетах, опубликовал несколько повестей, писал киносценарии.

Роман «Двоевластие» печатается по изданию А. А. Каспари, С.-Петербург, 1912 г.

СОЛОВЬЕВ ВСЕВОЛОД СЕРГЕЕВИЧ(1849-1903), беллетрист. Старший сын историка С.М.Соловьева. Вс. Соловьев учился на юридическом факультете Московского университета. Литературную деятельность начал с 1865 года, печатал анонимно или с одними инициалами свои стихотворения в разных периодических изданиях. С 1876 по 1886 поместил в «Ниве» целый ряд исторических романов, имевших успех и вышедших затем отдельными изданиями: «Княжна Острожская», «Юный император», «Царь-девица», «Касимовская невеста» и наконец пять исторических романов о семье Горбатовых («Сергей Горбатов», «Вольнодумец», «Старый дом», «Изгнанник» и «Последние Горбатовы»). В 1878 году в «Исторической Библиотеке» Вс. Соловьев напечатал романы «Волхвы», «Великий Розенкрейцер», «Жених царевны», «Царское посольство» и др. Кроме исторических романов, им были написаны два романа из современного автору быта «Наваждение», «Злые ветры» и два тома повестей и рассказов «Рассказы и очерки» и «Новые рассказы». Полное собрание его

сочинений вышло в 42-х книгах в виде бесплатного приложения к журналу «Природа и Люди» за 1917 год в издательстве П. П. Сойкина.

Роман «Жених царевны» печатается по изданию Н.Ф.Мертца, С.-Петербург, 1903 г.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УПОМИНАЕМЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЦАХ

Владислав (1595-1648) — старший сын короля Сигизмунда III. С 1632 г. — король Польши Владислав IV. По договору 4 февраля 1610 г. должен был занять московский престол.

Гонсевский Александр — командовал польским гарнизоном в Москве в 1610-1612 гг. Прославился при защите Смоленска в 1632-1633 гг., когда в течение 10 месяцев отбивал штурмы армии Шеина. Умер ок. 1645 г.

Горн Эверт -известный шведский полководец (1581-1615), прославившийся в походах короля Густава-Адольфа. Смертельно ранен во время осады Пскова.

Делагарди Яков (1583-1652)— известный шведский военачальник. Вместе с армией Скопина-Шуйского действовал на севере Московского государства. В марте 1610 г. вошел в Москву. Потерпел поражение при Клушине и отошел к Новгороду, а затем в шведские владения.

Жолкевский Станислав (1547-1620)— польский гетман и канцлер. Разбил Дм. Шуйского у д. Югушино (1610), вступил в Москву и добился избрания Владислава на московский престол, после чего сдал командование польским гарнизоном в Москве А. Гонсевскому, забрал с собой плененного Василия Шуйского и выехал под Смоленск. Пал в бою с турками в 1620 г.

Заруцкий Иван Мартынович — атаман донских казаков, сторонник Лжедмитрия II. Летом 1609 г. спас тушинский лагерь, остановив московские войска на р. Химке. Вместе с Лжедмитрием II бежал из Тушина в Калугу. В 1611 г. соединился с ополчением Ляпунова. Арестован в июне 1614 г. вместе с Мариной Мнишек и ее малолетним сыном. Казнен в Москве.

Лжедмитрий I — под именем царя Димитрия Иоанновича, сына Ивана Грозного, занимал московский престол с 21 июля 1605 г. по 17

мая 1606 г. Настоящее имя — Григорий Отрепьев, беглый монах Чудова монастыря. Убит в результате заговора.

Лжедмитрий II (или Тушинский вор) — настоящее имя не выяснено. Объявил себя Дмитрием Иоанновичем после смерти Лжедмитрия I — в июле 1607 г. в Стародубе-Северском. Войска Лжедмитрия II постоянно угрожали Москве, в течение полутора лет находясь в двенадцати верстах от столицы, в тушинском лагере. Самозванец убит в Калуге 10 декабря 1610 г.

Мнишек Марина (ок. 1588-1614)— дочь Юрия Мнишека. В 1606 г. вступила в брак с Лжедмитрием I и короновалась в Москве. После гибели Лжедмитрия I оказалась в Тушине, где признала Лжедмитрия II якобы спасшимся своим мужем. После его смерти вместе со своим покровителем атаманом Заруцким и сыном от Лжедмитрия II Иваном (род. в 1611 г.) бежала на Урал. Казаки выдали их. Заруцкий и Иван были казнены. Марина умерла в заточении.

Сагайдачный Петр Конашевич — православный дворянин, кошевой атаман, затем фактически гетман Украины. В 1618 г. участвовал в походе королевича Владислава на Москву, разбил московские ополчения Пожарского и Волконского. Умер в 1622 г. Похоронен в Киеве.

Салтыков Борис Михайлович — боярин. Благодаря родству с матерью царя Михаила Федоровича стал влиятельной фигурой при дворе, но с возвращением Филарета и обнаружением клеветы на Хлоповых выслан в деревню; вернулся только после смерти Филарета. Умер в 1646 г.

Салтыков Михаил Михайлович — боярин, брат Б. М. Салтыкова. Был ближним судьей московского Судного приказа. Умер в 1671 г.

Сапега Ян Петр (1569-1611) — известный полководец. Поддерживал Лжедмитрия II, вел осаду Троицкого монастыря (1609-1610). Умер в Москве.

Сигизмунд III Ваза (1566-1632) — король польский (1587-1632) и шведский (1592-1604). Был отстранен от шведского престола, но не оставил своих притязаний на него, чем вовлек Польшу в длительные войны со Швецией. При Сигизмунде III Польша вмешалась в дела Московского государства, вначале поддерживая самозванцев, а затем открыто объявив войну (1609-1618).

Скопин— Шуйский Михаил Васильевич (1587-1610) -князь, талантливый полководец. Дважды разбил повстанческую армию Болотникова (при р. Пахре и дер. Котлы). Командовал передовым отрядом при осаде Болотникова в Туле. Вместе с Делагарди выступил из Новгорода и взял Орешек, Тверь, Торжок, нанес поражение гетману Сапеге при Калязине. Занял Александровскую слободу и вынудил Сапегу снять осаду Трдицкой Лавры. В марте 1610 г. вошел в Москву. Неожиданно умер 23 апреля 1610 г.

Хлопова Марья Ивановна — дочь московского дворянина, невеста царя Михаила Федоровича. В 1616 г. сослана в Тобольск. Осенью 1619 г. переведена в Верхотурье, а в 1621 г. — в Нижний Новгород. По решению патриарха Филарета в 1623 г. по ее делу, производилось новое дознание, которое, однако, вскоре было прекращено. М. И. Хлопова жила в Нижнем Новгороде до самой смерти. Умерла в 1633 году.

Ходкевич Ян Карл (ум. в 1621 г.) — польский полководец, великий гетман литовский. Участвовал в осаде Смоленска и походе на Москву для спасения польского гарнизона, осажденного нижегородским ополчением.

Шеин Михаил Борисович — боярин. В 1609-1611 гг. командовал смоленским гарнизоном. После падения крепости провел девять лет в польском плену (вместе с Филаретом, Голицыным и Мезецким). Возглавлял неудачный поход на Смоленск в 1632 г. После капитуляции армии и возвращения в Москву казнен как изменник в 1634 году.

Шереметев Федор Иванович — боярин. Принимал деятельное участие во всех важных событиях царствования Михаила Федоровича. В 1649 году принял иноческий чин и назван в постриге Феодосием. Скончался в начале 1650 года.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

1591 г. 15 мая — смерть царевича Дмитрия в Угличе.

1596 г. 12 июля — родился Михаил Романов.

1598 г. 6 января — кончина царя Федора Иоанновича.

1598 г. 21 февраля — начало правления Бориса Годунова.

1600 г. ноябрь — опала и ссылка Романовых.

1601— 1603 гг.-голод в Московском государстве.

1604 год

13 октября — Лжедмитрий I переходит Границу Московского государства.

10 ноября — войска самозванца останавливаются у Новгород-Северского.

19 декабря — полки Мстиславского подходят к лагерю Лжедмитрия I.

21 декабря — мятеж в лагере самозванца. Распад армии Лжедмитрия I.

1605 год

1 января — бегство Лжедмитрия I из-под Новгород-Северского.

21 января — поражение новой армии самозванца у села Добрыничи.

4 марта — соединение войск Мстиславского и Шереметева у крепости Кромы, где находились сторонники Лжедмитрия I.

13 апреля — кончина Бориса Годунова. Через три дня последовало наречение на царство его сына Федора.

10 мая — оставшаяся под Кромами часть московской армии присягает Лжедмитрию I.

14 мая — Лжедмитрий I выступает из Путивля на Москву.

28 мая — московские войска отбивают попытки войск самозванца переправиться через Оку под Серпуховом.

31 мая — донской атаман А. Корела, обойдя заслоны на Оке, подходит к Москве и останавливается в шести верстах от города.

1 июня — появление в Москве гонцов самозванца с обращением к народу. Мятеж в столице. Падение Годуновых.

3 июня — отправка к самозванцу московской делегации.

16 июня — Лжедмитрий I покидает Серпухов и в течение трех дней остается в с. Коломенском под Москвой.

20 июня — Лжедмитрий I вступает в столицу.

24 июня — возведение архиепископа Рязанского Игнатия на патриарший престол.

21 июля — коронация Лжедмитрия I.

12 ноября — обручение Лжедмитрия I с Мариной Мнишек в Кракове по католическому обряду.

1606 год

2 мая — прибытие в Москву Марины Мнишек.

8 мая — венчание и коронация Марины Мнишек.

14 мая — первые крупные волнения в Москве.

17 мая — восстание в Москве и убийство Лжедмитрия I.

18 мая — свержение патриарха Игнатия и заточение его в Чудов монастырь.

25 мая — коронация Василия Шуйского в Успенском соборе.

3 июня — перенесение мощей царевича Димитрия в Архангельский собор московского Кремля.

3 июля — поставление митрополита Казанского Гермогена на патриарший престол.

20 июля — появление в Москве новых подметных писем от «царевича Димитрия».

23 сентября — Иван Шуйский наносит поражение повстанческим отрядам Болотникова, наступающим на Калугу.

1 ноября — армия Болотникова соединилась в Коломенском с войском Пашкова,

середина ноября — попытка Болотникова штурмовать столицу.

2 декабря — разгром войска Болотникова армией князя Скопина-Шуйского у д. Котлы. Болотников с остатками своих отрядов отходит

сначала к Коломенскому, а затем бежит в Калугу, где собирает новые силы.

11— 12 декабря -поражение Скопина-Шуйского от повстанцев, укрепившихся в Калуге.

1607 год

20 февраля — патриарх Иов, вызванный из монастырского затвора, призывает народ покаяться в совершенных грехах клятвопреступлений во времена самозванца. Патриарх подтверждает, что подлинный царевич Димитрий убит в Угличе.

19 июня — кончина патриарха Иова в Старицком Успенском монастыре.

30 июня — царь Василий Шуйский со стотысячной армией подступает к Туле, где укрепился Болотников. Начало осады города.

1 августа — в Стародубе объявляется новый самозванец с войсками под командованием Лисовского и Сапеги.

10 октября — повстанцы сдают Тулу московской армии. Пленение Болотникова.

1608 год

1 июня — войска Лжедмитрия II укрепляются в двенадцати верстах от Москвы. Образование тушинского лагеря.

25 июня — поражение армии князя Скопина-Шуйского под Тушином. Попытка тушинцев ворваться в Москву.

23 июля — заключение договора с Польшей о перемирии на 3 года 11 месяцев. Тушинские поляки отказываются выполнить условия договора и уйти в Польшу.

23 сентября — Ян Петр Сапега начинает осаду Троице-Сергиевой Лавры.

11 октября — армия Сапеги захватывает Ростов, Пленение митрополита Филарета.

1609 год

28 февраля — подписание договора между Швецией и Московским государством о военном союзе против Польши.

14 апреля — объединенная армия М. В. Скопина-Шуйского и Якова Делагарди выступает из Новгорода.

18— 19 августа -кн. Скопин-Шуйский наносит поражение Сапеге у Калягина.

сентябрь — вторжение армии короля Сигизмунда III.

19 сентября — передовые польские отряды подходят к стенам Смоленска.

21 сентября — к Смоленску прибывает Сигизмунд III. Начало осады города.

декабрь — прибытие в Тушино послов от Сигизмунда III. Послы предлагают полякам перейти под знамя короля, русским — избавиться от самозванца и казацкой вольницы под протекторатом королевской власти. Смятение в тушинском лагере.

1610 год

6 января — бегство тушинского самозванца с частью верных ему казаков в Калугу. Развал тушинского лагеря.

12 января -конец осады Троице-Сергиевой Лавры. Поляки вынуждены отступить.

31 января — прибытие под Смоленск посольства «тушинских русских».

4 февраля — заключение с королем Сигизмундом договора о принятии его сыном Владиславом православия и последующем венчании Владислава на царство в Москве.

12 марта — вступление армии Скопина-Шуйского в Москву. Осада города снята.

23 апреля — внезапная кончина князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского.

24 июня — разгром армии Дмитрия Шуйского у дер. Клушино.

16 июля — Лжедмитрий II с тремя тысячами казаков подходит к южным окраинам Москвы.

17 июля — низложение царя Василия Шуйского.

19 июля — заточение Василия Шуйского в Чудов монастырь.

31 июля — ультиматум гетмана Жолкевского о принятии королевича Владислава, во исполнение договора от 4-го февраля 1610 года.

август — образование временного правительства на период междуцарствия — «семибоярщина» (Федор Мстиславский, Иван

Воротынский, Василий Голицын, Иван Романов, Федор Шереметев, Андрей Трубецкой, Борис Лыков).

27 августа — московский народ и правительство присягают королевичу Владиславу.

11 сентября — выезд московского посольства (В. В. Голицын, кн. Мещерский, митр. Филарет, Авраамий Палицын и др.) к королю Сигизмунду. Послы должны выдвинуть следующие требования: Владислав принимает православие теперь же, под Смоленском, 'и уже православным прибывает в Москву, ни он, ни русское правительство не имеют никаких сношений с папой римским по делам веры; русские отступники в латинство караются смертной казнью; Владислав должен жениться на православной девице.

7 октября — московское посольство прибывает под Смоленск.

10 октября — торжественный прием послов Сигизмундом Ш. Начало переговоров.

11 декабря -в Калуге П.А.Урусовым убит Лжедмитрий II.

1611 год

17 марта — Вербное воскресенье. Арестованный патриарх Гермоген выпущен для богослужения и традиционного «шестивия на осляти». В народе распространяется слух, что поляки хотят убить патриарха.

19 марта — начало битву русских с поляками в Москве. Поляки поджигают город.

19— 21 марта -пожар Москвы. Сожжены и разрушены почти все 450 московских церквей. Уцелели лишь Кремль и Китай-город, где укрывались поляки.

25 марта — стотысячное русское ополчение подходит к Москве и начинает осаду города.

13 апреля — пленение московского посольства под Смоленском.

3 июня — сдача Смоленска после двадцатимесячной обороны.

16 июля — взятие Новгорода шведскими войсками.

1612 год

17 января — кончина патриарха Гермогена.

22— 24 августа -разгром силами Пожарского и Трубецкого армии Ходкевича под Москвой.

18 августа — начало московского похода короля Сигизмунда.

12 сентября — кончина Василия Шуйского в плену.

22 октября — занятие ополчением Минина и Пожарского Китай-города.

26 октября — сдача интервентов в Кремле. Полное освобождение Москвы.

19 ноября — передовые отряды Сигизмунда подходят к Рузе.

27 ноября — Сигизмунд III отдает приказ об общем отступлении армии.

1613 год

21 февраля — избрание Михаила Романова на царство.

14 марта — официальное наречение на царство Михаила Романова в Костромском Ипатьевском монастыре.

11 июня — венчание Михаила Романова на царство.

1616 г.— несостоявшаяся женитьба царя Михаила Федоровича на Марии Ивановне Хлоповой.

1617 г. 27 февраля— заключение Столбовского мира со Швецией. Московское государство утратило устье Невы и Нарвы вместе с Ижорской землей, а также Карелию. Удалось вернуть Новгород Великий, Старую Руссу и Ладогу. Шведам уплачена двадцатитысячная контрибуция.

1617 г. — королевич Владислав двинулся на Москву для захвата престола.

1618 год

20 сентября — польская армия подходит к Москве со стороны Волоколамска.

30 сентября — польские войска двинулись на штурм столицы.

1 октября — войска Владислава отбиты.

1 декабря — заключение Деулинского перемирия между Россией и Польшей на 14 лет и 6 месяцев. К полякам отошли около тридцати смоленских и черниговских городов. Новая граница пролегла чуть западнее Ржева, Вязьмы и Калуги.

1619 год

1 июня — на р. Поляновке за Вязьмой происходит размен пленных. Митрополита Филарета обменивают на польского полковника Струся. Освобождение Филарета из восьмилетнего польского плена.

14 июня — встреча нареченного патриарха Филарета в Москве.

22 июня — торжество официального наречения в патриархи.

24 июня — торжество поставления в патриархи.

1624 г. 19 сентября — венчание царя Михаила Федоровича с Марией Долгорукой.

1625 г. 7 января — кончина Марии Владимировны Долгорукой, первой жены царя Михаила Федоровича.

1626 г.— венчание царя Михаила Федоровича с Евдокией Стрешневой.

1627 г.— в царской семье родилась дочь Ирина. (Умерла в 1679 г.)

1628 г.— в царской семье родилась дочь Пелагея. (Умерла в младенчестве.)

1629 г. 9 марта — родился наследник престола царевич Алексей.

1630 г.— в царской семье родилась дочь Анна. (Умерла в 1692 г.)

1631 г. 27 января — кончина Ксении Ивановны Романовой (в монашестве Марфы), матери царя Михаила Федоровича.

1631 г. — в царской семье родилась дочь Марфа.

1632 год

20 апреля — умер король Сигизмунд III. В Польше наступает период «бескоролья».

август — начало военных действий против Польши.

декабрь — армия Шеина подходит к Смоленску. Начало осады города.

1633 год

В царской семье родился сын Иван.

В младенчестве скончалась царевна Марфа.

25 августа — король Владислав IV с двадцатитрехтысячной армией подходит к Смоленску и прорывает осаду крепости.

1 октября — кончина патриарха Филарета.

1634 год

В царской семье родилась дочь Софья.

12 марта — капитуляция армии Шеина под Смоленском.

апрель — командовавший московской армией воевода Шеин обвинен в измене и казнен в Москве.

4 июня — заключение Поляновского мира между Россией и Польшей. Смоленские и черниговские города навечно остаются за Польшей. Королю Владиславу IV выплачено двадцать тысяч рублей за отказ от притязаний на московский престол.

1636 г.— в царской семье родилась дочь Татьяна. (Умерла в 1706 г.)

1636 г.— в младенчестве скончалась царевна Софья.

1637 г.— донские казаки взяли крепость Азов.

1637 г.— в царской семье родилась дочь Евдокия. (Умерла в том же году.)

1639 г.— умер царевич Иван.

1639 г. — родился царевич Василий. (Умер в младенчестве.)

1640 г. 28 ноября — кончина патриарха Иоасафа.

1641 г. — казаки предлагают взять Азов «под государеву руку».

1642 г. январь — Земский собор. Казакам послан указ очистить Азов.

1642 г. 27 марта — поставление патриарха Иосифа.

1645 г. 12 июля — кончина царя Михаила Федоровича Романова.

1645 г. 18 августа -кончина Евдокии Лукьяновны Стрешневой, второй жены царя Михаила Федоровича.

notes

Примечания

1

...к Михайлову дню...— 21 ноября по н. ст.

...у карехи седелка на боку! — Лошадь карей масти — самая темная гнедая, почти вороная.

3

Деревянный или металлический сосуд с широким горлом, употреблявшийся для розлива напитков.

В Русском государстве XV-XVII вв. приставами называли должностных лиц, посылаемых для вызова кого-либо на великокняжеский или царский суд. Приставы могли исполнять и некоторые другие полицейские функции.

5

То есть имущество, включая скот.

6

Земские ярыжки — низшие полицейские служители в приказах.

В то время погостом на северо-западе Руси называлось крестьянское селение с церковью и кладбищем.

«Мученицы Феклы, Марфы и Марии...» — Память мучениц Феклы, Марфы и Марии совершается 22 июня по н. ст.

9

Старинный однобортный кафтан без ворота, с длинными рукавами и застежкой на пуговицах.

Старинная распашная одежда с узкими рукавами и завязками спереди.

«Бысть утро, бысть вечер — день первый" — неточная цитата из книги Бытия (гл. 1, ст. 5) „И бысть вечер, и бысть утро...“

Сшитая из камки — шелковой цветной ткани с узорами.

...в Угличе убит злодеями...— Младший сын Ивана Грозного — царевич Димитрий — погиб в Угличе 15 мая 1591 г. По официальной версии, он нечаянно нанес себе рану, которая оказалась смертельной. Гибель царевича вызвала многочисленные толки в народе.

...Борис умер, передав бразды правления в слабые руки юного Федора...— Борис Годунов скоропостижно скончался 13 апреля 1605 года. Сын Годунова царевич Федор был наречен на царство через три дня после смерти отца.

...Федор Борисович пал в борьбе...— Федор Годунов был низложен 1 июня 1605 года. Вскоре он был арестован и казнен.

...великого государя Дмитрия Ивановича. — Под именем Дмитрия Ивановича на престол вступил самозванец Лжедмитрий I.

...великого государя Дмитрия Ивановича. — Под именем Дмитрия Ивановича на престол вступил самозванец Лжедмитрий I... язык «прильпе к гортани» — цитата из 21-го псалма: «И язык мой прильпе гортани моему».

...был Иов, а теперь Игнатий! — Вместо свергнутого патриарха Иова по указанию Лжедмитрия на патриарший престол собором был возведен Рязанский архиепископ Игнатий.

Старинное — медление, мешкание. (Примеч. авт.)

Лисовчики — название польской легкой конницы.

Рундук — здесь: возвышение со ступеньками, крыльцо.

Здесь: орудийных снарядов и пороху.

Здесь: нажитое имущество.

Кольчужная сетка, прикрепляемая к шлему для защиты шеи.

Из тонких металлических листов с тиснеными узорами.

Крошня — здесь: серебряный плетеный ларец.

Мама — так в древнерусском быту называют кормилицу. (Примеч. авт.)

Кремневые ружья.

Одежда замужних женщин — род юбки из шерстяной ткани.

Женский головной убор в виде кокошника.

Изгородь, отделяющая селение от пашни.

Названия рыболовных снарядов, которые ставят в траве и около берегов, на небольшой глубине; в них рыба сама заходит. (Примеч. авт.)

Завязки у лаптей, прикрепляющие их к ноге и обвивающие онучи.

...князь Михайло Скопин-Шуйский на злодеев напустился...—
Войска под командованием князя М. В. Скопина-Шуйского подошли к
Тушину, после чего, отступая к Волоколамску, поляки сожгли
тушинский лагерь.

Узкий исподний кафтан.

Случилось.

...польский король под стенами Смоленска...— Осада Смоленска продолжалась с 21 сентября 1609 г. по 3 июня 1611 г.

...поближе к патриарху Гермогену...— 17 мая 1606 г. был убит Лжедмитрий I, а на следующий день низвергнут и заточен в Чудов монастырь патриарх Игнатий. 3 июня на патриаршество возведен митрополит Казанский Гермоген.

...как иноки Троицкой обители...— Польские войска держали в осаде Троице-Сергиеву Лавру шестнадцать месяцев (с 23 сентября 1608 г. по 12 января 1610 г.), но взять ее так и не смогли.

40

На перекрестках.

Под воеводством князя Дмитрия Шуйского...— Дмитрий Шуйский повел войско на освобождение Смоленска, но был разбит гетманом Жолкевским под Клушином 24 июня 1610 г.

Лал — драгоценный камень, по цвету близкий к рубину, но уступающий ему по твердости и блеску.

Зимние повозки.

Широкие сани, обшитые лубом или тесом.

Песья кровь (польск.)

Индюки.

Солдаты (польск.).

Вытаскивайте орудия (польск.).

Это все наше (польск.).

Нечестно — здесь: без надлежащего уважения, оскорбительно.

Здесь: капюшон.

Слово чести (польск.).

Поместье (польск.).

Тысяча чертей (польск.).

Скажем (польск.).

Повалуша — летняя спальня.

...ходил имать Маринку с Заруцким, и донского атамана с его шайкою...— т. е. Марину Мнишек с Иваном Заруцким и атамана Михаила Баловню.

Накры — ударный музыкальный инструмент типа парных литавр.

Гречишник — валяная войлочная шляпа.

...как Шуйские погубили славного Скопина...— Говорили, что князя М. В. Скопина-Шуйского отравила его тетка, Екатерина Скуратова-Шуйская.

Красоуля — кружка, чаша.

...теперь у царя... в окольныхчих...— В Боярской думе было 4 чина: 1-й (высший) — думный боярин, 2-й — окольныйчий, 3-й — думный дворянин, 4-й — думный дяк.

Сорок — старинная единица счета.

Быть в нетях -не явиться, скрыться.

Молитвы о прощении (отпущении) грехов.

Во времена Смуты шишами называли русских партизан. Позднее — разбойников и бродяг.

Широкий дорожный плащ.

Зернь — небольшие косточки с белыми и черными сторонами. Выигрыш определялся тем, какой стороной они упадут.

...когда Минин Сухорук тронул все сердца...— Осенью 1611 г. Кузьма Минин в Нижнем Новгороде начал сбор средств для организации русского ополчения и освобождения Москвы.

Ярыга (ярыжка) — здесь: пьяница, мошенник.

С генералом Понтусом Делагарди...— Автор допускает неточность. Понтус Делагарди погиб в 1585 году, за 34 года до описываемых событий. Швед, вероятно, воевал под началом Якова Делагарди, сына Понтуса Делагарди.

Буквально: многая лета!

73

Покрытый глазурью зеленого цвета.

Схизматик — здесь: неправославный.

То есть предводителем.

Филарет (до пострижения — Федор) Никитич Романов в сане митрополита ростовского был отправлен под Смоленск вместе с другими послами к польскому королю Сигизмунду просить сына его на всероссийский престол с тем, чтобы он принял православие; но Сигизмунд, раздраженный этой просьбой, отправил его в плен в Польшу, где он и пробыл девять лет. (Примеч. авт.)

То есть во дворец.

Притчиться — здесь: казаться, чудиться.

КРОВЬ.

Сообщение.

Доспехи, состоящие из плоских полуколец.

Ковы — злые умыслы, заговоры.

...Ивашку, нового самозванца, повесили, Маринка в Коломне померла...— Малолетний сын Марины Мнишек и Лжедмитрия II-Иван — казнен. Его мать умерла в заточении.

...под самую Москву о Покров подошли...— Армия Владислава подошла к Москве 20 сентября 1618 года. Штурм столицы начался 30 сентября.

Правеж — принуждение к уплате долгов, пошлин и т. п. битьем батогами.

...князь Пожарский уже жалился, что его с головой моему Бориске выдали...— Пытаясь доказать свое старшинство, Борис Салтыков оскорбил князя. Возмущенный Пожарский покинул царский дворец, сказавшись больным. Усмотрев в этом непочтительное отношение к царю, бояре принудили Пожарского уступить Салтыкову. После этого унижения кн. Пожарский надолго лишился возможности занимать высшие военные посты в государстве.

Брашно -пища, еда.

Рейтары — вид тяжелой кавалерии.

Скандалит.

Целовальник — здесь: продавец вина.

Шашки.

Кабак.

Яма — тюрьма того времени. (Примеч. авт.)

Ложно.

Тавлинка — берестяная табакерка.

Совершив глубокий (земной) поклон.

Ширинка — кусок холста, отрезанный по ширине ткани.

Ефимок — русское название серебряного талера.

Били по щекам.

Бирюч — глашатай, объявляющий волю царя.

Порох. (Примеч. авт.)

Был воевода головою? — «Быть головою» — прийти к оскорбленному и, опустившись на колени, ожидать его воли.

Шугай — женская кофта.

В XIV — XVII в. было общепринятым явлением, что долг уплачивали не деньгами, а службой, и это называлось кабалою. (Примеч. автора)

Ясачный крик — сторожевой и опознавательный сигнал, сигнал тревоги.

Чекан — боевой топор с узким лезвием и молотовидным обухом.

Шестопер — боевое оружие, род булавы с головкой из шести металлических ребер.

Охотился.

Ноговица — отдельная часть обуви или одежды, покрывающая голень.

Крупный жемчуг.

Торока — ремни у задней луки седла для пристежки, приторочки чего-либо.

Малый, работник.

Мама царевны Ирины Михайловны...— По обычаю того времени, при рождении младенца в царской семье для него выбиралась кормилица, а также назначались мамы и дядьки, следившие за воспитанием ребенка в первые годы жизни. Романова, Ирина Михайловна (1627-1679), царевна, старшая дочь царя Михаила Федоровича.

Стольники, дворяне, стряпчие, дьяки, стрелецкие начальники на «крыльце постельном», бояре, окольниковичий, думные и ближние государевы люди «в верху», в «передней»...— Каждый придворный чин пользовался своими привилегиями в царском дворце. Так, бояре, окольниковичий, думные и ближние люди могли находиться «в верху», то есть в жилых покоях государя. Для прочих придворных чинов это было совершенно невозможно. Им полагалось стоять на «постельном крыльце», расположенном посреди дворцовых зданий, между приемными большими палатами и жилыми теремными покоями царя.

Рында — оруженосец, телохранитель.

Вступать в брак.

Ответ — переговоры.

Тельное — всякое рыбное блюдо.

...вступил в морганатический брак...— то есть в брак с особой некоролевской крови.

...его попросили снять шпагу...— Во дворец нельзя было входить с оружием. Исключений не делалось ни для кого — ни для послов, ни для бояр, ни даже для государевых родственников.

Докончание — договор, соглашение; здесь: заключение соглашения.

...у иных вер вместо крещения обливают и миром не помазывают...— Лютеранское крещение (как и католическое) заключается в обливании крещаемого водой, тогда как православный обряд предполагает троекратное погружение в освященную воду и последующее таинство миропомазания.

Обослаться с кем-либо — обратиться, сообщить.

Царь Василий призвал их на помощь, а они оказались злыми врагами. — Имеется в виду договор о военном союзе против Речи Посполитой, заключенный между Швецией и Московским государством во время царствования Василия Шуйского. После низложения царя Василия условия договора были нарушены, и шведы стали захватывать северные русские города.

В постоянном общении.

И король с панами радными знают ли про это дело? — «Радными панами» называли шляхтичей, заседавших на сеймах Рады Великого княжества Литовского — высшего органа государственной власти. После 1569 г. лица, входящие в Раду Великого княжества Литовского, получили право заседать в сенате Речи Посполитой.

Новый, 1645 год настал. 9 января...— Автор пользуется привычным нам счетом лет от Рождества Христова. Следует помнить, что на Руси такое счисление введено только 20 декабря 1699 года. До этого счет шел от сотворения мира, а год начинался 1 сентября. Таким образом, ко времени описываемых событий новый год (7153-й от сотворения мира) в Московском государстве наступил уже четыре месяца назад.

«Чти отца твоего и мать твою и долголетен будешь на земле» — одна из заповедей, данных Господом Моисею на горе Синай (Исход, XX, 12).

...взяли его в плен черкасы...— Так в те времена русские называли украинцев. Надо иметь в виду, что каждый из народов — предков современных русских, украинцев и белорусов — только себя называл русскими. Украинцы, с точки зрения русских и белорусов, считались черкасами, белорусы (с точки зрения русских и украинцев) — литвинами, русские (с точки зрения украинцев и белорусов) — москалями.

...подскарбий коронный...— Древний чин в Польше и Литве, ведавший королевскими сокровищами и чеканкой монеты.

...из Подляшья...— Историческая область в среднем течении Буга (приграничные районы Польши и Белоруссии: Брест, Кобрин, Белосток, Ломжа).

Панихиду.

...тронулся поезд с королевичева двора...— Произошло это 17 августа 1645 года.

...НО ВОТ НАЧАЛАСЬ ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА...— Имеется в виду польско-шведская война 1655-1660 гг.